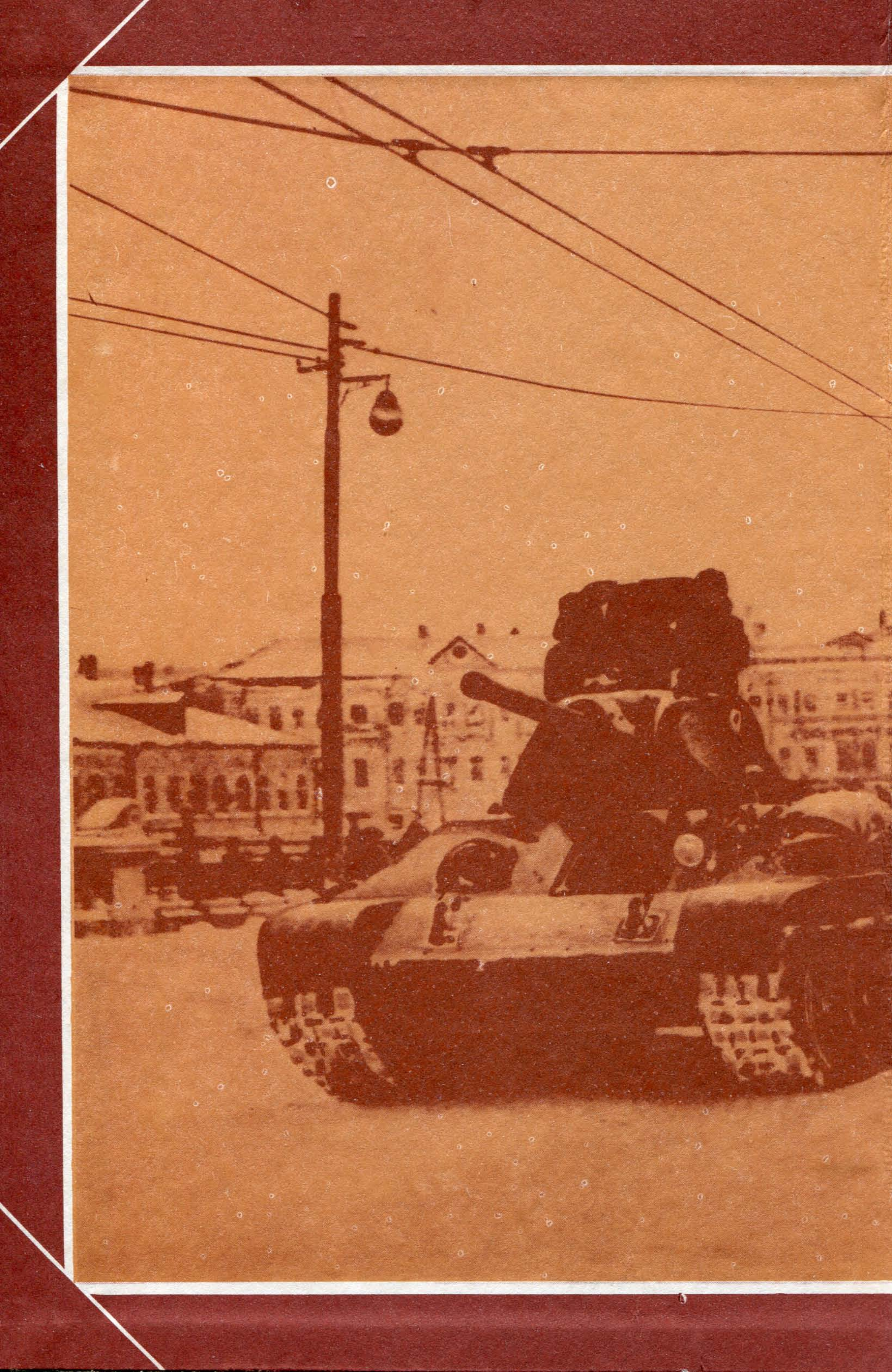
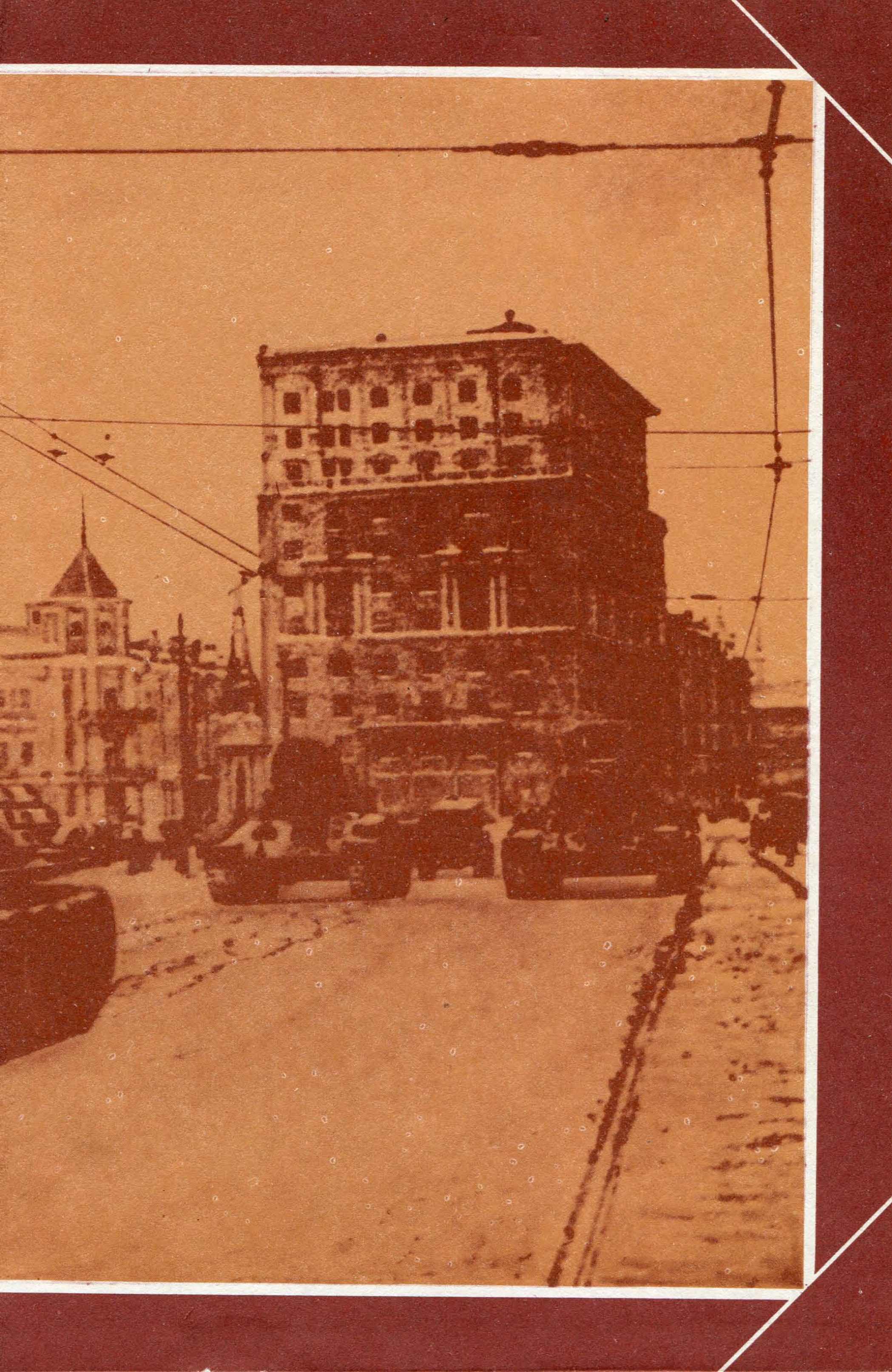
ИВАН СТАДНЮК

МЕЧ НАД МОСКВОЙ

ИВАН СТАДНЮК МЕЧ НАД МОСКВОЙ





ИВАН СТАДНЮК



РОМАН

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1990

ББК 84Р7
С77

Редактор *Ю. Г. Мошков*

Стаднюк И. Ф.
С77 Меч над Москвой: Роман.—М: Воениздат, 1990.— 431 с.
ISBN 5—203—00864—7

Широко известен роман Ивана Стаднюка «Война», за который он был удостоен Государственной премии. Продолжением этой книги является вышедший в 1985 году в Воениздате роман «Москва, 41-й». В это издание он включен в качестве первой книги, а вторая книга — новая. В ней показаны оборонительное сражение под Москвой осенью 1941 года, деятельность Политбюро ЦК партии, ГКО и Ставки Верховного Главнокомандования по руководству войсками, по укреплению антигитлеровской коалиции.

Книга рассчитана на массового читателя.

С $\frac{4702010201—086}{068(02)—90}$ 151—90

ББК 84 Р7

ISBN 5—203—00864—7

КНИГА ПЕРВАЯ



Вторая половина июля 1941 года — новый обвал потрясений, когда история в ее вечном движении вопросительно, с нарастающим беспокойством всматривалась в глаза народов и их правительств, испытывая гнетущую тревогу за завтрашний день человечества и за пути, по которым она, история, пойдет в будущее. Стоял глобальный вопрос: выстоит ли Советский Союз под могучим напором немецко-фашистских полчищ, яростно рвавшихся к Москве?

Смоленская возвышенность будто явилась в эти дни неожиданным каменным порогом, о который споткнулась германская военная колесница и хрястнула осью. Казалось, что война, истратив накопленную энергию зла, застопорилась здесь. Но пространства в районе Смоленска продолжали в грохоте боев буйно колоситься смертью, болью, ненавистью, безнадежностью и надеждой. Сражение не утихало ни днем ни ночью, неутомимо собирая смертный оброк: гибли тысячи и тысячи людей — и защитники этой древней земли, и ее поработители — алчные пришельцы.

Немцы непрестанно и упорно кидали через Днепр свои штурмовые отряды, стремясь гусеницами танков уцепиться за правый берег и торопясь захватить северную часть Смоленска, чтобы затем крупными силами выйти наконец в тылы всей группировки войск Западного фронта, после чего путь на Москву был бы открыт окончательно.

Захватчикам противостояла здесь 16-я армия генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина. Изнемогая от неравенства сил, истекая кровью, дивизии этой армии огневыми и штыковыми ударами сметали врага с захваченных береговых плацдармов, сами переплывали не столь большую здесь водную ширь Днепра, бросались в атаки, тесня захватчиков в глубь южной части Смоленска, пытаясь вернуть ее.

Но тщетно: логика войны неумолима — когда вражеские самолеты с рассвета до темна десятками кружили в небе и когда на стороне немцев огромное преимущество в танках, артиллерии, да и в пехоте, потеснить их с захваченных рубежей было невозможно. Немцы тоже не могли одолеть армию генерала Лукина, пусть малочисленную, но силу которой будто умножали врожденная у россиян ненависть к поработителям и не покидавшее воинов скорбное мужество, суть которого — умение страдать и готовность идти на

самопожертвование во имя Отечества. Именно так: смертная человеческая плоть была крепче огня и железа, если дух в ней не увядал.

А может, отчасти и жестокая строгость поступавших свыше приказов, которые кратко, в чеканных формулировках излагали боевые задачи и сурово напоминали редеющему воинству 16-й армии и без того известную им, рвавшуюся из сердца болью истину: Смоленск — это ворота к Москве...

1

...Война застала генерал-лейтенанта Лукина в Виннице. В то время погруженные в железнодорожные эшелоны части его 16-й армии, начавшие выдвижение из Забайкалья на запад еще перед войной, подходили передовыми силами к местам расквартирования в районах Бердичева, Винницы, Проскурова, Старо-Константинова и Шепетовки. Последние эшелоны еще пересекали Сибирь, а генерал Лукин уже получил новый приказ: 16-я армия переходила в распоряжение Ставки Главного Командования. Ее задача — двигаться после сосредоточения навстречу врагу через Шепетовку, Остров, Ровно и далее — согласно последующим приказам.

Силы же в 16-й армии были тогда немалыми — только один ее 5-й механизированный корпус генерала И. П. Алексеенко имел более тысячи боевых машин, около трехсот танков насчитывалось в отдельной танковой бригаде, да и 32-й стрелковый корпус состоял из трех дивизий высочайшей воинской выучки.

26 июня поступил новый приказ: он перенацеливал 16-ю армию с Юго-Западного на Западный фронт — в район Орша, Смоленск. Поэтому прибывшие на Юго-Западный, но не успевшие разгрузиться эшелоны тут же направлялись по новому маршруту, а генерал Лукин помчался в Шепетовку, чтобы приостановить там разгрузку 5-го механизированного корпуса. Застал в этом заштатном городишке Подолии скопление отступивших от границы разрозненных подразделений, сотни призванных местными военкоматами рядовых и командиров и множество представителей из действующих частей, прибывших за боеприпасами, оружием, горючим, продовольствием. И нескончаемый поток беженцев с запада. Ко всему этому — непрерывные бомбежки с воздуха и диверсии переодетых в советскую военную форму немецких парашютистов.

Что было делать ему, генерал-лейтенанту Лукину, в этой кутерьме, учитывая, что к Шепетовке уже подходили разведывательные части противника, а он волей судьбы оказался здесь старшим по воинскому званию и по должности?

Первое, что предпринял Михаил Федорович, было самым элементарным: обнажив пистолет, он вместе с адъютантом лейтенантом Сережей Прозоровским, шофером красноармейцем Николаем Смурыгиным и двумя отчаянными командирами стали поперек магистральной улицы Шепетовки и своим решительным видом остановили живой поток военного и невоенного люда. Затем во дворах и

в переулках по приказу генерала Лукина стали формироваться группы и подразделения, назначались их командиры, составлялись списки личного состава... И стихийный людской поток тут же стал превращаться в организованную силу...

Но силой надо управлять, как и всей скопившейся в Шепетовке несметностью представителей войсковых служб, осколков воинских частей и сотнями людей, призванных военкоматами из запаса... Ими были заполнены улицы, площади, скверы, особенно вокзал и привокзальная территория. Городишко выглядел, как гигантская толкучка, где, однако, не было никакой торговли.

И Михаил Федорович без колебаний принял на себя командование не только неисчислимым гарнизоном Шепетовки со всем его войсковым хозяйством, но и участком фронта, прикрывавшим шепетовское направление.

Об этом надо было доложить командованию Юго-Западного фронта. Связаться же со штабом не удалось. Трудно было дозвониться и в Киев: на линиях связи разбойничали немецкие диверсанты, разрушая их или подслушивая разговоры; были случаи, когда немцы от имени советского командования, включившись в наши линии, передавали на русском языке провокационные приказы. И когда генерал Лукин из кабинета начальника железнодорожной станции дозвонился в Киев первому заместителю командующего фронтом генерал-лейтенанту Яковлеву, не поверил своей удаче. Но как вести разговор без кодовой таблицы? И действительно ли на проводе Яковлев? Голос неузнаваем...

«Всеволод Федорович, это ты? Лукин докладывает».

«Я... Ты откуда звонишь?»

«Прости, пожалуйста... Если ты действительно Яковлев, скажи, пожалуйста, как зовут мою жену?»

«Понял твои опасения... Жена — Надежда Мефодиевна... А если ты Лукин, вспомни, где мы с тобой последний раз виделись?»

«В Москве, в Большом театре...»

Взаимное недоверие исчезло, и Лукин доложил первому заместителю командующего Юго-Западным фронтом, что Шепетовка находится под угрозой захвата врагом. Яковлев, потрясенный услышанным, ответил:

«Ты понимаешь, что это значит?»

«Если б не понимал, не брал бы на себя без приказа такую ответственность. А ведь, по логике вещей, мне надо ехать к своей армии»,— резонно напомнил ему Лукин.

«Понимаю, что надо. Однако в Шепетовке — главные наши склады,— задыхаясь от волнения, объяснял генерал Яковлев.— Если противник займет Шепетовку, войска фронта останутся без боеприпасов и без всех других видов снабжения».

Кабинет начальника станции тогда и стал командным пунктом генерала Лукина. Первым делом он приказал отменить погрузку в эшелоны 109-й мотострелковой дивизии 5-го механизированного корпуса и 116-го танкового полка 57-й танковой дивизии. Командиру 109-й дивизии полковнику Красноречкому Николаю Павловичу

поставил задачу — вместе с танковым полком занять оборону на подступах к Шепетовке и не допустить противника в город.

При себе Лукин оставил армейского интенданта полковника Маланкина, двух штабных офицеров и двух политработников. Приказал им сколотить группы заслона и останавливать на дорогах машины с беженцами, пересаживать их в железнодорожные эшелоны, идущие на Киев, а машины загружать боеприпасами и отправлять на фронт... Сколько же было тогда слез, просьб, проклятий по его, Лукина, адресу — многие беженцы никак не желали, да и не могли, расставаться с машинами. Но — война... Да, война длилась уже неделю, а со стороны Киева пусть и редко, но все еще шли через Шепетовку в направлении разных городов Западной Украины эшелоны, груженные тракторами, комбайнами, сеялками, зерном.

Генерал Лукин приказал начальнику станции останавливать их. Но это было не так легко: оказалась бы забитой часть железнодорожных путей, что застопорило бы движение воинских эшелонов...

Вызвал начальников военных складов — а складов было множество — и спросил, сколько кому надо эшелонов для эвакуации. Услышал такие цифры, что продолжать разговор было бессмысленно, и на свой страх и риск отдал приказ: ни в чем не отказывать всем прибывающим с фронта за боеприпасами, горючим, продовольствием, снаряжением, если даже у них нет на руках чековых требований для получения грузов. Достаточно записки полковника Маланкина — и вручил начальникам складов белые картонки с заверенным печатью образцом подписи интенданта.

А командир 109-й мотострелковой дивизии полковник Красноречкий Николай Павлович бесстрастно доносил, что мотомехчасти противника продолжают остервенелые атаки и уже находятся в двадцати километрах западнее Шепетовки. Красноречкий был опытным и храбрым комдивом, проявившим себя еще в боях с японцами у озера Хасан. И тем не менее его дивизия несла большие потери. Вскоре был тяжело ранен и сам Красноречкий *.

Лукин тут же решил заменить его лучшим командиром одного из полков этой дивизии — подполковником Подопригорой Александром Ильичом. Но к этому времени полк в стычке с превосходящими силами немцев понес большие потери, и Подопригора от отчаяния, хотя нисколько не был повинен в потерях, застрелился. Пришлось генералу Лукину самому ехать в дивизию, вести ее в бой, пока не был назначен новый надежный командир.

Обстановка на шепетовском направлении накалялась и обострялась все больше. Надо было бросать навстречу врагу новые силы и чем-то прикрыть фланги слабеющей 109-й мотострелковой дивизии. Лукину удалось сколотить четыре мотоотряда. Усилив их тремя батареями артиллерии и двумя десятками танков, бросил на защиту флангов 109-й дивизии...

---

* После госпиталя Н. П. Красноречкий вновь командовал дивизией; погиб в октябре 1941 года при обороне Москвы. (*Прим. авт.*)

Так же решительно подчинил себе и свежую стрелковую дивизию, которая пешим порядком приблизилась к Шепетовке, следуя на запад, чтобы влиться в состав воевавшей там 5-й армии, местонахождение которой было неизвестно. И приказал ей занять оборону на подступах к Шепетовке. Лукину тогда казалось, что он не поспевал за своими жадными и встревоженными мыслями; решения приходили будто сами по себе от ощущения смертельной опасности и понимания небывалой ответственности. Часто остроту или непредвиденность ситуации улавливал чутким инстинктом, при этом помнил, что одна из подлинных тайн умелых военачальников заключается в соединении смелости и осторожности.

Итак, генерал-лейтенант Лукин самовластно стал в Шепетовке командиром созданной им же войсковой оперативной группы, о действиях которой вскоре замелькали похвальные упоминания в сводках штаба Юго-Западного фронта и даже Ставки Главного Командования. Наладилась наконец связь с командующим Юго-Западным фронтом генерал-полковником Кирпоносом, и Лукин со всей прямотой доносил ему, что Шепетовская оперативная группа войск тает с каждым днем и больше не имеет возможности пополняться. Уже ни доблесть, ни отвага, ни самопожертвование не помогут ей дольше удерживать Шепетовский узел, если на этом участке не будет введено в бой необходимое количество свежих соединений.

Вскоре под Шепетовку прибыл из Днепропетровска 7-й стрелковый корпус генерал-майора Добросердова, а Лукин поспешил под Смоленск, чтобы вновь возглавить свою 16-ю армию.

2

Под Смоленском, как читатель уже знает, Лукин застал только две дивизии: 46-ю неполную и 152-ю, а все остальные соединения, как доложил ему со скорбью в глазах начальник штаба армии полковник Шалин, переданы в 20-ю армию генерал-лейтенанта Курочкина, которая вела тяжелые оборонительные бои в районе Орши.

Несколько дней чувствовал себя генерал-лейтенант Лукин обиженным и беззастенчиво ограбленным. Поэтому с трудом вживался в атмосферу событий на Западном фронте, которая сразу же по приезде в Смоленск показалась ему куда напряженнее, чем в районе Шепетовки (на войне самой страшной опасностью кажется ближайшая). Так и этак оценивал и взвешивал оставшиеся под его командованием силы. Две дивизии... Вроде и сила... Но и явное бессилие, коль нет 5-го механизированного корпуса, которым на штабных учениях так привык наносить неотразимые контрудары по «противнику» из-за флангов обороняющейся армии. Две дивизии, заняв оборону и образовав выдвинутую на северо-запад от Смоленска дугу, да и то рваную, прикрывали ведущие на восток дороги и наиболее опасные направления в тылу державшей оборону 19-й армии. Из этих дивизий пришлось по приказу главкома Западного направления маршала Тимошенко выделить усиленные батальоны и бросить их на запад

и юго-запад от Смоленска — в район Красное и на рубеж речки Свиная, селение Литивля, чтобы вместе с батальонами смоленских ополченцев бригады полковника Малышева защитить фланги дравшихся там частей 20-й армии.

Всматриваясь в карту и видя, как маршал Тимошенко снимает части с одних направлений и бросает их на другие, как поспешно вводит в сражение прибывающие в район боевых действий, но полностью не сосредоточившиеся соединения, Лукин понимал, что у штаба фронта нет резервов, и будто физически, как давящую боль сердца, ощущал дырявость обороны и слабую прикрытость важных операционных направлений. А когда ему приказали возглавить оборону Смоленска, почувствовал еще и беспомощность, как боксер, вышедший на ринг без главного доспеха — боксерских перчаток. Только и успел сделать, что вернул ополченские батальоны полковника Малышева к стенам города и приготовил их к уличным боям да принял меры, чтоб мобилизовать население для устройства завалов...

В тяжких положениях питают полководца надежды не только на свои силы, но и на ошибки и просчеты противника и на малейшую возможность достигнуть превосходства пусть хоть на каком-либо направлении или участке соприкосновения с вражескими войсками. Поэтому с обостренным поиском мысли, с упованием на счастливое ее озарение выслушивал доклады штабных командиров и генералов, напряженно вчитывался в боевые донесения и пытливо всматривался в карту, где в обороне 19-й армии генерала Конева все явственнее намечался глубокий прорыв немецких танковых колонн, как и югозападнее Смоленска, в полосе 20-й армии, и в итоге будто чувствовал на себе тесную и хлипкую одежонку, продуваемую со всех сторон ледяными ветрами.

Правда, 14 июля был момент, когда на душе чуть развиднелось: поступил приказ командующего фронтом, что в состав 16-й армии вливается 17-й механизированный корпус генерал-майора М. П. Петрова. Но где же он? Из штаба фронта сообщили, что части корпуса где-то переформировываются после выхода из окружения. Однако так ни одна из них и не появилась в полосе армии. Узнал только от случайного окруженца, что действительно в начале июля проходили через Смоленск отдельные подразделения 209-й мотострелковой дивизии этого корпуса; заинтересовался судьбой командира дивизии полковника Муравьева Алексея Ильича, которого хорошо знал по довоенному времени. Муравьев, как рассказал окруженец, был тяжело ранен немецким диверсантом еще там, за Минском, в районе Слонима, и оттуда отправлен на восток. Командир корпуса Петров тоже будто погиб... И рассвет в душе отступил, несмотря на то что на второй день пришла от маршала Тимошенко новая, тоже сулившая надежды шифрограмма. В ней Лукину приказывалось принять от командующего 19-й армией генерал-лейтенанта Конева две стрелковые дивизии — 158-ю полковника В. И. Новожилова и 127-ю генерал-майора Т. Г. Корнеева — и поставить их на рубеж южнее Смоленска — от стен города по реке Сож до деревни Гринево,— создав при этом мощные узлы противотанковой обороны.

Послал генерал Лукин своих представителей в эти дивизии с приказом немедленно начать марш к Смоленску, но, когда смотрел по карте на неблизкий их путь, понимал: не успеют они ко времени оседлать дороги, по которым немцы рвутся к городу. Однако неверия своего никому не показывал; принимал меры, чтобы удержаться до подхода этих двух дивизий своими малочисленными силами. И еще, может быть от отчаяния, приказал командирам частей, штабистам и политработникам поступать так, как поступал он сам в районе Шепетовки: решительно прибирать к рукам — подчинять себе — все, что даже случайно может оказаться в полосе их 16-й армии: разрозненные группы и группочки красноармейцев, одиночных командиров, боевые расчеты, обескровленные подразделения, машины, отдельные танки — и, приписав их к полкам, ставить в оборону.

Ничто на фронте так не ценится, как ясность. Эта истина давно была известна Михаилу Федоровичу Лукину; однако, постигнув ее в ночь на 16 июля 1941 года, когда убедился, что немцы захватили южную часть Смоленска, чуть по-волчьи не взвыл от бессилия и обжигавшего сердце понимания: наступил тот страшный и критический момент, когда чаша весов могла трагически резко и, возможно, надолго перевеситься в пользу агрессора. Только по недосмотру немцев, а может, и потому, что полковник Малышев вовремя взорвал смоленские мосты, они с ходу не перемахнули через Днепр и не захватили северную часть города. Ведь защищать Заднепровье было нечем: почти весь гарнизон Смоленска героически погиб в ночном уличном бою...

На рассвете 16 июля, как только в штабе армии стало известно, что враг захватил южную часть города, генерал Лукин вместе с членом Военного совета армии дивизионным комиссаром Лобачевым и группой офицеров штаба примчались на машинах из Жуково в северную часть Смоленска. Остановились среди развалин кирпичных домов у вокзала и тут же были обстреляны из-за Днепра немецкими пулеметами. Этот огонь разбудил дремавшую по правому берегу нашу жиденькую оборону: в некоторых местах татакнули пулеметы, громыхнули одиночные выстрелы. Вскоре оборона была несколько усилена. Офицеры штаба разыскали спавших в каменных домах над Днепром уцелевших бойцов из дивизиона смоленской милиции и отрядов Буняшина и Никитина. Люди были усталые до бесчувствия, но, встряхнутые командами начальства, заняли позиции для обороны быстро, с пониманием серьезности обстановки.

— Что будем делать дальше? — спросил генерал Лукин у дивизионного комиссара Лобачева, глядя на него требовательным взглядом.

Они хорошо знали и понимали друг друга, гордились родством своих душ и верили, что мысли их ведут поиск решения в одном направлении. Но сейчас, укрывшись за стеной разбитого кирпичного дома, были в замешательстве.

— Надо доложить в штаб фронта,— ответил Лобачев, доставая подрагивающими пальцами папиросу из кем-то протянутой пачки.

— Доложить успеем. Я о решениях спрашиваю,— нетерпеливо уточнил Лукин.

— Поступит приказ выбить немцев из Смоленска.— Лобачев не спеша прикуривал от чей-то спички и косил взгляд на командарма.— Это точно... Отсюда надо и решать.

Лукин, будто огорченный ответом члена Военного совета, резко отвернулся от него, раздраженно скрестил на груди руки. Эта его внешняя раздраженность свидетельствовала о том, что он напряженно размышлял о первых нужных шагах в столь беспросветной ситуации...

Военная, как и всякая другая, одаренность людей не имеет пределов, ибо жизнь с ее неустанным стремлением к постижению и совершенству гораздо шире возможностей человека. Наличие же рядом с одаренным еще одного одаренного, каким и был дивизионный комиссар Лобачев, увеличивало силу постижения обоих, так как каждый из них, Лукин и Лобачев, на оселке способностей друг друга выверяли зрелость и глубину своего видения и понимания, верность или ошибочность своих суждений.

Впрочем, предположение Лобачева о том, что непременно поступит приказ отбить у немцев Смоленск, не явилось для Лукина откровением, но поторопило его предугадать оперативное решение этой задачи, которое предложит ему штаб фронта. И сразу нашлось главное русло, по которому надо было устремлять воспаленные мысли: какими силами можно выбить немцев из Смоленска? Ведь пути подхода резервов к 16-й и 20-й армиям почти перекрыты; соседняя, 19-я армия отступает от Витебска, с трудом отбивая непрерывные атаки немецких танков, растекаясь на юго- и северо-запад. Значит, маршал Тимошенко и начальник штаба фронта генерал Маландин будут требовать от Лукина решать задачу собственными силами. Стало быть, надо немедленно перегруппировать все то, что сражается здесь, в оперативном окружении, и нужна связь с генерал-лейтенантом Коневым — командующим 19-й армией.

Но все-таки что было делать в те самые первые часы трагического утра, когда прорыв врага в южную часть Смоленска стал фактом? У генерала Лукина не было надежд даже на удержание северного берега Днепра до подхода сюда частей армии с других участков фронта. Ведь знал, что с восходом солнца немцы обрушат на рваную цепочку нашей обороны сотни бомб, тысячи снарядов и мин, ослепят огнем и дымом, кинут через узкий Днепр пехоту и плавающие танки, и защитникам северной части Смоленска придется погибнуть, взяв только с врага подороже плату за свою погибель. Другого исхода не предвиделось.

Если б в минуты этих тяжких раздумий, когда мятущаяся душа Михаила Федоровича билась в муках безысходности, он посмотрел на себя в зеркало, то увидел бы почти незнакомого человека. Чуть удлиненное его лицо с широко раздвинутыми глазами (раньше казалось, что они раздвинулись от веселого желания шире посмотреть на мир) обрело что-то трагическое, выражавшееся в усталом и притушенном блеске глаз, в углубившихся морщинах и особенно в опущенных уголках губ. Когда он снимал каску, волосы на его

голове не имели привычного прямого пробора, были свалявшимися и казались жидкими, как побитый градом лен.

С тяжким чувством уезжал генерал Лукин из пределов Смоленска. Раздражала неосознанная вина — та самая, которая терзает почти каждого военачальника в подобном состоянии. Михаилу Федоровичу мнилось, что, может быть, он из-за усталости, из-за чрезмерного напряжения не учел чего-то, упустил из виду какие-то обстоятельства.

В эмке, испятнанной для маскировки зеленой и коричневой краской, с ним ехал новый начальник артиллерии армии генерал-майор артиллерии Прохоров Иван Павлович — известный среди артиллеристов знаток своего дела; он умел чувствовать силу и возможности подчиненных ему полков, дивизионов, батарей, словно тяжесть и силу удара собственного кулака, и, казалось, даже с ощущением твердости того предмета, на который замахнулся. Нужные сведения Прохоров будто ловил с воздуха. Погоняв по частям подчиненных ему офицеров, посидев ночь на узле связи, побывав на подвижных складах артснабжения, он уже знал все, без чего нельзя было управлять артиллерией. Но знаниями не заменить боеприпасы, не заполнить лотки орудийных передков. Нужны были снаряды, много снарядов, а подвоз их, с захватом немцами Ярцева, прекратился. Нужно было и пополнение артдивизионов техникой, особенно противотанковыми орудиями. И Прохорову, как и генералу Лукину, виделось, что только чудо могло затормозить близко грядущую кровавую развязку.

Впереди их машины ехал броневичок, из башни которого по грудь высунулся новый адъютант Лукина — старший лейтенант Михаил Клыков. Генерала Лукина всегда веселила его кавалерийская осанка. Клыков — между прочим, как и Лукин Михаил Федорович,— был кубанским казаком и, восседая в башне броневика, держал себя, как в седле — широко расправлял грудь и на дорожных рытвинах, когда броневик подбрасывало, вскидывал вверх тело, будто опирался на стремена седла и облегчал ход коню.

Сзади машины генерала Лукина, объезжая частые воронки и переваливаясь на рваном асфальте, катил в своей легковушке дивизионный комиссар Лобачев. Держали путь к магистрали Минск — Москва, к тому месту, где ее пересекала дорога Смоленск — Демидов. Оно, это место, все время манило к себе генерала Лукина. Нет, не потому, что отсюда рукой подать в Жуково, где в лесу был узел связи, без которого командарм наполовину слеп и глух. Михаил Федорович постоянно ощущал неприкрытость этого оперативно важного пятачка, примыкающего к северной части города, как ощущают сквозняк слабо прикрытой частью тела. Ему, этому месту, зримо угрожали со стороны Демидова и Ярцева подвижные танковые клинья немцев. И отсюда был совсем близок опустевший военный аэродром с искромсанными взлетно-посадочными полосами...

Еще раз охватив мыслью эту грозную опасность, Михаил Федорович зябко передернул плечами, с тревогой посмотрев сквозь придорожный, покрытый густой пылью кустарник в сторону аэродрома... Очень удобна здесь высадка усиленного техникой вражеского десанта.

Проезжали небольшое село Печёрск. Над дорогой слева возвышалась аккуратно граненная церквушка. Древнеславянской вязью лепились на ней ближе к крыше цифры, обозначавшие год построения церкви: «1678».

«Сколько же событий пришлось ей увидеть на своем веку! — с печалью подумал Лукин.— Не дано камню рассказывать...»

Когда впереди стала видна автострада с маячившим на ней контрольным постом в лице одного красноармейца с карабином за спиной и красным флажком в руке, Лукин приказал остановиться. Машины укрыли на приличном друг от друга расстоянии в придорожной лесопосадке. Вместе с генералом Прохоровым перешагнули кювет и подошли к выглядывавшим из полынной проседи валунам: они, сбившись в табунок, будто ловили серенькими спинками холодные лучи только что взошедшего из-за недалекого леса солнца. Уселись на камнях, и Михаил Федорович по привычке расстегнул планшетку, под целлулоидом которой хорошо читалась карта Смоленска и его окрестностей. Подошел дивизионный комиссар Лобачев.

— Еще бы начальника штаба сюда, и можно открывать заседание Военного совета армии,— невесело пошутил Лобачев.

— Нам бы лучше несколько полков пехоты...— Лукин, достав пачку «Казбека», стал закуривать. Когда прикурил, добавил: — И артиллерии стволов сто... Как, Иван Павлович? — И он скользнул болезненным взглядом по загорелому и худощавому лицу генерала Прохорова.

— А вот и явление Христа народу,— будто в ответ ему сказал Прохоров, с удивлением глядя в сторону магистрали.

Все примолкли, тоже уставившись туда напряженными глазами: по дороге к ним приближался какой-то генерал-майор с общевойсковыми малиновыми петлицами на воротнике гимнастерки. Выше среднего роста, стройный, в запыленных хромовых сапогах, в фуражке, из-под которой выглядывали седоватые виски, он казался довольно моложавым, подтянутым, испытывая, видимо, неловкость под столькими устремленными на него взглядами незнакомых людей с неласковыми лицами. Темный от усталости и загара лик генерала выражал озабоченность. Поравнявшись с военными, сидевшими на валунах, генерал остановился и, щелкнув каблуками, отдал честь. Представляться почему-то не спешил, и Лукин, нарушив молчание, чуть иронично спросил:

— Кого имеем честь лицезреть?

Генерал будто с некоторым вызовом и необъяснимым чувством превосходства прищурил глаза, но ответить не успел. Его опередил Прохоров, который вдруг зашелся тихим смешком, охнул и неуверенно спросил:

— Городнянский?.. Авксентий Михайлович? Чтоб я пропал — Городнянский!.. Сколько лет, сколько зим!

— Так точно. Генерал-майор Городнянский. Командир сто двадцать девятой стрелковой дивизии девятнадцатой армии,— подтвердил подошедший.

— А дивизия где? — уже с явным вызовом спросил Лукин, наперед вкладывая в свой вопрос горечь, которую, как он полагал, вызовет у него ответ генерала Городнянского.

— Вон в том лесу, в километре отсюда,— кивнул Городнянский.— Два стрелковых и один артиллерийский полк. Сейчас должны подойти еще один стрелковый и один артиллерийский...

Лукин и все, кто был с ним, словно подкинутые невидимой силой, поднялись с валунов, перешагнули через заросшую бурьяном канаву и вышли на дорогу.

— Какая задача дивизии? — со сбившимся дыханием спросил Лукин, горячо пожимая Городнянскому руку.

— Отступаем...

— Ясно, генерал... Я — Лукин... Командарм-шестнадцать. Все части в полосе шестнадцатой армии, согласно приказу командующего фронтом, подчинены мне...

— Я это знаю...

— Надо спасать Смоленск!

— Приказывайте, товарищ генерал-лейтенант.— Городнянский взял под козырек, а затем начал доставать из планшета карту, чтобы нанести на нее задачу для своей дивизии.

Все действительно произошло, как в сказке...

3

Приказав генералу Городнянскому занять полками дивизии оборону в северной части Смоленска по правому берегу Днепра и при этом взять под неослабный огневой контроль подходы к взорванным мостам и другие наиболее опасные направления, Лукин помчался на командный пункт армии. Предстояло нелегкое — доложить командованию фронта о захвате врагом южной части Смоленска и о своем решении. А решение исходило из наличия сил: полкам 46-й стрелковой дивизии генерала Филатова, передав свои оборонительные позиции северо-западнее Смоленска отступавшим в том направлении частям 19-й армии, спешно занять оборону по Днепру левее дивизии генерала Городнянского и оседлать железную дорогу Смоленск — Москва. 152-й стрелковой дивизии полковника Чернышева, которая отбивалась от немецких моторизованных частей, прорвавшихся сквозь оборону 19-й армии, быть готовой отойти в северо-западную часть Смоленска и занять оборону по северному берегу Днепра правее дивизии Городнянского. Оставались еще две дивизии, переданные вчера из таявшей 19-й армии. Одна из них, 127-я, находилась на марше, держа путь на Смоленск; теперь она решением Лукина перенацеливалась на другой рубеж, с которого можно будет ударить по городу. Вторую переданную дивизию, 158-ю, гонцы Лукина продолжали разыскивать, как и части оперативной войсковой группы генерала Чумакова, еще вчера дравшиеся где-то юго-западнее Смоленска. И как надежда на усиление ударной мощи и повышение боевого духа частей армии, которым непременно будет приказано отбить

у врага город,— две тысячи московских коммунистов, протискивавшихся маршевыми ротами к Смоленску со стороны Дорогобужа по Старой Смоленской дороге, пока еще не перерезанной немцами.

Но не до конца получился у Лукина разговор с главнокомандующим. Успел только доложить ему о захвате немцами южной части Смоленска и о взрыве мостов через Днепр, успел также услышать взволнованную тираду Тимошенко о том, что город надо очистить от врага во что бы то ни стало, и связь оборвалась. Но из слов маршала понял главное: принятые им, Лукиным, решения если не наилучшие, то все же разумные в этих условиях...

И начал употреблять власть командующего, включая в действие все сохранившие работоспособность рычаги штаба армии и штабов соединений. В войска понеслись боевые распоряжения...

Бывает, что с песчаного откоса при сдвиге верхнего слоя почвы вдруг потекут десятки и сотни ручейков песка, отчего поверхность откоса будто воскресает после вечного сна, делается живой, стремительно движущейся и даже дымящейся. Так и после усилий штабов частей 16-й армии потекли из лесов и перелесков, с дорог и тропинок живые ручьи и ручейки военного люда, машин, повозок, пушек на конной и мехтяге, устремляясь к Днепру. Шли в дневное и ночное время. На открытых местах, когда в небе появлялись немецкие самолеты, продвигались короткими бросками и перебежками, неся за спиной для маскировки прихваченные поясными ремнями зеленые метлы ветвей. Пережидали, набираясь новых сил, и снова двигались — отделениями и взводами, ротами и батареями... Приблизившись к Днепру, споро и деловито занимали указанные командирами рубежи и готовились к бою — зарывались в землю, если рубежи пролегали по открытому месту, или устраивали бойницы, если оборона проходила по линии каменных или деревянных, высившихся в развалинах и пепелищах домов вдоль Днепра.

И вдруг на узле связи командного пункта ожила телеграфная линия, соединявшая 16-ю армию со штабом фронта. Застрекотал буквопечатающий аппарат Бодо, и поползла на откидную столешницу белая змейка ленты, испятнанная словами... По звонку начальника связи армии через несколько минут генерал Лукин был в землянке аппаратной. Вслед за ним пришли дивизионный комиссар Лобачев и полковник Шалин.

Передавался приказ маршала Тимошенко.

Первые же слова приказа, которые прочитал Михаил Федорович с ленты, будто ударили его в самое сердце и обожгли лицо. Вначале Тимошенко излагал решение Государственного Комитета Обороны, которое и потрясло Лукина. Москва обвиняла командный состав частей Западного фронта в том, что он, командный состав, проникнут эвакуационными настроениями и легко относится к вопросу об отходе войск от Смоленска и сдачи Смоленска врагу. Если эти настроения соответствуют действительности, бесстрастно, слово за словом, говорила телеграфная лента, то подобные настроения Государственный Комитет Обороны считает преступлением, граничащим с прямой изменой Родине...

Далее Тимошенко сообщал, что Государственный Комитет Обороны потребовал от него железной рукой пресечь подобные настроения, позорящие боевые знамена Красной Армии, а затем изложил задачу 16-й армии; она почти не расходилась с той, которую Лукин уже поставил своим дивизиям и которая уже выполнялась.

Прочитав до конца приказ, Лукин будто надел на глаза чужие очки и увидел все вокруг себя в другом свете. Колючие, причиняющие боль мысли захлестнули его и будто выключили на какое-то время из бытия. Михаил Федорович, кажется, позабыл, где он и кто рядом с ним. Стал задавать себе вопросы — один страшнее другого...

Кого имеет в виду Государственный Комитет Обороны? Ведь речь идет о Смоленске... Значит, его, генерала Лукина, его штаб и командиров частей истекающей кровью 16-й армии.

В армии на строгость приказов не принято обижаться, не полагается и обсуждать их. Но что с сердцем делать, коль кричало оно немым криком от обжигавших мыслей: ведь немцы действительно в Смоленске и рвутся через Днепр, о чем Москва еще не знала.

Михаил Федорович тут же, в землянке узла связи, составил ответную телеграмму Военному совету Западного фронта в форме боевого донесения. Подписали ее все трое: Лукин, Лобачев и Шалин — три главных человека, отвечавшие за выполнение армией боевых задач.

Вышли из землянки и, не сговариваясь, присели на толстый ствол березы, сваленной вчера взрывом фугаски. Задымили папиросами. Молчали, каждый думая об одном и том же. Рокот боя доносился сюда со всех сторон и даже, казалось, из-под самой земли.

Первым заговорил дивизионный комиссар Лобачев. Спокойно, по-мужицки рассудительно он сказал будто сам себе:

— Приказы в Красной Армии не обсуждают, а выполняют. Это — закон.

— Кто же обсуждает? — обидчиво удивился Лукин.

— Лично я... Да-да, я обсуждаю этот приказ!.. — Лобачев с ухмылкой покосился на командарма, затем на начальника штаба.

— Этого от тебя я не слышал! — строго сказал Лукин.

— Я тоже.— Шалин закашлялся, выдохнув облако табачного дыма.

— Оглохли, значит? — Лобачев удовлетворенно засмеялся.— От бомбежки или от боязни посмотреть правде в глаза?

Лукин вдруг придавил каблуком сапога недокуренную папиросу и с нарастающим раздражением упрекнул Лобачева:

— Не люблю, комиссар, когда ты в загадки играешь!.. Сейчас не до ребусов!

— Так вот, без загадок и ребусов.— Лобачев спокойно посмотрел на собеседников: — Мы доложили Военному совету фронта о принятых мерах для удержания северной части Смоленска и о том, что делаем все возможное, чтобы выбить фашистов из южной... Так ведь?.. Но мы ни словом не обмолвились о предъявленных нам обвинениях.

А молчание — знак согласия... Я же не согласен... Но главное в другом.

— В чем же? — озадаченно спросил Лукин.

— В том, что в боевых условиях нагонять на командиров Красной Армии, как и любой другой армии, чрезмерный страх — не мера для достижения успеха. Страх лишает людей здравомыслия... От испуганного командира пользы мало, а его страх обязательно передастся еще и подчиненным ему людям. Он, этот страх, проявится в неуверенных действиях войск...

— Не томи! — прервал Михаил Федорович Лобачева.— Что ты хочешь, в конечном счете?..

— Хочу напроситься на разговор по прямому проводу с членом Военного совета фронта товарищем Булганиным.

— Много бы я дал, чтобы услышать, как тебе ответят с другого конца провода! — Лукин рассмеялся, кажется, искренне, растворив в смехе накопившееся напряжение.— О чем ты говоришь, Алексей Андреевич?! Я еще западнее Шепетовки насмотрелся на испуганных людей!.. Страх позади! Там, где слово «окружение» порождало панику.

— Я совсем о другом! — Лобачев развел руки.— Я о страхе командира перед ответственностью за принятое им решение. А полученный нами приказ такую боязнь может породить...

— Ну, иди вызывай товарища Булганина.— Лукин поднялся, чтобы уйти в автобус.— Хотя ты и прав, но только частично. Ведь приказ о предании суду прежнего командования Западного фронта во главе с генералом армии Павловым, хотя их до смерти жалко, не поверг нас с тобой в ужас?! Встряхнул как следует командирский корпус Красной Армии! И привел кое-кого в нужное состояние!.. Так почему этот приказ главкома не сделает полезного дела?.. С нас строго требуют, и мы покрепче будем требовать...

— Я тебе, Михаил Федорович, о духе приказа, а ты о букве. Я об опасности породить в армии страх как самое острое из всех чувств человека. О ней, этой опасности, помнили полководцы всех времен и народов... Известно, например, что того, кто бежал с поля боя, даже не столкнувшись с врагом, наиболее трудно заставить вернуться в бой. Быстрее вернется тот, кто уже видел врага, дрался с ним и пусть даже был побежден. Быстрее пойдет в атаку и тот, кто еще совсем не видел врага. Иным страх более нестерпим, чем сама смерть!..

Генерал Лукин ничего не успел ответить на эту пространную тираду. Перед ним встал, выйдя из землянки, бледнолицый и тощий лейтенант с красной повязкой на рукаве. Обратившись к генералу, как положено по уставу, он передал ему пахнущий казеиновым клеем бланк с телеграфным текстом. Лукин читал телеграмму долго, будто расшифровывая. Затем хмыкнул и протянул ее Лобачеву:

— Тут нечто, подтверждающее твою философию от сегодняшнего дня.— Слова Михаила Федоровича прозвучали с ироничной грустью.

Лобачев прочитал вслух:

— «Малышева, взорвавшего мосты через Днепр и помешавшего

восстановлению положения в Смоленске, арестовать и доставить в штаб фронта...» Подпись: «Прокурор фронта...»

— Но ведь полковник Малышев поступил согласно нашему приказу,— напомнил полковник Шалин.— Я вместе с начальником инженерной службы готовил бумагу... Правда, мы сказали тогда Малышеву, что приказ вступит в силу после того, как штаб фронта даст «добро»...

Завластвовало удручающее молчание, будто все чувствовали себя в чем-то виноватыми и устыдились друг друга.

— Подготовьте прокурору объяснительную телеграмму,— прервав молчание, хмуро приказал Лукин начальнику штаба, а затем уставил чуть насмешливый взгляд на Лобачева: — Пророк с комиссарской звездой...

— Почему бы и не пророк? — В голосе Лобачева зазвучал смех.— Я однажды напророчил самому товарищу Ленину!

— Ну, так сильно не загибай,— предостерег Лукин, однако посмотрел на Лобачева поощрительно, ибо любил слушать его рассказы о трудном сиротском детстве, голодной, но боевой юности, и особенно о том периоде, когда Алексей Андреевич был кремлевским курсантом, не раз стоял на посту № 27 у квартиры Ленина и многажды видел и слышал вождя.

— Не совсем, конечно, Ленину,— поправился Лобачев,— а моим друзьям, которые хотели упростить Владимиру Ильичу процедуру уплаты им партийных взносов...

Послышался нарастающий гул моторов. Он ширился, будто заполняя все пространство вокруг, звучал все отчетливее и устрашающе: почти на бреющем полете шла вдоль магистрали Минск — Москва видимая сквозь плетение ветвей деревьев шестерка «юнкерсов». Зенитчики, прикрывавшие этот лес, не открывали огня по столь заманчивой цели: нельзя было демаскировать штаб армии, пока над ним не нависла прямая угроза.

— Прошли... Продолжайте, Алексей Андреевич,— поторопил Лобачева полковник Шалин, взглянув на наручные часы: он, как и все начальники штабов, постоянно испытывал недостаток во времени и безмерно дорожил им.

— Так вот! — Лобачев потер от удовольствия руки, видя, с каким интересом его слушают.— У нас в Кремле был свой подрайком партии. Там состояли на партийном учете также наши командиры и курсанты. И Ленин там состоял. И вот наш командир роты Григорий Антонов, а он был казначеем в подрайкоме, говорит однажды: «Владимир Ильич самый дисциплинированный плательщик членских партийных взносов. А ведь он очень занят. Что, если я предложу ему присылать с деньгами своего секретаря?» Я возьми да и скажи тогда Антонову: «Товарищ Ленин ответит, что коммунист никому не должен доверять свой партийный билет...» И именно эти самые слова сказал Владимир Ильич Антонову. Честное слово!

— Интересный факт,— серьезно заметил Лукин.— Теперь мы будем величать тебя не только членом Военного совета, но и главным пророком армии.

— А знаете, почему я угадал ответ Ленина?..— разгоряченно спросил Лобачев.— Однажды в кремлевской парикмахерской я попытался уступить очередь Владимиру Ильичу: «Садитесь, Владимир Ильич. Я подожду». А он в ответ: «Очередь — это порядок. Она для того и существует, чтобы ее все соблюдали». И усадил меня в кресло... Это, братцы мои, была самая долгая в моей биографии стрижка...

4

А ночью поступила еще одна телеграмма от маршала Тимошенко. По ее содержанию генерал Лукин утвердился в догадке, что в штабе фронта царит крайне напряженная атмосфера, а сам Тимошенко испытывает чрезмерную нравственную усталость. И еще мнилась Михаилу Федоровичу чья-то активная предвзятость «в верхах» по отношению лично к нему. Лукину казалось, что, будь на его месте другой командарм, с иной судьбой, не стал бы Военный совет пугать его судом военного трибунала, если армия, которой он командует, не отобьет у немцев Смоленск. И эта догадка лишала последних сил, ибо когда вырывал час для сна, мысли с тиранической беспощадностью вновь и вновь обращались к последним телеграммам и тут же, рождая в сердце боль, уносили в совсем недавнее прошлое.

Впрочем, это недавнее уже маячило в памяти до неправдоподобия далеко, будто в полузабытых сновидениях. А вот мучило, бередило душу, перекидывалось зыбким мостком в сегодняшний день и объединялось с грезившейся бедой, может, даже такой тяжкой, какая случилась с первым командующим Западным фронтом генералом армии Павловым и его ближайшими соратниками.

Душевные травмы всегда пробуждают страстную энергию памяти. До сих пор не мог Михаил Федорович смириться с несправедливостью, испытанной в 1937 году. Часто память возвращала его в те времена, когда он, военный комендант Москвы, был привлечен к партийной ответственности за «притупление классовой бдительности». Все началось с чьего-то письма из Харькова, утверждавшего, будто комбриг Лукин, являясь с 1929 по 1935 год командиром стрелковой дивизии в Харькове, поддерживал там дружеские связи с начальником управления железной дороги и одним из политработников военного округа, которые потом были разоблачены как враги народа.

Так родилось на свет его персональное партийное дело.

Вначале Михаил Федорович воспринял это как нелепость. Да и все вокруг благодушно посмеивались: нашли, мол, повод для промывания косточек коменданту столицы. Но вот открылось собрание. Докладчик начал почему-то страстно и довольно картинно рисовать ситуацию: командира дивизии Лукина, как выяснилось, опутали дружескими связями ныне разоблаченные враги народа. Будучи военным комендантом Москвы, он скрыл это. К чему все могло

привести?.. И пошла писать губерния... Докладчика стали дополнять вдруг «прозревшие» выступающие, воображение всех распалялось все больше... Между Лукиным и собранием образовалась пустота, и ее постепенно будто заливали бетоном отчуждения. Бетон твердел, и пустота превращалась в непреодолимую стену враждебности или настороженности по отношению к Лукину. И в итоге образовался монолит общественного мнения, порушить который было трудно. Каждый участник собрания в отдельности потом не в силах был понять, как вырос сей «монолит», на чем держалась его порочная твердь. И что удивительно: сам «подсудимый» в какое-то время тоже ощутил себя в чем-то виноватым, даже устыдился своей вины, хотя и не понимал ее сути... Так из ничего родилось все, хотя сам Платон, ученик Сократа, утверждал, что все состоит из всего.

Явись тогда на партийное собрание пусть один человек с просветленным взглядом на положение вещей, и все увиделось бы в ином свете, многое стало б ничтожным и смешным... Такого не случилось. В итоге — строгое партийное взыскание, а затем отстранение от должности военного коменданта Москвы.

Только со временем, проведя несколько месяцев в тревожном безделье, в мучительных размышлениях, комбриг Лукин усилиями маршала Ворошилова был направлен на штабную работу в Сибирский военный округ. Терпеливо снес тогда обиду, ибо то было смутное время, требовавшее горькой дани даже при абсурдных обвинениях. Родилось оно, как понимал Лукин, усилиями тайных врагов, карьеристов и в результате прямых ошибок иных обладавших властью, допускавших злоупотребления не только индивидуальной, но и социальной силой. Иные слои общества забродили тогда от дрожжей недоверия: кое-кому мнились затаившиеся враги даже там, где их вовсе не было и не могло быть. И часто обвинялись безвинные; тогда рушились судьбы честных людей, разверзалась пропасть перед целыми фамильными династиями... Не обошло это черное поветрие и армию, обнажив многие командные высоты и нанеся вред военному могуществу государства...

В начале 1940 года Москва затребовала на генерала Лукина партийную характеристику: готовилось его назначение командующим 16-й армией. И вновь пришлось испить ему горькую чашу обиды: несколько часов обсуждало партийное собрание «политическое лицо» коммуниста Лукина. Опять было разворошено все старое и через замутненность давних событий, с незнанием подспудности истин, просмотрен каждый последующий шаг генерала. Сказалось и то, что характер у него был крутоват: уже за время пребывания в Сибирском военном округе на постах заместителя начальника штаба, начальника штаба, а затем заместителя командующего Михаил Федорович успел кое-кому «насолить» — усложнить жизнь своей строгой требовательностью и непреклонностью в службе. Но правда восторжествовала: вскоре он стал командармом.

И вот здесь, под Смоленском, опять камень на сердце, будто кинутый из прошлого. Ему шлет Военный совет шифровку, в которой требует выбить немцев из Смоленска и угрожает, что в случае

невыполнения приказа его ждет суд военного трибунала. Как же это понять? Ему не верят, что он никак не может при наличии столь малых сил вернуть Смоленск? Значит, его ждет такая же судьба, как и Павлова? Это уже даже не обижало, а ожесточало. Генерал армии Павлов ведь действительно в преддверии войны и в ее первые дни далеко не все сумел сделать так, чтобы наземные и воздушные силы Западного фронта не понесли столь больших потерь... А он, генерал-лейтенант Лукин, кое-что успел сделать еще до прибытия сюда, под Смоленск. Мог бы и гордиться сделанным на Юго-Западном фронте, в Шепетовке, в самые первые дни войны. Ведь его «шепетовские» решительные и рискованные действия, принесшие в итоге огромную пользу Юго-Западному фронту, были замечены высшим командованием... Но на войне высшему командованию часто не хватает времени оглядываться во вчерашний день. И вот эта жестокость приказов и многозначительность телеграмм...

5

Если есть история событий в их причинных связях и их взаимообусловленностях, то и есть подобного склада история человеческих чувств и отношений. Генерал армии Жуков, деятельность которого как начальника Генерального штаба каждый день получала оценку Государственного Комитета Обороны, чаще всего в лице Сталина, иногда задумывался над тем, как и из чего сложились его суждения об этом первом в партии и в государстве человеке, как созрели те сложные чувства к Сталину, которые испытывал почти каждый раз, готовясь к встрече с ним. А встречаться с Председателем ГКО, не считая телефонных переговоров, приходилось дважды в сутки, когда докладывал в Кремле не только все то главное, происшедшее на фронтах, изученное и обобщенное Генеральным штабом как рабочим органом Ставки, но также излагал созревшие выводы, предположения и проекты очередных оперативно-стратегических решений.

А донесения с фронтов ничем не радовали. Наши потери росли, и враг на многих направлениях все глубже вгрызался в советскую территорию. Поэтому атмосфера в кабинете Сталина часто оказывалась до предела наэлектризованной, и Жуков нередко уходил от него, ощущая напряжение каждого нерва, каждой клетки тела. На резкости в высказываниях Сталина сам часто отвечал резкостями, зато каждая похвала Сталина по его адресу, каждое согласие с предлагавшимися Генштабом оперативными решениями окрыляли Жукова, придавали ему уверенности, пробуждали новую энергию к действию и к поискам мысли.

Но все-таки не объяснить словами его чувства к Сталину из-за их многосложности и некоторого непостоянства. Когда Жуков размышлял над этим, часто вспоминал самую первую встречу с ним. Она имела предысторию, связанную с событиями весны и лета 1939 года на Дальнем Востоке. Жуков, тогда заместитель командующего войсками Белорусского военного округа, был срочно

вызван в Москву, к Народному комиссару обороны Ворошилову, который сообщил ему о том, что Япония напала на Монголию, а Советский Союз, согласно договору с Монголией, должен оказать ей военную помощь. Потом маршал Ворошилов спросил: «Можете ли вылететь туда немедленно и, если потребуется, принять на себя командование войсками?»

Жуков бегло взглянул на стол для заседаний, покрытый картой Монголии, увидел начертанную восточнее реки Халхин-Гол линию вторжения японских войск. Он, разумеется, знал, что кульминация полководческой мудрости — это правильное решение, вытекающее главным образом из знания противника и своих войск. Ни первого, ни второго у него пока не было, но, повинуясь зову своего характера идти навстречу трудностям и опасностям, тут же ответил: «Товарищ маршал, готов вылететь хоть сию минуту!»

Жуков полагал, что после этого его пригласят в Генштаб, там начнется сидение над картами, изучение оперативно-тактических приемов действий японских войск. А затем будет встреча со Сталиным. Ничего подобного не случилось...

«Очень хорошо,— удовлетворенно сказал ему Ворошилов,— самолет для вас будет подготовлен на Центральном аэродроме к шестнадцати часам...»

Чем завершились сражения на Халхин-Голе — всем известно. Красная Армия отбила у Японии охоту мериться силами, заставила ее поостеречься нападать на СССР вслед за фашистской Германией... Лично же Жуков показал свое истинное полководческое искусство, свою волю и целеустремленность, по праву заслужив звание генерала армии и Героя Советского Союза.

Со временем его вызвали в Москву для назначения на новую должность и тогда лишь впервые пригласили в Кремль.

Узнав, что предстоит встреча со Сталиным, Георгий Константинович испытал такое волнение, какого, кажется, никогда не испытывал. Не потому, что был наслышан о сложности и загадочности характера Сталина. Он размышлял о Сталине как верном соратнике Ленина, мудром продолжателе его учения и военно-политическом стратеге с железной волей и непостижимой глубиной ума.

В кабинете Сталина также увидел Молотова, Калинина и Ворошилова. За чаем началась беседа, в которой ему, тогда сорокачетырехлетнему генералу армии, была отведена главенствующая роль. Все очень внимательно слушали оценочные размышления Жукова о японской армии, ее сильных и слабых сторонах, а также о том, как действовали в боях с самураями войска Красной Армии. Члены Политбюро задавали вопросы, и Жуков свободно и раскованно отвечал на них. Но вдруг Сталин спросил о неожиданном:

— Как помогали вам Кулик, Павлов и Воронов?

Жукову почудилось, что в этом вопросе крылась какая-то опасность для него, и по велению своего характера поспешил ей навстречу, кинув озадаченный взгляд на Ворошилова. О помощи пребывавших во время боевых действий на Халхин-Голе Павлова, как начальника Автобронетанкового управления Красной Армии, и Во-

ронова, как начальника артиллерии, Жукову было что сказать членам Политбюро. Он действительно ощущал их присутствие и помощь. А о маршале Кулике, заместителе наркома обороны?.. Уклоняться от правды он не умел. И, еще раз взглянув на Ворошилова, продолжил с сумрачностью в голосе:

— Что касается маршала Кулика, то я не могу отметить какую-либо полезную работу с его стороны...

Сталин, до этого прохаживавшийся по кабинету, вдруг остановился. Выдохнув облако табачного дыма, он чуть наклонился к Жукову и, притронувшись мундштуком трубки к его плечу, кажется, заглянул в самую душу. Этот пронизывающий взгляд показался Георгию Константиновичу нестерпимо долгим. Шевельнулось в глубине сердца ощущение виноватости перед Ворошиловым. Но взгляда не отвел от золотистых глаз Сталина и ничем не выразил чувства виноватости... Потом уловил, как под густой проседью усов Сталина промелькнула улыбка, и, не поняв ее значения, внутренне ощетинился, собираясь обосновать свою оценку деятельности Кулика. Но вопросов больше не последовало. На прощание ему все горячо и почтительно пожимали руку.

Возвращался из Кремля в гостиницу «Москва» словно в легком опьянении. Даже не верилось, что только сейчас слышал он негромкий голос Сталина, примерял свои суждения к его мыслям и взглядам, касавшимся военных дел... Он долго не мог уснуть в ту памятную ночь, тщетно убеждая себя — нет ничего удивительного, что Сталин так профессионально разбирается в оперативном искусстве и военной стратегии. Ведь еще в гражданскую войну, когда Жуков был только рядовым красноармейцем, Сталин уже принимал участие в разработке крупных военных операций. С его именем связаны победы Красной Армии при обороне Царицына, над силами Деникина. Вспомнилось знаменитое письмо Сталина с Южного фронта, адресованное Ленину...

Да, действительно есть история событий и есть история чувств. Но у той и другой истории нет ни начала, ни конца, ибо сила человеческой памяти не столь велика, чтобы постигнуть бесконечность прошлого; и никому не дано заглянуть далеко за порог будущего...

Вспышка гнева Сталина, вызванная вестью о взятии немцами Смоленска, суровые слова, сказанные им по этому поводу начальнику Генерального штаба Жукову, как бы задали тон некоторым директивам и приказам, понесшимся в эти дни в нижестоящие штабы. Жесткие в формулировках задач и крутые в оценках действий войск, они, несомненно, нагнетали атмосферу напряженности в штабах фронтов и армий, что не лучшим образом сказывалось на деятельности командного состава. Генерал армии Жуков остро почувствовал это при последнем телефонном разговоре с маршалом Тимошенко, который сумрачно заявил, что, с его точки зрения, командармы Лукин и Курочкин заслуживают своими действиями высокой похвалы,

а он вынужден, опираясь на приказы свыше, пугать их судом военного трибунала...

Конечно же, о каком суде могла идти речь, когда вся война с ее страшным размахом стала гигантским судилищем над целыми народами, державами, социальными системами! Приговор этого судилища неторопливо вызревал в кровавом соперничестве огромных армий, опиравшихся на могущество огня, железа и на силу человеческого духа. Жуков понимал, что если Тимошенко и не задумывался так о войне в целом, то не мог не уяснить главного: для Лукина, Курочкина, для всех их штабов и войск, продолжавших сражаться за Смоленск, ведя бой в оперативном окружении, ничто уже не могло быть более страшным.

Направляясь на очередной доклад к Сталину, Жуков намеревался поговорить с ним и об этом — надо было каким-то образом ослабить напряженность в штабах, не снизив их оперативности в управлении войсками. Хорошо бы, если б при докладе Жукова присутствовали члены Политбюро — пусть даже один Молотов, который чаще других заступался перед Сталиным за военных.

Когда ехал из Генштаба в Кремль, успел поразмышлять о том, что разгневанный, уязвленный Сталин ему понятнее — он тогда больше похож на других людей. И у Жукова всегда находились слова, чтобы если и не умерить его гнев, то напомнить: они вместе отвечают за Вооруженные Силы и что адресованные ему, Жукову, упреки относятся и к самому Сталину.

6

Сегодня в кремлевском кабинете Сталина, как и каждый день, вершились самые разнообразные дела, связанные с войной, которая и в Кремле уже была суровой будничностью. За длинным столом с зеленым суконным покрытием сидели Молотов и Шахурин, а Сталин, повернувшись к ним спиной, стоял у своего рабочего стола и разговаривал по телефону с горьковским заводом «Красное Сормово». На другом конце провода был нарком танковой промышленности Малышев.

Тем временем Молотов перечитывал копию личного послания Сталина премьер-министру Великобритании Черчиллю, которое 18 июля было передано в посольство Советского Союза в Лондоне. В этом документе — ответе на два июльских письма Черчилля — Сталин, сообщив о трудном положении советских войск, подвергшихся внезапному нападению Германии, высказал пожелание о скорейшем открытии Великобританией второго фронта против Гитлера. Сейчас Кремль с напряженным нетерпением ждал ответа из Лондона, и Молотов, строя догадки о содержании ожидавшегося ответа, мысленно прокладывал новые направления усилий советской дипломатии.

А наркома авиационной промышленности Шахурина одолевал сон. Последние несколько суток Алексей Иванович почти не спал,

снуя, как ткацкий челнок, между своим наркоматом, конструкторскими бюро и авиационными заводами: везде требовались его глаз, вмешательство, помощь. Перед Шахуриным высилась кипа секретных документов; сверху — бумага со сводными данными о построенных за неделю авиамоторах и самолетах. Он силился вникнуть мыслью в некоторые цифры, но машинописный текст на листе бумаги расплывался перед слипавшимися глазами, а голова клонилась к столу... Тогда он откинулся на спинку стула и стал вслушиваться в разговор Сталина с Малышевым.

Мембрана в трубке телефонного аппарата высокой частоты, которую держал у уха Сталин, резонировала, и из нее изредка вырывались всплески знакомого Шахурину голоса. А может, голос Малышева сам по себе воскресал в его затуманенной дремой памяти? Скорее, что так, ибо Шахурин, смежив веки, будто увидел Малышева рядом с собой, но почему-то уже в зале заседаний Совнаркома. Малышев придвигал к нему блокнот с какими-то записями и вытирал платком свой большой лоб с глубокими залысинами, ероша при этом густые брови над крупными, светившимися глубоким умом глазами. Они были спокойны, улыбчивы и придавали его интеллигентному лицу безмятежность. И будто услышал Шахурин слова, сказанные ему Малышевым давно — еще до войны: «Алексей Иванович, нам еще далеко до сорока лет, а мы с тобой будто старики, кроме своих наркоматов и заводов, ничего не знаем... Давай хоть соберемся с женами да выпьем по-христиански, песни споем...»

И вдруг полилась песня, зазвенел, заиграл высокий мужской голос. Шахурин понял, что это поет Сталин; ведь он от кого-то слышал, что у Сталина красивый, высокий голос, совсем не похожий на тот, которым он разговаривает...

Алексей Иванович проснулся от легкого толчка в бок. Вскинув голову, открыл глаза и увидел устремленный на него смеющийся взгляд Молотова.

— Будете после войны писать мемуары,— шепотом сказал ему Молотов,— не забудьте рассказать, как спали в кабинете Верховного Командующего... Этого еще никому не удавалось...

Шахурин, окончательно сбросив дрему, со смущением ответил:

— Три ночи не спал... Гоним новый самолет...— И осекся, увидев, что Сталин повернул к ним голову и в глазах его сверкнула строгость.

Только сейчас до Шахурина стал доходить смысл телефонного разговора Сталина с Малышевым.

— Да-да!.. Мы вам доверили, товарищ Малышев, организацию новых центров танковой промышленности,— говорил Сталин с заметным грузинским акцентом.— И ЦК надеется, что сейчас, когда часть нашей броневой базы находится под ударами авиации врага, вы, как нарком танковой промышленности, разумно распорядитесь тем, что у нас имеется в Москве, в Подмосковье и на заводах Поволжья...

В дверях кабинета бесшумно появился и застыл на месте Поскребышев — с усталым лицом и красноватыми белками глаз от постоянного недосыпания. Сталин будто увидел его затылком и повернулся

лицом к двери. Коротко взглянув на Поскребышева, потом на настенные часы над дверью, он чуть заметно кивнул Поскребышеву, и тот, сверкнув лысиной в солнечных лучах, падавших в окно, исчез... В кабинет тут же вошли начальник Генерального штаба Жуков и сопровождавший его генерал с разбухшим портфелем в руке. Приветственно щелкнув каблуками блестевших черным глянцем сапог, они, видя, что Сталин стоит спиной к двери, присели к столу. Генерал, расстегнув толстый коричневый портфель, стал выкладывать из него на зеленое сукно стола карты и документы.

А Сталин между тем продолжал говорить в телефонную трубку:

— Товарищ Малышев не должен ошибаться, какой танк поручить выпускать Горьковскому заводу, какой Коломенскому. Сейчас фронту нужны тридцатьчетверки и КВ...

Сталин умолк, и уже не в усталом воображении Шахурина, а из телефонной трубки слышался ему приглушенный голос Малышева:

— Товарищ Сталин, надо помочь Главному автобронетанковому управлению в ремонте танков... На фронтах еще не все понимают, что подбитый танк — это не утиль, не отходы войны... Танк очень редко уничтожается целиком... Это — тысячи деталей... Из трех танков можно возродить один-два.

— В чем должна выразиться наша помощь? — спросил Сталин.

— Прикажите товарищу Мехлису мобилизовать фронтовых политработников для разъяснения этого всем бойцам и командирам. Ускорение ремонта поможет нам заполнить паузу в выпуске новых танков, пока идет эвакуация на восток заводов и их развертывание на новых местах...

— Хорошо. До свидания, товарищ Малышев.— Сталин положил на аппарат трубку, взял синий карандаш и, наклонившись над столом, сделал на календаре запись.

Жуков и его помощник, видя, что Сталин освободился, встали.

— Садитесь, товарищи военные.— Сталин махнул им рукой и, глядя на Шахурина, скупо улыбнулся. Затем сказал: — А кое-кто жалуется на строгость товарища Сталина...— Он выразительно взглянул на Жукова: — Какая же это строгость, скажите на милость? Приходят наркомы к нему в кабинет с отчетами и... укладываются спать... Мы вам не помешали, товарищ Шахурин?..

— Извините, товарищ Сталин.— Алексей Иванович чувствовал себя, как провинившийся школьник.— Больше такого не повторится.

— Ничего, бывает. Знаю, что не легко вам... Так на чем нас прервал товарищ Малышев телефонным звонком? — Сталин устремил на Шахурина уже серьезный, требовательный взгляд.

— Вы говорили о роли заместителей наркомов,— напомнил Алексей Иванович.

— Да... Так вот, и у вас прекрасные заместители!.. Дементьев, Яковлев, Хруничев, Воронин... Великолепные специалисты и хорошие партийцы. Вот они и должны посещать отдаленные заводы, опытные аэродромы и конструкторские бюро... По вашему распоряжению. Ну зачем вам было самому лететь в Рыбинск?

— Там на заводе разгорелся конфликт между конструкторами и производственниками,— пояснил Шахурин.

— Конфликт мог прекрасно уладить товарищ Патоличев *. Он организатор высшего класса, хорошо работает с людьми, с ходу умеет вникнуть в дело.

— Верно. Не подумал я...

— Давайте договоримся твердо: без моего ведома вы из Москвы не отлучаетесь. И лично на вас в числе прочих обязанностей лежит ежедневный отчет перед ЦК и Совнаркомом... Письменный отчет!.. О выпуске самолетов и моторов. И не простой отчет о собранных самолетах, а о проверенных в воздухе — облетанных и отстрелянных...

— Все ясно, товарищ Сталин.— Шахурин встал и начал складывать в портфель бумаги.

Алексею Ивановичу хотелось послушать доклад Жукова о положении на фронтах, но в приемной наркомата его ждали «гонцы» с заводов, да и видел, что Сталин уже будто забыл о нем и подошел к другому краю стола, где были развернуты карты.

Генерал армии Жуков, поняв, что Сталин переключился мыслями на фронтовые дела, решил сказать ему то, о чем намеревался.

Но Сталин упредил:

— Однажды мы толковали за обедом, что не надо сердиться на Сталина, когда он ругает товарища Жукова.— Он поднял зажатую в правой руке потухшую трубку, будто призывая к вниманию.— Сталин ругает Жукова, а Жуков ругает командующих фронтами и армиями, и дело идет лучше. Но нельзя ругать Жукова и командующих до такой степени, чтоб деятельность их сковывалась и дело шло хуже...

Жуков внутренне содрогнулся: ведь он сам собирался — может, в иной форме — сказать эти же слова Сталину.

— Так что передайте товарищу Тимошенко, чтоб он излишне не ругал Лукина, Курочкина и Конева. Более того, пусть представит их к высоким правительственным наградам; возможно, это поможет Лукину и Курочкину вышвырнуть немцев из Смоленска...

— Вы правы, товарищ Сталин...— только и нашелся Жуков.— Разрешите докладывать?

— Одну минуту.— Сталин повернулся к Молотову: — Будет полезно, если начальник Генерального штаба познакомится с нашим письмом Черчиллю.— Затем пояснил Жукову: — Мы предложили английскому премьеру поторопиться с открытием второго фронта.

— Даже указали устраивающие нас возможные варианты его создания,— уточнил Молотов.

— Простите, я не очень понял.— Жуков нахмурил брови, и глаза его сузились, потемнели.— И вам не потребовалась для этого точка зрения Генерального штаба?

Сталин и Молотов переглянулись, будто не зная, как реагировать на слова генерала армии.

---

* Н. С. Патоличев — в то время первый секретарь Ярославского областного комитета партии. (*Прим. авт.*)

— Есть ведь оперативно-стратегические целесообразности...— Жуков испытывал неловкость и с трудом подбирал слова.— Они могли быть вам неизвестны...

Сталин досадливо усмехнулся, сунул в рот мундштук трубки и успокоительно сказал:

— Мы пока исходили из целесообразностей политической стратегии... Из изученных нами факторов.

— В порядке военно-политического зондажа,— добавил Молотов и открыл одну из своих папок.— Вот, Георгий Константинович, можете познакомиться с личным посланием товарища Сталина господину Черчиллю.

От Жукова не ускользнуло чуть заметно сделанное Молотовым ударение на словах «личным посланием», и он тут же сказал:

— Я не дипломат... Раз существует форма обменов между главами правительств личными посланиями, может, Генштаб действительно тут ни при чем.

— Читайте,— требовательно сказал Сталин и, повернувшись к Жукову спиной, медленно направился к своему рабочему столу.

Жуков взял две странички с четким машинописным текстом и про себя начал читать:

«Разрешите поблагодарить Вас за оба личных послания.

Ваши послания положили начало соглашению между нашими правительствами. Теперь, как Вы выразились с полным основанием, Советский Союз и Великобритания стали боевыми союзниками в борьбе с гитлеровской Германией. Не сомневаюсь, что у наших государств найдется достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить нашего общего врага...»

Затем Сталин сообщал премьер-министру Великобритании, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным, и объяснял причины этому...

«Мне кажется, далее,— писал он,— что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских воздушных и морских сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда около

одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев.

18 июля 1941 года».

— Все логично, товарищ Сталин... Мысль к мысли, как патроны в обойме.— Жуков по-прежнему испытывал неловкость за высказанное недоумение по поводу того, что к выработке вариантов открытия второго фронта не были привлечены специалисты Генерального штаба. Генштабисты ведь действительно изучали возможность вооруженных сил Великобритании нанести где-либо серьезный удар по немецко-фашистским войскам.

— Патроны в обойме — это хорошо сказано.— Сталин смотрел на Жукова с чуть заметной улыбкой.— А ваш вопрос, почему мы не прибегли к помощи Генштаба, логичен. Впредь в переговорах с союзниками о втором фронте и их помощи нам мы будем опираться не только на Генштаб, но и на всю вычислительную службу наших наркоматов, работающих на оборону.

— И на запросы главного интенданта Красной Армии товарища Хрулева,— добавил Молотов.

— Интересно, товарищ Сталин, как откликнутся англичане на ваши предложения,— сказал Жуков, с удовлетворением восприняв услышанное.

— Не спешат откликаться.— Молотов похлопал рукой по папке с бумагами.— Они сейчас, как я полагаю, с особой тщательностью собирают и суммируют информацию о положении дел на наших фронтах, опираясь главным образом на немецкие источники. И сравнивают с нашей информацией... И, я думаю, ждут, как поведет себя Москва после первых бомбардировок. Выстоит ли, мол?..

— Да, ждут результатов бомбардировок,— согласился Сталин.— Геринг и Гитлер особенно в последние дни яростно грозятся тотально разгромить Москву бомбардировкой с воздуха и утопить ее в море огня. Возможно, эта угроза пугает англичан, познавших на себе силу ударов немецкой авиации. Они, возможно, боятся, что и мы с вами не уцелеем, и им тогда не с кем будет вести переговоры...— Сталин вдруг умолк и, глядя на Жукова, будто с трудом подбирал дальнейшие слова.— Еще четвертого июля один разведывательный самолет немцев проник в небо западных окраин Москвы. С тех пор они непрерывно ведут воздушную разведку...

— Да, товарищ Сталин. Посты ВНОС * уже зарегистрировали около девяноста разведывательных полетов в направлениях Москвы,— подтвердил Жуков.— Девять самолетов прорвались в район города... Летчиками нашего 6-го истребительного авиакорпуса сбито несколько «хейнкелей»... Один таранен...

— Сбить несколько воздушных немецких разведчиков из девяти десятков — негусто,— задумчиво сказал Сталин и приблизился к одно-

* ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь.

му из окон, выходящих на Арсенал *. — Это не очень соответствует нашему убеждению, что советская военная наука глубоко разработала тактику противовоздушной обороны крупных административных и промышленных центров.

Жуков хотел объяснить Сталину, что у немцев разведывательные самолеты новейшей конструкции. К тому же, как показали сбитые и пленные немецкие летчики, их облегчают до предела: заправляют строго ограниченным количеством бензина, снимают часть вооружения, сажают за штурвалы самых легких по весу пилотов. Этим достигают высоты полетов свыше восьми километров. Но Сталин, продолжая смотреть в окно, упредил Жукова:

— Докладывайте... Какие изменения на фронтах?

Процедура доклада суммированных Генштабом сведений о событиях на фронтах стала привычной для Жукова. И он, развернув на столе карту стратегической обстановки, карту с нанесенной группировкой немецких войск, справки о состоянии наших войск и запасов материально-технических средств фронтов и Центра, четко и размеренно начал говорить о том, что за истекшие сутки завершился начатый 14 июля контрудар 11-й армии Северо-Западного фронта по 4-й танковой группе противника в районе Сольцы. В результате контрудара войска армии заняли Сольцы и отбросили немцев на 24—38 километров. Жуков, склонившись над картой, назвал ряд населенных пунктов, по которым проходил сейчас рубеж 11-й армии.

Далее начальник Генерального штаба охарактеризовал обстановку на Западном направлении, сообщив при этом, что войска 22-й армии под ударами превосходящих сил врага оставили город Великие Луки.

На Юго-Западном фронте 26-я армия из района южнее Киева перешла в наступление против войск 1-й немецкой танковой группы. Наступление не получило развития, однако вынудило противника перейти к обороне на рубеже Фастов, Белая Церковь, Тараща...

Сталин слушал, фиксируя в памяти самое существенное, и в то же время мысли его раздваивались — как бы текли по двум руслам. Стоя у окна и вникая в доклад Жукова, он смотрел на уже поднадоевшую картину: обнесенный забором, раскопанный и изломанный сквер, ленту транспортера, непрерывно и неутомимо двигавшуюся к вершине забора, неся на себе из-под земли крошево грунта. За забором урчали грузовики, по очереди подставляя свои кузова под транспортер... Это метростроевцы торопились закончить бомбоубежище.

Сталину запомнился тот довоенный майский день, когда началось это строительство в Кремле. Накануне того дня он выступал в зале заседаний Верховного Совета перед выпускниками военных академий; потом в Георгиевском зале был традиционный правительственный прием. Во время приема Сталин ищущим взглядом посматривал из-за стола членов Политбюро в глубь зала; там пиршествовала

---

* Арсенал — здание в Кремле для хранения оружия, снаряжения и трофеев русской армии. Построено в 1701—1736 гг. Неоднократно перестраивалось. (*Прим. авт.*)

военная молодежь, и где-то среди нее был его сын — Яков Джугашвили, выпускник артиллерийской академии имени Дзержинского. Кто-то перехватил и угадал взгляд Сталина, и вскоре Якова препроводили к столу Политбюро. Все с ним чокнулись бокалами, а Сталин сказал: «Ну, Яша, мы рады за тебя. Поздравляю!.. Скоро артиллеристы понадобятся Родине. И не только артиллеристы...»

Молотов, который был на приеме за председателя, объявил, что слово для тоста предоставляется товарищу Сталину. И когда после бурных аплодисментов наступила тишина, Сталин произнес речь, в которой без обиняков сказал, что война уже стучится в нашу дверь, и напомнил, что в современной войне большую роль играет артиллерия, как бог войны, затем предложил выпить за артиллеристов.

Но молодость беспечна. Никого не удручило напоминание Сталина о войне. Веселый гуд за столами не утихал. Тут же, в Георгиевском зале, начались выступления артистов.

На второй день они с Молотовым обменялись впечатлениями о вчерашнем приеме. Молотов с похвалой отозвался о том, как вдохновенно пел народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов.

...Сталин и Молотов видели, как через сквер четверо крепких парней в брезентовых робах уносили из-под окон квартиры Сталина, размещавшейся этажом ниже, скамейку из красного мрамора. Именовалась она «ленинской», потому что когда-то на ее месте стояла деревянная скамейка и на ней часто сиживал Ленин, лечившийся после покушения на него эсерки Каплан.

Так, 6 мая 1941 года в Кремле началось строительство бомбоубежища, продолжавшееся и по сей день, когда в небе Москвы уже появлялись разведывательные фашистские самолеты.

Сталин с досадой и горечью в мыслях отвернулся от окна и увидел, что Жуков, закончив доклад, выжидательно смотрел на него.

— Я полагаю, товарищ Жуков,— сказал Сталин,— что сейчас в самый раз проверить Московскую зону противовоздушной обороны. Как она готова к отражению воздушного нападения...— После паузы уточнил: — Пока дневного нападения.

— Разрешите, товарищ Сталин, завтра?

— Хорошо, завтра...

7

Нарком иностранных дел Молотов, сидя за рабочим столом в своем кабинете, обставленном старинной ореховой мебелью, испытывал крайнее нетерпение. Только что ему сообщили: из английского посольства доставлено ответное письмо Черчилля, адресованное Сталину. Пока письмо переводили на русский язык, Молотов спешил рассмотреть ждавшие своей очереди документы, чтобы затем со всем вниманием отнестись к посланию премьер-министра Великобритании. Его нетерпение выражалось в том, что он, читая бумагу за бумагой из текущих дел, не мог забыть о письме, стараясь предугадать

его содержание. И с тревогой посматривал на часы: близилось время, когда надо было ехать на командный пункт ПВО, где Государственный Комитет Обороны будет проверять нашу боеготовность к отражению воздушных налетов на Москву.

Молотову подумалось, что время будет сэкономлено, если послание Черчилля принесут прямо к Сталину, и позвонил ему.

— Коба! — с некоторой возбужденностью заговорил Молотов, услышав в телефонной трубке: «Сталин слушает».— Коба, привет тебе от господина Черчилля... Доставлен пакет из английского посольства...

— Приходи,— коротко сказал Сталин, никак не выразив своих эмоций.

— Я иду, а письмо следом — как только переведут.

Прошагав через тишину и безлюдность коридоров, Молотов вскоре оказался в кабинете Сталина. Застал здесь Калинина и Маленкова. Не успел вникнуть в разговор, как в дверях появился Поскребышев, держа в руке зелененькую папочку.

— Товарищ Сталин, вам послание от Черчилля,— с некоторой торжественностью произнес он, будто первым узнал о письме английского премьера.

— Не может быть! — с притворным удивлением воскликнул Сталин.— А ну-ка, давай почитаем, что пишет консерватор в большевистский Кремль.

Взяв папку, Сталин раскрыл ее и присел к торцу стола для заседаний. Окинув всех многозначительным взглядом, начал медленно читать:

— «Господину Сталину...

Я был весьма рад получить Ваше послание и узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые Вам удалось приобрести тем, что Вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального удара.

Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи Вам, будет сделано. Я прошу Вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим положением. С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на оккупированную Францию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы располагают сорока дивизиями, и все побережье более года укреплялось с чисто германским усердием и ощетинилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетами-истребителями,— это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется

сплошная цепь укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря, многие из них могут вести огонь через пролив. Ночное время длится менее пяти часов, причем даже в этот период вся местность освещается прожекторами. Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное поражение, а небольшие набеги повели бы лишь к неудачам и причинили бы гораздо больше вреда, чем пользы, нам обоим. Все кончилось бы так, что им не пришлось бы перебрасывать ни одной из частей с Ваших фронтов, или это кончилось бы раньше, чем они могли бы это сделать.

Вы должны иметь в виду, что более года мы вели борьбу совершенно одни и что, хотя наши ресурсы растут и отныне будут расти быстро, наши силы напряжены до крайности, как в метрополии, так и на Среднем Востоке, на суше и в воздухе, а также что в связи с битвой за Атлантику, от исхода которой зависит наша жизнь, и в связи с проводкой всех наших конвоев, за которыми охотятся подводные лодки и самолеты «фокке-вульф», наши военно-морские силы, хотя они и велики, напряжены до крайнего предела.

Однако если говорить о какой-либо помощи, которую мы могли бы оказать быстро, то нам следует обратить наши взоры на Север. Военно-морской штаб в течение прошедших трех недель подготавливал операцию, которую должны провести самолеты, базирующиеся на авианосце, против германских судов в Северной Норвегии и Финляндии, надеясь таким образом лишить врага возможности перевозить войска морем для нападения на Ваш фланг в Арктике. Мы обратились к Вашему Генеральному штабу с просьбой удержать русские суда от плавания в известном районе между 28 июля и 2 августа, когда мы надеемся нанести удар. Во-вторых, мы направляем теперь же некоторое число крейсеров и эсминцев к Шпицбергену, откуда они будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские пароходы сообща с Вашими военно-морскими силами. В-третьих, мы посылаем подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль Арктического побережья, хотя при постоянном дневном свете такие операции особенно опасны. В-четвертых, мы посылаем минный заградитель с различными грузами в Архангельск. Это самое большее, что мы в силах сделать в настоящее время. Я хотел бы, чтобы можно было сделать больше...»

Сталин прервал чтение и осипшим голосом сказал:

— Он хотел бы... Если б хотел, то не пустозвонил бы...

Далее в письме шла речь о том, что норвежской легкой дивизии не существует, что изучается в качестве дальнейшего шага возможность базирования на Мурманск нескольких эскадрилий британских самолетов-истребителей, а также высказывались опасения, что, как только станет известно о присутствии британских военно-морских сил на Севере, немцы немедленно бросят туда крупные силы пикирующих бомбардировщиков.

В заключение письма Черчилль писал:

«Прошу предложить не колеблясь что-либо другое, о чем Вам

придет мысль. Мы же в свою очередь будем тщательно искать другие способы нанести удар по нашему общему врагу».

В кабинете стало тихо и тоскливо. Блики, падавшие из окон на противоположную стену, чуть дрожали, будто напоминая, что там, за стенами здания, тоже есть жизнь.

Закрыв папку, Сталин с досадой отодвинул ее к сидевшему рядом Молотову и, поднявшись, зашагал по ковру. Все ждали, что он скажет... В воздухе с обновленной силой поплыл ароматный запах дыма от трубочного табака...

— Привычка — вторая натура.— Сталин тихо засмеялся, качнул головой и продолжил: — Верная пословица!.. У английских политиков привычка и натура слились воедино: испокон веков привыкли они глазеть на Европу как на опытный полигон своей политики, чувствуя себя на островах, как у Христа за пазухой... Мир в Европе или пожар войны — им мало печали: их не угрызешь, а польза для них всегда будет...

— Для них, пожалуй, больше пользы при военных ситуациях,— уточнил Калинин, когда наступила пауза.— Вся история свидетельство этому.

— Вот именно,— согласился Сталин.— Уверен, что, когда мы разобьем фашистов и заживем в мирных условиях, твердолобые, ненавидя коммунизм, будут мешать нам. Им ведь выгоднее подкидывать дровишки в пожар войны и пожинать прибыли... Вот бы достигла наука таких возможностей, чтоб рабочий класс Англии закинул в Европу гигантский якорь и пробуксировал острова Великобритании к Европейскому континенту... Чтоб буржуа ощутили единую земную твердь, скажем, с Францией... Тогда бы по-другому себя вели, ибо любой пожар в Европе угрожал бы и их «хижинам»...

— Истина эта весьма очевидна,— сказал Молотов, когда Сталин умолк. Затем, ни к кому не обращаясь, спросил: — Итак, какое резюме? Не спешит Черчилль нам на помощь, не торопится открывать второй фронт.

— Да, не торопится.— В голосе Сталина зазвучало раздражение.— А посему продолжай по дипломатическим каналам заставлять правителей Англии изворачиваться, чтоб нам еще яснее стала их позиция. Я же пока не буду отвечать на это письмо Черчилля как пустое и малозначащее. А там время покажет...

— Хорошо,— согласился Молотов и, пригладив пальцем чуть седеющие усы, извинительно спросил у Сталина: — Не будешь возражать, если я не поеду на командный пункт ПВО?.. Ждет уйма дел... И не хотелось бы откладывать встречу с руководителями танковой промышленности. На мне ведь и эта ноша!

Сталин кивнул в знак согласия, и Молотов ушел. В кабинете воцарилось молчание. Все, кажется, думали об одном и том же: в ближайшие дни ожидался массированный налет немецких бомбардировщиков на Москву. Как все будет? Ведь каждая столица Европы, на которую обрушивались немецкие бомбы, испытала ужас беззащитности. Немецкая авиация оказывалась сильнее их противовоздушных

средств, и кварталы столиц превращались в развалины... А как покажут себя Москва и стражи ее неба?..

Сталина мучило ощущение чего-то еще не сделанного, не предусмотренного. В тревоге тоскливо ныло сердце.

Но сделано было, кажется, сверхвозможное, особенно после того как Государственный Комитет Обороны принял 9 июля решение о противовоздушной обороне Москвы.

Намного были опустошены «сусеки», хранившие запасы вооружения, и поставлено в строй только что поступившее с заводов. Зенитно-артиллерийские части, прикрывающие город, полностью укомплектованы техникой и людьми. В корпус влились четыре вновь сформированных зенитно-артиллерийских и два зенитно-пулеметных полка. Это — сила, а в целом — силища, несмотря на то что критическое положение на фронтах вынудило взять изрядное количество зенитных орудий с расчетами для формирования противотанковых полков...

Сейчас приготовились грозно устремить свои железные жерла в московское небо 964 орудия и 166 зенитных пулеметов. Один зенитный полк окопал свои батареи прямо во дворах, на бульварах, площадях, в скверах Москвы, усилив оборону ее Центра, и особенно Кремля. Количество прожекторных станций, способных одновременно взметнуть в ночную небесную высь потоки света, было доведено до 618 единиц. Каждый зенитно-артиллерийский полк имел свой хорошо укомплектованный прожекторный батальон. Поэтому было решено прожекторные полки вывести из зоны зенитной артиллерии, чтобы с помощью их лучей создать на подступах к столице в северо-западном и юго-западном направлениях шесть световых полей, как световую зону-ловушку для ночного боя нашей истребительной авиации. В ближайшее время планировалось образовать еще десять таких световых полей.

Усилены также части аэростатов заграждения. Над центром города, над водонасосными станциями, а также вдоль западной и южной границ Москвы готовы были высоко вознестись привязные неподвижные летательные аппараты; каждый из них, когда он еще касался брюхом земли, похож на племенную, раздувшуюся до размеров горы, супоросную свинью; в небо они унесут на себе длинные, свисающие вниз заградительные тросы, и с земли уже будут выглядеть, как разбежавшиеся по вечереющему поднебесью поросята.

Но главные надежды возлагались на ночных истребителей. Именно поэтому авиационный корпус, прикрывавший столицу, спешно пополнили двумя полками самых современных скоростных истребителей Пе-3 конструкции В. М. Петлякова, оснащенных мощным пулеметно-пушечным и ракетным вооружением. И как особую ударную силу в состав корпуса включили две эскадрильи летчиков-испытателей, среди которых были уже известные стране А. Б. Юмашев, В. Н. Юганов, М. Л. Галлай, В. В. Шевченко, А. П. Якимов, М. К. Байкалов, М. В. Федоров и другие.

Всего имелось 582 самолета-истребителя, готовых днем и ночью устремиться в небо навстречу воздушному противнику.

Части ВНОС — глаза и уши командования ПВО — могли оповестить Москву о приближении немецких самолетов на удалении до 250 километров от города. Вокруг столицы было развернуто 702 поста. Главный пост Московской зоны ПВО имел прямую проводную связь с главными постами ВНОС всех зон — Северной, Северо-Западной, Западной, Киевской и Южной. На рубеже Ржев, Вязьма имелось несколько технических новинок — радиолокационных станций обнаружения, которые засекали группы самолетов и обеспечивали наблюдение за ними в зоне до 120 километров, хотя еще не всегда могли точно определять их количество, высоту полета, а тем более принадлежность.

Во всяком случае, внезапное воздушное нападение на Москву исключалось. И была создана возможность наводить наших ночных истребителей на вражеских бомбардировщиков.

Вся Москва тоже оживилась в острой и жгучей тревоге. Рабочие заводов и фабрик, служащие учреждений, студенты и школьники, домохозяйки и пенсионеры по призыву Моссовета записывались в дружины и отряды — противопожарные, медицинские, дегазационные, аварийные. Все москвичи, словно от удара электрического тока, встряхнулись, устремив мысль к одному — сделать все, чтобы отвратить беду. Председатель Моссовета Пронин, его заместитель Яснов, первый секретарь МК и МГК Щербаков, опираясь на своих аппаратных работников, на исполкомы райсоветов и райкомы партии столицы, не отличали дня от ночи, готовя Москву к тяжким испытаниям. На базе управления исполкома было создано 6 специализированных полков и 26 батальонов местной противовоздушной обороны, на предприятиях и при домоуправлениях — сотни команд самозащиты и тысячи санитарных. Сформированы полки, отдельные батальоны и роты для ликвидации последствий бомбардировок. Более двухсот тысяч человек влились в специальные противопожарные команды. Оборудованы тысячи и тысячи бомбоубежищ.

Да, Москва поднялась на борьбу. Стар и млад учились всему, что могло пригодиться,— тушению зажигалок, оказанию помощи раненым, пользованию противогазами. Люди словно переродились, каждый позабыв о собственных устремлениях, бедах, нуждах или неурядицах. Жильцы коммунальных квартир будто стали едиными семьями, население каждого дома — боевыми дружинами, спаянными общими заботами. А главное, каждый до изнеможения трудился на своем посту — так требовала война.

Для дезориентации врага были закамуфлированы наиболее заметные с воздуха здания и площади города, замаскирована излучина Москвы-реки у Кремля. Даже меняли ландшафт Подмосковья. В 200-километровой зоне от столицы как по волшебству выросли многочисленные заводы, фабрики, нефтебазы, элеваторы, аэродромы, мосты, склады... Это были всего лишь макеты, возведенные инженерными войсками при помощи москвичей и жителей области, чтобы отвлечь внимание воздушного противника от подлинных военно-промышленных объектов. Столь огромное дело возглавлял заместитель председателя исполкома Моссовета Михаил Алексеевич

Яснов, опираясь на помощь главного архитектора Москвы Дмитрия Николаевича Чечулина и военных специалистов.

Но у советского руководства все-таки были основания для глубоких тревог. Сталин, Жуков, как и командование ПВО страны, прекрасно понимали, что полностью скрыть наши приготовления от немцев вряд ли было возможным. Не дремала же их агентурная разведка, и не зря врывались в московское небо немецкие самолеты-разведчики.

Наша разведка тоже подтверждала, что противник замышляет нечто грандиозное... А о многом можно было только догадываться. Ведь с продвижением немецких войск в глубь нашей территории все ближе становились к Москве аэродромы, на которых базировалась фашистская авиация. Было доподлинно известно, что только для обеспечения рвавшихся к Москве немецких войск группы армий «Центр» враг сосредоточил более 1000 боевых самолетов.

А что готовилось для удара с воздуха непосредственно по Москве? По Москве не вообще, а по конкретным целям в ней — Кремлю, зданиям ЦК партии, «Правды», ЦК комсомола, административным учреждениям, крупнейшим предприятиям, мостам, железнодорожным узлам и просто по жилым, густо населенным кварталам... Если б можно было иметь всевидящее око... Оно бы узрело, как скрупулезно немецкое командование создавало из своих лучших эскадр специальную авиационную группу.

Была перебазирована на Восток 53-я авиаэскадра дальних бомбардировщиков «Легион Кондор», обретшая опыт разбойничьих налетов на города Испании, а позже Польши, Югославии, Греции. Экипажи новейших бомбардировщиков «Хейнкель-111» этой эскадры уже не раз побывали над Лондоном и Парижем.

Была нацелена на Москву и 4-я бомбардировочная эскадра «Бевер»; в 1940 году она беспощадно бомбила Лондон, Ливерпуль, Бирмингем, Бристоль и другие города Англии.

На аэродромы в районе Барановичей приземлилась 55-я бомбардировочная эскадра особого назначения «Гриф», а в район Бобруйска — 28-я эскадра.

Сотни немецких бомбардировщиков новейших типов изготовились для тотального, сокрушающего удара по советской столице. Их экипажи — офицерский цвет фашистских военно-воздушных сил; почти половина командиров воздушных кораблей были в званиях полковников.

Созданное единое руководство этой особой авиационной группой во главе с командующим 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршалом Кессельрингом в поте лица репетировало варианты массированного воздушного нападения на Москву с разных направлений, разных высот и в разное время. С немецкой педантичностью и четкостью было учтено и предусмотрено все. Казалось, никакая противовоздушная оборона не сумеет предотвратить сокрушительный удар.

Многое из приготовлений немецко-фашистского командования к уничтожению с воздуха Москвы станет известно советскому руко-

водству позже — особенно из показаний сбитых и взятых в плен немецких летчиков в полковничьих званиях. Но и без того было ясно: надо принимать все меры, чтобы защитить не только Москву, Ленинград, Киев и Харьков, но и Тулу, Серпухов, Электросталь, Шатуру, Подмосковный угольный бассейн, многочисленные отдельные военные объекты...

Да, было над чем размышлять и о чем тревожиться. Возможно, наиболее острое беспокойство испытывал Сталин. В нескончаемом потоке важнейших и неотложных дел военно-государственного масштаба в его памяти то и дело всплывал случай, когда в московском небе появились неопознанные бомбардировщики и по ним был открыт огонь.

Случилось это на третий день войны в три часа ночи. Сталин, перед утром приехавший из Кремля на кунцевскую дачу, был разбужен разразившейся пальбой зенитных орудий и счетверенных пулеметов. Торопливо одевшись, он поднялся на открытую верхнюю террасу дома — солярий — и увидел бледно-светлые полотнища прожекторных лучей, будто подметавших предрассветное небо от густых вспышек взрывов зенитных снарядов. Густота вспышек местами была так велика, что даже казалось: там, в вышине, колыхались под метлами лучей гигантские клумбы ярко расцветших роз.

А вокруг падали на землю с клекочущим воем шрапнельные стаканы *. Доносился и шум самолетных моторов. Но из поднебесья не обрушилась на Москву ни одна бомба. Только на несколько мгновений где-то далеко промелькнула золотая строчка пулеметной очереди, ошалело ударившей из невидимого самолета по какой-то зенитной батарее.

Сталин стал под крышу будки, где обычно укрывался во время прогулок по террасе, если шел дождь.

Вскоре был дан отбой воздушной тревоги. Небо, местами затуманенное пороховым дымом, все больше светлело. Сталину потом доложили, что произошло досадное и опасное недоразумение: группа наших бомбардировщиков, возвращаясь с боевого задания на один из подмосковных аэродромов, потеряла ориентировку и направилась в сторону Москвы. Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи не опознали самолеты, но донесли о их курсе, и Москва была разбужена сигналами воздушной тревоги.

Сталин поручил Мехлису, как заместителю наркома обороны, вызвать к себе начальника Главного управления ПВО страны генерал-полковника артиллерии Воронова и командира прикрывающего Москву 1-го корпуса ПВО генерал-майора артиллерии Журавлева и строго разобраться в случившемся. Сам же заторопился на заседание Политбюро для решения сонмища очередных неотложных дел.

* В тот раз зенитчики Московской зоны ПВО вели огонь шрапнельными снарядами, их убойные элементы (шрапнель) разлетались в воздухе, а стальные стаканы падали на землю. *(Прим. авт.)*

Когда приехал в Кремль и вышел из машины, увидел, что у входа в подъезд, под аркой, шла смена караулов. Начальник отделения кремлевской охраны Мельников, проводивший смену, заметив Сталина, скомандовал небольшому двухшереножному строю охранников «Смирно!» и сам застыл в неподвижности. Сталин, на ходу кивнув всем в знак приветствия, вдруг остановился. Он подумал, что эти вооруженные карабинами ребята, несшие охрану Кремля не только у входов, но и на Кремлевских стенах, наверняка видели, что творилось за пределами Кремля во время воздушной тревоги.

— Ну, товарищи гренадеры, как чувствовали себя при налете?— спросил у них Сталин.

— Нормально, товарищ Сталин, все оставались на своих постах,— ответил Мельников.

— А как выглядели улицы после объявления тревоги?

Мельников, скользнув подбадривающим взглядом по лицам бойцов, сказал:

— Старший лейтенант Зубиков, отвечайте на вопрос товарища Сталина! — А затем объяснил Сталину: — Граница сегодняшнего поста Зубикова с самым лучшим обзором — от Никольской до Сенатской башни...

Алексей Зубиков — высокий, стройный, с тонкими чертами лица — подтвердил, что с Кремлевской стены ему действительно хорошо была видна Красная площадь и начало улицы Горького вплоть до здания Центрального телеграфа. И с его точки зрения, тревога была объявлена с опозданием, ибо вслед за ней тут же послышался в небе гул самолетов и по ним ударили зенитки и пулеметы. А только потом по улице Горького, в направлениях станций метро «Площадь Революции» и «Охотный ряд» хлынули все густевшие толпы полуодетых людей — многие с детьми, с вещичками...

— Похоже было на панику, товарищ Сталин,— закончил свой рассказ старший лейтенант Зубиков.

Поднимаясь к себе в кабинет, Сталин с досадой размышлял над услышанным. Сел за рабочий стол и приказал вошедшему Поскребышеву соединить его с генералом Громадиным — помощником командующего войсками Московского военного округа по противовоздушной обороне. Когда поднял трубку, будто сам увидел запруженную бегущими людьми улицу Горького — и от этого ощутил горячую волну гнева.

— Доложите, почему была объявлена воздушная тревога и почему был открыт огонь по своим самолетам.— Глухой и прерывистый от раздражения голос Сталина ничего доброго не предвещал Громадину.

— Товарищ Сталин, посты ВНОС еще пока не научились безошибочно отличать по шуму моторов наши самолеты от немецких,— сдерживая волнение, но с чувством своей правоты ответил Громадин.— Вносовцы четко доложили по цепи, что в сторону Москвы идут самолеты. Я на командном пункте не мог знать, поскольку меня не оповестили, что это наши бомбардировщики, а тем более что

и нашим нечего делать ночью над Москвой... Я, конечно, колебался, поэтому с некоторым промедлением объявил тревогу... Но буду и впредь отдавать приказы об уничтожении любых самолетов, которые попытаются проникнуть в пространство над Москвой...

Сталин представил себе круглое лицо Громадина, его строгий прищур глаз под густыми, почти сросшимися бровями, почувствовал к нему расположение: генерал был прав.

— Хорошо, товарищ Громадин,— сказал ему на прощание Сталин.— Я удовлетворен вашим ответом... Будем считать сегодняшний ночной эпизод учебной воздушной тревогой...

И тут же позвонил Мехлису. Зная, что тот, по крутости своего нрава, может перегнуть палку в объяснениях с генералами Вороновым и Журавлевым, предупредил его, что делать этого не надо и что он уже сам во всем разобрался.

— А вот авиаторов, виновных в потере ориентировки, надо пропесочить... И дайте распоряжение, чтоб в печати и по радио было объявлено: сегодняшний налет на Москву был учебной воздушной тревогой...— Сталин положил трубку, и только тогда у него мелькнула мысль о том, что зенитчики ведь не сбили ни одного самолета. Как так могло случиться?..

С тех пор прошел без малого месяц, а тревога в сердце не только не улеглась, а пробуждалась все больше. Сегодня, когда была назначена игра на картах с задачей отражения дневного воздушного налета на Москву, Сталин испытывал нетерпение, может, потому, что казалось, будто время упущено — надо было несколько раньше назначить проверку.

Оторвавшись от обжигавших сердце мыслей, Сталин окинул взглядом все еще сидевших в его кабинете Калинина и Маленкова, подошел к столику с телефонами.

— А товарища Щербакова не забыли пригласить? — спросил он сам у себя, протягивая руку к телефонной трубке.

8

Война — смертное соревнование народов разных миров — уже стала привычной формой жизни всей страны, и особенно Москвы. Все, что ни делалось на фабриках и заводах, ни решалось в тысячах столичных учреждений, так или иначе было связано с войной... Сопротивляющаяся страна и ее златоглавая и краснозвездная столица, над которой нависла угроза вражеского вторжения, переживали тяжкое время. Именно поэтому в кабинетах всех отделов Центрального Комитета партии, в кабинетах Московского городского и областного комитетов царило небывалое напряжение.

В тиши кабинета главы коммунистов Москвы и Московской области по-особому ощущалась спрессованная сосредоточенность. Стоявшие в дальнем от рабочего стола углу высокие застекленные часы плавными взмахами маятника будто дирижировали ритмом работы в этом кабинете, придавая ей четкость и непрерывность. Многих, входив-

ших сюда, охватывало предчувствие чего-то очень важного, значительного и даже таинственного.

В углу кабинета, за массивным дубовым столом, сидел одетый в военную форму без знаков различия полнолицый человек в очках. Крупная голова его была крепко посажена на плечи, не слишком густая шевелюра разделялась по правой стороне косым пробором. Чуть вздернутый широкий нос над полными губами, складка подбородка, в который врезался воротник гимнастерки, и спокойный взгляд из-за сверкавших стекол очков придавали этому человеку вид крайнего добродушия даже при всей его сосредоточенности.

Это — Щербаков Александр Сергеевич.

На боковом столике для телефона зазвонила «кремлевка».

«Сталин...» — почему-то мелькнула мысль у Щербакова, когда снимал телефонную трубку.

— Щербаков слушает.

— Здравствуйте, товарищ Щербаков,— раздался в трубке знакомый глуховатый голос.

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

— Вот меня не перестает мучить вопрос.— Замедленность речи Сталина свидетельствовала о том, что он тщательно искал самые нужные слова для выражения какой-то волнующей его мысли.— Когда наши бомбардировщики по ошибке оказались над Москвой, слава богу, что зенитки не сбили ни одного... Но почему не попали?.. Вы, как секретарь ЦК, отвечающий за противовоздушную оборону, уверены, что она в хорошей боевой готовности?

— Уверен, товарищ Сталин. Но нас волнует изъятие из войск ПВО слишком большого количества орудийных расчетов с техникой. Восемнадцатого июля мы сформировали десять противотанковых полков... Отдали двести зенитных орудий...

— Так решили Ставка и Государственный Комитет Обороны... Меня сейчас интересует: почему зенитчики не попали?.. Умеют ли они стрелять?..

— Наши бомбардировщики на очень короткое время оказались в зоне обстрела,— пояснил Щербаков.

— Чтобы сбросить на Москву бомбы, не надо большого времени. Важно оказаться над ней.

— Товарищ Сталин, когда генерал Громадин объявил воздушную тревогу, все-таки были сомнения насчет принадлежности самолетов. Это и повлияло на точность стрельбы. Я расследовал...

— И все-таки мы с Жуковым решили провести с руководством первого корпуса ПВО и шестого истребительного авиационного корпуса игру на картах. Надо посмотреть, как они будут отражать дневной налет немцев на Москву... Налета надо ждать в любое время.

— Прикажете приготовить оперативные группы? — со знанием дела спросил Щербаков; он уже присутствовал на подобных играх, которые проводил командующий войсками Московского военного округа генерал Артемьев

— Распоряжения отданы. Приезжайте к семнадцати часам на командный пункт ПВО.— И Сталин положил трубку.

Щербаков посмотрел на перекидной календарь, где на листе с датой «21 июля» были записи о многих делах, которыми надлежало ему заниматься в этот день...

За его спиной, как диковинный ковер, висела огромная карта Москвы с четко очерченными и легко раскрашенными в разные цвета районами города. Слева, над длинным столом для заседаний, во всю ширь стены — карта области, тоже раскрашенная, с городами, городишками и селами вокруг столицы. По всему пестрому пространству карты — обозначения заводов и фабрик, различных предприятий.

Трудно было поверить, что сидящий за столом в углу кабинета человек, такой простой с виду, доступный и приветливый, причастен абсолютно ко всему, что нанесено на эти карты. Да еще к противовоздушной обороне и к тому, что начертано на карте-схеме, распластавшейся на столе заседаний и свисавшей до самого пола; там были нанесены рубежи Можайской линии обороны...

Щербаков ведь еще и секретарь ЦК партии, член Военного совета Московского военного округа...

Неужели одному человеку под силу такая, столь тяжкая и ответственная, ноша? Верно, у него колоссальный опыт. К своим сорока годам он успел поработать на высоких постах в Средней Азии, в Горьковской области, Ленинграде. Был первым секретарем Иркутского и Донецкого обкомов партии. Возможно, везде его выручала рабочая закваска. Родившись в древнем Рыбинске, он с двенадцати лет работал в городской типографии, унаследовав от полиграфистов точность и внимательность в деле. Затем трудился на железной дороге, впаяв там в свой характер целеустремленность, четкость и последовательность в работе. А знания, полученные в годы учебы в Коммунистическом университете, а затем в Институте красной профессуры, слившись с обретенным опытом, создали тот крепкий фундамент, на котором и вознесся, набирая силу, дух партийного вожака. Проницательный ум Щербакова позволял в каждый данный момент находить самую главную задачу и держать в границах мысленного видения и памяти все то, что входило в круг его обязанностей.

Если бы только не было так восприимчиво сердце Александра Сергеевича... Каждому человеку, который приходил к нему в кабинет или встречался с ним на заводе, фабрике, на каком-либо собрании, казалось после этой встречи, что обрел он душевного друга или строгого и доброжелательного наставника.

Действительно, у Щербакова было удивительное свойство с первых же фраз проникаться пониманием того, с чем пожаловал к нему посетитель, и тут же находить самое нужное решение. Поэтому по Москве носились разные толки о том, к людям каких профессий питает наибольшее расположение первый секретарь МК и МГК партии. Каждый, кто хоть раз встречался с Щербаковым, высказывал доводы только в пользу своей профессии и даже своей персоны. Но все-таки верх брали велеречивые журналисты и писатели.

Они с полной убежденностью и гордостью возвещали о том, что именно к ним наиболее благоволит Александр Сергеевич.

Они не ошибались... и ошибались. Верно, писателей и журналистов он выслушивал очень внимательно, особенно тех, кто приезжал из действующей армии. И не только выслушивал, а и расспрашивал, стараясь ярче увидеть их глазами войну, ощутить ее смертное дыхание. Рассказы очевидцев и поток информации, шедшей с фронтов, помогали Щербакову, может быть, как никому в Москве, понять, сколь трагически для нас складывалось военное противоборство. Перед Александром Сергеевичем не только вырисовывались оперативно-стратегические ситуации на разных участках фронтов и в целом на всем советско-германском фронте, в его богатом воображении вставал обобщенный образ войны и образ всколыхнувшихся народных чувств. Он понимал: подобно тому, как мощное слово любви способно пересоздать человека, так и набатный зов — Родина в смертельной опасности! — будто пересоздал народ, стряхнув с него скорлупу будничных забот о своем личном. События на фронте и в тылу по-особому подсказывали, что забурлили все глубины вскипевшего русского духа, распрямился для борьбы целый мир советских народов и каждый человек в такое время, в том числе и он, Александр Щербаков, обязан, пусть изнемогая под ношей долга, не отчаиваться, не позволять меркнуть мудрости в сердце и взоре.

Щербаков умел «прослушивать» Москву всеми своими чувствами и тут же откликаться на услышанное решением. Когда из сообщений Телеграфного агентства узнал, что в первый день мобилизации в многомиллионной Москве не нашлось ни единого военнообязанного, который бы не явился или хотя бы опоздал на призывной пункт, и что также пришли туда тысячи и тысячи, не подлежащие призыву, уже тогда понял: война будет всенародной... И в Центральном Комитете партии появилась за подписью Щербакова записка с предложением городского комитета о создании, вслед за ленинградцами, добровольного народного ополчения. Уже 27 июня в Ленинском районе столицы был создан Коммунистический полк, а 2 июля ЦК принял решение о формировании в Москве дивизий народного ополчения.

А разве не по призыву Московского комитета партии уже на второй день войны рабочие десятков далеко не военных заводов столицы и области начали изготовлять минометы, автоматы, фугасные бомбы, снаряды?! Автозавод развернул производство вездеходов, санитарных машин, узлов и литья для пушек, взрывателей. Более ста заводов включились в производство пистолетов-пулеметов системы Шпагина, обретших потом у фронтовиков название ППШ.

А можно ли было не поддержать начинание заводов «Борец», «Динамо», «Станколит» и комбината твердых сплавов, где в первый же месяц войны тысячи женщин-домохозяек, девушек-учащихся заменили у станков мужчин?..

Когда Александру Сергеевичу доложили, что жена генерала-фронтовика Чумакова сдала в банк фамильные драгоценности на большую сумму денег и пожелала не называть ее фамилии, хотя

вездесущие корреспонденты радио все-таки проболтались, он ощутил, как встрепенулось его сердце от радостного волнения за человека. А потом узнал, что примеру Чумаковой последовали тысячи. Многие несли в сберкассы золотые и серебряные изделия, деньги и облигации государственных займов. Иные сдавали мотоциклы, велосипеды, пишущие и даже швейные машинки...

И опять записка Щербакова в ЦК партии с предложением создать Народный фонд обороны страны, что и было сделано.

Спустя некоторое время Александр Сергеевич задумается над цифрами, когда узнает, что москвичи, количество которых война уполовинила, внесли в Фонд обороны более 142 миллионов рублей наличными, полторы тысячи граммов платины, около восьми тысяч граммов золота, полтонны серебра...

Александр Сергеевич оторвал взгляд от календарного листка и посмотрел в угол на часы. Близилось время, когда в его кабинете должны были появиться поэт Василий Лебедев-Кумач, заместитель председателя Моссовета Яснов и военный инженер-строитель Леошеня. Яснов возглавлял созданную Моссоветом оперативную группу для руководства строительством рубежей Можайской линии обороны, Леошеня осуществлял это строительство, ставя задачи начальникам участков и контролируя качество работ. А Лебедева-Кумача, как лучшего поэта-песенника, Щербаков пригласил сам, чтоб тот поприсутствовал при их разговоре об оборонительных сооружениях, а может, и поехал бы с ними в окрестности Можайска. Несколько дней назад Моссовет направил в районы строительства двадцать тысяч москвичей, а сейчас подготовил к отправке еще пятьдесят тысяч рабочих и служащих. Надо было увидеть, как они трудятся, как устроен полевой быт людей, и ощутить их нравственную силу; если надо — подбодрить. Может, Лебедев-Кумач вдохновится на новую песню... Но Государственный Комитет Обороны будет экзаменовать сегодня управление Московской зоны ПВО, а значит, и работу его, Щербакова, который, как секретарь ЦК, немало вложил сил для того, чтобы небо Москвы было надежно защищено.

Александр Сергеевич нажал кнопку электрического звонка. В кабинет вошел его помощник Крапивин — худощавый, стройный, с открытым, но всегда сосредоточенным лицом.

— Товарищ Крапивин,— обратился к нему Щербаков,— срочно известите Яснова, Леошеню и Лебедева-Кумача, что наша сегодняшняя встреча переносится на другое время. В Можайск если и поедем, то на ночь глядя.

— Хорошо, Александр Сергеевич.— Крапивин повернулся, чтобы уйти, но на пороге задержался и с улыбкой сказал: — А Лебедев-Кумач уже здесь — в коридоре читает стихи секретаршам.

— Ах, жаль, мало времени! — Щербаков досадливо взглянул на часы.

— Я извинюсь перед ним,— предложил Крапивин.

— Нет, пусть на минутку войдет. Поэт он ведь не какой-нибудь — весь народ поет его песни...

Крапивин вышел, а Щербаков, дожидаясь Лебедева-Кумача, размышлял: «Поэты — нерв времени. Даже средние из них тонко улавливают звучание эпохи и боль человечества... Да, надо считаться с писателями. Хотя иные среди них — как изжога...»

В кабинет вошел Лебедев-Кумач — лобастый, улыбчивый, излучающий молодость и энергию...

— Здравствуйте, дорогой Василий Иванович.— Щербаков поднялся из-за стола навстречу поэту, чья песня «Священная война», написанная совместно с композитором Александровым, с первых дней вторжения врага стала главной песней Великой Отечественной войны, ее гимном...

9

До тех пор пока не было достроено бомбоубежище в Кремле, Ставка и кабинет Верховного Командующего находились на улице Кирова, 37, в старинном особнячке, соединенном деревянным коробом с входом в метро «Кировская». Тут же рядом были командный пункт 1-го корпуса ПВО и здание наркомата авиационной промышленности. В кабинете Сталина и было назначено учение — игра на картах по отражению дневного нападения воздушного противника на Москву.

Щербаков застал в приемной Ставки наркома авиапромышленности Шахурина, его заместителей Дементьева и Яковлева, командующего Военно-Воздушными Силами генерал-полковника авиации Жигарева, начальника артиллерии Красной Армии генерал-полковника артиллерии Воронова, командующего ВВС Московского военного округа полковника Сбытова и других. Ровно в 17 часов появился генерал армии Жуков, а через минуту — Сталин и члены Государственного Комитета Обороны. Сталин, направляясь в свой кабинет, пригласил всех следовать за ним. Когда расселись в стороне от длинного стола, Жуков кивнул задержавшемуся у дверей генералу Воронову, тут же в кабинет стали торопливо входить, неся охапки свернутых карт и схем, командующий Московской зоной ПВО генерал Громадин, ее начальник штаба генерал Герасимов, командир 1-го корпуса ПВО генерал Журавлев со своими штабистами, командир 6-го истребительного авиационного корпуса полковник Климов с помощниками... Большинство из военных чувствовали себя скованно, бросали робкие взгляды на Сталина, которого видели так близко впервые.

Щербаков заметил, что Сталин не в духе, и досадливо подумал о том, что вначале надо было развернуть в кабинете карты и схемы, а затем приглашать туда руководство. Но игру готовил Жуков и, видимо, не решился заходить в кабинет Верховного прежде его самого.

Сталин прохаживался по свободной части кабинета и, по мере того как военные развертывали карты и схемы, останавливался и внимательно всматривался в них. Вначале его заинтересовала

начертанная разноцветными карандашами схема кольцевой связи, проложенной вокруг Москвы и имевшей несколько вспомогательных узлов.

— Если немцы разбомбят наш Центральный телеграф, мы действительно будем иметь надежную связь с фронтами и с тылом страны? — спросил Сталин, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Так точно, товарищ Сталин,— уверенно ответил Жуков.— Кольцевая линия и новый узел связи уже могут обеспечить междугородную и городскую связь во всех направлениях. Наша проверка показала, что связь устойчивая.

Сталин перевел взгляд на соседнюю, наколотую на фанерный щит карту с нанесенным боевым порядком Московской зоны ПВО. Две красные окружности опоясывали на ней Москву. Большая, с радиусом в 120 километров, обозначала удаление от столицы, на котором должны встречать воздушного противника наши самолеты-истребители. Вторая окружность проходила в 30—40 километрах от Центра Москвы — эта зона прикрывалась зенитной артиллерией и зенитными пулеметами. Затем Сталин задумчиво постоял над схемами вариантов налетов на Москву.

Никаких вопросов он больше не задавал, и Щербакову казалось, что на все Сталин смотрит с некоторым сомнением и даже с раздражением. А тут еще впустую проходило время, ибо не помещались на столе карты, которые развертывал начальник оперативного отдела штаба корпуса ПВО полковник Курьянов — высокий, широкоплечий здоровяк. Для карт авиаторов совсем не оставалось места, и полковник Климов, растерянно посмотрев на сидевшего в углу, рядом с Герасимовым и Громадиным, Жукова, приказал своим помощникам расстилать их на полу.

Когда шуршание карт стихло и все в кабинете замерли в ожидании начала учения, Сталин, обращаясь к полковнику Климову и генералу Журавлеву, сказал:

— Покажите нам, товарищ Климов, как полки вашей истребительной авиации, а вы, товарищ Журавлев, как ваши наземные средства ПВО будут отражать дневной налет авиации противника на Москву.— А затем кивнул генерал-майору Громадину: — Можно начинать.

Громадин — сорокадвухлетний генерал, умевший четко и сжато формулировать мысли, в своем внешнем облике имел что-то крестьянское. Он встал неторопливо, расправил под ремнем гимнастерку, и, когда заговорил, крестьянское тут же исчезло из его облика.

— Два слова о принципах противовоздушной обороны Москвы...— сказал Громадин так, что всем почудилось: он видит ее всю сразу воочию.— В основу этих принципов положена круговая эшелонированная оборона, наиболее усиленная в западном и южном направлениях. Внешняя граница обороны проходит над Ярославлем, Вышним Волочком, Великими Луками, Смоленском, Орлом, Рязанью и Горьким. Общее руководство войсками ПВО столицы осуществляется с командного пункта первого корпуса, где размещается командование зоной с оперативной группой, главный пост ВНОС, узел связи, а также

командующие истребительной авиацией и зенитной артиллерией. Каждый из них управляет своими войсками со своего оборудованного здесь же командного пункта... Сейчас я приказываю объявить войскам положение номер один... При этом я и генерал Герасимов представляем нападающую сторону, а генерал Журавлев и полковник Климов — обороняющуюся...

Генерал Громадин умолк, и тут же Герасимов — начальник штаба Московской зоны ПВО — начал считывать заранее подготовленные данные, а операторы стали быстро наносить их на карты, создавая оперативно-тактическую обстановку.

Учение началось. Над всем завластвовал грубоватый и сочный голос генерала Журавлева. Затем последовали первые решения и приказы полковника Климова, согласно которым где-то с дальних аэродромов должны были подниматься в воздух эскадрильи истребительной авиации.

Щербаков, сидевший рядом с членами Государственного Комитета Обороны, будто сам сейчас сдавал экзамен строгим экзаменаторам, испытывая то внутреннее напряжение, которое приходит в предчувствии неудачи. Ему казалось, что Сталина не столько интересовал ход военной игры, наполненной частой сменой острых боевых ситуаций, сколько реакция на эти ситуации генерала Журавлева и полковника Климова. Он словно всматривался сейчас в их характеры, способности, в образ мышления, подгоняя увиденное и угаданное к каким-то своим меркам. Впрочем, лицо Сталина ничего не выражало, кроме замкнутой сосредоточенности. А что крылось за прищуром его глаз? В эти напряженные минуты они то вспыхивали, разгорались, как жар углей на порывистом ветру, то тускнели, будто покрываясь пеплом... Сталин был в плену напряженной работы мысли. Казалось, что он старался привести в равновесие свою веру и свои сомнения.

Щербаков испытывал ревнивое беспокойство. Ему до щемящей боли в сердце хотелось сказать Сталину, что можно с уверенностью положиться на этих военных. Генерал Журавлев Даниил Арсентьевич — артиллерист высшего класса! Участник гражданской войны, он затем получил хорошее военное образование, много потрудился над воспитанием командиров для артиллерии большой мощности, будучи начальником вначале 2-го Ленинградского, а затем Рязанского артиллерийского училища. На посту командира 1-го корпуса ПВО тоже успел показать себя превосходно...

Вызывали симпатии к Журавлеву и рождали доверие к нему также его открытое лицо и смелые глаза. Когда улыбался Журавлев, то будто все в нем улыбалось и весь он излучал доброжелательство и веселье. А коль сосредоточивался, принимая решение,— лицо его делалось строгим, волевым, а глаза еще более пронзительными и дерзкими.

А полковник Климов! Штабисты и командиры авиационных полков понимали его с полуслова! Он для них — непререкаемый авторитет; значит, личность тоже незаурядная.

Но Сталин и сам умел угадывать характеры людей, оценивать

их по активности в действиях, образу и глубине мышления. Легковесных он безошибочно узнавал по их пустословию, а также по легкости, с которой они отказывались от своих точек зрения,— Щербаков это хорошо знал. Однако Александр Сергеевич понимал и другое: Сталин столкнулся с малоизвестной ему, обособленной сферой деятельности и не мог из-за условности происходящего должным образом проникнуть в его конкретность. Звучали доклады... Принимались решения... Отдавались приказы... Появлялась новая группа воображаемых немецких бомбардировщиков — с нового направления и на другой высоте... И опять доклады, решения, приказы... Все четко, ритмично, уверенно. Но это все-таки репетиция. Как же будет во время «премьеры»? Очень хотелось бы, чтоб все эти генералы и полковники справились с возложенными на них ролями. А кем заменить тех, кто окажется неспособным? И что будет с Москвой, если неспособные окажутся?

Иногда Сталин бросал вопрошающий взгляд на генерала армии Жукова. Начальник Генерального штаба был хмур и непроницаем. Голос — будто выверенный точным прибором — ровный и требовательно-категоричный. Какие в его воображении возникали реальные последствия этого кабинетного противоборства?

Полтора часа длилось отражение условного воздушного противника. После отбоя «воздушной тревоги» генерал армии Жуков коротко подвел итоги игры и, выразив мнение, что ее участники в основном справились со своей задачей, приглушенным голосом обратился к Сталину:

— Товарищ Сталин, у вас будут замечания?

Сталин укоризненно посмотрел на Жукова, затем перевел взгляд на Щербакова, будто вопрос начальника Генерального штаба в большей мере относился к нему, Александру Сергеевичу, отвечающему перед ЦК за состояние Московской зоны ПВО, и неторопливо стал раскуривать трубку. Было видно, как он над чем-то размышлял. Потом безучастно-отстраненно сказал, бросая потушенную спичку в бронзовую пепельницу на столе, под уголком топорщившейся карты:

— Товарищ Сталин совсем не специалист в этой области... Кто его знает, может, все так и надо... Но не будет лишним сказать вам вот что.— Он обвел взглядом командиров и генералов, а мундштуком трубки указал на полковника Сбытова — командующего ВВС МВО.— Врага нужно бить не растопыренными пальцами, а мощным кулаком. Надо поднимать как можно больше истребителей и начинать воздушное сражение возможно раньше и дальше от Москвы. Удары истребителям наносить непрерывно, морально подавлять экипажи бомбардировщиков врага. Максимально массировать огонь артиллерии,— теперь он устремил требовательный взгляд в сторону генерала Журавлева,— на главных направлениях налета немецких бомбардировщиков, не допуская ни одного к центру города...— Помолчав, он затем повернулся к генералу Громадину: — Завтра вы покажете нам отражение ночного налета...

Никто из присутствовавших на этом учении не знал, что события упредят завтрашний день вместе с его планами...

Вскоре после того как в Москве, на Кировской, 37, опустел кабинет Верховного Командующего и все участники и свидетели игры на картах с чувством облегчения разъехались по своим «присутственным местам», в ставке Гитлера и в некоторых военных резиденциях Берлина нарастало радостное напряжение. Довольно широкому кругу высокопоставленных военных и невоенных лиц стало известно: Геринг доложил фюреру, что, согласно его приказу, генерал-фельдмаршал Кессельринг готов поднять в воздух свою особую авиационную группу для нанесения неотразимого бомбового удара по советской столице. В ночь на 22 июля 1941 года, ровно через месяц после вторжения немецко-фашистских войск на советскую территорию, Москва по замыслу заправил фашистского рейха должна была превратиться в груду развалин и сплошное пепелище.

В конце этого дня Геббельс лично отдал распоряжение всем редакторам берлинских газет, выходящих утром, оставить на первых полосах места для важного, экстренного сообщения. Приготовились для поздней работы дикторы Берлинского радио.

В ставке Гитлера как бы сконцентрировалось чувство нетерпеливого и злорадного ожидания всей неметчины. Стыли в серебряных ведерках со льдом бутылки французского шампанского, официанты раскладывали на блюда-подносы бутерброды с икрой, ветчиной, семгой... Разливались в рюмки шнапс, коньяк, ром, виски, джин, ликеры, смешивались в шейкерах яркие разноцветные коктейли — еще пока сыто жила Германия за счет ограбленной Европы... Сочинялись спичи и тосты в честь Гитлера, Геринга и люфтваффе, готовились поздравительная телеграмма генерал-фельдмаршалу Кессельрингу и награды отличившимся в первом налете, печатались благодарственные письма их родственникам... А стальной фашистский молот уже взметнулся в поднебесье для удара по Москве: с аэродромов в районах Бреста, Барановичей, Бобруйска, Дубинской в назначенное время взлетели эскадрильи новейших бомбардировщиков с фугасными, зажигательными и осветительными бомбами на борту. Они устремились к цели четырьмя эшелонами, разделенными на группы. Ориентируясь по зажженным кострам, сигнальным прожекторным лучам, а на нашей территории — по указаниям ракетчиков-диверсантов и по дорожным магистралям, ведущим к Москве, эшелон за эшелоном следовал через 30—40 минут. У всех был один маршрут: Минск, Орша, Смоленск, Вязьма, Москва. Каждая группа имела задачу — при подходе к Москве изменить курс полета, проникнуть к городу с разных направлений и ударить по намеченным целям...

Первый эшелон, состоявший из пяти групп общей численностью семьдесят самолетов, засекли наши посты ВНОС на линии Ржев, Сычевка — в 210 километрах от столицы...

В 22.00 сержант Ф. И. Буланов, красноармейцы П. И. Щербаков и И. В. Смирнов донесли на главный пост ВНОС об обнаружении ими воздушного противника... А сто восемьдесят немецких

бомбардировщиков, летевших поэшелонно сзади, еще предстояло обнаружить...

Когда в Москве послышался из репродукторов сдержанно-суровый голос диктора: «Внимание! Внимание! Граждане, воздушная тревога!..» — и вслед за этим в городе взвыли сирены, безоблачное небо над столицей, в котором только начали проклевываться звезды, вдруг стало для всех зловещим. Все, кажется, и ждали этого часа, были внутренне готовы к нему, а при сигналах воздушной тревоги будто ощутили шоковое состояние. От пронзительного воя, утопившего в себе все другие шумы города, сердце заходилось тоскливой болью, холодело, и этот холодок быстрой волной катился к ногам, от чего они делались непослушными, а бомбоубежища или противопожарные посты слишком далекими.

Все, у кого остались невывезенными из Москвы дети, в первые же мгновения тревоги со страхом подумали о них...

Весь город на какие-то минуты оцепенел. Замерли постовые милиционеры с фонарями в руках, позабыв, что надо регулировать движение. Замерли машины на перекрестках. Пешеходы на тротуарах тоже остановились или замедлили шаг, каждый решая вопрос: куда устремляться — домой или в ближайшее бомбоубежище, адреса которых указывались в расклеенных на тумбах, витринах, заборах объявлениях.

Но тут же шоковое состояние исчезло, и улицы стали выглядеть, как в кино при ускоренной съемке. На тротуарах уже все куда-то бежали, у переходов через улицы визжали тормоза автомобилей. Слышались резкие свистки милиционеров, в сирены воздушной тревоги вплетался вой красных пожарных машин, мчавшихся к закрепленным за пожарными командами объектам. У подъездов, у ворот появились люди в брезентовых рукавицах и с огромными железными щипцами, вышли дворники в белых фартуках и с красными повязками на рукавах; одни из них объясняли непонятливым, где находятся бомбоубежища, другие воевали с ватагами мальчишек, пытавшихся по наружным пожарным лестницам забраться на крыши домов.

И все-таки большинству людей казалось, что эта тревога не настоящая. Многим думалось: до бомбежки не допустят — на то и Москва...

Александр Сергеевич Щербаков собирался на ночь глядя ехать в Можайск и ждал звонка заместителя председателя Моссовета Яснова. Это было еще до объявления воздушной тревоги.

И вот — звонок. Взяв трубку, услышал голос не Яснова, а генерала Громадина — командующего Московской зоной ПВО:

— Александр Сергеевич, идут! — В голосе Громадина чувствовалось сдерживаемое волнение.

— Кто идет? — не понял Щербаков.

— Немецкие бомбардировщики. Массированный налет. Я скомандовал войскам ПВО положение номер один.

— Почему же не объявляете воздушную тревогу? — Щербаков словно увидел сейчас Москву с птичьего полета, ощутил близящуюся

грозную опасность родному городу; беспокойство тугой волной захлестнуло ему грудь и сердце, будто придавило плитой.

— Александр Сергеевич, я поэтому и звоню: по положению воздушную тревогу должен объявлять товарищ Пронин, как начальник местной противовоздушной обороны. А он на каком-то заводе — сейчас ему звонят туда.

— Объявляйте без него.

— Слушаюсь!

Щербаков положил трубку и тут же позвонил Сталину. Начал докладывать, что войска ПВО приведены в боевое состояние, но Сталин спокойно перебил Александра Сергеевича:

— А мы уже знаем, товарищ Щербаков. Нам звонил товарищ Пронин. Так что езжайте на командный пункт и наблюдайте, как они там будут отбиваться от немцев. Мы сейчас закончим тут разговор и тоже приедем... Ведь бомбоубежище у нас в Кремле до сих пор не готово?..

Александр Сергеевич почувствовал в последних словах Сталина упрек себе лично, однако ответить ничего не успел: Сталин положил трубку.

Приехал Щербаков на командный пункт как раз в тот момент, когда над затемненным городом раздались первые сигналы воздушной тревоги.

Сколько раз в этом году Александр Сергеевич уже спускался лифтом в это подземное обиталище, находившееся на глубине пятидесяти метров под новым многоэтажным домом, в котором размещался штаб корпуса ПВО? Еще когда завершался монтаж сложнейшей техники управления, он бывал здесь с командующим Московским военным округом. Затем не единожды сопровождал Сталина, членов Политбюро, высшее армейское начальство — Тимошенко, Шапошникова, Жукова...

И дом и командный пункт под ним всем нравились, хотя кое-кто из высокопоставленных «ревизоров», увидев в главном зале — в пункте управления командира корпуса — мягкую мебель, покрытый огромным ковром пол, обитые бархатом (для приглушения звука) стены, изумленно вскидывал брови или недоуменно улыбался: зачем, мол, такая роскошь под землей? Да еще сифоны с газированной водой на тумбочках... Но вслух никто не выражал этой мысли. Может, потому, что внимание всех тут же переключалось на оборудование — пульты, координатные сетки, карты, светопланы, различные приборы и приспособления. Внушал почтение даже один, возвышавшийся среди зала стол; иных брала оторопь, когда узнавали, что, сидя за этим столом, можно было мгновенно связываться со штабами всех войсковых частей и подразделений зоны ПВО, с начальниками родов войск, правительственными учреждениями, да и с любым телефоном города... Из этого подземелья как бы просматривалось и прослушивалось небо над Москвой и вокруг нее в радиусе 250 километров — разумеется, с помощью постов ВНОС.

Никто из дежуривших здесь не чувствовал себя оторванным от мира. И в то же время это был обособленный мирок со своим

климатом, уютом и всем необходимым для отдыха и работы — спальнями, столовой, душевыми, кислородным оборудованием, салоном для собраний... Была и своя автономная электростанция на случай, если городская электросеть окажется разрушенной.

Когда на нижнем этаже лифт остановился и Щербаков вышел в небольшой вестибюль командного пункта, его встретил дежурный — старший лейтенант с красной повязкой на рукаве и при противогазе. Он начал докладывать, что командный пункт приступил к боевой работе по отражению воздушного противника, но Александр Сергеевич взмахом руки прервал его и зашагал по ковровой дорожке вдоль коридора, с левой стороны которого выстроились в ряд многочисленные двери. За каждой — чье-то командное хозяйство со своей особой спецификой и четко определенными задачами.

Зашел в просторное помещение оперативной группы и увидел на возвышении за столом генерала Журавлева в окружении нескольких штабных командиров. Журавлев, каким-то чутьем уловив момент появления Щербакова, оторвал глаза от планшета воздушной обстановки, распрямился на подвижном кресле, хотел встать, но Александр Сергеевич упредил его:

— Меня здесь нет. Работайте.

Командный пункт действительно работал. Это уже была боевая работа. Щербаков, прохаживаясь по свободному пространству зала, наблюдал за ней.

Все вокруг выглядело не совсем реально — как во сне после прочтения научно-фантастического романа. Планшет воздушной обстановки, над которым колдовал генерал Журавлев, со стороны казался Щербакову опрокинутым небом, укрытым фигурками немецких бомбардировщиков и наших истребителей, а вблизи — землей, видимой из поднебесья; она хорошо просматривалась сквозь огромный и прозрачный целлулоидный лист с подвижной координатной сеткой. Рядом — приборы для вычисления координат обнаруженных целей.

А цели уже были обнаружены — много целей! На картах и на светоплане можно было увидеть, как в световых полях вступили в бой летчики-истребители, как появлялись все новые и новые вражеские бомбардировщики и наши истребители.

Александру Сергеевичу в какое-то время почудилось, что присутствует он на каком-то удивительном спектакле, где главные роли исполняли хорошо знакомые ему люди. Действие же спектакля происходило в этом зале, в смежных комнатах и этажом выше, где находились главный пост ВНОС и командный пункт прожекторной службы. Полковник Глазер с группой командиров — мозговой аппарат главного поста ВНОС. Каждая цель, ее высота и маршрут, о которых докладывали посты, без промедления наносились здесь на карту и записывались в журнале. Из множества целей надо было выделить самые опасные и по внутренней системе связи передать данные о них находившемуся рядом с генералом Журавлевым начальнику оперативного отдела полковнику Курьянову, который тут же наносил их на сводную карту.

У полковника Глазера память как движущаяся в съемочном аппарате кинопленка — прочно фиксировала все, попадавшее в его слуховой объектив. И, отбирая главное из запечатленного на ней, ее можно было мгновенно прокручивать взад-вперед, дабы не ошибиться в выборе целей... Удивительная память!

Выбранные цели ложились на карту в местах их нахождения в данную минуту в виде миниатюрных свинцовых самолетиков-макетиков. Они будто прилипали к карте и, обозначив собой авиагруппы, начинали двигаться вдоль шоссейных и железных дорог к Москве. На сводной карте командира корпуса их число непрерывно увеличивалось...

Полковник Курьянов спокойно и деловито прокладывал боевой курс каждой группы немецких самолетов, точно угадывая ее задачу. А генерал Журавлев, как-то буднично восседая в своем кресле, со сдержанным спокойствием оценивал обстановку и нажатием кнопки на своем пульте зажигал красные лампочки на пультах начальников служб. Это значило, что все переговоры в сети мгновенно прекращались, и тогда звучал знакомый всем генеральский голос, отдававший приказ...

Справа от зала главного пункта управления находилась комната, где размещался командный пункт командира 6-го авиационного корпуса полковника Климова; слева — комната, откуда управлял полками зенитной артиллерии полковник Лавринович. Сюда и поступали приказы Журавлева. Оперативная же группа прожектористов во главе с начальником прожекторной службы полковником Сарбуновым командовала своим огромным свето-лучевым хозяйством, находясь по соседству с главным постом ВНОС — на втором этаже.

Щербаков замечал, что по мере увеличения количества немецких самолетов и приближения их к Москве ритм работы на командном пункте убыстрялся и росло напряжение людей. Порой в чьем-то всплеске голоса, в надрывном шепоте, резком движении или нетерпеливом взгляде прорывалась нервозность. Но дело спорилось...

На светоплане и на картах было видно, что некоторые бомбардировщики, не долетев до цели, ложились на обратный курс: можно было предположить, что наши истребители вынудили их преждевременно освободиться от смертоносного груза. И стало совершенно очевидным, что к зоне действий зенитной артиллерии группы немецких самолетов подходили уже рассредоточенными.

Куда бы ни устремлял свое внимание Александр Сергеевич, пытаясь вникнуть во все происходящее в этом зале — в доклады, команды, приказы, шуршание карт, щелканье приборов и аппаратуры связи,— его все больше тревожила мысль: «Почему нет Сталина и других членов Политбюро?.. Ведь было точно условлено: пока не достроят бомбоубежище в Кремле, местом укрытия и работы Политбюро во время налетов будет командный пункт ПВО. Где же они?..»

Вначале успокаивал себя тем, что, судя по обстановке на картах, немецкие самолеты только приближались к воздушным границам Москвы... Но вот стало видно, что отдельные из них прорвались

сквозь заградительный огонь зенитной артиллерии и рыщут над окраинами города. По ним уже ведут огонь зенитчики, боевые позиции которых — в центре Москвы.

На какое-то время отвлекли первые сведения о сбитых немецких самолетах. Потом они стали пополняться. На карте все больше появлялось красных кружочков с черными крестиками внутри...

«Но где же товарищ Сталин?» Щербаков не выдержал и вышел в коридор...

11

Первое крупнейшее ночное сражение в небе Подмосковья и Москвы не прекращалось в течение пяти часов. В пятичасовом массированном налете на советскую столицу участвовало до 250 немецких бомбардировщиков. Какая же это масса металла была поднята в поднебесье, какая силища моторов, изобретенных разумом человека, вращала лопасти воздушных винтов! И каждый самолет нес в себе до тысячи килограммов железа, начиненного огромной силы взрывчаткой и адскими зажигательными смесями.

С начала второй мировой войны, как уже известно, ни одна столица государств Европейского континента, подвергшаяся нападению немецко-фашистской авиации, не сумела защитить себя. Это вселяло заправилам фашистского рейха уверенность, что не устоит под фугасками гитлеровского люфтваффе и Москва. Более того, Москва, согласно приказу Гитлера, была приговорена к полному уничтожению, ибо являлась большевистской столицей, возвышавшейся на планете как знамя и символ бессмертных идей Ленина.

Итак, борьба двух миров, двух социальных систем во всю мощь развернулась и в небе. На дальних подступах к Москве наперехват воздушному врагу первыми ринулись советские истребители. Из всех летчиков, участвовавших в тех воздушных боях, только каждый пятый или шестой был подготовлен к действиям в ночных условиях.

Как только Виктор Рублев умостился в кабине истребителя, сразу же ощутил духоту и бензиновый запах, смешанный с горьковатым ароматом увядающей березы. Трепеща потерявшими влажность листьями, березовые ветви заглядывали лейтенанту Рублеву прямо в лицо, косо вздыбившись с земли на фюзеляж и на крылья самолета — для маскировки. Рядом — слева и справа — притаились в купах зелени другие истребители; создавалось впечатление, что это выбежал из недалекого сосняка, подступившего к аэродрому, подлесок и сгрудился в тесные хороводы.

Между замаскированными самолетами пробежал, гулко топая тяжелыми сапожищами, кто-то из команды аэродромного обслуживания и хриплым, прокуренным голосом прокричал, чтоб летчики дежурных звеньев обоих базировавшихся здесь полков сейчас же присоединили к своим шлемофонам телефонные шлейфы.

Виктор торопливо взял свисавший в кабину жилистый скруток проводов с трехрогим штепсельком на конце, соединил его с розет-

кой на своем шлемофоне и будто окунулся в новый, неведомый мир, полный приглушенных мужских голосов, чьих-то команд, щелканья тумблерами; в иных голосах улавливалась сердитость, в других — сдержанное спокойствие или напряженность. Это слышалась предбоевая подготовка командных пунктов — авиационного корпуса ПВО, находящегося где-то в Москве, и двух истребительных полков. Чувствовалось, что вот-вот последует команда дежурным звеньям подняться в воздух и идти наперехват врагу. И сейчас, когда присоединены телефонные шлейфы, командирам полков уже не надо будет зря тратить время и дублировать экипажам приказ командира корпуса, выстрелами из ракетниц подадут сигнал к действию, а после взлета истребителей уточнят им по радио задачи — кому и в какой зоне перехватывать немецкие бомбардировщики. Правда, самолет лейтенанта Рублева, как и другие, только вчера прилетевшие сюда «ястребки», или, как их еще называли, «ишачки» — истребители И-16, не был оборудован радиоаппаратурой. Поэтому боевая задача им поставлена заранее. Виктору, например, надо будет устремлять свой истребитель в световое поле над Солнечногорском.

Многоголосие, шум и потрескивание в наушниках растворяли внимание Виктора, повергали в забытье, как легкий прибрежный шум морской волны. Мысли, словно телята на обширном пастбище, разбредались в разные стороны, и он, не проследив до конца ни за одной, устремлялся к другой. Почему-то больше всего думалось о вчерашнем дне, когда в составе эскадрильи перелетел на этот аэродром из-за Волги; там, на военном заводе, вместе с другими «безлошадными» летчиками он получил новый самолет, именуемый авиационным людом «ишачком», а наземным — «ястребком». Да, это был истребитель И-16 — точно такой же, с какого Виктор Рублев выбросился на парашюте в небе Западной Белоруссии, где в первых воздушных боях сбил двух «юнкерсов», одного «мессера», а затем был сбит сам. Попав в окружение, удачно вышел из него вместе с войсковой группой генерал-майора Чумакова.

При воспоминании о генерале Чумакове его мысль мгновенно, как искра на ветру, переносилась к Ирине Чумаковой, хотя ему и в голову не приходило, что она дочь Федора Ксенофонтовича. Всегда размышлял о ней с нежностью, шептал про себя устремленные к ней ласковые слова; написал и отправил в Ленинград «до востребования» несколько писем, в которых изливал горячую любовь к ней, рассказывал о своем житье-бытье фронтового летчика... Но вот беда: не было у Виктора фотографической карточки Ирины, и он с горечью ощущал, что в его памяти блекнет ее образ. Ну, может, не блекнет, а теряет четкость, будто видится сквозь замутненное стекло. Всей силой памяти он старался удержать черты ее милого лица, ее улыбку, прищур глаз, цвет которых ему вспоминался то синим, то серым. В общем, в его сознании и сердце продолжала жить красивая девушка — реальная и воображенная, которую он страстно любил, но которая неудержимо отдалялась от него, не переставая быть необыкновенно привлекательной.

Мысли Виктора Рублева прервала внезапно наступившая в наушниках шлемофона тишина. Он не мог знать, что где-то на далеком командном пункте Московской зоны ПВО генерал Журавлев нажал кнопку для циркулярной передачи — и загоревшиеся красные сигнальные лампочки на пультах начальников служб мгновенно заставили всех на линиях связи умолкнуть. И тут же услышал твердый, с напускным спокойствием голос:

— Частям корпуса — положение номер один!

У Виктора даже холодок пробежал по спине. Он представил себе, как в Москве и на огромных пространствах вокруг нее приводится в боевое состояние противовоздушная оборона: слетают чехлы с капотов самолетных моторов, падают на землю маскировочные ветки (при этой мысли он тут же крикнул, будто кукарекнув, своему механику: «Сбросить маскировку!»), вздыбливаются стволы зенитных орудий, расчехляются прожекторы и разворачиваются в сторону нарастающего гула самолетов противника, возносятся в небо аэростаты заграждения...

И опять в наушниках тот же повелевающий голос:

— Товарищ Климов, поднимите из Ржева две пары в зону семь.

Виктор догадался, что приказ этот относится к какому-то авиационному командиру. И тут же услышал новое распоряжение:

— Товарищ Сарбунов, организуйте прием истребителей в седьмом световом прожекторном поле! — Это уже приказ начальнику прожекторной службы.

На какую-то минуту в наушники вновь ворвалась разноголосица переговоров — приглушенных и громких, но тут же опять внезапно ударила по нервам наступившая тишина, будто оборвалась сама жизнь на земле. Но нет, жизнь тут же воскресла — чеканно и значительно прозвучал очередной приказ генерала Журавлева:

— Товарищ Климов, прикажите Стефановскому поднять две эскадрильи с Кубинки и встретить врага в световых прожекторных полях Солнечногорск, Голицыно...

В ту же минуту с опушки леса молнией пронзила небо красная стрела. В вышине — кажется, под самыми звездами — она замедлила лет, плавно изогнулась в дугу и, разгоревшись ярким кровяным светом, стала медленно падать на землю брызжущим искрами клубком...

Красная ракета — сигнал для взлета первой девятки соседнего полка во главе с капитаном Титенковым Константином Николаевичем.

За Титенковым уже утвердилась слава опытного воздушного аса и толкового командира эскадрильи. Да и его ладная фигура, порывистые и энергичные движения, лицо, светящееся зрелой молодостью, силой и веселым задором, располагали к себе, рождали симпатии. Виктор Рублев, только со стороны наблюдая за капитаном, чувствовал, что ему хочется чем-то быть похожим на него — во внешности и в делах. Он даже шлем начал носить, как Титенков, чуть сдвигая его на затылок.

Пока прогревался мотор, Рублев в эту бесконечно длинную перед взлетом минуту с завистью размышлял о том, что и ему хотелось бы летать на более скоростном истребителе Як-1. Но там, на заволжском заводе, выбирать было не из чего. Впрочем, Виктор долго и не печалился: «ишак» так «ишак», ну, тупорылый, зато послушный, увертливый. Сам Чкалов летал на таком самолете.

Огорчало другое: пришлось распрощаться с родным полком. Когда получили на заводе новые самолеты, каждому летчику вручили предписание и карту с проложенным маршрутом: надо лететь в Подмосковье, на Кубинский аэродром, пополнить один из полков 6-го авиационного корпуса Московской зоны противовоздушной обороны... И вот лейтенант Виктор Рублев превратился из фронтового летчика в тыловика. Правда, стоять на защите столицы — это, пожалуй, не всякому так повезет...

Увлекшись размышлениями, Рублев позабыл отсоединить от шлемофона телефонный шлейф и, когда после зеленой ракеты начал выруливать на старт, почувствовал, что с головы начало сдирать шлем. Это отвлекло его внимание на несколько секунд, и он, к превеликой своей досаде, взлетел с задержкой и, естественно, самым последним из звена истребителей И-16, замыкавших строй эскадрильи Як-1 их полка.

Впрочем, это уже не имело значения. Ночное небо будто поглотило эскадрилью. И только, если внимательно присмотреться, можно было кое-где заметить впереди трепещущие лоскутки синего пламени, вырывавшиеся из патрубков самолетных моторов.

Виктор вдруг ощутил тревогу. Ведь он впервые летит ночью — самостоятельно! Нет возможности сверить карту с земными ориентирами. Сразу после взлета надо было взять курс вслед за командиром звена на Солнечногорск — это почти строго на север. По компасу на приборном щитке Виктор довернул самолет в нужном направлении.

Беспокоило и то обстоятельство, что истребитель был почти не обкатан, если не считать вчерашнего перегона с завода с двумя посадками по маршруту для заправки. В кабине новой машины Виктор чувствовал себя, как в необношенном, сковывающем тело костюме. Казалось, рули работают не совсем послушно, мотор тянет неровно и в его гуде не слышится чего-то привычного для слуха.

Мотор потерянного в Западной Белоруссии «ишачка» был для лейтенанта Рублева будто живым, близким существом со знакомым характером, повадками, привычками. Вслушиваясь в ритм его работы, Виктор как бы видел его нутро, начиненное умным железом, частями и приборами, зависящими друг от друга, дающими друг другу энергию, смысл движения — жизнь. И все казалось там на удивление простым, целесообразным, да и весь самолет ощущался как нечто единое с его, Виктора, телом; рули управления машиной будто были продолжением его рук и ног.

Но так все воспринималось, когда летишь днем и видишь вокруг себя необъятную ширь неба и земли... А сейчас кажется, что ты

завяз в густой черной мгле, и если б не звезды, то не знал бы, где земля, а где небо. Даже оторопь брала от ощущения неподвижности и от того, сколь была непроглядной бездна под ним. И только когда самолет развернулся на север, Виктор увидел светящиеся столбы прожекторных лучей. Одни из них бесновались, мечась из стороны в сторону или описывая круги, другие осторожно ощупывали небо, словно хотели прогреть его черную бездонность, третьи застыли в неподвижности, и мнилось, что они ниспадали с высоты на землю. Это и было световое поле в районе Солнечногорска.

Виктора охватили тревога и какое-то злое нетерпение. На фоне освещенного и исполосованного прожекторами неба он увидел темные точки своих самолетов, которые звеньями расходились в стороны и продолжали набирать высоту. Чтобы не потерять из виду хоть часть эскадрильи, Виктор прибавил газу и потянул ручку управления на себя; истребитель послушно задрал нос так, что все звездное небо будто опрокинулось набок. Когда отметка высотомера сравнялась с цифрой 5000 метров, опять выровнял самолет, уже оказавшись рядом со световым полем, мерцающая яркость которого нарастала с каждой секундой. И сразу же увидел густой косяк немецких бомбардировщиков, шедших километра на два ниже его самолета. Они плыли в сторону Москвы и сверху были похожи на черные крестики, спаянные все вместе какой-то невидимой силой, образуя большущий ромб. Неужели целая эскадра?..

Виктор Рублев еще не успел принять решение, как заметил, что навстречу и в бок строя бомбардировщиков потянулись прерывистые золотистые нити пулеметных очередей. Значит, эскадрилья капитана Титенкова и их эскадрилья уже вступили в бой, а он, лейтенант Рублев, оторвался от звена и особнячком топает сзади. Тут же в лучах прожектора начали взблескивать фюзеляжами сами истребители — это при заходах на повторные атаки...

И Виктор с удвоенной злостью пошел на сближение с самолетами врага, кинув своего «ишака» в крутое пике наперерез бомбардировщикам.

Истребитель с хищной скоростью скользил вниз, и Виктор видел, что бомбардировщики немцев, подсвеченные снизу, по мере приближения к ним будто сами начали излучать свет, но только с той стороны, откуда он пикировал, и было похоже, что там, внизу, летели продольные половинки бомбардировщиков — знакомых Виктору по очертаниям «Юнкерсов-88» и «Хейнкелей-111».

Рублев решил атаковать «юнкерса», который прикрывал левое крыло армады. Он, этот «юнкерс», мог скорее других оказаться в его пулеметном прицеле. Но что это?.. Чуть в стороне и справа от истребителя лейтенанта Рублева, лоснясь в белом сиянии мерцающего света зеленым покрытием, пронесся остроносый Як-1. Виктор даже успел заметить черные цифры бортового номера: это самолет капитана Титенкова. Скорость его была столь высока, что Виктору показалось, будто его И-16 не пикирует, а просто падает, скользя по косой линии.

Еще несколько мгновений, и Як-1 Титенкова был над центром армады немецких бомбардировщиков, нацеливая удар по флагманской машине, шедшей впереди строя. Из десятков немецких самолетов навстречу Як-1 тут же брызнули красные трассирующие нити пулеметных очередей. Но Титенков уже гвоздил флагмана из пушки и пулеметов...

Наблюдать за этим воздушным поединком Виктор больше не мог. Ему навстречу тоже ударили из пулеметов немецкие воздушные стрелки. Рядом с его «ястребком» замелькали злые красные светлячки, словно впереди летел невидимый самолет и обильно выхлопывал из патрубков мотора искры.

Далее наступили для Виктора те мгновения, когда действия и мысль становятся для летчика-истребителя чем-то единым. «Юнкерс» будто наплывал на него, укрупняясь и в прожекторных лучах превращаясь из светящегося серебром зверя с распахнутыми в стороны лапами в медленно ползущую черепаху.

Виктор почувствовал, как самолет его привычно задрожал, и понял, что он инстинктивно, однако вовремя нажал на гашетки пулеметов. И почувствовал, увидел сквозь прицел, что пули его секут вражескую машину. Но «юнкерс» будто был припаян к своему месту в воздушной армаде. Его борт вдруг ощетинился целыми снопами огня, устремившегося навстречу атаковавшему истребителю.

Виктор вспомнил, что Ю-88 вооружен четырьмя пулеметами. Это умерило его пыл. Он отвернул свой самолет в сторону, чтобы, описав круг, повторить атаку. И когда вновь, побывав в темени за пределами светового поля, устремил самолет в атаку, то был поражен до такой степени, что у него перехватило дыхание: армада «юнкерсов» и «хейнкелей» уже не существовала. Потеряв флагмана, она распалась на группы, группки и одиночные самолеты, которые устремились в разные стороны от центра светового поля, открыв на полную мощь огонь из бортового оружия по советским истребителям, сновавшим золотыми шершнями между бомбардировщиками или осыпавшим их пулеметно-пушечным огнем откуда-то из темных закоулков неба.

Виктор с восторгом проследил, как почти одновременно «юнкерс» и «хейнкель» клюнули к земле командирскими кабинами и, разваливаясь на части, стали падать. Свою цель Виктор потерял и пошел наперехват «юнкерсу», расстояние до которого показалось ему наиболее близким и который торопился, полупикируя, скорее вырваться из объятий прожекторных лучей. Зная, где находилось в бомбардировщике гнездо воздушного стрелка, Виктор как бы нырнул под вражеский самолет и ударил из пулеметов по его левому мотору. И даже закричал от радости, увидев, как от мотора, будто щепки от колоды при ударе топором, полетели металлические, подсвеченные взрывами крупнокалиберных пуль ошметки.

Еще разворот — и новая атака на того же «юнкерса»; сбросив куда попало бомбы и развернувшись, он пытался удрать на одном моторе. А Виктор уже предвкушал победу, намереваясь с тем же подходом ударить по работающему мотору... И вот «юнкерс» все

ближе... Виктор снова нажал на гашетки. Самолет задрожал от пулеметных очередей, но они вдруг захлебнулись... Что это еще за фокусы?.. Виктор судорожно сделал перезарядку и еще ближе подобрался к вражескому самолету. К этому времени «юнкерс» успел вырваться из пространства светового поля. Он угадывался в темном небе только по выхлопам из патрубков мотора и виделся как расплывчатое темное пятно. Виктор нажал на гашетки. Но очередей вновь не последовало... Тоскливо заныло сердце, липкий холодок пробежал по спине: Виктор понял, что израсходовал все патроны и сейчас его «ишачок» никакой опасности для «юнкерса» не представляет...

«Никакой?» — задал себе злой вопрос лейтенант Рублев, вспомнив, что читал в «Красной звезде», как в первый день войны лейтенант Рябцев в районе Бреста, а лейтенант Мисяков под Мурманском таранными ударами сбили каждый по одному немецкому бомбардировщику. Да и здесь, в Подмосковье, лейтенант Гошко ударом винта истребителя Як-1 скосил с неба, казалось, неприступного «Хейнкеля-111». А капитан Морозов не только таранил вражеский самолет, но и, выбросившись потом на парашюте, захватил в плен немецкого летчика...

Все это пронеслось в памяти одной стремительно-обжигающей мыслью, которая тут же родила мучительное желание настигнуть «юнкерса» и врезаться в него своим «ястребком»!..

Экипаж «юнкерса», словно угадав намерение советского лейтенанта Рублева и уже будучи без бомбовой нагрузки, с пологим пикированием стал уходить от преследования... Виктор понял этот маневр, чертыхнулся про себя, что его И-16 трудновато тягаться со скоростным бомбардировщиком... Но тут же кинул в пике и свой «ястребок».

Пикируя, бомбардировщик обнаружил себя только факелком пламени, порхавшим у закраины выхлопной трубы мотора. Больше всего сейчас боялся Виктор Рублев потерять из поля зрения этот факелок, похожий на красно-голубой платочек, полоскаемый свирепым ветром. Но пикировать до бесконечности было нельзя, и немецкий самолет взмыл вверх. Виктор раньше вывел истребитель из пике и более четко разглядел на фоне звездного неба, уже совсем недалеко от себя, темное пятно «юнкерса», будто застывшего в неподвижности.

Газ — до предела. Казалось, что не истребитель настигал «юнкерса», а будто сам бомбардировщик надвигался на «ястребка». Уже совсем близко... Все как в дурном сне... Еще несколько секунд, и, чуть подав вперед ручку, Виктор услышал треск, заглушивший на мгновение гул мотора... Винт истребителя за доли секунды «размолотил» хвостовое оперение «юнкерса», и тот, словно наткнулся на каменную стену, тут же нырнул вниз и исчез в пучине темноты...

Лейтенанту Рублеву казалось, что он вырвался из удушливого кошмарного сна оттого, что его начала свирепо тормошить какая-то неподвластная разуму сила. Но сразу понял: это трясется всем своим металлическим телом «ястребок», срезавший пропеллером, словно гигантской циркулярной пилой, стабилизатор и киль немецкого

«юнкерса». К удивлению пришедшего в себя Виктора, отключившегося было на какие-то мгновения мыслями и чувствами от реальности, его тяжко пораженный И-16 продолжал полет, хотя и бился как в лихорадке. Невидимые во вращении лопасти пропеллера, наверное, безобразно изогнулись и ввинчивались в поднебесный воздух с разной шириной «шага». Вслушиваясь в работу мотора, Виктор опытным слухом различал, как захлебывался тот в своей железной боли и был готов вот-вот заглохнуть.

В лицо Рублеву густо пахнуло смесью тошнотворных запахов масла, сгоревшей краски и бензина. Тут же в горле ворохнулись позывы к рвоте, глаза заслезились от рези, звезды в небе будто растаяли и само небо исчезло.

Если летчик потерял чувство горизонта, если не имеет возможности определить, где небо, а где земля, надо идти на поклон приборам; иначе — неминуемая гибель.

Виктор прильнул к щитку и сквозь стекла летных очков впился глазами в тускло светившиеся циферблаты приборов. Указателя уровня бензина в баке на щитке самолета этого выпуска не было. Только часы... Вглядевшись в них, прикинул, что бензина должно бы хватить дотянуть до аэродрома, если только самолет не начнет разваливаться.

Тряска не прекращалась, но истребитель продолжал лететь, хотя с трудом, даже при больших усилиях летчика, подчинялся рулям. Развернув его строго на юг, Рублев вдруг со смертной тоской подумал, что аэродром он сумеет найти лишь по счастливой случайности. Ведь на земле не просматривался ни один ориентир. Редкие огоньки, мелькавшие в разных местах, и несколько пожаров ни о чем ему не говорили. Сверить карту с местностью невозможно — ни местность не видна, ни карту не разглядеть. Правда, в полсотне километров слева небо густо искрилось и вспыхивало зарницами, словно в воробьиную ночь. Москва... Среди множества прожекторов там будто раздула горнила невидимая из-за расстояния гигантская кузница и тысячи молотобойцев гвоздили в ней тяжелыми кувалдами по наковальням, расплющивая раскаленный, брызжущий золотыми жуками металл.

Компас уже не мог помочь летчику, ибо его самолет в схватке с «юнкерсами» много раз уклонялся в разные стороны и на разные расстояния от линии, именуемой на военном языке азимутом, по которой он пришел к световому полю; оно сейчас разметало свои лучи по всему небу, встречая новые эшелоны немецких бомбардировщиков, шедших к Москве на разных высотах.

Оставалась надежда на помощь «господина случая». Нужно было разглядеть сквозь темень ночи пересечение Белорусской железной дороги с автострадой Москва—Минск. Оттуда уже не хитро будет даже без бензина спланировать на поле Кубинского аэродрома.

Потянулся рукой к сектору газа, чтобы ускорить снижение, и поймал себя на мысли о том, что завтра найдут тараненный им немецкий бомбардировщик, восхитятся его подвигом, а его, Виктора, возможно, уже не будет в живых... Тяжко было об этом думать,

печально сознавать, что такое вполне может случиться, но... Но он все-таки не пустил к Москве вражеский бомбовоз, несший в своем чреве тысячу килограммов бомб. Это сколько своих людей могла лишиться Москва от фугасок сбитого им «юнкерса»?!

Мысли, самые разные, совсем некстати врывались в его голову. А ведь надо было уловить тот момент, когда проглянется земля, чтобы успеть вывести самолет в горизонтальный полет, но в воспаленном воображении маячили то школьный бал в Ленинграде, где они с Ириной Чумаковой кружат в вальсе, то могильный холмик, над которым плачет Ирина. Над кем же она плачет? Ведь это он, ее Виктор, подходит к ней с букетом цветов в руке со скомканным шелком парашютного купола на плече.

А вот и земля, как дно чудовищно-огромного водоема... Рублев четко увидел, что высотомер показывал пятьсот метров. Но земля просматривалась смутно, будто очки его шлема были закопчены: лес не отличишь от поля, и о выборе площадки для вынужденного приземления не могло быть и речи. Виктор, напрягая зрение, пытался разглядеть три спасительных огня на аэродроме — один красный и два белых, которые должны быть расположены треугольником. Заходить на посадку надо со стороны красного... Но нигде не видно огней... А бензина в баке оставалось всего лишь на несколько минут... Садиться куда попало — вслепую?.. Верная гибель... Хотя бы озеро заметить да спланировать на воду.

С креном пошел по кругу, не отрывая взгляда от земли. Мотор в это время сделал несколько перебоев, и Виктор почувствовал, что истребитель теряет скорость. Еще хлопок мотора — и наступила тишина... Только тихий свист рассекаемого крыльями «ястребка» воздуха...

Виктор выровнял истребитель, подтянулся на руках, держась за края кабины, и вывалился из нее. И-16 тут же исчез, уносясь по наклонной к земле.

Не хватило Виктору времени оглядеться, развернуться по ветру и принять нужное положение тела под раскрывшимся куполом парашюта после того, как рванул на груди вытяжное кольцо...

12

Борьба двух миров... Какой страшный смысл в этих будто бы простых словах. Сражаются миры — истребляют друг друга народы. Истребляют самую здоровую, сильную часть человечества, наделив обязанностью воспроизводить род людской главным образом тех, кто не пригоден, неполноценен по физическим и духовным качествам для борьбы с оружием в руках. Эта азбучная истина ясна всем, но войны, к сожалению, являют собой скорбные вехи в истории человечества. И каждая из них имеет свои классовые причины и выражает тенденции эпохи.

Да, у каждого класса есть свои закономерности и свои принципы следования этим закономерностям. Ими и диктуются поступки чело-

века, принадлежащего к тому или иному классу. Вторая мировая война охватила пожаром Европу из-за того, что фашистским главарям во главе с их «психологом» и вдохновителем Гитлером пожелалось расширить свое властвование на все континенты планеты, а потому их взоры с особой алчностью устремились на Восток, куда указал своим перстом Гитлер еще в тридцатые годы. Еще тогда устно и печатно вопил он, что, «приняв решение раздобыть необходимые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае мы должны были, перепоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов. Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущный немецкой нации...». Но еще задолго до проявления этих нацистских аппетитов, исстари на Руси бытовала поговорка: «По одежке вытягивай ножки». Правда, после покорения европейских стран у фашистов одежки прибавилось, ножки, естественно, тоже подвытянулись. И возомнили они, что Московия стала им доступной... Загремели громы очередной войны, полились реки крови.

Противоборство между двумя мирами разгорелось на земле, на морских просторах и в воздухе. И если на суше и на морях боевые операции в большей степени подчинялись общим закономерностям и утвердившимся методам военного искусства, то борьба в воздухе часто распадалась на индивидуальные поединки, исход которых зависел от многих слагаемых. Не последнюю роль в этих поединках играла крепость духовной брони, в которую был одет характер всех советских воинов, в том числе и летчиков. Метод познания мира у наших летчиков, их образ мышления исходил из главной истины — от сохи и наковальни они вознеслись в небеса Родины, стали ее стражами...

Спасшийся на парашюте командир экипажа «юнкерса», тараненного Виктором Рублевым в районе Солнечногорска, категорически утверждал, что его не мог настигнуть советский истребитель И-16. Немецкий полковник фон Рейхерт, конечно не без основания, был убежден в значительном превосходстве технических и боевых качеств немецкого бомбардировщика. Высокий, бледнолицый, мужественно-красивый, он щурился, глядя на советского переводчика, и искренне недоумевал по поводу задаваемых ему вопросов.

— Если вы, господин полковник, так уверены в своем Ю-88, так почему же сбросили бомбы, как утверждаете, неизвестно куда и повернули на запад? — спрашивал майор-переводчик.

— Я поступил точно так, как поступало большинство моих коллег,— ответил фон Рейхерт.

— Кто вы по происхождению, кто ваши родители?

— Я из знатной династии баронов... Мой отец — известный скульптор, коллекционер работ древних ваятелей.

— Как же сын такого отца может стать разрушителем творений рук человеческих и убийцей?

— Долг перед Германией превыше всего!.. И я еще проникся пониманием, что большевизм угрожает миру.

— Чем же он угрожает?

— Отнимает у людей собственность, накопленную веками, переходящую от старших к младшим. Большевизм нивелирует человека, лишает его признаков личности...

— Да, крепко замусорил вам мозги доктор Геббельс!

— Простите, а мне можно задать вам вопрос? — Фон Рейхерт устремил внимательный взгляд на переводчика.

— Спрашивайте,— удивился майор.

— У Советов появился новый вид оружия, если вы сумели сбить даже флагмана нашей эскадры?..

Жаль, что не слышали этого вопроса советские летчики-истребители Виктор Рублев, К. Н. Титенков, П. В. Еремеев, С. С. Гошко, А. Г. Лукоянов, П. А. Мазепин и другие, сумевшие в прошедшую ночь низвергнуть с поднебесных высот на просторы Подмосковья более десяти немецких бомбардировщиков...

Допрос фон Рейхерта происходил на второй день, а пока налет на Москву продолжался, и советские летчики-истребители были заняты боевой работой, к которой всей своей мощью подключились другие средства ПВО, и особенно зенитная артиллерия, ибо отдельные немецкие бомбардировщики все-таки прорвались к столице. Первой сбила вражеский самолет Хе-111 зенитно-артиллерийская батарея лейтенанта И. Н. Шарова, огневая позиция которой располагалась на Центральном аэродроме, близ Ленинградского шоссе.

Поднялась в воздух и эскадрилья истребителей, которой командовал Герой Советского Союза полковник Юмашев. Все ее экипажи впервые взлетели в ночное небо на боевое задание. Среди них был и летчик-испытатель Марк Галлай...

...Хуже всего, когда не знаешь, как быть. Сердце ноет, томится, в голове сумбур от сталкивающихся мыслей, а ты никак не можешь ни на что решиться, будучи уверенным, что везде откажут...

Так чувствовали себя летчики из отряда испытателей, в том числе и Марк Галлай, узнав, что упустили реальную возможность попасть на фронт. Ведь совсем рядом, в родственном научном авиацентре, формировали два истребительных полка, комплектуя экипажи из таких же, как и они, летчиков-испытателей. Прослышали об этом, когда уже было поздно: полки улетели воевать, но... без них и без него, Марка.

Куда податься и перед кем хлопотать? В районном военкомате и разговаривать не станут, ибо летчик-профессионал, да еще испытатель,— фигура им неподвластная. А фронт сейчас казался Марку единственным и самым главным местом, где должен находиться каждый, умеющий владеть хоть каким-либо оружием. Ведь враг — вот он, рвется к Москве, Ленинграду, Киеву, а фашистские самолеты чувствуют себя в нашем небе хозяевами, разбойничая днем и ночью...

Как же ему попасть на фронт? Ведь в действующей армии не так уж много было летчиков, которые научились летать на том же МиГ-3. А этот новый истребитель, пусть и капризный, должен стать смертной грозой для фашистов. Благодаря мощному мотору он пока самый скоростной и самый высотный. У него закрывающийся фонарь, посадочные щитки, предкрылки и закрылки. Оружие — два скорострельных пулемета — ШКАСы и один крупнокалиберный — Березина; к ним бы еще пушку!.. Да будет и пушка!..

И вдруг, словно стремясь навстречу желаниям Марка, разнеслась весть: создаются две отдельные эскадрильи авиационных ночных истребителей для противовоздушной обороны Москвы! Летный состав для одной из них набирают из числа летчиков-испытателей авиационной промышленности... Тут уж Марк не упустил случая и был зачислен во 2-ю эскадрилью знаменитого Юмашева Андрея Борисовича — полковника, Героя Советского Союза, того самого, который прославился на весь мир еще в 1937 году участием в самом дальнем перелете по прямой без посадки: Москва — Северный полюс — США. Юмашев был не только герой, но и душа человек, один из лучших летчиков-испытателей.

Радуясь такой удаче, Марк Галлай не учел только одного: эскадрилья предназначалась для ночных действий. А летать ночью ему не приходилось. Впрочем, не одному ему! Другие летчики-испытатели тоже не нюхали ночной боевой работы, но были уверены, что справятся с ней, ибо настоящий испытатель обязан на ходу во все вникнуть, все освоить и понять. Однако, не будучи военными летчиками, «новобранцы» все-таки предполагали, что им дадут хоть какое-то время для ночных тренировочных полетов и ночных стрельб по подсвеченному конусу-мишени. Да и казалось, что война еще где-то далеко...

Но — увы! После формирования эскадрильи ей сразу же приказали нести ночные боевые дежурства с готовностью в любую минуту подняться в небо навстречу врагу. И для Марка Галлая такой момент не замедлил наступить, хотя в это ему пока не верилось.

Вечером он принял от техника Тимашкова машину, посидел в кабине, проверив работу рулей, зажигания, сектора газа; осмотрел пилотажные и навигационные приборы. А потом, как и другие летчики дежурного звена, улегся на расстеленных у самолета чехлах, готовый вздремнуть или побалагурить...

И тут приказ: «Готовность номер один!» Это означало, что надо надеть парашют, сесть в кабину самолета, прогреть мотор и быть готовым к взлету...

Но все-таки никак не верилось, чтоб вот так сразу — и в настоящий бой... А когда со стороны Москвы донеслись приглушенные расстоянием гудки заводов, вой сирен, частые вскрики паровозов, тревога тоскливым холодком шевельнулась в груди. Почудилось, что в столице уже случилось что-то страшное, непоправимое.

Потом внимание Марка привлек странный отблеск на стеклах приборного щитка в его кабине, и он, повернув голову, увидел, что на западе, где-то в стороне Можайска, с неба будто смахнули

ночную темень и оно белесо высветилось там, как огромная прогалина в сплошных облаках, сквозь которую падали на землю потоки солнечного света. Это, как догадался Галлай, наши прожектористы взметнули в небо световое поле, в котором ночным истребителям легче будет обнаружить немецких бомбардировщиков.

Начали полосовать ночное небо белые столбы прожекторных лучей и над Москвой. Тут же они будто стали сшибать с неба звезды, высекая при этом целые снопы искр, которые густо и ярко расцвечивали черный горизонт, рассыпались, гасли и вспыхивали вновь, все шире охватывая кровавыми всплесками пространство над Москвой... Могло показаться, что там бесновался необычайных размеров фейерверк, вышедший из-под власти пиротехников... Это открыла заградительный огонь наша зенитная артиллерия. Значит, враг все-таки прорвался в небо Москвы...

Марк с тревогой оглянулся на темные силуэты соседних самолетов дежурного звена. Их острые носы были устремлены к взлетной полосе, которая серым клином вонзилась в невидимую даль аэродрома. И в это время в кабину Марка втиснулась голова полковника Юмашева; было слышно его учащенное дыхание от быстрого бега.

— Марк, надо лететь!..— сказал он как-то буднично, словно речь шла не о боевом вылете. Потом голос Юмашева стал строгим и чужим.— Высота три — три с половиной тысячи метров. Центр Москвы... Ниже двух с половиной не спускаться: там привязные аэростаты заграждения. Обнаружить противника. Атаковать! Уничтожить!..

Наступили те мгновения, когда у летчика мысль сливается с рефлективными движениями. Марк Галлай, может, и не фиксировал своего внимания на всем том, что связано с запуском мотора самолета и выруливанием на старт. Но как только прибавил газу, тут же был ослеплен огромными потоками пламени, яростно заструившимися с обеих сторон кабины из выхлопных патрубков; а ведь днем и не замечал этого хвостатого огня, мешающего сейчас смотреть вперед. Наблюдать же из глубокой кабины поверх капота мотора можно было только после взлета.

Но как взлететь вслепую, чтоб не сбиться с направления?.. От встревожившей мысли вскинул глаза в ночное небо и... увидел звезды. Есть решение!..

Прежде чем закрыть фонарь, Марк заорал невдалеке механику Тимашкову:

— Скажи ребятам: на разбеге, чтоб не слепило, пусть смотрят поверх капота на какую-нибудь звезду! Понял?..

Механик кивнул и помчался к соседнему самолету, а Галлай, вырулив «миг» на старт, начал разбег... Когда земля оказалась внизу, даже изумился, что ночной взлет прошел так благополучно — ведь это впервые, без всякой подготовки.

Набрал высоту и, осваиваясь с необычным чувством отсутствия для взгляда простора, поглощенного темным покрывалом неба, густо проткнутым яркими звездами, стал разворачивать самолет в сторону Москвы. И тут ему показалось, что вновь, как и при взлете, произошло

что-то непредвиденное, пока непонятное. В глаза ударило слепящее сияние, словно носовая часть самолета — капот с мотором, передние кромки крыльев — вспыхнула белым пламенем, осветив бездну пространства... И вслед за этим, как кинжальный удар в сердце, догадка: в Москве пожары. Несколько кварталов были затоплены густым, зловеще-белым, слепящим, мечущимся в дикой пляске огнем. Неужели немцы прорвались в небо Москвы?

В это трудно было поверить, потому что нисколько не редел в небе над Москвой кипящий, густо сверкающий вспышками заградительный вал зенитно-артиллерийского огня. Не уменьшилось и количество прожекторов, лучи которых, будто светящиеся доски гигантского, крест-накрест, с разной степенью прочности сколоченного штакетника, метались под упругим ветром, ударявшим по ним со всех сторон...

А между тем панорама огня в безбрежье затемненной земли все ширилась — это он хорошо видел из-под звездного неба, ощущая, как липкой росой покрывался его лоб, как от острого внутреннего страдания руки напряглись до предела, удерживая ручку управления и увеличивая сектором газа тягу самолета... В нем проснулось истинное бесстрашие.

Но, видимо, нередко в моменты крайнего человеческого потрясения наступает рубеж, когда воображение и знание, осененные лучом разума, соединяются одно с другим и, став единым, просветляют человека. Марк вдруг вспомнил, что даже один тяжелый бомбардировщик способен сбросить до двух тысяч зажигалок — легких кассетных бомб, начиненных белым фосфором, термитом или магнием. И даже одна такая бомба в затемненном городе способна своим заревом ярко освещать целый квартал...

Самолет Галлая оказался над Москвой, когда психика его все еще была всклокоченной, как речка на горном, порожистом склоне; Марка все более неотвязно терзала мысль: с чего начать, как найти и как атаковать врага? Заметив на другом конце ночи в скрещении лучей прожекторов серебряный крестик бомбардировщика, он круто развернул в ту сторону истребитель, прибавил газу, но вражеский самолет, видимо сбросив бомбы, нырнул в темноту.

И тут же Галлай почти физически почувствовал удар прожекторного луча по своему самолету: в ярком, наступавшем внезапно, как взрыв, свечении инстинктивно пригнул голову, прильнул лицом к приборному щиту и почти прикоснулся носом к ручке управления. Но вновь нахлынула темень: прожектористы, видимо, опознали свой самолет... Так повторялось несколько раз, а потом вокруг самолета начали вспыхивать брызжущие огненными стрелами разрывы зенитных снарядов... Ох как же тяжка эта беспомощность, когда нет возможности связаться с землей, предупредить или вскрикнуть на всю вселенную, что свои стреляют по своим!... А может, и сам Марк был виноват, что не обошел полосу заградительного огня? Спас маневр: ручку управления в одну сторону, ножную педаль в другую — и стремительно заскользил из опасной зоны...

Нет ничего бескомпромисснее, чем время. Никакими силами не

возвратить ни одной проведенной в воздухе минуты: время в полете — это сожженное горючее, без которого сердце самолета не сделает ни одного лишнего удара. Мало горючего! А еще ни одной атаки. Вернуться на аэродром ни с чем?..

И тут увидел, как в скрещении лучей нескольких прожекторов ярко засветилась точка. Лучи, вцепившись в нее, будто осмысленно вели ее прямо навстречу ему, Галлаю...

«Это мой!..»

Не отрывая взгляда от светящейся точки, которая заметно росла, распухала, приобретая очертания бомбардировщика, Марк отвернул свой самолет в сторону, чтобы, сделав полукруг, зайти врагу в хвост. Атаковать сбоку не решался, боясь промазать: ведь никогда не приходилось стрелять по быстро движущейся цели, брать упреждение, чтоб пули встретились с самолетом безошибочно.

Странное ощущение, когда ты надвигаешься из темноты на световое поле, в котором распластался вражеский самолет, раскинув обрубленные желтоватые крылья с черными крестами на них и чуть приподняв два киля хвостового оперения. «Дорнье»,— узнал Марк тип немецкого бомбардировщика... А ты будто бы сам по себе — без машины, и даже тела собственного не ощущаешь, а несешься в темноте сгустком присмиревших в напряженном ожидании чувств, средь которых главенствует одно: не упустить врага...

«Дорнье» уже метрах в четырехстах... Марк, прижавшись затылком к бронеспинке, устремив взгляд сквозь сетку прицела, ударил длинными пулеметными очередями по крылу с черным крестом... Но зачем с такого большого расстояния и почему по крылу?! Надо подойти ближе и стрелять по моторам, по кабине экипажа!.. Подошел ближе и опять дал сноп очередей — уже по центру бомбардировщика. И кажется, точно прошил машину, хотя подставил и себя двум воздушным стрелкам, сидевшим в гнездах за колпаками «дорнье» — один сверху, второй в хвосте. Марк увидел, как ему навстречу брызнули струи светящихся пуль и пронеслись мимо... В темноте он был невидим для ослепленных стрелков.

Отвалив в сторону, сделал новый заход и чуть снизу ударил из пулеметов по кабине пилота, а затем по правому мотору... И опять встречная очередь светлячков, от которой успел вовремя уклониться.

Еще несколько заходов, и «дорнье» перестал огрызаться огнем. Теперь его можно было расстреливать почти в упор, что Марк и сделал...

13

Озадаченный и встревоженный тем, что Сталин и все другие члены Политбюро, хотя налет на Москву длился уже два часа, не появлялись на командном пункте ПВО, который был и надежным укрытием от бомб, Александр Сергеевич Щербаков вышел из зала главного пункта управления в коридор, ощутил разгоряченным лицом, как гуляют здесь свежие струи воздуха, нагнетаемые, видимо, компрессорами, и огляделся по сторонам.

— Прервалась связь с наблюдательной вышкой на здании управления корпуса! — услышал он торопливый говорок узкогрудого и узколицего майора в очках, выбежавшего вслед за ним в коридор.— Полковник Гиршович приказал немедленно восстановить...

— Есть восстановить! — откликнулся старший лейтенант — до красноты рыжеволосый, веснушчатый и с белесыми глазами. Он с группой бойцов-связистов сидел в просторной нише-комнате, за столом с телефонными аппаратами.

Два бойца по приказу старшего лейтенанта, стараясь не топать сапогами, на носках побежали вдоль коридора к лифту.

Щербаков вспомнил, что на крыше здания штаба, под которым был оборудован командный пункт ПВО, есть наблюдательная вышка. И он неторопливо пошел вслед за связистами. А в ушах будто застрял скоренький говорок майора в очках: «Полковник Гиршович приказал...»

Только сейчас Щербаков наблюдал работу полковника Гиршовича — начальника штаба корпуса; тот сидел за столом рядом с генералом Журавлевым, у пульта управления, и действительно как бы был правой рукой командира корпуса. Перед Гиршовичем лежал раскрытый журнал, в котором он торопливой и четкой скорописью фиксировал поступавшие по всем каналам связи донесения. Туда же записывал и о принятых решениях. Иногда они с Журавлевым о чем-то переговаривались — видимо, советовались,— и тогда Гиршович что-то перечеркивал в журнале и делал новые записи. Его бледноватое худощавое лицо, нахмуренные брови выражали крайнюю степень внимания и озабоченности. Казалось, что полковник решал на строгом экзамене какую-то сложнейшую математическую задачу и она ему не давалась.

«Но где же товарищ Сталин?» — в который раз сам себя спрашивал Щербаков, поднимаясь в лифте к верхнему этажу дома, откуда можно было взобраться по лестнице на чердак, а с чердака на крышу, где под броневым козырьком находилась наблюдательная вышка.

Орудийная пальба уже хорошо была слышна в лифте. Но когда Александр Сергеевич появился на крыше дома, ему показалось, что вокруг лютовала гроза с тысячами молний.

— Александр Сергеевич! — испуганно кинулся к нему один из дежуривших здесь наблюдателей.— Нельзя вам сюда! Осколки залетают...

— Я на минуту,— спокойно и строго ответил Щербаков, оглядываясь по сторонам.

Это был тот момент воздушного налета, когда к Москве прорвались с запада несколько бомбардировщиков. С наблюдательной вышки хорошо было видно, как плотнела и перемещалась по ночному небу в направлении центра столицы кипящая вспышками сотен взрывавшихся зенитных снарядов заградительная завеса. А лучи прожекторов, будто нервничая, делались все более подвижными. Вот в их скрещении ярко засеребрилась пылинка — немецкий самолет. Вокруг него густо засверкали красные и колючие искры

взрывов. Донесся густой, угрожающий грозовой раскат сработавших фугасных бомб... Значит, кое-что удается врагу...

Из-за гулкой и резкой стрельбы зенитных орудий, простуженного татаканья крупнокалиберных пулеметов и частого тявканья автоматических зенитных пушек почти не различался на слух рокот самолетных моторов в небе. Одиночные немецкие бомбардировщики угадывались в тех местах, куда устремлялись разноцветные прерывистые нити пулеметных очередей и трассирующих снарядов МЗА — малокалиберной зенитной артиллерии. Щербаков увидел, что светящиеся дорожки потянулись в небо почти вертикально от здания штаба корпуса. Значит, самолет прямо над головой.

Послышался нарастающий свист, переходящий в протяжный, жутко холодящий сердце вой; казалось, что это кричит само небо, низвергаясь на город.

Вокруг свирепо, с гулкой многозвонностью ударило по крышам домов, засверкали поначалу будто безобидные вспышки в глубине видимых с вышки дворов и на перекрестье Кировской улицы с Бульварным кольцом.

— Разрядился, гад, зажигалками! — послышался сдавленный страхом голос одного из наблюдателей.

Щербаков действительно увидел, как в тех местах, где сверкнули упавшие зажигалки, будто начали разгораться маленькие солнца, свет которых был бело-слепящим, сердито брызжущий искрами. И только теперь Александр Сергеевич заметил, что на всех домах копошатся люди. Там, где крыши не имели по краям железных решеток-барьеров, мужчины, женщины, подростки попривязывали себя веревками к дымоходам, радиоантеннам, выступам; у иных концы веревок прятались в слуховых окнах, привязанные к чему-то на чердаках.

Когда зажигалки начинали разгораться, то дружинники, кто был поближе к ним, кидались на огонь с железными клещами, с наполненными песком совковыми лопатами или ведрами. Искрящиеся маленькие солнца часто вылетали из слуховых чердачных окон или высившихся над крышами дверей. Они с грохотом катились по жести, озаряя все вокруг ярко-белым мерцающим сиянием. А те зажигалки, которые, не пробив жесть, застревали в крышах, вытаскивались и тоже сталкивались вниз. Продолжая гореть на земле, они расплавляли асфальт, опаляли деревья, прожигали, казалось, насквозь мостовые.

Вокруг сделалось неестественно светло: не то наступил белый день, не то чрезмерно лунная ночь. Свет был зловещим, переменчивым, прыгающим в дикой пляске. Казалось, что вот-вот до самого поднебесья взовьется пламя от запылавших домов, улиц, деревьев Бульварного кольца.

Со всех сторон раздавались мужские и женские голоса, неслись выкрики, команды, вопли, матерщина, предупреждения:

— Не жалей песку, растяпа!

— Глаза, глаза береги, очкарик!

— Без рукавиц не лезь!..

— Дурак, сними кастрюлю с головы, она каску не заменит!

— А ты, мать твою, рот закрой! Влетит — не выплюнешь!

— Не надо водой!.. Выбрасывай клещами!

Находились и шутники:

— Эй, соседи! Вы нам кидайте зажигалки, а мы вам — черных кошек!

— Вы свою молодую дворничиху нам швырните!.. А мы вам своего дворника... Не пугайтесь, мы его с недобросом!..

Вдруг все голоса утонули в надсадном вое тяжелой бомбы. Казалось, что она падала прямо на здание штаба, но пролетела дальше и с грохотом взорвалась где-то у Никитских ворот.

Затем на крыше соседнего дома послышался крик-мольба:

— Помогите, миленькие!.. Ногу мне отбило! Падаю!.. А-а-а!..

На чердаках и крышах жилых домов, административных зданий, кинотеатров, музеев, больниц, магазинов — везде боролись с немецкими зажигательными бомбами москвичи. Иные погибали, если в здание попадала фугаска. Специальные бригады тут же начинали разбирать, растаскивать развалины...

Да, Москва защищалась. И как не вздрогнет сердце, когда подумаешь, что это плод неустанного труда коммунистов столицы и бессонные ночи его, Щербакова, первого секретаря МК и МГК! Сколько раз и сколько часов на бюро горкома обсуждали они все то, что требовалось сделать для отпора врагу! Затем обсуждения переносились в райкомы партии города, в парткомы заводов, фабрик, вузов. Как сейсмические волны, распространялись указания Центрального Комитета партии большевиков о том необходимом, что и когда надо было делать, предпринимать, дабы выстоять перед напором фашизма.

Велика сила — партия... Это она всколыхнула на все глубины душу народа и объединила его силы, указала цели...

Перед внутренним взором Щербакова промелькнули знакомые лица секретарей райкомов партии, руководителей Моссовета, председателей райисполкомов, директоров заводов, фабрик, ученых, конструкторов — коммунистов, олицетворяющих собой партию. Вспомнился бывший секретарь Фрунзенского райкома Гритчин Николай Федорович, которого в эти дни назначили комиссаром 1-го корпуса ПВО... Тысячи и тысячи коммунистов — лучших из лучших — ушли на укрепление рядов армии, авиации и флота. Надо!.. Ведь действительно встал вопрос: быть или не быть Советскому государству?..

Александр Сергеевич посмотрел в небо, перекипающее в огненном крошеве, увидел, как высоко-высоко метался в лучах прожектора серебряный крестик самолета, а к нему тянулись светящиеся пунктиры пуль — но не с земли, а откуда-то с затемненных промоин неба, с борта невидимого советского истребителя. Пули, в яркости которых мнилась грозная увесистость, будто впитывались серебряным крестиком, словно утяжеляя его и делая неспособным держаться в воздухе. И он действительно вдруг клюнул носом и неуклюже закувыркался к земле, сопровождаемый какое-то время одним прожекторным лучом.

Это падал в сторону Южного речного вокзала сбитый летчиком-испытателем Марком Галлаем немецкий бомбардировщик «Дорнье-217».

На железной стойке наблюдательного пункта зазвенел телефон.

— Есть связь! — обрадованно воскликнул дежурный наблюдатель, хватаясь за телефонную трубку. А после того как он доложил кому-то, что видит с вышки один крупный пожар в стороне Белорусского вокзала и замечен один падающий немецкий бомбардировщик, Щербаков приказал наблюдателю:

— Пригласите, пожалуйста, к аппарату полкового комиссара товарища Гритчина.

Через минуту Гритчин откликнулся из подземных апартаментов командного пункта.

— Николай Федорович,— с тревогой в голосе заговорил с ним Александр Сергеевич,— от товарища Сталина ничего не слышно? Почему никто из Кремля не приехал сюда?

— Как же не приехал? — удивился Гритчин.— Все здесь! И товарищ Сталин!.. В салоне для собраний...

Оказалось, что вскоре после объявления тревоги, когда Щербаков с напряженным вниманием вслушивался на пункте управления в первые доклады о выходе на рубеж нашей противовоздушной обороны сразу нескольких десятков немецких бомбардировщиков, генерал Громадин встретил членов Политбюро у лифта и доложил, что воздушный враг, пройдя над Можайском, приближается к Москве и что наши ночные истребители вступают с ним в бой. Члены Политбюро бесшумно прошли по коридору мимо зала главного пункта управления. Видимо, каждый с тревогой размышлял о том, как сложится обстановка в ночном небе на подступах к столице.

Их заметили почти все, кроме Щербакова. И каждый, делая свое дело во время отражения воздушного налета врага, не забывал, что рядом находится сам Сталин, и это создавало особую атмосферу ответственности и внутренней приподнятости.

Александр Сергеевич, успокоившись, спустился с наблюдательной вышки в подземелье командного пункта. В коридоре столкнулся с полковым комиссаром Гритчиным. Чубастый, по-юношески стройный и подтянутый, полковой комиссар ступил с ковровой дорожки в сторону и, щелкнув молодецки каблуками ярко начищенных хромовых сапог, устало улыбнулся. В этой устало-извинительной улыбке, в притушенности глаз с покрасневшими белками и чуть опавшем лице Щербаков угадал крайнюю измотанность Гритчина. Ведь во время отражения налета комиссар корпуса был как бы живым связующим звеном между пунктом управления генерала Журавлева, главным постом ВНОС, оперативной группой прожектористов, начальником зенитной артиллерии... Все ощущали его присутствие, слышали ненавязчивое, но нужное всем слово, своевременную информацию о том, что происходило там — в небе, на поверхности земли, на улицах столицы. Гритчин умудрялся, не вторгаясь в телефонные оперативные переговоры, перемолвиться несколькими фразами с военным комендантом гарнизона генералом Ревякиным, коман-

дирами и комиссарами полков, узнать, как действуют санитарные и пожарные дружины. Было такое впечатление, что если каждый человек, находившийся здесь на командном пункте, отвечал за конкретное, порученное только ему дело, то полковой комиссар Гритчин будто был в ответе за все и всех. Щербаков очень хорошо понимал эту неброскую особенность комиссарской работы, знал, что Гритчин видит происходящее здесь, под землей, и там, под небом, как единое целое и, что весьма важно, ощущает людей, накал их нравственных сил, работоспособность и все те качества, которые требует специфика обязанностей каждого. Словно комиссар носил в своем сердце чудодейственный прибор, измерявший атмосферу настроения и всеобщей деятельности в любой отрезок времени, взвешивал все измеренное своим рассудком и запечатлевал в своей памяти.

Остановившись, Александр Сергеевич с чувством симпатии вгляделся в моложавое лицо Гритчина и с улыбкой заметил:

— А височки-то рановато седеют, Петр Федорович.

— Почему рановато? В самый раз дать волю бесу, который метит в ребро, да вот не получается...

— А как настроение там? — Александр Сергеевич кивнул в сторону салона для собраний.— Товарищ Сталин не выходил?

— Того гляди, мундштук трубки перекусит. Изо рта не выпускает... Нервничает... Появлялся товарищ Мехлис. Меня ругнул, что мешаю оперативной работе: я в то время разговаривал по телефону с полком майора Кикнадзе.

— Может, действительно ты не вовремя занял линию? — заметил Щербаков.

Гритчин досадливо поморщился и пояснил:

— У нас же по нескольку линий связи с каждым полком! Кроме главной, командной, есть оповещательная и третья — для донесений. Вот я ею и воспользовался.

— Ну, Мехлис этого мог и не знать.

— А может, мне действительно при налетах надо находиться где-нибудь на огневых позициях?

— Еще чего! — Щербаков нахмурился.— Политработников хватает в полках и без тебя. Комиссару корпуса надлежит быть рядом с командиром! Мало ли какие ситуации могут сложиться... Комиссар здесь — представитель ЦК партии...

— Между прочим,— вспомнил Гритчин,— товарищ Мехлис и вами интересовался. Спрашивал, где вы... Жалко, я тогда не знал, что секретарь ЦК забрался на обзорную вышку под бомбы и осколки зенитных снарядов — настучал бы начальнику Главпура, а он — Сталину.

— Я тебе настучу! — шутливо погрозил пальцем Щербаков.— Никому ни слова! Молчок.

— Могила! — Гритчин выразительно прикрыл рукой губы.— Разрешите, пойду к энергетикам: у них я еще не был.

— Ну сходи.— Щербаков кинул взгляд в конец коридора, где дверь в салон для собраний была приоткрыта, и подумал: «А что

действительно ответить Мехлису, если спросит по поводу отлучки на вышку?»

Александр Сергеевич был в общем-то в приятельских отношениях с Мехлисом, ценил его остромыслие, находчивость и проворность в решении политических и административных вопросов. Правда, он нередко обменивался с Мехлисом ироническими колкостями, особенно когда тот лез поперед батьки в пекло, забегая в какомнибудь деле вперед. Мехлис чаще отшучивался, напоминая, что не привык в шагающем строю «затягивать ногу». Их перепалки случались на заседаниях секретариата ЦК или Политбюро, чаще в обеденных застольях на даче или в кремлевской квартире Сталина, когда обсуждались какие-нибудь относящиеся к их работе вопросы. Щербакову нравилось, что Мехлис умел подчас безошибочно ухватиться за петельку, от которой тянулась нить к сущности главной проблемы. С этим его качеством соседствовала поразительная логичность мышления, умение доказательно обосновывать свою точку зрения. Однако армейского комиссара часто подводил его неумеренный темперамент, в котором Щербаков подозревал и скрытое самолюбие: не терпел Мехлис, когда ему перечили, не соглашались с его доказательствами, резко судил об иных людях и скор был на строгий приговор чьей-то судьбе. Случалось, что не по заслугам ласкал угодивших ему подчиненных, а не угодивших порой карал сверх вины, будучи уверенным, что ласка не принесет вреда делу партии, а кара станет наукой для других. Временами эксцентричностью своего характера он походил на человека, хохотавшего со страстью, для которой не было повода, или вопил трагичнее, нежели к этому побуждали обстоятельства.

Эти мысли о Мехлисе промелькнули в сознании Щербакова, как отражение человека, прошедшего мимо зеркала. Александра Сергеевича интересовало сейчас другое: не искал ли его Мехлис по поручению Сталина? Может, дело какое ждет?

Но в салон для собраний все-таки не пошел: что-то сдерживало Щербакова. Он свернул в зал главного пункта и стал рассматривать светопланы, пытаясь понять, что произошло в зоне противовоздушной обороны за время его отсутствия. Но едкая мыслишка все-таки не покидала: никто ведь из партийного руководства, кроме него, не заходил сюда... Что ответить товарищу Сталину, если спросит, почему он, Щербаков, во время работы командного пункта находился то у пульта управления, то на наблюдательной вышке?.. Однако как же иначе? Главный спрос в случае чего с него — со Щербакова... А собственно, в случае чего?..

Александр Сергеевич вдруг почему-то вспомнил, как на днях генерал Журавлев с тревогой пожаловался ему: некоторые товарищи предупреждают, что не сносить ему, Журавлеву, головы, если хоть одна бомба упадет на Москву...

Когда налет немецкой авиации был отбит окончательно и объявлен отбой воздушной тревоги, Сталин с членами Государственного

Комитета Обороны и членами Политбюро молча проследовал по коридору командного пункта к лифту. Увидев Щербакова, вышедшего из помещения главного пункта, он сказал ему бесстрастно-спокойным голосом:

— Пойдемте, товарищ Щербаков, с нами. Итоги будем подводить в Ставке.

Александр Сергеевич удивился, что в Ставку не были приглашены ни Громадин, ни Журавлев. А Сталин будто догадался о его озадаченности и уже в лифте пояснил:

— Военные товарищи пусть немножко передохнут, придут в себя... И им надо сгруппировать информацию... Чуть попозже мы их вызовем по телефону.

...Все собрались в кабинете Верховного, в том самом особнячке на улице Кирова, в котором только вчера проводилась проверка готовности Московской зоны ПВО к отражению ожидавшегося дневного воздушного налета немцев на Москву. Сейчас казалось, что это «вчера» было очень давно...

Сталин уселся за свой стол и начал, привычно манипулируя пальцами, набивать табаком трубку... Щербаков, всматриваясь в его уставшее, с резко проступавшими оспинками сероватое лицо, никак не мог угадать, какие тревоги гнездятся в голове Сталина и какие чувства томят его сердце. Сталин казался мрачным, подавленным, будто его мысли не могли найти чего-то важного, блуждая по заросшим травой забвения тропинкам памяти. А может, все проще? Возможно, его подавленность вызвана тем, что ему уже сказали: две тяжелые бомбы упали на Кремль. Одна — на Арсенал, почти полностью уничтожив находившуюся на его крыше прислугу счетверенного зенитного пулемета, вторая угодила в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца и, застряв в потолке, не взорвалась *. Арсенал — напротив его, Сталина, квартиры и кабинета. Значит, прицельно бомбили немцы...

В это время в дверях кабинета появился Поскребышев и хрипло доложил, прикоснувшись рукой к горлу, которое, видимо, беспокоило его:

— Товарищ Сталин, товарищ Тимошенко на проводе.

Сталин снял трубку с черного телефонного аппарата и, прежде чем начать говорить, сказал Поскребышеву:

— Пригласите к нам генералов Громадина и Журавлева.— Затем прижал к уху телефонную трубку: — Здравствуйте, товарищ Тимошенко! Слушаю вас...

Лицо Сталина постепенно начало светлеть, расплываться в улыбке, его золотистые глаза блеснули веселыми огоньками. Потом он прикрыл ладонью микрофон телефонной трубки и, обращаясь к сидевшим в кабинете, скороговоркой, в которой особенно четко прозвучал его грузинский акцент, пояснил:

— Тимошенко докладывает, что наблюдает подбитые нэмэцкие

---

* Когда саперы разряжали бомбу, оказалось, что в ней отсутствовал взрыватель, а в его гнезде находилась записка: «Мы — немцы-антифашисты».

самолеты, идущие от Москвы. Многие горят и падают за линией фронта...

О чем еще докладывал Тимошенко, никто не знал, ибо лицо Сталина вновь похмурнело, глаза недобро сверкнули. Выслушав маршала, он со сдержанной строгостью сказал ему:

— Вы обязаны принять все меры, чтобы выбить немцев из Смоленска! Это требование Государственного Комитета Обороны! Во что бы то ни стало Рокоссовский должен пробиться к армиям Лукина и Курочкина!

Когда Сталин закончил телефонный разговор с главкомом Западного направления, в кабинет вошли генералы Громадин и Журавлев. На их строгих, спокойных лицах выражалось что-то общее, хотя они совсем не были похожи друг на друга. У Журавлева — пухловатые щеки, выразительные глаза под густыми бровями, лицо холеное, интеллигентное. У Громадина обличье по-крестьянски простое, бросались в глаза чуть оттопыренные уши; в пронзительном взгляде крайняя сосредоточенность. Правда, временами казалось, что глаза Громадина обращены в самого себя и рассматривают там нечто особенное, недоступное другим.

— Садитесь, товарищи стражи неба.— В голосе Сталина будто прозвучала смягченность, происшедшая в настроении. Но так ли это?.. Когда генералы сели, он сказал: — Доложите, пожалуйста, товарищи Громадин и Журавлев, Государственному Комитету Обороны, какие военные и промышленные объекты пострадали от бомбежки — вокзалы, мосты, электростанции?..

— Никакие, товарищ Председатель Государственного...— первым начал отвечать генерал Громадин, встав со стула.

— У меня есть имя, товарищ Громадин,— перебил его Сталин.

— Никакие серьезные объекты не пострадали, товарищ Сталин, ни военно-промышленные, ни коммунальные.— Громадин поправился спокойно, будто и не расслышал замечания Сталина.

— Жертвы среди населения и личного состава войск ПВО большие?

— Жертвы есть, товарищ Сталин, но, к счастью, небольшие. Потери уточняются.

Потом генерал-майор Журавлев, соблюдая чисто военную последовательность и твердо чеканя каждое слово, докладывал о действиях наземных и воздушных сил ПВО: времени обнаружения противника, количестве немецких бомбардировщиков, которых, по предварительным данным, насчитано более двухсот единиц *, о тактике их действий. К Москве прорвались лишь отдельные самолеты, им удалось поджечь железнодорожный эшелон с горючим на запасных путях близ Белорусского вокзала, толевый завод в Филях и деревянные бараки на одной из окраин города. Разрушено несколько домов и здание 47-го отделения милиции. Одна бомба пробила Устьинский мост, но не взорвалась... Первыми вступили в бой полки

* По уточненным после Отечественной войны данным, в первом налете на Москву участвовало 250 немецких бомбардировщиков.

истребительной авиации. На командный пункт 6-го авиационного корпуса поступили сведения о двадцати пяти воздушных боях, в которых сбито двенадцать немецких бомбардировщиков. К зоне зенитного огня приблизилось около двухсот самолетов. Десять из них было сбито артиллерийско-пулеметным огнем...

— Товарищ Сталин, разрешите мне задать вопрос? — Из-за стола для заседаний поднялся начальник Главпура армейский комиссар первого ранга Мехлис.

— Пожалуйста, товарищ Мехлис,— разрешил Сталин и обвел взглядом членов Политбюро: — У кого есть вопросы — не скупитесь, задавайте...

— Скажите, товарищ Журавлев, какое соотношение самолетов, сбитых артиллерией и пулеметным огнем? — спросил Мехлис.

— Преобладающее — артиллерией,— без промедления ответил Журавлев и открыл журнал с записями начальника штаба полковника Гиршовича.— Окончательные сведения уточняются. Но вот, например, зафиксировано, что пулеметчики сбили бомбардировщик, атаковавший Белорусский вокзал, а зенитные артиллерийские батареи лейтенанта Осаулюка и Турукало сбили по два бомбардировщика.

— Молодцы! — не удержался от восклицания Михаил Иванович Калинин, сидевший в конце стола и делавший какие-то записи на листе бумаге в зеленой папке.— Пусть лейтенанты сверлят на гимнастерках дырки для орденов. Обязательно наградим!

— А какой расход боеприпасов — снарядов и патронов? — опять спросил Мехлис.— И сколько раз поднимались в воздух наши самолеты?

— Немцы пытались прорваться к Москве в течение пяти часов.— Журавлев, прищурив глаза, всмотрелся в записи в журнале: — За это время наша истребительная авиация сделала сто семьдесят пять самолето-вылетов, зенитная артиллерия израсходовала двадцать девять тысяч снарядов, зенитными пулеметами выстрелено сто тридцать тысяч патронов.

— Впечатляющие цифры! — не без иронии ответил Мехлис.— Если зенитным огнем сбито всего лишь десять бомбардировщиков, то на каждого из них израсходовано почти по три тысячи снарядов и по тринадцати тысяч патронов?.. Как вы это расцениваете, товарищ Громадин и товарищ Журавлев? — И Мехлис устремил выразительный взгляд на Сталина, будто призывая его к единомыслию.

Сталин тут же откликнулся:

— Один очень старый грузин, мой земляк, однажды сказал мне: «Если б я арифметику знал так, как я ее не знаю, то вполне мог бы стать академиком...» По знанию арифметики вы, товарищ Мехлис, годитесь в академики...

Первым зашелся удушливым смешком Калинин, затем рассмеялся сидевший в кресле рядом со столом Сталина Молотов. А потом взорвались хохотом все, находившиеся в кабинете Председателя Ставки. Сталин даже удивился такому всеобщему веселью и тоже

стал смеяться. Затем, подняв руку, призывая всех к вниманию, сказал, обращаясь к Мехлису:

— Уж если вы такой специалист по арифметике, то загляните в энциклопедию и подсчитайте, сколько израсходовано тонн металла в первую мировую войну на каждого убитого солдата.

Генерал Журавлев, который продолжал стоять у стола для заседаний, резко захлопнул журнал с записями, обвел обиженным взглядом членов Политбюро, а затем обратился к Сталину:

— Разрешите, товарищ Сталин, дать краткое объяснение товарищу армейскому комиссару первого ранга?

— Пожалуйста,— сказал Сталин.

— Я позволю себе уточнить для ясности, что прицельный огонь мы вели только по целям, освещенным прожекторами. А основная масса снарядов выпускалась в небо в качестве заградительной завесы... Сегодня именно этот заградительный огонь сыграл решающую роль: только нескольким немецким бомбардировщикам удалось прорваться к центру Москвы.

— Хорошо, товарищ Журавлев, садитесь,— сказал Сталин и устремил вопрошающий взгляд на генерала Громадина, который по-школярски поднял руку.— Вы что-то хотите добавить?

— Да, товарищ Сталин.— Громадин встал и заулыбался.— Я хотел напомнить, что сегодня немцы сбросили не менее двухсот пятидесяти тысяч килограммов бомб. В этом можете не сомневаться, ибо у них, как и у нас, не рекомендуется возвращаться с боевых полетов с бомбами. Если вывести коэффициент полезного, с точки зрения немцев, действия их фугасок и зажигалок, то получится ноль целых и, извините, хрен десятых.

Лицо Мехлиса покрылось багрянцем; он явно сердился, однако старался не показать этого.

— На один Тушинский аэродром,— продолжал Громадин,— они сбросили тысячи зажигательных бомб. Все бомбы были потушены, и ни один самолет, ни один ангар не пострадали.

— В Тушино все пожары потушены,— не очень весело скаламбурил Молотов.

Среди членов Политбюро опять прокатился короткий смешок. Но Сталин, кажется, не вник в шутку Молотова, увлекшись какой-то своей мыслью. Даже не поднял глаз. Это озадачило Щербакова. Он записывал в блокнот главное из докладов Громадина и Журавлева, мысленно формулировал текст для сводки Информбюро, прикидывал в уме, какого содержания должен быть итоговый приказ Наркома обороны. По его мнению, войска ПВО Московской зоны в основном хорошо справились с первой, весьма серьезной боевой задачей. Но ведь приказ подписывать Сталину... Сойдутся ли их точки зрения?.. И он взглянул на Сталина, словно рассчитывал угадать его мысли.

И чтобы не смущать свою душу, быстро набросал на чистом блокнотном листе то, что ему казалось неопровержимым:

«В ночь на 22 июля немецко-фашистская авиация пыталась нанести удар по Москве.

Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения (ВНОС) вражеские самолеты были обнаружены, несмотря на темноту ночи, до появления их над Москвой.

На подступах к Москве самолеты противника были встречены нашими ночными истребителями и организованным огнем зенитной артиллерии. Хорошо работали прожектористы. В результате этого более 200 самолетов противника, шедших эшелонами на Москву, были расстроены, и лишь одиночки прорвались к столице. Возникшие отдельные пожары были быстро ликвидированы энергичными действиями пожарных команд. Милиция поддерживала хороший порядок в городе...»

Дальше мысль Александра Сергеевича застопорилась: надо ли вносить в приказ наркома раздел о недостатках и просчетах?

А Сталин, будто опять догадался о сомнениях Щербакова, сказал:

— Мы не готовы полностью и глубоко проанализировать весь ход сегодняшнего отражения налета на Москву вражеской авиации. Товарищи военные сделают это лучше нас и доложат нам послезавтра. Однако двадцать два сбитых самолета — это более десяти процентов от числа участвовавших в налете. Для ночного времени — нормально. Нужно также иметь в виду и то, о чем докладывал сейчас маршал Тимошенко: общие потери немецкой авиации не столь уж маленькие... Но я согласен с товарищем Мехлисом вот в чем: заградительный зенитный огонь — это все-таки пассивная форма обороны. Она требует очень большого количества снарядов. Мы должны проверить, выдержит ли наша промышленность такую нагрузку. И далее: надо поручить нашим ученым поискать более эффективные и более экономные способы ведения заградительного огня, чтобы меньше выстреливать снарядов впустую. Займитесь этим, товарищ Громадин.

— Слушаюсь, товарищ Сталин,— ответил генерал.

— И немедленно представьте к правительственным наградам всех отличившихся сегодня в отражении налета бомбардировщиков.

— Слушаюсь.

Затем Сталин устремил взгляд на Щербакова, и Александр Сергеевич понял, что он должен будет прочитать сейчас проект сообщения для печати и проект приказа по Красной Армии. И он, прежде чем начать чтение, озадаченно посмотрел на генералов: мол, проект приказа о их действиях, удобно ли обсуждать его при них. Сталин понял взгляд Щербакова.

— Можете быть свободными,— сказал он Громадину и Журавлеву.

Когда генералы ушли, Щербаков прочитал проект сообщения о налете на Москву для Совинформбюро.

— Пусть это будет и преамбулой к приказу Наркома обороны... Это первый с начала войны благодарственный приказ...— И Сталин начал неторопливо диктовать, глядя на Щербакова, который быстро записывал его слова: — «За проявленное мужество и умение в отражении налета вражеской авиации объявляю благодарность:

1. Ночным летчикам-истребителям Московской зоны ПВО.

2. Артиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростатчикам и всему личному составу службы воздушного наблюдения (ВНОС).

3. Личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.

4. За умелую организацию отражения налета вражеских самолетов на Москву объявляю благодарность:

— командующему Московской зоной ПВО генерал-майору Громадину;

— командиру соединения ПВО генерал-майору артиллерии Журавлеву;

— командиру авиационного соединения полковнику Климову.

Генерал-майору Громадину представить к правительственной награде наиболее отличившихся».

Последний пункт приказа чуть ли не трагично отразился на судьбе генерал-майора Громадина Михаила Степановича.

Сталин никогда, как говорится, не бросал слов на ветер и всегда строго, с жесткой требовательностью проверял, как выполняются его распоряжения, задания и даже малейшие поручения. И коль было приказано, что более подробные выводы об отражении первого налета на Москву Громадин и Журавлев «сделают лучше нас и доложат послезавтра», Сталин ровно через день вызвал обоих генералов в свой кремлевский кабинет.

И еще раз подтвердилась истина, что жизнь военачальников в условиях войны — тетка весьма суровая. Вникая в подробности боевых действий всех звеньев противовоздушной обороны в ночь на 22 июля, командование пришло к выводам, что недостаточно было глубоко продуманным, а на практике не весьма четким взаимодействие между различными родами войск. Не совсем удачно работали прожектористы, создав вокруг Москвы световое кольцо; город казался с воздуха будто раскинувшимся в воронке, и его легко было обнаружить. Нередко за одним немецким бомбардировщиком тянулось 15—20 прожекторных лучей, а отдельные самолеты, воспользовавшись этим, пролетали незамеченными. Иногда артиллерийско-пулеметная стрельба велась впустую — по недосягаемым целям. Некоторые летчики-истребители слишком долго задерживались в зонах ожидания и неумело вели поиск вражеских самолетов... Словом, было над чем размышлять в штабах войск ПВО всех ступеней, было что обсуждать на командирских совещаниях, на партийных и комсомольских собраниях.

Но ведь и немцы не дремали: подводили свои итоги и делали свои выводы. За первым их налетом на Москву последовали второй, третий... И так каждую ночь. Второй налет, например (в ночь на 23 июля), оказался для противовоздушной обороны Москвы более трудным, чем первый. Советские истребители и наземные огневые средства были ослеплены густой облачностью. Гитлеровцы не преминули воспользоваться этим благоприятным для них обстоятельством и ринулись на Москву мелкими груп-

пами бомбардировщиков на больших высотах через каждые 10—15 минут.

Но и это не помогло немцам. Из их 12 боевых эшелонов, составлявших 150 бомбардировщиков, четыре эшелона вовсе не были допущены к столице нашими ночными истребителями. Остальные самолеты противника натолкнулись на могучий заградительный огонь артиллерии, сквозь который удалось прорваться к городу только одиночным бомбардировщикам. В эту ночь немцы потеряли 15 своих самолетов.

Сталин и другие члены Государственного Комитета Обороны и члены Политбюро с удовлетворением выслушали доклады генералов Громадина и Журавлева о мерах по совершенствованию ПВО Московской зоны. А потом Сталин, устремив взгляд на Председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина, с недоумением спросил:

— А где Указ о награждении отличившихся воинов при отражении первого налета?

Калинин пожал плечами и вопросительно посмотрел в сторону Громадина. Перевел взгляд на генерала и Сталин. В кабинете воцарилась зловещая тишина. Всем стало ясно, что произошло необыкновенное: не выполнен приказ Председателя Государственного Комитета Обороны.

Громадин побледнел до такой степени, что казалось, он сейчас потеряет сознание. А лицо генерала Журавлева побагровело до черноты. Тишина в кабинете Сталина делалась все напряженнее и нестерпимее.

Громадин поднялся медлительно, будто на его плечах была непосильная тяжесть. Белизна лица генерала начала, кажется, заплескивать его виски — все заметили, как коротко подстриженные волосы на них вдруг засеребрились.

— Товарищ Сталин,— изменившимся до неузнаваемости голосом заговорил Громадин,— если можете — простите... Приказ о представлении к наградам я отдал, а до конца дело не довел... Замотался... Сегодня же документы будут у вас...

— Хорошо,— после некоторого молчания сказал Сталин.— Но запомните: Сталин не привык, чтоб его приказы не выполнялись...

К концу дня, созвонившись с Поскребышевым, генерал-майор Громадин послал в Кремль пакет с наградными документами. Однако среди отличившихся в воздушных боях летчиков-истребителей не значилось имя лейтенанта Виктора Рублева, который таранным ударом сбил близ Солнечногорска немецкий бомбардировщик Ю-88. Обстоятельства сложились для лейтенанта Рублева так, что в авиационном полку ему пришлось давать показания представителю военной прокуратуры. Виктора заподозрили в трусости, что является в боевых условиях преступлением.

14

Случится же такое!..

Люди всегда поражаются случайным встречам, изумляются неожиданным стечениям обстоятельств. И чем разительнее случайность или неожиданность, тем глубже след оставляют они в сознании, страстно побуждают к размышлениям о превратностях человеческих судеб и о несомненно существующих связях между случайностями и закономерностями.

Но если б знали люди, сколько раз неожиданности обходят их стороной! И тоже случайно!.. Случайно многое не случается... Сколько раз на фронтовой дороге брат мог обнять брата или сын отца, но при встрече не взглянули друг другу в лицо... Никогда также солдат не узнает, что выпущенная в него вражеская пуля только случайно пролетела мимо; солдат в это время, может, наклонился, чтобы поднять уроненную цигарку или коробок спичек... Война для отдельно взятого человека — это цепь случайностей, малых и больших, трагичных или счастливых. Ты мог быть убит или ранен, но случайно остался жив. Ты мог уцелеть, но случайно оказался в том месте, где тебя караулила смерть. Солдатская выучка, военное мастерство, разумеется, уменьшают количество случайностей, когда речь идет о том, быть гибели в бою или не быть, но все-таки не исключают их вовсе.

Ольга Васильевна Чумакова уступила дочери Ирине и не согласилась эвакуироваться в Сибирь, куда настоятельно звал их обеих Сергей Матвеевич Романов, которому было поручено строить там завод. Может, потому уступила, что испугалась любви Сергея Романова к ней, вернувшейся из двадцатых годов с нерастраченной юношеской силой. А может, то была уже и вовсе не любовь, а память о той давней любви, когда Ольга считалась невестой Сережи, или это была только эгоистичная жажда отомстить Федору Чумакову, ее Феде, за то, что он похитил его, Сережино, счастье...

Во всяком случае, надо было решаться на что-то серьезное. Война звала к делу всех. И они с Ириной приняли твердое решение: вместе идти на фронт, в полевой госпиталь, поближе к месту, где воевал самый дорогой для них человек — Федор Ксенофонтович Чумаков. Ольга Васильевна, размышляя о муже, не могла отрешиться от наивного представления о том, что ее Федя на войне чуть ли не самый главный начальник и, пока он жив, а гибель его казалась ей немыслимой, немцам ни за что не пробиться к Москве. А чтоб ему, Феде, и его войску было легче одолеть врага, она без малейшего колебания снесла в банк, в Фонд обороны, все сохранившиеся от дворянского рода Романовых драгоценности, завещанные Ольге покойной Софьей Вениаминовной.

И какое же счастье испытала Ольга, когда ее кровинушка Ирина — дочь, которую любила без памяти, восприняла решение матери, как свое собственное, без тени жалости или жадности, лишь оставив себе на память о бабушке какую-то безделушку. А ведь, как и многие девушки, любила украшения и даже понимала в них толк.

А теперь они решили идти на фронт и с нетерпеньем ждали повесток из военкомата. И вот пришли по почте два конверта с бумагами — предписаниями: Ирину призывали служить в полевую хлебопекарню, а Ольга Васильевна должна была с получением повестки явиться на Ново-Басманную улицу к месту формирования банно-прачечного отряда...

Вот тут-то у Ирины и ее матери проявился истинно чумаковский характер, со всей его взрывчатой силой. Ну призови их куда угодно, однако в одну часть, вместе! Зачем же разлучать мать с дочерью?!

...Взволнованные и рассерженные (и от этого еще более красивые), Ольга Васильевна побледневшая, а Ирина пунцовая, бежали они по знакомой улице в направлении призывного пункта. Не знали, к кому будут обращаться и что станут говорить, но у обеих кипело в груди от негодования и несогласия с теми, кто так несуразно, будто в насмешку, распорядился их судьбами. Ведь Ирина еще в десятилетке приготовилась на случай войны быть санитаркой!..

На призывных пунктах военкоматов Москвы в эти дни уже схлынули давки и очереди, ибо на заводах, фабриках, в учреждениях и вузах готовились к формированию дивизий народного ополчения. И тем не менее во дворе школы, занятой под призывной пункт, в коридорах и в зале перед учительской, где властвовал уже знакомый Ирине капитан, было людно. Это не смутило Ольгу Васильевну. Никто из ждавших своей очереди для приема не успел глазом моргнуть, как они вместе с Ириной ворвались к капитану.

Тот в это время стоял за столом у своего кресла и разговаривал с кем-то по телефону. Появившихся в учительской он окатил строгим и даже свирепым начальственным взглядом.

— Есть, товарищ полковник! — раз за разом повторял капитан, сердито глядя на Ольгу Васильевну и Ирину.— Будем отбирать строго по инструкции... Но как мне доложить военкому?.. Кто приказал?.. Записываю: «Микофин Семен Филонович...» Какой ваш номер телефона?..

И тут случилось совсем невероятное.

— Сеня! Микофин! — закричала Ольга Васильевна и, подбежав к столу, почти силой отняла у потрясенного капитана телефонную трубку: — Милый Сеня! Это я, Оля, жена Феди Чумакова!.. Ты послушай: мы с дочкой попросились на фронт, как медики, а эти бюрократы...

Вот еще один из случаев, которые меняют русла человеческих судеб. Через минуту-две капитан вытирал платком испарину со лба, осторожно расспрашивал, откуда товарищ Чумакова знает полковника Микофина — начальника одного из управлений Главного управления кадров Красной Армии, извинялся за «недоразумение» с повестками о призыве «не по роду войск» и обещал в ближайшие дни исправить ошибку и призвать мать и дочь для прохождения службы в один из походно-полевых госпиталей Западного фронта, хотя столь конкретное назначение зависело уже не от него, капитана... Но раз сам полковник Микофин!..

Мать и дочь вышли во двор школы счастливые, довольные

собой, военкоматовским капитаном и пораженные тем, что так удачно «встретились» со старым другом и однокашником по академии их отца Семеном Филоновичем Микофиным.

И все-таки что-то беспокоило Ольгу Васильевну. Не улетучивалась из памяти фраза мужа, которую он произносил нередко: «В армии должностей не выбирают. В армии служат там, куда зовут интересы дела...» Воспоминание это раздражало, как муха, назойливо вившаяся у лица.

«В конечном счете, я не военнообязанная,— успокоила себя Ольга Васильевна.— Прошусь куда хочу!.. А куда я хочу?..— И почувствовала, как изнутри легкий жар обдал ее лицо.— Хочу быть вместе с дочерью и поближе к мужу — человеку, которого люблю больше себя самой... И больше дочери?.. Да!.. Да, возможно, и больше дочери! Федя — рыцарь, защищающий Родину. Погибнет он — погибну и я. Зачем мне жизнь без него, без его вразумительного слова, без успокаивающей улыбки, без сдерживающего упрека?.. А Ирина уже взрослая, выстоит и найдет свое счастье, хотя ой как трудно будет ей, такой красавице...»

Так, переметываясь от мысли к мысли, не замечая их отрывочности и подчас нелогичности, шла она рядом с Ириной через школьный двор в сторону 2-й Извозной улицы, как вдруг их окликнул чей-то знакомый, с хрипотцой голос:

— Эй, соседушки!.. С фронтовым приветом!.. Какие заботы позвали вас сюда?!

Перед ними стоял их домоуправ Бачурин; он был почти неузнаваем — в кирзовых сапогах, военной хлопчатобумажной форме, подпоясанный зеленым брезентовым ремнем. Помолодевший, без привычной сутулости, Бачурин всем своим видом излучал энергию и деловитость. Присмотревшись к нему, Ольга Васильевна поняла, что домоуправа особенно молодила красноармейская пилотка, из-под которой серебрились виски коротко подстриженных волос.

— Дядя Бачурин! — Ольга еще в юности так звала домоуправа.— Неужели и вы на фронт?!

— Я уже с фронта и опять туда же.

— И мы на фронт! — восторженно похвасталась Ирина.— В военный госпиталь!

— Вам что, в Москве госпиталей не хватает? — Темные глаза Бачурина подернулись грустью, а лицо похмурнело и постарело.

— В Москве и без нас полно добровольцев,— с некоторым гонором ответила Ирина.

Бачурин посмотрел в ее красивое и взволнованное лицо с печальной снисходительностью и начал закуривать папиросу. При этом будто с неохотой сказал:

— Федор Ксенофонтович не одобрил бы...

— Это почему же?! — В голосе Ольги Васильевны просквозила озабоченность.

— Ему на фронте сейчас ой как не сладко. А узнает, что и вы под бомбами,— еще горше будет.

— Мы полагали — наоборот.— Голос Ольги Васильевны потускнел.— Воевать будем рядом.

Бачурин затянулся табачным дымом, выдохнул его и тут же удушливо закашлялся. Потом заговорил будто о другом:

— Из Смоленска не успели эвакуировать госпиталь. Тысячи раненых и медперсонал захвачены немцами... Вы же семья генерала... Вам первым петлю на шею...

— Дядя Бачурин, зачем вы нас пугаете? — с искренней укоризной спросила Ольга Васильевна.— Сейчас все должны забыть о страхе и думать об общей пользе...

— Вот именно! — перебил ее Бачурин.— О пользе там, где ее действительно можно принести.

— Что же вы советуете?

— Ехать, допустим, на строительство оборонительных рубежей. Там санитары тоже нужны — даже на нашем участке... Могу взять вас с собой.

Вряд ли бы согласились Ольга Васильевна и Ирина на предложение Бачурина, если бы не он — с л у ч а й: когда они стояли посреди школьного двора и вели этот разговор, на крыльцо вышел начальник призывного пункта и громко крикнул:

— Бачурин еще не уехал?!

— Здесь я! — настороженно откликнулся Бачурин.— Жду грузовик со склада военного округа!

— Только один грузовик? — огорчился капитан.— Там мне звонит комендант Большого театра товарищ Рыбин. Просит забрать у него на окопные работы группу добровольцев — артистов и музыкантов.

— У Большого театра есть свои автобусы. Пусть сами и везут! — Бачурин заговорщицки подмигнул Ольге Васильевне, однако глаза его не утратили печального выражения.— Вчера ведь один их автобус приходил под Можайск!

— Возьмите хоть двух народных артистов!

— Нет места в машине!.. А артистов, писателей, разных там сочинителей музыки у нас на каждую сотню метров противотанкового рва по десятку! Лопат и кирок не хватает!

Если строительством поясов Можайской линии обороны занимаются даже народные артисты из Большого театра, так почему же не поехать и им — Ольге Васильевне и Ирине?!

«К дьяволу колебания!..» — подумала Ольга и, взглянув на дочь, поняла, что и она близка к такому решению.— Едем, Иришенька?

— Едем, мамонька!

15

Ольга Васильевна, как жена кадрового военнослужащего, казалось, ничему не привыкла удивляться, что относилось к делам военным. Видела она полигоны и стрельбища, военно-инженерные городки и искусственные препятствия на танкодромах. Но вот так, чтоб, сколько охватит глаз, земля была распорота глубокой раной, именуе-

мой противотанковым рвом, и в этой ране, в ее незаметно нарастающей глубине и на пологой крутизне выброшенной на одну сторону рва земли, пока высившейся как нескончаемо длинный надгробный холм, копошились с лопатами и кирками в руках тысячи и тысячи людей,— такого она и вообразить не могла. Ее поразило даже само пестрое разноцветье платков, косынок, беретов, блузок и кофточек на женщинах и девушках. Белые, голубые, красные, зеленые, оранжевые, они, будто цветы на порывистом ветру, колыхались, наклонялись и выпрямлялись, от чего рябило в глазах. Ров и копошащийся в нем и над ним людской муравейник тянулись от Минского шоссе, через чуть сгорбившееся жнивье, до далекого леса, подернутого сизой дымкой.

В этом муравейнике, если присмотреться, было немало подростков, юношей и пожилых мужчин. Но они как-то не замечались на фоне женского трудового войска, может быть, потому, что брали на себя самую тяжкую часть работы, копали на самом дне рва, выбрасывая оттуда грунт, который женщины отбрасывали лопатами еще выше, отгребали дальше, а затем разравнивали и маскировали.

А если б взглянуть на земную бескрайность из глубин поднебесья, стало бы отчетливо видно, что вокруг Москвы постепенно образовывалось гигантское кольцо, состоявшее из канав, из что-то скрывавших под собой бугров, из наклоненных в сторону от города густых линий столбиков и замысловато разбросанных железных крестовин, из нагромождений сваленных деревьев. Эта почти полумиллионная армия мирных жителей советской столицы, главным образом женщин, готовила для своих отступающих под напором врага и для формировавшихся в тылу новых дивизий опорные места битвы: копала противотанковые рвы и эскарпы, строила доты и дзоты, устанавливала всякого рода препятствия — надолбы, ежи, делала лесные завалы... Работы на одних участках уже заканчивались, на других были в полном разгаре, на третьих только начинались. Все делалось под строгим контролем военных специалистов — так, чтобы огневые сооружения, строящиеся сзади препятствий, были менее заметны со стороны противника и имели перед собой простор для обзора и обстрела. Расчищались опушки и оборудовались огневые точки. Продуманно использовались для создания рубежей обороны складки местности, речки и речушки, заболоченные места, населенные пункты и отдельные строения.

В составе руководства всех участков были партийные работники, в большинстве — секретари райкомов партии... А итог работ мог только изумлять: вокруг Москвы к концу лета был вырыт 361 километр противотанковых рвов, 331 километр эскарпов, построено 4026 пушечных и 3755 пулеметных дотов и дзотов, устроено 1528 километров лесных завалов...

Да, случится же такое!.. Воздушная трасса лейтенанта Виктора Рублева сошлась с наземной дорожкой Ирины Чумаковой. Сошлась, да и разошлась...

Уже с неделю были на земляных работах Ольга Васильевна и Ирина. Жили в одной из многочисленных брезентовых палаток, стадом разбредшихся в молодом сосняке. Но чаще спали на воздухе, у палатки, на толстой подстилке из душистого сена. Ирина вместе с матерью рыла ямы для надолб; работа не хитрая: копаешь продолговатую яму, а потом в ней, сбоку, еще яму, чтобы общая глубина достигла трех метров и опущенное туда бревно само по себе устанавливалось под нужным углом, затем яма засыпалась землей и плотно трамбовалась. Вот и получалась надолба — одна за другой, ряд в ряд... Попутно Ирина выполняла и роль санитарки, имея при себе сумку с медикаментами. Врачевала волдыри, царапины, ушибы и, случалось, раны. Первые дни показались им с непривычки невыносимой каторгой и мучительной вечностью, но потом втянулись в работу и как бы слились силами со всеми остальными женщинами и девушками и стали такими же неузнаваемо загорелыми, с облупившимися носами и с огрубелыми, мозолистыми ладонями рук.

Ольга Васильевна, пересиливая не покидавшую ее ломоту в пояснице, все размышляла о счастливых прожитых без войны годах, о всяких событиях, вступала в разговоры и даже споры с женщинами, работавшими рядом. Часто вспоминала слова своего разлюбезного Федора, который нередко твердил: «Труд — это творчество или первооснова любого вида творчества; итог труда — высшая степень творческого чувствования и проявление счастья...» Нет, не приносили радости эти трудовые дни под палящим солнцем, эта боль в пояснице, в икрах ног и в руках, державших лопату со скользким черенком.

И вот однажды она услышала рядом с собой:

— Ольга Васильевна?! Ангел мой, а вы как оказались здесь?! — Голос прозвучал с приторностью и знакомой картавинкой.

Ольга распрямилась и, стоя по колени в недорытой для надолбы яме, увидела над собой их московского дворника Губарина. Военная форма, точно такая же, как на Бачурине, и укороченные усы изменили его до неузнаваемости; лицо сделалось куда приятнее и браво-моложавым.

Да, это был он — их дворник Губарин Никанор Прохорович, который помог Ирине снести и сдать на почту, как и полагалось ввиду войны, радиоприемник, принадлежавший покойному Нилу Игнатовичу Романову. Губарин же был и понятым при вскрытии представителем милиции сейфа умершего профессора и шкатулки с драгоценностями, оставленными в наследство Ольге Чумаковой.

— Никанор Прохорович, как вас могли отпустить из Москвы?! — искренне удивилась Ольга Васильевна.— Вы же начальник пожарной дружины нашего дома на случай бомбежки! Кто вас из жильцов заменит? — Она встревоженно вернулась мыслями в свой московский дом, во двор со сквером и ощутила их полную незащищенность без дворника Губарина.

— Не жильцы, а обыватели,— извинительно сказал, поглаживая усы, бывший дворник.— Все настоящие граждане, патриоты, не отсиживаются в такое время по домам и не прикрываются пожарными дружинами... Вот и вы, полагаю, не случайно здесь...

— Мы с Ирочкой, как все,— ответила Ольга Васильевна.

— И ваша красавица дочь здесь? — изумился Губарин и огляделся по сторонам.

— Она сейчас на медпункте делает перевязки легкораненым. Нас вчера бомбили,— пояснила Ольга Васильевна.

— Знаю, ангел мой, сам нырял в щель — прятался от бомб... Но я не могу позволить, чтобы вы, жена генерала, мозолили свои рученьки на окопных работах.

— Я для этого и приехала сюда.

— Мы найдем вам занятие не менее полезное и важное.

Ольга обратила внимание на то, что к их разговору стали с любопытством прислушиваться женщины, копавшие ямы по соседству, и раздраженно перебила Губарина:

— Никанор Прохорович, здесь все равны, и норма выработки для всех одинакова... Не отвлекайте меня от дела.

Не могла она знать, что дворник Губарин, он же бывший графский сын Николай Святославович Глинский, человек высокообразованный и с нетерпением ждавший прихода немцев, имел свои виды лично на нее, как привлекательную женщину, и на ее богатство, не веря в то, что она действительно все наследственные драгоценности до грана отдала государству на нужды войны. По требованию своего младшего брата Владимира, кадрового, как оказалось, абверовца, Николай должен был отправиться с московским ополчением на Западный фронт, перейти там на сторону врага и передать абверовцам от Владимира, носившего у немцев кличку Цезарь, сведения о судьбе абвергруппы, которой Владимир командовал в первые дни войны, о его нынешнем месте пребывания, а также разработанный и выверенный им план покушения на Сталина и, возможно, на других большевистских руководителей и главных военачальников.

Но уже в вагоне поезда, везшего ополченцев в сторону фронта, Николай Губарин наслышался такого о кровопролитных боях на Смоленской возвышенности, что его охватил ужас. Ходить в штыковые атаки и при удачном случае поднять перед немцами руки? Где же гарантия, что они обратят на это внимание? А если свои заметят?.. Хоть и говорят, что пуля — дура... Нет, она способна очень сообразительно сделать свое дело.

Поразмышляв о том, что его брату Владимиру, который с документами майора Красной Армии Птицына долечивал раненую руку в одном из московских госпиталей, спешить с покушением на Сталина не следует (все равно немцы придут в Москву), Николай решил тоже не торопиться. И когда подъезжали к Голицыно, он судорожно схватился за сердце, сумел даже вызвать на своем лице бледность и испарину на лбу. Его ссадили с поезда, проводили в медицинский пункт.

Так дворник Губарин отстал от ополченцев, а потом там же, в Голицыно, попал в распоряжение начальства, руководившего рытьем окопов, противотанковых рвов и строительством дзотов. Возраст и солидный вид Губарина-Глинского внушил начальству расположение к нему, да еще неожиданная встреча со своим домоуправом

Бачуриным; и Губарин сам стал небольшим начальником: помощником Бачурина по обеспечению строительных отрядов землеройными, пилющими и колющими инструментами.

— Ну как знаете, ангел мой.— И Губарин, галантно поклонившись, зашагал прочь.— Я хотел как лучше.

А вечером, когда вся пестрая армия землекопов отхлынула в сосняк, к палаткам, и уселась за дощатые столы ужинать, к Ольге Васильевне, которая от усталости еле управлялась с ложкой, выгребая из алюминиевого котелка жирную пшенную кашу, подсела молодая женщина. Ее все знали как водовозку Валю, по целым дням ловко правившую старой лошадью, запряженной в оглобли пожарной бочки. Валя исправно развозила свежую родниковую воду вдоль трассы землеройных работ. У нее было славное личико с мягкими, округлыми чертами — не броскими и не яркими. Но когда Валя улыбалась, то лицо ее менялось, будто высветливалось изнутри какой-то особой привлекательностью. Казалось, сама доброта поселилась в ее улыбке и чуть загадочных глазах. Правда, среди женщин ходили сплетни, что Валя путалась кое с кем из начальства, кто-то видел ее свидание в недалеком лесу с незнакомым лейтенантом. Но Ольга Васильевна не придавала значения этой женской болтовне и относилась к Вале приветливо и доброжелательно.

— Генеральша, у меня к тебе поручение,— зашептала Валя, толкнув под столом коленкой ногу Ольги Васильевны.

— Меня зовут Ольгой...

— Была Ольга, а теперь генеральша... Все знают.

— Ну и что? Какое поручение?

— Мне передал Губарин, а ему, видать, начальство повыше... Приглашают тебя поужинать в командирскую столовую... Шампанское будет, шоколад... Хотят там тебя и на работу пристроить, а твою дочь — в санитарную часть штаба...

— А шампанское какое? Сладкое, полусладкое или сухое? — с притворной заинтересованностью спросила Ольга Васильевна, покосившись на притихшую рядом Ирину.

— А шут его знает! Шампанское — оно и есть шампанское. Шипит и в нос шибает. Не пожалеешь, генеральша,— убеждала Валя.

— Но хоть на льду настоянное? — спросила Ирина, включившись в словесную игру матери.

— Тю на тебя! Какой сейчас лед?! — изумилась Валя.

— А ты разве не знаешь, что генеральши пьют шампанское только охлажденное в серебряном ведерке со льдом?

Валя, догадавшись, что Ольга Васильевна и ее дочь с презрением шутят над ней, обиженно отвернулась, не зная, как держать себя дальше.

В сосняке все вокруг заволоклось мглой — пора было ложиться спать. Звяканье ложек о котелки и алюминиевые тарелки постепенно затихало, таял женский застольный галдеж, будто размытый теменью. И лишь гудение надоедавших комаров вдруг начало набирать силу...

Но то оказался не комариный звон: это шли на Москву эскадры немецких бомбардировщиков...

С протяжно-угрожающим ревом пронеслись над лесом навстречу врагу звенья наших истребителей. В прогалинах верхушек ветвистых молодых сосенок засветилось на западе небо: далекие прожекторные лучи будто растворили его непроглядность и раздвинули звездную ширь. Вскоре донеслись до лагеря приглушенные расстоянием пулеметные очереди и хлопки-выстрелы самолетных пушек.

«Иду-иду-иду!» — многоголосо и грозно возвещали, набирая густоту и силу, моторы немецких бомбардировщиков. Этот давящий и пугающий звук заполнил, казалось, весь звездный шатер темного неба и падал на лагерь строителей со всех сторон.

Через какое-то время в рокот немецких бомбовозов вдруг ворвался нарастающий и захлебывающийся вой одинокого истребителя, летевшего, кажется, над самыми верхушками молодого леса. Над лагерем его мотор будто взвыл от смертельного удара — послышался похожий на выстрел хлопок, и в небе остался только размеренный гул немецких самолетов; все различили оборвавшийся шум мотора истребителя, и многие увидели, как он косым полетом скользнул над Минским шоссе и наклонно устремился в сторону недалекого безымянного озера, окруженного высокими камышами и коварно-топкими болотами-торфяниками. Тут же со стороны озера донесся гулкий звук удара, вслед за которым послышался шум падающей воды и коротко шваркнувшего в ней раскаленного железа.

Ольга Васильевна от охватившего ее испуга не успела ничего осмыслить, как Ирина, быстро сняв висевшую на сучке сосны санитарную сумку, взволнованно крикнула:

— Мама, бежим! Там наш летчик гибнет!

В сторону упавшего истребителя побежали несколько десятков людей, главным образом юношей. Ольга Васильевна тоже выскочила на опушку сосняка, но увидела, что до темнеющей стены камышей довольно далеко, и в нерешительности остановилась.

В это время буквально в десятке метров от нее приземлился парашютист. Он гулко ударил ногами о землю, затем свалился на бок, перевернулся на спину и несколько мгновений лежал неподвижно, как мертвый.

«Немец!» — испуганно трепыхнулась мысль у Ольги Васильевны.

Парашютист зашевелился, затем сел, и послышался его урчащий, сдавленный болью голос, в котором она разобрала бранно-матерные слова.

«Свой!» — облегченно вздохнула.

Парашютиста окружили выбежавшие из сосняка люди, помогли встать, освободиться от лямок парашюта.

Это был лейтенант Виктор Рублев.

— До Кубинки далеко отсюда? — с тяжкой удрученностью спросил он.

— Порядочно,— ответила за всех водовозчица Валя.— Садись в мою карету, подвезу до штаба, а оттуда на машине подбросят.—

И она указала на впряженную в двуколку с бочкой лошадь, стоявшую на опушке.

...И опять господин случай. Задержись Ирина в лесу на несколько минут, она непременно встретилась бы с любившим ее первой и страстной юношеской любовью Виктором Рублевым — ленинградским лейтенантом, о котором вспоминала, ощущая в сердце сладкое щемление и смутную тревогу. А может, и не узнала б его? Могло случиться и такое — ведь у них были только две короткие встречи...

Явившись в штаб полка — двухэтажное кирпичное здание, замаскированное растянутыми на шестах сетками,— лейтенант Рублев сложил в углу коридора скомканное, опутанное лямками полотнище парашюта и, подойдя к старшему лейтенанту с красной повязкой на рукаве, сидевшему за столом дежурного, спросил:

— Кому докладывать?

— О чем?

— Ну я после задания. Не нашел аэродром, а бензин кончился... Пришлось выброситься...

У старшего лейтенанта вытянулось лицо и холодком промелькнул страх в сузившихся зрачках глаз. Он сказал:

— У всех хватило бензина, и все нашли аэродром... А ты что, в одиночку летал?

— Я отстал на взлете... Забыл отсоединить телефонный шлейф от шлемофона. Чуть голову себе не оторвал.

— Ну и ну! — произнес осипшим голосом дежурный и спросил, придвинув журнал для записей: — Как фамилия и чья эскадрилья?

Записав все, что полагалось, старший лейтенант уже сочувственно посмотрел на Рублева и сказал:

— Сейчас все на верхотуре.— Так условно именовался командный пункт полка.— Отражают налет немцев... А ты, герой, бери лист бумаги и пиши объяснение. Только правду пиши!

Рублев измерил старшего лейтенанта укоряюще-болезненным взглядом и, повернувшись, пошел на летное поле, где бензовозы заправляли бензином вернувшиеся с боевого задания истребители...

На второй день лейтенанту Рублеву действительно пришлось объясняться с военным дознавателем, который по поручению военного прокурора уточнял обстоятельства утраты летчиком боевого самолета. Сложность положения, в которое попал Виктор, заключалась в том, что воздушная разведка не могла обнаружить место падения его самолета, чтобы послать туда специалистов, которые бы по виду лопастей винта могли убедиться, что Рублев действительно таранил в ночном бою вражеский самолет. Место же падения «юнкерса», сбитого в районе Солнечногорска, было найдено. Однако немецкий самолет разметало взрывом на огромной и очень заболоченной территории — сработал высокооктановый бензин. Ни по каким признакам невозможно было удостовериться, что он действительно таранен, а не сбит пулеметным огнем, ибо на обломках бомбардировщика были обнаружены следы пуль. Да и сопоставление скоростей «юнкерса» и истребителя И-16 было не в пользу доказательств лейтенанта Рублева.

А Виктор даже не мог представить себе, что его всерьез заподозрили в трусости и не верили в то, во что не поверить было, с его точки зрения, просто немыслимо. Ведь он вначале заклинил огнем своего пулемета один мотор «юнкерса», а затем заставил его удирать пикированием. После выхода из пике «юнкерс» на одном работающем моторе уже не обладал прежней скоростью, да и Виктор, подняв из пике истребитель на несколько секунд раньше бомбардировщика, сократил свою кривую и резко сблизился с немцем. Попросив у дознавателя, которым оказался вчера дежуривший по штабу старший лейтенант, лист бумаги, он аккуратно вычертил траекторию пикирования «юнкерса» и траекторию маневра своего истребителя, сделал даже тригонометрические вычисления. Но дознаватель в тригонометрии оказался не силен, а тут еще сбивали всех с толку показания пленного немецкого полковника фон Рейхерта — командира экипажа тараненного лейтенантом Рублевым «юнкерса». Полковник с саркастической улыбкой доказывал, что русские сбили его каким-то тайным оружием, категорически отрицал, что у его самолета был заклинен один мотор, иначе, мол, он, командир экипажа, не позволил бы отрываться от советского истребителя пикированием, ибо на одном моторе у «юнкерса» не хватило б мощности выйти из пике. Так ли это?.. Но несомненно, что Ю-88 с двумя исправными моторами советскому истребителю И-16 не догнать.

Вроде бы все логично. Но кто же тогда сбил самолет полковника фон Рейхерта? Впрочем, такой вопрос не особенно занимал военного дознавателя, так как в ту ночь многие немецкие бомбардировщики получили изрядные порции пуль и снарядов при атаках советских истребителей; вполне возможно, что успех кого-то из наших летчиков остался незамеченным.

А командиру истребительного полка уж очень хотелось зарегистрировать первый ночной таран за своим летчиком. Да и убежденность лейтенанта Рублева, с которой тот доказывал свою правоту, подкупала командира. И он, не закрывая заведенного на лейтенанта следственного дела, разрешил ему вместе с двумя бойцами из команды аэродромного обслуживания попытаться разыскать свой упавший истребитель.

— Если найдете самолет, то в качестве доказательства тарана хоть отпилите одну лопасть винта,— приказал командир полка.

И Виктор отправился на поиски.

16

Воображение всегда безбрежно и почти неуправляемо. Оно бывает палачом и щедрым благодетелем. Это испытывал на себе Федор Ксенофонтович Чумаков, сидя среди раненых в маломощном санитарном автобусе. Переваливаясь на ухабах Старой Смоленской дороги, той самой, по которой в 1812 году Наполеон шел со своей армией на Москву, автобус к утру миновал городишко Кардымово и уже держал путь на Дорогобуж, где, предположительно, можно будет определиться в полевой госпиталь.

Генерал Чумаков изнемогал от наплыва мыслей, пытаясь еще и еще раз проникнуть во все случившееся с его войсковой группой, высветлить в уме складывавшиеся ситуации и определиться в ответе: все ли правильно сделал он там, в районе Красного, и ранее, чтоб не позволить немцам рассечь группу и прорваться к Смоленску?.. А главное, томил вопрос: что и как произошло после его ранения? Сумеет ли полковник Гулыга со штабом не распылить оставшиеся части и пробиться из очередного окружения? Должен суметь!.. Разумен же... Но не всегда благоразумен. Разум и благоразумие — вещи разные, пусть и лежат рядом. Боится полковник рисковать, а на войне риск подчас решает успех боя. Нельзя на войне без риска. И, принимая окончательное решение, уже не надо вопросительно оглядываться на других, ибо этим проявишь неуверенность и посеешь у подвластных тебе людей недоверие к своему решению.

Не подозревал Федор Ксенофонтович, что в следственных инстанциях военной прокуратуры Западного фронта в какой-то степени подобным образом размышляли и о нем самом, приняв меры к его розыску. Прокуратуре стало известно, что генерал Чумаков причастен к взрыву смоленских мостов через Днепр, хотя на это не имелось санкции ни штаба фронта, как было обусловлено в письменном приказе начальнику гарнизона полковнику Малышеву, ни даже командующего 16-й армией генерала Лукина. Заодно кто-то заронил сомнение — так ли уж тяжело ранен Федор Ксенофонтович, что отстранился от командования своей войсковой группой, покинул район боевых действий, но нашел возможность вмешиваться в дела начальника Смоленского гарнизона, подчиненного командующему 16-й армией. Ко всему этому еще добавлялась и зловещая ситуация с майором Птицыным, с которого не спускала глаз контрразведка, заподозрив в нем гитлеровского агента. Птицын по поручению Чумакова навещал в Москве его семью.

Не догадывался Федор Ксенофонтович, что над его седеющей головой сгущались темные и небезопасные тучи. Он пока был поглощен своими мыслями и воспоминаниями, хотя боль в раненых плече и шее иногда вытесняла тиранившие его сомнения, и тогда он начинал ощущать — может, впервые в жизни,— сколь томительно тяжко бывает на душе, когда время течет бессмысленно, вкладываясь в рвущую тело боль и в удары самого верного счетчика минут — собственного сердца.

Именно эти наполненные болью и ощущением безвременья часы были весьма мучительными, тем паче что ничем не мог помочь, когда автобус надолго останавливался в пробках на переправах, в уличных заторах или когда водитель, оставив кабину, убегал куда-то с ведерками клянчить бензин, визгливо доказывая где-то там, в стороне, что у него среди раненых находится чуть ли не маршал.

В автобусе стояла духота, терпко пахло испарениями крови и мочи, и клубилась встряхиваемая пыль. Дорога за Кардымовом была разбитой, над ней непрестанно висела курчавившаяся серая завеса, поднятая шедшими в обе стороны машинами, тракторами, повозками... Федор Ксенофонтович на остановке в Кардымово уступил

свои подвесные носилки старшему лейтенанту, тяжело раненному в грудь при бомбежке, а сам сел на шершавое от засохшей крови место в углу автобуса, потеснив сидячих раненых. От нечего делать стал прислушиваться к разговорам в автобусе. Разговорчивее всех был Алесь Христич, раненный в голову осколком противотанковой гранаты, им же брошенной у смоленской военной комендатуры в грузовик с немецкими диверсантами. Сержанта Чернегу пришлось высадить еще на выезде из Смоленска — из-за тесноты в автобусе. Да и не было необходимости, чтоб сержант дальше сопровождал генерала Чумакова.

Федор Ксенофонтович с радостным удовлетворением отметил про себя, что в столь тяжкое время, в такой тревожно-напряженной атмосфере, при бомбежках и обстрелах дороги с воздуха, раненые не ныли, не паниковали, сдержанно говорили о том времени, когда Красная Армия сплошным фронтом станет лицом к немцам и те побегут вспять; высказывали мечты, как бы побыстрее вернуться в строй: ведь они, мол, поднабрались боевого опыта и воевать будут с бóльшим знанием дела. Эти подслушанные разговоры повергли Федора Ксенофонтовича в размышления о том, сколь не прав был тот древний мудрец, утверждавший, что истинно счастливым бывает только тот, кто творит... Военный же человек, мол, никогда не может быть счастливым, ибо он существует для войны, то есть для разрушения... Конечно, кто творит, созидает, тот испытывает огромное счастье. Но разве он, Чумаков, не счастлив, созидая советского воина с его светлым внутренним миром, воина, способного и жаждущего защищать то, что является плодом созидателей новой жизни? Вот они, эти воины, вокруг него. Апогей счастья военного человека конечно же в победе над врагом, захватчиком...

А ведь эта победа обязательно придет... Следовательно, военное дело, как оно поставлено в Красной Армии, есть творчество — от начала и до конца, в мирное время и на войне...

Прежде чем попасть в Дорогобуж, надо было проехать через днепровскую переправу в деревне Соловьево, которая находилась в самой узкой части горловины — между Ярцевом и Ельней, захваченными немцами. Эту горловину враг настойчиво пытался перехватить, нависнув над Соловьево с севера и юга будто двумя железными челюстями раскрытой гигантской пасти. В этой горловине продолжали сражаться армии Курочкина и Лукина. Сомкнуться грозным челюстям мешал, словно стальная распорка, сводный, довольно крепкий, состоявший из опытных бойцов и командиров отряд сорокалетнего полковника Лизюкова Александра Ильича. Этот отряд, усиленный полутора десятками танков — остатками 5-го механизированного корпуса — и несколькими дивизионами артиллерии, оборонял не только соловьевскую, но и радчинскую, что ниже по Днепру, переправу. Ближайшими помощниками полковника Лизюкова, как правая и левая руки, были испытанные в боях командиры полков майоры Сахно и Шепелюк.

Чем ближе подъезжал санитарный автобус к раскинувшейся на холмистом берегу Днепра деревне Соловьево, тем явственнее

чудилось генералу Чумакову, да и всем другим раненым, что приближаются они к передовой линии фронта, где ожесточенность боя вскипала до высшей степени.

Самым тяжким оказалось переехать через переправу в Соловьево. Перед собранным из железных понтонов мостом с обеих сторон реки скопилось на дороге и ее обочинах множество машин и повозок. А в небе над этим скопищем и над мостом кружили немецкие бомбардировщики и несколько наших истребителей. Свист бомб, тяжкие взрывы, рев самолетных моторов, пальба зенитных орудий и счетверенных пулеметов сливались в страшный грохот, заглушавший командные окрики и матерщину на переправе, вопли раненых людей — военных и гражданских — и предсмертное ржание лошадей. Но это были еще не самые страшные дни Соловьевской долины. Самые страшные наступят тогда, когда поток войск направится только в одну сторону — на восток...

Полковник Лизюков лично руководил переправой. Впрочем, сказать «руководил» — будет не совсем точно. Он жестоко диктовал всем свою волю — тем, кто проезжал через наплавной мост, саперам, днем и ночью чинившим его, зенитным батареям, которым приходилось вести огонь не только по самолетам, но и по прорывавшимся к переправе немецким танкам, и всем тем, кто сгрудился на дороге и на берегу Днепра. Крутолобый, с облысевшей головой, глаза с прищуром, лицо добродушное, на котором выделялся широкий, мясистый нос,— весь внешний облик полковника вязался и не вязался с непостижимостью его характера. Он, этот характер, проявлялся то в бурных всплесках гнева, то в увещевательных или укоряющих интонациях, когда наводил порядок на въездных путях на наплавной мост или когда появлялся у места наведения запасного моста ниже по течению Днепра.

Генерал Чумаков узнал полковника Лизюкова по голосу, когда тот проходил мимо их санитарного автобуса, уже долго стоявшего в застопорившейся колонне машин и повозок. Лизюков кого-то грозно отчитывал за какую-то провинность, и Федор Ксенофонтович громко позвал его:

— Александр Ильич! Это ты?!

Лизюков заглянул в автобус и не сразу узнал Чумакова, хотя судьба не единожды сводила их в академических аудиториях и на всякого рода сборах и совещаниях. Когда-то на краткосрочных курсах их особенно сблизило знание немецкого языка, но Лизюков, будучи сыном одаренного сельского учителя из Белоруссии, владел еще французским и немного английским, чем немало гордился.

И когда он признал Чумакова, тут же, без лишних слов, строго спросил:

— Ходить можешь?

Федор Ксенофонтович, конечно, смог бы при чьей-нибудь помощи пройти несколько сот метров. Но, когда заметил, как настороженно замкнулись на нем взгляды всех раненых, находившихся в автобусе, ответил:

— Не могу, Александр Ильич. Отяжелел я...

— Тогда мы тебя на носилках перетащим в одну из передних машин... Иначе настоишься...

— Спасибо, Саша, не надо. Я уж как-нибудь со своей компанией буду терпеть...

— Черт упрямый! — беззлобно ругнулся Лизюков.— Ладно, что-нибудь придумаем.— И удалился.

Через десяток минут к их автобусу подошел, неровно тарахтя мотором, тракторишко какой-то странной марки; его чумазый водитель в пропитанном соляркой комбинезоне соединил металлическим тросом автобус со своим железным конем, и они общими усилиями (трактора и автобуса) сползли на кочковатую болотистую обочину дороги и медленно потянулись к въезду на переправу. Здесь их встретил со своими людьми полковник Лизюков.

Встав на откидную подножку автобуса, полковник спросил в открытую дверь:

— Федор, что там происходит?

— Наводи больше переправ и строй подъездные пути,— суховато ответил Чумаков.— Если со стороны Ярцева, Рославля и еще откуда-нибудь наши немедленно не нанесут удары по смоленской группировке немцев, то через твои переправы, я полагаю, будут пробиваться армии Лукина, Курочкина и частично Конева... А это, сам понимаешь, хлынут тысячи... Плюс артиллерия, тягачи, автотранспорт...

— Да немцы и сейчас напирают, чтоб перехватить нашу горловину,— сказал Лизюков. Затем раздраженно спросил: — А из чего строить мосты?!

— Хотя бы из домов,— не раздумывая сказал Федор Ксенофонтович.— Вон сколько дерева!

— Вчера мне местные бабы предложили разбирать их дома... Многие уже и барахло перетащили в землянки на огородах. Но дома из хлипкого материала — сваи мне нужны.

— Готовь хоть плоты и пешеходные мостики! Все сгодится!

На этом они и расстались, не предчувствуя, что это была их последняя встреча.

Вскоре «санитарка» оказалась за Днепром. И это было вовремя: в раскрытую дверь автобуса раненые видели, что над переправой появилась очередная группа «юнкерсов», выстраиваясь в карусель для бомбежки моста и зенитных батарей. Зенитчики, прикрывавшие переправу, тоже вступили в дело: в небе вокруг бомбардировщиков стали вспыхивать черные облачка разрывов снарядов.

До Дорогобужа добрались без особых препятствий. Ориентируясь по фанерным указателям-стрелкам с подписями «ППГ», что означало — «Походный полевой госпиталь», подъехали к двухэтажному кирпичному зданию. Но автобус с ранеными не пропустили даже на территорию двора — госпиталь был переполнен. Дежурный врач, протиснувшись в автобус, опытным взглядом окинул раненых и приказал двоим своим санитарам снять носилки со старшим лейтенантом, губы которого кроваво пенились, а изо рта рвался надсадный хрип. Сопровождавшей автобус рыжеволосой санитарке — молоденькой девчонке — приказал получить в госпитальной аптеке медикамен-

ты, бинты и следовать с автобусом вплоть до Вязьмы, свернув, однако, на север, к магистрали Минск — Москва, где дорога была получше.

Долог июльский день, особенно когда его небо без устали грозит бомбами и пулями всем обитающим на земле, охваченной военными заботами. Солнце было еще высоко, когда санитарный автобус, дымя по Минской шоссейной магистрали, приблизился к повороту на Вязьму. Здесь его остановил «медицинский маяк» — боец с красным флажком в руке. Неподалеку от этого места, в кювете, догорали останки двух грузовиков, разбомбленных несколько часов назад; воздух от этого был удушливым: пахло взрывчаткой, сгоревшей масляной краской и еще чем-то ядовито-приторным, вызывавшим тошноту и резь в глазах. Рядом у дороги группа красноармейцев сталкивала в яму убитую лошадь; двое тащили ее за ноги, а двое подваживали ломом спинной хребет. Лошадь упала в яму, заурчав утробой, и тут же на нее посыпалась земля, сбрасываемая лопатами.

Вся эта картина с догоравшими машинами и погребением убитой лошади хорошо была видна в раскрытую дверь автобуса Федору Ксенофонтовичу, и он подумал о том, что война слишком глубоко вклинилась в глубь России, везде густо посеяв тяжкую беду.

Причина остановки автобуса никому не была ясна, и раненые забеспокоились: в автобусе наступило сторожкое безмолвие. Вдруг в дверь заглянул военный, судя по петлицам, медик, лицо которого на фоне солнечного неба показалось всем черной маской.

— Генералы, старшие командиры и отяжелевшие раненые есть в машине? — строго спросил он у вышедшей из автобуса рыжеволосой санитарки.

— Есть генерал-майор,— с некоторой гордостью ответила санитарка.— Ранение у него средней степени, но уже пора на операционный стол.

— Самостоятельно выйти можете, товарищ генерал? — полуприказным, но предупредительным тоном спросил военврач третьего ранга; медик был именно в таком звании, как потом разглядел Федор Ксенофонтович.

— Зачем? — удивился генерал Чумаков, тем не менее осторожно поднялся со своего места, стараясь не сдвинуть повязок на ранах.

— И вещички возьмите с собой, если есть,— добавил военврач.

— Зачем? — с недоумением повторил свой вопрос Чумаков, взяв полевую сумку, в которой были топографические карты, устаревшие донесения и набор бритвенных принадлежностей. Чемодан с его «вещичками» остался где-то там, за Смоленском, в одной из штабных машин.

Военврач помог Федору Ксенофонтовичу ступить с откидной ступеньки автобуса на землю и сказал:

— Тут недалеко посадочная площадка. У нас в санитарном самолете есть свободные места... Не лететь же нам в Москву налегке...

Словно пламя полыхнуло в груди Федора Ксенофонтовича — радость тугой волной ударила в сердце, опалила лицо, и он на мгновение стремительной мыслью уже оказался в Москве, на 2-й Извозной

улице, в квартире покойного Нила Игнатовича, увидел устремившиеся к нему для объятия руки жены Оли, ее сверкающие счастьем и любовью глаза, а рядом — милая Иришенька, дорогая и единственная дочь.

В это время мимо проходила на запад какая-то автоколонна: впереди промчались два грузовика с бойцами и с закрепленными в кузовах счетверенными пулеметными установками, затем — автомобиль-фургон, по всей видимости — радиостанция, несколько машин, в которых сидели на скамейках, соединявших борты кузовов, командиры в накинутых на плечи плащ-палатках. Замыкал колонну ЗИС-101 — легковой автомобиль, окрашенный в зеленый цвет. Он уже миновал было автобус, потом вдруг завизжал тормозами, остановился и задним ходом подъехал к «санитарке».

— Рокоссовский! — удивился неожиданной встрече Федор Ксенофонтович, когда дверца машины открылась и на щербатый асфальт дороги шагнул высокий и стройный генерал-майор в полевой форме.— Константин Константинович! Ты ли это?!

Рокоссовский заулыбался знакомой смущенной улыбкой, всегда молодившей его и без того молодое, красивое лицо, глядя голубыми глазами чуть из-подо лба, и надвинулся на Чумакова всей своей высокой стройной фигурой, расставив для объятий руки. Пока приближался, Федор Ксенофонтович уловил мелькнувшую в глазах Константина Константиновича тревогу, которая как бы сузила на его губах улыбку: значит, пригляделся, сколь много бинтов намотано на его, Чумакова, плече и шее.

Осторожно обнялись, осторожно пожали друг другу руки.

— А как же наша недоигранная партия на бильярде? — Рокоссовский указал на перебинтованное плечо Чумакова.— Помнишь, в прошлом году в Сочи не доиграли?

— Доиграем, когда немца прогоним,— не без горечи в голосе ответил Чумаков.— А ты загорел, будто не из Москвы едешь.

— В Москве был транзитом — в Генштабе получил новое назначение.

— Уже успел повоевать?!

— Да, на Юго-Западном... Меня, потомственного кавалериста, перед самой войной перекантовали там на 9-й механизированный корпус.

— Мы с тобой как под копирку отлаженные: и я мотмехом командовал. Воевал от границы до Смоленска, пока косая чуток не коготнула.

— Ну тогда считай, что я на твое место назначен.— Рокоссовский посерьезнел, от чего на его лицо будто надвинулась тень.— Приказано сколотить армию и остановить немцев на ярцевском направлении.

— Из чего сколотить?

— Из тех дивизий, которые там держат Гудериана, и из всего, что будет появляться вокруг.

— Сложная задача...— с сомнением сказал Чумаков, а затем с убежденностью добавил: — Да и сдержать немцев — это полдела.

Надо отбросить их, а то перехватят горловину между Ярцевом и Ельней... На переправах через Днепр — у Соловьево и Радчина — уже сейчас светопреставление.

Рокоссовский встревоженно посмотрел вдоль шоссе, вслед скрывшимся из виду своим машинам, и произнес:

— Ладно, на месте буду разбираться. Скажи в двух словах: какой главный опыт вынес из боев?

Чумаков оглянулся на почтительно топтавшегося в стороне военврача, заметил его нетерпение и, обеспокоенный, торопливо заговорил, как заученный урок перед учителем:

— Непрерывная разведка врага... Обеспечение флангов армий и стыков между соединениями... Максимум сил для противотанковой обороны и обязательное наличие хоть каких-нибудь артиллерийско-противотанковых резервов... Ну и связь — взаимная между армиями и дивизиями.

— Все это элементарно, — чуть разочарованно заметил Рокоссовский.

— Немцы рвут танками и бомбами эту элементарность! — Чумаков чуть возвысил голос, почувствовав, что его коллега ожидал от него каких-то новых формул военного противоборства.— Создают массированные кулаки в неожиданных местах и устремляются в оперативную глубину. Это тоже будто элементарно, но пока переигрывают нас! Надо нам иметь подвижные резервы для маневра...

— Товарищ генерал,— несмело напомнил о себе военврач третьего ранга,— самолет может не дождаться...— И указал на грузовик с откидным задним бортом и опущенной к земле железной стремянкой. В кузове грузовика (он стоял в тени старой ветлы) лежали на сене несколько раненых; белые повязки на них словно подтолкнули Чумакова:

— Ну, счастья тебе, Константин Константинович!

— Выздоравливай.— Рокоссовский пожал Чумакову руку, а потом вдруг, прищурив глаза, сказал: — Да, забыл... Там, в штабе фронта, я слышал, что тебе приписывают самовольный взрыв смоленских мостов. Это верно?

— Верно... Попал мне в руки немецкий документ, в котором предусматривался захват мостов в целости. И если бы мы их не взорвали, немцы уже вышли б в тылы всего нашего фронта.

На этом они расстались. Федор Ксенофонтович тяжело поднялся по стремянке в кузов грузовика, чувствуя, как в его сердце родился от последних слов Рокоссовского тревожный холодок.

17

Закономерности человеческих чувств и страстей не всегда просты. Их изначальность, логика проявления и возрастания подчас не поддаются самым надежным жерновам рассудка. Сила болезненного воображения, энергия сомнений нередко ослепляют человека, туманят его разум и заполняют сердце таким гнетущим мраком, что человеку не хочется жить.

В подобном душевном состоянии пребывал в эти дни генерал-майор Чумаков. С наболевшей и потрясенной душой он наконец оказался в подмосковном госпитале Архангельское, где ему сделали операцию, удалив осколок из плеча и зашив небольшую, но опасную рваную рану на шее.

Архангельское — это целый усадебный комплекс прекрасных зданий, построенных в стиле классицизма, среди парка, окаймленного с юга старицей Москвы-реки и искусственными прудами. В древнюю старину усадьба эта принадлежала князьям Голицыным, потом — другим родовитым дворянам и, наконец, князьям Юсуповым, а после Октябрьской революции стала вместе со своими памятниками, редкими коллекциями картин, скульптур, книг заповедным, доступным для народа местом.

Военный госпиталь располагался в двух корпусах дома отдыха начсостава РККА, построенных незадолго до войны на месте бывших юсуповских оранжерей, недалеко от старинного архитектурного ансамбля. Федор Ксенофонтович лежал в первом корпусе, в обыкновенной санаторной палате: кресла, ковры, буфет с набором посуды, тумбочки с настольными лампами у кроватей. Если бы не заклеенные бумажными полосами стекла окон да не черные для светомаскировки шторы вместо портьер, то можно было вполне вообразить, что ты находишься не в госпитальной палате, а в санаторном полулюксе, где одну из двух кроватей перенесли из спальной комнаты в гостиную. Именно в гостиной и стояла кровать генерала Чумакова — этому он был рад, ибо сбоку дышало сухим июльским теплом или душистой свежестью распахнутое окно, за которым уже с утра слышался гомон выздоравливающего, восседающего в шезлонгах или на парковых скамейках военного люда, а на тумбочке у его кровати не умолкала радиоточка — репродуктор, включенный на самую малую громкость, ибо сосед по палате, лежавший в спальне, не выносил шума, не хотел слушать сообщений Совинформбюро, будучи убежденным, что война с немцами уже проиграна и все вокруг делается только для того и так, чтобы обмануть лично его, полковника Бочкина, прошедшего с отступающими частями Красной Армии от Белостока до Могилева и досконально знающего, что, где и как произошло, то есть почему фашистам якобы удалось победить. Часто он кричал в беспамятстве, грозился, что если выживет и оправится от контузии, то непременно пойдет в Кремль и расскажет там все без утайки, потребует наказания виновных.

Такое соседство угнетало Федора Ксенофонтовича, и в то же время ему было жалко тяжело раненного полковника Бочкина, перенесшего, как и он, Чумаков, не одно потрясение. К тому же Бочкин ударом взрывной волны был тяжело контужен и потерял, кажется, здравомыслие. Да и у самого генерала Чумакова творилось на душе такое, что страшно было туда заглянуть. Его больше всего волновала сейчас близость Москвы и возможность дать знать о себе жене и дочери. Мысленно он уже десятки раз преодолевал расстояние от Архангельского до 2-й Извозной улицы в Москве, помня дорогу по довоенному времени. Однажды зимой он приезжал в Архангель-

ское с Ольгой и с друзьями смотреть коллекцию картин, собранных князем Николаем Юсуповым. Но ни номера дома и квартиры покойных Романовых, ни номера телефона не помнил. Впрочем, одна милая девушка — полноватенькая и мордастенькая санитарка Маша — откуда-то дозвонилась до справочного бюро телефонной станции, и там ей назвали номер телефона квартиры Романова Нила Игнатьевича, но сколько Маша ни звонила по этому номеру, квартира безмолвствовала.

И теперь каждую ночь во сне Федор Ксенофонтович ходил по Москве, искал 2-ю Извозную улицу, узнавал знакомые и часто совсем незнакомые — чему поражался даже во сне — места. Выходил и к Киевскому вокзалу, близ которого начиналась 2-я Извозная, но желанной цели не достигал и просыпался с тяжелым камнем на сердце, измученный до полусмерти физически и нравственно.

«Полковник Микофин! — молнией сверкнуло однажды, в его памяти.— Сеня Микофин — друг и соратник по военной академии! Может, он не на фронте, а по-прежнему в Главном управлении кадров РККА?!» И тут же с санитаркой Машей послал комиссару госпиталя записку с просьбой дозвониться до Микофина и сообщить ему, что он, генерал Чумаков, находится на излечении в Архангельском.

Микофин оказался в Москве и незамедлительно откликнулся. Однако, прежде чем приехать в Архангельское, Семен Филонович попытался выяснить, где находится семья Чумакова. Но даже для него, кадровика, загадка эта оказалась неразрешимой... Призывной пункт в школе на 2-й Извозной улице, как филиал военкомата Киевского района, свернул свою работу. В военкомате же ни в каких списках призванных в военные госпитали Чумаковы не значились. Тогда Микофин с последней надеждой поехал на квартиру покойного профессора Романова...

На черной дерматиновой обивке дверей квартиры увидел меловую надпись: «Папа, мы с мамой уехали на окопные работы под Можайск. Точный адрес пришлем домой, и он будет лежать в почтовом ящике до победы. Ключи спроси у соседей напротив... Целуем тебя крепко!.. Мама и я — Ира».

Но что это? Дверь оказалась чуть приоткрытой. Микофин толкнул ее, и она легко распахнулась: замки были взломаны, а квартира, видимо, ограблена. Он дважды бывал когда-то здесь, у профессора Романова, и, войдя в прихожую, тут же направился в кабинет, служивший и столовой. Увидел, что из резного буфета выдвинуты ящики — украли серебро, остановил взгляд на маленьком железном сейфе, стоявшем в углу на тумбочке, под ветвями старого фикуса, росшего в дубовой кадке; дверца сейфа была распахнута, а у тумбочки, на полу, валялась перевернутая шкатулка черного дерева и лежала толстая тетрадь в сафьяновом переплете. Микофин поднял тетрадь и положил на письменный стол. Затем сходил на кухню, принес большую кастрюлю воды и полил фикус. Затем сел за стол к телефону и начал звонить в милицию... Взгляд его споткнулся о старую надпись, сделанную на листке откидного календаря: «Звонили

от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатьевичем». А внизу — номер телефона, по которому можно было позвонить в приемную Сталина...

В милиции отказались принимать телефонное заявление об ограблении квартиры, в которой никто не живет. Требовали письменного.

Все это рассказывал полковник Микофин Федору Ксенофонтовичу, приехав в Архангельское в конце второго дня, когда ему позвонил комиссар госпиталя. Друзья, казалось, не узнавали друг друга, столь разительно изменились они после того, как расстались в самый канун войны. А изменились они, может, не столько лицами своими, сколько тем, что как-то по-особому смотрели друг на друга и по-иному взвешивали услышанное друг от друга. Впрочем, Семен Микофин заметно изменился и внешне: лицо его запало, истончилось, прежде яркий белок глаз стал желтоватым и мутным, отчего взгляд казался больным или выражал крайнюю измотанность. Да и Чумаков будто усох, а исхудавшее лицо с марлевой наклейкой на левой скуле стало выглядеть моложе.

— Ну а в почтовый ящик забыл посмотреть? — спросил Чумаков о том, что его больше всего беспокоило.

— Пустой ящик...— ответил Микофин и продолжал рассказ. В квартирном чулане он разыскал сундучок с инструментами и всякими железячками. Нашел там большой навесной замок со связкой ключей, забил в дверь и в косяк по узкой скобе и закрыл квартиру на замок.— Два ключа отдал соседям, а тебе вот третий.— И положил кургузый ключ на тумбочку, где уже лежала и тетрадь в сафьяновом переплете.— А на дверях мелом написал: «Замок не взламывать, квартира уже ограблена». Для твоих же, если вернутся, тоже надпись: о том, где ты сейчас пребываешь.

— Спасибо, Семен Филонович.— Чумаков, окинув друга благодарным взглядом, взял с тумбочки тетрадь.— И за этот свод мудростей спасибо. Здесь — душа нашего незабвенного Нила Игнатьевича, его видение мира и понимание законов жизни.

Наугад открыв тетрадь, Федор Ксенофонтович прочитал, растягивая слова:

— «Наиболее богато то государство, которое менее других расходуется на свои институты управления...»

— Если это истина, то мы должны быть самыми богатыми,— с откровенной горечью сказал Микофин.

— Ты что имеешь в виду?! — удивился Чумаков этой горечи.

— Наш государственный аппарат трудится сейчас почти круглосуточно. Наркомы ночуют в своих кабинетах. Я уже не говорю о генштабистах — они на казарменном положении... У меня, например, с начала войны прибавилось работы раз в десять, надо бы соответственно увеличить число сотрудников отдела... Ан нет! Справляйтесь. И так везде.

— Что же ты предлагаешь?

— Ничего не предлагаю. Но мы ведь не железные.

— А многие бы, кто воюет, были бы счастливы поменяться с тобой местами. Например, Рукатов.

Микофин уловил в словах Федора Ксенофонтовича открытый упрек себе, хотел обидеться, но упоминание о Рукатове отвлекло его.

— Видел там Рукатова?.. Ну как он?

— Никак... Скорпионит, как и раньше.

— Что это значит?

— Не будем на ночь глядя говорить о плохом человеке. Ты лучше объясни мне: почему Ольга и Ирина поехали на окопные работы? Ты же говоришь — в госпиталь намеревались.

— Сам не пойму. Ведь копальщицы из них аховые.

— Конечно,— согласился Чумаков, вздохнув.— Сроду лопат в руках не держали.

— Может, от отчаяния? Ты ведь в курсе? — Микофин вопросительно и тревожно посмотрел на друга.— В Москве кто-то пустил слух, что ты попал к немцам в плен.

— Вот это да-а!..— со стоном произнес Федор Ксенофонтович.— Какая же сволочь могла решиться на такую страшную ложь?!

— Рукатов говорил, что кто-то из командиров или генералов, вышедших из окружения, видел, как ты сдавался.

— Сдавался даже?! Сам?! — В ярости Федор Ксенофонтович рванулся с постели и тут же, подкошенный болью в ранах, упал на подушку.— Сдавался?!

— Успокойся, Федор... Все уже знают, что это подлый навет или чудовищное недоразумение. Известно, что ты воевал как надо... Успокойся.— Микофин погладил его руку, вымученно улыбнулся и виновато посмотрел на ручные часы. А потом вдруг спохватился и взялся за свой раздутый портфель, стоявший на полу у тумбочки: — Да, я и забыл! Склеротик несчастный!.. Надо же вспрыснуть нашу встречу! — Он достал из портфеля и поставил на тумбочку бутылку коньяку. Затем стал выкладывать закуски: несколько плиток шоколада, бутерброды с ветчиной, пакеты с яблоками, печеньем и грецкими орехами.— Понимаешь, взял, что было у нас в буфете.

— Давно не пил,— тускло сказал Федор Ксенофонтович, беря стакан, наполовину наполненный коньяком. Потом, возвысив голос, обратился к соседу по палате: — Полковник Бочкин, выпить хочешь?!

Бочкин не откликнулся...

Когда Микофин распрощался и покинул палату, Федор Ксенофонтович почувствовал, что ему тяжело дышать, не хочется жить, ощущать себя и давать волю мыслям. Такая смертная тоска навалилась на него, что впору по-волчьи завыть... Он представил себе Ольгу и Ирину в момент, когда они услышали весть о том, что он якобы сдался немцам в плен... Какую же страшную муку испытали эти самые близкие ему на свете и дорогие люди! Какую бездну душевных страданий, шторм мыслей и сомнений! Конечно же, Ольга ни за что не могла поверить такому вздору, что сам сдался... А если убедили ее подло-притворные доброхоты?.. Тот же Рукатов?.. Но зачем? Что он, Федор Чумаков, кому плохого сделал?.. Может, какое-то трагическое недоразумение?.. А если вдруг поверила Ольга, значит, прокляла его, разлюбила, раскрепостилась от его любви. При ее же красоте и при загадочной привлекательности ее упрямого

характера недолго останется она без чьего-то мужского внимания... Нет-нет, это все противоестественно... Тогда ни во что святое нельзя верить... Даже одна мысль, что Ольга и Ирина испытывают муки, не зная правды о его судьбе, чудовищно давила на сердце, помрачала рассудок...

Но как же тогда понимать Иринину надпись на дверях квартиры? Когда она сделана? До лживой вести о его сдаче в плен или после нее?.. И откуда Ирина могла знать, что он может появиться в Москве? Ведь Федор Ксенофонтович и сам этого не предполагал... Как же разобраться в столь запутанном клубке обстоятельств, неясностей, сомнений, предчувствий, подозрений?.. И ищущая мысль, как за спасением, часто кидалась в прошлое.

Оно, прошлое, уже не существовало самостоятельно. Оно виделось сквозь сегодняшний день, сквозь его, Федора Ксенофонтовича, душевное смятение: многое из прошлого казалось маленьким до мизерности, будто смотрел на него в бинокль с обратной стороны...

Однажды они поссорились с Ольгой из-за того, что Федор Ксенофонтович приобрел путевки на курорт в Крым, а не на Кавказ, как ей этого хотелось. Боже, какая поднялась в доме буря!.. А потом по пути в Крым он в Харькове по оплошности отстал от поезда — в пижаме, без копейки денег. А Ольге почему-то подумалось, что назло ей отстал... Ох и характер у женушки!.. Сейчас смешно вспоминать обо всем... Или воскресить в памяти его, Федора Ксенофонтовича, тревоги в 1937—1938 годах... В Испанию, где он был военным советником, докатились слухи об арестах на Родине среди советского военного руководства, о суде над Тухачевским, Якиром и другими видными военными деятелями... Впрочем, те тревоги были серьезные, черные. Потом он говорил Сене Микофину, что его, Федора Чумакова, подобная участь миновала потому, что находился на фронтах республиканской Испании... Хотя и самому верить в это не хотелось, как в вещность дурного сна, тем более что вскоре партией были приняты надлежащие меры ко многим из тех, кто санкционировал незаконные аресты.

Сложно складывалась судьба трудового народа, взявшего в свои руки власть менее двух десятилетий назад,— понимание этого помогало тогда жить генералу Чумакову. Солнце разума рассеивало мрак, высветливало самые укромные уголки его души, куда прямой луч не попадал. И тогда он, зашедший в своих сомнениях даже слишком далеко, спохватывался, усмирял свои чувства, навеянные чаще всего событиями дня и неумением вовремя оглянуться туда, где те события брали начало.

Ведь в самом деле, нельзя было забывать, что с победой Великой Октябрьской социалистической революции, с низложением Временного правительства России и переходом государственной власти в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов рухнула власть буржуазии и помещиков. В созданном Советском государстве стал диктовать свою волю пролетариат. Раскрепощенный народ зашагал по новым, неизведанным путям, горячо уверовав в законы общественного бытия, открытые Марксом и Энгельсом. Ленин сумел в эпоху

империализма на всю глубину всмотреться в классовые сдвиги общества и обогатить марксистское учение о социалистической революции, решил вопрос о союзниках пролетариата... Партия большевиков как бы проводила тогда пальпацию народных чувств. Новая верховная власть, исходя из интересов народа, издала целый ряд декретов, согласно которым вслед за национализацией земли, ставшей всенародной собственностью, национализировались торговый флот, внешняя торговля, частные железные дороги, вся крупная промышленность.

Сие означало, что силы буржуазии, помещиков, реакционного чиновничества и контрреволюционных партий были в корне подорваны, была сломлена экономическая мощь свергнутых эксплуататорских классов...

Все ясно как дважды два, свято и нравственно, ибо основано на законах справедливости... Да, но ведь нравственность — естественная форма человеческой воли и выражение духовных канонов личности. А сколько же тысяч и тысяч человеческих личностей, составлявших собой разрушенное пролетариатом буржуазное общество, у которых были отняты земли, банки, железные дороги, промышленные предприятия, имения, подобно как и Архангельское, где он сейчас лечится, расплескалось, словно вешние воды, по необъятным просторам континентов земного шара! Огромное же большинство их осталось в границах бывшей Российской империи. Затаилось. Прижилось. Выжидало, надеясь на возврат старых порядков. Многие, исходя из своего понятия нравственности, способствовали тому, чтобы воскрес старый мир, потихоньку «подсыпая песок» в оси, на которых вращались колеса движущегося по путям развития молодого социалистического государства. Иначе и быть не могло: они тоже личности, но со своими духовными канонами, со своим пониманием справедливости и нравственности.

Федор Ксенофонтович предполагал, что были такие и в армейской среде, были на руководящих постах в партии, в следственно-судебных органах и органах государственной безопасности, на командных постах, в народном хозяйстве — везде. Ведь у них были образованность, опыт, которых так не хватало рабочему классу и крестьянству, еще только рождавшим свою кровную советскую интеллигенцию. И было также не исключено, что зерна раздора между отдельными военными величинами прорастали со времен гражданской войны, а между партийными деятелями — с еще более отдаленных времен, когда в партии большевиков вырабатывались положения о диктатуре пролетариата и о переходе от буржуазной революции к социалистической.

Враги намеренно неистовствовали в усердии разоблачений, опираясь на негодяев, карьеристов, завистников, людей типа Рукатова. Случались и сведения партийных и иных счетов, отчего весы правосудия, попав в руки недостойных или заблуждавшихся, начали давать сбой. Тяжкая беда постигла многих невиновных, беря, однако, начало в виновности виноватых.

Пусть с запозданием, но опомнились. Начали разбираться и исправлять ошибки. Но сколько изломанных человеческих судеб!

в души многих посеяны черные семена страха, неверия и ненависти...

Нет, это далеко не случайные мысли, приходившие в голову генералу Чумакову на госпитальной койке, много испытавшему и израненному в боях с фашистами. Федор Ксенофонтович убежден, что подобные, не простые вопросы рождаются сейчас не у него одного. Рождаются потому, что стало ясно: немецко-фашистские войска на всех главных направлениях советско-германского фронта добились значительных стратегических успехов. Над Советским государством нависла смертельно опасная угроза. Это тот самый критический момент, когда могут дать знать о себе внутренние враги Советской власти, если они притаились среди народа.

Почему же он, генерал Чумаков, в своих воспаленных мыслях сплетает сейчас воедино прошлое и сегодняшнее, свои личные, семейные боли с тревогами, вызываемыми событиями на фронте? Почему вся отшумевшая и нынешняя жизнь смешалась в общую тяжесть, так невыносимо давящую на сердце? Ему казалось, что за ним тащится целый эшелон мыслей и сомнений и каждый вагон этого эшелона катится по путям, проложенным его, Чумакова, воображением, без сцепления друг с другом. В любую минуту эшелон мог свалиться под откос или вагоны могли наскочить на путевые стрелки, которые разведут их в разные стороны...

Когда Федор Ксенофонтович терял нить своих размышлений, он возвращался к их изначальности, чтобы все-таки отыскать главную причину охвативших его тревог... Тревоги ли? А может, подсознательный испуг сердца? Генерал Чумаков замечал за собой такое: случалось, что испуг приходил от ощущения опасности, от понимания ее реальности и неотвратимости. А бывало, что мысль еще не постигла пути опасности, а сердце уже испугалось. Нет, не из робкого десятка был Федор Ксенофонтович — просто ему было присуще все человеческое; разве что увереннее других управлял он своими чувствами и умел определяться, где находятся его мысли — у подножия постижения истины или уже на вершине. Когда оказывался на вершине, то, естественно, проницательнее видел с нее пути, куда дальше устремлять ищущую мысль и направлять действо.

И вдруг озарило: эта его очередная тревога начала зарождаться еще под Вязьмой, когда генерал Рокоссовский, прощаясь с ним, сказал: «...Я там, в штабе фронта, слышал, что тебе приписывают самовольный взрыв смоленских мостов...» Слово «приписывают» уже звучало зловеще и несло в себе опасность, тем более что он действительно советовал начальнику Смоленского гарнизона полковнику Малышеву немедленно взорвать мосты, заверив полковника, что он, генерал Чумаков, готов вместе с ним нести за это ответственность, если о таковой встанет вопрос. И сейчас Федор Ксенофонтович уже был убежден, что вопрос встал и Малышев держит ответ. А тут еще распущенный Рукатовым слух, что кто-то из наших военных видел, как он, генерал Чумаков, якобы сдавался фашистам в плен...

Но это лишь начало тревог — могуче пульсирующий родник мыслей, упрямо растекающихся по двум направлениям. Во-первых,

Чумакову казалось, что он без труда отметет чьи-то злонамеренные измышления о его сдаче в плен... Вздор есть вздор. Во-вторых, Федор Ксенофонтович был убежден, что сумеет кому угодно доказать безусловную необходимость взрыва мостов через Днепр в черте Смоленска в ночь на 16 июля, когда противнику удалось захватить южную часть города...

Хотя, впрочем, есть тут над чем и призадуматься. Сейчас такое адское время, что не трудно спутать виновного с невиновным. Ведь обновленный в первых числах июля Военный совет Западного фронта нашел возможным предать суду военного трибунала не только бывшего командующего генерала армии Павлова и бывшего начальника штаба генерал-майора Климовских, но и целую группу подчиненных им должностных лиц в высоких званиях. Они-то небось тоже не лыком шиты, умеют мыслить, знают законы и в состоянии доказать свою невиновность, вытекающую хотя бы из своей подчиненности командующему и начальнику штаба... Но вдруг виновны?.. Вдруг есть обстоятельства, которые ему, генералу Чумакову, неизвестны?..

И тут еще одна мысль холодной саблей полоснула по сердцу: не усмотрело бы высшее руководство, что все случившееся на Западном фронте явилось следствием усилий своего рода «пятой колонны»! Но ведь это абсурд!.. И да и нет. Федор Ксенофонтович хорошо знал отданных под суд генералов Павлова, Климовских, Клыча, Григорьева, Коробкова и о каждом мог сказать, как и о самом себе: «Умрет, но не изменит Родине...» Но все-таки случилось то, что случилось: армии Западного фронта в первые же дни войны оказались без надлежащего управления, понесли огромные потери, оставили врагу склады, базы и уступили ему обширную территорию. Значит, кто-то должен нести ответственность за случившееся, тем более что на смежном, Юго-Западном фронте встретили врага более организованно. Значит, генерал Чумаков, не зарекайся, что и за тобой нет никакой вины...

Но не ответственности, пусть за мнимую вину, боялся Федор Ксенофонтович. Боялся, что в столь запутанной ситуации его слово не будет услышано. А сказать ему было о чем, сказать кому угодно — маршалу Шапошникову, начальнику Генштаба Жукову или даже самому Сталину. Мнилось генералу Чумакову и другое: он, побывав в пекле приграничных боев и чудом вырвавшись из-под Смоленска, постиг нечто весьма важное, конкретное о противнике и действиях своих войск; уже немало об этом размышлял, болея душой из-за того, что многое из очевидного так и останется на фронтовых рубежах противоборства очевидным, но пока неизменным. Наши войска в обороне и в наступлении выстраивают свои боевые порядки так, как этого требуют Боевой и Полевой уставы Красной Армии, хотя иные из этих требований источил червь времени. При нынешнем оснащении воюющих сторон автоматическим оружием нельзя значительную часть этого оружия держать в глубине поэшелонного построения боевых порядков бездейственным. Вооружению надо открывать простор для одновременного и массированного поражения противника. Нужно менять тактику ведения боя от взвода до дивизии включительно, надо также пересмотреть обязанности и место в бою командира...

Да, но до этого ли сейчас Генеральному штабу? Можно ли в развернувшихся событиях что-нибудь предпринимать, если в них нечто от известной пословицы: «Коня на скаку не меняют». А тут речь идет о целых армиях и фронтах, состоящих из миллионов людей...

Федору Ксенофонтовичу вдруг вспомнился его академический учитель, профессор военной истории Романов Нил Игнатьевич. Однажды он говорил, что ему хорошо думалось в постели, когда глядел в потолок. Распалявшаяся от беспокойных мыслей фантазия профессора рисовала на потолке целые материки и когда-то гремевшие на них битвы...

Федор Ксенофонтович устремил свой взгляд в высокий потолок госпитальной палаты, переметнулся мыслью туда, где сейчас велись тяжкие бои, и потолок над ним начал оживать, словно полотно киноэкрана, на который спроецировали заснятые на кинопленку кадры. Ощущая в себе внезапно вспыхнувшую духовную мощь, он будто из поднебесья увидел автодорожную магистраль между Смоленском и Москвой, на которой каменными наростами бугрились Ярцево, Вязьма, Можайск... По обе стороны магистрали раскинулись необъятные пространства с лесами, перелесками, речками и речушками, городишками и деревнями. Такая сила избирательного воображения может появляться только у истинно военного человека, который много времени провел над топографическими картами и привык видеть на них не условные обозначения, а живые просторы земли, охваченные войной, со всем тем, что на этой земле обитало и происходило. Сейчас Федор Ксенофонтович пытался мысленно разглядеть где-то югозападнее Смоленска остатки полков своей войсковой группы, силясь представить ее положение... Но тут фантазия его была бессильной, порабощенная той прискорбной явью, что вражеские моторизованные силы захватили южную часть Смоленска, ее окрестности... и, естественно, рассекли группу на части... Тут же взгляд невольно скользнул через голубую жилку Днепра, туда, где продолжали бои 16-я армия генерала Лукина, 20-я армия генерала Курочкина и 19-я — генерала Конева, имевшие противника почти со всех сторон. На северовостоке от Смоленска дымилось в пожарищах Ярцево, захваченное немцами, прорвавшимися с севера со стороны Демидова и Духовщины. Пылала Ельня, в которую 19 июля ворвались фашисты с юго-запада, а сейчас, видимо, рвутся оттуда на север для соединения со своей ярцевской группировкой войск. В случае их соединения рухнут соловьевская и радчинская переправы через Днепр и захлопнется капкан, в котором окажутся армии Лукина, Курочкина, Конева и остатки его, Чумакова, войсковой группы...

От понимания неизбежности того, что открылось перед его бескомпромиссным воображением, от трагического озарения он ощутил, как запылали огнем виски, а в груди будто столкнулись ледяные глыбы, подмяв сердце.

Федор Ксенофонтович не знал, что предпринимало в эти дни высшее командование Красной Армии, какие вводило в бой резервы и какими новыми силами заслоняло направления, по которым немецко-фашистские войска могли устремиться к Вязьме, а затем к Москве.

Но когда в санитарном самолете он летел из Вязьмы и напряженно всматривался с небольшой высоты в недалекую серую ленту автомагистрали Минск — Москва, надеясь там увидеть колонны войск, движущихся к фронту, то в районе Можайска, Кубинки и еще где-то поближе к Москве разглядел неохватные взглядом строившиеся оборонительные рубежи, с немалой поэшелонной глубиной каждый. Войска же шли к фронту, но жидко, видимо маскируясь днем от авиации противника.

Федор Ксенофонтович не мог понять, на что опиралось его чувство, подсказывавшее разуму: пространства в квадрате Смоленск, Рославль, Вязьма, Калуга слабо прикрыты нашими войсками, что позволяло моторизованным соединениям врага предпринимать охватывающие маневры. И он мысленно увидел синие стрелы, нацелившиеся острыми наконечниками из района Рославля на Юхнов, Калугу, Медынь, а из района Духовщины — на Вязьму, Гжатск...

Трудно постигнуть, по каким законам разум влечет за собой колесницу воображения. Видимо, есть такие законы; они опираются на подсознательные задачи, к решению которых направлены духовные усилия человека. Не потому ли генерал Чумаков неожиданно для себя перенесся мыслью в другую войну — 1812 года — и увидел в притушенности света и красок то давнее Вяземское сражение... В конце октября 1812 года арьергардным войскам французской армии, отступавшей к Смоленску по Старой Смоленской дороге, был по велению Кутузова навязан бой авангардом русских войск под командованием генерала Милорадовича... Вот они, боевые порядки французов, зажатые с двух сторон в районе деревень Федоровское и Горовитка. А русские войска делали свое дело согласно приказу Кутузова, гласившему: «...следовать по большой дороге за неприятелем и теснить его сколько можно более, стремиться выиграть марш над неприятелем путем параллельного преследования...» Французы, обладая большим преимуществом в количестве войск, отошли под шквальным фланговым огнем к Вязьме, но и оттуда были выбиты. Потеряв более восьми тысяч убитыми, ранеными и пленными, они начали отступать на Дорогобуж...

Но тогда властвовало другое время, когда, будь у какой-либо армии только один станковый пулемет или один танк, он решил бы исход войны в пользу этой армии. Однако к чему же мысль генерала Чумакова переметнулась в прошлое столетие?.. Видимо, для того, чтоб вернуться в сегодняшний день с другой стороны. Да, именно так. Федору Ксенофонтовичу впервые подумалось, что если немцы нацелят свои главные ударные силы вдоль магистрали Минск — Москва и создадут на флангах вспомогательные подвижные группировки, обеспечив широкоохватные действия своих войск таранными артиллерийскими ударами и массированной поддержкой авиации, то... части Красной Армии могут быть расчленены и, кто знает, найдется ли тогда чем прикрыть Москву?..

Несколько глушила тревогу надежда на то, что не его одного, генерала Чумакова, посетило подобное озарение. Наверняка не только он один видит, что над Москвой занесен меч, под удар которого надо

успеть подставить прочный щит, а затем вышибить меч из рук немецко-фашистского командования...

Рядом на тумбочке зашипел репродуктор, и тут же зазвучал голос диктора. Чумаков осторожно повернулся на бок, чтобы лучше слушать последние известия, ощутив боль в ранах, даже в челюстях, под марлевой наклейкой.

Передача последних известий началась с сообщения о том, что получен ответ от правительства Великобритании на послание Советского правительства об открытии второго фронта против гитлеровской Германии. Правительство Великобритании пока отклоняло предложение Советского правительства, ссылаясь на неподготовленность войск союзников.

И больше уже ничего не слышал Федор Ксенофонтович из того, что передавалось по радио, размышляя о не столь уж загадочной политике союзников. Они, по всей вероятности, исходили из главного и заветного для них: желали обескровить Германию руками Советского Союза, а Советский Союз ослабить настолько, чтобы он никогда не поднялся до уровня могущественной державы. Не иначе... Но что скажут правители Англии и США своим народам, бездействуя в столь драматичном для Советского Союза положении?..

И тут в уме Федора Ксенофонтовича стал разгораться другой вопрос — неожиданный и таящий в себе, как он чувствовал, какое-то важное значение: «А как бы повели себя Англия и США, если б Красная Армия сумела сдержать фашистских агрессоров на границе и не пустила бы их ни на шаг в глубь советской территории?..»

Перед этим вопросом генерал Чумаков ощутил бессилие. Мысли его, проносившиеся в голове, не могли воспарить, остынуть и на чем-то остановиться. Где-то под сознанием таилась мысль, что при такой ситуации союзники все-таки приняли б меры для упразднения Германии как могучей державы, претендовавшей на мировое господство. Но когда и как это случилось бы? И как потом повели бы они себя по отношению к Советскому Союзу?

Да, мысль человеческая имеет свойство вызывать боль, приходящую из сердца, и имеет свойство живого серебра, которое способно неудержимо растекаться по любой наклонной. Именно движение мысли и боль в груди ощутил сейчас генерал Чумаков, пытаясь удержать в памяти главную сущность того, что забрезжило в его воображении, но пока не обрело зримой формы, которую можно облечь в точные слова и понятия... Еще, еще усилие разума, и он, поставив перед собой новый вопрос, вдруг отыскал ответ на него, который сделал обжегший душу первый вопрос малозначащим. Вот он, новый и немаловажный: «А как бы повели себя Англия и Америка, если б Красная Армия, сдержав натиск гитлеровской агрессии, сама перешла в контрнаступление и оказалась на территории Западной и Юго-Западной Европы?»

Мысленно спросив себя об этом, Федор Ксенофонтович почувствовал, как холодные мурашки шевельнулись у него на спине. Даже страшная опасность, угрожавшая сейчас Москве, как-то поблекла и притупилась в его сознании перед хаосом мыслей, взвихрившихся

с необузданной яростью, словно поверхность океана при ураганном ветре. Все прежние тревоги будто остались в стороне, а сейчас он увидел перед собой голую и жестокую истину. Суть ее проста до невероятности: отрази Красная Армия агрессию фашистской Германии и окажись в Европе за пределами советских границ, то не исключено, что быстро сложилась бы военная коалиция многих буржуазных государств во главе с Великобританией, Германией, Францией и, возможно, США, направленная против Советского Союза... Может, этим предположением он, генерал Чумаков, пытается объяснить отход Красной Армии так далеко в глубь советской территории, хочет оправдать наши тяжелые потери и серьезные просчеты? Нет, с его стороны это была бы обнаженная непорядочность, грубый цинизм по отношению к тем многим тысячам наших воинов, которые сложили головы в приграничных боях и которые гибнут сейчас, преграждая путь алчным захватчикам. Просто он, как военный мыслитель, дал волю разным предположениям и, посмотрев на события с разных сторон, понял, что в нынешней обстановке, когда союзники не знают, чья возьмет, надежды на них пока малы. Они заняли выжидательную позицию: их сейчас интересует, сколько хватит крови у советского народа...

Федор Ксенофонтович нажал кнопку звонка, влажно черневшую в эбонитовой кругляшке, и, когда в палату вошла, сверкая белизной халата, дежурная медсестра, спросил у нее:

— Не откажете мне в любезности достать немного бумаги?.. Для написания документа... Или купите тетрадь...

«Кому же я буду писать? — спросил сам у себя генерал Чумаков, когда медсестра вышла из палаты.— Надо бы оказать помощь полковнику Малышеву... Но нуждается ли он в помощи?.. А об остальном?.. Скажут еще: «госпитальный стратег»... Пожалуй, буду я писать Нилу Игнатьевичу Романову... Это ничего, что он умер... Я мог об этом и не знать. Зато перед ним могу исповедоваться, как перед отцом, без малейшей робости в мыслях и прогнозах... Важно изложить все на бумаге четко, вразумительно и доказательно».

18

Последние три дня второй декады июля пролились на охваченные войной пространства Смоленской возвышенности обильноросными дождями, уняв жару, очистив воздух от пыли и гари и дав свободнее вздохнуть воинству обеих противоборствующих сторон. Правда, дожди принесли гитлеровцам неудобства: затруднили действия их авиации и, расквасив грунтовые дороги, сковали передвижения вокруг южной части Смоленска и на дальних подступах к нему автоколонн с войсками, боеприпасами и горючим.

Третья декада июля началась неторопливо разгоравшимся восходом солнца. Свежесть утра вскоре сменилась духотой — неподвижной и густой от поднимавшихся с земли испарений. Казалось, война еще больше присмиреет в удушливой синеватой мгле. Но нет, видать,

немецким генералам дышалось под накатами глубоких блиндажей и в подвалах Смоленска легко, и они вновь и вновь, каждый день, с рассвета и до новой зари, бросали свои войска через Днепр, чтобы овладеть северной частью древнего города и выйти на магистраль Минск — Москва. А ведь где-то до середины июля немцы воевали строго по графику — с 8 часов утра и до 8 часов вечера, если не считать ночных вылазок их разведчиков. Сейчас же заторопились завоеватели.

Да, немцы, всегда помнившие, что на путях стратегического искусства нужны не ноги, а крылья, очень спешили. Это особенно хорошо видел по своей очередной топографической карте генерал Лукин. На нее каждый день и не единожды, штрих за штрихом, наносились месторасположения, действия и передвижения частей противника и своих частей, и она, будто панорамная картина на холсте под кистью художника, все больше оживала, обретала конкретный смысл, рассказывала понимающему глазу суть происходившего на огромных просторах, вызывая мысли, движимые все возрастающими тревогами и не покидавшими надеждами.

Прежние обозначения на карте, соединившись с последними, молчаливо свидетельствовали о том, что немцы, бросив в наступление на Смоленск с запада 3-ю танковую группу и правофланговые дивизии своей 9-й армии, а с юго-запада несколько дивизий 2-й танковой группы, намеревались окружить советские войска, оборонявшиеся на рубеже Витебск, Шклов, захватить Смоленск, Вязьму и открыть дорогу на Москву. И никуда не денешься от очевидной истины: пусть ценой больших потерь, но врагу удалось добиться серьезного успеха... Однако Смоленск все-таки стал ему костью в горле.

...То не от лучей восходящего солнца и сегодня краснела зыбь в тиховодном Днепре, делившем Смоленск на бóльшую — южную и мéньшую — северную части. Генералу Лукину почему-то думалось, что кровь должна плыть по поверхности воды пленкой. Оказалось — нет: она смешивалась с водой, растворялась в ней... Сколько же надо было пролиться крови, чтобы текучая вода стала багровой, пусть даже Днепр здесь не столь широк!.. Очередная попытка одного из полков дивизии полковника Чернышева захватить ночью на противоположном берегу Днепра плацдарм не принесла успехов и на этот раз. Несколько таких неудач потерпели полки дивизии генерала Городнянского. Более того, немцы, забрасывая снарядами, минами и бомбами удерживаемый нашими войсками берег, то и дело сами форсировали Днепр и врывались в северную часть города.

Уже трижды переходили из рук в руки здесь, в Заднепровье, вокзал и рынок, кладбище и часть аэродрома.

Малейшее продвижение немцев в глубь Заднепровья вызывало новый прилив свирепого отчаяния у защитников Смоленска, и они бросались в контратаки с такой яростью, что потом днепровские воды еще жутче взблескивали краснотой. Впрочем, то было не только отчаяние, а и естественное упорство, вызываемое пониманием: за

спиной оборонявшихся находилась главная дорога на Москву. Да, именно невиданное самоотречение бросало на врага полки дивизий генерала Городнянского, полковника Чернышева и сводный рабочий отряд смоленских добровольцев. Потом включилась в борьбу за Смоленск 158-я стрелковая дивизия полковника Новожилова, ранее входившая в состав 19-й армии. Не было пока на Днепре только главных сил 46-й стрелковой дивизии генерал-майора Филатова; она тремя сводными отрядами изо всей мочи отбивалась от вражеских войск, пытавшихся ударить по 16-й армии Лукина со стороны Демидова — с тыла.

Генерал Лукин вместе со своим адъютантом носился между командно-наблюдательными пунктами командиров дивизий и лесом у совхоза Жуково, где находился штаб его армии и узел связи. Связь со штабом фронта пусть не постоянно, но была сносной...

Недавно стрекочущий буквопечатным механизмом аппарат Бодо отстучал на выползавшей из него жесткой ленте телеграмму главкома Тимошенко и члена Военного совета Булганина, адресованную командарму Лукину и члену Военного совета армии Лобачеву. В ней выражалось удовлетворение тем, что войска 16-й армии сражаются самоотверженно и не выпускают врага из Смоленска. В телеграмме также вновь требовалось овладеть южной частью города и сообщалось: «...Военный совет Западного направления представляет вас к высоким правительственным наградам, в надежде, что это поможет вам взять Смоленск».

Генералу Лукину вручили телеграмму, когда он вернулся с передовой в крайне раздраженном состоянии: опять не удалась попытка частей армии закрепиться на южном берегу Днепра; сказывались малочисленность бойцов, нехватка артиллерии и снарядов, особенно противотанковых. Михаил Федорович сгоряча продиктовал начальнику штаба полковнику Шалину резковатый ответ для передачи в штаб фронта:

«Ни угрозы предания нас суду военного трибунала, ни представления к правительственным наградам Смоленск взять не помогут. Нам нужны снаряды и пополнения дивизий живой силой...» Не сразу отреагировал Военный совет фронта на эту сердитую телеграмму. Да и что он мог сделать, если главные пути снабжения и подвоза, ведшие к 16-й и 20-й армиям, были перерезаны врагом. Но Михаил Федорович и дивизионный комиссар Лобачев, кстати не одобривший его запальчивости, были убеждены, что такая телеграмма безответной не останется: маршал Тимошенко не любил, когда ему дерзили и когда в военно-деловые, а тем более оперативные вопросы вплетались изъяны чьего-то характера, чья-то несдержанность. Ждали ответа с этакой иронической самонадеянностью, вызванной тем, что понимали — уже ничего хуже быть не может в их осадном положении, при котором они оставались один на один со столь сильным врагом.

...На рассвете второго дня немцам удалось овладеть кладбищем в северной части города, что позволяло им бросить через Днепр в полосе захваченной территории новые силы. Узнав об этом, генерал Лукин приказал комдиву Городнянскому: «Надо вышибить врага за

Днепр во что бы то ни стало. Посылаю вдоль берега, со стороны Красного Бора, свой резерв: стрелково-пулеметную роту...» Рота была собрана, как говорят, с бору по сосенке, но обладала приличной огневой мощью, имея в своем составе кроме взвода стрелков три расчета станковых пулеметов.

Чувствуя, что обескровленным полкам 129-й стрелковой дивизии придется нелегко, Лукин и Лобачев, охваченные тревогой, поехали на командно-наблюдательный пункт генерала Городнянского — в каменный дом, торчащий надломленным зубом среди руин на пологости улицы, наискосок спускавшейся к бывшему мосту через Днепр.

...В яростном трехчасовом бою уцелевшие немцы были вытеснены с кладбища, прижаты к Днепру, а затем почти поголовно перестреляны, когда пытались перебраться на противоположный берег. Но дорогой ценой досталась эта небольшая победа и дивизии генерала Городнянского. На утопавшем в зелени и спускавшемся уклоном к дороге кладбище густо лежали трупы не только солдат-чужеземцев, одетых в мышиного цвета короткорукавную униформу, но и красноармейцев.

После боя, покинув каменное прибежище Городнянского, генерал Лукин и дивизионный комиссар Лобачев сидели на сваленной взрывом кирпичной опоре от боковой кладбищенской ограды, скорбно смотрели на жуткую картину смерти, бросая иногда взгляды вниз, к дороге, за которой в курчавившемся ожерелье кустов скрывался Днепр.

Со стороны Лукин и Лобачев напоминали изнемогших беженцев, присевших отдохнуть. Их густо запыленная одежда, измученные лица с тускло серебрившейся на висках и подбородках сединой да притухшие глаза выдавали физическую и душевную изнуренность. А вздыбившаяся рядом с ними оглобельками деревянная тачка, казалось, принадлежала им и подчеркивала их безнадежную обессиленность. Из глубокого кузовка тачки вывалились на траву, покрытую мелкой и обгоревшей кирпичной крошкой, связки книг.

Лобачев протянул руку к тачке и выдернул из ближайшей связки том в темно-синем тканевом переплете. Понюхал его, уловив тревожащий дух старины — запах источенного шашелем книжного шкафа и отсыревшей бумаги, затем с неосознанной благоговейностью взглянул на корешок. Это оказалась книга из известного ему двадцатидвухтомного Собрания сочинений Герцена. Антикварная редкость!.. Тяжко вздохнул, отогнав мысль о том, что недосуг сейчас окунаться чувствами в былые человеческие страсти, коль нынешних не переплывешь ни на каком чудо-корабле. Но все-таки распахнул книгу и прочитал первое, на что упал взгляд:

«Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история». Это Герцен — русский писатель, революционный демократ — цитировал немецкого поэта-публициста Гейне...

Дивизионный комиссар Лобачев внутренне содрогнулся, вдруг постигнув глубину и неохватность мысли, таившейся в словах великого немецкого поэта. И от того, что у них за спиной, в зыбкой тишине

примолкнувшей войны, покоилось просторное и покатое кладбище, на котором густо теснились в зеленой куще тысячи крестов и холмиков, плит и оградок, памятников и вросших в землю каменных столбов, мысль Гейне приобрела сейчас особенную скорбную конкретность, заставив сердце ощутить тоскливую боль. Ведь правда: под всеми этими холмиками и надгробиями лежал прах людей, некогда бывших в свое земное существование каждый сам для себя вселенной, вселенской в безмерном пространстве жизнью со всеми ее открытыми и не открытыми тайнами. Со смертью каждого из них успокоилась и как бы потухла отдельно взятая, мыслящая, по-своему чувствующая и ощущающая планета, потускнело до непроглядной черноты зерцало, в единственном виде отражавшее все мироздание...

Сколько же сотен «планет» потухло здесь еще и сегодня с рассветом, за несколько часов боя?..

Давившие сердце мысли тяжкой дремой окутали дивизионного комиссара Лобачева... И надо же было такому случиться, что именно сюда, на этот вечно древний и вечно молодой погост, в котором под зеленым покровом вершилось таинство превращения человеческой плоти в земной прах, пришла война и густо уложила его телами людей, вышелушив из них жизнь и действительно будто потушив в каждом целую вселенную и всемирную историю...

Да, захватническая война — суть стихия порабощения и уничтожения, разбуженная и направленная злой волей дурных и алчных правителей. Когда же иссякнет злая воля на земле? Когда переведутся злонамеренные правительства, ибо, как известно, войны объявляют не народы... Когда же восторжествует мудрость и люди не мимолетно станут задумываться, почему все века пребывания на земле человека, призванного в жизни созидать, отмечены бесконечными разрушительными и истребительными войнами, как столбовая дорога километровыми знаками? Не счесть причин и поводов войн, составляющих подмостки истории человечества. Но нет хуже тех военных противоборств, кои разбужены чьим-то алчно-воспаленным воображением, в котором чужие верования видятся опасными и чужие обиталища — заманчиво-желанными.

И вот Красная Армия вынуждена отбиваться от чужеземцев, пришедших под разбойными штандартами с фашистской свастикой; они уже покорили большинство стран Европы и, вознамерившись покорить весь остальной мир, двинулись истребительной войной на Советский Союз. И все плотнее вымащивалась земля телами его сыновей... Густо на необозримые поля брани падали тела и гитлеровских солдат, свято поверивших в бредни своего фюрера об исключительности германской расы и о праве «великой» Германии на мировое господство. Захватчикам поделом их смертная участь, размышлял с ожесточением Лобачев. Пора войны — пора лютой ненависти к врагу. Но как не зарыдать в груди сердцу, когда ты хоть на минуту раскуешься из панциря оглушенности да поразмышляешь о погибших побратимах?.. Сколько же пламени и боли, ярости и недоумения вскипало в каждом из воинов, когда, до конца выполнив свой долг, расставались они с жизнью, понимая, что не успели сотворить, мо-

жет, самого главного, предначертанного судьбой и выношенного в мечтах!

Война требует жертв... Скверное это изречение, пусть и является непреклонной истиной. Учитывая сию несомненность, имея при этом в виду войну справедливую, освободительную, нельзя забывать, что даже ее жертвы протестуют против войны, против убийства и напоминают человечеству, обращаясь к его рассудку, о том, что главная и вечная сущность человека, где бы он ни жил, где бы ни билось его сердце, каждым шагом своим утверждать земную красоту, памятуя, что в земном бытии не бывает попятных шагов: в прожитый день не вернешься, нельзя одновременно быть здесь и там... Понимая бесконечность жизни, человек не может не забывать о своем временном пребывании в ней, а это должно держать его поступки в согласии с вечным...

Жизнь человека и вечность!.. Что же такое вечность? Если вечность вечная, то не было у нее начала, не будет и конца? Как же осмыслить на фоне вечности судьбу одного человека? Это будто вспышка искорки в бесконечной ночи?.. А что являет собой в вечности все человечество с его прошлым и будущим, с его великими гениями и великими злодеями, с яркими талантами и убогими творителями поделок, с неутомимыми работниками-созидателями, коих великое множество, и ленивыми бездельниками?.. Эта человеческая пестрота, исчисляемая миллиардами личностей, если бы узреть ее из глубин вселенной, напомнила б караван мерцающих огоньков, неустанно бредущий куда-то сквозь мрак вечности, образуя в ней своими маршрутами загадочно-вопросительные знаки неохватных мыслью масштабов?.. И при этом никто не может ответить на вопрос, есть ли что-либо одинаковое для человека за пределами до его рождения и после его смерти... А что такое вообще несуществование? Ведь каждый из нас не раз устремлялся мыслью ко временам и событиям, проистекавшим до нашего рождения. И мы не без огорчения видим, что мир прекрасно обходился без нашего присутствия и, случись, что мы вовсе не родились бы, никто бы этого и не заметил. Но коль родились, и именно мы, а не кто-нибудь другой, значит, мы обязаны оправдать свое рождение достойной жизнью.

От таких, может, и не новых размышлений не должны уклоняться ни материалисты, ни идеалисты. Но идеалисты в своих выводах наверняка утонут в духовной мякине, а материалисты придут к догадке или обоснованному пониманию того, что вечность и время — категории разные. Если вечность беспредельна, то время имеет свои границы, связанные хотя бы с отсчетом бытия человечества, запечатленного его памятью и памятниками его деятельности на земле — материальными и духовными. Время и человек — неразрывны, ибо оно, время, есть осязаемая всеми его чувствами сама жизнь. И если при этом мы всмотримся, сколь мизерно время человека в вечности, нас охватывает печаль оттого, что он, человек, из глубин веков до наших дней то и дело перекрывает реку жизни огненными порогами войн.

Сейчас же жизнь перекрыл не дробящий ее течение порог обыкновенной захватнической войны. Сейчас фашистский дух Герма-

нии, сплавившись с железом всей Европы, впитав в себя могучую взрывчатку ненависти к большевизму, высоким, гремящим огненным валом хлынул в глубь территории Советского Союза. Но не удастся гитлеровскому воинству сломить Красную Армию, чья крепость сцементирована идеями добра и социальной справедливости.

Вот какие мысли обуревали дивизионного комиссара Лобачева, когда он смотрел на древнее кладбище в северной части Смоленска, где покоилась молодеющая из глубины веков Русь и которое было покрыто сейчас телами ее сегодняшних защитников и телами немецких солдат-поработителей...

Смоленск продолжал сопротивляться и не сдавал врагу своего Заднепровья. Казалось, что обгоревшее и искалеченное каменное тело города вросло в надднепровские холмы древнерусской земли и объятиями высокого духа удерживало при себе наши войска, а захватчиков не пускало в направлении Москвы.

Но в ином положении виделась в ставке Гитлера эта древняя твердыня. Фюрер даже вступил на этот счет в полемику с Уинстоном Черчиллем, премьер-министром Англии, который в Лондоне, в палате общин, опроверг донесение немецкого командования о том, что в Смоленске якобы не осталось ни одного русского солдата. Премьер-министр даже привел сообщение советского командования, которое утверждало, что Заднепровный Смоленск находится в руках у русских и что ведутся бои в кварталах его южной части.

Генерал-лейтенант Лукин и дивизионный комиссар Лобачев узнали о вранье Гитлера здесь же, в Заднепровье, сидя на поверженной взрывом снаряда кладбищенской ограде... Мимо них пробегали два бойца-связиста — усталые, в изодранных гимнастерках и разбитых сапогах. У одного улюлюкала на спине катушка с телефонным проводом, который стелился по земле, а второй придерживал на боку облезлую, с остатками зеленой краски, деревянную коробку телефонного полевого аппарата. В десятке метров от начальства бойцы, оголив конец провода, срастили его с найденным оборванным проводом и подключили телефонный аппарат. Один из связистов тут же начал с кем-то переговариваться, проверяя исправность линии, и генерал Лукин окликнул бойцов:

— Ребятки, попробуйте вызвать «Розу» и пригласить к аппарату «тридцатку».

«Роза» — это был сегодняшний позывной командного пункта 16-й армии, а «Тридцатый» — начальника штаба.

Связисты подтянули провод с подключенным аппаратом прямо к генералу Лукину, и он, взяв трубку, тут же услышал сдержанный голос полковника Шалина:

— Тридцатый слушает.

— Новостей нет, Михаил Алексеевич? — спросил в трубку Лукин и будто увидел перед собой затуманенные усталостью и постоянной тревогой глаза начальника штаба.

— Полный короб,— приглушенно ответил Шалин.— Я уже звонил на КП Городнянского... Необходимо ваше присутствие на «Розе» незамедлительно.

В Лукине вдруг вспыхнуло острое чувство беспокойства: он предполагал, что маршал Тимошенко затевает какой-то неожиданный удар по немцам. Испытывая нетерпение, спросил:

— Можешь иносказательно? Постараюсь догадаться.

— Одну вещь могу в открытую. Пусть даже немцы подслушивают.— И Шалин снисходительно засмеялся.

— Уже интересно... Говори! — повелительно сказал Лукин.

Полковник Шалин стал рассказывать о переданной из политуправления фронта радиограмме с текстом полемики между Гитлером и Черчиллем по поводу того, в чьих руках находится сейчас Смоленск.

— Немцы кричат на весь мир,— доносился голос Шалина, видимо державшего перед собой бланк с радиограммой,— что в Смоленске не осталось ни одного русского солдата. А Черчилль с трибуны палаты общин сказал, что это брехня. Тогда Гитлер и заявил по радио на всю Европу... Вот послушайте: «Я, Адольф Гитлер, оспариваю утверждение сэра Уинстона Черчилля и просил бы английского премьера запросить командующего 16-й советской армией русского генерала Лукина, в чьих руках находится Смоленск...» — Шалин умолк, пытаясь угадать реакцию Лукина на прочитанное. Но Лукин какое-то время молчал, и Шалин продолжил уже от себя: — Так что, Михаил Федорович, выбились вы в знаменитости мирового масштаба...

— А что?! — невесело, но будто с вызовом вдруг воскликнул генерал Лукин и, видя, что дивизионный комиссар Лобачев смотрит на него с вопрошающим напряжением, кратко передал ему суть разговора с Шалиным. Затем, коротко хохотнув, приказал в телефонную трубку: — Пошлите от моего имени в политуправление фронта радиограмму... Пусть обязательно доведут до сведения Гитлера и Черчилля, что я нахожусь в северной части Смоленска вместе со своими войсками и через Днепр даю фашистам прикурить...

— Будет исполнено,— с какой-то пасмурностью сказал на другом конце провода полковник Шалин, а затем многозначительно добавил: — Михаил Федорович, другие дела поважнее. Ждем вас немедленно и с нетерпением.

— Сейчас едем... Только перекинусь словом с Городнянским: ему будет небезынтересно узнать, что и на него в эти дни вся Европа взирает.

Командно-наблюдательный пункт 129-й стрелковой дивизии генерала Городнянского на позывные телефонистов откликнулся тотчас же. Ввиду небольшого расстояния, которое разделяло территорию кладбища и полуразрушенный каменный дом в глубине кособоко поднявшейся над Днепром северной части Смоленска, голос Городнянского зазвучал в телефонной трубке громко и четко.

— Авксентий Михайлович, не слышал новость? — спросил у него Лукин.

— Судя по тому, что вам, Михаил Федорович, весело, новость непечальная? — вопросом ответил Городнянский.

— Угадал! — Лукин засмеялся, может, впервые за эти дни.— Где находится сейчас твой командно-наблюдательный пункт?

— Да здесь же, где вы недавно были, в том же каменном мешке.

— Но в черте Смоленска?

— Разумеется!.. А правофланговый полк моей дивизии даже пытается взять на том берегу здание областной больницы.

— Ну вот видишь! — В голосе Лукина продолжали звучать веселые взблески.— А Гитлер доказывает Черчиллю, что в Смоленске не осталось ни одного русского солдата. Предлагает за свидетельством обратиться к нам с тобой.

— Серьезно? — не без озадаченности переспросил Городнянский.— Так я сейчас очередным артналетом дам Гитлеру знать, где нахожусь. Позволяете?

— Давай, только щади историю Смоленска: собор, церквушки, памятники. И не трать снарядов на мелкие цели. Гитлер — брехло и так знает, что оседлал только южную часть города.

— Насчет того, что надо щадить историю, это ты молодец, дорогой Михаил Федорович,— сказал дивизионный комиссар Лобачев, посмотрев с одобрительной грустью на Лукина.— Жернова войны так перемалывают древность с сегодняшним днем, что для людей будущего вместо истории остается труха...

— Разгромим фашизм, заключим со всем миром договора о дружбе, и крышка всяким войнам! — Лукин отдал связисту телефонную трубку и молодецки хлопнул ладонью себя по коленке. Затем встал с кирпичной глыбы и кому-то погрозил пальцем: — Все извлекут уроки! Дураков не останется.

— Хорошо бы,— согласился Лобачев, тоже вставая.— А вместо армии пусть бы каждое государство держало небольшие внутренние войска — для устрашения воров и хулиганов.

— И роту почетного караула! — с легким смешком добавил Лукин.— Чтоб иностранных гостей встречать.

— Тогда еще и военный оркестр нужен! — Лобачев извинительно развел руки.— А роте, оркестру да и внутренним войскам нужны будут духовные наставники. Так что я, возможно, опять буду при деле. А ты, Михаил Федорович, наверняка останешься безработным.

— Каждый день на рыбалку стану ездить! — ухватился за привлекательную мысль Лукин и даже надул от удовольствия щеки, как это делают маленькие дети.

И вдруг они расхохотались — закатисто, безудержно, с какой-то надрывной свирепостью. Это не был «хохот чистого веселья», ибо сверкнувшие на глазах Лобачева стекляшки слез выдали волнение их обоих, понимавших отчаянность своего положения, но не утративших в этом кровавом угаре того подлинного чувства долга, делающего человека человечным. Оно, это человечное, определялось их совестью и другими духовными началами, умноженными на разум каждого из них и на энергию, направленную на пользу Отечества...

Только опытный глаз мог определить, что в штабе армии что-то произошло важное. Когда Лукин и Лобачев приехали из Смоленска в лес под Жуково, они сразу же заметили особую подтянутость и напряженную готовность к чему-то часовых, стоявших у землянок отделов и отделений штаба, деловитость командиров, изредка стремительно проходивших по тропинкам, протоptенным в разных направлениях, особенно от узла связи.

В автобусе полковника Шалина застали почти полный сбор начальников служб. Все сидели вокруг узкого раскладного стола за топографическими картами и за журналами для различных записей. Только сам Шалин не сидел, а стоял в конце салона у карты, приколотой на заклиненных и иссеченных осколками задних дверях. На карте были четко нарисованы шесть удлиненных красных стрел, нацеленных на Смоленск, а точнее, на красный овал, обозначавший место окружения вражескими войсками его, Лукина, 16-й и Курочкина — 20-й армий и отсекавший по Днепру северную часть города.

Михаил Федорович понял, что красные стрелы обозначали намеченные удары наших войск для деблокации окруженных в районе Смоленска частей и для разгрома группировки противника. Но эти стрелы нисколько его не поразили, ибо он и ранее предполагал, что вот-вот маршалу Тимошенко прикажут предпринять нечто подобное. Сейчас же генерала Лукина холодком ударили по сердцу синие жирные «пиявки», охватившие наши 16-ю и 20-ю армии. Офицеры оперативного отдела штаба старательно начертили расположение немецкой группы армий «Центр», и видеть это было жутковато. Три армейских и три моторизованных корпуса врага, три танковые дивизии и танковая бригада только на фронте от Духовщины до Рославля... Огромная силища таранила нашу оборону здесь, лишь на главном направлении Западного фронта. А основные силы 3-й танковой группы врага, нанеся удар из района Витебска — в обход Смоленска с севера,— уже пробились к Ярцеву и южнее Смоленска соединились с частями 2-й танковой группы в районах Кричева и Рославля. Смоленская группировка войск оказалась как орех в щипцах, но не хватало у немцев сил раздавить его... Долго ли так будет продолжаться? Вот бы нашлась возможность надеть на «орех» железный обруч или внутри него поставить стальные распорки из свежих резервов... Но пробиться сюда, в кольцо окружения, резервам не так просто, да и целесообразно ли? Маршалу Тимошенко с командного пункта фронта виднее... Плюс наличие информации и разработок Генерального штаба...

Генерал Лукин, после того как начальник штаба полковник Шалин чуть запоздало скомандовал: «Товарищи командиры!» — вскочившим и заскрипевшим складными стульчиками штабистам, кивнул всем, чтобы садились, затем спросил, не отрывая изучающего взгляда от карты:

— Приказ?

— Телеграмма с информацией о директиве начальника Генерального штаба,— сдержанно ответил полковник Шалин, нахмурив свое не очень красивое, с огромной верхней губой, жесткими чертами, но чем-то по-особому привлекательное и в чем-то загадочное лицо.

Своей сущностью Шалин будто бы подтверждал древнюю мудрость, гласившую: «Сколькими языками человек владеет, столько раз он и человек». Полковник свободно разговаривал на английском, японском языках и был образован, как иные выражались, до неприличия.

Ступив к торцовому краю стола, Шалин промакнул носовым платком высокие залысины лба и сдвинул на угол папку с бумагами, освобождая место командарму и члену Военного совета.

Лукин и Лобачев уселись на неширокую навесную лавку, соединявшую боковые стенки автобуса, и оказались во главе командирского собрания.

— Ну что за директива? — Лукин достал пачку «Казбека» и, взяв папиросу, стал размягчать ее пальцами.— Курите, кто желает, вентиляция хорошая.— И генерал устремил ожидающий взгляд на Шалина.

Начальник штаба с какой-то подчеркнутой бесстрастностью изложил директиву в общих чертах. Ее суть сводилась к тому, что, согласно требованию Верховного Командования, на Западном направлении надлежало провести операцию по окружению и разгрому гитлеровцев в районе Смоленска. Осуществить эту операцию маршал Тимошенко приказал силами специально созданных пяти войсковых оперативных групп, состоящих из двадцати дивизий, выделенных из состава 29, 30, 24 и 28-й резервных армий. Группы должны перейти в контрнаступление, нанеся одновременные удары с северо-востока (из района Белый), востока (Ярцево) и юга (Рославль) в направлении на Смоленск. Их задача во взаимодействии с окруженными врагом 20-й и 16-й армиями разгромить группировку противника севернее и южнее Смоленска. Для содействия войскам, которым предстояло наступать с фронта, выделялись три кавалерийские дивизии под командованием прославленного командира гражданской войны Оки Ивановича Городовикова. Перед этой конной группой ставилась задача совершить опустошительный рейд по тылам бобруйско-могилевско-смоленской группировки немцев.

Умолкнув, полковник Шалин, прежде чем начать детализировать директиву, открыл лежавшую на углу стола папку с документами и скосил вопрошающий взгляд на генерала Лукина, словно пытаясь убедиться в том, что тот действительно серьезно вник в сущность замысла предстоящей операции. А Михаил Федорович, облокотившись на стол и держа над пустой консервной банкой папиросу, от которой сизой струйкой поднимался дым, будто витал мыслями где-то далеко, понуро глядя в развернутую перед ним рабочую топографическую карту, поверх которой лежали уже исполненные штабными командирами согласно директиве бумаги с планом рекогносцировки, с планом перегруппировки частей армии и другими проектами боевых документов, что свидетельствовало о высоком уровне штабного дела, поставленного здесь полковником Шалиным. Понуро-безучастными казались и все остальные, находившиеся в автобусе... Но нет, это была не безучастность, не подавленность, а поглощенность каждого своими мыслями, схожими заботами и тревогами, своим видением затеваемой операции и прогнозами ее осуществле-

ния. Ведь всем было ясно, что сейчас стоит вопрос о жизни или смерти каждого в отдельности и всех их, вместе взятых, с войсками...

Где-то в глубине леса дважды, с коротким промежутком, певуче зазвенела под ударами железного прута латунь подвешенной снарядной гильзы. Это было оповещение о начале обеденного времени. И в автобусе будто запахло щами и пшенной, заправленной свиной тушенкой кашей.

Тут же послышалось приглушенное расстоянием хрипловатое «ку-ка-ре-ку-у!», не очень похожее подражание на петушиное. Вслед за ним ернически прозвучала старая солдатская тарабарка:

Бери ложку,
Бери бак!..
Нету ложки?
Иди так!..

Лукин узнал: голос этот принадлежал бойцу из охраны штаба артиллерии — видавшему виды сибиряку со странной фамилией Курнявко. И будто увидел бойца перед собой: лицо круглое, красноватое, потресканное от морщин, брови густые, кустистые, похожие на двух ежиков; нос короткий, с широкими, чуть вывернутыми ноздрями, из которых выглядывали толстые черные волосинки. Рот у бойца был тоже особенным, словно просеченный сверху вниз, и поэтому нижняя губа будто подпирала верхнюю. В глазах неизменно светилось напряженное внимание ко всему происходящему вокруг, сквозила даже некоторая высокомерность и в то же время готовность к взаимопониманию, к обоюдоприятному диалогу, согласию или несогласию. Безразличия глаза Курнявко не знали...

Все это промелькнуло в сознании Михаила Федоровича будто щелчок диафрагмы фотоаппарата, и он неосознанно кинул взгляд на начальника артиллерии армии генерал-майора Прохорова, сидевшего на другом конце стола. Тот, видимо тоже узнав голос бойца, улыбчиво посмотрел на командарма.

— Твой Курнявко дает концерт? — спросил Лукин у Прохорова.

— Да, его вокализы,— подтвердил Иван Павлович.

— Сознался, как он выжимает водку из смеси керосина и спирта?

— Сознался... Пришлось пригрозить откомандированием из штаба.

Все в автобусе с недоумением прислушивались к обмену странными фразами командующего армией и начальника артиллерии. Полковник Шалин, подошедший было с указкой к карте, укоризненно посмотрел оттуда на генерала Лукина, затем обидчиво произнес:

— Если нет желания слушать меня — можете каждый самостоятельно ознакомиться с планом операции.— И он пристукнул указкой по углу стола, где лежали документы.

— Извини, Михаил Алексеевич.— Лукин отодвинулся к стенке автобуса, чтобы лучше видеть карту, и с чувством веселой виноватости пояснил: — Тут, понимаешь, действительно случай особый... Даже для твоей утонченной натуры интересен. Рассказать в двух словах? — И, не дожидаясь ничьего согласия, продолжил: — Те бочки спирта, которые чернышевцы захватили у немцев, частично отдали медикам,

а частично смешали с керосином, чтоб никто не пил, и стали заправлять этой дрянью баки грузовиков. Между прочим, моторы работают на ней отменно... А тут генерал Прохоров вдруг доложил, что среди его водителей и артснабженцев замечены случаи пьянства...

— Ну не совсем пьянства, но крепко выпившие встречались,— уточнил генерал Прохоров и так заразительно расхохотался, что лицо его посветлело и помолодело, а всем послышалась в его смехе еще и какая-то необычная занимательность.

— Будете утверждать, что нашлись такие, которые могли пить смесь спирта с керосином? — спросил полковник Шалин. Лицо его выражало не только полное недоверие, но и раздражение: он не любил тратить время на пустые разговоры.

— Михаил Алексеевич, ты извини нас, недообразованных.— Лукин уже сам смотрел на Шалина с дружеской усмешкой.— Мы иностранными языками не владеем, специальных институтов не кончали. Поясни нам, пожалуйста, как можно из смеси керосина и спирта получить водку.

— Это у химиков надо спрашивать,— озадаченно ответил Шалин.— Но полагаю, что нужен какой-то перегонный аппарат, какие-то центрифуги, отстойники...

— Гвоздь нужен! — весело воскликнул генерал Прохоров.— И четырехклассное образование!.. Впрочем, образования вовсе не надо! Его молоток заменяет!

Автобус наполнился веселым шумом, и Шалин, пожав плечами, сел на скамейку рядом с дивизионным комиссаром Лобачевым. При этом обидчиво сказал:

— Сейчас надо ломать голову над планом операции и плакать от нехватки сил и боеприпасов, а им весело! Нашли время зубы скалить!..

— Нет... О серьезном идет разговор,— строго прервал начальника штаба дивизионный комиссар Лобачев, пристукнув по столу сразу двумя кулаками.— Как известно, пьяные подразделения не могут являться боевыми единицами!

— Откуда пьяные? Почему? — не сдавался Шалин.— Когда батальон из дивизии Городнянского отбил у немцев спиртзавод, там полно было питья! Но кто видел в батальоне пьяных? Грамма никто не выпил!

— Верно, не выпил,— согласился Лукин.— Там все понимали, что идет бой... А в обороне, да еще в ночное время, могут объявиться охотники полакомиться спиртным...

— Объявились! — поддержал командарма генерал Прохоров.— Пришлось пресекать... Вот тот, который сейчас кукарекал... Красноармеец Курнявко... Хороший боец! А что придумал? Наливал полведра смеси спирта и керосина, доливал туда воды, вода смешивалась со спиртом и опускалась на дно, а керосин всплывал... Дальше сами понимаете: гвоздь плюс молоток... Из дырки в дне ведра вытекал крепчайший и чистый раствор спирта... Вот вам и четыре класса образования у бойца Курнявко!..

Теперь уже хохотал вместе со всеми и полковник Шалин...

Когда смех наконец утих, начальник штаба вновь подошел к карте и, посерьезнев, стал объяснять задачи, которые определялись директивой Генерального штаба.

Войска группы генерал-лейтенанта Качалова, состоявшие из двух стрелковых и одной танковой дивизий, должны были в назначенное время развернуть наступление из района Рославля и вдоль идущего на Смоленск шоссе ко второму дню разгромить противника на рубеже Починок, Хиславичи, а в дальнейшем с юга развивать наступление на Смоленск, отражая удары врага с запада. Группа генерала Рокоссовского (две стрелковые и одна танковая дивизии), прикрывая главное — московское направление, тоже должна была нацелить свой удар на Смоленск, но со стороны Ярцева. Остальным войскам — группе генерала Хоменко (три стрелковые и две кавалерийские дивизии) и группе генерала Калинина (три стрелковые и одна танковая дивизии) приказано одновременно начать наступление из районов Белого и южнее его по сходящимся направлениям на Духовщину, Смоленск.

Вслушиваясь в четко рубленный, какой бывает только у истинно военных людей, голос полковника Шалина и неотрывно следя за перемещавшимся острием деревянной указки в его руке, генерал Лукин будто видел перед собой лица генерала армии Жукова и маршала Тимошенко. Жуков, казалось, сердился на кого-то, и поэтому лицо его было пасмурным, а Тимошенко словно был озабочен сердитостью начальника Генерального штаба и пытался найти какое-то важное решение...

А ведь особенных загадок в сложившейся ситуации не было. Из переговоров с маршалом Тимошенко и начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Маландиным Лукин знал, что Сталин не уставал требовать от Генштаба мер, которые затормозили бы продвижение немцев в направлении Москвы; это имело крайне важное не только военно-стратегическое, но и внешнеполитическое значение. В качестве таких мер Сталин предлагал одновременно ввести в действие на Западном фронте несколько крупных группировок наших войск. Вот эти группировки и сколочены... Но пока лишь в директиве Генштаба, которая отводила 16-й армии для подготовки контрнаступления только двое суток. А за это время можно было успеть немногое — ну, принять решение и поставить задачи войскам, находящимся к тому же в разных районах. Даже не успеть организовать как следует взаимодействие и боевое обеспечение войск 20-й и 16-й армий здесь, в окружении. Зачем же такая торопливость?.. Тем более что началась дождливая погода... Или там, в Москве, что-то знают о войсках противника такое, чего он, генерал Лукин, со своим штабом не знает?

Видимо, из глубины страны спешат наши резервы и надо во что бы то ни стало побыстрее задержать продвижение немцев, лишить их свободы маневра, заставить распылить силы на широком фронте, а может, и перейти к обороне. В этом, разумеется, был здравый смысл. Тем более что в тыл врага рвутся наши кавалерийские дивизии...

Следовательно, надо принимать решение... Генерал Лукин неторопливо поднялся со скамейки и взял у полковника Шалина указку.

В открытую боковую дверь автобуса упруго дохнул ветерок, пахнувший гнилым дуплом осины, и вдруг над лесом резко и оглушающе, с какой-то бешеной силой ударил гром и полыхнула молния, отсвет которой на мгновение вымахнул из автобуса полумрак. Михаилу Федоровичу даже показалось, что это где-то рядом взорвался тяжелый снаряд. Но наступившую тишину стал заполнять нарастающий шелест дождя. Его крупные капли все гуще барабанили по крыше автобуса и шуршали в листве деревьев.

Началась новая гроза. Ох как она была некстати сейчас, когда затевался столь мощный контрудар по врагу.

19

Кисть левой руки майора Птицына Владимира Юхтымовича, раздробленная осколком мины под Борисовом, заживала. Правда, пальцы почти не сгибались, а ладонь была исполосована багровыми рубцами, затягивающимися молодой кожицей под легкой бинтовой повязкой. Птицын — бывший сын богатого русского дворянина-помещика, Владимир Святославович Глинский,— значился в тайных «святцах» абвера под кличкой Цезарь; теперь он долечивался в одном из московских госпиталей. В последние дни Глинский особенно горячо, даже горячечно, размышлял над тем, куда и как устремить свою судьбу дальше. Благосклонная к нему до сих пор, сейчас она стала предупреждать о грозящей ему опасности: то холодок тревоги вдруг беспричинно рождался в груди, то во сне кто-то грозно и немигающе глядел ему в самую душу; все больше ширился разлад между разумом и сердцем Владимира. Рассудок с нерушимой силой очевидности доказывал, что сейчас, когда над Москвой нависла реальная угроза вторжения в нее немцев, когда германские бомбардировщики многими десятками с разных направлений и на разных высотах стремились прорваться в небо советской столицы, а немецкие диверсанты — натренированные и обученные высшему искусству разрушения и уничтожения — тоже денно и нощно делали попытки нанести удары по военно-промышленным объектам Москвы, советской контрразведке не до него, «майора Птицына», одиноко затерявшегося среди тысяч выздоравливающих раненых. Ведь он ничем не отличался от них, документы его, находившиеся в госпитальном штабе, тоже не могли вызвать сомнений... Но вот сердце... сердце не давало покоя. Оно будто знало, что действительно за «майором Птицыным» неусыпно наблюдало недремлющее око — с тех самых пор, как он, сжалившись над одним раненым, под его диктовку написал ему домой письмо и по старой привычке дважды употребил букву «ять», давно изъятую из русского языка. Именно это и дало повод советской контрразведке заинтересоваться не только Владимиром Глинским, но и Губариным, к которому зачастил «майор Птицын», размотать родословную разбитного дворника. Озадачивал чекистов и генерал Чумаков. И не только знакомством с Птицыным, но и знанием немецкого языка.

Да, Владимир Глинский, со своей утонченной натурой и болезненной потребностью всматриваться в собственные предчувствия, вслушиваться в них, встряхивать их, как медяки на ладони, убежденно верил, что интуиция, не дающая ему покоя,— это проявление высшей способности человеческого духа — голос его провидческой души, которая предупреждает об опасности и зовет к действию.

Итак, надо было на что-то решаться. По опыту других выздоравливающих раненых Владимир Глинский знал, что его, как знатока военно-инженерного дела, могут послать в какую-нибудь тыловую учебно-саперную часть. Но это не устраивало абверовца: он хотел вместе с немецкими войсками войти в Москву завоевателем или хотя бы встретить их здесь, чтобы не только почувствовать себя победителем, но и иметь право на что-то большее — на что именно, он еще не знал, но с ожесточением претендовал на дележ власти, наград, привилегий или каких-то ценностей... Проситься же в действующую армию ему не хотелось: там ждала почти верная гибель. Был у него и запасной вариант: напомнить должностным лицам, ведающим войсковыми кадрами, что у него, «майора Птицына», есть еще одна, очень нужная для фронтового тыла профессия — полиграфиста. Правда, он знал, что полиграфистами ведало управление кадров Главного политуправления Красной Армии. Следовательно, ему предстояло сменить военно-учетную специальность — стать политработником. Особых препятствий к этому не предвиделось и здесь: у него ведь был партийный билет — не поддельный, а настоящий, пусть с искусно переклеенной в абверовской лаборатории фотографией. Опытные советчики во время дружеских перекуров в госпитальном дворе то и дело с убежденностью напутствовали Глинского: «Иди в ПУРККА, а там, основываясь на госпитальных справках, заведут на тебя новое личное дело и пошлют начальником типографии армейской, а то и фронтовой газеты». Все обдумав и взвесив, Владимир Святославович последовал этим советам...

Немало часов провел он в бюро пропусков Наркомата обороны. Это была просторная комната с телефонами, отгороженными друг от друга фанерными стенками; ряд окошек, за которыми сидели сержанты и старшины, выписывавшие пропуска по полученным заявкам или по телефонным распоряжениям, очереди военных к телефонам и к окошкам, теснота на скамейках, вдоль стен... Опытный глаз Глинского безошибочно различал, что за люди штурмовали это душное помещение. Здесь — и вызванные с фронта для новых назначений, и выписавшиеся из госпиталей или прибывшие из запасных частей; иные, одетые в гражданскую одежду, видимо, отобраны райвоенкоматами для отправки в войска на командно-политические должности.

Выстояв в очереди к окошку, за которым дежурный лейтенант с сонными глазами и помятым от недосыпания лицом давал справки, Глинский узнал от него, что ему следует обращаться в отдел печати к полковому комиссару Лосику, и записал номер его телефона. Он, этот таинственный Лосик, должен был и решить судьбу полиграфиста «майора Птицына». Затем опять долгое стояние в очереди — уже к телефону... Прислушиваясь к разговорам, к односторонним телефонным диалогам, Глинский, будучи натренированным разведчиком,

многое запоминал — «авось пригодится», удивлялся беспечности, царившей в бюро пропусков. Здесь можно было пригоршнями черпать многие важные сведения для немецкой разведки. Или это только так казалось абверовцу? Возможно, красные командиры искусно играли в беспечность, а где-то по углам или за перегородками сидели чекисты и тайно наблюдали, не развесил ли кто-нибудь уши и не вел ли записей в блокноте?

Такая мысль как бы встряхнула Глинского, обожгла мозг, и он осторожно, с напускным безразличием огляделся по сторонам, не догадываясь, что узколицый и улыбчивый старший лейтенант, стоявший в очереди сзади него, именно и был его личным «опекуном» из советской контрразведки. Но Глинский обратил внимание не на старшего лейтенанта, а на стоявшего у витрины с наклеенной на ней газетой «Красная звезда» майора с черными петлицами на гимнастерке и черным околышем на фуражке. Майор время от времени подергивал левым плечом, как бы рывком приподнимая его к уху. Именно по этому подергиванию Глинский мгновенно вспомнил его...

Майор разговаривал с каким-то военным — высоким, грузным, стоявшим к Глинскому спиной. Ни имени майора, ни фамилии Глинский не знал. Но будто увидел сейчас плац в Сулеювеке близ Варшавы, в расположении бывшей базы разведывательно-диверсионной школы, где перед началом вторжения немецко-фашистских войск в Россию разместился оперативный штаб «Валли» ведомства адмирала Канариса. Там создавались абверкоманды и подчиненные им абвергруппы... Владимир Глинский со своей только что сформированной абвергруппой отрабатывал на плацу нехитрую операцию мгновенного откидывания бортов у русского грузовика ЗИС-5 и превращения его кузова в пулеметную площадку, защищенную от пуль выпуклыми броневыми щитами... Тогда этот «майор» с двумя немецкими офицерами подъехал к группе Глинского на «мерседесе», десяток минут понаблюдал за оживившимися занятиями, потом удовлетворенно сказал Владимиру: «Отлично работаете, Цезарь» — и, передернув левым плечом, сел в машину...

Так кто же он? Советский разведчик? Или, как и Глинский, заброшен вихрем обстоятельств в расположение Красной Армии и сейчас играет роль своего в среде советских командиров? Если же советский агент, то что ему делать здесь?..

В голове Глинского раздалось гудение от учащенно запульсировавшей крови, лицо вспыхнуло, а по всему телу разлилась вялость — так с ним бывало всегда, когда назревал момент явной опасности, а он не видел выхода.

Наконец наступила его очередь взять телефонную трубку. Стараясь не поворачиваться лицом в ту сторону, где стоял узнанный им человек в форме майора, Глинский, набрав номер, спросил на откликнувшийся голос неузнаваемым даже для самого себя баритоном:

— Товарищ полковой комиссар Лосик?

— Нет его,— ответили неприветливо.— У аппарата батальонный комиссар Дедюхин. Что вам?

Глинский, будто сжав в кулак свою волю, четко и размеренно объяснил Дедюхину суть своего положения и изложил просьбу.

— Полиграфисты нам требуются,— уже сговорчивее ответил батальонный комиссар.— Отправляйтесь в райвоенкомат, на территории которого расположен ваш госпиталь, там имеются соответствующие указания... Если вы окажетесь нашей номенклатурой — вас пришлют к нам.— И положил телефонную трубку.

Глинский вышел из бюро пропусков, словно из парилки. Настороженно оглядевшись по сторонам и спрятав бумажку с номером телефона полкового комиссара Лосика, торопливо зашагал в сторону метро — скорее подальше, подальше от этого опасного места. Ему мерещилось, что за ним неотрывно следят. И это было на самом деле...

Странное дело: тот въедливый человечек, который всегда обитал в глубинах чувств Владимира Глинского и время от времени задавал ему не простые вопросы, требуя немедленных ответов на них, в эти дни почему-то утих, притаился или совсем исчез, дав Владимиру волю поступать во всем по своему усмотрению, мыслить так, как ему мыслилось. А вот сейчас почудилось, что этот обычно иронически настроенный шептун вдруг проснулся, безмолвно заворочался в груди, будто заодно с Глинским смертельно испугался советских чекистов, которые мнились Владимиру уже во всех прохожих. Золотая ариаднина нить, по убеждению Глинского, ведшая его, тайного врага Советской России, по лабиринтам трудно слагавшихся обстоятельств, теперь, кажется, оборвалась. А возможно, оборвалась раньше — еще среди огненных валов войны, в гибнущем войсковом соединении генерала Чумакова...

Мысль о Чумакове будто охладила распаленную фантазию Владимира, удиравшего сейчас как можно дальше от бюро пропусков Наркомата обороны. Не помня, как он оказался в куда-то мчавшемся вагоне метро, Глинский на первой же остановке вышел и, с притворной озабоченностью оглядевшись по сторонам, пересел в подземный поезд, шедший в сторону Киевского вокзала. Сам не зная зачем, он решил побывать у дома на 2-й Извозной улице, где после долгой разлуки случайно встретил в обличье дворника своего родного брата Николая и где в квартире покойного профессора военной истории Нила Романова познакомился с семьей Федора Ксенофонтовича Чумакова... Зачем он сейчас ехал туда? Ведь знал, что Ольга Васильевна и Ирина Чумаковы отправлены куда-то под Можайск строить военные укрепления. Об этом ему сказал тот же случайно встреченный брат — Николай Глинский... Потом он поручил Николаю любыми путями немедленно оказаться на захваченной немцами территории и передать для абвера его, Владимира Глинского, проект покушения на жизнь Сталина и на других советских руководителей...

Что-то неудержимо тянуло Владимира на 2-ю Извозную, и он, выйдя из метро и пересев в трамвай, уже был почти убежден, что интуиция толкает его туда не зря и что вообще сейчас он должен прислушиваться к ней, как к голосу небесных сил, вера в которые укрепилась в нем еще больше с тех пор, как попал он в расположение красных и до сих пор не был разоблачен, хотя часто оказывался очень близок к этому... Хорошо, что небесные спасители на его, Глин-

ского, стороне. Но большевикам этого не понять. Они борются против бога и утверждают, что его вообще нет. А если нет, так зачем же тогда с ним бороться? Как можно отрицать то, чего нет?.. Да, большевикам со своими догмами не проникнуть в область высшего духа и не постигнуть суть абсолюта. Посему и не дано им познать, где же именно произрастают плоды добра, а где зла, где райские кущи с гнездовьями вещих птиц, кои, паря в поднебесье, указывают верный путь не только праведникам, но и заблудшим...

Путаясь в мыслях, навеянных страхом перед разоблачением, Глинский ехал в полупустом трамвае в сторону Филей, не замечая, как из угла вагона исподтишка его касался взглядом юноша с потертым портфелем под мышкой, в полосатой рубашке с расстегнутым воротом. Это был очередной «опекун» абверовца, которого он принял под свой контроль еще на Арбате. Сейчас юноша старался твердо запомнить внешний портрет Глинского, с тем чтобы при необходимости безошибочно передать шпиона очередному чекисту.

А Глинский, хорошо откормленный на госпитальных харчах, напоминал крепкой фигурой и всем своим ликом покинувшего из-за возраста ринг боксера, но и сейчас не чуждающегося спорта. Лицо его отливало бронзовым загаром, было грубоватым, в нижней части отяжелевшим; крупный нос прочно царствовал над тонкими губами, а выцветшие, почти незаметные брови постоянно хмурились, придавая глубоко сидящим глазам выражение настороженности и некоторого высокомерия...

Да, интуиция не подвела Глинского. Из надписи, сделанной мелом полковником Микофиным на дверях квартиры покойных Романовых, Владимир Глинский узнал, что раненый генерал Чумаков находится на излечении в первом корпусе санатория РККА, расположенного в Архангельском, на территории... бывшей дворцовой усадьбы князя Юсупова!

Сначала Владимир Глинский даже не поверил, что речь идет именно о том самом Архангельском — древней подмосковной резиденции князей Юсуповых, где не раз бывали русские императоры, члены их императорской фамилии, куда приезжал сам великий Пушкин и многие другие ослепительно знаменитые личности России, Франции, Англии, Италии... Не раз приезжал туда с родителями и он, тогда еще Володя, или Вольдемар, Глинский, будущий юрист — студент Петербургского университета.

Сейчас Владимир не мог точно и припомнить, в каком фамильном родстве находилась их семья с Юсуповыми. Кажется, двоюродная сестра его матери была выдана замуж за одного из отпрысков этого знаменитого княжеского рода. И Архангельское радостно теснилось в его памяти и сознании, как нечто непомерно прекрасное, благородное, олицетворяющее собой и своими обитателями самую просвещенную и власть имущую часть России. Временами ему даже не верилось, что этот прославленный и чем-то таинственный земной уголок не являлся плодом его воображения, а существовал наяву. И не только кружевной, разграфленный аллеями парк, не только прильнувшие к нему Москва-река и пруды, окантованные зеленым ожерельем

кустов, или рощи и перелески, открывавшие окутанные дымчатой кисеей заречные дали, но и сами люди, жившие в дворцовых строениях, высившихся среди парка, мнились ему как божьи избранники, коим было чуждо все буднично-земное, и их заботы слагались лишь из вкушения полнившей их сердца красоты и ощущения непреходящего восторга — под музыку невидимого на высоких хорах овального дворцового зала оркестра... И он представил себе этот зал, увенчанный расписным куполом, с золотисто-желтыми коринфскими колоннами из искусственного мрамора...

Воспоминания о прошлом, о старой России, нахлынули на Владимира Глинского с такой силой, что он словно потерял самого себя. Его чувство и обращенные в минувшие десятилетия мысли словно отделились от него, не мешая ему делать то, на что он решился: Владимир Глинский ехал в Архангельское...

Он сидел в кабине грузовика рядом с немолодым шофером в засаленном синем комбинезоне. Шофер временами косился на перебинтованную руку Глинского. Его узкоглазое скуластое лицо выражало почтительность.

— Снаряды везешь? — спросил у него Глинский, кивнув в сторону кузова.

— Зенитные снаряды!.. Самолеты сбивать,— громко с восточным выговором ответил шофер.

— Сам что — казах?

— Не казах. Узбек... А казахи тоже есть... Туркмены, киргизы. Чукча есть. Не автобат у нас, а большая юрта народов.

Шофер оказался болтливым. Но Глинскому разговаривать не хотелось. Он осматривался по сторонам, удивляясь, что не узнает дороги... Нет, узнал деревню Гольево! Но почему-то не увидел деревянного мостка в низине и речушки не увидел... Здесь обычно увязывались за их каретой мальчишки и девчонки в холщовых домотканых одеяниях и истошно вопили: «Барин, барин! Кинь конхвету!..» Матушка расстегивала свой лакированный ридикюль, доставала оттуда заранее припасенный кулек с карамелью и бубликами и царственно расшвыривала их по обе стороны кареты...

Гольево осталось позади, и Глинский начал размышлять над тем, зачем он в самом деле едет в Архангельское... Для чего ему нужен сейчас генерал Чумаков? Чтоб наконец убить, уничтожить его, как предписывалось строгим кодексом абвера каждому бывшему «аспиранту» школы восточного направления, столкнувшемуся со старшим, а тем паче высшим командиром Красной Армии? Да, совершить этот террористический акт Владимир Глинский был обязан уже давно. Но почему же не совершил?.. Ответ ему ясен: только из-за собственной безопасности. Генерал Чумаков нужен был Глинскому живым, как главный свидетель принадлежности «майора Птицына» к командирскому корпусу Красной Армии: ведь они познакомились еще до войны, пусть только и за несколько часов до ее начала. И уже не единожды встречи с генералом Чумаковым приносили Глинскому удачи, даже дарили ему жизнь!.. Сейчас тоже зрела в нем надежда на нечто непредвиденное, нечто полезное от предстоящего свидания с Чумаковым.

Однако если б Глинский спросил себя строже, почему он так внезапно решился на эту поездку, то, возможно, и сознался бы: Архангельское, как проснувшаяся боль, вдруг позвало его кличем полузабытой юности и словно бы стоном отчаяния растоптанной простолюдинной чернью России, по которой у него никогда не переставала болеть душа... Не хотелось верить, будто большевики в самом деле столь ограниченны в своем духовном восприятии мира, что сказочный, почти нерукотворный дворец, его ослепительные парадные залы, салоны, кабинеты, украшенные произведениями искусства, сделавшие имена их творцов бессмертными, превратили в обыкновенные общежития — ординарный дом отдыха для начсостава РККА?

Его память и его настороженно дремавшая боль, обостренно всколыхнувшись, вдруг оглушающе прокатились в мыслях по всей его прошлой жизни, начиная с малолетства. А сейчас Глинский всеми чувствами устремился в то давнее и родное Архангельское, в его дворцовый парк: деревья в парке когда-то закрывали почти все небо над собой, но послушно расступались перед ровными аллеями, полянами, перед дворцовыми зданиями... А скульптуры, вазы, фонтаны, бюсты — в сочетании с террасами, лестницами, подпорными, обвитыми зеленым плющом стенами!.. А памятник Пушкину в конце аллеи, украшенной бюстами античных богов и древних философов! Но многое уже покрылось пеленой забвения...

Грузовик стишил ход и, съехав на обочину, остановился. Глинский огляделся по сторонам, увидел справа лес, а слева — полузабытую, проступавшую в памяти из прошлого железную ограду, за которой тоже теснились деревья — высокие и стройные сосны вперемежку с липами и тонкоствольными березами. Понял: Архангельское...

Через минуту, предъявив дежурному лейтенанту, стоявшему у распахнутых ворот, свою госпитальную увольнительную записку и коротко объяснившись с ним, Глинский с тоскливым холодком в груди уже шагал в направлении дворца, узнавая и не узнавая его: стены и колонны здания были раскрашены для маскировки темно-зелеными полосами и пятнами, а шпиль над бельведером снят...

Вот и въездная арка с массивными колоннами по бокам, замыкавшая парадный двор; под ней — кованый орнамент железных ворот. По сторонам двора — тоже по два ряда мощных колоннад; они соединяли фасад дворца с флигелями, опираясь на высокие фундаменты и неся на себе переходные балконы...

Постепенно все воскресало в памяти! Даже пряный запах цветов знакомо и тревожаще дохнул в лицо с круглой клумбы, пространно пестревшей в центре двора...

Пройдя сквозь арку в приоткрытые ворота, Глинский огляделся, будто еще не веря, что все это не сон. Увидел: из торцовых дверей флигеля, что был слева от него, вышли мужчина и женщина в белых халатах. Значит, верно — госпиталь здесь... Справа, у входа во второй флигель, сидели среди колонн в плетеных креслах люди в военной форме; на них ярко белели бинты — у кого перевязана рука, у кого —

лицо, нога или под расстегнутой гимнастеркой грудь. Подойдя к ним, увидел, что раненые забивают за круглым столиком «козла» — играют в домино. Чуть помедлив, спросил:

— Будьте любезны, это первый корпус госпиталя?

На него все посмотрели с недоумением, и он со страхом подумал, что допустил какую-то непростительную ошибку.

— Главные корпуса госпиталя там, за парком,— указал рукой подполковник с округло-одутловатыми чертами лица нездорового цвета, он зажал между коленками два костыля.— Там первый и второй...

Глинский благодарственно кивнул и молча зашагал к противоположной колоннаде. И тут увидел распахнутые большие двери во дворец, из которых прерывистым ручьем вытекал поток людей в больничных халатах; кое на ком белели бинты... По их сосредоточенно-одухотворенным лицам, по задумчивым глазам, будто обращенным вместе с мыслями еще туда, во внутрь дворца, Глинский понял: это экскурсия выздоравливающих раненых... Что же они могли там увидеть?.. Ведь то старое Архангельское, с его великолепными памятниками русской и мировой культуры, как ему было известно, давно перестало существовать! Живя еще во Франции, Германии, он не раз читал в газетах о варварстве большевиков, не уберегших Эрмитаж, Третьяковку, Загорск, Архангельское... В Париже Глинский своими глазами видел несколько знакомых ему картин, вывезенных Троцким отсюда, из Архангельского (здесь в двадцатых годах помещалась его резиденция). Картины, кем-то купленные у Троцкого, перепродавались по довольно высоким ценам в богатом антикварном магазине, который имел филиалы в некоторых странах Европы. Да и само Советское государство, испытывая тяжкие трудности в годы своего становления, когда ему крайне нужна была иностранная валюта, позволяло себе выставлять на международных аукционах некоторые созданные в прежние века произведения живописи и скульптуры.

Позабыв, зачем он сюда приехал, Глинский будто против своей воли шагнул в направлении четырехколонного портика, к знакомым стеклянным дверям в его глубине, ведшим в вестибюль дворца...

И здесь почти все как было — строго, торжественно и чуть таинственно. В глубоких нишах на каминах-постаментах застыли в мраморной неподвижности Амур и Психея и Кастор и Поллукс — герои древнегреческих мифов; вход в парадные залы сторожили беззлобные мраморные псы, повернув головы в разные стороны... А вот и тот памятный стол с двумя кушетками по бокам... Но не видно на столе знакомой «Книги для гостей» — весьма толстой, в прочном кожаном переплете темно-серого цвета. В ней с начала прошлого века хозяева дворца предлагали самым почетным гостям оставлять на память грядущим поколениям свои автографы. Старый граф Глинский — отец Владимира — тоже имел честь дважды расписаться в «Книге для гостей», чем немало гордился и о чем нередко рассказывал в кругу близких, не забывая уточнять, что в книге запечатлены собственноручные автографы самых прославленных ди-

настий Российской империи — Голицыных, Ермоловых, Васильчиковых, Сумароковых.

Владимир Глинский в последний приезд в Архангельское, будучи тогда студентом четвертого курса университета, благоговейно листал «Книгу для гостей», надеясь, что и ему предложат расписаться в ней. Но хозяевам почему-то не пришла в голову такая простая мысль... Зато вволю насмотрелся он на русские, французские, немецкие, английские росписи, впитывая в свою цепкую память наиболее звучные имена: «Мария и Аглаида Голенищевы-Кутузовы...», «Графиня Елисавета Вл. Шувалова...», «Петр Верещагин...», «Павел Жуковский...», «Марина и Китти Урусовы...». Особенно запомнилась роспись императора Николая от 23 мая 1913 года; Владимир даже скопировал ее, похожую на лежащее поперек страницы рыбацкое удилище с намотанной на него и провисшей от верхнего кончика до комля леской...

Воскрешая в памяти свои былые приезды в Архангельское, Владимир Глинский действительно словно вернулся в годы юношества. В нем что-то упруго всколыхнулось и заныло той сладкой болью, которая похожа на пробудившуюся давнюю, недолюбленную любовь. И не только пробудилось где-то в глубинах сердца это странно волнующее чувство, но и взяло над ним власть, заставляя картинно вспыхивать в памяти все, что по ее велению вплеталось в венок прошлой жизни, в которую он возвратился на время, как в сказку или в сновидение...

Вот Владимир уже в Овальном зале... Все здесь как и прежде, если память ему не изменяла... Нет, не изменяла память. Он с некоторой оторопью глядел на коринфские колонны и на высокие светильники между ними; подняв лицо, увидел купол, покрытый симметрично расположенными золотистыми квадратиками — они ему никогда не нравились. Зато в центре купола, в контрастно очерченном круге, легко и грациозно парили на фоне блеклых облаков Амур и Психея, как бы соединяя застывшим порывом своих чувств небо и землю. А из центра купола спускалась на прочном стержне-держателе трехъярусная люстра, восторгая взгляды людей невообразимо причудливым орнаментом и гнутыми подсвечниками. Покрытая позолотой люстра особенно при зажженных свечах была как бы сердцевиной Овального зала, являя собой олицетворение силы человеческого воображения, создавшего ее.

И что поражало его до слез, до экстаза — Владимир не только узнавал все окружавшее его здесь. Ему вспоминались, возрождались в нем и те чувства, которые испытывал здесь в те отшумевшие годы. Они, эти чувства, возвращаясь из прошлого, с дурманящей навязчивостью напоминали о себе, особенно когда смотрел из Овального зала в оба конца анфилады. Вот и сейчас перед его взором двери и окна дворца потеряли очертания и даже будто раздвинулись, сплавив воедино живое дыхание парковых деревьев с неподвижностью запечатленной жизни на картинах и настенных росписях дворца. Да и сами картины, с их небесной лазурью, с пестревшими на них былью и легендами, подчас казались его взгляду уголками парка, где верши-

лась причудливо-таинственная жизнь, как и мнилось, что парковые деревья, видневшиеся сквозь окна и двери, немыслимы без этих залов с великолепием, наполнявшим их.

Это ощущение слитности здания и зеленого половодья, окружающего его, завораживало, заставляло воспринимать пейзажи и сюжеты картин, настенных росписей как совершенство, взявшее начало там, за стеклами окон и дверей, где шумели живые деревья, где были простор аллей, полян и глубина небес над ними. Владимиру и сейчас иногда снится, что он летает среди люстр этих залов, а затем — над аллеями и полянами...

Он вышел из дворца, обогнув его с левой стороны, пройдя мимо каменных львов с добрыми и глупыми мордами, и оказался на верхней террасе парка. Справа и слева над террасой густо высились лиственницы — уже не молодые. Когда-то он поспорил с братом Николаем и с молодежью семейства Юсуповых — угадать с первого взгляда количество лиственниц в каждом ряду. Выиграл он, Владимир, сосчитавший деревья заранее. Их было ровно по тридцать штук, и сейчас, скользнув взглядом по лиственницам, он отметил только, что они почти не постарели, а густота их не поредела.

Впрочем, мысль о лиственницах отвлекла его ненадолго. Он вернулся к своим чувствам, родившимся там, во дворце, не в силах разобраться в них, в своем отношении к тому, что сейчас увидел, пережил и вспомнил. Был будто бы обрадован: нашел ведь потерянное, о котором даже не мечтал, и вместе с тем огорчен, что считавшееся потерянным безвозвратно так неожиданно, легко, без всякой борьбы нашлось... И нарастающе стала зреть в нем надежда: случившееся сегодня — неспроста. Вполне вероятно, что в эти исторические дни судьба, избрав именно его, намеренно позвала сюда, чтобы напомнить: грядет торжество порушенной революцией справедливости. Каждое же торжество должно иметь своих заинтересованных в нем зачинщиков и пожинателей его плодов. Он же, Владимир Святославович Глинский, юрист по образованию, не только хорошо знает законы, но и умеет искусно изобретать их такими, какими они ему нужны. А тем более вряд ли скоро найдется и найдется ли вообще кто-нибудь из наследников князей Юсуповых после вторжения сюда немцев. А он, состоящий с Юсуповыми в родственных отношениях, уже здесь... Многое это сулило ему! Надо только не прозевать, не упустить, упредить и суметь закрепить за собой права...

И уже посмотрел вокруг как хозяин, как властелин сего райского уголка, сохраненного судьбой лично для него. Значит, не зря с такой силой пробудилась в нем сегодня интуиция; не оборвалась, следовательно, ариаднина нить в глубинах его души и разума.

В нем появилась жгучая потребность, прежде чем идти искать этот загадочный первый корпус, где лежит раненый генерал Чумаков, немедленно осмотреть всю территорию Архангельского, с его парком, памятниками, церковью Михаила Архангела, Святыми воротами, Колоннадой, театром Гонзага...

Но что это?! На постаментах, являвшихся промежуточными держателями балюстрады верхней террасы, не было ни одной скульптуры.

Все они, как и те, которые сторожили боковые аллеи, как и сделанная по модели великого Микеланджело мраморная группа «Геркулес и Антей» в центре террасы, были повержены на серый песчаник площадки и дорожек, являя собой жалкое зрелище и вызывая чувство, схожее с погребальным. Возможно, потому, что тут же, на дорожках, были выкопаны ямы, а в ямы спущены деревянные ящики, которые он разглядел, когда подошел ближе. Рядом на траве лежали прочные, из толстых досок, крышки для ящиков.

Глинскому все стало ясно, и он с облегчением вздохнул. Ему вспомнились рассказы о том, что подобным образом прятали здесь в землю, в подвалы дворца скульптуры в 1812 году, когда к Москве приближался Наполеон. Сейчас же делать это тем более надо — чтоб уберечь мраморные драгоценности от осколков бомб и снарядов...

Эх, может, не следовало вспоминать об осколках! А то будто накликал бомбежку: неизвестно откуда вдруг родился вой сирены — истошный, прерывистый, больно бьющий по барабанным перепонкам. Чудилось, что даже деревья парка мелко трепещут листвой от упругой хриплости этого воя, дробят его в кронах и процеживают сквозь себя. Только великаны лиственницы справа и слева малой террасы, устремив в небо объемно-пушистую зелень, были безучастны к тому, что где-то близко появились бомбардировщики: ни одно дуновение ветерка не родилось в густоте их крон при сигнале воздушной тревоги.

В стороне Гольево и Павшино — деревень, находившихся в направлении Москвы,— резко и отрывисто громыхнули зенитные батареи.

— Пушкари старшего лейтенанта Васильева вступили в дело! — послышался юный с хрипотцой голос откуда-то с нижней террасы.

— Сейчас всем дивизионом рубанут! — поддержал его кто-то другой.

И верно: из-за леса и из-за прудов, где находились деревни Глухово, Чернево и Воронки — по другую сторону Архангельского, тоже ударили пушки, но уже протяжно, раскатисто... В небесной вышине послышались глухие и частые хлопки снарядных разрывов. Глинский, запрокинув голову, рассмотрел в голубой дымке безоблачного неба, среди этих разрывов — проворно вспыхивавших юрких черно-серых комочков — тройку безмятежно плывших «юнкерсов». И тут же со стороны Москвы беззвучно, круто набирая высоту, устремились наперехват «юнкерсам» три истребителя.

Владимир Глинский одобрительным взглядом проследил за пронзавшими небо истребителями, пожалуй впервые не пожелав немцам успеха: ведь они угрожали Архангельскому, к которому он, граф Глинский, уже имел прямое отношение.

«Юнкерсы», видимо, заметили атаку советских истребителей, потеряли свою безмятежность и резко свернули с боевого курса...

— Ага, не нравится! — опять донесся голос откуда-то снизу.

Глинскому захотелось посмотреть на тех, кто там переговаривался, хотя и догадывался: это копавшие на дорожках ямы красноармейцы — кому же еще знать фамилию командира зенитного дивизиона?.. Однако взгляд его, скользнув поверх балюстрады, с которой уже были

сняты мраморные вазы, задержался на двух камуфлированных зданиях, высившихся за южной границей партера — огромного, как футбольное поле, газона... Неужели так подводит память? Ведь там, кажется, были цветник с фонтаном и две крупные фигуры — Геркулеса и Флоры,— за которыми, как и сейчас, виднелись в дымке заречные леса и перелески — пейзаж, почти не подвластный кисти никакого художника. А сейчас в том месте будто причалили к кромке берега и застыли на невидимой неподвижной речной глади два красавца титаника. Нет, титаники — не то определение... Только дворцы, возведенные в истинно классическом стиле прошлого века: с колоннадами на высоких гранитных постаментах, с окантовкой дверей из черного мрамора, с балконами балюстрадных фасонов. Оба здания, между которыми простерлась смотровая площадка, всем своим стилем, всем великолепием фасадов и торцовых сторон будто утверждали, что стояли они здесь вечно, вписываясь в красоту строений всего паркового ансамбля и искусно дополняя ее.

«Так это ж новые корпуса дома отдыха, где и размещается госпиталь!» — мысленно воскликнул Владимир Глинский, хотя никак не мог поверить в их современную рукотворность.

И он заторопился к ним, сойдя на левую сторону парка, чтоб пусть мимоходом, но успеть взглянуть на памятник Пушкину, на скульптуру «Скорбящего гения» и чтоб убедиться, живет ли еще рядом с гением трехствольная липа с одним корнем; он, Владимир, когда-то взбирался на нее и мастерил слабенькую удавку, намереваясь сыграть сцену повешения в отместку младшей из княгинь Юсуповых, не замечавшей его вздохов по ней...

20

Генерал Чумаков слышал близкую пальбу зенитных орудий, топот чьих-то ног в коридоре и на асфальтовой дорожке под открытым окном палаты. Он тоже мог бы подняться с постели и неторопливо выйти из госпитального здания, чтоб укрыться в ближайшей щели, которых было вокруг надолблено и закидано ветками хвои немало. Но не хотел даже пошевельнуться, будто находился в параличе, в летаргической отрешенности от всего окружающего. Он действительно был сейчас оглушен нахлынувшими на него мыслями, сомнениями, догадками, прочитав черновик письма покойного профессора Романова, адресованного Сталину. Черновик этот он обнаружил в бумажном кармашке, подклеенном к оборотной стороне последней обложки сафьянового переплета общей тетради, которую на днях привез ему из квартиры Романовых полковник Микофин.

Федор Ксенофонтович знал, что старик Нил Романов перед самой войной, прежде чем лечь в госпиталь, послал Сталину какое-то важное письмо и что в ответ последовал из Кремля телефонный звонок, приглашавший генерала Романова к Сталину для беседы. Однако Нил Игнатович уже не вышел из госпиталя... Чумаков полагал, что военный историк Романов в своем письме, как и в беседах с ним,

Чумаковым, набрасывал свои оперативно-стратегические концепции на будущую войну, высказывал предостережения с учетом немецких военных доктрин и давал советы, как достичь стратегически выигрышного положения на случай внезапной агрессии против СССР.

Но все оказалось до невероятности сложнее и неожиданнее. Федор Ксенофонтович, вспоминая свои последние встречи и беседы с покойным Нилом Игнатовичем, испытывал неловкость и даже обиду оттого, что тот излагал перед ним лишь небольшую часть из всего видевшегося в той военной драме, первые акты которой уже разыгрывались на аренах многих континентов.

Правда, Федор Ксенофонтович ощущал и удовлетворение, что в собственных недавних размышлениях и сам чуть-чуть приблизился к тревогам, томившим перед смертью Нила Романова. Он, генерал Чумаков, пусть без четкой ясности мысли, но ведь тоже думал о том, как бы все сложилось потом в мире, если б Красной Армии сразу же удалось отразить нападение на нашу землю фашистских полчищ и самой вторгнуться в глубь Германии и других стран Европы, находившихся в одной с ней военной коалиции?.. А профессор Романов в движении своих размышлений пошел куда как дальше, переступив, казалось, философские понятия — необходимость и случайность — как формы знания, отражающие процесс объективного мира. А может, и не переступив, если Сталин, получив его письмо, пожелал встретиться с ним?.. Или, возможно, Иосифу Виссарионовичу просто хотелось посмотреть на бесстрашного старого чудака, который предлагал ему советы, не содержащие во многом здравого смысла... А может, и содержащие?.. Или опирающиеся только на случайности, порождаемые нарушением объективно действующих законов? Ведь само имя профессора, доктора исторических наук Романова уже кое-что значило.

Нил Игнатович свое письмо Сталину начинал с утверждения абсолютной очевидности: непременно грядет, мол, военное столкновение миров двух социальных систем, в котором должен окончательно решиться вопрос «кто кого». Старый профессор доказывал, что время столкновения назрело, исходя в своем суждении из неожиданного аргумента. Он утверждал, что если после лука и копья люди за определенный отрезок времени пришли к нарезному оружию, пороху и моторам, то, по законам движения человеческой мысли и законам ускорения энергии познания, развитие военной техники будет возрастать; и сейчас человечество якобы достигло порога таких военно-научных открытий, что за ним уже саму войну как форму разрешения межгосударственных конфликтов или социальных самоутверждений будет вести бессмысленно, ибо она явится полным взаимоистреблением народов и их обиталищ. Сия истина, мол, прочно уяснена виднейшими учеными всего мира, в том числе и многими советскими учеными, хотя окончательно еще не решены некоторые непростые технические проблемы, связанные с созданием и применением нового вида оружия. И дальновидные политики ведущих капиталистических государств торопят своих правителей быстрее покончить с СССР не только как с революционизирующей весь мир державой, но и как с

опасным военным противником, военно-экономические потенциальные возможности которого грандиозно непредвидимы даже самим правительством этого загадочного социалистического государства.

Вникнув в смысл этих размышлений Нила Игнатовича, генерал Чумаков ухмыльнулся их некоторой, как ему казалось, скороспелости, далековатости от сегодняшнего дня, уже гремящего войной, и некоторой оторванности от классовой сущности противоречий внутри буржуазного мира. Но далее профессор стал раскладывать в письме историко-политический пасьянс, опираясь на свои знания истории войн со всеми их закономерностями, случайностями, гримасами, неожиданностями, с влиянием на ход событий тех или иных исторических или неисторических личностей. Нил Игнатович писал, что военный пожар полыхает, перекинувшись из центра Европы в страны Северной и Западной Европы, на Балканы, в Атлантику, Северную Африку и на Средиземное море. В Азии Япония душит Китай, стремится утвердиться в Индокитае. В целом около тридцати государств уже втянуты в орбиту войн...

Близится, мол, черед и Советского Союза. А поскольку Советский Союз единственное народное государство, то от него нужны, по мнению профессора Романова, и особые меры предосторожности. Старый военный историк советовал сделать все необходимое и предельно возможное для дальнейшего укрепления оборонной мощи Советского Союза, но при этом всячески демонстрировать Гитлеру наше миролюбие. Тем более что в СССР еще не было завершено перевооружение армии, не сформированы механизированные корпуса, промышленность только начала перестраиваться на военный лад, в стадии укрепления находился командный состав Красной Армии...

Несомненно, немецкая разведка об этом знает, и перед Гитлером стоит дилемма: нападать сейчас на Англию или на Советский Союз? Если на Англию, оставив СССР в покое, то через год-полтора Советский Союз укрепится до такой степени, что трогать его будет уже небезопасно. Гитлер это понимал. Вторгаться же одновременно в Англию и в СССР — от этого предостерегали уроки прошлого: война на два фронта приводила Германию к катастрофам. И сейчас Гитлер вместе со своим генштабом, по мнению Нила Игнатовича, томился в нерешительности. Ведь фашистская Германия уже добилась крупных военных успехов, последовательно оккупировав девять европейских государств и установив там нацистский «новый порядок»; в итоге этого Англия осталась без своих европейских союзников и была значительно ослаблена после катастрофы под Дюнкерком. Куда направить Германии свою дальнейшую агрессивную поступь?

Далее профессор Романов писал: «Высокочтимый Иосиф Виссарионович! Вам некогда тратить свое государственное время на чтение такой мерзопакостной книги, как «Майн кампф» Гитлера. Я же по долгу своей деятельности, своего призвания в науке вынужден был просмотреть ее — в оригинале. Не отвлекаясь ни на частности, ни на всеобщности, скажу главное: каннибализм — фундамент этой книги. Но сейчас — о том, что касается сегодняшнего дня. Гитлер в своей книге пишет:

«Не надо допускать до того, чтобы современные политические границы затмевали нам границы вечного права и справедливости... Конечно, никто не уступит нам земель добровольно. Тогда вступает в силу право на самосохранение нашей нации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чего нельзя получить добром, то приходится взять силой кулака... Приняв решение раздобыть необходимые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России...»

Чумаков, перелистнув страницу, подумал о том, что вряд ли Сталин не читал эти направленные против нас писания Гитлера.

«Для такой политики,— цитировал далее профессор Нил Игнатович Романов,— мы могли найти в Европе только одного союзника — Англию. Только в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы могли бы начать новый великий германский поход... Никакие жертвы не должны были показаться нам слишком большими, чтобы добиться благосклонности Англии...»

И еще далее Гитлер писал:

«Политику завоевания новых земель в Европе Германия могла вести только в союзе с Англией против России, но и наоборот: политику завоевания колоний и усиления мировой торговли Германия могла вести только с Россией против Англии...»

«Вы не хуже меня знаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что Гитлер навязывал тов. Молотову антианглийские переговоры во время посещения нашей делегацией Берлина. Вячеслав Михайлович с мудрой решительностью отверг их... Теперь Гитлер послал в Англию Гесса с миссией, тайну которой разгадает и младенец».

И профессор Романов убеждал Сталина не верить никаким миролюбивым заверениям Гитлера и никаким «доброжелательным» предупреждениям Черчилля, если таковые последуют. Черчилль жаждет войны Германии против СССР как спасения Великобритании не только от немецких бомбардировок, но и от погибели вообще и уповает на «благоразумие» Гитлера, который после освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию и после военного столкновения Советского Союза с Финляндией получил новый «повод» охаивать внешнюю политику СССР и восстанавливать мнение народов капиталистических стран против нас, надеясь, что завоюет симпатии к своей политике со стороны буржуазного мира. Следовательно, неотвратимо грядет нападение Германии на Советский Союз. И тут Гитлер допустит роковую ошибку: войну с СССР он проиграет... Должен проиграть... А вот если Германия нападет на Англию, потерявшую в Европе своих союзников, то скорое сокрушительное поражение последней неизбежно. Однако, по мнению профессора Романова, гибель Англии, возможно, грозит в будущем опасными последствиями и для Советского Союза.

Федор Ксенофонтович, казалось, даже задохнулся от столь неожиданного поворота мыслей профессора Романова и заторопился вопрошающим взглядом по угловатым строчкам письма, ощущая нетерпение скорее разобраться в главной его сути, убедиться, что в письме действительно не фантазии больного ученого, не абсурдные

мысли его воспаленного мозга, а наличие какого-то здравого смысла, постичь который он, генерал Чумаков, пока не был в силах.

Письмо читалось с трудом, ибо было правлено-переправлено; иные зачеркнутые фразы, казалось, противоречили вновь написанным; слова, заменяющие друг друга под пером Нила Игнатовича, в конечном итоге просветлялись, усиливая мысль и придавая ей отточенную завершенность.

В голове Федора Ксенофонтовича постепенно будто рассеивался мрак, он стал четче представлять себе все те военно-политические сложности, которые виделись и покойному профессору Романову во взаимоотношениях между скопищем европейских государств, оказавшихся под сапогом фашистской Германии или ощутивших жар от огня ее военных посягательств.

В итоге генерал Чумаков уже готов был согласиться со своим бывшим учителем и военно-научным наставником, видя в его суждениях, обращенных к Сталину, казалось, вполне здравый смысл.

А в письме Нила Игнатовича говорилось далее:

«...Подписав в 1939 году советско-германский договор о ненападении, Советское правительство лишило заправил империалистического Запада надежд на скорое военное столкновение СССР и Германии. Это был мудрый шаг правительства, предотвративший образование единого фронта империалистических держав против СССР. Но согласно договору, подписавшие его не должны участвовать в группировках, направленных против одной из договаривающихся сторон, хотя всему миру известно, что так называемый Берлинский пакт — тройственный военно-политический союз Германии, Италии и Японии — направлен непосредственно против СССР. Чутье подсказывает мне, что нынешние заправилы Финляндии тоже не смирились с поражением своей страны в столкновении с СССР... Найдутся у Гитлера и другие союзники в Европе — по причинам своей военной слабости, угодливости их правительств и страха перед своим пролетариатом.

Из всего вышесказанного следует: СССР не должен при наличии Берлинского пакта во всех отношениях выполнять условия договора с Германией и, если не поздно, вновь и вновь принимать срочные и активнейшие меры для создания антигитлеровского военного блока; его основой должны явиться СССР и Англия... Если делать это уже поздно, то надо приготовиться к военному противоборству с фашистской Германией немедленно... И вести себя таким образом, чтобы фашистская Германия не решалась нападать на Великобританию...»

Далее профессор Романов, анализируя военно-политические и географические условия, довольно убедительно доказывал, что если в этом году Гитлер бросит на Англию свои военно-морские и военно-воздушные десантные войска, то он, несомненно, без особых жертв захватит ее. Затем последует захват Германией Ближнего Востока и выход фашистских войск к нашему Закавказью — к Баку с его нефтеносными районами. И не может быть также никаких сомнений, что реакционные правительства Турции, Ирана, Египта немедленно пойдут на сговор с Гитлером... Не замедлит выступить против СССР и Япония... Таким образом, не исключена ситуация, что уже в 1942 году

Советский Союз, пусть окрепший в военном отношении, окажется в полном одиночестве против всего буржуазного мира. А он, буржуазный мир, покорно склонит голову перед военной мощью фашистской Германии и будет поступать по ее указке... Пока только трудно предугадать, как поведут себя Соединенные Штаты Америки...

И опять засомневался Федор Ксенофонтович: так ли все это?.. Да и слишком поздно послал это письмо Сталину профессор Романов — за несколько дней до начала войны... Зато сейчас есть возможность примерить суждения и оценки, содержащиеся в письме, ко всему тому невероятно сложному и кроваво-трагичному, что происходило в мире, особенно на советско-германском фронте...

В дверь палаты постучали, и тотчас она открылась. В дверях встал, прищелкнув каблуками и широко улыбаясь, Семен Микофин. Федор Ксенофонтович ахнул: он сразу заметил на Микофине генеральскую форму — большие с золотыми звездами угловатые петлицы на гимнастерке и красные лампасы на синих галифе.

— Разрешите представиться по случаю присвоения генеральского звания! — Глаза у Микофина светились довольством и озорством.

— Бог ты мой! Ослепнуть можно от такого великолепия! — воскликнул генерал Чумаков.

Семен Микофин своим аккуратным и обновленным видом напоминал двухцветный неподточенный карандаш. Даже заметно облысевший, выглядел он в генеральской форме как-то по-особому стройно, ладно, солидно и представительно, хотя улыбчивое, с глубокими морщинами у рта лицо его излучало прежнюю напускную строгость, за которой сквозила доброжелательность и доброта.

— Поздравляю, Семен! — Чумаков спустил ноги с кровати, не глядя нащупал ими тапочки и протянул Микофину руки для дружеских объятий.

— Федор, я к тебе по срочному и секретному делу,— прервал Микофин излияния радости Чумаковым.— Сейчас к тебе явится так называемый майор Птицын...

— Птицын?.. Знакомая фамилия.

— Ты передавал своей семье записку через него с фронта.

— А-а, помню! Был он у меня инструктором по подрывному делу, когда из окружения пробивались,— пояснил Федор Ксенофонтович.

— Был он у тебя немецким диверсантом! — огорошил Чумакова Микофин. Видя потрясенность Федора Ксенофонтовича, продолжил: — Шпиона ты приютил в своем штабе. Дал ему там респектабельно обжиться...— В голосе Микофина жестко просквозил упрек, а на лице со сдвинутыми бровями отразилось суровое неудовольствие.— Меня попросили предупредить тебя, прикрыть от случайности и... и, вообще, помочь закрепить бывшего графа на крючке наших контрразведчиков. За этим я и примчался, хотя своей работы по кадык.

— Они знают? — одеревеневшим голосом спросил генерал Чумаков, поняв, о сколь серьезном идет речь.

— Знают... Ты скажи мне, где ты выучился немецкому языку?

— В автобиографии я же писал: был в детстве батраком у немцев-колонистов на юге Запорожской области.

— Бестолково написал,— тревожно хмурился Микофин.— Все у контрразведчиков сбежалось сейчас вместе: признал тебя немецкий генерал Шернер, в твоем штабе свил гнездо абверовец, ты откуда-то знаешь немецкий...

— У тебя тоже есть сомнения? — Федор Ксенофонтович встал и одной рукой судорожно начал надевать на себя халат.— Ты в чем-то сомневаешься, Семен Филонович?..

— Я полагал, ты с Шернером в Испании познакомился...

— Да нет же! На киевских маневрах, когда он, тогда полковник чешской армии, ногу сломал. А меня временно приставили к Шернеру переводчиком.

— Вот как?! — заинтересованно удивился Микофин.— Я не знал этих подробностей. И вдруг встреча с ним на фронте?

— В плен он попал к нам...

— Ладно, доскажешь потом! — Микофин призывал генерала Чумакова к спокойствию.— Не надо одеваться! — И он, взяв у Федора Ксенофонтовича халат, кинул его на спинку кресла.— Сейчас постучится этот майор... Нам следует вести какой-то нейтральный разговор... Но чтоб не напугать его.— Микофин кинул взгляд на наручные часы: — Потом дежурный врач выдворит нас из палаты вместе с ним, а ты попроси меня, чтоб я подвез этого Птицына до Москвы... Он ведь добивается приема у полкового комиссара Лосика... Ну ты не знаешь... Кадровик из Главпуркка... Дальше — моя работа...

— Но как быть с подозрениями, павшими на меня? — Федор Ксенофонтович чувствовал в груди тошнотное теснение.

— С тобой — в норме. Пришлось показывать особистам личное дело, рассказать все то, что я знаю о твоей милости... Но тут, понимаешь, еще всплыли доносы на тебя этого Рукатова... Тоже пришлось наждаком пройтись по ним.

— Рукатов...— Чумаков горестно вздохнул.— Я убежден, что, если б подобные рукатовы не были уверены в нашей победе над фашистской Германией, они бы немедля бросились в объятия Гитлера... Рукатовым важно хоть на ступеньку подняться выше в своем воображении, а чья эта ступенька, что она значит — им наплевать.

— Верно мыслишь, Федор,— согласился Микофин.— Поднявшись даже на ступеньку выше в должности или в звании, иные вдруг начинают воображать, что предстали перед человечеством в новом обличье. Забывают, что разум, сердце, потребности у них те же... А пыжатся. Ну, верно, расширился круг обязанностей, ну, может, еще прав... И если при этом надо усиливать напряжение вещества за лобной костью, то не тщись расширить зад до границ кресла, которое тебе еще велико!..

В коридоре послышалось шарканье ног, и Микофин вдруг заволновался:

— Давай менять тему разговора! Ничем не выдай этому Птицыну своей осведомленности.

— Будь спокоен,— шепотом сказал Чумаков.

Но шум за дверью утих, а разговор двух друзей потерял прежнюю направленность.

— Что это у тебя? — спросил Микофин, указывая на лежавший на кровати поверх одеяла черновик письма покойного профессора Романова.

— Ты не читал?! — оживился Чумаков.— Интересно мыслит Нил Игнатович. Давай просвещу тебя!

Когда генерал Чумаков заканчивал читать письмо, дверь палаты без стука открылась, и уже по одному этому можно было догадаться, что вошел кто-то из медицинского персонала. Действительно, в проеме двери стояла в белом халате грудастая женщина с рыжими волосами, скупо выбивавшимися из-под белой косынки.

— Товарищ генерал,— обратилась она спокойно-милым голосом к Чумакову,— к вам еще один посетитель. Но... извините, через пять-шесть минут мертвый час, а потом процедуры. Так что на сегодня... извините.

Из-за ее спины выглядывал чуть растерянный «майор Птицын». Его взгляд как бы смотрел в пустоту, а крутой излом бровей будто выражал недоумение. Медсестра ушла, а «майор Птицын» все стоял в дверях, и Федор Ксенофонтович, заметив мешки под глазами на его продолговатом лице и подрагивание мягких ноздрей, угадал страх в сердце диверсанта, растерянность перед двумя генералами и поспешил ему на помощь:

— Майор, это вы?..

— Так точно! Майор Птицын! — Он с какой-то детской радостью вошел в палату.

— Вы тоже в этом госпитале?

— Никак нет! — И «Птицын» сжато рассказал свою одиссею, происшедшую после того, как расстались они на вокзале в Могилеве.

— Ну, рад вас видеть,— с видом искренности сказал Федор Ксенофонтович.— Посидите, мы закончим читать один документ...— И Чумаков продолжил читать письмо профессора Романова, уже про себя потешаясь над тем, с каким вниманием вслушивался в каждую его фразу «майор Птицын», полагая, что присутствует при открытии тайны тайн.

Генерал Микофин как бы угадал внутреннее состояние Чумакова и, когда тот закончил читать письмо, с видом большого глубокомыслия заключил:

— В своем письме товарищу Сталину профессор Романов запутался в трех философских соснах. А сосны эти растут на утесе, с которого мы с тобой, Федор, в академии ныряли в волны диалектического материализма и не раз ломали шеи. Я имею в виду наши мудрствования о случайности как проявлении закономерности. Помнишь, ставили, например, вопрос: случайно ли, что родился Наполеон и именно на острове Корсика, откуда бежал во Францию?..

— Да нет же! — возразил Чумаков.— Тут о более конкретном.

— Это так тебе кажется. Старик Романов часто забывал, что необходимость «образуется» из массы случайностей. По Энгельсу,

в природе и в обществе случайное необходимо, а необходимое так же случайно. Но случайность всегда подчинена внутренним, скрытым законам...

«Майор Птицын» ничего не успел выудить для себя из этого философского диалога, как в дверях появилась уже знакомая рыжеволосая медсестра и строго изрекла:

— Товарищи военные, прошу прогуляться на воздух... Я имею в виду гостей.

— Семен Филонович,— обратился Чумаков на прощание к Микофину,— ты, надеюсь, на машине?

— Разумеется. Эмка ждет.

— Подвези майора Птицына до Москвы.

— Пожалуйста. Приглашаю, товарищ майор...

По дороге в Москву граф Глинский получил от генерала Микофина записку к полковому комиссару Лосику с просьбой направить «майора Птицына» в действующую армию на должность начальника издательства армейской газеты. Все происходило точно по плану, разработанному армейскими контрразведчиками, цепко державшими под наблюдением абверовского диверсанта.

21

Под рассекающий, направленный на Смоленск удар танкового клина немцев посчастливилось не попасть поредевшим частям мотострелковой дивизии полковника Гулыги. Поспособствовал этому раненый генерал Чумаков. Узнав в Смоленске от начальника гарнизона полковника Малышева, что городу угрожает реальная опасность захвата немецкими моторизованными частями, он тут же послал к полковнику Гулыге гонца с письменным приказом пробиваться из вражеского тыла не на север — к Смоленску, а на юго-восток. Но если бы этот приказ — хоть днем раньше!.. А гонцом был, на свою беду или на счастье, младший политрук Миша Иванюта.

Миша обзавелся в смоленской военной комендатуре автоматом, биноклем, немецкой плащ-накидкой и мощным трофейным мотоциклом «БМВ» с коляской. Взяв у полковника Малышева «мандат» — справку, в которой значилось, что ее обладатель выполняет важное задание, положив в коляску пачку листовок со сводками Совинформбюро и канистру с горючим, он на ночь глядя умчался по Краснянскому шоссе на юг. Это была немыслимо тяжкая поездка — навстречу нашим обозам, автоколоннам, толпам беженцев и раненых красноармейцев. А перед деревней Хохлово, в которой уже шли уличные бои, пришлось по бездорожью уклониться к Днепру, чтоб не столкнуться с немцами.

Выручало Мишу знание местности на десятки километров вокруг Смоленска, особенно знание днепровских берегов. Он вел мотоцикл, не включая фары, через хлебные поля, слыша, как дробно барабанили по металлу коляски переспелые зерна ржи или пшеницы, пробивался сквозь густую и блеклую голубизну льнов, податливо никших под

колесами мотоцикла, мчался по слабо проторенным полевым дорогам и по случайным тропинкам. Неуютно чувствовал себя под ночным небом. Оно озарялось вокруг вспышками ракет, пронзалось пулеметными строчками трассирующих пуль, полыхало багрянцем далеких и близких пожаров; казалось, война заполонила все пространство. А Иванюта ехал и ехал, не нарываясь пока ни на врага, ни на своих, которых при его амуниции и вооружении тоже надо было опасаться. Дважды Мишу обстреляли, когда преодолевал он колдобины на гребне заросшего мелколесьем темного оврага. Но уловил только взвизги пролетевших над головой пуль, а выстрелов не услышал.

Если сказать честно, то Мише было не по себе. Он боялся близившегося дня, когда будет виден с больших дорог, страшился неожиданно оказаться в расположении немцев. И не только потому, что политработников и коммунистов фашисты расстреливали на месте. Плен — это конец всему... И в то же время острое ощущение опасности и важность задания, которое выполнял Миша, как-то по-особому возвышали его в представлении о самом себе, рождали гордое довольство тем, что он вот так, в одиночестве, пробирается по территории, дороги и населенные пункты которой запружены врагом, рискует жизнью, подавляет в себе унизительный страх, непрерывно испытывая готовность вступить в бой и, если другого выхода не будет, не пощадить себя. Удивительно, что, когда в прошлом году их курсантский батальон где-то в этих местах проводил тактические учения и он, Миша, во главе взвода подползал в ночную темень к траншее условного противника, ему тоже казалось, что совершает он нечто героическое, от чего испытывал боевой азарт.

В сущности, и тогда, и сейчас в Мише Иванюте действительно пульсировала неутолимая жажда приключений, подвига, желание совершить нечто такое, чтоб все удивились этому, а он, Миша, чтоб тайно от всех, с видом безразличия испытал то чувство, которое возвеличивает молодого человека в собственных глазах, делает его взрослее, серьезнее и очень нужным для всего уклада армейской жизни.

Миша ехал почти до рассвета, пока не почувствовал, что мотоцикл плохо слушается его, а глаза слипаются от сна. И он, оказавшись на краю глубокого, заросшего крушинником оврага, остановился, беспомощно огляделся вокруг и увидел невдалеке черневшие шапки стогов сена. Подъехал к одному из них, несколькими охапками забросал мотоцикл и улегся на повлажневшую за ночь луговую овсяницу, смешанную с житняком. И будто родной Украиной повеяло на него от этих с детства знакомых духмяных трав.

...Проснулся Миша от гула бомбежки. Вскочил на ноги, почувствовав во всем теле непрошедшую усталость и ломоту в пояснице. Первое, что увидел,— молочный туман над недалеким оврагом и над лужайками между стогами сена. Казалось, что кто-то расстелил рваную, сотканную из белесой паутины полупрозрачную кисею. Глядя на это волшебство в природе, он на мгновение позабыл о притихшей, будто приснившейся, бомбежке, не в силах ни двигаться, ни мыслить. Но тут же к его слуху прикоснулся приглушенный далью шум моторов, и он увидел

в той стороне, куда должен был продолжать путь, темную опояску леса, а над ним, в блеклом наливающемся солнцем небе, стайку круживших и пикировавших на какую-то цель самолетов; издали они казались черными летающими крестиками.

Достав из планшетки карту, Миша развернул ее, но она была для него немой: он не знал, в каком месте находится, и сориентироваться не мог. Оглянулся назад и увидел за краем сбегавшего в овраг кустарника далекую излучину реки... Днепр?.. Поразмыслив, еще раз всмотрелся в карту и прикинул в уме, сколько он мог проехать за короткую июльскую ночь по полям и оврагам, пригляделся к цветной шкале высот на нижнем срезе карты и решил, что утро застало его примерно в тех местах, где уже можно искать части дивизии полковника Гулыги. Впереди, если верить карте, был зажат высотами один из притоков Днепра с бесчисленными изгибами, поворотами и заросшими лозняком берегами. Не исключено, что там, за лесом, переправлялась через приток какая-то наша воинская часть, оттесненная с ведущих на Смоленск дорог, и немецкие самолеты бомбили ее.

Через минуту младший политрук Иванюта вновь вел своего трофейного «коня», держа направление туда, где кружили в небе вражеские самолеты. Ему пока сопутствовала удача: он наткнулся на идущую в сторону от Днепра полевую дорогу и поехал быстрее, хотя холодок страха, когда дорога куда-то поворачивала, тиранил его сердце, заставлял останавливаться, прислушиваться и прикладывать к глазам бинокль.

Вскоре лес расступился, и Миша выехал на широкую прогалину с болотцем посередине, на котором густо зеленела осока и курчавились редкие кусты ольшаника. Дорога ровно пересекала прогалину, перемахивая через болотце по плотному жердевому настилу из стволов молодых березок. Миша внимательно осмотрел в бинокль настил, противоположную опушку леса и увидел сгоревший грузовик на обочине дороги при въезде в лес. Что-то чернело и за ольховым кустом в болотце.

Было тревожно. Где-то впереди татакали пулеметы, стреляли пушки. А здесь — пустынность и настораживающая, чем-то угрожающая тишина. Но делать было нечего, и Миша решил на полном ходу перемахнуть через прогалину... Когда оказался на середине жердевого настила, то за ольховым кустом увидел перевернутую телегу с впряженной в нее убитой лошадью. Тут же у телеги лежали два мертвых милиционера. Их окровавленные синие гимнастерки были густо облеплены мухами. Чуть дальше, в осоке, краснела косынка на голове убитой молодой женщины.

Остановив мотоцикл, Миша осмотрелся. Воронок от бомб нигде не было видно. Значит, «мессершмитты» прихватили телегу на открытом месте... Затем внимание его привлекли продырявленные пулями небольшие парусиновые мешки, вывалившиеся из телеги на покрывавший их брезент. На некоторых мешках виднелись крупные свинцовые пломбы с гербовыми оттисками, а из одного, наискосок рассеченного пулей, выпали на примятую осоку какие-то пачки в обертках с красными полосками...

«Деньги! — обожгла Мишу мысль.— Огромное количество денег!» Сроду он не видел подобного.

Сойдя с мотоцикла, Миша приблизился к телеге.

«Государственный банк Белорусской ССР»,— прочитал черную, будто выжженную, надпись на приклеенной к верхнему мешку белой картонке. С оторопью и даже со сбоем дыхания посмотрел на распоротый мешок: пухлые пачки сотенных купюр, крест-накрест обклеенные краснополосой бумагой... Мишу некстати обожгли мысли о своем убогом прошлом, и спазм сдавил горло от вдруг родившейся жалости к самому себе. Вспомнилась беспросветная сиротская нужда, которую всегда испытывал, вспомнил, как в летние каникулы зарабатывал себе на школярскую одежду, на столь желанный в пору юношества белый костюм из льняной рогожки... Мелькнуло в памяти, как продавал на толкучке купленное ему вскладчину братом и сестрой пальто: Миша получил повестку о призыве его в армию и избавлялся от пальто, как уже от ненужной вещи, горячо мечтая купить на вырученные деньги наручные часы... Первые часы в его жизни! Но потом их пришлось продать, ибо призыв на армейскую службу отложили до поздней осени и ходить без пальто уже было невозможно... Или жалкие сорок рублей курсантского довольствия, которые скупо тратил в училищном буфете на ситро и белые булочки. Мелькнула мысль, что не успел он получить и свою первую зарплату; в кармане у него завалялось несколько мятых трехрублевок... А здесь несметное богатство!.. И мертвые люди, спасшие его от врага.

Что же ему делать? Миша оглянулся в сторону мотоцикла, ища ответ на со всей очевидностью вставший перед ним вопрос и уже наперед зная этот ответ. Выбросить из коляски объемную пачку листовок со сводками Совинформбюро? Ведь устарели последние известия?.. Нет! «Литературу отправлять на фронт срочно, наравне с огнеприпасами!» — вспомнилось ему читанное правило времен гражданской войны...

Да, не бывало такой ситуации, из которой бы он, младший политрук Михайло Иванюта, не находил выхода! Не зря в училище иногда дразнили его «хитрым хохлом»... Взгляд упал на ременные вожжи. Тут же проворно и умело отделил их от остальной конской упряжи, а потом начал плотно втискивать мешки с деньгами в коляску мотоцикла, укладывать и крепить их на заднем сиденье, на плоском топливном баке и поверх коляски, используя как опору приспособление для зажима ручного пулемета. Вожжами плотно привязал мешки к мотоциклу, и трехколесная машина превратилась в ни на что не похожее чудище с проемом для водителя над передним сиденьем.

Миша уже собрался было заводить мотор, как ему вдруг подумалось: если он наткнется на чужую воинскую часть, то его ведь могут принять и за грабителя банка. Вполне могут!.. И даже весело стало Мише от этой здравой мысли, которая как бы повернулась к нему и другой стороной: а если бы эти деньги в самом деле оказались личной его собственностью?.. Что бы он стал с ними делать? Но размышлять было некогда...

От убитых уже несло тошнотным трупным запахом. В полевых сумках милиционеров никаких документов, относящихся к деньгам, не оказалось. А ведь должны быть! Без них Мишу действительно могли заподозрить в недобром деле. В коричневом ридикюле погибшей женщины он нашел засургученный пакет с надписью: «Денежное поручение на сумму...» У Миши даже зарябило в глазах от нулей...

Хороший мотоцикл сработали немцы. Пусть низко просела под большой тяжестью подвеска, пусть перегруженная коляска временами опасно кренила машину, но «БМВ» послушно шел вперед, плавно переваливался через корневища, выпиравшие из земли на лесных дорогах, взвывал мотором на заболоченных участках. Упершись грудью в кипу на топливном баке, Миша с трудом дотягивался руками до руля. Он был прикрыт почти со всех сторон непробиваемой пулями защитой из плотных пачек бумажных денег. Это его несколько и ободряло, но опасность все-таки подстерегала младшего политрука на каждом шагу, и к тому же он помнил, что выполняет важное задание генерала Чумакова — удивительного человека, за которого он, Миша Иванюта, готов положить голову. Где он сейчас, генерал Чумаков? Где Колодяжный, Жилов, Рейнгольд?..

То ли читал где-то, то ли от кого-то слышал Миша, что нет печальнее чувства, чем чувство одиночества сердца. Будто и нарочитая красивость звучит в этих словах, ибо ведь сердце действительно одиноко в груди, и в то же время слышится в них правда, так как не всегда это одиночество сердце ощущает, особенно если рядом с тобой дорогие тебе люди, родные души, понятные и благородные натуры.

Хотя мотоцикл нес его дальше через лес, Мише все чудился тошнотный запах от погибших милиционеров. Может, поэтому он так торопился там, когда обыскивал их, чтоб найти какие-то сопроводительные документы на деньги, груженные в телегу. Да, а почему деньги везли в телеге?.. Чтобы легче пробиться на восток через леса и болота?.. Возможно... Так вот, что-то сдерживало тогда Мишу: забрать с собой, как полагалось, удостоверения личности и партбилеты погибших, а у убитой женщины — паспорт. Забрать — значит сделать их неизвестными... К тому же он не мог, не имел времени похоронить трупы, да и не было чем выкопать могилу, не из чего поставить на ней знак, чтоб действительно не оказались эти, пусть и чужие ему люди, бесследно исчезнувшими из жизни. Кому-то другому придется хоронить их — он в это верил: скоро отодвинется война на запад, он тоже в это верил, и можно будет воздать должное тем, кто отдал жизни как герои или как невинные жертвы войны.

Скорбные его мысли перекинулись на самого себя. Кажется, впервые столь реально подумал он о том, что ведь тоже может, как уже много раз мог, лишиться жизни внезапно, неожиданно — от вражеской автоматной очереди, от выстрела из-за любого куста... Этот выстрел мог последовать и по злой воле дезертира (встречались и такие), которому потребуются хотя бы этот трофейный мотоцикл, оружие, чужие документы.

Вот тут-то, на влажной дороге, в тряске мотоцикла и в оглушающем рокоте его мотора, в мрачности и пустынной таинственности леса,

Миша понял, что чувство одиночества сердца — это не пустые печально-красивые слова, а ощутимая тяжесть души, тоскливое теснение в груди, когда жизнь кажется натянутой до предела и любой звук, любая неожиданность способны откликнуться смертным холодом во всем теле. Его нервы, о существовании которых Миша редко, по своему беспечному нраву, вспоминал, были наструнены до окаменения мышц, в его мыслях виделись убитые милиционеры и та милая женщина, из ридикюля которой он изъял банковские документы.

Злой прихотью воображения Миша Иванюта переносился на их место, мысленно видел себя растерзанным вражескими пулями или осколками, представлял, как чужие люди хоронят его в безвестной братской или одиночной могиле, холмик которой со временем сровняется с окружающей местностью, и никто никогда не узнает, куда исчез младший политрук Миша Иванюта, где именно оборвалась его хлопотливая жизнь, никто не задумается над тем, что перед ним, Мишей, простирались в мечтах заманчивые дороги, что его фантазия обуревалась неохватными и радужными перспективами... И вдруг... ничего... Будь проклят фашизм, будьте прокляты те, кто двинул орды захватчиков на советскую землю!..

Нет, смерть не для Михаила Иванюты! Он еще поборется за жизнь — за свою собственную и за жизнь тех людей, с которыми судьба побратала и еще побратает его... Только не оказаться бы жертвой злого случая...

А злой случай, как дурной сон, уже караулил Мишу Иванюту, ждал его впереди, где полковник Гулыга группировал в единый кулак сильно поредевшие части и подразделения своей обескровленной дивизии. Полковник надеялся сбить немцев с магистрали Хиславичи — Смоленск и, как вначале было приказано Чумаковым, продолжить отступление к Смоленску, которое должна была прикрыть обреченная на погибель артиллерийская группа под командованием майора Быханова при поддержке сводной пулеметной роты.

На один из полевых караулов, которые окольцевали разбросанные в овражистом лесном массиве остатки частей полковника Гулыги, Миша наткнулся после того, как удачно пересек захваченное немцами Краснянское шоссе, перемахнул еще через какие-то дороги и переправился по хлипкому мостику на речке Вихра.

Как и полагалось, полевой караул, когда Миша объяснил часовому сторожевого поста, что не знает и не мог знать пароля (пропуска), отконвоировал его к начальнику полевой заставы. Начальником оказался знакомый Мише командир мотострелковой роты одного из полков дивизии — старший лейтенант со звучной фамилией Вышегор. Он действительно отличался высоким ростом, лицо у него было тощее и скуластое, небольшие серые глаза смотрели остро и недоверчиво. Вышегор был тяжело усталым и заспанным. Признав в Мише политотдельского младшего политрука и услышав от него, что везет он полковнику Гулыге важный приказ от самого генерала Чумакова, а также доставляет в штаб какой-то очень ценный груз, приказал

вернуть ему автомат, наган и показал по карте, где искать полковника Гулыгу.

Миша продолжил на мотоцикле путь, уже точно ориентируясь при помощи топографической карты на местности. Через десяток минут езды Иванюта свернул с полевой дороги в лес, увидев там среди деревьев крытые штабные машины. Подрулив к бронеавтомобилю с антенной, догадываясь, что на нем ездит полковник Гулыга, Миша остановил мотоцикл и отдал честь первому, кого увидел из знакомых — рыжеусому капитану Пухлякову, начальнику особого отдела дивизии, который сидел на пне и что-то писал в блокноте. Пухляков обрадованно поднялся ему навстречу, подкрутил вверх усы и дружески стиснул руку. Затем не без профессионального интереса спросил:

— Ну где ты, пан Иванюта, пропадал, если не секрет?

— Секретов никаких,— беспечно ответил Миша.— А рассказывать есть о чем: даже не поверите.

— Так рассказывай, не томи!

— Надо вначале приказ генерала Чумакова вручить. Лично полковнику Гулыге.

— Дайте старику поспать! — вмешался в разговор проходивший мимо майор Рукатов, услышав фамилию командира дивизии — своего тестя.

— Приказ экстра-срочный! — не без рисовки уточнил Иванюта.

— Ну тогда иди и сам растормоши его, если такой храбрый! — насмешливо подзадорил Мишу Рукатов.— Полковник после бомбежки действительно спит мертвецким сном.

Затем Рукатов обратил внимание на скособочившийся под грузом мотоцикл Иванюты, обошел вокруг него, а капитан Пухляков спросил у Миши:

— Сухой паек привез для штаба?

— Если сухая колбаса, то это дело.— Рукатов засмеялся.— Одной вяленой сосиски, если грызть ее в пешем строю, хватает на три километра.

Миша снисходительно хохотнул на пустые догадки начальства и, предвкушая то впечатление, какое сейчас произведет на всех своим сообщением, самодовольно сказал:

— Это, товарищи командиры, не что иное, как советские деньги... Каждый мешок набит пачками сотенных бумажек! — И коротко объяснил, как все было с деньгами.

— Ну, младший политрук! — крайне изумился капитан Пухляков, ощупывая привязанные к мотоциклу парусиновые мешки.— Придется о тебе докладывать аж в Москву. Как пить дать, получишь боевой орден.

— А это что? — спросил притихший и даже побледневший от непонятного волнения Рукатов, указывая на мешок, из которого сквозь рваную продолговатую дыру выпирали, став торчком, плотные пачки денег.

— Пуля, наверное, распорола,— беспечно ответил Иванюта, закуривая папиросу из пачки «Казбек», дружелюбно протянутой ему Пухляковым.

На выцветших до серости петлицах Рукатова прямоугольников не было, а виднелись только по три менее выцветших следа от них — свидетельство о недавнем его разжаловании из подполковников в майоры. Он еще раз обошел вокруг мотоцикла, пощупал выпиравшие в дыру пачки и, будто про себя, сказал:

— Так, говоришь, пулей распороло?

— Не осколком же,— простодушно ответил Миша.— Вокруг телеги не было ни одной воронки.

— Зачем же ты его, дырявого, сверху положил? — И Рукатов похлопал ладонью по грубotканой хребтине мешка.

— Последним оказался под рукой.

— Ага, последним? — Рукатов пытался придать своему голосу ласково-ерническую интонацию. В словах его будто звучало доброжелательство к Мише. Он подошел к Иванюте вплотную, дружески положил руку на его плечо и с пытливой остротой посмотрел ему в глаза: — Сознайся, младший политрук, припрятал себе несколько пачек? — Он указал глазами на полевую сумку Иванюты. Затем спросил еще: — Или где-нибудь в глухом местечке закопал мешочек? А-а?.. На авось...

Мише показалось, что жизнь вокруг внезапно оборвалась, погрузив его в мерзкую тишину. Мерзкую и даже померкшую от того, что его будто ударили по лицу, плюнули ему в глаза, в душу, в самое сердце. Вопросы и подозрения Рукатова были тем более обидны для Иванюты, ибо, когда по пути сюда он вспоминал свое нищенское прошлое, в нем действительно где-то зрела гаденькая мысль: не взять ли себе пачку денег на случайные расходы в вознаграждение за то, что он спасает целые мешки? Но не позволил созреть этой мысли до конца, с содроганием устыдившись ее и окатив себя в душе ругательными и презрительными словами... А тут вдруг ему в глаза, прямо и откровенно, высказывают гнусное подозрение...

— Сука-а! — противным, сиплым голосом заорал Иванюта и, схватив Рукатова за грудки, встряхнул его. Но Рукатов был телом поувесистее Миши, и он, Миша, почувствовав недостаток сил в своих руках, охваченный яростью, вдруг остервенело залепил Рукатову оглушительную оплеуху, от которой тот отлетел на несколько шагов.— Сука!.. Сволочь поганая! — В хриплом голосе Миши сквозила душевная боль и звучал страх, что он осмелился поднять руку на старшего по воинскому званию начальника, а это значило — совершил преступление.— Думаешь, все такие, как сам?! Думаешь, не видим твоей гадкой трусости, твоего симулянтства под крылышком тестя?! — Миша, оказывается, откуда-то знал «родословную» Рукатова.

Рукатов с искаженным злобой лицом кинулся на младшего политрука, выхватил из кобуры пистолет. Миша тоже ухватился за наган, к великому своему счастью позабыв, что на груди у него наготове к бою висел немецкий трофейный автомат.

Все произошло так неожиданно и так невероятно по своей сущности, что капитан Пухляков, находясь тут же рядом и будучи спортсменом, не успел схватить за руки Иванюту, зато сумел ногой выбить

у Рукатова пистолет, опередив на долю секунды выстрел из него, который, вероятно, должен был оборвать Мишину жизнь.

Пистолет Рукатова, вышибленный из его руки Пухляковым, отлетел в сторону, ударился в темный ствол старой ели и, вновь вставший, как и должно быть, после выстрела на боевой взвод, выстрелил от удара опять... И тут же в кузове недалекой машины кто-то истошно закричал: очередная пуля все-таки нашла себе безвинную жертву.

Откуда-то из глубины леса прибежали полковник Гулыга и подполковник Дуйсенбиев. Оба заспанные, с усталыми до черноты и небритыми лицами. Сбегался к месту происшествия штабной люд.

Ни Рукатов, ни Иванюта не были в состоянии объяснить что-либо: их обоих еще колотило от бешенства. Сбивчиво рассказал начальству суть происшедшего капитан Пухляков.

— Дурачье, дурачье...— горестно качал головой полковник Гулыга.— Военному трибуналу даете работу...

— Товарищ полковник, я доставил вам приказ генерала Чумакова,— наконец доложил чуть пришедший в себя младший политрук Иванюта. Он достал из полевой сумки маленький пакет и передал его Гулыге.

Потом Мишу опять окатила волна ярости. Он суетливо снял с себя снаряжение с полевой сумкой и вытряхнул из нее все содержимое на траву: блокнот, карту, карандаши, опасную бритву, мыло... Затем вывернул карманы брюк.

— Смотри, мерзавец, и запомни! — вновь с буйной злобой накинулся он на Рукатова.— Политработники Красной Армии не воруют у государства. И вообще не воруют! А деньги — вот они! — Миша достал из нагрудного кармана гимнастерки две трехрублевые бумажки. Из второго — партбилет и удостоверение личности.

— Не хорохорься, младший политрук,— уже миролюбиво обратился к нему полковник Гулыга, всматриваясь в бумагу — приказ генерала Чумакова.— Какое ранение? — тут же обратился он к троим бойцам, снимавшим с кузова грузовика раненного шальной пулей связиста.

— В плечо, товарищ полковник! Серьезное! — бойко ответил один из красноармейцев.— Сейчас мы его снесем на перевязочный.

Полковник Гулыга, прочитав приказ и не подозревая, что он уже не изменит отчаянного положения дивизии, передал его начальнику штаба Дуйсенбиеву.

— Задача наша меняется коренным образом,— сказал он.— Собирайте наличный руководящий состав, а мы тут посоветуемся, что делать с этими глупыми драчунами.

— Товарищ полковник, я протестую,— мрачно и не очень уверенно сказал Рукатов.— Какая же тут драка? Это чрезвычайное происшествие!.. Более того, преступление: младший по званию ударил старшего по званию!

— А старший по званию не только заподозрил политработника в воровстве, но и пальнул в него из пистолета! Это не чрезвычайное происшествие? — Миша Иванюта уже несколько успокоился и надевал на себя полевое снаряжение.

— Оба хороши,— ответил Гулыга, мучительно размышляя над тем, что ему сейчас предпринять.

Решение принималось без участия младшего политрука Иванюты — зачинщика драки. Гулыга, Рукатов и Пухляков отошли в сторону от машин, и после короткого раздумья полковник вымученно сказал:

— Война, гибнут тысячи, землю свою оставляем, а вы гонор показываете... Глупцы... А вы, капитан, виноваты, что дали разгореться ссоре,— обратился Гулыга к Пухлякову.

— Виноват, товарищ полковник. Я и опомниться не успел, как они сцепились... Но теперь на мне вина, что выбил из руки Алексея Алексеевича пистолет, а он бабахнул в спящего красноармейца.

— Хорошо, что не бабахнул в этого желторотого — в Иванюту,— хмуро заметил Гулыга.— Пришлось бы тебе, Алексей, головой расплачиваться.

— Ошибаетесь! — зло ответил Рукатов.— Я принимал меры самозащиты.

— Не надо было бросать дурацких обвинений! — чуть возвысив голос, сказал капитан Пухляков.— За такое каждый честный человек по морде врезал бы! Я, во всяком случае, тоже...

— Сейчас легко быть умным,— уныло буркнул Рукатов.

— Так вот! — начал подытоживать разговор Гулыга.— Виноваты вы все трое... Случившееся предлагаю оставить пока без последствий — до будущих времен. А там война подскажет нам выход. Деньги надо немедленно под усиленным конвоем отправить в штаб фронта или сдать финансистам штаба любой армии, какая окажется поблизости. Возглавить группу сопровождения приказываю майору Рукатову... Делать вам, Алексей Алексеевич, в нашем штабе после этого позорного мордобоя нечего. Тем более что у вас не прошла контузия.— Затем Гулыга обратился к капитану Пухлякову: — Группу охраны поручаю подобрать вам, товарищ капитан... Деньги везти на повозке.

— Хорошо,— согласился Пухляков. Затем, извинительно глядя на Гулыгу, сказал: — Только я, товарищ полковник, обязан обо всем случившемся доложить радиошифровкой своему руководству: у нас так принято.

— Тогда начнется разбирательство? — встревожился полковник Гулыга, кинув укоризненно-сочувственный взгляд на Рукатова.

— Полагаю, что мы с вами уже провели разбирательство,— миролюбиво произнес Пухляков.— И приняли правильное решение. Я так и доложу...

Когда полковник Гулыга и майор Рукатов остались в отдалении от машин, среди леса, вдвоем, полковник сказал Рукатову:

— На деньги кроме имеющихся сопроводительных банковских документов составим акт... Если исчезнет хоть одна банкнота — не пожалею и тебя — отца моих внуков...

— Батя, вы обо мне слишком плохо думаете.

— Нет, я просто знаю, что легкодоступные ценности часто рождают зло, проливают кровь. Сегодня чуть это уже не случилось... И боюсь, что эта история еще будет иметь продолжение. Особист ведь собирается доносить начальству.

— Я ничего не боюсь: защищался от нападения малахольного.— Рукатов прикоснулся к кобуре с пистолетом.— А сейчас надо думать о главном: как вырваться из вражеских клещей.

— Вот тебе, Алексей, я и даю возможность выбраться. Во имя твоих детей и моих внуков. И не обижай там Зину... А то доходили до меня слухи, что ты по молодым бабенкам шастал.

— Глупости! Зина ведь не старуха... Вы сейчас заботьтесь о том, как не подставиться под удар немцев.

— Боюсь, нам ничего уже не поможет... А ты с телегой и конвоем пробьешься через леса и болота.

— Так, может, давайте все вместе... Проложим по карте маршрут, чтоб не сталкиваться с противником,— предложил Рукатов.

— А технику сжечь? И это когда еще есть горючее?.. А с артиллерией что делать? — В глазах полковника Гулыги были укор и страх.— Нет. Не желаю позора. Будем таранить немецкие заслоны до последних сил... Только при явно безысходном положении отдам всем на свой риск приказ пробиваться на восток мелкими группами или переходить на положение партизанских отрядов. На Смоленщине, в тылу врага, уже зашевелилось наше подполье.

— Сейчас трудно судить, что лучше, а что хуже. Главное — сносить голову и не попасть под трибунал,— уныло сказал Рукатов.

— Вот такую задачу я и ставлю перед тобой. А у меня — как получится. Я сейчас в ответе за всех.

22

Вечер пожинает плоды утренних глупостей. Именно об этом уже не впервые размышлял, горько досадуя на себя, майор Рукатов. Сейчас он лежал на расстеленной плащ-палатке рядом с груженной деньгами, покрытой зашнурованным брезентом телегой, держа при себе наготове ручной пулемет. Поблизости, в высокой траве, паслась пара упитанных пегих лошадей, позванивая неснятой сбруей и пофыркивая от лезших в ноздри комаров.

Да, сглупил он, связавшись с этим занозистым младшим политруком Иванютой. Но откуда ему было знать, что в таком сереньком с виду пареньке столько бешенства?.. А могло ведь случиться непоправимое, если б не капитан Пухляков. Застрели он сгоряча Иванюту, сплели бы это обстоятельство воедино с понижением его, Рукатова, в воинском звании за якобы «состряпанное клеветническое дело» на генерала Чумакова, и приговор военного трибунала Рукатову был бы беспощадным...

Где-то на востоке приглушенно взревывали пушки, а по недалекой дороге за болотом все шли и шли на северо-восток колонны немецких

машин и тягачей с пушками, скрипели колесами нескончаемые обозы, грохотали и лязгали гусеницами танки. Туда, в сторону дороги, и выставил два секрета майор Рукатов — троих бойцов с автоматами и одной снайперской винтовкой. Парный и одиночный секреты замаскировались на удалении метров ста пятидесяти от груженной деньгами телеги и уже третьи сутки кормили там комаров.

Ни полковник Гулыга, ни подполковник Дуйсенбиев, прокладывавшие маршрут Рукатову, не могли предполагать, что начертанная ими ломаная красная линия на топографической карте, по которой Рукатов должен был провести пароконную телегу, пролегала через самый горячий район близившихся с юга к Смоленску боевых действий, куда сейчас выдвигался вражеский 24-й моторизованный корпус.

Скверно было на сердце у Рукатова: будто опился отравы. Томили недобрые предчувствия. С досадой все возвращался мыслями к драке с Иванютой и к тому, что о деньгах узнало великое множество людей и слух об их появлении в расположении штаба дивизии прокатился по окруженным частям и подразделениям, как сплетня по деревне. Капитан Пухляков, надо полагать, подобрал для конвоирования повозки с деньгами надежных парней... Там, в штабе, все они казались и Рукатову надежными. А здесь, в нескольких сотнях метров от дороги, по которой движется враг?! Случайно ли сегодня раз-другой поймал Рукатов на себе странный взгляд сержанта Косодарина — одного из троих приданных ему сопровождающих охранников, или «конвойных», как выразился капитан Пухляков, давая всем им напутствие.

Также обратил внимание на острые взгляды Косодарина в сторону телеги и молодой красноармеец Антон Шелехвостов. Редкой силищи здоровяк с пудовыми кулаками и широченной спиной, он, Шелехвостов, однажды подпер плечами сломанный мосток через овражек, пока проезжал по нему конный обоз. По натуре Антон был молчуном, однако отличался любознательностью, поддавался на розыгрыши, уважал говорливых людей, повидавших жизнь, набравшихся мудрости. Таким казался ему и сержант Косодарин, старше Антона по возрасту лет на пять.

«Пять лет,— думал Антон,— а разница в знаниях, в умении размышлять о жизни подобна разнице в размерах и силе стремнины реки Кубань и нашей безымянной речушки, впадающей в нее...» В этом зеленом «закутке» кончалась или оттуда начиналась его, Антона, родная станица Бедаровская.

Вот и сейчас был Антон придавлен мудростью сержанта Косодарина, который, видя, как его напарник отбивается веткой от комаров, назидательно объяснил:

— Бог или природа не зря создали комаров, да и другую нечисть, подобную им. Ведь к весне тело человека дряхлеет, слабеет. Когда же его грызет всякая мелкая тварь, вроде комаров, он начинает чесаться, вскрывает этим поры, массирует и оживляет кровеносные сосуды и от этого крепнет, здоровеет; одним словом, возрождается.

Да и нескучным человеком был Косодарин. Кинув взгляд в сторону телеги, на майора Рукатова, он с веселой тяжестью вздохнул и посетовал:

— Эх, краплиночку бы этих денег мне до войны...

— Что, нужда была великая? — спросил Антон, чуть насторожившись.

— Мечтал мотоцикл приобрести. Даже денег было накопил.

— Почему же не купил?

— Жена запротестовала... Покупай корову — и только! Две недели спорили.

— И на чем порешили?

— Согласилась жена со мной! Говорит: черт с тобой, покупай мотоцикл, но... чтоб он доился!..

Антон сдержанно захохотал этой неновой побрехеньке и опять заметил острый взгляд сержанта, кинутый им в сторону Рукатова...

— Не нравится мне этот наш начальничек...— тут же сказал сержант Косодарин, будто почувствовав, что напарник его насторожился.

— Почему? — Антон нахмурил брови и внутренне съежился.— Командир как командир.

— Уже одна его фамилия душу холодит: Рукатов! — не сдавался сержант.— Будто за горло хватает...

— А твоя фамилия что означает? — Антон уставил на сержанта свои большие, по-детски наивные серые глаза: — Ко-со-да-рин!.. Не хочу я ни косы в подарок, ни косого подарка!.. Ко-со-да-рин!..— И притишенно засмеялся.— Цаца великая!

— Шелехвостов — тоже не царского происхождения! — Косодарин как бы отмахнулся от Антона, приглашая его к новой мысли: — Ты, Антоша, не обратил внимания, как этот Рукатов да полковник Гулыга прохаживались в лесу по дорожке и о чем-то шептались?.. Полковник Гулыга еще так осторожненько оглядывался по сторонам...

— Ну и что? Уточняли задачу.

— Вот именно — уточняли! И по этим уточнениям, как мне кажется, когда мы вывезем телегу из окружения, Рукатов избавится от нас, а денежки — тю-тю... Закопает в землю или где-то спрячет до лучших времен.

— Ты что, сержант, умом тронулся?.. Это же государственное дело!.. И как он может от нас избавиться?..

— Одна очередь из ручного пулемета — и с приветом, Антон Шелехвостов!.. Шелести хвостом...

— Ну это ты держи при себе, сержант! Не слышал я от тебя ничего подобного... Сержант!..

Под вечер сержант Косодарин, видя, что Антон сумрачно углубился в какие-то свои мысли, вновь завел разговор о деньгах:

— Что б ты, Антончик, делал, попади тебе в руки после войны хоть половина, хоть десятая часть такого бумажного добра?

— Сержант, а ты показался вначале мне умным мужиком. Теперь вижу — недоумок.

— Сам ты недоумок... Не пробиться нам к своим! Пойми это... Рано или поздно попадут деньги в руки немцев!

— И что ты советуешь?

— Надо шевелить мозгами.

— Иди шевели вместе с майором Рукатовым.

— Что ты? Он же псих! Тут же и пристрелит.

— За самосуд у нас не жалуют.

— Здесь особая статья... Оправдают майора...— Сержант, будто испугавшись своих мыслей, умолк.

Антон, взглянув на Косодарина, непроизвольно отодвинулся в сторону. Перекошенное гримасой скрытого страха лицо сержанта тут же разгладилось улыбкой — явно притворной, жесткой, едкой и даже какой-то лютой. Приглушенным, потерявшим всякую звонкость голосом он сказал:

— Худо кончится наше дело, красноармеец Шелехвостов... Деньги и такие люди, как Рукатов, а я их нюхом чую, вредны друг для друга.

— А ты предложи Рукатову разумный совет.— Антон все еще надеялся вывести размышления сержанта на какую-то другую стезю.

— Умный человек пулю бы ему предложил... Не то что мы с тобой.

Чувствуя, что полыхнувший в груди холодок страха отнимает у него голос, Антон, пытаясь придать своему лицу безразличие, скосил глаза на сержанта. А тот глядел на него в упор с улыбочкой, обнажив оскалившиеся белые и ровные зубы. Вплоть до золотых «мостов» на кутних резцах.

— Ну а с этим что? — Антон, изо всех сил напрягаясь, чтоб не выдать своего страха, кивнул вправо, где в низкорослых можжевеловых кустах таился их второй секрет — сержант Петров; он служил ранее в танковых войсках и, может, поэтому не снимал с себя темно-синего, промасленного комбинезона.

Впрочем, Антон не знал подробностей биографии Петрова. Только завидовал, что сержанта вооружили не одним легким трофейным автоматом, как их с Косодариным, но и винтовкой со снайперским прицелом. Сквозь этот прицел Петров обозревал недалекую дорогу, а иногда приподнимался над сизой волной можжевела и смотрел на их парный секрет.

— Насчет «снайпера» вопрос дельный.— Сержант Косодарин посмотрел в сторону засады Петрова, и у него хищно вздрогнули широкие ноздри.— С этим... Этот сам решит... Либо возьмем его в пай... Но в таком деле все-таки лучше вдвоем...

— Куда тебе столько? Не допрешь!

— Что-нибудь придумаем... А побьют наши фашистов, так мы с тобой заживем... Только чтоб не знать, кто где... Для взаимного спокойствия.

— Ну и сволочь ты, сержант! — не удержался Антон.— А кто же фашистов побеждать будет?

— И мы подмогнем. Внесем, так сказать, свою лепту в будущую победу... Я и об этом поковырялся в мозгах: может, останемся здесь, попартизаним... А как ты, Антоша, маракуешь?

— Надо подумать,— пряча притворство, сказал Антон.

— Подумай, да не вздумай!.. А то...

— Что «а то»?

— Я сержант! С безупречной анкетой... Мне и доверие...

— Ладно, сам не дурак! — Антон, взяв лежавшую в стороне каску, надел ее на голову поверх пилотки и лег на спину: так было удобнее размышлять.— Покарауль, сержант, один, а я во сне комаров покормлю.

— Валяй...

Когда вечером первые капли дождя густо и крупно ударили по недалекой дороге, по лесу, по сухим полянам и близлежащим полям, в воздухе на какое-то время вдруг терпко и пресно запахло пылью и обновленными ароматами трав, цветов, недалекого можжевельника. Этот дождь для майора Рукатова и для его маленькой группы конвоя был настолько желанным, насколько не нужным для всей войны на Западном направлении, с учетом намечавшихся штабами противоборствующих сторон очередных оперативных задач.

А он начался... И будто тучи не громоздились в вышине. Правда, небо с утра было чуть мглистым; солнце светило из поднебесья, как сквозь белесую кисею. Она-то, эта кисея, и таила в себе неожиданность — постепенно густела, делалась все менее прозрачной, особенно над горизонтом; потом будто набухла неведомо откуда взявшейся влагой и пролилась дождем — густым, яростным, но пока не долгим. Он явился как бы предвестником ливня, который упруго и свирепо наползал в свинцовых тучах на высоты Смоленщины.

Рукатов отозвал из секретов своих конвойных и приказал им завесить плащ-палатками подветренную сторону телеги, чтоб можно укрыться под ней, как под крышей. И это было вовремя: здесь, в глубине леса, после минутной сторожкой тишины во всей природе с особой отчетливостью послышалось, как загудело пространство между землей и небом и через какие-то секунды хлестко ударили вокруг тяжелые струи воды.

Все сидели под телегой молча, ощущая под собой сухое, хранящее дневное тепло сено.

— Товарищ майор,— почему-то шепотом проговорил сержант Петров,— а дорога, кажись, утихла... Сейчас бы и проскочить?..

— Боюсь, что по ту сторону большака прячутся в лесу немцы... Там лес сухой и гуще, чем здесь.— Рукатов приставил руку к уху, направив его в сторону дороги.— Переждем ливень и начнем разведывать маршрут...

Мощный натиск ливня постепенно начал угасать, словно там, в небесных глубинах, кто-то ставил ему прочные запруды. Где-то на западе ярко запылал горизонт, осветив верхушки леса и близлежащие поляны. Вокруг стало светлее, но было очень мокро, в воздухе, где пробивались сквозь гущину леса косые лучи солнца, заструились кверху столбики пара.

Еще через какое-то время, когда все выбрались из-под телеги,

майор Рукатов, окинув хмуро-напряженным взглядом свое «войско», приказал:

— Сержант Косодарин! Пойдемте со мной разведывать дорогу! А вам,— Рукатов обратился к Антону и сержанту Петрову,— запрягать лошадей и быть наготове.

Уходя, Косодарин кинул на Антона свирепый и что-то требующий взгляд.

— Он убьет его! Убьет!..— панически зашептал Антон Петрову, когда Рукатов и Косодарин скрылись между деревьями за можжевеловыми кустами. И короткой скороговоркой рассказал сержанту о задуманном Косодариным преступлении, видя при этом, как круглое, в золотистом пушку лицо сержанта покрывалось бледностью.

— Вблизи от нас он не посмеет поднять руку,— озабоченно произнес Петров.— Но на всякий случай надо прикрыть майора. Оставайся! — И Петров, дрогнувшей рукой схватив снайперскую винтовку, побежал.

Антон снимал путы с ног лошадей, а его глазам все виделась дрогнувшая рука сержанта Петрова... Мысли и чувства были там, у дороги. Он будто видел майора Рукатова, лежавшего в кустах с биноклем у глаз, а невдалеке целился в него из немецкого автомата сержант Косодарин... Успел бы заметить это в оптический прицел сержант Петров.

И вдруг в стороне дороги совсем негромко хлопнул выстрел. А в ушах же, в груди Антона он отозвался оглушающим взрывом, будто на него обрушилась вся вселенная...

Испуганный неожиданным выстрелом сзади, майор Рукатов оглянулся и невдалеке от себя увидел перекошенное смертным страданием, болью и волчьей злобой лицо сержанта Косодарина. В немом крике дико распахнулся его рот, обнажив ровный белый ряд зубов, опустились уголки губ, вздулся неподвижный бугор на переносице... И холодный, пронзительный, недобрый ум в глазах...

— Перехитрили, гады...— с бульканьем в горле вырывались из перекосившегося рта Косодарина слова.— Будьте вы прокляты!.. Подавитесь своими деньгами...

— Что? В чем дело?! — панически хрипел Рукатов, видя, как к нему подползал с закинутой на правое плечо снайперской винтовкой сержант Петров.

— Я опередил его, товарищ майор! — с удивлением и страхом сказал Петров, приближаясь к Рукатову.— Может, на секунду! — И шепотом пояснил: — Он уже навел автомат на вас... А я — убил...— Петров вдруг всхлипнул, уткнувшись лицом в локоть левой руки.— Убил своего...

Под Рукатовым будто колыхнулась земля от того, что мысли его стали проясняться; словно что-то всплыло на чистой воде, и он, скользнув взглядом мимо этого «что-то», четко увидел дно страшной истины... Вдруг понял, что чудом избежал сейчас смерти, и почему-то в памяти промелькнул младший политрук Иванюта с разъяренным до исступления лицом...

Один из мыслителей прошлого начертал слова, утверждающие, что несчастье есть право на бессмертие. Странно звучит это изречение, но возросло оно все-таки на поле человеческой опытности, хотя известно, что никто по доброй воле не стремится в бессмертие через горнила несчастий.

Несчастья приходят незванно... Не подозревал о близившейся для него самой тяжкой беде и один прекрасный человек, военачальник, чье имя зазвучит потом в истории в том особом ряду, который менее других подвержен забвению. Человек этот — генерал-лейтенант Качалов Владимир Яковлевич.

...В начале июля 1941 года директивой Ставки Верховного Командования он, генерал-лейтенант Качалов, командующий Архангельским военным округом, назначался командующим вновь создававшейся 28-й армией, а основным ядром командного состава ее штаба должны были стать командиры и начальники из штаба того же Архангельского военного округа.

Впрочем, об этом Владимир Яковлевич узнал в Москве, куда ему по телефону приказали явиться незамедлительно. Уезжая, распорядился дома, чтобы и жена Елена Николаевна с сыном Володей и тещей Еленой Ивановной тоже собирались в путь-дорогу — для начала в Москву, к Анне Ивановне, родной сестре тещи. А там все будет зависеть от того, какое и куда получит он, генерал-лейтенант Качалов, назначение. О том, что вызывали его для новой службы в новом месте, нисколько не сомневался. И понимал, что ждет его фронт.

В тот же день, когда приехал в Москву, начальник Генерального штаба Жуков представил Владимира Яковлевича Сталину, хотя Качалов был знаком со Сталиным еще со времен обороны Царицына. Представление было совмещено с очередным докладом Жукова о положении на советско-германском фронте.

Генерала Качалова поразила простая и страшная ясность происходящего на полях сражений, которую он ощутил в кабинете Сталина из четкого доклада генерала армии Жукова, из вопросов Сталина и ответов на них. Владимир Яковлевич уже знал, что его прочат на пост командующего формирующейся 28-й армией, которая совместно с другими свежими армиями займет оборонительные рубежи в тылах действующих войск Западного фронта. Поэтому он с обостренным вниманием прислушивался к тому, что происходило в армиях, которыми осуществлял руководство маршал Тимошенко как главком Западного направления. Почти зримо увидел неустойчивость линии Западного фронта и хрупкое оперативное построение его войск... Вон на огромной карте с северо-запада, в полосе шириной 280 километров, прикрывала шестью дивизиями смоленское направление 22-я армия генерал-лейтенанта Ершакова, сдерживая шестнадцать вражеских дивизий. Уступом за ее левым флангом оборонялись, не имея плотной локтевой связи, дивизии, входившие в состав все еще прибывавшей по частям на фронт 19-й армии генерал-лейтенанта Конева. Между Витебском и Оршей отчаянно дралась изнемогавшая

20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина, а южнее, по Днепру вплоть до Рогачева, оборонялась совсем ослабленная, с оголенным флангом 13-я армия генерал-лейтенанта Ремезова; ее 61-й стрелковый корпус, оказавшись в окружении, изо всех сил оборонял Могилев. Левый фланг 13-й армии прикрывала 21-я армия генерал-полковника Кузнецова, которая непрерывно контратаковала противника. А в районе Смоленска как резерв фронта сосредоточивалась 16-я армия генерал-лейтенанта Лукина. Все ясно как на ладони, но эта ясность виделась только на карте; изменяясь на пространстве Западного направления не то что с каждым днем, а с каждым часом, и Генеральному штабу не так легко было реагировать на эти изменения своими распоряжениями о перегруппировках войск и о введении на поля битв новых резервов.

В один из июльских дней над Москвой шквалисто клокотала гроза, и в кабинете Сталина было сумрачно. Когда Жуков закончил доклад об оперативной обстановке на фронтах, Сталин молча прошелся по кабинету, держа руки за спиной, затем остановился перед генералом Качаловым, который тут же поднялся со стула, и сказал, будто упрекая его лично:

— Хорошего мало.

— Совсем нет хорошего,— в тон ему повторил Владимир Яковлевич.

— Почему — совсем нет? — неожиданно удивился Сталин, сделав ударение на слове «совсем», и затем указал рукой на Поскребышева, который неслышно вошел в кабинет и включил электричество. Стены кабинета будто раздвинулись от света и вокруг стало, кажется, просторнее. В голосе Сталина улавливалась грустная ирония.— Вот он, товарищ Поскребышев,— сын сапожника, а сейчас — главный помощник товарища Сталина во всех его нелегких делах.

Поскребышев, сверкая бритой головой в свете горящих электроламп, вопросительно посмотрел от дверей на Сталина.

— Верно я говорю, товарищ Поскребышев? — требовательно спросил у него Сталин.

— Верно, товарищ Сталин,— с улыбкой ответил Поскребышев и тут же вышел, поняв, что вопросов к нему больше не будет.

А Сталин продолжил разговор на тему, которая занимала его уже не раз:

— Я тоже сын сапожника — и, как видите, возглавляю партию, государство и вооруженные силы. И вы, товарищ Качалов, если мне не изменяет память, тоже сын сапожника!..

— Так точно, товарищ Сталин, и я сын сапожника,— подтвердил Владимир Яковлевич, подумав о том, что, наверное, Сталину привозили для знакомства из Управления кадров его личное дело.

— Так что же получается? — с притворным удивлением спросил Сталин.— Может, мы и есть те самые сапожники, которые взялись не за свое дело? Может, поэтому и бьют нас немцы, учат уму-разуму, как надо воевать? Может, мы действительно сапожничаем на государственно-партийных и военных постах?

— Нет, товарищ Сталин,— с какой-то особой, только ему присущей

серьезностью ответил Качалов.— Вы еще под Царицыном показали, что воевать умеете, а я под вашим началом тоже не опозорился. Да и на других фронтах... Пять ранений у меня...

— Да, помню вас, товарищ Качалов, по десятой армии...

— В девятой и во второй мы тоже встречались. Я там уже в высоких чинах ходил.

— И сейчас придется браться вам за большое дело, за командование армией. Вы должны остановить и разгромить танковые войска Гудериана, хотя вы, как и я, сын сапожника.— Сталин ухмыльнулся в усы и добавил: — Правда, ваш отец, будучи сапожником, держал в Царицыне на базаре сапожную лавку с двенадцатью наемными сапожниками... Был мелким буржуа... Но потом его лавка не выдержала конкуренции...

— Верно, товарищ Сталин. Еще перед революцией вернулся отец сапожничать в родное село Городище.

— А вы говорите, что совсем ничего нет хорошего! — Сталин, казалось, всерьез развеселился.— Сыновья сапожников, а в их лице все наше простолюдье... Народ!.. Главным образом, рабочие и крестьяне, да и наша интеллигенция, схлестнулись в неизбежной борьбе с военной машиной фашизма, отлаженной лучшими умами враждебного нам всего империалистического мира. И мы их победим!.. Должны победить!.. А вы говорите, что совсем нет ничего хорошего...

Генерал армии Жуков, видя Сталина развеселившимся, что было в последнее время редкостью, сдержанно похохатывал. Когда он стал складывать топографические карты, Сталин, положив руки на стол, придержал его.

— Так вам ясна задача как командующего двадцать восьмой армией, товарищ Качалов? — спросил Сталин, уже глядя на Владимира Яковлевича со строгой требовательностью.— Ведь мы вам доверяем огромную силу — семь дивизий!.. Надо остановить Гудериана! Надо для начала стабилизировать положение на Западном фронте.

— Задача ясна, товарищ Сталин. Важно, чтоб дивизии вовремя прибыли в места боевого сосредоточения.

— В каком положении и где находятся дивизии, из которых мы создаем армию товарища Качалова? — Этот обращенный к Жукову вопрос Сталина прозвучал строго.

— Я не готов к точному ответу, товарищ Сталин,— удрученно ответил Жуков.

— А вы обязаны быть готовы.— Голос Сталина зазвучал от недовольства глуше, словно его легким не хватало воздуха.

— Через час доложу, товарищ Сталин,— сказал Жуков, нервно складывая карты.— Полагаю, что большинство дивизий двадцать восьмой армии или заканчивают формирование, или уже на марше.

— У вас вопросы есть? — обратился Сталин к Качалову.

— Есть, товарищ Сталин. Но они для управлений Генштаба. Это будет касаться формирования армии.

— Хорошо!.. Только не забывайте, товарищ Качалов, что иногда легче судить об уме человека по его вопросам, чем по его ответам.— И Сталин с подбадривающей улыбкой подал на прощание руку.

Части и соединения 28-й армии формировались в различных районах страны и, получив номерные наименования, стекались в места сосредоточения, находившиеся между Брянском и Ельней — в близком тылу войск левого крыла Западного фронта, неустанно ведших боевые действия.

Штаб армии разместился на окраине городишка Киров, просторно раскинувшегося на правом берегу речки Болва — левого притока Десны, что брал начало на южных склонах Смоленской возвышенности. Здания фаянсового завода, в которых приютилась часть отделов штаба, и другие служебные здания городишка особо не привлекали внимания вражеской авиации. На рубежах, где развертывались полки семи составлявших 28-ю армию дивизий, кипели оборонительные земляные работы. Ими занимались войска при массовом участии местного населения. Постепенно рождалась линия обороны, пусть без дотов и дзотов, без проволочных заграждений: не хватало строительных материалов, колючки, мин... Приходилось ограничиваться пока рытьем стрелковых и орудийных окопов, траншей, ходов сообщения, эскарпов, противотанковых рвов. Мало было и средств связи, что уже теперь затрудняло управление войсками.

А тут еще без устали повадились дожди. Ветер часто менял направление, но будто держал многослойные грозовые тучи на привязи, заставлял их опрокидываться ливнями над Смоленскими высотами. И вся жизнь на фронте замедлилась, затормозилась, грунтовые дороги стали непроезжими, машины и повозки барахтались на них, как мухи в патоке, ручейки превратились в речушки, а речушки — в реки. По дну траншей загуляла вода, подмывая крутизны стен, отсыревшие телефонные провода, сращенные при сухой погоде, заставляли мембраны трубок шепелявить и гундосить. Да и голос всей войны изменился: будто раздвинулись расстояния между передовой и тыловыми районами; глуше и не так яростно ухали бомбежки; артиллерийская перестрелка будто велась в одну сторону; голоса пулеметов тоже утихли.

Генерал-лейтенант Качалов понимал, что ненастная погода еще больше затормозит во времени сосредоточение дивизий его армии, затруднит строительство их оборонительных рубежей — слишком широких по фронту, а поэтому лишенных должной плотности и глубины. В этих условиях ему, командарму, в предвидении прорывов немцев надо было без промедления создавать крепкий подвижной резерв. Или сразу же, не дожидаясь приказа свыше, планировать создание боевой армейской группы для участия в наступательной операции, которая, как он слышал в штабе фронта, готовится для деблокации зажатых в тиски армий Лукина и Курочкина. Во всяком случае, надо было хоть какие-то силы собирать в кулак. А штабы дивизий в повседневных «строевых записках» и суточных ведомостях будто нарочно напоминали о недостающем по штатному расписанию количестве войск, оружия, военной техники.

И генерал Качалов решил вызвать командиров дивизий всех вместе в штаб армии для знакомства, обсуждения общих задач и для наметок взаимодействия, если обстановка вынудит вступать в бой еще

до того, когда все полки дивизий займут оборонительные районы и приготовятся к бою. Тем паче что 145-я стрелковая дивизия генерал-майора А. А. Вольхина, успев занять по реке Десна оборону, уже вела одним полком стычки с немцами в районе Починка, отбив там у противника аэродром. А генерал Вольхин, назначенный начальником гарнизона Рославля, одним батальоном нес в городе службу регулирования и не без большой пользы для своей дивизии руководил «сборным пунктом», куда стекались с запада остатки наших выводимых на переформирование или вырвавшихся из окружения войск. Во всяком случае, 145-я стрелковая дивизия была укомплектована полнее других, и генерал Качалов вознамерился начать количественно ужимать ее полки для создания армейского подвижного резерва.

Сбор командиров дивизий был назначен на 12 часов дня в кабинете директора Кировского фаянсового завода. Адъютант генерала Качалова майор Погребаев получил задание организовать ритуальное предобеденное чаепитие, использовать для этого фаянсовую посуду, пылившуюся в качестве образцов заводского производства на застекленных полках в том же кабинете директора, и двухведерный самовар дореволюционного тульского изготовления, многие десятилетия поивший управленческий люд в заводском буфете.

В этот день у Владимира Яковлевича Качалова было хорошее настроение. Утром ему удалось позвонить в Москву своему давнишнему другу генералу Хрулеву Андрею Васильевичу. От него он узнал, что его, Качалова, семья вместе с семьями генералов Хрулева, Болдина — бывшего заместителя командующего Западным особым военным округом — и другими семьями эвакуирована специальным поездом в Свердловск; затем будет переселена оттуда в поселок Балтым, куда и следует писать письма и адресовать денежный аттестат. Снять же заботы с фронтовика о семье — значит наполовину облегчить его душу и будто защитить от ударов с тыла.

Владимир Яковлевич подошел к зеркалу, наклонно стоявшему в углу кабинета, отражая в себе коллекцию изготовленной на заводе посуды, принял перед ним свою излюбленную позу: скрестил руки на груди и выставил вперед левую ногу... Странно... Что за нелепая «наполеоновская стойка»? Понимал неестественность позы, однако не мог избавиться от нее: еще в молодости, после одного из ранений, его левая рука стала короче, и столь нарочной позой он пытался прятать свой физический дефект. Привычка молодости закрепилась и даже стала гармонировать с его коренастой фигурой — крепкими, широкими плечами и неохватной, мускулистой шеей... Волевой взгляд его жестковатых серых глаз, чуть скуластое лицо с выражением решительности будто бы уже сами по себе требовали этой наполеоновской позы, которой неизменно сопутствовала в условиях службы строгость, подчас даже суровость в общении с подчиненными. В то же время дома он неизменно был податливым и обходительным семьянином, ласковым и внимательным мужем, добрейшим папой. Он знал, что этой разноликостью давал повод для судаченья командирским женам, да и командирам, сам посмеивался над собой, удивляясь такому свойству натуры, но жила она в нем сама по себе, и менять ее он не пытался.

Хотя однажды взъярился, случайно услышав о себе чьи-то стишата: «Он грозен во главе полков и добр при виде женских каблуков». Рассердился, естественно, уловив в этом «блудословии» злую иронию. Но тут же, поразмыслив, растопил в себе гнев, дабы не позволить утвердиться неумному «двустишию». И стал чаще задавать сам себе вопрос: «На службе справедлив?..» После обозрения внутренним взглядом своих воинских «владений», на фоне которых мелькали образы десятков высокопоставленных подчиненных ему людей, после размышления над тем, как держит себя в общениях с ними, уверенно отвечал сам себе: «Требователен... Но несправедливостей за собой не замечал». Верно, обид на него не было, хотя были претензии: имел он по партийной линии взыскание за «отрыв от парторганизации» и «за проявление высокомерия». Да, тут, видимо, допустил промашки... К тому же он еще не поладил с одним политработником высокого ранга... Тот в конечном счете оказался прав. А однажды получил письмо от Буденного — по делу: маршал поругивал его за недостатки в боевой подготовке и отсутствие должного порядка в штабной службе кавалерийского корпуса, которым он, генерал Качалов, командовал... Исправил недостатки железной рукой. На службе стал еще более строг и требователен. Иные командиры, заступив на дежурство по штабу, испытывали не то чтобы робость, но будто держали самый трудный экзамен.

24

Да, если несчастья обрушиваются на человека, то, бывает, с той внезапностью, которая оглушает даже посторонних людей. Но может ли быть несчастье на войне бóльшим, чем гибель?.. Оказывается, может. Его приносит не вражеский самолет, не случайный снаряд, не шальная пуля. И суть такого несчастья не в нравственных муках военачальника, потерпевшего поражение в противоборстве с врагом... Случаются беды иного характера, подоплеки которых вызревают в чьем-то предвзятом или воспаленном воображении, опирающемся не на истину, а на заблуждения или на злую волю.

Именно такая беда подкарауливала генерал-лейтенанта Качалова.

Уже было назначено время вызова в штаб армии командиров дивизий. Уже дважды адъютант командарма майор Погребаев делал пробные кипячения воды в тульском самоваре. И сейчас самовар, сверкая медным начищенным пузом, высился в приемной на казенном столе, оттеснив в сторону такую же допотопную, как он сам, пишущую машинку...

Вдруг в приемной комнате появился с «разносной» папкой в руке начальник узла связи — бравый капитан в зеленых парусиновых сапогах и в новеньком полевом снаряжении. Он с деловитой торопливостью прошагал через приемную и, не попросив, как обычно, у адъютанта доложить о нем командарму, скрылся за дверью в кабинете. Майор Погребаев был озадачен: начальник узла связи — прямо к командарму, минуя начальника штаба?..

Через минуту жизнь в штабе армии как бы повернула в другую сторону и набрала стремительный ритм. В кабинет генерала Качалова были срочно вызваны все начальники отделов и служб во тлаве с начальником штаба. Причиной этому явилась та же директива о контрударе в сторону Смоленска пяти армейских оперативных групп, которую несколько раньше получил штаб 16-й армии генерал-лейтенанта Лукина. А вместе с директивой — приказ командующему 28-й армией генерал-лейтенанту Качалову...

Чем-то тревожным дохнуло на Владимира Яковлевича из стопы расшифрованных документов. Перекинулся мыслью во вчерашний день, который виделся сквозь последнюю информационную сводку о положении войск Западного фронта. В ней уже не было той ясности, какую он ощущал в кабинете Сталина, когда об оперативной обстановке докладывал Жуков. 22-я армия, прикрывавшая правый фланг фронта в районе Великих Лук, оборонялась изо всех сил, частью дивизий попадая из одного окружения в другое и пробиваясь затем на северо-восток. 16-я армия, увеличившись за счет вошедшей в нее 127-й стрелковой дивизии генерал-майора Т. Г. Корнеева, не оставляла попыток освободить от врага Смоленск и в то же время, как и 20-я армия, вела перегруппировку сил, исходя из последней директивы Генштаба.

Но видит ли командование фронта, сколь усложнилось положение после вчерашнего захвата немцами Ельни? Ведь это — удобнейший, выдвинутый на восток плацдарм для броска с него немцев на Москву.

Сидя за столом просторного кабинета, Владимир Яковлевич все вчитывался в документы, слышал, как спешно развешивались на стенах карты с дислокацией войск 28-й армии, карты местности, на которой предстоят боевые действия. По наступившей тишине понял, что собрались все, кому полагалось здесь быть, и четким густым голосом прочитал директиву, в которой излагался замысел действий армейских войсковых групп, создаваемых из двадцати дивизий Фронта резервных армий. Они, эти дивизии, должны были нанести одновременные удары по сходящимся направлениям на Смоленск с северо-востока, востока и юга и во взаимодействии с 16-й и 20-й армиями разгромить смоленскую группировку противника и отбросить ее за Оршу. В то же время для удара по тыловым частям немецких армий «Центр», оторвавшимся на значительное расстояние от своих передовых механизированных частей, Генштаб бросал три кавалерийские дивизии, сосредоточенные в полосе 21-й армии близ Жлобина. Для участия в операции выделялись также три авиационные группы, каждая в составе до смешанной авиационной дивизии... Ну что ж, замысел серьезный... Но как он будет выглядеть на фоне возможных ответных боевых действий немцев?

Когда же в директиве речь заходила о войсковой группе генерал-лейтенанта Качалова, голос Владимира Яковлевича несколько возвышался, будто в него непроизвольно вторгались торжественные нотки. Но это была маленькая хитрость генерала. Он обратил внимание, как прокатился по кабинету похожий на вздох шумок, когда в зачитываемом им документе прозвучала фраза: «Ставка передает в распоря-

жение маршала Тимошенко двадцать дивизий из Фронта резервных армий, образуя из них пять армейских групп...» Владимир Яковлевич сразу же понял, что у всех возник, кольнув острыми коготками сердца, один и тот же вопрос: а как же их 28-я армия в целом? Остается в резервном фронте? Под чьим командованием? И как теперь с ее штабом?.. Ведь все они, став штабом группы, вроде бы понижаются в должностях, «выпадая» из штатного расписания армейского звена?

Этот, пусть не весьма важный, вопрос подсознательно всплыл и перед ним, Качаловым, неуправляемо и зыбко вторгаясь в сознание. Ведь верно: одно дело, он — командующий армией... «Надо остановить Гудериана, товарищ Качалов!» — вспомнились тревожные слова Сталина. А теперь «товарищ Качалов» всего лишь командующий войсковой группой, что, по существу, равнозначно командиру корпуса...

Вот и повышал он голос, читая шифровки, чтоб отмежеваться от столь незначительных мыслей и показать подчиненным, что выполнение поставленной перед ними боевой задачи — не меньше чем вопрос их жизни или их смерти.

Но понимают ли они это? Владимир Яковлевич поднял голову, пробежался строгим, с прищуром взглядом по лицам присутствующих. Непроницаемы... Только лукавую хитринку на миг уловил в глазах члена Военного совета армии бригадного комиссара Колесникова, сидевшего сбоку стола. Угадал, видать, бригадный комиссар побочную мыслишку генерала Качалова! Но тут же Колесников нахмурился, придал лицу озабоченность и что-то шепнул сидевшему рядом с ним бригадному комиссару Терешкину — начальнику политотдела армии.

Справа от Качалова, за приставным столом, расположился над картой начальник штаба армии генерал-майор Егоров; он поглядывал то на свою карту, то на приколотую к стене, видимо сверяя, правильно ли нанесены на ней исходные позиции 149-й, 145-й стрелковых и 104-й танковой дивизий. Владимир Яковлевич тоже всмотрелся в карту на стене. И хотя севернее Рославля четко вырисовывались гнутые валы — линии исходных позиций полков, хотя к Смоленску, перешагнув через Починок, протянулась от них грозная красная стрела, обозначавшая общую задачу их армейской группы, генерал Качалов не мог не видеть, что с северо-востока нависает захваченная вчера врагом Ельня. И опять ему вспомнились слова Сталина: «Надо остановить Гудериана, товарищ Качалов...»

25

Но остановить, а тем паче разгромить Гудериана пока было не суждено даже силами всех пяти армейских групп и двух окруженных в районе Смоленска наших армий. Об этом еще не знали ни Качалов, ни Тимошенко, ни Сталин; их тешила только надежда, что все сбудется так, как задумал и спланировал Генеральный штаб во главе с генералом армии Жуковым.

Полководцы обычно ощущают театр военных действий подобно тому, как опытный врач при помощи стетоскопа слышит и понимает

биение сердца в груди человека. И нет ничего удивительного в том, что в эту последнюю декаду июля 1941 года руководители советского Генерального штаба и немецкого главного штаба верховного главнокомандующего одновременно сосредоточили свои взоры на пространствах между Смоленском и Вязьмой и между руслами рек Сож, Днепр, Вопь. Было яснее ясного, что именно там запирались ворота к Москве. И командования противоборствующих сторон, каждое по своим оценкам, догадкам, выводам, принимали соответствующие меры: немецкое включало в свой план быстрое поглощение расстояния в 300—350 километров, которое отделяло фашистов от советской столицы, и захват Москвы; советское же военное руководство изо всех сил стремилось порушить замыслы гитлеровцев, отбросить их силы на запад и упрочить оборону на всем советско-германском фронте.

Идея контрудара пятью нашими армейскими ударными группами по войскам противника в районе Смоленска для деблокирования окруженных там 16-й и 20-й армий и для ликвидации опасности прорыва врага к Вязьме и к Москве была частью оперативно-стратегического плана на ближайший период и принадлежала лично Сталину. Он, впрочем, требовал от Тимошенко даже бо́льшего: создавать на Западном фронте кулаки в семь-восемь дивизий с кавалерией на флангах. Тимошенко же создал кулаки по три дивизии в каждом...

Инициаторами крупных или малых операций советских войск в большей мере являлись Генеральный штаб с его главным мозговым центром — оперативным управлением, штабы фронтов или даже иногда штабы армий. Но окончательные решения с дополнениями и уточнениями принимались в кабинете Сталина, в присутствии находившихся к тому времени в Москве членов Ставки Верховного Командования и членов Государственного Комитета Обороны.

А как у высшего немецко-фашистского командования? Как у Гитлера?..

Ведущие войны полководцы во все времена собирали и изучали сведения друг о друге, дабы легче было постичь образ и степень свободы мышления своего противника, объем его знаний и главные возбудители чувств, влияющих на мыслительный процесс.

Так, например, поступал Наполеон: начиная войну, он прежде всего интересовался неприятельским полководцем и организацией неприятельского командования...

Может, именно поэтому Сталин однажды задал вопрос генерал-майору Дронову, который занимался в Генштабе агентурной разведкой: «А как функционирует ставка Гитлера? Из чего складывается ее работа?.. Как они там вырабатывают свои людоедские планы?..»

Через несколько дней генерал Дронов положил на стол генерала армии Жукова папочку, в которой лежали бумаги, содержавшие ответы на вопросы, занимавшие Сталина. Жуков, прежде чем взять с собой папку в Кремль, не без интереса сам ознакомился с ее содержанием.

Сверху в папке лежала справка с указом Гитлера от 4 февраля 1938 г. о руководстве вермахтом. В указе говорилось: «С настоящего момента руководство всеми вооруженными силами осуществляю

я лично. Существовавшее до сего времени главное оперативное управление военного министерства реорганизуется в главный штаб верховного главнокомандующего и со всеми компетенциями переходит непосредственно в мое подчинение.

Возглавляет штаб верховного главнокомандующего его начальник, занимавший до настоящего времени пост начальника главного оперативного управления военного министерства, по своему рангу он приравнивается к рейхсминистрам.

Штаб верховного главнокомандующего будет одновременно выполнять и задачи военного министерства, начальник штаба верховного главнокомандующего от моего имени выполняет функции военного министра...»

Вторая справка рассказывала о процедурах военно-оперативных докладов фюреру.

«Такой доклад,— говорилось в ней,— впервые состоялся в день нападения Германии на Польшу — 1 сентября 1939 г. в старом саду зимней рейхсканцелярии. Сейчас штаб-квартира фюрера функционирует либо в штабном поезде, либо в специально оборудованных помещениях с приспособлениями для быстрой смены и крепления карт и схем, со столами для ознакомления с разведывательными данными и новыми образцами русского стрелкового оружия. На этих совещаниях, после того как начальник главного штаба верховного главнокомандующего докладывает оперативную обстановку, принимаются все важные решения и отдаются приказы.

При докладах у Гитлера присутствует ограниченный и постоянный круг людей: начальник штаба верховного главнокомандующего генерал-фельдмаршал Кейтель, начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль, четыре адъютанта фюрера и, как правило, личный офицер связи генерал Боденшатц. Иногда на совещания приглашаются представители главного штаба сухопутных войск (главком, начальник штаба, начальник оперативного управления), а также представители военно-воздушных сил. Чаще других с докладами выступает начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль. В своих информациях он опирается на донесения трех главных командований видами вооруженных сил, собранные и обобщенные оперативным управлением штаба оперативного руководства.

Если штаб-квартира фюрера располагается в полевых условиях, то помещения для совещаний оборудуются применительно к условиям или строятся специальные бараки.

Кроме регулярных докладов об обстановке на фронтах созываются специальные совещания в узком кругу — это при получении особо важных донесений от главнокомандующих видами вооруженных сил.

В штаб-квартире фюрера «Волчье логово» оперативные совещания в присутствии фюрера проводятся ежедневно в полдень. Материалом для них служат утренние донесения командования видов вооруженных сил. У главного командования сухопутных войск основой для таких донесений являются последние донесения командующих группами

армий за день. Только командующие германскими войсками в Финляндии, Норвегии и Северной Африке направляют свои донесения непосредственно в штаб верховного главнокомандования и параллельно в главное командование сухопутных войск».

«Небезынтересен распорядок рабочего дня Гитлера,— замечалось в справке.— Около 11 часов дня в узком кругу Йодль докладывает ему полученные в течение ночи донесения, используя карты театров военных действий. Иногда он делает доклад позже, поскольку после дневных трудов Гитлер, по обыкновению, проводит ночь в разговорах за чаем до четырех утра со своими приближенными, иногда даже со своими двумя стенографистками. Для решения военных дел это составляет неудобство: фюрер часто спит до половины дня и никто не смеет беспокоить его».

Генерал армии Жуков познакомил Сталина с описанием «образа жизни» ставки Гитлера в канун начала действий армейской группы Качалова. Похвалив работу советской агентурной разведки, Сталин сказал:

— Теперь, товарищ Жуков, мы, употребив небольшое воображение, можем представить себе, что делает сейчас Гитлер, и, улучив момент, кинем ему за шиворот кулек с блохами... Соберут блох на овечьих пастбищах, а мы дадим им указание до смерти загрызть фюрера.

При всей своей сдержанности Жуков хохотал, как мальчишка, и утверждал, что уже и на своей спине почувствовал блошиную возню. А затем сказал:

— Я не верю во всякие наития, прозрения, но, честное слово, товарищ Сталин, в нашей предвоенной оперативно-стратегической игре на картах, которой руководили Тимошенко и Мерецков, я добился успеха со своей «синей» стороной еще и потому, что угадывал, о чем заботились Тимошенко и Мерецков. Так что действительно полезно нам знать психологию противника.

— Ну а теперь угадывайте, что замышляет Гитлер,— сказал Сталин, помрачнев, глаза его сузились, исчезла под нахмуренными бровями знакомая золотинка.— Сейчас «игра» на смерть: кто кого... Для начала на рубеже верховьев Днепра мы должны хряпнуть Гитлера мордой о землю. Сделайте все для этого.

Немецкое командование пока не ведало о готовящемся контрударе советских дивизий в направлении Смоленска. Но предпринимаемые в эти дни действия немецко-фашистских войск были куда более масштабнее, с далеко идущими планами и уже в начале своего развития сами по себе путали карты советского командования и рушили его замыслы. Рушили, но не сводили их на нет, ибо замысел маршала Тимошенко все-таки основывался на разумных расчетах и на реальных возможностях нанести противнику ощутимый урон в живой силе и технике. И не покидала главкома надежда вывести наконец из окружения 16-ю и 20-ю армии.

Германское же верховное главнокомандование, убедившись в стой-

кости Красной Армии в оборонительных боях, в умении советских штабов планировать и проводить боевые операции даже в невыгодных для себя условиях, в умении красных командиров маневрировать на широком фронте живой силой и боевой техникой, стало искать принципиально новые оперативно-стратегические решения, чтоб добиться перелома в войне в свою пользу. Для этой цели 21 июля Гитлер со всеми мерами предосторожности прибыл в штабном поезде на оккупированную советскую территорию в расположение группы армий «Север». Командующим этой группой был фельдмаршал Лееб. Его войска, по мнению Гитлера, достигли наилучших успехов, и сам Лееб как стратег, военный мыслитель считался у Гитлера наиболее выдающимся. Именно к нему первому направился фюрер, чтоб снять рождавшиеся у него сомнения и укрепиться в тех истинах, которые будто само провидение подсказывало ему. «Необходимо возможно скорее овладеть Ленинградом и очистить от противника Финский залив, чтобы парализовать русский флот,— потребовал фюрер.— От этого зависит нормальный подвоз руды из Швеции». Здесь же Гитлер впервые высказал замысел о снятии обеих танковых групп с московского направления. 3-ю танковую группу он предлагал перебросить на северо-восток для содействия наступлению на Ленинград и чтобы как можно скорее перерезать железнодорожную линию Москва — Ленинград. 2-я же танковая группа должна сыграть решающую роль на юго-востоке, куда она и будет повернута.

А судьба Москвы была предопределена в документе германского верховного командования, именуемом дополнением к директиве ОКВ № 33 от 23 июля.

«После улучшения обстановки в районе Смоленска и на южном фланге,— указывалось в этой бумаге,— группа армий «Центр» силами достаточно мощных пехотных соединений обеих входящих в ее состав армий должна разгромить противника, продолжающего находиться в районе между Смоленском и Москвой, продвинуться своим флангом по возможности дальше на восток и захватить Москву».

Итак, германское верховное командование, убедившись, что блицкриг пока несбыточен, спешно перестраивало план войны в целом, перебрасывало танковые группы на другие направления, а в районы, из которых должны были уйти танковые группы, спешно подтягивало свежие силы. Вот и случилось, что к одному и тому же исходному рубежу севернее Рославля с запада спешил 24-й моторизованный корпус врага, а с востока туда же выдвигалась, чуть опережая противника, армейская группа генерал-лейтенанта Качалова.

И произошло еще малозаметное: сумятица передвижений больших колонн вражеских войск затерла в болотистом лесу крохотную группу майора Рукатова, будто загнав ее в капкан. И Рукатову ничего другого не оставалось, как терпеливо выжидать случая, чтоб с пароконной телегой, груженной мешками с деньгами Белорусского Государственного банка, вырваться из вражеского тыла. Такое время, по его наблюдениям, близилось.

Штаб — мозговой центр любой воинской части. Все его отделы, отделения, все находящиеся при нем люди представляют собой в совокупности сложнейший механизм, где каждая деталь точно знает и исполняет свое назначение. Этот механизм комплектует подразделения, вырабатывает для них боевые задачи, собирает информацию и дает ей движение от ячейки к ячейке, он запоминает, считает, решает задачи со многими неизвестными и в конечном счете дает возможность командиру осуществлять замысел, приводить войска в движение и указать цели их огневым средствам. При этом штаб, если его звенья работают хорошо, постоянно все видит и слышит не только в полосе действий своих войск и противника, но и своих соседей справа и слева. Штаб также планирует работу тыловых органов, питающих фронт всем необходимым; а это — сонмище самых разнообразных дел.

Над штабом возвышается командный пункт старшего командира, приближенный насколько возможно к переднему краю и передвигающийся вслед за войсками, если они наступают. КП не сравнишь ни с обычной вышкой, ни со старой городской каланчой, с которой было видно, где что горит. Однако в своем назначении у них есть нечто общее: со своего КП командир должен видеть местность как можно глубже и шире и управлять оттуда боевыми действиями войск, сам оставаясь невидимым со стороны противника.

Командный пункт генерала Качалова за эти два дня передвигался вперед дважды, а сейчас находился в лесу близ деревни Стодолище. Владимир Яковлевич до сегодняшнего утра был в общем-то доволен ходом наступления своей армейской группы. В первый же день боев, 23 июля, она таранным ударом отбросила передовые части немцев за реки Беличек и Стометь, заняв несколько деревень. Беспокоила только 104-я танковая дивизия полковника Буркова. Она увязла в боях за Ельню и поэтому до сих пор не вышла на указанные ей исходные рубежи.

Генерал Качалов сидел на тесовой скамеечке в мраке блиндажа, вырытого на опушке леса. Лес широкими крыльями размахнулся вправо и влево, выступая то вперед, то полуовалами и полукругами вгибаясь и выгибаясь, заполняя непролазным подлеском овраги и бугры. В блиндаже, рядом с генералом, стояла заляпанная глинистой землей тренога стереотрубы, глядевшая окулярами в узкий проем амбразуры.

В блиндаже было жарко и тускло. Вчерашний ливень сделал лес неуютным, хмурым. И было похоже, что небо вновь готовится щедро полить землю, хотя иногда из глуби облаков падали на поляны яркогорячие пятна солнечных лучей.

На столике в углу блиндажа пискнул зуммером телефонный аппарат. Боец-связист тут же откликнулся хрипло-басистым голосом:

— Есть, передать Первому! — И протянул генералу трубку с удлиненным шнуром.

Начальник штаба генерал-майор Егоров густым интеллигентным

голосом докладывал из Стодолища, что «коробочки» Буркова наконец-то вышли из боя и спешат «на свидание». Это значило, что 104-я танковая дивизия в районе Ельни оторвалась от противника и устремилась в район деревень Борисовочка, Ковали, чтобы прикрыть правый фланг наступающих стрелковых полков армейской группы Качалова и усилить темп продвижения к Починку.

Возвращая трубку телефонисту, Владимир Яковлевич будто воочию увидел танковую дивизию на марше: она, выдвинув вперед усиленную головную походную заставу, стремительно движется по разбитой и раскисшей дороге, ведущей в сторону Рославльского шоссе, а справа и слева от нее в пределах видимости калечат гусеницами поля боковые походные заставы — по танковому взводу в каждой. Сзади — нескончаемая, дымящая соляркой колонна танков... Силища, которая, несомненно, должна проломиться к Смоленску.

К просторному блиндажу Качалова примыкали два менее обширных блиндажа, также многослойно накрытых накатами из толстого, скрепленного железными скобами кругляка. В них трудилась оперативная группа — разведчики, операторы, представители родов войск. Там собирались все сведения, велась работа на картах.

Дыхание фронта ощущалось все явственнее и почти со всех сторон. Впереди и слева неумолчно клокотала орудийно-минометная пальба. Откуда-то с тыла доносился гул бомбежки — будто десятки кувалд били о землю, и она то однотонно стонала, то басисто вскрикивала... Потом гул бомбежки стал доноситься с северо-востока, и генерал Качалов понял, что немецкая авиаразведка заметила передвижение 104-й танковой дивизии.

В блиндаж неслышно вошел лейтенант из оперативного отдела и, не тревожа командующего, красным карандашом сделал отметки на его карте, значившие, что полки 149-й стрелковой дивизии вышли на рубеж Гута, северный берег речки Беличек, деревня Ворошилово и северный берег речки Стометь. Владимир Яковлевич, скосив глаза, оценил изменение обстановки. Но радоваться пока было нечему. Уж очень угрожающей была воображаемая линия, соединяющая захваченные немцами Великие Луки, Ярцево, Ельню. Его, Качалова, армейская группа уже, по существу, вела боевые действия в полуокружении; пробиваясь на северо-запад, она как бы еще глубже забиралась немцам под шкуру.

Телефонист опять притронулся трубкой к его плечу, хотя зуммера аппарата Владимир Яковлевич не слышал. Вновь звонил генерал-майор Егоров и докладывал, что в район действий 145-й стрелковой дивизии вышел представитель войсковой оперативной группы генерала Чумакова майор Рукатов и вывез с собой пароконную телегу, груженную мешками денег Белорусского банка.

— Утверждает, что лично знаком с вами,— сообщал Егоров.

— Ну и что, если знаком? Это не кадровик ли из Москвы? — безо всякого энтузиазма уточнял Качалов.— Но тот вроде был подполковником.

— Верно, бывший работник управления кадров.

— Чего он хочет?

— Требует, чтоб мы дали ему грузовик и охрану — везти деньги в штаб фронта.

— Ну пусть там ваши финансисты созвонятся с фронтом и решат.

— Владимир Яковлевич,— Егоров, кажется, говорил с трудом,— я тебе не доложил о самом главном и весьма неприятном...

Качалов знал, что, если уж начальник штаба переходил с ним на «ты», значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

— Докладывай,— спокойно потребовал Качалов.

— Немцы мышеловку нам устраивают... По показаниям пленных. Да и разведка наша подтверждает.

— Конкретнее!

— На подходе еще два их армейских корпуса. Причем один строго нацеливается на Рославль — нам в тыл,— уточнил Егоров.

— В штаб фронта сообщил сведения?

— Сообщил. Там пока не очень верят, но, насколько я понял, усилили авиаразведку.

— Пусть бы прикрыли наши тылы...

Владимиру Яковлевичу тоже не хотелось верить в столь серьезную угрозу, нависшую над его войсковой группой. Но тревоги не должны затмить надежду: ведь его дивизии взаимодействуют с огромной силищей — еще четырьмя группами. Да и конница Городовикова вот-вот должна ударить по тылам немцев.

Начальник штаба, понимая, что командующий размышляет над услышанным от него, некоторое время тоже молчал, а затем вновь напомнил о себе:

— Да, а как быть с этим Рукатовым? Ведь наши финансисты во втором эшелоне. Все равно нужно дать ему машину и охрану.

— Из вражеского тыла пробивался без охраны, а тут эскорт подавай?! — В словах Качалова сквозило раздражение.

— Вот он рядом со мной. Пусть сам и объяснит.

Качалов слышал, как генерал Егоров что-то говорил Рукатову, а затем донесся до Владимира Яковлевича полузабытый голос кадровика, с которым он не раз встречался и беседовал в Москве.

— Здравия желаю, Владимир Яковлевич! — нарочито бодро поздоровался Рукатов.— Благодарю вас за заботу и гостеприимство!

— В чем оно выразилось? — холодно спросил Качалов.

— Мы вышли к вам, как черти из болота! Нитки сухой на нас не было! И голодные, как волки!

— Переодели, накормили?

— Так точно. Все как полагается. А сейчас прошу машину и надежную охрану! — И Рукатов коротко рассказал о том, что случилось в его маленьком отряде в пути, и о том, что спас его, Рукатова, только случай: один из бойцов успел пристрелить негодяя-сержанта.

— Самосуд?! — насторожился Качалов.

— Что-то вроде этого! Но другого выхода не было.

— Передайте трубку генералу Егорову! — приказал Рукатову Владимир Яковлевич.— Все-таки примите сами вместе с финансистами деньги у Рукатова и отправьте их в штаб фронта. Рукатова же и его группу препоручите нашей прокуратуре. Пусть внимательно

разберутся. Они там учинили самосуд: расстреляли сержанта. Кому-то показалось или в самом деле так было, что сержант целился из автомата в Рукатова... Эдак можно пристрелить кого угодно: померещилось, мол, что целится не в немца, а в командира, вот я его и шлепнул... Надо снять дознание, и чтоб все было оформлено по строгим законам военного времени. Виновным — кара, безвинным — похвала, а то и награда.

Верные и мудрые слова... Только не предчувствовал генерал Качалов, что судьба, ослепленная войной, сбитая с толку кровавой суматохой, не пощадит и его самого, не призовет в свидетели правду и справедливость и позволит свершиться более страшному, чем сама смерть. Но это еще впереди; события вызревали грозно и неотвратимо.

27

Рослый и по-юношески стройный, с чуть лукавым и мудрым прищуром голубых глаз, с улыбчивыми, четко очерченными губами и щедрым перламутровым блеском зубов, да еще светлый высокий лоб и темно-русая густая шевелюра,— вот далеко не законченный портрет Рокоссовского Константина Константиновича. Однако броская мужская красота да кавалерийская выправка являлись далеко не главными достоинствами сорокапятилетнего генерал-майора. Наиболее привлекателен он был своей готовностью идти навстречу человеку, своим пониманием людей во всех разнообразностях их характеров и искренне-душевным расположением к тем, кто относился к воинской службе как к естественной жизни, а не к отбывке повинности... И ни тени рисовки или позерства в нем. Все это, вместе взятое, влекло к Рокоссовскому людей, как родниковая вода влечет к себе все живое.

Прошлое Константина Константиновича отличалось от прошлого его одногодков и соратников по службе в кавалерийских войсках, может, только некоторыми оттенками биографии. Родился он в Великих Луках — глубинке России. Отец его был по национальности поляк, работал железнодорожным машинистом, мать — простая русская женщина. Детство будущего полководца проходило в Варшаве, столице королевства Польского, бывшего западной окраиной Российской империи. Уже в четырнадцать лет Костя познал безотцовщину, а с ней — тяжкий труд чернорабочего, ткача, каменотеса.

Когда взревели пушки первой мировой войны, восемнадцатилетний Костя Рокоссовский добровольцем пошел в армию, попросился в кавалерию и стал унтер-офицером 5-го Каргопольского драгунского полка 5-й кавалерийской дивизии. И уже в первых боях показал себя отчаянным конником-рубакой, заслужив воинскую награду — Георгиевский крест.

Вступив в Красную Армию и став в 1919 году коммунистом, Рокоссовский участвовал в боях против гайдамаков, анархо-бандитских отрядов колчаковцев, семеновцев, громил беляков в Забайкалье, Приморье, в Монголии. За личную храбрость и высокие командирские

качества красный кавалерист Рокоссовский в годы гражданской войны был награжден двумя орденами Красного Знамени.

И позвала судьба Константина Константиновича на всю его жизнь остаться военным человеком — стражем Отечества...

А ведь покойный родитель Кости мечтал о том, чтоб сын пошел по его стопам — железнодорожного машиниста. Иногда в кругу семьи отец рассказывал о том, какая это великая профессия, как глубоко чувство восторга, особого душевного взлета, когда перед его паровозом вскидывалась плоская рука семафора, открывая путь к следующей станции и как бы делая на этой дороге его, машиниста, полновластным хозяином. Сын же, Костя, испытал нечто подобное, зашагав по ступеням военной службы в Красной Армии, достиг постов командира эскадрона, отдельного дивизиона, затем командира кавалерийского полка... Далее — учеба на курсах усовершенствования комсостава, через несколько лет — на курсах усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени Фрунзе... И ему казалось, что «семафор жизни» теперь никогда не опустится перед ним — заслуженным, обстрелянным, увенчанным высокими боевыми наградами и еще совсем молодым человеком. А когда назначили его командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии, воспринял это как высочайший взлет и особое доверие, понимая, что дивизия — это уже не эскадрон, а несколько полков конницы и артиллерии, и он в ответе за боевую выучку тысяч людей — красных воинов.

И уж такова логика жизни: если у тебя не закружилась голова от достигнутой и желанной высоты, если хмельно не замутился взор от блеска твоих воинских отличий — ты неистощим в командирском деле, неукротим в решении новых задач, и тогда, как оценка твоих достоинств, неизбежно наступает время, когда надо, по приказу свыше, браться за еще более ответственное дело... Правда, к этому времени в тебе уже могут быть притушены дающие усладу сердцу восторженность, чувство тщеславия, довольство собой. Каждая очередная учебная игра в поле, на командном пункте или за штабными столами может не восприниматься, как игра в смысле ее условности, а уже обязательно должны видеться за ней те трудные, кровавые схватки, которые рождаются в столкновении двух миров.

И разумеется, если расстанешься с родной дивизией, в выучку которой вложил немало сил, когда любое ее подразделение понятно и дорого тебе, как влюбленному в музыку настройщику пианино понятно и дорого звучание каждой струны от прикосновения к ней клавиша, трудно удержаться от тревоги в сердце. Но если тебя, Рокоссовского, назначают командиром кавалерийского, а потом механизированного корпуса, вчерашние тревоги уходят с вчерашним днем и рождаются новые заботы, сменяя друг друга с той естественностью, как сменяются времена года.

Случалось, что в привычное и хлопотливое течение жизни врывалась беда, потрясая своей неожиданностью и своей сущностью. Так произошло в 1937 году. Необоснованный арест, вздорные обвинения в шпионаже на иностранную разведку. Но Константина Рокоссовского они не сломили, не поселили в его сердце злобу и обиду. Он хорошо

понимал глубинный смысл происходящего и боролся за свою судьбу, за товарищей с тем упорством и с той твердой целеустремленностью, какие проявились у него еще в годы гражданской войны...

Запомнилась ему с молодой поры где-то прочитанная мысль о том, что подражать — не значит копировать; это значит работать на манер великих мастеров, это — упражнять свою собственную деятельность, это — производить в их духе и подобными же средствами. И зажила в нем эта мысль, будто вычеканенная в мозгу светящимися словами. Дело в том, что, когда в начале тридцатых годов он командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, она входила в состав 3-го кавалерийского корпуса, командиром которого был Тимошенко. И Рокоссовский не раз ловил себя на мысли, что в повседневном обращении с подчиненными или на войсковых учениях он с каким-то внутренним постоянством стремился походить на командира корпуса. А когда позже сам стал командиром корпуса — 5-го кавалерийского, то уже не представлял своего внутреннего мира, чтобы не звучал в нем наставляющий голос Тимошенко, а со временем — еще и Георгия Жукова, под командование которого впервые попал он в канун освободительного похода в Бессарабию войск Киевского военного округа.

И речь здесь идет не о каком-то слепом подражании, а о том, что он, Константин Рокоссовский, как бы одинаково со своими военно-духовными наставниками чувствовал под ногами земную твердь и умел со своей командирской вышки устремлять мысленный взгляд в далекие окружности, увидев на огромных просторах неприятельские и свои войска, конфигурации разделяющих их линий, оценив соотношение сил и пусть даже сомневаясь, принимать решения, которые для подчиненных будут казаться единственно правильными. Мужество, твердость характера — вот что роднило его с Тимошенко и Жуковым. При этом Рокоссовский остался во многом совершенно не похожим на них: в манере рассуждать и убеждать, в умении создавать вокруг себя особую атмосферу доверчивости, заинтересованности — тоже без нервозности и напряженности. Он всегда был самим собой — Константином Рокоссовским.

В один из дней первой половины июля 1941 года, когда начальник Генерального штаба Жуков докладывал в Ставке Верховного Командования очередную сводку боевых действий на советско-германском фронте, Сталин завел неожиданный разговор:

— Товарищ Жуков, в боях под Луцком и Новоград-Волынским особо отличился девятый механизированный корпус.— Голос Сталина звучал ровно и утвердительно.— И мы многих командиров и политработников, в том числе и командира корпуса, наградили орденами...

— Так точно, товарищ Сталин,— подтвердил Жуков.

— И вы часто,— продолжил Сталин,— обозревая события на Юго-Западном фронте, подчеркиваете удачные боевые действия девятого механизированного корпуса. Он действительно лучший наш корпус?

— Дерется уверенно, товарищ Сталин. В пятой армии — это главная ударная сила...— ответил Жуков.— Хорошая подвижность в маневре, осмотрительное прикрытие флангов. Ну и стойкость в обороне...

— Если мне не изменяет память, командует девятым корпусом генерал Рокоссовский?

— Так точно, товарищ Сталин.

— Тот самый Рокоссовский, о котором вы с Тимошенко писали мне, что он необоснованно был репрессирован?

— Так точно, тот самый. Как видите, мы не ошиблись.

— Вижу,— со строгостью в голосе согласился Сталин, кинув вопросительный взгляд на сидевших за длинным столом Молотова и Кузнецова — наркома Военно-Морского Флота.— Вы оказались правы... И сейчас я вот о чем думаю: у нас самое неустойчивое положение в районе Смоленска. Немцы прорвались к Ярцеву, нацеливаются на Вязьму. Это уже непосредственная угроза Москве. Не перебросить ли нам Рокоссовского под Ярцево?

— Нельзя, товарищ Сталин. Этим мы обескровим пятую армию, откроем немцам путь на Житомир и Киев,— подавленно возразил Жуков.— Никак нельзя...

— Вы меня неправильно поняли.— Сталин привычно для всех стал набивать трубку, предварительно вышелушив табак из двух папирос «Герцоговина-Флор».— Я имею в виду самого Рокоссовского. Надо назначить его командующим армией и поставить перед ним задачу не пустить немцев в Ярцево и не дать им форсировать Вопь.

Жуков молча смотрел на Сталина, углубившись в какую-то мысль.

— Почему молчите? — требовательно спросил у него Сталин.— Или вы не согласны, что Западному фронту надо помогать не только резервами войск и техники, но и надежными, толковыми командными кадрами?

— Согласен... Рокоссовского мы найдем кем заменить на Юго-Западном... Но где мы возьмем для него армию на Западном?.. Сместить кого-нибудь из командующих резервными армиями?

— Нет! — твердо возразил Сталин.— Над этим пусть думает Тимошенко. Надо приводить в порядок войска, выходящие из окружения... Группировать их надо! И изъять часть сил у девятнадцатой армии... Она ведь распадается!

— Возражений нет,— коротко ответил Жуков как о решенном вопросе.

— Нет возражений? — Сталин посмотрел на Молотова и Кузнецова.— А вопросы?

— Есть вопрос, товарищ Сталин,— с улыбкой вдруг сказал Молотов.— Давно собираюсь спросить у тебя: зачем ты потрошишь папиросы? Почему не распорядишься, чтоб этот табак доставляли тебе в натуральном виде?..

— Можно, конечно... Можно распорядиться, чтоб и трубку набивали и раскуривали ее. Но зачем? Набить трубку табаком —

это приятный, так сказать, ритуал... Не работа для пальцев, а активизация работы мысли.

— Ясно.— Молотов тихо засмеялся.— Ты из трубки мысли высасываешь.

— А ты полагал, что из пальцев? — Глаза Сталина при зажженной спичке вспыхнули молодым лукавством.— Вот сейчас, например, у меня родился вопрос о наших проблемах международного порядка, которыми заправляет товарищ Молотов... Как там они у нас?

— На должном уровне,— в тон Сталину ответил Молотов.— Особенно после того, как Председатель Совнаркома СССР товарищ Сталин дважды — 8 и 10 июля — принял английского посла в Советском Союзе Стаффорда Криппса и вместе с наркомом иностранных дел товарищем Молотовым вел с послом переговоры. В последние дни наркомат иностранных дел готовил и предварительно согласовывал с английским посольством проект соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против фашистской Германии... Как условились, сегодня будем подписывать.— И Молотов, раскрыв оклеенную красным шелком папку, придвинул ее к краю стола, поближе к Сталину.

— Мне разрешите отбыть? — спросил Жуков, приняв стойку «смирно».

— И мне? — из-за стола поднялся Кузнецов.

Сталин, вынув изо рта трубку, в знак согласия кивнул им.

28

Полог у палатки был откинут, и сквозь вход виднелся в синем сумраке лес. Рокоссовский лежал на узкой железной кровати с тощим матрасом, покрытым плащ-накидкой, натянув на себя колючее грубошерстное одеяло, и смотрел в лес. Проснулся он внезапно, как от толчка, хотя чувствовал себя невыспавшимся. Можно б еще поспать: утро было где-то еще на востоке, а здесь рассвет только начинал вытеснять из леса ночь. Но сон уже не шел к Константину Константиновичу, и он, отбросив одеяло, рывком поднялся с кровати. Опустил ноги — и будто обжегся: трава в палатке была росной, холодной, а сегодня генерал спал разувшись, чтоб дать отдых ногам. И он опять лег, накрывшись одеялом: «Ну еще пяток минут...»

Роса на траве будто прояснила его мысли: всплыл в памяти виденный странный сон...

Уже пошла вторая неделя с тех пор, как генерал-майор Рокоссовский встретил на развилке Минской магистрали и короткой дороги на Вязьму раненого генерала Чумакова, а разговор с ним не забывался. Часто вспоминался Константину Константиновичу ответ Чумакова на вопрос о том, какой главный опыт вынес он из боев. Тогда слова его показались наполненными самым элементарным смыслом: «...Максимум сил для противотанковой обороны и обязательное наличие хоть каких-нибудь артиллерийско-противотанковых резервов... Ну и связь...» А сегодня эти слова пригрезились ему

во сне, но произнес их почему-то не генерал Чумаков, а покойный отец, Ксаверий Юзеф. И это было до невероятности странным, ибо отец, сколько ни являлся к нему во сне, всегда был безмолвным, хотя в глазах его постоянно светился невысказанный укор. Константин Константинович очень хорошо понимал, в чем упрекал его покойный отец, и просыпался с чувством неискупимой вины перед ним, с тяжелым, тоскливо ноющим сердцем. Ведь действительно он, урожденный Константин Ксаверьевич, сам того не желая, в 20-х годах переменил отчество на Константинович — для упрощения, ибо во всякого рода документах имя Ксаверий то и дело перевиралось, писалось неправильно. А однажды в какой-то бумаге назвали его Константином Константиновичем, и он наконец смирился с этим, перестав и сам именовать себя Ксаверьевичем.

А когда прошли годы и он поднялся до новых вершин мудрости, когда понял, что имя хорошего отца, как и матери, священно, тогда словно прозрел, стал чувствовать вину перед отцом, и укоряющие мысли об этом часто переносились в сновидения, воскрешая в затуманенной сном памяти далекий, полузабытый образ отца.

Генерал Рокоссовский не был суеверным человеком, не верил ни в дурные приметы, ни в вещие сны, однако сегодняшний сон почему-то встревожил его, посеял смуту в сердце и заставил мысленно оглядеться, откуда можно ждать беды. А ждать ее здесь надо было каждый день, каждый час, он понимал это, зная, что стоит со своим войском на самом главном острие войны.

И будто увидел сквозь недалекое расстояние древний, овеянный легендами, составлявшими военную историю России, Смоленск. И сейчас, в это смертное время, Смоленск величаво, как могучий, вросший в глубь России утес, стоял на самой яростной стремнине вражеского нашествия. Стоял и сражался, стоял и, сражаясь, звал себе на помощь близкие и дальние земли России...

Вчера вечером из 16-й армии генерала Лукина вернулся офицер связи капитан Безусов. Усталое, блеклое лицо его с глубоко запавшими коричневыми глазами было взволнованным и в то же время по-особому одухотворенным. Константин Константинович знал, что на недалеких соловьевской и радчинской переправах через Днепр не прекращалось кровавое столпотворение тысяч машин и десятков тысяч людей — раненых, беженцев, окруженцев, и догадывался, что капитан Безусов, пройдя под непрерывной бомбежкой и непрестанным артиллерийским обстрелом одну из этих узких, страшных теснин, сейчас чувствовал себя человеком удачливой военной судьбы и словно вернувшимся с того света. Когда капитан Безусов сбивчиво докладывал о виденном им в Смоленске и в частях армии генерала Лукина, Рокоссовскому почудилось, что это лично он побывал в том сражающемся древнем русском городе и, как и капитан Безусов, испытывал то душевное потрясение, которое сродни некоему гордому «вознесению духа», трепетной взволнованности, рождающимся только при виде чего-то величественно-грандиозного, трудно поддающегося осмыслению, а тем более описанию.

Капитан привез с собой и копию боевого донесения штаба 16-й армии в штаб фронта, напечатанную под избитую копирку, однако легко читаемую. Генерал Лукин тоже не без взволнованности писал:

«С 25 на 26 июля противник решил усилить гарнизон г. Смоленска. 137-я пехотная дивизия 8-го армейского корпуса немцев прорвалась по северному берегу Днепра и приготовилась нанести удар по тылам 152-й стрелковой дивизии, наступавшей с запада на Заднепровье г. Смоленска. Командир 152-й стрелковой дивизии полковник П. Н. Чернышев проявил осмотрительность. Наступая двумя полками, он оставил два полка в резерве (один из них сформирован из отбившихся частей 19-й и 20-й и других армий под командованием полковника Александрова). Рано утром разведка донесла, что большие колонны пехоты противника, орудий и машин сосредоточиваются невдалеке от переднего края нашего 644-го стрелкового полка в редком лесу, что западнее Смоленска. Полковник Чернышев, выждав удобный момент, четырьмя артиллерийскими полками, двумя дивизионами и двумя полками артиллерии резерва Главного Командования и сдвоенными и счетверенными зенитными пулеметами, установленными на машинах, одновременно открыл ураганный огонь по заранее пристрелянным квадратам. В лагере противника началась невероятная паника.

646-й стрелковый полк под командованием майора Алахвердяна и «сборный» стрелковый полк под командованием полковника Александрова, упредив противника в развертывании, перешли в наступление. Бой был коротким, но по последствиям для противника печальным. Это действительно была 137-я пехотная дивизия 8-го армейского корпуса 9-й армии, укомплектованная австрийцами.

Захвачены богатые трофеи и более трехсот человек пленных. Многие наши воины вооружились немецкими автоматами, которые очень пригодились впоследствии...»

Далее генерал Лукин докладывал в штаб фронта, что ощутимую помощь армии начали оказывать партизаны, проявляя при этом невиданную дерзость, героизм и умение сочетать свои действия с действиями войск. Командует партизанским отрядом присланный из Москвы Батя — Коляда Никифор Захарович, человек необычайной храбрости и мужества.

Упоминание в донесении имени Никифора Коляды всколыхнуло память Рокоссовского, устремив ее в дальние годы гражданской войны, когда командовал он 35-м кавалерийским полком, входившим в состав 35-й стрелковой дивизии. Тогда полк Рокоссовского прикрывал в районе станицы Желтуринской участок советско-монгольской границы от набегов банды атамана Сухарева и крупных конных белогвардейских сил барона Унгерна. Вот тогда и был он наслышан об одном из руководителей партизанского движения в Приморье Никифоре Захаровиче Коляде. Особенно пространно рассказывал о нем Петр Щетинкин, который тоже возглавлял партизанское движение, но в Сибири. Во время боев с войсками Унгерна отряд

Щетинкина был объединен с его, Рокоссовского, кавалерийским полком... Кстати, тогда же, когда Щетинкина и Рокоссовского за проявленные отличия в бою у станицы Желтуринской наградили орденами Красного Знамени, родилась легенда, будто барона фон Унгерна захватил в плен именно он, Константин Рокоссовский, и ему пришлось даже письменно доказывать, что это не так. Главаря белогвардейских банд пленили бойцы монгольской Народно-революционной армии и передали его партизанам Щетинкина, а Рокоссовский, допросив Унгерна, приказал отправить его в Новосибирск, где барон был судим ревтрибуналом и расстрелян.

Потом, в конце 20-х годов, Петр Щетинкин был инструктором монгольских пограничных войск, а он, Рокоссовский, инструктором монгольской кавалерийской дивизии. Тогда Щетинкин и умер — в присутствии его, Рокоссовского... А сегодня воскрес в памяти, встав рядом с вожаком когда-то приморских, а сейчас смоленских партизан Никифором Колядой.

Да, война есть суд силы. Давно истлели кости Унгерна, фон Штернберга — прибалтийского немца, который набегами с востока пытался уничтожить Советскую власть. А сегодня с запада штурмует центр России 9-й и 4-й полевыми армиями, 2-й и 3-й танковыми группами немецкий фельдмаршал фон Бок. И ему, Рокоссовскому, приказано остановить на самом главном направлении 3-ю танковую группу Гота.

На самом главном... Ярцево, река Вопь и магистраль Минск — Москва. Именно сюда нацелен стальной наконечник могучей стрелы бронетанкового лука передовых ударных войск немецко-фашистской группы армий «Центр». Это хорошо уяснил генерал-майор Рокоссовский еще там, в Касне, где располагается штаб Западного фронта, когда он явился к маршалу Тимошенко. В кабинете главнокомандующего застал члена Военного совета фронта Булганина и начальника политуправления Лестева. Лица у всех были хмурыми, озабоченными. Заулыбался при появлении Рокоссовского только Тимошенко, выразив ему свои давние симпатии и крепким рукопожатием, когда тот доложил о своем прибытии «для дальнейшего прохождения службы». Встретились ведь бывшие кавалеристы-сослуживцы. С этого и начал разговор Тимошенко:

— Забудь, конник, былую тактику. Тебе предстоит задача сразиться с крупными танковыми и моторизованными соединениями врага.— И далее кратко обрисовал обстановку на Западном фронте. Ее суть, как понял генерал Рокоссовский, сводилась к тому, что центральная группа армий противника прорвала на нескольких участках фронт нашей обороны, устремилась в глубь советской территории, имея главную задачу окружить или уничтожить соединения Красной Армии в районах Невеля, Смоленска и Могилева. Многого немцы уже достигли и, полагая, что на московском стратегическом направлении войска Красной Армии обескровлены окончательно, решили, не дожидаясь полного подхода своих полевых армий, скованных боями с нашими войсками западнее Минска, силами 2-й и 3-й танковых

групп рассечь войска Западного фронта на нескольких направлениях и устремиться к Москве.

Когда Рокоссовский побывал в оперативном и разведывательном отделах штаба, настроение его ухудшилось: ощутилась нервозность работников отделов оттого, что была утрачена связь с 19-й армией Конева и 22-й Ершакова. Кое-какие горячие головы уже грозили генералу Коневу ревтрибуналом, хотя было неизвестно, что происходило в полосе его армии.

Хождения по отделам штаба прервали сигналы воздушной тревоги. А затем началась бомбежка — массированная и длительная. Немцам удалось частично подавить батареи зенитной артиллерии, прикрывавшие расположение штаба фронта, и их бомбардировщики нагло пикировали на здания, землянки, машины... Ничего подобного в своей жизни генерал Рокоссовский еще не переживал... Штаб понес тяжелые потери.

Когда ехал в направлении Вязьмы, в памяти звучали слова маршала Тимошенко, сказанные на прощание: «Подойдут регулярные подкрепления — дадим тебе две-три дивизии, а пока подчиняй себе любые части и соединения для организации противодействия врагу на ярцевском рубеже». И маршал вручил документ, в котором указывалось, что ему, генерал-майору Рокоссовскому, даны полномочия приказывать от имени Военного совета Западного фронта.

Это, кажется, был один из последних документов, на котором перед фамилией Тимошенко или на его именном бланке значилось: «Народный комиссар обороны СССР», ибо через два дня Политбюро ЦК эту должность возложило на Сталина, сосредоточив усилия маршала Тимошенко на Западном направлении, как главнокомандующего.

За Вязьмой магистраль Минск — Москва с наступлением ночи делалась все оживленнее — никто не опасался налета немецких бомбардировщиков. Но зато все чаще останавливалась группа машин, которую возглавлял в закамуфлированном легковом автомобиле ЗИС-101 генерал Рокоссовский. В кабине следовавшего сзади грузовика ехал начальник штаба подполковник Тарасов Сергей Павлович, а в кузове, как и в машинах со счетверенными пулеметами, до двух десятков командиров; для половины из них армейское дело являлось главной профессией — все они закончили Военную академию имени Фрунзе. Это и был штаб создававшейся оперативной группы войск генерал-майора Рокоссовского.

Здесь, на магистрали Минск — Москва, штаб начал свою боевую деятельность, приостановив движение пеших и автоколонн, будто перекрыв могучей плотиной реку. Сам Рокоссовский и командиры его штаба тут же на шоссе определяли, чтó за подразделения движутся в сторону Вязьмы. Это были остатки растрепанных немцами наших воинских частей или вырвавшиеся из окружения группы, либо просто одиночки, отбившиеся от своих подразделений. Среди них назначались старшие, записывались их фамилии и номера частей,

в которых они до этого служили, и на их картах точно указывались места, куда они должны немедленно следовать. Места эти находились в лесах близ реки Вопь, справа и слева от магистрали Минск — Москва, и недалеко от Ярцева. У кого не было карт, им тут же на чистом листе бумаги рисовали кроки — соответствующую карте схему с обозначением ориентиров. Каждый из старших обязан был по прибытии в указанное место лично доложить об этом в штаб Рокоссовского...

И к утру от Вязьмы до Ярцева живая людская река будто потекла вспять. Только машины с ранеными да беженцы продолжали двигаться навстречу изменившему направление потоку.

Как и полагал генерал Рокоссовский, не могло быть совсем не прикрытым главное место, через которое враг рвался к Москве. К приезду Константина Константиновича в районе Ярцева на Вопи уже оборонялась прибывшая из Северо-Кавказского военного округа 101-я танковая дивизия Героя Советского Союза полковника Г. М. Михайлова. Восточнее Ярцева закопалась в землю 38-я стрелковая дивизия полковника М. Г. Кириллова, ранее входившая в состав 19-й армии (при отступлении она потеряла связь со штабом генерала Конева). Южнее Ярцева оборонял днепровские переправы сводный отряд полковника Лизюкова Александра Ильича. А в подступавших к Вопи лесах накапливались подразделения, которые были остановлены на магистрали Минск — Москва между Вязьмой и Ярцевом. Сила эта немалая, если учитывать полнокровность той же 101-й танковой дивизии. В ее двух танковых и двух мотострелковых полках насчитывалось вместе с резервом командира дивизии 415 танков, хотя 318 из них были легкими и устаревшими. Резерв командира дивизии состоял из пяти тяжелых машин «Клим Ворошилов» (КВ) и десяти — Т-34. В дивизии кроме танковых и мотострелковых полков были еще два артиллерийских полка, отдельный зенитный артиллерийский дивизион, отдельный разведывательный и отдельный инженерный батальоны...

Не удержаться бы советским войскам на Вопи, если б не было там этих внушительных сил, когда враг, форсировав реку, овладел Ярцевом. Здесь наносили удары танковые соединения Гота, а также 7-я и 12-я танковые дивизии, моторизованные части из танковой группы Гудериана и воздушный десант, выброшенный северо-западнее Ярцева. Каждый день враг переходил в наступление, сопровождая его могучими бомбовыми ударами и шквалами артиллерийско-минометного огня.

Стойко оборонялись войска группы генерала Рокоссовского. Этому способствовало не одно лишь их упорство, но и умелая расстановка сил, своевременный и точный маневр огневыми средствами. Сказалось и то обстоятельство, что почти заново сформировался штаб группы: командование фронта прислало в распоряжение Рокоссовского полный состав штаба 7-го механизированного корпуса со всеми отделами и техническими средствами. Корпусом командовал генерал Виноградов Василий Иванович — ветеран гражданской войны, опытный войсковик, особо отличившийся в советско-

финляндской войне. Энергичный и целеустремленный, он стал заместителем Рокоссовского. Штаб же группы возглавил полковник Малинин Михаил Сергеевич. После окончания в 1931 году Военной академии имени Фрунзе он был на штабной и на преподавательской работе и знал штабное дело на всю глубину его сложностей. Рокоссовскому будто стало легче дышать при столь ощутимом подкреплении.

27 июля, когда противник крупной танковой колонной пытался в районе Соловьева смять нашу оборону и захватить плацдарм на восточном берегу Днепра, вовремя подошла 108-я стрелковая дивизия полковника Миронова из 44-го стрелкового корпуса и, с ходу вступив в бой, помогла отбросить и частично уничтожить вражеские танки. В этот же день главнокомандующий Западным направлением подчинил 44-й стрелковый корпус генерал-майора Юшкевича Василия Александровича генералу Рокоссовскому.

И вот 28 июля первый наступательный бой с самыми серьезными целями — то самое сражение, которое планировалось маршалом Тимошенко как составная часть удара пяти армейских групп в направлении Смоленска. Наносить удар раньше было невозможно: немцы рвались к Вязьме, и Рокоссовскому приходилось только обороняться...

Мысль о начале наступательной операции будто опалила Константина Константиновича, и он рывком поднялся с неуютной постели.

— Хватит обороняться! — сказал он сам себе и начал обувать сапоги.

29

Солнце еще не опалило верхушек елей и сосен, поднимаясь в далеких далях над горизонтом, зашторенным грядами невидимых облаков. Но уже было светло, особенно там, впереди, где на окраинах Ярцева, среди крошева камня и земли, таилась первая линия немецкой обороны. Генерал Рокоссовский неотрывно глядел в стереотрубу, закрепленную на деревянной площадке наблюдательного пункта, вознесенной к самой вершине вековой ели, недалеко от опушки. Лес могучими массивами теснился к Ярцеву, нависая с двух сторон города над Вопью, окаймленной кудрявым ивняком. Справа виднелась черная насыпь железной дороги на Вязьму, а чуть дальше за ней — серая лента пустынной автомагистрали... Как застывшая река. И все вокруг казалось застывшим. Даже верхушки деревьев. Будто ветер затаил дыхание или вовсе умчался из этих мест. Было непривычно: в окулярах стереотрубы не колыхалась, как всегда, земля со всем тем, что было на ней. Ярцево совсем близко от наблюдательного пункта командира 101-й танковой дивизии, куда забрался по высокой, прочной, грубо сколоченной лестнице генерал Рокоссовский. Рядом еще одна площадка на дереве: там застыл у стереотрубы командир дивизии.

Город напоминал Константину Константиновичу гигантское заброшенное и захламленное кладбище. Сколько охватывал взгляд,

везде высились печные трубы сгоревших или разрушенных домов. И будто донесся от них запах гари, хотя воздух был неподвижен, чист и звучен. Темные, закопченные трубы походили на каменные надгробия. В чем же секрет их прочности?

Над нашим передним краем вдруг взмыли в небо красные ракеты, чертившие дуги, склоненные в сторону противника. И в это время где-то сзади, в гигантских далях, выглянуло из-за стены облаков солнце, высветив Ярцево и курчавые кусты зелени над Вопью. А ближе к лесу, вправо и влево, широко распахнулась густая тень от деревьев, словно для того, чтобы незаметнее были исходные позиции наших танковых полков.

Константин Константинович разглядел, как в этой тени падали наземь ветви кустов, обнажая танки... Много танков! Все они почти одновременно выдохнули черно-сизые облака дыма и стронулись с места.

Полки наступали боевым порядком в линию рот, в два эшелона. С началом танковой атаки ударили по заранее разведанным огневым точкам и позициям наши артиллерия и минометы... Поднялись пехотные батальоны 38-й стрелковой дивизии. И оттуда, где все пришло в движение, вдруг упругой волной пахнул в лицо ветерок; колыхнулись верхушки деревьев, заскрипел под ногами настил наблюдательного пункта, а в окулярах стереотрубы поле боя начало то чуть вздыбливаться в небо, то опускаться вниз. Генерал Рокоссовский плотно прижался бровями к резиновым наглазникам окуляров и опытной рукой притронулся к механизму вертикальной наводки. И на какие-то мгновения ему почудилось, будто не танки и пехота приближались к окраинам Ярцева, а он вместе с наблюдательным пунктом и всем лесом медленно уплывал назад.

Немцы недавно форсировали Вопь и, захватив Ярцево, все предыдущие дни атаковали нашу оборону, выискивали в ней слабые места и готовились к решительному броску в направлении Москвы. Атака советских войск никак не предвиделась ими и оказалась оглушительно-неожиданной, как выстрел из-за угла. Об этом свидетельствовали отсутствие какое-то время ответного огня со стороны противника и мертвая неподвижность в его расположении. Но так длилось недолго.

С вершины ели хорошо было видно, как вдруг обозначились окопы переднего края немцев: там замигали вспышки начавших стрельбу пулеметов и автоматов; стремительно полетели, чертя светящиеся, чуть изогнутые пунктирные линии, трассирующие пули крупнокалиберных пулеметов, стрелявших сквозь отдушины фундаментов разрушенных домов, из-за печных труб, еще откуда-то. Из развалин ударили по танкам пушки, стоявшие на прямой наводке. Одна из них от прямого попадания нашего снаряда вдруг вздыбилась на станины, несколько мгновений постояла на них, будто на железных ногах, и тут же бесформенной грудой рухнула навзничь, откинув в сторону броневой щит и разметав вокруг себя прислугу.

А вот загорелся наш легкий танк. Из его верхнего люка один за другим проворно выскочил экипаж — три фигурки в черных комби-

незонах. Отбежав в стороны, танкисты упали на землю, и это было вовремя: подбитый танк вдруг взметнул над собой огонь и облако дыма. С удивительной легкостью слетела с него башня, похожая издали на шляпу, сорванную ветром с чьей-то головы.

Передние танковые роты ворвались в Ярцево и попали под огонь вышедших им навстречу немецких танков. Все больше загоралось или останавливалось подбитыми наших легких броневых машин на гусеницах — Т-26 и БТ-7. Зато тридцатьчетверки и КВ были пока неуязвимыми. Рокоссовский уцепился взглядом в передний КВ, который, подминая груды развалин, безостановочно шел посреди улицы, пересекавшей город вплоть до Вопи, и непрерывно стрелял из пушки и пулеметов. Почти каждый его снаряд находил и поражал цель. В ответ откуда-то по этому КВ открыли огонь несколько немецких танков и орудий. Было видно, что их снаряды отскакивали от брони тяжелой машины, как огневые мячи, или, если это были болванки, увязали в толще металла, оставаясь торчать в ней надломленными зубьями.

Поле боя все больше покрывалось столбами черного, вьющегося в небо дыма. Стелилась по земле копоть, заволакивая Ярцево, из которого стал поспешно удирать за Вопь противник.

До слуха Константина Константиновича доносились команды полковника Михайлова, который с соседней площадки командного пункта по рации приказывал командиру 203-го танкового полка майору Мозговому и командиру вырвавшейся вперед танковой роты лейтенанту Королькову * захватить мосты через Вопь, закрепиться на правом берегу реки и обеспечить пехоте овладение плацдармами. Видимо, Мозговой просил подавить артиллерийским огнем батареи противника, стрелявшие по танкам с высоты за Вопью и за автомагистралью. На высоте виднелись остатки сгоревших домов поселка Сапрыкино. Рокоссовскому хорошо было видно, как там взвихривалась перед немецкими пушками после каждого их выстрела пыль.

— Сейчас обработаем Сапрыкино! — с угрозой в голосе пообещал кому-то полковник Михайлов.

В это время кто-то подал голос с земли, обращаясь к Рокоссовскому:

— Товарищ генерал, вас просят немедленно прибыть в ваш штаб!

«Что-то случилось... Где-то прорыв...» Сердце Рокоссовского екнуло, и он торопливо стал спускаться по лестнице вниз.

А между тем бой за Ярцево продолжался. Дорого давался 101-й танковой и 38-й стрелковой дивизиям этот город, зажатый лесами между Смоленском и Вязьмой. Горели или намертво останавливались подбитые снарядами десятки наших танков, все гуще покрывались трупами бойцов улицы Ярцева. Еще бо́льшие потери нес враг, застигнутый врасплох ударом дивизий армейской группы генерала Рокоссовского.

---

* Ныне офицер запаса Н. В. Корольков живет в Воронеже. *(Прим. авт.)*

Лейтенант Николай Корольков, находясь в танке Т-26, вел свою танковую роту, как и приказал командир батальона, во втором эшелоне. Экипаж у него пусть не очень обстрелянный (это всего лишь второй их бой), но обучен и натренирован как следует. В танке были трое: кроме него, Королькова, механик-водитель сержант Сорокин и башенный стрелок-заряжающий сержант Якушев. В первые же минуты боя Корольков видел сквозь смотровую щель, как все чаще останавливались танки первой и третьей рот, шедших в первом эшелоне. Страшно было осознавать, что во вспыхивающих машинах погибали твои товарищи-сослуживцы...

В боевом порядке наступающего батальона все больше появлялось неприкрытых прогалин. Надо было ускорять ход. Внутри танка Королькова удушье от сгоревшего пороха и от пыли — нечем было дышать. Т-26 трясло, подбрасывало, кренило в разные стороны от всего, что оказывалось под гусеницами. Но танковая сорокапятка без устали поплевывала снарядами. Вот и сейчас Корольков увидел, как из-за развалин дома вышли во фланг первой линии наших атакующих машин четыре немецких танка.

— Бронебойным заряжай! — отрывисто скомандовал лейтенант.

— Бронебойный готов! — хрипло откликнулся сержант Якушев.

Как только немецкий танк оказывается в перекрестии прицела, Корольков тотчас же стреляет из пушки. Снаряд точно попадает в смотровую щель танка, и тот, словно что-то проглотив, судорожно дергается и замирает на месте. Шедший сзади него танк свернул чуть в сторону, подставив бок под очередной выстрел пушки Королькова. Тут же закружился, подбитый бронебойным снарядом. Из него выскочили танкисты, приняв на себя пулеметные очереди... Остальные два танка задним ходом попятились за укрытие.

КВ командира полка майора Мозгового вырвался несколько вперед продолжавших атаку наших танков, и фашисты сосредоточили по нему шквальный огонь. Метко стреляли немцы: раз за разом вспыхивали густые снопы искр и всплескивалось пламя на башне тяжелого танка от попадавших в нее снарядов. Но броня КВ не поддавалась.

Так уж случилось, что сержант Сорокин неотступно вел машину лейтенанта Королькова за тяжелым танком командира полка, а это значило, что чуть сзади, справа и слева, двигались танки его роты.

Мосты через Вопь немцы не успели подготовить к взрыву. У них ведь и в мыслях не было, что русские могут вторгнуться в Ярцево. Это позволило нашим танкам, смяв боевые порядки немецких подразделений и протаранив развалины города, оказаться вскоре за Вопью, преодолеть у станции Ярцево насыпь железной дороги и достичь автомагистрали Минск — Москва севернее совхоза «Первомайский».

На шоссе танк Мозгового остановился — очень уж выгодная позиция: крутая насыпь за кюветом укрывала нижнюю часть машины, а из башни хорошо просматривался поселок Сапрыкино, и можно было прицельно бить по стоявшим там немецким батареям и скапливающимся танкам. Лейтенант Корольков тоже приказал Сорокину

остановить танк на автостраде. Справа и слева встали и другие наши танки. Огонь их по Сапрыкину был густым и губительным.

Сзади часто заухали взрывы мин. Значит, минометные батареи немцев где-то рядом, если бьют с перелетом. Надо было держать ухо востро, не прекращать огня. Но дым от горящих наших и немецких танков, пыль, поднятая гусеницами, взрывами снарядов, мин и выстрелами танковых пушек, ослепляли Королькова. Часто приходилось стрелять наугад — по любому темному пятну, которое вдруг показывалось сквозь редеющую временами дымную и пыльную завесу.

По велению какой-то тревоги Корольков открыл крышку башни и увидел в небе большую группу бомбардировщиков. Тяжело гудя моторами, они шли со стороны Смоленска. «Юнкерсы»!

Страх холодной шваброй прошелся по спине. В сердце стало тоскливо, а мозг будто вдруг воспалился, суматошно требуя что-то предпринять. Лейтенант огляделся по сторонам и только сейчас заметил, что автомагистраль справа и слева загромождена разбитыми и сгоревшими немецкими танками, грузовиками, тракторами-тягачами. Как успели засечь их наши артиллеристы и накрыть столь плотным огнем? И как майор Мозговой с ходу нашел свободное место на шоссе, чтоб так удачно поставить свой танк и дать пример командирам других экипажей? Во всяком случае, ситуация до сих пор работала против гитлеровцев: ты для их наземного огня почти неуязвим, а перед тобой все пространство заполнено целями, которые можно поражать. Но стрелять больше нельзя. Сверху сразу же станет видно, где чьи войска. Стрелять — значит заведомо подставить себя под бомбовый груз «юнкерсов». Страшно! Страшно от своей неподвижности и оттого, что ты виден с воздуха и представляешь собой и своим танком заманчивую мишень для удара. Уклониться от него невозможно. Только брезжила слабая надежда на то, что немецкие летчики промахнутся или позарятся на какие-то другие цели. Корольков начал считать самолеты и сбился со счета на шестом десятке, как раз в тот момент, когда из района поселка Сапрыкино взметнулись в задымленное небо три зеленые ракеты. Это немцы указывали с земли своим летчикам, в каком направлении надо обрушивать бомбовый груз.

Лейтенант Корольков тут же заорал сержанту Сорокину, который в это время, как загнанный пес, учащенно дышал хлынувшим в открытый передний люк воздухом, не столь раскаленным, как внутри танка:

— Сорокин! Давай три зеленые ракеты вперед себя! В сторону фашистов.

Сорокин — парень сообразительный и проворный. Тут же, схватив из зажима на боковой стенке ракетницу, мгновенно зарядил ее патроном с зеленым пыжом и, высунув руку в открытый люк, пальнул в небо — в направлении поселка Сапрыкино. Затем еще дважды... Его примеру последовали другие экипажи полка майора Мозгового: в вышину взвились еще с десяток зеленых огней, по наклонной падая затем в сторону артиллерийских позиций немцев.

Сколько уже случалось подобных ситуаций на разных участках фронта, и, пожалуй, можно было не надеяться на то, что вражеские летчики еще раз обмишурятся! Но, как говорят, и сейчас бог на стороне тех, за кем была правда. Да и наверняка там, где базировались «юнкерсы», еще не ведали, что Ярцево отбито у немцев. И бомбардировщики, будто принюхиваясь к земле, сделали огромный круг над полем боя, затем вдруг начали пикировать на поселок Сапрыкино, где в районе огневых позиций батарей скапливались для контратаки немецкие танки и мотопехота.

Тяжелый грохот бомбежки сливался со взрывами мин и снарядов, пальбой орудий и минометов, стуком автоматических немецких пушек, продолжительными очередями пулеметов и короткими — автоматов. И взрывались танки — наши и немецкие,— заполняя воздух вокруг черной копотью, дымом, пылью и смрадом. Казалось, что горит сама сотрясающаяся земля, тлеют развалины домов. Было похоже, что на огромной сковороде что-то поджаривается, горит, взметывается с огнем вверх и грузно падает.

Жестоко бомбили немецкие летчики свои войска, полагая, что это зашедшие им в тыл советские части. Но на последнем круге один из «юнкерсов» вдруг спикировал на КВ майора Мозгового. Лейтенант Корольков, заметив это, поспешил захлопнуть люк. Бомба врезалась в асфальт между танками. Земля под ними колыхнулась. Осколки, ударив по Т-26 лейтенанта Королькова, заставили броню издать оглушающий колокольный звон.

У «юнкерса», видимо, это была последняя бомба... Когда самолеты потянулись один за другим в направлении Смоленска, лейтенант Корольков облегченно вздохнул и открыл люк.

30

Война для военачальника — это потери и обретения, душевная боль и восторженные парения чувств. Не успел Константин Константинович Рокоссовский порадоваться, что удалось, пусть с немалыми потерями, отбить у захватчиков Ярцево — важный для них пункт на путях к Москве, как в груди поселилась тоскливая тревога о переправах через Днепр в районах сел Соловьево и Радчино. Когда ему на командно-наблюдательный пункт 101-й танковой дивизии передали просьбу полковника Малинина немедленно приехать в свой штаб, он, испытывая нетерпение узнать о причине такой экстренности, тут же связался по телефону с Малининым и по его отрывочным, полузашифрованным фразам понял: действительно немцы захватили обе переправы, оттеснив наши войска за Днепр. Теперь армии генералов Курочкина и Лукина оказались полностью изолированными, что грозило им близкой и неминуемой гибелью, ибо без продовольствия и боеприпасов, которые доставлялись им через эти переправы, долго не провоюешь.

Рокоссовский ехал в открытом газике, ощущая при быстрой езде утреннюю прохладу. Справа и слева к автомагистралям подсту-

пал лес, чередуясь с золотой желтизной ржи или пшеницы на небольших безлесных клиньях; кое-где густо белела цветущая картошка, и чудилось, что машина мчится сквозь ее приятно-тяжелый запах... Да, война сюда еще не зашагнула...

Вспомнился Лизюков Александр Ильич, который с небольшим отрядом защищал от немцев соловьевскую переправу. «Вся надежда на него». И будто увидел пятидесятилетнего Лизюкова — крутолобого, рано облысевшего: его глаза всегда смотрят с добродушным прищуром. Он был сыном сельского учителя, вначале окончил шесть классов Гомельской гимназии, в девятнадцатом году стал бойцом Красной Армии. Учился, воевал, опять учился — закончил военную академию, сам преподавал тактику в академии. Потом командовал — батальоном, полком, танковой бригадой, 1-й Московской мотострелковой дивизией. Уже проявил себя на войне при отходе от Минска и при обороне Борисова... Опытен, умен и чертовски храбр. Если Лизюков не удержал переправу, то дело совсем худо — трудно будет ее вернуть.

До штаба армейской группы от Ярцева — восемь километров. Штаб располагался в стороне от автомагистрали Минск — Москва, в глубоком, со многими отрогами овраге, густо заросшем мелколесьем. В склонах оврага были вырыты надежные укрытия — блиндажи, землянки, капониры для автомашин и лошадей. На удобных площадках кое-где были поставлены брезентовые палатки.

В штабе ощутил тревогу еще острее, когда взглянул на карту начальника штаба полковника Малинина: карта для военного человека словно волшебное зеркало — отражает не только местность с ее населенными пунктами, дорогами, высотами, реками, но и все, что происходит на этой местности, если к карте прикоснулись красный и синий карандаши командира, а тем более штабного, многоопытного. Рокоссовскому стало яснее ясного, что захват немцами переправ на Днепре означал не только гибель двух наших армий в районе Смоленска, но слияние в одну ударную силу двух группировок немецких войск: ярцевской и ельнинской. К этому немецкие военные стратеги стремились, как к необходимому и главному условию, при котором уже можно двигать свои войска непосредственно на Москву.

— Михаил Сергеевич,— обратился Рокоссовский к полковнику Малинину,— грош цена будет нам с вами, если мы не вышвырнем немцев хотя бы из Соловьева.

Их разговор прервала зашедшая в блиндаж девушка в зеленой гимнастерке и синей юбке, принесшая с собой термос с едой и два чайника — один с чаем, другой с кофе.

— Здравия желаю! — бойко поздоровалась она.— Разрешите накрыть на стол и подать завтрак?

— Разрешаем! — в тон ей ответил Рокоссовский.— А как вас величать?

— Зина!.. Зина Зайцева! Красноармеец первого года службы.

— Ну что ж, Зина первого года службы, угощайте. Есть хочется катастрофически! — Рокоссовский снял со стола карту и повесил ее на бревенчатую стену блиндажа.

Карта была с кольцами по углам, а в стену были вбиты деревянные колышки. Даже по этой малой детали можно было судить о порядке в штабе, который возглавлял полковник Малинин.

За завтраком рассуждали о приблизительных силах немцев, которым удалось сбить с соловьевской переправы заслон полковника Лизюкова, и какими резервами можно восстановить положение. А о том, что восстановить его крайне необходимо, понимали оба.

— Маршалу Тимошенко доложили о случившемся? — спросил Рокоссовский у Малинина.

Михаил Сергеевич потупился, тяжко вздохнул и, не поднимая глаз, ответил:

— Он первый сообщил мне об этом. Лизюков каким-то образом связался с ним. У нас связь с Лизюковым нарушилась.

— Ругался маршал?

— Нет... Упрекал. Спрашивал о вас. Я сказал: вышибаете немцев из Ярцева. Он ответил, что Соловьево сейчас — самое важное место на Западном фронте. Сказал: не отобьете, сам приеду и поведу бойцов в атаку.

— Он такой, он может,— хмуро усмехнулся Рокоссовский.— В гражданскую я не раз видел его впереди эскадронов... Ну так давайте будем наскребать силенок в своих небогатых сусеках.

А время не терпело. Надо было действовать, пока к немцам не подошли подкрепления. Для начала стали выяснять, что уцелело из отряда полковника Лизюкова. Немного, но кое-что уцелело, в том числе несколько танков Т-34 из бывшего 5-го механизированного корпуса генерала Алексеенко. В резерве Рокоссовского было два дивизиона противотанковых пушек. Один из них выделили для Лизюкова. Нашлись еще пулеметная рота и несколько стрелковых рот. Важно, что все эти силы генерал Рокоссовский предупредительно сгруппировал в лесах вокруг деревни Починки, что южнее Дорогобужа,— на самом вероятном, как предполагалось, направлении, куда немцы могли нанести удар, чтобы сомкнуть ярцевскую и ельнинскую группировки. Да, не просчитался Константин Константинович.

К вечеру офицеры связи штаба Рокоссовского уже были в районе Починок, где располагались не столь внушительные, но все-таки резервы армейской группы. Они, правда, были разбросаны на различные расстояния друг от друга, и требовалось немало усилий, чтоб всех их одновременно собрать в намеченном месте — в сосновом лесу, который раскинулся восточнее Днепра, совсем близко от деревни Соловьево.

Подразделения двигались где по полевым вязким дорогам, где придерживаясь намеченных азимутов, ориентируясь по компасам, преодолевали кочковатые луга, торфяники и болота. По непроходимым топким болотам пехота шла на «вениках» — связках-снопиках из прутьев березы, ольшаника, орешника, прикрепив их к сапогам, как лыжи. Кто-то из связистов обливался горючими слезами, когда для этой цели сматывали с катушек и резали на куски телефонный кабель.

Это был один из незаметных подвигов, совершенных на войне. Люди лишались последних сил, но в назначенное время, к рассвету, все подразделения собрались в сосновом лесу.

Полковник Лизюков, разослав по лесу связных, собирал на опушке командиров, знакомился с ними и с наличием в подразделениях живой силы и боевой техники. Все делалось быстро, но без нервозности. Впечатляла строгая деловитость Лизюкова, его энергичные призывы к четкости действий. Ведь еще надо было, прежде чем схватиться с врагом, преодолеть почти открытый трехкилометровый заливной луг, отделявший сосновый лес от соловьевской переправы на Днепре. А перед этим необходимо успеть наладить взаимодействие пулеметчиков, стрелков, артиллеристов, минометчиков, танкистов.

Артиллерия была на конной тяге, и командир дивизиона попросил подстраховать его силами пехоты на случай, если немцы перестреляют лошадей. Лизюков объединил артиллерийский дивизион со стрелковым батальоном, закрепив за каждым орудием по одному отделению пехотинцев.

Но самым тяжким для Лизюкова было преодолеть чувство отчуждения у командиров да и у всей огромной массы собранных — с бору по сосенке — людей. Армия — это как бы совокупность больших семейств — полков, батальонов, рот, где почти все друг друга знают, друг за друга в ответе. И если такая семья идет в бой, чувствует свое единство и свои взаимообязательства. А тут взяли да выдернули всех из своих семей, объединили с чужими подразделениями и поставили задачу, совершенно неожиданную, многим пока непонятную по ее значимости, но ясную в том смысле, что она смертельно опасна и что многим из них не дожить до вечера.

Алексею Ильичу надо было успеть побывать в разных уголках леса, суметь сказать людям самые нужные слова и так отдать распоряжения командирам, чтоб в них увиделись разумность, возможность выполнения задачи и, самое главное, чтоб почувствовалась всеми несомненная вера его, полковника Лизюкова, в то, что сам он тоже полагается на всех этих людей, откровенно говорит им об опасности и трудности задачи и каким-то чудодейственным образом их сомнения вытесняет простои верой и даже восторженностью от того, что каждый, кто попал под командование полковника Лизюкова, начинает понимать: ему оказана особая честь идти в атаку в том самом главном месте войны, где, возможно, решается ее судьба и где бессмертие главенствует над смертью. Великое и гордое это чувство для солдата, понимающего, что пусть даже он, может, погибнет от пули-дуры, от случайного осколка, погибнет незаметно для товарища, который по закону солдатского братства должен, прежде чем уйдет из штаба казенное извещение о смерти побратима, написать семье, что ее кормилец или будущий кормилец уже не имеет будущего, ибо почил в смоленской земле, сраженный железом европейского изготовления.

И он сумел. Он — Лизюков, человек необыкновенного обаяния, тонко понимающий человеческую душу, знающий несколько иностранных языков, он сумел своей взволнованностью, недосказан-

ностью фраз, сдержанными жестами рук и элементарным умением заставить всех, кто его слушает, зрительно увидеть, как сложилась обстановка на фронте, и пояснить, убедить, что эту обстановку крайне нужно и можно изменить в свою пользу и все, кто к этому приложит силы, будут отмечены по достоинству.

Правда, слова о наградах никого особенно не впечатляли. Знали главное: дальше пускать немцев нельзя. Надо остановить их, доказав, что русский человек на своей земле сильнее пришельца.

Лизюков не был голосистым оратором, но он был тем человеком, который без труда умел находить путь к сердцу другого человека.

Встал вопрос: наступать после артиллерийской подготовки или атаковать с ходу, внезапно? Но внезапность не получалась. Уже рассвело, люди после тяжкого перехода из района Починок еще не отдышались, не набрались сил. Впереди же — до трех километров открытого места. Их надо было преодолеть на одном дыхании... Не выйдет. Немцам удастся перестрелять всех еще на подступах к Днепру.

И полковник Лизюков решил провести артиллерийскую подготовку, выбрав огневые позиции в стороне от леса, в луговом кустарнике. Дождались, когда солнце окрасило воды Днепра и в оптических приборах полуразрушенная деревня Соловьево вырисовалась во всей своей жалкой измочаленности прежними бомбежками и обстрелами. Тут же были нанесены на артиллерийские планшеты свежевырытые немцами, обращенные брустверами на восток траншеи и отдельные пулеметные гнезда, подготовлены данные для стрельбы по ним. Пехота в это время группировала команду умеющих плавать, так как понтонная переправа через Днепр была разрушена. Предусматривалось все...

По единой команде десятки пушек выплеснули из стволов пламя. Будто молнии полыхнули громами туч и обрушили свою испепеляющую силу на западный берег Днепра.

Больше часа длилась артиллерийская обработка целей на окраинах Соловьева. Местность вокруг деревни заволоклась непроглядной пеленой дыма и пыли. Этого и дожидался полковник Лизюков. По его приказу взлетели в небо сигнальные ракеты — и все пришло в движение.

...Сотни две метров оставалось до Днепра, когда окопавшиеся и уцелевшие в Соловьеве немцы чуток оправились от очумления и, разглядев атакующих сквозь прогалины в стене ивняка, росшего по берегам Днепра, привели в действие свои уцелевшие огневые средства. А их оказалось немало: пулеметы, минометы, отдельные орудия, группы автоматчиков. Вражеские пули и осколки все чаще находили среди атакующих свои жертвы. Сырой луг, чавкавший под сапогами тысяч солдат, покрывался телами убитых и раненых. Взрывы немецких мин и снарядов многих заставляли искать укрытия.

Казалось, атака вот-вот захлебнется. Люди залягут на открытом лугу и будут лежать там, пока их не перестреляют уцелевшие

и опомнившиеся немцы. И, что немаловажно, враг успеет подтянуть в Соловьево резервы.

Полковник Лизюков бежал вместе с атакующими и с огорчением замечал, что в суматохе боя его видят только те, кто рядом — справа и слева, да группа его штабных командиров, бежавших сзади. Но когда он почувствовал, что сила атаки может вот-вот иссякнуть, что бойцы могут залечь, после чего поднять их будет почти невозможно, он, чтоб не упустить время, догнал шедший впереди легкий танк и, обжигая руки о его моторную часть, взобрался на броню, ухватился за скобу башни.

— Товарищи! — подал он клич.— Товарищи коммунисты, не посрамим наши боевые знамена! Вперед! Днепр рядом!.. Ур-р-ра!

Соскочив с машины и не прерывая своего боевого клича «ура!», он устремился к уже близкому Днепру.

Не помня, как в его руках оказался немецкий автомат, он ринулся в воду, уверенный, что сзади мчатся автомашины с понтонами и он обязан любой ценой, даже своей жизнью, обеспечить саперам возможность перекинуть понтоны через реку. Верил также, что его примеру следуют другие, и не ошибся. За Лизюковым кинулись в Днепр сотни умевших плавать. Река здесь не столь широка. На ее западном берегу завязалась штыковая баталия.

Это было то самое, к чему стремились русские бойцы. В штыковом бою им нет равных. Немцы начали убегать по взгоркам огородов к уцелевшим домам, но уже ничто не могло их спасти.

Впрочем, они надеялись на свою авиацию, на прорыв танковых клиньев. А советские воины надеялись только на себя и силу своего оружия. Но неожиданно у них появился еще один помощник: с лугов, что были юго-восточнее, вдруг стал наплывать густой белый, как лебединый пух, туман. Днепр для него оказался главной привязью.

Под покровом тумана были построены понтонные переправы, и вскоре они загремели под колесами грузовиков и повозок. Вырвавшиеся из окружения колонны наших войск начали переправу на восточный берег.

31

Во фронтовой атмосфере неизвестности и постоянного ожидания над тревожной, напряженно ищущей мыслью полководца всегда довлеет и ф о р м а л ь н а я (как определенный математический закон) н е о б х о д и м о с т ь принимать именно то или иное оперативное решение, исходя из сил и действий противника, а также из количества и расположения своих войск. Неодаренный полководец всегда учитывает эту необходимость и руководствуется главным образом только ею. А одаренный, помня о ней и следуя строгой дисциплине своего разума, ищет такое решение, которое, хотя бы даже соответствуя той же формальной необходимости, не предвидел противник.

Избавленная от формальностей, а точнее, от шаблона, мысль полководца с раскованностью диктует ему свою нужную, наиболее целесообразную форму оперативного решения, и притом с определенной, почти зримой выразительностью.

Но вся сложность в принятии возможных решений исходит и от количественной их ограниченности. Не забывая об этом и зная, что опытный неприятель в итоге анализа дислокации сил обеих воюющих сторон может предугадать, какой оперативный ход будет сделан против него, он, полководец, ищет к своему решению некий венчающий «сюрприз» — неожиданный дополнительный маневр огнем ли, резервами ли, главными силами или нанесением удара в непредвиденном для врага направлении.

Маршал Тимошенко был опытным полководцем, одаренным от природы человеком. Его «сюрприз» в одобренном Ставкой замысле совместной наступательной операции пяти армейских войсковых групп заключался в том, что удар по врагу одновременно наносился с пяти разных направлений. Это должно было лишить неприятеля возможности маневрировать своими главными группировками и резервами. Вселяло надежду и количество сил — 20 дивизий, переданных в распоряжение Тимошенко из Фронта резервных армий. И при этом учитывались непрекращавшиеся удары по врагу 16-й и 20-й армий изнутри смоленского котла. Все вроде рассчитано, предвидено. Грела сердце маршала уверенность: удастся не только вышвырнуть противника из Смоленска, но и потеснить его на запад — далеко за Днепр, как приказал ему Сталин.

Но не справился Западный фронт с этой задачей. Ни в Ставке, ни в штабе фронта не предполагали, что близятся ливневые дожди, которые размоют дороги и в ряду с другими причинами не позволят нашим дивизиям сосредоточиться в назначенное время на исходных рубежах для наступления. И не предвидели главного: немцы готовились к очередному броску для захвата Москвы и уже подтягивали в район Смоленска свои свежие силы.

А ведь начало операции сулило успех. 23 июля группа генерал-лейтенанта Качалова, перейдя в наступление, отбросила врага за реки Беличек и Стомедь. На второй день после мощного артиллерийского налета по противнику, который пытался построить новую систему обороны, качаловские полки перешли в очередную атаку, смяли врага, захватили около 600 пленных и устремились в направлении Починок. Части 145-й стрелковой дивизии сумели пробиться вперед почти на 60 километров. Затем сражение продолжалось с переменным успехом — противник, ощутив на этом направлении серьезную угрозу, начал спешно подтягивать сюда резервы. Но группа Качалова еще три-четыре дня крушила боевые порядки неприятеля и теснила его на северо-запад.

Однако на войне сила силу ломает. На рассвете 1 августа после длительной артподготовки немцы перешли в наступление в направлении Рославля, введя в бой подошедшие из районов Орши и Смоленска один моторизованный и два армейских корпуса. К пяти часам дня около ста немецких танков с мотопехотой прорвались в Звенчатку

по шоссе на Рославль. Десятки вражеских самолетов не переставали наносить по войскам Качалова бомбовые удары. На широком участке фронта развернулись сражения, в которых был перевес то на одной, то на другой стороне.

...К вечеру 3 августа немцам удалось завершить оперативное окружение армейской группы генерала Качалова. На второй день оказался в окружении и его штаб. Более драматичной ситуации нельзя было и вообразить.

Генерал Качалов, командный пункт которого находился в лесу у Стодолища, принял меры, чтоб спасти управление штаба своей группы. Он приказал командиру 149-й стрелковой дивизии одним полком прорвать в районе деревни Лысовка вражеское кольцо окружения и дать возможность вырваться из западни штабу. Полк прибыл на указанный ему рубеж с опозданием, но вступил в бой с засевшим в деревне врагом решительно и стал его теснить. Штабная колонна, невзирая на артиллерийский обстрел, двинулась вслед за полком. Но продвижение на юго-восток застопорилось. Разгорелся очередной бой, в котором никак не удавалось достигнуть перевеса над врагом. Ринулись к цепи атакующих и командиры штаба во главе с членом Военного совета бригадным комиссаром Колесниковым.

Однако и это не помогло. Тогда генерал Качалов сел в свой командирский танк и тоже устремился туда, где кипел бой. На окраине деревни Старинка вражеский снаряд пронзил броню танка и взорвался внутри... Погиб экипаж, погиб и генерал-лейтенант Качалов Владимир Яковлевич.

...Тяжкие потери понесли дивизии группы. Еще бóльшие потери понес враг.

Другие оперативные группы продолжали встречные бои. Дивизии генерала Рокоссовского, после того как противник был выбит ими из Ярцева, не прекращали атак, но без заметных успехов. Всего лишь на несколько километров потеснили врага группы генералов Хоменко, Калинина, Масленникова. Сказывались слабое авиационное обеспечение, недостаточность танков и артиллерии, скороспелость подготовки операции.

Но группировка войск врага на смоленском направлении тоже выдыхалась. Рухнул план немецко-фашистского командования еще летом захватить Москву.

Поздним вечером на кунцевской даче Сталина собрались почти все члены Политбюро. Сталин был вне себя после того, как днем Жуков с полной определенностью заявил, что наш контрудар пятью группами на Западном фронте не получил должного развития. Немцы, пусть местами, были отброшены со своих позиций и понесли большие потери, все-таки в оперативном понимании не оказались сокрушенными. Более того, на отдельных участках, введя в бой крупные резервы, враг добился значительного перевеса... Попала в окружение группа генерала Качалова, и мало кому удалось прорваться через неприятельские заслоны. А сам Качалов будто бы сдался немцам

в плен... Поверить в это было невозможно. Кто видел? Вроде адъютант и еще кто-то. Вызванные для объяснения в Москву член Военного совета бригадный комиссар Колесников и начальник политотдела армии бригадный комиссар Терешкин заявили беседовавшему с ними Мехлису: они не допускают даже мысли, что генерал Качалов мог сдаться врагу в плен. Мехлис обвинил Колесникова и Терешкина в «политическом младенчестве»...

И вот сейчас Политбюро приняло решение издать приказ по действующей армии и заклеймить позором генерала Качалова... *

Но этим обстановку на фронтах не упростить и не облегчить. У Сталина тяжело было на душе, и он напряженно размышлял над тем, что еще предпринять. В двадцатых числах июля он предложил генералу армии Жукову сместить с поста начальника штаба Западного фронта генерал-лейтенанта Маландина, а на его место назначить генерала Соколовского Василия Даниловича — заместителя начальника Генерального штаба. Маландина же оставить его заместителем... При новом начальнике штаб фронта улучшил систему управления войсками, укрепил связь с Генеральным штабом и Ставкой, но этого было мало... Сталин все чаще обращался мыслью к маршалу Тимошенко, постепенно убеждая себя в том, что, возможно, и ему уже не под силу столь тяжелая ноша. Как бы ища ответ на мучивший его вопрос, он пробежал взглядом по лицам членов Политбюро, затем вернулся к открытому окну и стал смотреть в окружавший дачу лес. Потом, ни к кому конкретно не обращаясь, задумчиво, с горестью в голосе спросил:

— А может, у нас лучше пойдут дела на Западном фронте, если мы отзовем оттуда товарища Тимошенко?

— Кем заменим? — первым откликнулся на вопрос Михаил Иванович Калинин.

— Надо посоветоваться с Жуковым,— предложил Молотов.— Военным, может, виднее?

...И вот Тимошенко, вызванный в Генштаб для оценки обстановки на фронте, вместе с Жуковым приехал по звонку Поскребышева на кунцевскую дачу. Когда они вошли и доложили Сталину, что явились по его вызову, Сталин, отряхивая у окна со своей старой куртки пепел, просыпавшийся из потухшей трубки, тихо заговорил:

— Вот что... Политбюро обсудило деятельность Тимошенко на посту командующего Западным фронтом и решило освободить его... Есть предложение на эту должность назначить Жукова... Что вы на это ответите?

На хорошо выбритом усталом лице Тимошенко чуть проступила бледность, глаза нахмурились, а уголки губ дрогнули. Ему что-то хотелось сказать, но он молчал, с укором глядя на Сталина.

Лицо же Жукова багрово вспыхнуло, и он сумрачно, сдерживая рвавшийся из сердца протест, заговорил:

---

* После войны обвинение генерал-лейтенанта В. Я. Качалова в предательстве было снято, когда выяснились обстоятельства его гибели и место захоронения.

— Товарищ Сталин, частая смена командующих фронтами тяжело отражается на ходе операций.

Сталин повернулся к Жукову и сделал к нему шаг, будто для того, чтоб лучше его слышать. Неотрывно смотрел в лицо начальника Генерального штаба.

Жуков продолжал:

— Командующие, не успев войти в курс дела, вынуждены вести тяжелейшие сражения. Маршал Тимошенко командует фронтом менее четырех недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто другой большего не сделал бы. Войска верят в Тимошенко, а это главное. Я считаю, что сейчас освобождать его от командования фронтом несправедливо и нецелесообразно.

Сталин не спеша стал раскуривать трубку, вопросительно посмотрел на молчавших членов Политбюро, взглядом приглашая их высказаться.

— А что, пожалуй, Жуков размышляет правильно,— заметил Калинин.

— Мне тоже так кажется,— поддержал Калинина Молотов.

Сталин помолчал, выдохнул облако табачного дыма и произнес:

— Может быть, согласимся с Жуковым?..

На этом и порешили. Маршал Тимошенко тут же отбыл на фронт. Жуков — в Генеральный штаб. Разъехались и члены Политбюро.

Сталин какое-то время прохаживался по кабинету, размышляя о генерале Качалове, веря и не веря в то, что он мог добровольно сдаться немцам в плен. Затем остановился у края стола, где лежала стопка сброшенных с немецких самолетов листовок. Их оставил у Сталина Мехлис. На каждой листовке были фотографии Якова Джугашвили, его, Сталина, старшего сына. Вот он сидит за столом с немецкими офицерами и пьет вино, вот его сопровождают к самолету — без головного убора, с понуро опущенной головой. А вот увеличенный в нашей лаборатории фотоснимок, на котором хорошо просматривается монтаж из двух фотографий: подклеили фашистские пропагандисты голову Якова к туловищу другого человека... Грубая фальшивка. Да еще недосмотрели, что на рукаве гимнастерки виден капитанский шеврон, а Яков был старшим лейтенантом. И в каждой листовке пишут немцы, что сын Сталина добровольно сдался в плен, хотя их радио вначале сообщило, что его захватили силой в районе Лиозно. Призывали фашисты наших солдат следовать примеру Якова Джугашвили.

Тяжко было читать все это Сталину. Жаль Яшу... Страшно даже представить себе, как обращаются с ним в плену.

Мысли Сталина, повинуясь неподвластному воле течению, перенеслись в Тифлис первых годов века, в квартиру его бывшего семи-

нарского товарища Михо Монаселидзе. Там, на Фреплинской улице, он находил тайный приют после возвращения в 1905 году из ссылки и там совсем нежданно вспыхнули в нем те клокочущие радостью чувства, которых не усмирить силой разума, не укротить доводами о том, что тебе, революционеру-бунтарю, живущему с паспортом на чужое имя, каждый час грозит арест и ты можешь вместо счастья принести своей избраннице горе. Имея двадцать семь лет от роду, Иосиф Сталин предложил руку и сердце Екатерине Семеновне Сванидзе, которая была сестрой жены хозяина его подпольной квартиры и сестрой Алеши Сванидзе — друга Сталина по партии.

Во время тихого, но веселого свадебного обряда посаженый отец жениха и невесты Михо Цхакая — закаленный в борьбе марксист, друг Фридриха Энгельса, в своих тостах-напутствиях предрекал молодым долгую жизнь и счастье в согласии... Но не сбылись провидчества Михо. Ни один мудрец не смог предположить, какая непростая судьба уготована Сталину...

Но это — в будущем, а в храме на горе святого Давида скреплялся тогда церковным обрядом брак между сыном сапожника Иосифом Джугашвили и красавицей портнихой Екатериной Сванидзе... Сосо и Като не имели ни своего дома, ни денежных накоплений. Однако Сосо обладал иного рода достоянием — великим и тайным. Он обрел его на многовековых дорогах исканий. Там, где другие, плутая по просторам человеческой мысли, оставляли за собой пепел разочарований или метались в тупике заблуждений, Иосиф Сталин отыскал самое главное — веру в правильность избранного им пути к истине. Начался этот путь еще в Тифлисской православной духовной семинарии, где Сосо возглавил подпольные марксистские кружки. Изгнанный затем из семинарии, он из года в год постигал законы революционной борьбы, являясь в ней одним из кузнецов революционной энергии рабочего класса. Пройдя первую школу тюрем и ссылки, он приобщился к учению Ленина и словно почувствовал себя на борту могучего корабля, уверенно плывущего к берегам справедливости и братства. И теперь на этом корабле рядом с ним была прекрасная Като с таинственным блеском темных любящих глаз, с непостижимой прелестью тонкого мечтательного лица. Она безоглядно и страстно вверила ему свою судьбу, хотя, кажется, не могла не догадываться, сколь серьезны заботы и тревоги ее избранника, как велика опасность, которая будет витать над их семейным очагом.

Впрочем, Като пока понимала главное: пора ее беспечного девичества осталась позади, и отныне портновская вывеска на доме, где они жили, служила маскировкой конспиративного пункта тифлисских большевиков. Полицию вводила в заблуждение не столько вывеска, сколько известность Екатерины Сванидзе как модной портнихи в городе. Она шила туалеты для жены губернатора Свечина, для жен и дочерей другой тифлисской знати — генералов, жандармов, чиновников из канцелярии наместника царя. Като заимствовала для них новейшие моды из французских и немецких журналов, которые ей присылал из Германии старший брат Александр — он там учился,

частично зарабатывая средства на учебу официантством в ресторане, а частично получая их из партийной кассы.

Случалось даже так, что в одной комнате дома номер три по Фреплинской улице Като и ее сестра Александра примеряли платье упитанной жене полковника жандармерии Рачитского, сам полковник сидел тут же на стуле, дожидаясь супругу и листая журналы мод, а в соседней комнате шло нелегальное совещание большевиков.

Семейное счастье Сталина, жившего здесь наездами, без записи в домовой книге, длилось недолго. Беда подкараулила и нагрянула внезапно, взяв начало в Москве, где в октябре 1906 года провалилась районная социал-демократическая организация. Московская полиция, обыскивая квартиру одного из членов этой организации — Зверевой-Мечниковой, обнаружила бумагу с адресом: «Тифлис, Фреплинская, д. 3, портниха Сванидзе. Спросить Сосо». Это была ниточка, за которую цепко ухватилась прокуратура Московской судебной палаты.

Кто такой Сосо? На этот вопрос агенты полиции не могли дать ответа. Подосланному на квартиру Сванидзе провокатору ничего не удалось выяснить: Сталин в это время уже работал в Баку, куда собиралась переезжать и Като.

13 ноября в дом № 3 по Фреплинской нагрянула полиция. Начался допрос всех, проживавших там. Допытывались о Сосо, о Кобе. Учинив обыск, обнаружили архив в прошлом легальной большевистской газеты «Ахали Цховреба» *, нашли брошюры, прокламации, портрет Карла Маркса. Но это были слабые улики: хозяин дома Михаил Монаселидзе когда-то работал казначеем редакции «Ахали Цховреба» и утверждал, что все обнаруженные бумаги он обязан хранить как отчетные документы...

А главная улика находилась рядом: в портновских манекенах были спрятаны последние выпуски газеты «Искра». Но агенты полиции не догадались заглянуть туда. Однако Екатерину Сванидзе арестовали, не посчитавшись с тем, что она была на шестом месяце беременности.

Друзья Сталина, боясь, что он, прослышав об аресте Като, явится в полицию, вначале скрывали от него случившееся, однако дали ему знать в Баку, что тифлисская полиция ищет Сосо и Кобу.

Глубоко врезались в память и душу Сталина те грозные, напряженные времена. Два месяца продержали Като в тюрьме. Затем он тайно увез ее в Баку, и там у них родился сын, которого назвали Яковом.

Мысль о Якове, своем первенце, всегда переплеталась в памяти Сталина с воспоминаниями о Екатерине. Трудное у них было счастье. Судьба революционера то и дело отрывала его от семьи. И каждый раз Като провожала мужа с трогательной печалью на лице, с мольбой и надеждой в глазах. Ее освещенное нежностью к нему лицо всегда согревало его в отъездах, в опасных ситуациях и рождало страстное желание скорее вернуться к ней, к крошечному сыну.

---

*«Ахали Цховреба» *(груз.)* — «Новая жизнь». ***(Прим. авт.)***

Яша рос лобастеньким, кареглазым, как мать, и неуемно прытким. Любовь к малышу была тревожной: как сложится его судьба? Даже находясь в утробе матери, он уже успел побывать вместе с ней в тюрьме. И Сталин чувствовал себя виноватым перед мальчиком. От этого еще больше любил его, не подозревая, что нависла черной глыбой неотвратимая беда.

Когда Яше исполнилось два года, умерла от тифа Като. Она болела мучительно и страшно. Пылая в жару, молила мужа, чтоб дал ей соленого огурца. Приходивший врач испуганно махал на Иосифа рукой, когда он спрашивал, можно ли больной соленого. Но Като так просила, смотрела на него таким по-детски жалостливым взглядом, что он не выдержал: сбегал на рынок и купил огурцов.

Когда она умерла, Иосиф плакал над ее гробом, как еще никогда в жизни не плакал и не будет плакать. И тяжко корил себя, что исполнил ее просьбу, хотя врачи убеждали Сталина: при такой форме заболевания Екатерины иного исхода быть не могло.

Яша остался полусиротой, а точнее, сиротой. Его забрали к себе в деревню родители покойной Като, а он, Сталин, продолжал заниматься делом, коему посвятил всего себя — подпольная партийная борьба, очередной арест и очередная ссылка...

А маленький Яков Джугашвили стал постигать мир заново, будто никогда и не было у него ни матери, ни отца.

Когда в девятьсот восьмом году умерла Екатерина Сванидзе, Сталину казалось, что он больше никогда не обзаведется семьей. Летели годы, унося молодость, революционная борьба отнимала все силы, энергию ума и души. Даже улавливал в своих мыслях некий скепсис по поводу того, что серьезным борцам не до личной жизни. Революция, мол, не терпит, когда ее рыцари не без остатка отдают ей свои силы и чувства.

Но время действительно великий исцелитель. Постепенно усмирилась боль по Като. Жизнь продолжалась. Неутомимо работая в партии, он в то же время не отгораживался от мира и особенно не старался укрощать молодые порывы.

Тогда ему и в голову не могло прийти, что он станет зятем известного революционера Сергея Яковлевича Аллилуева, что именно его дочь, Надя — чернобровая и смуглолицая девчушка, готовая упоенно хохотать по любому поводу или замирать в восторге при звуках даже простенькой музыки, вообще чуткая к гармонии и звукам, понимающая настоящую поэзию,— именно эта Надя вдруг полюбит задубелого на сибирских морозах Кобу, станет женой много раз беглого политического «волка», старше ее на двадцать два года. Ведь вначале Сталин смотрел на нее, как на забавного подростка, в то же время поражаясь незамутненности ее красоты, самозабвенной искренности к окружающим и напряженному вниманию в ее глазах, когда он рассказывал о тайных поединках революционеров с самодержавием, о жизни политических ссыльных, о будущем России. Порой удивлялся, как могло в семье рабочего, познавшего нищету, голод, преследования, вырасти и сформироваться такое удивительное чудо, с его прелестным прямодушием и столь высокой нравственной

чистотой. Видя, с каким старанием Надя учится в гимназии, Сталин искренне желал ей счастливой и светлой судьбы.

Но судьба своенравна, и порой трудно противиться ее усилиям...

Как же все случилось?.. Сергей Яковлевич Аллилуев — степенный сорокалетний бородач — был неутомим в подпольной работе. Он то и дело попадал в тюрьму и ссылку. Полиция не спускала с него глаз. Поэтому Сталин, это было вскоре после женитьбы на Като, одобрил решение Сергея Яковлевича бежать из Баку в Петербург и даже помог деньгами для тайного переезда многодетной семьи Аллилуевых.

В последующие годы, начиная с 1909-го, Сталин всегда находил приют в их питерской квартире, а когда был сослан в Туруханский край, семья Сергея Яковлевича заботилась о нем, как о родном,— посылала в далекую Сибирь литературу, чай, табак, одежду и деньги из специального фонда помощи, хотя Сталин просил в письмах не делать этого.

После победы февральской революции Сталин вновь появился в Питере. Аллилуевы в это время сменили квартиру на более просторную и одну комнату выделили для Сталина. Занятый работой в ЦК, в «Правде», он почти не бывал дома. Эта комната потом сослужила добрую службу Ленину. В июле 1917 года, когда буржуазная контрреволюция обрушилась на большевистскую партию и когда Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, посулив за его голову огромные деньги, Владимир Ильич с 6 по 11 июля скрывался в квартире Аллилуевых. Именно оттуда он был тайно переправлен Сталиным на станцию Разлив, в тридцати километрах от Петрограда.

Те времена вспоминаются Сталину как огромные, слышные всему миру накаты жестокой политической, а затем кровавой вооруженной борьбы; в центре ее незыблемо стоял Ленин, вдохновляя партию, рабочий класс, солдатские и матросские массы своей верой, видением будущего и четкой программой действий.

В квартире Аллилуевых Сталин появлялся только, чтобы сменить белье и подутюжить брюки единственного ветхого костюма, поверх которого он носил кожаную куртку. Сейчас и не помнится ему, как часто встречал тогда Надю.

Но запечатлелся в памяти поздний вечер 25 октября семнадцатого года. Смольный, в коридорах и комнатах которого кипело многолюдье — главным образом матросы и солдаты,— ликовал по поводу взятия Зимнего дворца и ареста Временного правительства.

Сталин с группой делегатов как раз направлялся в зал заседаний Второго съезда Советов, когда его окликнул женский голос. Он оглянулся и увидел Анну Аллилуеву — старшую дочь Сергея Яковлевича, работавшую в те дни в Смольном. А рядом с ней стояла в белом пуховом платке, держа руки в рыжей меховой муфточке, Надя. Было видно, что девушки только что вошли с улицы: раскрасневшееся лицо Нади пышет жизнью, здоровьем, а в ее улыбчивых, сверкающих глазах, которые неотрывно смотрели на Сталина, на его товарищей, было столько восторженного чувства, доброжелательства и какого-то скрытого огня, что он впервые заметил: Надя ведь уже совсем

взрослая и красивая той спокойной, впечатляющей красотой, когда женственность сквозит во всем — в стройной фигуре, в мягких привлекательных чертах лица, в выражении таящих какую-то загадку глаз, в едва уловимой напевности голоса. И Сталину показалось, что не беспричинно ее появление в Смольном: Надя, может, и пришла, чтоб увидеть его?..

Впрочем, догадался он об этом несколько позже, когда остался наедине со своими мыслями. Первое, что испытал тогда,— было смущение, будто уловил на себе укоряюще-недоуменный взгляд Сергея Яковлевича — отца Нади...

Но уже ничто не могло удержать ни Сталина с его решительным грузинским характером, ни Надю в ее восторженности. И они потянулись друг к другу.

В марте 1918 года Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Надя тогда работала в секретариате Ленина, а со временем уехала со Сталиным на Южный фронт.

Так они стали мужем и женой. Появились дети — вначале сын Василий, потом дочь Светлана. Когда дети подросли, Надя пошла учиться в Промышленную академию. Чередовались годы, усмиряя пламень чувств. Сталин был вполне счастлив, гордился Надей, очень любил детей...

32

В тот вечер был очередной воздушный налет немцев на Москву, и Политбюро заседало в подземном помещении на станции метро «Кировская». Звуки бомбежки и орудийной пальбы доносились сюда сплошным тихим гулом, будто где-то за стеной работал плохо отлаженный автомобильный мотор. На Политбюро слушали сообщение генерал-лейтенанта интендантской службы Хрулева Андрея Васильевича о новой системе снабжения действующей армии. Здесь же присутствовали представители Генерального штаба во главе с его начальником генералом армии Жуковым.

Отсек вестибюля станции метро был хорошо задрапирован, обставлен простой прочной мебелью и ничем особым не отличался от других рабочих кабинетов. Сталин, как и у себя в Кремле, неторопливо прохаживался по ковровой дорожке вдоль стола, за которым сидели члены Политбюро и Государственного Комитета Обороны, и внимательно вслушивался в темпераментную речь Хрулева. Иногда останавливался, смотрел на него с задумчивым прищуром. Замечая это, Хрулев начинал энергичнее жестикулировать правой рукой, словно припечатывать свои фразы к зеленому сукну стола, а его серые глаза при этом излучали сдерживаемое волнение. И тогда еще больше ощущалась уверенность генерала в истинности своих суждений.

Хрулев был коренастым и плотнотелым, светло-русые гладко зачесанные волосы с пробором над правым виском придавали его круглому, широконосому лицу некую элегантность.

Старый кавалерист Хрулев был знаком Сталину еще по временам гражданской войны. Да и в последние годы не раз встречались они в Кремле при решении военно-государственных проблем или на квартире у кого-нибудь из военных товарищей в узком кругу, собиравшемся, пусть и редко, на разного рода дружественные застолья. Хрулев Андрей Васильевич всегда отличался улыбчивостью, дружелюбием, готовностью браться за очередное важное дело. Имел он колоссальную память — на лица, на цифры, на события,— всегда готов был кидаться в словесную перепалку, давая отпор кому угодно по любому поводу. Только перед ним, Сталиным, да еще перед Мехлисом, кое-когда пасовал Андрей Васильевич. И сейчас Сталин размышлял об этом с глубоким сожалением и с горестью, вспоминая одно прошлогоднее заседание Совета Народных Комиссаров...

Да, генерал Хрулев имел основания претендовать на то, чтоб к его суждениям руководители государства и армии относились с большим доверием. Этого заслужил он и своей не простой военной биографией. В недалекие предвоенные годы руководил Хрулев военно-финансовой службой, затем был начальником Строительно-квартирного управления РККА, начальником Киевского окружного военно-строительного управления, Главвоенстроя при СНК СССР.

В октябре же 1939 года его назначили начальником Управления снабжения Красной Армии. За короткое время, находясь на столь высоком и важном посту, Хрулев сумел неплохо организовать работу управления, под его руководством войсковое хозяйство армии заметно окрепло, приняло четкие организационные формы, особенно после советско-финской войны, которая преподнесла горькие уроки и органам снабжения.

Сталин знал, что иные военные и невоенные деятели, даже весьма крупного масштаба, подчас с робостью заходили к нему в кабинет, опасаясь неожиданных его, Сталина, вопросов или ощущая трудно постижимую безбрежность дел, за которые они отвечают или хотя бы имеют к ним касательство. Хрулев же, когда решались проблемы интендантства (за год до начала войны его управление было преобразовано в Главное интендантское управление Красной Армии), всегда держал себя спокойно и с той уверенностью, которая давала Сталину и членам Политбюро ЦК понять, что он в полной мере готов отвечать перед ними за все подведомственные ему службы и что специфика этих служб ему, как профессионалу, доступнее, чем всем остальным, а посему настаивал, чтоб его предложения воспринимались без сомнений.

Но все-таки иногда пасовал... Иногда. Опасался Мехлиса, особенно когда тот, как народный комиссар Государственного контроля, пытался усмотреть злонамеренность в каких-либо важных его, Хрулева, предложениях. Так случилось и тогда, на одном из заседаний Совета Народных Комиссаров в 1940 году, когда совещались, в каких районах страны целесообразнее сосредоточивать мобилизационные запасы. Хрулев горячо настаивал на том, чтоб разместить их за Волгой. Генеральный штаб к этому времени уже отдал распоряжение

завозить летнее и зимнее обмундирование и обувь в такие места, как Перемышль, Львов, Брест-Литовск, Барановичи, Клайпеда.

— Но война ведь может возникнуть внезапно,— пророчески говорил тогда Хрулев,— и вновь отмобилизованные дивизии не успеют к сроку оказаться в приграничных районах. Надо побольше держать имущества в неприкосновенном запасе на центральных складах, и главным образом в Поволжье.

— Это вредительская точка зрения! — запальчиво перебил речь Хрулева Мехлис, обращаясь к Сталину.— Если мы согласимся с ней, то поставим армию в тяжелое положение! Я служил в царской армии, и у нас было по три комплекта обмундирования на каждого солдата!

— Где, в каком месте эти солдаты служили? — с недоуменной укоризненностью спросил Хрулев.

— В Егорьевске, Московской области! — резковато ответил Мехлис.

— Егорьевск — не граница! — спокойно парировал Хрулев.— И там третьим в комплекте была у солдат парадная форма. Но зачем же нам везти к границе валенки, полушубки, ватные брюки, телогрейки?.. В пограничных дивизиях все это имеется.

— А ты откуда знаешь, когда начнется война? Зимой или летом?! — обидчиво не сдавался Мехлис.

Трудно и больно было Сталину вспоминать сейчас о том заседании. Он согласился тогда с Мехлисом и с решением Генерального штаба, а война показала, что прав был Хрулев. В итоге сколько же складов пришлось нашим войскам уничтожить в пограничных районах и сколько их было захвачено противником!..

Генерал Хрулев тоже не редко обращался мыслями к тому заседанию Совнаркома. Понимал, что Сталин и Мехлис сейчас ощущали свою вину в случившемся с нашими интендантскими складами на западе, но не считал удобным напоминать им об этом. В душе винил себя, что не сумел своевременно опротестовать ошибочное решение Генерального штаба, доказать Сталину, другим членам Политбюро свою правоту.

Не догадывался только генерал Хрулев о том, что в мнении Сталина, да и в мнении всех членов Политбюро, он после всего происшедшего необычайно возвысился как знаток проблем войскового тыла в условиях большой войны. А проблем этих было величайшее множество. Надлежало в короткие сроки восполнить наши потери, понесенные в первые дни вторжения врага, и срочно начать накапливать необходимые запасы для грядущих сражений; требовалась четкая система доставки в действующую армию средств снабжения; необходимо было, наконец, создать самостоятельный орган управления службами тыла, чтоб все их усилия устремлялись к достижению единых целей. Прежняя система снабжения армии находилась в ведении Генерального штаба и общевойсковых штабов, в которых имелись для этой цели пятые управления и пятые отделы. С начала войны стало ясно, что общевойсковые штабы в сложной оперативной обстановке, когда надо управлять боевыми действиями, не способны

энергично вести еще и многосложную военно-хозяйственную работу...

Летом 1941 года, когда война уже полыхала с ужасающей мощью, генерал Хрулев был назначен заместителем Народного комиссара обороны СССР по тылу и ему было поручено незамедлительно приступить не только к перестройке управления тылом, но и всей организационно-снабженческой структуры Красной Армии, ее тыловых соединений, частей и учреждений.

Все разумное берет начало из опыта. Понимая это, Хрулев первым делом созвал совещание работников системы главного интендантства. Надо было обсудить меры, которые следует принять, чтоб действующая армия не оказалась в тяжком положении из-за недостатков снабжения. На совещание собрались люди с большим опытом. Среди них — бывший помощник главного интенданта генерал-лейтенант царской армии Горецкий, полковник Данков — великолепный знаток военной истории... Именно Данков предложил для начала ознакомиться с Положением о полевом управлении войск, утвержденным русским царем еще в 1914 году — за несколько дней до того, как вспыхнула первая мировая война. Правда, это положение не было с объявлением мобилизации введено в жизнь, ибо тогда же его почему-то опротестовал начальник штаба ставки верховного главнокомандования Янушкевич. А ведь оно вобрало в себя немалый обобщенный опыт интендантского дела русской армии за многие времена.

Положение разыскали в Государственной библиотеке имени Ленина и доложили о нем Анастасу Ивановичу Микояну, ведавшему в Государственном Комитете Обороны вопросами снабжения армии. Микоян немедленно ознакомил Сталина с этим пусть устаревшим, но важным документом. Сталин, оценив его по достоинству, предложил обогатить «Положение» опытом военно-хозяйственной службы гражданской войны и нашими научными разработками последних лет, а затем подготовить для Государственного Комитета Обороны свой проект решения об организации тыла Красной Армии на нынешнее военное время.

Несколько суток Хрулев и его ближайшие соратники по интендантству — генералы Ермолин и Уткин, полковники Данков и Ремизов — не знали ни сна, ни отдыха. Это был воистину титанический труд и научный подвиг, когда в состоянии творческого подъема, страстного рвения в сегодняшний день на обломках истории создавались новые основы тылового обеспечения Красной Армии.

Потом проект документа придирчиво редактировали вместе с начальником Политуправления РККА Мехлисом. И вот сейчас генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев, стоя у торца стола рядом с сидевшим генералом армии Жуковым, доказывал полезность разгрузки Генерального штаба и штабов фронтов от руководства снабжением и тылом, дабы их снабженческая работа не мешала военно-оперативной.

Сталин видел, что Жуков слушал Хрулева с хмурым вниманием, и почти с одобрением улавливал ход его мыслей: «Никакой полководец не может разрабатывать план военной операции, не зная, как

обеспечивается эта операция вооружением, боеприпасами, питанием, своевременным подвозом к фронту всего необходимого...»

«Но почему полководец не может разрабатывать свои планы без учета планов снабжения! — тут же мысленно перечил Сталин Жукову.— К тому же командующий фронтом и его начальник тыла всегда должны быть в одной упряжке!»

Как и предполагал Сталин, Жукову была не по душе такая коренная ломка привычных форм снабжения войск. За ней ведь должна следовать и перестройка работы управлений и отделов Генерального штаба, штабов фронтов и армий, перестановка кадров. Это не так просто в условиях, когда враг мощными силами рвется в глубь страны...

Хрулев закончил свой доклад, и наступила молчаливая тревожная пауза. Все даже позабыли о грохотавшей наверху бомбежке, предчувствуя, что сейчас что-то произойдет.

Сталин долго раскуривал трубку, затем тихо, уже сдерживая закипевшее в нем после сомнений раздражение, сказал:

— Ваше мнение, товарищ Жуков?

Жуков, как всегда, был верен своему характеру — непреклонному и не способному на компромиссы. Зная, что сейчас последует взрыв, ибо Сталин, как Председатель Государственного Комитета Обороны, уже к этому времени утвердил новое «Положение», все-таки произнес то, что думал:

— Здесь явное стремление товарища Хрулева подмять под себя Генеральный штаб... Это целая перестройка налаженного дела...

И вновь водворилась немая, неловкая тишина. Ее нарушил Молотов, как всегда в минуты волнения протирая платком пенсне:

— Побойтесь бога, товарищ Жуков...

И тут дал волю своим принявшим неожиданный оборот чувствам Сталин. Остановившись перед Жуковым, он с недоумением и почти с обидой сказал:

— Вы рассуждаете не как начальник Генерального штаба, а как простой кавалерист! И в этих делах мало что понимаете!

— В таком случае, товарищ Сталин, я готов хоть сейчас сдать пост начальника Генерального штаба,— мрачно, однако спокойно ответил Жуков.

Сталин несколько секунд укоризненно, с чуть побледневшим лицом, смотрел на Жукова, затем вразумляюще произнес:

— Мы ждем от вас, товарищ Жуков, не ультиматумов, а верных оценок оперативной обстановки на фронтах и целесообразных решений... В том числе и о тыловом хозяйстве армии...

33

Это было столкновение двух характеров, выковавшихся в постоянной, неистовой борьбе со старым, за утверждение нового. Характеры эти отражали в себе атмосферу трудного времени, несли в своем неспокойстве драматизм его коллизий. Парадокс состоял в том, что

Сталин и Жуков, устремляя усилия к единой цели, временами видели разные пути ее достижения.

Уже на следующий день после этого совещания между ними последовало новое столкновение точек зрения. Выполняя требование Верховного Командующего о более точных оценках оперативной обстановки на фронтах и целесообразных решениях Генштаба, Жуков посовещался с руководством своего оперативного управления и по телефону попросил Сталина принять его для срочного доклада.

Сталин понимал, что Жуков едет к нему с какими-то новыми, важными, тревожными вестями, словно помимо своей воли желая досадить всем в Политбюро за вчерашний резкий разговор с ним Сталина. И Сталин приказал своему помощнику Поскребышеву пригласить в Кремль армейского комиссара первого ранга Мехлиса — начальника Политуправления Красной Армии, заместителя наркома обороны, то есть его, Сталина, заместителя, чтоб тот присутствовал при докладе начальника Генштаба и был, как говорится, третейским судьей.

Жуков конечно же далек был от желания досаждать кому-либо, а тем более Сталину, но доклад его действительно оказался не из приятных. Сталин и Мехлис, слушая начальника Генерального штаба и пристально всматриваясь в развернутые на столе карты с нанесенной на них обстановкой, будто воочию видели, что происходило на фронтах. К тому же Жуков умел докладывать весьма четко и впечатляюще. Его сдвинутые брови, потемневшие глаза и измученное лицо как бы усиливали ощущение тревоги, которая витала в это время в кабинете Сталина.

Трудно было не согласиться с Жуковым, что сейчас наиболее слабым и опасным участком нашей обороны на советско-германском фронте является Центральный фронт, где наши 13-я и 21-я армии, очень малочисленные и слабо вооруженные, могли не сдержать очередного удара немцев, а это грозило выходом противника в тылы войск Юго-Западного фронта, удерживающего район Киева.

Сталин уже предполагал, к какому выводу придет начальник Генерального штаба, и это, возможно помимо его воли, рождало в груди холодок протеста.

— Что же вы предлагаете? — настороженно спросил он у Жукова.

Жуков переступил с ноги на ногу, приблизился к карте, лежавшей посередине между двумя другими.

— Я предлагаю,— приглушенным, чуть охрипшим от скрытого волнения голосом начал он,— прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трех армий, усиленных артиллерией. Одну армию надо получить за счет Западного направления, другую — за счет Юго-Западного фронта, третью — из резерва Ставки...

Сталину показалось, что он чего-то не понял, ибо до сегодняшнего дня считал самым главным и самым опасным Западное направление. И он с оторопью спросил у Жукова:

— Вы что же, находите возможным ослабить направление на Москву?

— Нет, не нахожу,— со спокойной уверенностью ответил Жуков.— Но противник, по мнению Генштаба, здесь пока не двинется вперед. А через двенадцать — пятнадцать дней мы сможем перебросить с Дальнего Востока не менее восьми боеспособных дивизий, в том числе одну танковую. Такая группа войск только усилит московское направление.

— А Дальний Восток отдадим японцам? — недоуменно и чуть язвительно спросил Мехлис.

Жуков не откликнулся на его вопрос, и лицо армейского комиссара от негодования покрылось красными пятнами.

— Продолжайте,— сдержанно и хмуро сказал Сталин.

И Жуков продолжал:

— Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр.

— А как же Киев? — холодно спросил Сталин, отчужденно глядя на Жукова и размышляя о том, что Киев — не только важный стратегический пункт в нашей обороне, но и важная козырная карта в близящихся переговорах с англичанами. Ведь правительства Англии и США до сих пор не могли занять твердых позиций в отношении оказания помощи Советскому Союзу в борьбе с фашистской Германией и ее сателлитами. Слишком много и убежденно трубила западная пропаганда о близящейся гибели Советского Союза...

— Киев придется оставить,— жестко, но с волнением и необъяснимой виноватостью ответил Жуков.

Сталин уже ждал такого ответа, разумом понимая, что в этом решении есть здравый смысл, а чувством противясь ему, как тяжкому, несправедливому приговору.

— Продолжайте,— после трудного молчания вновь сказал Сталин.

Жуков вздохнул и продолжил доклад:

— На Западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации ельнинского выступа в линии фронта противника. Ельнинский плацдарм гитлеровцы могут позднее использовать для броска на Москву.

— Какие там еще контрудары? Что за чепуха?! — Раздражению Сталина, казалось, не было предела, ибо следующую фразу он почти прокричал: — Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?!

И тут дал выход своему душевному напряжению Жуков:

— Если вы считаете, что я, как начальник Генерального штаба, мыслю всего лишь, как кавалерист, это ваши вчерашние слова, товарищ Сталин... и способен только молоть чепуху, тогда мне здесь делать нечего!.. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генерального штаба и послать на фронт.

Опять наступило тягостное молчание...

34

Машина, в которой ехал генерал армии Жуков, мчалась по Минскому шоссе, а сам он, сидя на заднем сиденье, мыслями был еще в Кремле, в кабинете Сталина. Итак, его, Жукова, сместили

с поста начальника Генерального штаба и назначили командующим Резервным фронтом. Ему вспомнились грустные глаза маршала Шапошникова, которому Политбюро ЦК сегодня утром вверило Генеральный штаб. Борис Михайлович будто чувствовал себя виноватым перед Жуковым. Сталин, впрочем, тоже на прощание укротил свою суровость. Когда они все собрались в его кабинете, Сталин, подойдя к Жукову и Шапошникову, заговорил, словно оправдываясь, несколько печальным, душевно-раздумчивым голосом:

— Любая стратегическая ситуация — военная или политическая — должна рассматриваться нами конкретно и, когда требуется, сквозь призму марксистской философии. При этом мы должны опираться на опыт революционных освободительных войн... Не очень понятно излагаю?..

Никто на вопрос Сталина не ответил, и он продолжил:

— Я говорю о том, что человеческая мысль, как инструмент жизни, развивается и обогащается на основе опыта, который, в свою очередь, опирается на философские глубины. Это не софистика, это диалектика... Так вот, наша с вами беда заключается в том, что некоторые наши военные деятели не умеют... Как точнее сказать? Не могут именно через призму теории обозревать явления, оценивать их и объяснять. А то как получается? Мне генштабисты говорят, что на таком-то фронте произойдет то-то и то-то. А объясняют свой вывод, мягко говоря, несколько убого, без уверенности в себе, в своем мышлении. И я начинаю сомневаться: не подводит ли их военная неопытность?.. Еще раз напоминаю, что не должно быть резкой грани между практикой и следующей из нее теорией. Это, если упростить, словно хорошо приготовленный чай. Мы пьем его как единое: не выделяем в нашем воображении свойств сахара, чая и воды... Вот так истинный полководец должен уметь смотреть на войну как на единое целое, угадывать ее каверзы и уловки и уметь объяснять их всем находящимся рядом. А если судят о созревающей ситуации только по нависанию противника над нашими флангами или по насыщенности вражеской группировки танками, то для меня, для Государственного Комитета Обороны такие аргументы неубедительны... Эти товарищи потом, наверное, говорят: «Я предупреждал Сталина, а он поступил по-своему...» А как предупреждал, какими доводами, с какой мерой доказательности?.. Если б наше правительство, Центральный Комитет партии могли полностью положиться на кого-нибудь из военных, думаю, что Сталину не пришлось бы брать на себя главное командование...

Крепкая память Жукова точно воспроизводила слова Сталина, и он всматривался в их смысл критически, с желанием в чем-то возражать, хотя понимал, что Сталин имел основания рассуждать именно так. Но все-таки Жукову хотелось спорить, ибо он был уверен в том, что полководцу на войне кроме высокой военно-философской образованности необходимы светлый и сильный разум, интуиция, инстинкт, сила воли и безбрежное мужество...

Размышления генерала армия прервались. Заскрипели тормоза его машины ЗИС-101. Она остановилась, подъехав вплотную к откры-

тому газику, в котором сидели автоматчики — его, Жукова, охрана. Оглядевшись, Георгий Константинович узнал Голицыно. Здесь, на контрольном посту, проверяли документы у проезжающих.

Через минуту небольшая кавалькада машин (сзади ехал в эмке адъютант генерала армии с его небольшим скарбом) уже проезжала Голицыно. Жуков вновь будто увидел перед собой побитое оспой, темноватое лицо Сталина, вопрошающий прищур его глаз. Уже переведя разговор на то, что Жукову поручается ликвидировать ельнинский выступ в линии фронта, Сталин сказал неожиданное:

— Русский поэт-символист Константин Бальмонт, кстати, он первый перевел на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», очень верно утверждал, пусть и не принял нашу революцию. А говорил он так: «Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели есть Грузия...» А мы скажем, что Смоленщина — это Глинка, это Пржевальский, Нахимов, Докучаев... Это, черт возьми, слава России, символ патриотизма и непокорства захватчикам!.. Помните об этом, товарищ Жуков, и уверенности в боевых успехах вам не придется занимать.

Но жгли сердце Жукова обидой слова Сталина, сказанные ему после доклада генерал-лейтенанта Хрулева о новой структуре войскового тыла: «Вы рассуждаете не как начальник Генерального штаба, а как простой кавалерист...» Конечно, поучиться в академиях Жукову не довелось. После гражданской войны, в которой он участвовал красноармейцем, командиром взвода и эскадрона, ему удалось закончить только курсы усовершенствования комсостава кавалерии, а через пять лет — курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. Потом командовал кавалерийской бригадой, был помощником инспектора кавалерии Красной Армии, затем возглавлял кавалерийскую дивизию, кавалерийские корпуса, был заместителем командующего Белорусским особым военным округом. А после того как на посту командующего 1-й армейской группой советских войск в Монголии он разгромил совместно с частями монгольской Народно-революционной армии крупную группировку японских войск в районе реки Халхин-Гол, вскоре был назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. И за последнее десятилетие много рапортов написал наркому обороны с просьбой дать ему возможность поучиться в Военной академии Генерального штаба. Но не судьба, хотя уже были положительные решения. То очередные маневры, то оперативно-стратегические игры высших штабов, то внезапные инспекторские проверки войск... И нигде не могли обойтись без него, Жукова, каждый раз уговаривали его повременить с академией. А ведь известно, что незаменимых людей нет. Оказывается, не ко всем эта истина применима. Хоть нарочно прояви где-нибудь неспособность, тогда, может, и засветила б ему звезда удачи попасть в академию. Чего греха таить, он сам подчас избавлялся от малоодаренных личностей, командируя их на учебу. Надеялся, что академии прибавят им способностей. Но не всегда надежды сбывались. Случалось, что после учебы «личность» повышали по службе и она,

сама того не подозревая, причиняла вред делу. Да, нелепая это практика.

Впрочем, Георгий Константинович не очень сетовал на свою «внеакадемическую» судьбу. Учился самостоятельно сколько было возможностей. Благо имелась у него для этого капитальная закваска: еще в середине двадцатых годов, перед тем как уехать в Ленинград на курсы усовершенствования комсостава кавалерии, он разобрал, глубоко осмыслил и описал все главные боевые операции первой мировой войны. А вкус к военно-теоретическим поискам зародился у него на курсах высшего начсостава, когда немало потрудился он над докладом об основных факторах, влияющих на теорию военного искусства. Доклад затем был напечатан в бюллетене как учебное пособие для слушателей курсов.

А когда стал командиром 6-го кавалерийского корпуса, ощутил в себе необычайную силу видения оперативных ситуаций и склонность к управлению большими массами войск. Эта его полководческая умелость особенно проявилась, когда сам разрабатывал оперативно-тактические задачи на проведение дивизионных и корпусных командных игр, командно-штабных учений с войсками... Создавая на картах те или иные оперативные ситуации, поочередно ставил себя на место командующих противоборствующих сторон, мысленно проигрывал динамику боя за обе стороны и убеждался, что нет числа вариантам решений, но самых лучших вариантов не так уж много. И старался находить именно их... Находил, а потом, когда в итоге учений убеждался в их верности, был счастлив, хотя никто об этом не догадывался — Жуков не любил давать волю своим чувствам. Но сейчас давал волю мыслям, отыскивая в себе те черты и свойства, которые в это грозное время надо было развивать и утверждать.

Понимал роль вдохновения в деятельности полководца. Но знал, что оно, вдохновение, является только толчком к творчеству, но не главным его содержанием. Понимал и надолго задерживал на этом свою тревожную мысль. И опирался на буйную образность своего мышления. Когда смотрел на топографическую карту, то чувствовал себя так, будто обозревал из поднебесья живую местность земли, пытаясь угадать, что там, под зеленью лесов и кустарников, между домами населенных пунктов и под маскировочными сетями. Зорко выискивал те места где бы расположил свой командный пункт и командные пункты нижестоящих войсковых начальников, решал за противника задачи по отражению задуманного им, Жуковым, маневра. Умел в своих размышлениях возвращаться назад, углубляться в оценках соотношения сил, проявляя скрытую страсть, холодный расчет и не отмахиваясь от интуиции.

Знал также, что один, без надежных, разумных помощников и соратников, много не сделает в сложной, особенно в критической обстановке. Поэтому его требовательность нередко совмещалась с душевной жесткостью и беспощадностью. Это его состояние тут же передавалось окружающим, одних приводя в трепет, других вооружая силой. И спустя некоторое время войска становились словно наэлектризованными.

Жесткость генерала армии Жукова иных пугала, унижала, сковывала их способность принимать разумные решения. Таких он старался смещать с постов или обходиться без них. Других же, а таких было большинство, она с необыкновенной силой встряхивала, напоминая о грозности времени и своей личной причастности к происходящему, а также о том, что за спиной действующих армий есть страна и народ, как деятельная мощь и созидательная сила.

Но не догадывался Георгий Константинович Жуков, что он как полководец вобрал в себя все лучшее из характера России всех времен, когда боролась она за свою свободу.

Мысли Георгия Константиновича ворочались неторопливо, поднимая из глубин памяти картины его жизни, лица людей, которые оставили в душе след, события, проборoздившие судьбу, как мощный плуг целинное поле. Машина мчала Жукова по шоссе, приближалась к перекрестку дорог. Вправо, в нескольких километрах от перекрестка, раскинулся над рекой Москвой древний Можайск со своими знаменитыми Никольским собором, церковью Иоакима и Анны и Лужецким монастырем. А налево убегала через Протву дорога на Верею — не менее древний городок, сохранивший из прошлых веков собор и остатки кремля.

Если б было время, с какой бы радостью свернул Георгий Константинович на Верею, а от нее рукой подать до Боровска; там же совсем близко к родным местам — большому селу Угодский Завод, деревням Стрелковка, в которой родился, Величково, куда бегал через бугристое поле в церковноприходскую школу... Невольно взглянул на мизинец левой руки, где сохранился косой рубец шрама — память о жатве в детские годы, когда взял в руки новый серп. Затем будто увидел центральную улицу Угодки и дорогу, берущую из нее начало. Справа от дороги — пруд с карасями, слева — стена деревьев, под которыми покоилось старое кладбище. Там похоронены отец — Константин, не имевший отчества, и младший братишка Алеша, умерший, не прожив и года.

Который раз в своей жизни обращался Георгий Константинович мыслью к своей загадочной родословной. В трехмесячном возрасте его будущего отца обнаружили запеленутым на крыльце сиротского дома. На пеленках — записка: «Сына моего зовите Константином». Кто она, эта женщина, решившаяся на столь крайний шаг?.. Через два года Костю усыновила бездетная вдова Анна Жукова, но не сумела вырастить: через шесть лет умерла, а восьмилетний Костя пошел в учение к сапожнику в село Угодский Завод.

Своенравная память генерала Жукова перенесла его в те далекие годы, когда у Михаила Пилихина, разбогатевшего брата матери, учился он в Москве скорняжному делу, а со временем еще и на вечерних общеобразовательных курсах, имевших программу общегородского училища...

Детство было страшным, тяжким, в постоянном голоде, нищете, в частых побоях... И пусть заодно вставали яркие картины весенних

сенокосов на стрелковских лугах, сборов дикой клубники в перелесках, летних или зимних рыбалок, маленькие редкие радости, когда взрослые одаривали пряником или конфетой, сердце все-таки захлебывалось в немом плаче о детской судьбе мальчика Гоши, его сестры Маши, их сельских сверстников.

Зашлось сердце болью и при воспоминании о матери — Устинье Артемьевне. Тридцатипятилетней вдовой вышла она замуж за пятидесятилетнего вдовца Константина Жукова... Мать выросла в невероятной бедности в соседней от Стрелковки деревне Черная Грязь. Сколько же потрудилась она на своем веку в извозе и на полевых работах!.. Все время витала над их семьей, как и над многими другими крестьянскими семьями, чернопастная нищета. Верно говорят: есть воспоминания — цветы, а есть воспоминания — раны...

Как они там сейчас — мать, сестра Маша, ее дети, когда Россию постигла тяжкая, невиданная беда?..

Эта туманившая рассудок мысль будто напомнила Георгию Константиновичу, что именно ему поручено мобилизовать силы, чтоб отвести угрозу дальнейшего фашистского вторжения в глубь России. Сумеет ли он справиться с такой непростой задачей на посту командующего Резервным фронтом? Сумеет ли всмотреться в трагический грозный лик войны с той проницательностью, которая вооружает, а не обессиливает?

Должен... За ним ведь вся история, все сложности становления Красной Армии, в которой он вознесся от рядового бойца до высшего генерала, определив пути своей судьбы на всю жизнь...

35

За размышлениями и воспоминаниями, от которых холодком теснило в груди, не заметил, как приблизились к повороту на Гжатск. Только обратил внимание, что, чем ближе было к Вязьме, тем магистраль становилась оживленнее: в сторону фронта шли груженые машины, маршевые роты, артиллерийские батареи на тракторной и конной тяге. Небо над дорогой казалось низким от мглы и дымки. Временами то впереди, то сзади слышались раскаты бомбежек. Но машинам генерала армии Жукова удалось избежать встречи с немецкими самолетами, и вскоре, свернув вправо с Минской магистрали, они оказались в лесу меж Гжатском и небольшой деревушкой. Здесь, под лесным покровом, и частично в деревне располагался штаб Резервного фронта, в котором по приказу Ставки были объединены резервные армии и армии фронта Можайской линии обороны, за исключением 29-й и 30-й армий, уже действовавших в составе Западного фронта.

Начальник штаба фронта генерал-майор Ляпин и начальник артиллерии генерал-майор Говоров ждали приезда Жукова. Об этом свидетельствовал накрытый к обеду стол под бревенчатым тентом, натянутым рядом с подземельями командного пункта.

За обеденным столом сидели и беседовали недолго. Понимали друг друга с полуслова. Жуков давно знал обоих генералов как мастеров военного дела высокого класса. Сказав им об этом в дружеском порыве, он тут же предупредил, что ждут их вместе с ним тяжкие испытания, хотя бы потому, что противостоящая группировка немцев превосходит силы Резервного фронта, располагает мощными танковыми кулаками и постоянной авиационной поддержкой.

Затем спустились в главное, хорошо освещенное помещение командного пункта. Расчерченные цветными карандашами карты на бревенчатых стенах и на подставках ничего особенно нового не сказали Жукову, и он, посмотрев в хмурые от тревог лица Ляпина и Говорова, предложил сейчас же ехать в штаб 24-й армии генерала Ракутина.

Георгию Константиновичу казалось, что даже не в штабе армии, сдерживающей и контратакующей своими слабо укомплектованными дивизиями противника, который рвется на восток из ельнинского выступа, а непосредственно на командных пунктах их командиров он сумеет постигнуть какую-то главную истину, вещественно, материально-зримо ощутит противника и найдет ведущую мысль, которая подскажет нужные решения. А решений надо было принять много. Важнейшее — необходимо найти единственно разумное применение своим наличествующим войсковым силам, и чтоб эта разумность стала очевидной для командиров и их штабов, ибо в этой атмосфере предельного напряжения физических и нравственных сил людей очень важно и непременно устремить их к единому, ясному всем замыслу, который пока надо будет держать в строжайшем секрете. И необходимо требовательным взглядом посмотреть на командиров — все ли на своих местах, нет ли среди них недоумков, не способных извлекать опыт из боевой повседневности, понапрасну губящих человеческие жизни?

Огромное солнце, будто налившись вишневым соком, медленно погружалось за далекий горизонт. Когда оно с оживленной шоссейной магистрали, по которой ехали машины командования Резервного фронта, стало из-за лесов невидным, лишь залив тусклой краснотой небо, всем показалось, что это не закат, а еще один далекий пожар, подобно тем, которые багрово отсвечивались где-то в стороне Ельни, западнее Вязьмы и над Ярцевом. Гнетущее это было зрелище, от которого невозможно оторвать заледенелый взгляд, как от текущей крови.

Поздним вечером приехали в штаб 24-й армии. Лес, блиндажи, землянки, часовые вокруг, щели в земле, поваленные бомбежкой деревья. Руководство армии уже ждало приезда Жукова и его свиты: встречало у шлагбаума — лесного контрольно-пропускного пункта. Георгий Константинович рассеянно выслушал представлявшегося ему командующего 24-й армией генерал-майора Ракутина, рядом с которым стояли какие-то люди с темными от сумерек и казавшимися одинаковыми лицами. Не дождавшись конца доклада, в котором слышалось волнение командарма, бывшего прославленного пограничника, он, стараясь быть дружелюбным, перебил его:

— Поедем знакомиться при свете. А то мы будто на посиделках при каганце с девчатами общаемся — на ощупь.

— А вам случалось такое, Георгий Константинович? — с веселостью в голосе спросил обычно не всегда склонный к шуткам генерал Говоров.

— А почему ж нет? — засмеялся Жуков.— Корни мои — деревенские. Правда, жениться начал в Москве, когда у дядьки осваивал скорняжное дело и почувствовал в руках надежную профессию.

Через несколько минут подъехали к блиндажу командарма и спустились в его просторные, хорошо освещенные и укрытые многими накатами могучих бревен глубины. Здесь тоже все было готово к докладу оперативно-тактической обстановки в полосе 24-й армии. Это Жуков отметил с удовлетворением — карты и прочность блиндажа; ведь из Москвы все здесь виделось куда более зыбким, ненадежным, неустоявшимся.

— Ну вот, это другое дело,— баритоном произнес Георгий Константинович, всматриваясь в незнакомые лица окружавших его людей.

Сорокалетний генерал-майор Ракутин Константин Иванович был в форме пограничных войск НКВД. Высокий, физически крепкий блондин, он производил впечатление волевого и энергичного человека. В его взгляде было что-то дерзкое, несколько самоуверенное, опиравшееся, видимо, на прошлую героическую биографию.

Отметив это, как обнадеживающие в военном деле приметы, Жуков перевел взгляд на поднявшего к козырьку руку члена Военного совета армии дивизионного комиссара Абрамова Константина Кириковича. Большие проницательные глаза Абрамова будто смотрели в самую душу и вопрошали неизвестно о чем. Видимо, не мало тяжкого повидали уже они здесь, на смоленской земле, не мало переплавилось боли, сомнений, надежд в его сердце. Сразу же хотелось верить, что человек этот крепок, надежен и понимающий свою роль здесь, как главного представителя партии.

Ощущение Абрамова как личности особенно передалось Георгию Константиновичу при взаимном рукопожатии — крепком, истинно мужском. Даже по малым приметам Жуков умел угадывать человеческие натуры.

Был здесь и начальник политотдела батальонный комиссар Моисеев, державшийся при «высоких чинах» с некоторой застенчивостью, но не без сознания своей не последней роли в сложном войсковом организме.

Затем началось самое главное: знакомство с оперативно-тактической обстановкой на участке фронта 24-й армии.

— Докладывайте,— коротко сказал Жуков, обращаясь к Ракутину и будто смущаясь своей естественной суровости, прозвучавшей в его голосе.

Уловив эту суровость, генерал Ракутин чуть смешался и начал говорить с некоторой неуверенностью. Но Жуков не обращал на это внимания. Он знал, что не всем командирам и генералам, рабо-

тавшим ранее в пограничных войсках, присуща раскованность в суждениях об оперативном искусстве — они мастера своего дела.

Ничего особенно нового не почерпнул из доклада Ракутина генерал армии Жуков. Хмуро всматривался в карты, схемы, сводки, мысленно анализируя ситуацию, как она складывалась. Все было сложно и в то же время просто. 2-я немецкая танковая группа, прорвав нашу оборону южнее Смоленска и захватив 19 июля Ельню, позволила своему командованию создать важный, хорошо укрепленный плацдарм, с которого планировалось возобновление наступления на Москву. На плацдарме, по данным войсковой разведки противник сосредоточил семь пехотных и несколько танковых и моторизованных дивизий. Попытки 24-й армии встречными ударами под основание ельнинского выступа окружить и уничтожить вражескую группировку пока ни к чему не привели. Рубежи обороны противника выгодно отличались от наших исходных позиций рельефом местности: нейтральные полосы были открытыми, что позволяло неприятелю успешно отражать атаки советских войск и наносить им немалые потери. Враг и сам пытался атаковать, особенно в районе деревни Ушаково вдоль шоссе Ельня — Дорогобуж.

И еще обратил внимание Жуков на прочность вражеских оборонительных укреплений, состоявших из трех поясов. Траншеи полного профиля, пулеметные гнезда, дзоты с установленными в них крупнокалиберными пулеметами и пушками, закопанные танки и бронемашины. Между оборонительными поясами громоздились витки спиральных и колючих проволочных заграждений и таились замаскированные мины. Каждая занятая противником деревня была превращена им в самостоятельный опорный пункт, связанный взаимной огневой поддержкой с другими подобными пунктами. Невозможно было нащупать перед вражеской обороной хоть метр пространства, который бы не простреливался перекрестным огнем.

Удрученным, глубоко озабоченным вернулся генерал армии Жуков в штаб своего фронта.

Позвонил начальнику Генерального штаба маршалу Шапошникову, кратко изложил обстановку в районе ельнинского выступа, спросил, нет ли возможностей усилить 24-ю армию артиллерией, реактивными минометами и танками.

— Насчет усиления будем думать и вести расчеты,— грустно, тихим голосом ответил Борис Михайлович.— А по поводу ваших первых решений, Георгий Константинович, то я полагаю, что вы намерены самолично прощупать оборону немцев...

Жуков про себя даже рассмеялся, так ему была знакома эта манера маршала Шапошникова подсказывать кому-либо лучшее оперативное решение. При докладах командующих или начальников штабов Борис Михайлович вносил поправки или давал рекомендации именно таким образом: «Я вас понял так, что вы предлагаете...» — и так далее. Тот, кто докладывал, обычно делал после этого паузу, соображая: «Что тут? Не подвох ли?» А когда начинал понимать, что маршал подсказывает ему лучший вариант, поспешно отвечал утвердительным «Да».

Генерал армии принял решение усилить 24-ю армию частями Резервного фронта, превратить ее в армейскую группировку, перед которой ставилась задача встречными ударами дивизий под основание ельнинского выступа окружить и уничтожить группировку противника и в дальнейшем продолжать наступление на запад.

Радужные надежды грели суровое солдатское сердце Георгия Константиновича Жукова, но пока им не было суждено сбыться.

36

В эти тяжкие, опасные для Советского Союза недели лидеры ведущих империалистических держав возвращались мыслями в те времена, когда ими вершилась предательская акция Мюнхенского сговора, преследовавшая цель всевозможными уступками, поблажками и науськиваниями умиротворить Германию... Не оправдались надежды владык мира золотого тельца. Взращенное ими дитя — германский фашизм — начало не только алчно разевать клыкастую пасть, требуя все новых территорий для своего владычества, но и хищно запускало когти в территории смежных государств, в том числе и в гриву английского льва. А сейчас вся надежда сторонников антибольшевизма возлагалась на то, что в схватке с Советским Союзом фашистская Германия и ее сообщники не только раздавят Страну Советов, созданную Лениным и его большевистской партией, но и сами иссякнут, выдохнутся, и Германия перестанет существовать как реальная угроза для других государств планеты. В то же время терзала некоторых буржуазных лидеров тревога: а если СССР рухнет, не обескровив гитлеровские армии, или вдруг пойдет он на заключение мирного договора с Германией, смирившись с территориальными потерями?.. Тогда, несомненно, наступят черные дни вначале для Великобритании, а потом... За этим «потом» таились все новые опасения и бедствия многих государств и материков.

Неуютно чувствовали себя и Соединенные Штаты Америки, опасаясь того, что Япония, напав на Советский Союз, утвердится в Сибири, усилит этим свой военный потенциал, а затем поднимет могучий кулак, угрожающий Америке, а также ее и английским колониям.

Все это, вместе взятое, заставило президента США Франклина Рузвельта и главу английского правительства Черчилля непрестанно обмениваться точками зрения на остро беспокоившую их военно-политическую ситуацию в мире.

В разгар общих тревожных предвидений в середине июля Рузвельт послал в Англию Гарри Гопкинса — одного из наиболее энергичных сторонников своей политики так называемого нового курса. Встречи и беседы Гопкинса с Черчиллем, с другими высокопоставленными лицами английского правительства привели его к выводу, что принимать какие-либо решения по избавлению мира от фашистской угрозы можно будет только после того, когда станет ясно, как долго продержится под напором германских армий Советский Союз. И Гопкинс

вдруг решил, что ему надо непременно побывать в Москве, встретиться со Сталиным и лично от него получить ответы на главные вопросы времени, уяснить для себя, чтоб затем дать Рузвельту и Черчиллю информацию о возможностях СССР к сопротивлению и о том, действительно ли его положение столь катастрофично, как об этом сообщает из Москвы своему президенту американское посольство. Но лететь в Москву без разрешения Рузвельта и без каких-либо его полномочий Гопкинс не мог, и поэтому 25 июля 1941 года он послал в Белый дом телеграмму, в которой запрашивал: «...Я хотел бы знать, сочтете ли Вы важным и полезным, чтобы я поехал в Москву... Мне кажется, что нужно сделать все возможное и обеспечить, чтобы русские прочно удерживали фронт, даже если их разобьют в нынешнем сражении. Если на Сталина можно как-то повлиять в критический момент, я думаю, это стоило бы сделать путем прямого обращения к нему от Вашего имени через личного представителя. Мне кажется, что на карту поставлено так много, что это следует сделать...»

Телеграмма была большой, затрагивавшей и ряд других вопросов. В ее конце многозначительно звучала фраза: «Настроение здесь у всех бодрое, но англичане понимают, что события в России дают им лишь временную передышку».

На второй день вечером пришел ответ от Рузвельта. Президент Америки одобрял идею Гопкинса о посещении им Москвы. В телеграмме также сообщалось: «Сегодня вечером я Вам отправлю послание для Сталина».

В Москве, в Наркомате иностранных дел СССР, узнали о предстоящем визите Гарри Гопкинса — личного представителя президента США Рузвельта — от послов Англии и США в СССР и из телеграммы советского посла в Англии Майского Ивана Михайловича, который характеризовал Гопкинса как одного из наиболее энергичных сторонников новой — рузвельтовской политики. Гопкинс, как информировал Майский, активно претворял эту политику в жизнь; уже в начале второй мировой войны он стал видным государственным деятелем и дипломатом, игравшим большую роль в выработке многих решений правительства США. Как личность он был целеустремлен и пунктуален, но не отличался крепким здоровьем.

Таким образом, руководители Америки, Англии, а затем и СССР пришли к единому мнению, что миссия Гарри Гопкинса в Москву — одна из самых необычайно важных и ценных за весь период второй мировой войны. Правда, посол Майский узнал об этой тайной миссии после Черчилля, но пока Гопкинс находился в пути к Архангельску, телеграф безотказно сделал свое дело.

Уже имел при себе важную телеграмму и Гарри Гопкинс, которую прислал ему в день отъезда в Москву исполняющий обязанности государственного секретаря США Сэмнер Уэллес. В ней, в частности, говорилось: «Президент просит Вас при первой встрече с г-ном Сталиным передать ему от имени президента следующее послание: «Г-н Гопкинс находится в Москве по моей личной просьбе для того, чтобы обсудить с Вами лично или с другими официальными

лицами, которых Вы, возможно, назначите, жизненно важный вопрос о том, как мы можем наиболее быстро и эффективно предоставить помощь, которую Соединенные Штаты способны оказать Вашей стране в ее великолепном сопротивлении вероломной агрессии гитлеровской Германии...»

И далее: «Я прошу Вас относиться к г-ну Гопкинсу с таким же доверием, какое Вы испытывали бы, если бы говорили лично со мной. Он сообщит непосредственно мне о Ваших взглядах, которые Вы ему изложите, и расскажет о том, что Вы считаете самыми срочными отдельными проблемами, по которым мы можем оказать помощь.

Разрешите мне в заключение выразить общее для нас всех в Соединенных Штатах восхищение замечательной храбростью, проявленной русским народом в деле защиты своей свободы, в борьбе за независимость России. Успех Вашего народа и всех других народов в противодействии агрессии Гитлера и его планам завоевания мира ободряет американский народ».

На второй день после прибытия Гопкинса в Москву американский посол Лоуренс Штейнгардт, в 18 часов 30 минут, повез его в Кремль для встречи со Сталиным.

Это было 30 июля 1941 года.

Сталин, назначив время для приема личного представителя президента США, за два часа до этого пригласил к себе Наркома иностранных дел СССР Молотова для определения единых точек зрения на проблемы, которые будут затронуты в беседе с Гарри Гопкинсом, а также для короткого анализа отношений Америки и Англии с СССР за последние годы, чтобы можно было предполагать об их дальнейшей международной политике.

Сталин был не в духе после вчерашнего запальчивого разговора с генералом армии Жуковым и сегодняшнего доклада Жукова о сдаче им поста начальника Генерального штаба и доклада маршала Шапошникова о вступлении на этот пост — самый тяжкий сейчас в армии, как понимал Сталин, и самый горячий. При плохом настроении, когда Сталин находился в кабинете один, он иногда приближался к окну и задумчиво рассматривал украшенное лепными военными атрибутами двухэтажное здание Арсенала, стоявшее напротив. Вдоль его фасада чернели отверстия стволов пушек, отбитых русскими войсками у армии Наполеона. Редко расставленные парные окна с глубокими откосами говорили о внушительной мощи стены двухметровой толщины.

Над крышей закамуфлированного, как и весь Кремль, Арсенала плавилось в сизой дымке поднебесья клонящееся к западу солнце, и в распахнутые окна кабинета вливалась паркость.

Сталин отошел от окна и направился к своему столу. В это время открылась дверь, и в ней показался Молотов — как всегда в хорошо наглаженном костюме, сегодня — темно-сером, с четкими стрелками на брюках. Старательно выбритое, моложавое лицо его

было сумрачным, глаза смотрели из-под пенсне с золотой прищепкой несколько утомленно.

— Будем готовиться к приему американца? — спросил Сталин будто у самого себя и тут же продолжил: — Хорошо бы мы выглядели перед ним, если бы объявили, что сдаем врагу Киев и отводим войска за Днепр, как предложил вчера Жуков.

Молотов ничего не ответил и присел на близкий к Сталину край стола для заседаний. Положил перед собой папку, раскрыл ее, приготовился для разговора.

Сталин вдруг хмыкнул, тихо засмеялся. Почувствовав на себе вопросительный взгляд Молотова, пояснил причину своего неожиданного веселья:

— Понимаешь, звонит сегодня по параллельному телефону Поскребышева его дочурка. Я поднял трубку. «Папа,— говорит,— помоги решить задачку». «Нету,— говорю,— папы, я его по делу услал. Давай я помогу». Прочитала она мне условия задачки и в тупик поставила. Дурацкая задача: в бассейн втекает вода по трубе с одним сечением, а вытекает из него по трубе с бóльшим диаметром. И спрашивается: сколько воды вытекает из бассейна за минуту?.. Там, разумеется, есть и наводящие данные.

— Не решил? — Молотов довольно улыбнулся.— Тут дело в том, на одном ли уровне трубы. Если на одном, то сколько воды втекает в бассейн, столько и вытекает.

— Зачем же зря воду расходовать? — Сталин засмеялся уже совсем весело. Вдруг посерьезнев, спросил: — А мы с тобой не будем сегодня лить воду на мельницу империалистов?

— Не должны,— ответил Молотов и опять улыбнулся.— Во всяком случае, будем держать трубы на одном уровне.

— Это в зависимости от того, насколько посланец Рузвельта проявит искренность,— сказал Сталин, и в его словах прозвучала тревога.

И будто сам его кремлевский кабинет наполнился тревогой и напряженным ожиданием.

— Коба...— Молотов посмотрел на Сталина тем деликатно-требовательным взглядом, который должен был заставить его сосредоточить внимание.— Наберись, Коба, терпения и послушай все то, что мы у себя, в наркомате иностранных дел, вычислили путем анализа политики Черчилля и Рузвельта. В наших переговорах с ними надо все время помнить о их прежних внешнеполитических коктейлях и, возможно в какой-то мере исходя из этого, строить каркасы сегодняшних взаимоотношений с ними. Начинаем почти на пустом месте.

— Ты полагаешь, что я плохо знаю Черчилля? — недовольно отозвался Сталин, усевшись за свой стол.

— Надо оглянуться на события в их последовательности.

— Ну хорошо. Только давай в общих чертах.

— Итак, о Черчилле. В свои шестьдесят семь лет он еще достаточно энергичен. Его политическое кредо заключается в формуле: «Британская империя — начало и конец всего». Он принимает в штыки все, что хоть отдаленно напоминает о социализме. К нам, как

ты знаешь, у него закоренелая вражда, которую он демонстрирует с необыкновенным, до смешного, темпераментом. В девятнадцатом — двадцать первом годах, будучи военным министром Англии, Черчилль возглавил крестовый поход против большевиков. Это стоило нам ряда лет тяжелой войны. Сто миллионов фунтов стерлингов потратила английская казна для организации военной, политической и экономической блокады молодой Советской Республики. Только революционное настроение рабочего класса Европы не позволило ему послать против нас миллионную армию интервентов.

— Да, все это еще свежо в памяти,— перебил Сталин Молотова.— Ты сейчас, вероятно, напомнишь и о налете в Лондоне на советскую хозяйственную организацию «Аркос». Это привело в двадцать седьмом году к разрыву наших дипломатических отношений с Англией.

— Верно,— согласился Молотов.— А идея Черчилля об организации в тридцать пятом антисоветского блока западных держав?..

— К какому же выводу приходит наш наркомат иностранных дел на фоне заявления Черчилля о солидарности Англии с СССР в войне против фашистской Германии? — Сталин поднялся из кресла, подошел к сидевшему за столом заседаний Молотову и стал вместе с ним смотреть в бумаги, разложенные на зеленом сукне.

— Полагаю, товарищ Сталин, что мы не ошибемся, если расценим нынешнюю политику Черчилля как маневрирование в отношении нашей страны. Он ставит перед собой задачу, во-первых, вести войну против Германии, по возможности, за счет СССР, стремясь до крайности ослабить нас. У него дальний прицел: если гитлеровская Германия будет повержена, а мы в это верим, то у нас не должно быть никаких возможностей оказаться на Балканах и в Центральной Европе... Следовательно, добиваясь от Англии открытия второго фронта, нам следует помнить, что Черчилль долго будет играть в прятки.

— А теперь давай соотнесем политику Черчилля с поведением Рузвельта,— предложил Сталин.— Надо полагать, они вырабатывают общую военно-политическую платформу.

Молотов вздохнул, посмотрел на часы над дверью кабинета и перелистал несколько страниц: близилось время, когда в Кремль прибудет Гарри Гопкинс. И продолжил:

— С Рузвельтом было бы проще, если б после провокации финской военщины и в ходе нашего военного конфликта с Финляндией Рузвельт своим провозглашением «морального эмбарго» не дал сигнала к бешеной антисоветской кампании в США...

— Надо не забывать, что он, видимо, небезучастным был и в подготовке Мюнхенского сговора. Иначе послы США — Кеннеди в Лондоне, а Буллит в Париже — со страстной активностью не содействовали б Чемберлену и Даладье.

— Да, этого забывать нельзя,— согласился Молотов.— Но вся общая историческая панорама деятельности Рузвельта на посту президента США по отношению к СССР все-таки просматривается как более или менее положительная. Ты, товарищ Сталин, отметил это еще в тридцать четвертом году в беседе с английским писа-

телем Гербертом Уэллсом. Говоря о выдающихся личных качествах Рузвельта, ты заявил тогда, что, несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт — самая сильная фигура. Эти твои слова облетели весь мир. И для такой оценки был повод хотя бы потому, что за год до беседы с Уэллсом правительство Рузвельта признало СССР, против чего выступали все прежние правительства Америки. Сам Рузвельт всячески способствовал улучшению советско-американских отношений. Рузвельт также не раз пытался облагоразумить Гитлера в его агрессивной политике.

— Хорошо.— Сталин явно торопил Молотова.— Вернемся в сегодняшний день. Что нам известно?

— Погоди, погоди.— Молотов с укором и значительностью во взгляде посмотрел на Сталина.— Я хочу напомнить, что в администрации Рузвельта, в госдепартаменте США, существуют сильные группировки, которые противятся помощи СССР и выступают в поддержку Гитлера под лозунгом: «Фашистская Германия — единственный оплот против большевиков». Бывший президент Америки Герберт Гувер, как тебе известно, заявил, что цель его жизни — уничтожение Советской России. И он там не одинок с этой своей «целью». Заодно с Гувером, Трумэном, Херстом многие английские реакционеры. Посол Англии в США лорд Галифакс тоже высказывается за поддержку Гитлера... А потом нельзя забывать сведения, добытые нашей разведкой. Нам известно, что тридцать первого января этого года Черчилль в послании президенту Турции доказывал необходимость присутствия на Среднем Востоке мощных сил английских бомбардировщиков, способных атаковать нефтеразработки в Баку. Даже перед самым нападением на нас Германии планы бомбардировки Баку из района Мосула рассматривались как весьма реальные, а в середине июня английский комитет начальников штабов принял решение о подготовке этой операции.

— Сейчас Черчилль, видимо, не пойдет в одной упряжке с Гитлером.— Сталин подошел к своему столу, взял папиросу и, не набивая, как обычно, табак в трубку, закурил ее.

Молотов между тем продолжил, не отрывая взгляда от бумаг:

— Несколько дней назад, двадцать седьмого июля, как информировало из Вашингтона наше посольство, орган Херста «Нью-Йорк Джорнел Америкен» писал: «Россия обречена, и Англия с Америкой бессильны предотвратить ее быстрый распад под ударами нацистского блицкрига».

— Да, этот факт тоже заслуживает внимания,— заметил Сталин чуть осипшим голосом.

— Наш наркомат располагает сведениями,— бесстрастно продолжал Молотов, взяв в руку документ,— что военный министр США в своем письме президенту Рузвельту утверждает: «Германия будет основательно занята минимум месяц, а максимально, возможно, три месяца задачей России». Представители английской военной верхушки вторят американцу... Цитирую: «Возможно, что первый этап, включая оккупацию Украины и Москвы, потребует самое меньшее три, а самое большее шесть недель или более...» Предполагаю, что

все они основываются на панических сообщениях из Москвы военного атташе США Айвена Итона: СССР, мол, стоит над пропастью неизбежного военного поражения.

— Какой вывод делают они при виде «катастрофы СССР»? — Сталин зашагал вдоль стола опустив голову. Казалось, он уже знал ответ Молотова.

— Ясно какой: они радуются, что этим спасена Англия; ни о каком вторжении Германии на Британские острова сейчас не может быть и речи. Английские власти тоже вздохнули с облегчением, сделав вывод, что попытку вторжения Гитлера в Соединенное Королевство можно считать временно отсроченной.

— Временно? — Сталин остановился и с усмешкой посмотрел в окно.— Вот отсюда надо и плясать, как от печки.

— Да, но в то же время почему англичане не открывают нам цель перелета к ним Рудольфа Гесса? Ведь, несомненно, с этим посланцем Гитлера у них ведутся переговоры, вырабатываются условия сделки с гитлеровской Германией, несмотря на то что недавно мы подписали соглашение с Англией. Правительство Черчилля пока ничего не сделало, чтоб рассеять эти наши подозрения.

— Но тут есть еще одна загадка.— Сталин сделал нажим на слове «еще».— Ведь англичане могли скрыть от всего мира, в том числе и от нас, что к ним перелетел ближайший компаньон Гитлера по разбою Рудольф Гесс.

— У них трудно такие вещи скрыть от прессы.

— Возможно,— согласился Сталин.— Однако интуиция подсказывает мне, что сейчас наступает перелом в наших отношениях с Англией и Америкой. Ведь это вопрос жизни или смерти: над всем миром нависли тучи фашизма. Мы — главная ударная сила, которая способна сокрушить фашизм.

— Как ты предлагаешь держать себя с этим Гопкинсом? — спросил Молотов.

— Будем ориентироваться по его позициям и помнить, что, как мы уже здесь говорили, нашим союзникам, а они должны стать союзниками в нашем противоборстве с фашистской Германией, ясна временность отсрочки угрозы им фашизмом.— Сталин остановился перед Молотовым и, выдохнув к потолку табачный дым, продолжил: — Будем держать все в уме, о чем мы здесь сейчас размышляли. Переговоры начнем с чистого листа, будто наши взаимоотношения с Западом только начинаются. Раз к нам едут, значит, что-то предложат.

— Да, видимо, другой позиции у нас быть не должно,— согласился Молотов.

Сталин подошел к книжному шкафу и взял там один из Ленинских сборников. Открыл страницу, заложенную листком бумаги, и с притушенной торжественностью произнес:

— Владимир Ильич не исключал во внешней политике тех шагов, которые мы сейчас предпринимаем. Он не отрицал возможности...— И далее Сталин начал читать: — «...военных соглашений с одной из империалистических коалиций против другой в таких случаях,

когда это соглашение, не нарушая основ Советской власти, могло бы укрепить ее положение и парализовать натиск на нее какой-либо империалистской державы...»

— Уже тогда Ленин заботился о нашем будущем,— раздумчиво сказал Молотов.— Вот что значит сила предвидения.

37

Ровно в 18 часов 30 минут в кабинет Сталина вошел его помощник Поскребышев и с приподнятостью в голосе сообщил:

— Прибыли!

— Приглашай,— откликнулся Сталин.

В кабинет первым вошел Гарри Гопкинс — тощий, среднего роста, с сероватым худым лицом, на котором остро выступали скулы, с тонкой кадыкастой шеей. На нем был темный костюм, заметно измятый в дальней дороге. Вслед за Гопкинсом ступил в дверной проем американский посол в Москве Лоуренс Штейнгардт. Его рост, холеное розоватое лицо, ярко-белый воротник рубашки и такие же белые манжеты, выглядывавшие из рукавов черного пиджака,— весь его важный и элегантный облик — от сверкающих туфель до гладко причесанных волос на голове — как бы подчеркивал тщедушие и небрежность в одежде Гарри Гопкинса. Вошел также переводчик.

Сталин и Молотов со всеми приметами радушия пожали руки гостям и пригласили их садиться за стол. Тут же привлекательная официантка в белоснежном переднике вкатила в кабинет высокую тележку, на которой стояли стаканы с крепким чаем, вазочка с сахаром, печенье и конфеты на тарелочках, янтарный виноград в высокой хрустальной вазе. Все это быстро перекочевало на длинный стол, за который усаживались гости и вслед за ними хозяева.

Гопкинс бесцеремонно, с большим интересом осматривался в кабинете Сталина, разглядывал его рабочий, уставленный телефонными аппаратами стол, портреты на стенах, кинул взгляд в окно, где за верхушками голубых елей виднелась в серых полосах маскировки стена Арсенала.

Молотов всматривался в изможденное лицо Гопкинса, в его светящиеся нездоровым светом глаза, пытался угадать характер этого заокеанского посетителя, степень его искренности. Молотов немного понимал по-английски и имел возможность вслушиваться не только в то, что переводил на русский переводчик, но и вникать в речевые интонации Гопкинса, который неожиданно, несмотря на свой болезненный вид, заговорил энергично и проникновенно.

— Господин Сталин, я приехал как личный представитель президента. Президент считает Гитлера врагом человечества, и поэтому он желает помочь Советскому Союзу в борьбе против Германии. Моя миссия не дипломатическая в том смысле, что я не предлагаю никакой формальной договоренности какого бы то ни было рода.— Гопкинс сделал паузу, открыл папку, которую принес с собой,

взял из нее два документа (это была телеграмма, присланная Гопкинсу в Англию, от имени президента США Сэмнером Уэллесом) и передал Сталину, сказав при этом: — Это личное послание нашего президента — оригинал на английском, копия — на русском языках.

Молотов видел, как светлело и будто омолаживалось лицо Сталина, когда он читал телеграмму, как под его толстыми усами затеплилась такая знакомая улыбка. Гопкинс в это время пододвинул к себе наполненный стакан в серебряном подстаканнике и достал из кармана пиджака пластмассовую коробочку. Извлек из нее какую-то пилюлю, положил ее в рот и стал запивать чаем. Штейнгардт, воспользовавшись паузой, взял с хрустальной вазы кисть винограда, положил ее на стоявшую перед ним плоскую тарелочку и небрежно стал общипывать виноградины...

Дочитав телеграмму до конца, Сталин передал ее Молотову, посмотрев на него потеплевшим, несколько задорным взглядом.

Гопкинс, уловив поднявшееся настроение Сталина, тут же поспешил сообщить ему о своих встречах с Черчиллем, с которым расстался только вчера. Глава правительства Англии просил передать Сталину, что он полностью разделяет все выраженные в телеграмме президента Америки чувства к Советскому Союзу.

Тут Сталин нашел уместным сдержанно поблагодарить Гарри Гопкинса за приезд в СССР и приветствовать его на московской земле. За сдержанностью и краткостью слов Сталина все-таки просматривалось душевное расположение к гостю.

Затем Сталин, посуровев, начал характеризовать Гитлера и Германию, излагать позицию Советского Союза по отношению к Германии. Говорил четко, кратко, энергично, будто одним ударом вбивал в доску гвозди.

Отвечая на вопрос Гопкинса, в чем именно из того, что Соединенные Штаты могут послать немедленно, Россия нуждается больше всего и каковы будут нужды России с точки зрения длительной войны, Сталин поразил всех, даже Молотова, своей памятью и знанием потребностей армии и военной промышленности. Взглянув на Поскребышева, который на другом конце стола сидел в одиночестве и вел записи переговоров для информации других членов Политбюро, он, не обращаясь ни к каким бумагам, начал излагать нужды в зенитных орудиях среднего калибра вместе с боеприпасами, в крупнокалиберных пулеметах, американских винтовках, калибр которых совпадал с калибром наших винтовок и наших патронов, в высокооктановом авиационном бензине, алюминии для производства самолетов, в авиаспециалистах, которые могли бы прибыть из США в Советский Союз для обучения наших летчиков управлению американскими самолетами «Кертисс Р-40», двести из которых, как было известно, уже отправлялись в СССР.

Все названные предметы и цифры Сталин сопровождал краткими, ясными и убедительными пояснениями, стараясь при этом дать возможность Гопкинсу записать в свой массивный блокнот сказанное им, Сталиным.

Вечером того же дня Гопкинс вел переговоры с начальником Главного артиллерийского управления Красной Армии генералом Яковлевым Николаем Дмитриевичем. Вместе с Гопкинсом были генерал Макнарни и майор Итон. Разговор велся об имевших касательство к артиллерии предметах, о которых упоминал Сталин. Гопкинс предложил послать в Вашингтон русскую техническую миссию для постоянного ее там пребывания, возложив на нее обязанность обсуждать с американской администрацией новые вопросы по мере их возникновения. К сожалению, генерал Яковлев не мог дать утвердительного ответа на этот счет, как и по некоторым другим проблемам, ибо не имел соответствующих полномочий...

На второй день после полудня Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов принимал заокеанского гостя и сопровождавшего посла Штейнгардта у себя в наркомате. На столе, за которым сидели, были поставлены чай, кофе, коньяк, фрукты. К ним почему-то никто не прикасался, хотя Молотов радушно приглашал угощаться и придвинул к себе стакан с чаем.

В центре внимания их разговора был Дальний Восток и возрастающая военная угроза для СССР со стороны Японии. Молотов с удручающей горечью внутренне усмехался. Ему вспомнилось, как за этим же столом он принимал японского посла Того Сигорени, и будто увидел его косые щелки глаз за стеклами очков. Потом здесь сидел новый посол — Тетекава — желтоликий, скуластый, с неуловимыми для взгляда глазами. И совсем недавно, в апреле этого года, Молотов совещался в этом кабинете с министром иностранных дел Японии Иосуке Мацуока, который после вояжа в Германию и Италию приехал в Москву. Лицо у Мацуоки какое-то мальчишечье, усики на нем и отсутствие мысли. Но последнее — маска, под которой коварство... Потом в зале заседаний Совета Народных Комиссаров СССР они подписывали советско-японский пакт о нейтралитете сроком на пять лет.

Пакт существовал, но существовала и угроза со стороны Японии. И Молотов, не выражая по этому поводу особой тревоги, хотя он ее ощущал, дал понять американским дипломатам, что было бы целесообразно, если б президент США нашел возможным сделать предостережение Японии, которое бы значило, что Соединенные Штаты придут на помощь Советскому Союзу в случае нападения на него Японии, а также высказался за то, чтоб Соединенные Штаты вообще заняли жесткую политику в отношении Японии и помешали ей в дальнейшем распространении войны в Азии.

Разговор был обстоятельным и конкретным, почти с физическим ощущением проблем и тревог, которые томили и были сущностью их сегодняшних забот и размышлений.

38

В 18 часов 30 минут Гопкинс, уже без посла Штейнгардта, вновь, как было условлено, прибыл в Кремль, в кабинет Сталина. Переводчика заменял сегодня Максим Литвинов — известный со-

ветский дипломат с богатейшей биографией. В 1933 году он вел в Вашингтоне переговоры с президентом Рузвельтом об установлении дипломатических отношений между СССР и США. С 1930 по 1939 год Литвинов был народным комиссаром иностранных дел.

Разговор начал Гарри Гопкинс, сказав, что его президент желает получить оценку и анализ Сталиным войны между Германией и Россией.

Ответ Сталина был предельно откровенным и точным. Он охарактеризовал соотношение сил Германии и Советского Союза перед фашистской агрессией и в ее начале, оснащенность противоборствующих сторон вооружением и боевой техникой, сообщил о их тактико-технических данных, о состоянии советской военной промышленности, в том числе авиационной, вскрыл антиморальный характер внезапного нападения германских войск и способов ведения ими войны, высказал свои прогнозы на будущее, а также повторил вчерашние мысли о том, чем могла бы Америка немедленно помочь Советскому Союзу. Тут же он написал на блокнотном листе: «1) зенитные орудия калибром 20, или 25, или 37 мм; 2) алюминий; 3) пулеметы 12,7 мм; 4) винтовки 7,62 мм» — и передал записку Гопкинсу.

Далее взял слово Гопкинс и от имени своего и английского правительств изложил ряд важных соображений, в том числе о готовности послать России снаряжение, которое, однако, надо еще изготовить, и поэтому оно не успеет поступить на советский фронт до наступления плохой погоды; о том, что должны быть составлены планы длительной войны и что проблемы долгосрочного снабжения связаны с информированностью его, Гопкинса, правительства о военном положении России, количестве и качестве ее вооружений, сырьевых ресурсов и о промышленном потенциале. Помощь советским войскам тяжелым вооружением, танками и самолетами Гопкинс ставил в зависимость от совещания трех правительств — США, Англии и СССР; но такое совещание, в свою очередь, зависело, по его словам, от исхода происходящих сейчас сражений на советско-германском фронте.

Короче говоря, ощущалось: американец окончательно не проникся уверенностью, что Советский Союз устоит до осени в единоборстве с фашистской Германией, хотя и был вдохновлен уверенностью Сталина. Если же СССР устоит, то Гопкинс предлагал, чтоб конференция состоялась не позже 15 октября при непременном участии в ней Сталина. Сталин, однако, выразил сомнения насчет возможности своего участия в конференции.

Затем в разговоре стали затрагиваться и новые важнейшие вопросы военного, экономического, политического и морального характера.

Визит доверенного лица Франклина Рузвельта в Москву сыграл важную положительную роль в отношениях Советского Союза с США и Англией, придал бóльшую устойчивость соглашению, подписанному 12 июля о совместных действиях правительств СССР и Англии в войне против Германии, по которому обе стороны обязались оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку, а также не вести

переговоров и не заключать сепаратного перемирия или мира с Германией. Миссия Гопкинса способствовала также тому, что на Ньюфаундленде встретились для переговоров Рузвельт и Черчилль, в итоге которых 14 августа 1941 года была подписана декларация — «Атлантическая хартия»,— в которой в общей форме излагались цели Англии и США во второй мировой войне и послевоенном устройстве мира. В хартии нашли также место и пожелания Молотова о том, чтоб была проявлена более жесткая политика в отношении Японии.

Итак, дипломатические усилия одного человека принесли важные плоды. Примечательно, что Гарри Гопкинс позже выступил в журнале «Америкэн» со статьей о Сталине, в которой писал:

«Ни разу он не повторился. Он говорил так же, как стреляли его войска — метко и прямо. Он приветствовал меня несколькими быстрыми русскими словами. Он пожал мне руку коротко, твердо, любезно. Он тепло улыбался. Не было ни одного лишнего слова, жеста или ужимки. Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной машиной, разумной машиной. Иосиф Сталин знал, чего он хочет, знал, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете. Во время этого второго визита мы разговаривали почти четыре часа. Его вопросы были ясными, краткими и прямыми. Как я ни устал, я отвечал в том же тоне. Его ответы были быстрыми, недвусмысленными, они произносились так, как будто они были обдуманы им много лет назад.

За время нашего разговора его телефон позвонил только один раз. Он извинился за то, что прервал беседу, сказав мне, что он договаривается о своем ужине на 12.30 ночи. В комнату ни разу не входил секретарь с донесениями или бумагами. Когда мы попрощались, мы пожали друг другу руки с той же решительностью. Он сказал «до свидания» один раз, точно так же, как он только один раз сказал «здравствуйте». И это было все. Может быть, мне только показалось, что его улыбка была более дружелюбней, немножко более теплой. Быть может, так было потому, что к слову прощания он добавил выражение уважения к президенту Соединенных Штатов.

Никто не мог бы забыть образ Сталина, как он стоял, наблюдая за моим уходом,— суровая, грубоватая, решительная фигура в зеркально блестящих сапогах, плотных мешковатых брюках и тесном френче. На нем не было никаких знаков различия — ни военных, ни гражданских. У него приземистая фигура, какую мечтает видеть каждый тренер футбола. Рост его примерно 5 футов 6 дюймов, а вес около 190 фунтов. У него большие руки и такие же твердые, как его ум. Его голос резок, но он все время его сдерживает. Во всем, что он говорит,— именно та выразительность, которая нужна его словам.

Если он всегда такой же, как я его слышал, то он никогда не говорит зря ни слова. Если он хочет смягчить краткий ответ или внезапный вопрос, он делает это с помощью быстрой сдержанной улыбки — улыбки, которая может быть холодной, но дружественной, строгой, но теплой. Он с вами не заигрывает. Кажется, что у него нет сомнений. Он создает у вас уверенность, что Россия выдержит

атаки немецкой армии. Он не сомневается, что у вас также нет сомнений...

Он предложил мне одну из своих папирос и взял одну из моих. Он непрерывно курит, что, вероятно, и объясняет хриплость его тщательно контролируемого голоса. Он довольно часто смеется, но это короткий смех, быть может, несколько сардонический. Он не признает пустой болтовни. Его юмор остр и проницателен. Он не говорит по-английски, но, когда он обращался ко мне по-русски, он игнорировал переводчика и глядел мне прямо в глаза, как будто я понимал каждое слово.

Я уже сказал, что наше свидание ни разу никем не прерывалось. Впрочем, оно прерывалось два или три раза, но это вызывалось не телефонными звонками и не непрошеным появлением секретаря. Два или три раза я задавал ему вопросы, на которые, задумавшись на мгновение, он не мог ответить так, как ему хотелось бы. Он нажимал кнопку. Моментально появлялся секретарь, так, как будто он стоял наготове за дверью, и становился по стойке «смирно». Сталин повторял мой вопрос, ответ давался моментально, и секретарь исчезал...

В Соединенных Штатах и в Лондоне миссии, подобные моей, могли бы растянуться и превратиться в то, что государственный департамент и английское министерство иностранных дел называют беседами. У меня не было таких бесед в Москве, а лишь шесть часов разговора. После этого все было сказано, все было разрешено на двух заседаниях».

39

Командный пункт фронта — капитальное фортификационное сооружение на уровне высшего инженерного искусства. Его помещения — блиндаж командующего, «салон» Военного совета фронта, отсеки оперативной группы — были накрыты накатами бревен из вековых елей и сосен. Стены всех помещений обшиты слегами-жердями, положенными вдоль и закрепленными крепкими стояками. Все это деревянное великолепие, свежо пахнущее смолой-живицей, скреплено еще и железными скобами. За главной деревянной дверью находилась не очень тесная «прихожая», в которой у грубовато сколоченного стола постоянно находились связисты, адъютант командующего или ординарец. Из «прихожей» поднимались к выходу в лес ступеньки.

В главной комнате подземелья — большой стол с телефонными аппаратами и радиостанцией. Здесь заседал Военный совет, велась оперативная работа с картами. Вдоль боковых стен — подставки для вспомогательных карт, боевых схем, итоговых сводок.

Ни авиационная бомба, ни снаряд не могли бы прошить бревенчатые накаты командного пункта, укрытые толстым слоем земли, даже при прямом попадании. Так предполагали расчеты инженеров.

И все-таки неуютно чувствовал себя здесь Георгий Константинович Жуков. Нет, не из-за ощущения опасности. Томила его суровое солдатское сердце сложность боевой обстановки в полосе фронта.

Он сидел сейчас за столом, всматривался в карту с нанесенным на ней расположением своих армий, дивизий и группировок врага. Все казалось будто очевидным, ясным, не на чем даже остановить усталую от напряжения и горечи мысль. Может, мешала ему тихая песня, доносившаяся откуда-то снаружи. Молодой и чистый мужской голос журчал тоненькими струйками, а слов разобрать было невозможно. Что-то близкое, родное, тревожившее душу, слышалось в этом голосе и увлекало память в далекие годы, в мир его детства и юношества. Почему-то перед глазами вставала родная Стрелковка, вспучившееся под разнотравьем поле, через которое он бегал в церковноприходскую школу деревни Величково. Будто наяву виделись в кудрявой зелени речки Олубянка и Протва, где с тихим азартом ловил он, мальчик Гоша, рыбу. Тронул болью в сердце всплывший в памяти случай, когда обвалилась от ветхости крыша их дома и семье пришлось переселиться в сарай; там отец сложил небольшую каменную печку для готовки пищи и обогрева. Свет от стоявшей на печке тусклой плошки не мог продраться сквозь мглу в углах сарая.

И мнилось в полудреме, что неумолкавшая тоскливая песня действительно доносилась до него из тех далеких лет, от Протвы и Олубянки, а может, из соседнего села Черная Грязь или недалекого от Стрелковки Угодского Завода. Ныло сердце и шкварчало в голове — признак крайней усталости и дурного настроения.

Песня незаметно растаяла, а мысли Георгия Константиновича не могли вернуться в сегодняшний день — все петляли по причудливым лабиринтам непростой его судьбы и будто искали ответ на какой-то мучивший вопрос.

Да, сейчас он оказался в трагически-тяжком положении, как никогда в жизни. Понимал, что Москва возлагает на него все надежды, а он будто оказался с завязанными глазами и не ведал, куда сделать шаг. Такого с ним еще не бывало даже в те далекие годы, когда терпел нищету, унижения, побои. После приезда в штаб Резервного фронта и после изучения обстановки трижды устремлял он главные свои силы на немецкие дивизии, укрепившиеся в ельнинском выступе, но не добился того успеха, на какой рассчитывал. Почему не получилось? Почему август был таким неудачливым месяцем? Ведь следовал Жуков принципу, ранее не подводившему его: до полной ясности возвышал свои духовные и умственные силы, соединял в решениях расчет, смелость и осторожность, исходил из выверенного закона стратегии — действовать сосредоточенными силами на решающем участке и в решительный момент захватывать стремительным наступлением инициативу... Не получилось. Немцы, правда, понесли потери, но и полегли десятки сотен наших бойцов и командиров. Сколько похоронок пошло в глубь России!..

Но как дрались! Жуков видел это, когда был на командно-наблюдательном пункте генерала Руссиянова, командира сотой стрелковой дивизии; ее славные дела, совершенные уже в первые недели

войны, были известны всему фронту. Побывал на командных пунктах всех других дивизий, не позволявших противнику встречными ударами прорваться из ельнинского выступа на оперативный простор...

Вряд ли генерал армии Жуков не предвидел, что столкнется с невероятными трудностями, приняв командование войсками Резервного фронта. Эти трудности слагались из многих обстоятельств. Перед дивизиями фронта, охватившими с трех сторон ельнинский выступ, враг создал мощные укрепления, зарыв в землю танки, бронемашины, штурмовые и артиллерийские орудия, построив густую цепь дзотов, в которых обосновались хорошо обученные расчеты при крупнокалиберных пулеметах и пушках. Между оборонительными поясами — проволочные заграждения и минные поля. Войска, закрепившиеся в деревнях, были усилены инженерно-саперными подразделениями, которые немедленно восстанавливали каждый дзот, разрушенный нашей артиллерией, каждый прогон порванной колючки, каждый квадратный метр взорванного минного поля. Укрепленный таким образом район казался неприступным.

Но главное — немцы оборонялись неистово и на каждую нашу атаку отвечали контратакой, стараясь перейти в наступление на север и восток, что могло при их успехе привести к объединению двух мощных вражеских группировок — ельнинской и ярцевско-духовщинской, нацеленных в совокупности на Москву. Этого успеха не только никак нельзя было допустить; задача состояла в том, чтоб разгромить врага на Смоленской возвышенности и ликвидировать реальную опасность на московском направлении.

Причину неудач на этом участке фронта Жуков пока что видел только в маломощности 24-й армии. Еще до его приезда командарм Ракутин тоже непрерывно приказывал своим дивизиям каждодневно атаковать противника. А должной подготовки полков проводить не успевали и не имели надлежащего артиллерийского обеспечения. Ракутин надеялся, что не устоят немцы под непрерывным красноармейским штыковым навалом, спасуют в рукопашных схватках.

Георгий Константинович, окинув взглядом оперативную карту, проследовал мыслью в лесную деревеньку Волочек, раскинувшуюся на берегу небольшой реки. Там был штаб 24-й армии. Будто увидел моложавое лицо генерал-майора Ракутина. На этом лице все было выразительным — полные широкие губы, большие, смело глядящие красивые глаза под густыми бровями. Только плотно прилегавшая к голове шевелюра генерала была жидковатой, будто полинявшей. Жуков заметил, что командиры дивизий робковато чувствовали себя при общении с командармом. И еще понял, что Ракутину нелегко давались тонкости оперативного искусства, хотя боевые задачи ставил он комдивам довольно уверенно.

В последние дни Жуков вновь побывал на всех командно-наблюдательных пунктах командиров дивизий 24-й армии. И каждый раз напряженной мыслью устремлялся туда, вовнутрь вражеской группировки, чьи боевые порядки будто впаялись в высоты, овраги, балки и в леса и перелески, в склоны полевых массивов и закраины болотистых участков. До этого он уже трижды отдавал приказы

о наступлении, разделив 24-ю армию на ударные группировки — северную, дивизиям которой предстояло атаковать врага в южном и юго-западном направлениях, и южную, ее дивизиям надлежало пробиваться на север и на запад. Общая задача была: окружить, рассечь на части и разгромить немецко-фашистские войска на ельнинском плацдарме... Однако немцам, имевшим преимущество в танках и самолетах, удалось сдержать все штурмы.

Снова началась кропотливая подготовка для нового удара. Командиры дивизий, полков и спецподразделений вновь непрерывно вели рекогносцировку местности с разных наблюдательных пунктов. В ротах и батальонах проводились партийные и комсомольские собрания. Службы тыла подвозили к переднему краю все необходимое для предстоящего боя. Командиры артиллерийских полков и дивизионов, артиллерийские разведчики сутками сидели в окопах переднего края — изучали систему огня противника, наносили на карты расположение его огневых точек, орудийных и минометных огневых позиций.

В тот день утро застало генерала армии Жукова и генерал-майора Ракутина на западном берегу речки Ужа, в лесу, где располагался командный пункт 107-й стрелковой дивизии полковника Миронова. Комдив как раз вернулся со штабными командирами с рекогносцировки и вместе с вызванными на командный пункт командирами полков уточнял силы противника перед фронтом дивизии.

В таких условиях Георгий Константинович предпочитал быть в крайнем случае советчиком, ибо комдиву, который только что видел занятую противником местность, яснее, как планировать будущие боевые действия в предвидении очередного общего наступления армии.

Генерал же Ракутин знал, что самым трудным участком перед дивизией полковника Миронова является тот, над которым господствовала высота 251,1. Знал это, конечно, и Миронов.

— Кто будет брать высоту двести пятьдесят один? — спросил Ракутин комдива.

— Думаю поручить это дело полку Некрасова.

— Согласен. Как, Иван Михайлович, одолеешь эту горушку? — Ракутин поглядел прямо в глаза вставшего по стойке «смирно» командира 586-го стрелкового полка полковника Некрасова.

— Приказ есть приказ, товарищ генерал. Его выполнять надо.

— Решение свое доложите завтра к двенадцати ноль-ноль командиру дивизии.

Разговор велся рядом с блиндажом комдива, за длинным столом, сбитым из досок, под густой сенью деревьев.

Жуков пытливо вгляделся в лицо полковника Некрасова — простое, спокойное, с резкими чертами и лесенкой морщин на лбу. В прищуре его глаз под открыто изогнутыми бровями чувствовалась уверенность в себе и даже какая-то дерзкая загадочность.

Некрасов ушел, а Жуков, придвинув топографическую карту с начертанной на ней линией обороны противника, стал всматриваться в пометки на высоте 251,1 и вокруг нее. Увидел, что на ее

гребне, на скатах и вдоль основания гитлеровцы вырыли траншеи, оборудовали много огневых артиллерийских и минометных позиций, оцепили подступы к высоте минными полями и колючей проволокой. Насчитал около десятка кружков с ромбиками внутри них — это закопанные в землю танки. Знал, что высоту обороняет немецкий полк, хорошо оснащенный автоматическим оружием, и мысленно поставил себя на место полковника Некрасова. Какое бы принял решение? Какой бы совершил маневр, чтоб взять высоту? Ведь еще надо было преодолеть перед ней совершенно открытую двухкилометровую ничейную полосу, преодолеть под огнем, ибо даже при самой тщательной артиллерийской подготовке обязательно уцелеют или будут переброшены из глубины обороны пусть даже несколько пулеметов.

Для взятия высоты нужна была могучая артиллерийско-минометная поддержка, нужны пушки сопровождения пехоты, чтоб двигались в ее боевых порядках и прямой наводкой били по оживающим огневым точкам врага. Нужны бомбовые удары с воздуха. Хорошо бы и дымовая завеса, если будет сопутствовать ветер. И необходимы также вспомогательные удары справа и слева других частей.

Что же предпримет полковник Некрасов?.. А полковник Некрасов принял необычно дерзкое решение: всем полком, прикрываясь ночной теменью, подползти к переднему краю вражеской обороны, в которой саперам было приказано сделать проходы в минных полях и вырезать обширные ворота в проволочных заграждениях, затем всеми батальонами навалиться на врага, тихим и внезапным штыковым штурмом.

Готовились к этому весь день. Каждому, кому предстояло идти на высоту, надевалась на рукав белая повязка, чтоб в траншейных схватках не переколоть своих. Полковник Некрасов тщательно инструктировал диверсионно-разведывательную группу; ей предстояло ползти впереди и бесшумно снимать немецких часовых и сигнальщиков-ракетчиков; начальник штаба до метра выверял расстояния по карте и вычислял, за какое время можно проползти нейтральную полосу, намечал места проходов в проволочных заграждениях и минных полях; начальник разведки перепроверял полученные накануне данные о расположении вражеских огневых точек. Напряженная работа велась всеми работниками штаба полка и штабов батальонов, а также политработниками, которые проводили беседы почти с каждым бойцом.

За час до полуночи боевые порядки полка двинулись в сторону высоты. И будто сгинули, проглоченные сумраком ночи. Полковник Некрасов полз впереди вместе с разведывательно-диверсионной группой.

Миновал час, второй, наступил третий... Не слышно было ни единого выстрела. Только, как и в каждую ночь, велась редкая беспокоящая пальба нашей и немецкой артиллерии.

Георгий Константинович ждал вестей с высоты с напряженным нетерпением и некоторым недоверием. Его настроение передалось генералам Ракутину и Миронову. Все сидели за тем же столом у блиндажа, отбивались от комаров, курили, изредка перекидывались

ничего не значившими фразами и пили крепкий чай. В то же время каждый будто был там, на клеверном поле, которое надо было переползти батальонам полка, был у вражеской колючей проволоки и среди минных полей. Нетронутыми стояли у стола термосы с ужином для начальства...

В полтретьего на высоте заполыхали четыре костра: загорелись подожженные нашими разведчиками-диверсантами немецкие танки. Это был сигнал для начала штурма. Полковник Некрасов бежал впереди атакующих цепей, первым вскочил в траншею и начал ту искусную штыковую схватку с одуревшими со сна и от неожиданности немецкими солдатами, которая зажгла азартом всех, следовавших за ним. И пока ни выстрела. Только свирепая возня, надсадные охи, предсмертные вскрики. Шли впрок уроки полковника, который почти в каждой роте показывал «свою школу» орудования штыком: не бей врага ни в грудь, ни в живот, экономь силу и на длинном выпаде посылай карабин вперед, целясь неприятелю в лицо, в шею, в лоб. Жало штыка острое, а бросок винтовки должен быть резким, энергичным, после которого пораженный роняет оружие и падает в шоке. Только русский боец владеет таким приемом; не надо забывать о нем, напоминал всем Некрасов.

Первая траншея очищена. Бросок ко второй был еще более стремительным. Схватки — как продолжение кошмарного сна. Лязг штыков и приглушенные вопли гитлеровских вояк, не могших опомниться от налетевшего шквала. Блиндажи, дзоты заухали и застонали от взрывавшихся в них гранат. Ходы сообщения закупоривались телами сраженных завоевателей.

Не могло быть ничего более страшного, чем минуты, в которые гибли сотни и сотни людей — вражеских солдат, да и наших воинов, охваченных боевым азартом и яростью.

До какого-то времени схватки происходили будто в таинственности: никто не взывал о помощи, не требовал подкреплений. Бойцы полковника Некрасова, ожесточившись во все предыдущие дни, когда теряли в бесплодных атаках своих товарищей, сейчас будто вершили справедливый суд возмездия и ощущали, как метр за метром порабощенная земля смоленская становилась вновь ихней, родной землей, избавленной от завоевателей.

И вдруг тишина была взорвана тысячеголосым могучим и отчаянным кличем «ура-а-а!». К вершине высоты, где находился командный пункт немецкого оборонительного узла, устремились темные тени-призраки — цепями, группами, одиночками со всех сторон... Вот и вершина позади. Там, в блиндажах, уже хозяйничал с группой бойцов полковник Некрасов. А батальоны полка все продолжали теснить неприятеля дальше и дальше.

К пяти часам утра высота 251,1 была полностью очищена от врага, и на подступах к ней были поставлены прочные заслоны.

Генерал армии Жуков, не сомкнувший в эту ночь глаз, был счастлив, хотя понимал, что достигнутый полком Некрасова успех далеко не являлся тем результатом, которого надо достичь всеми дивизиями 24-й армии. Более того, он предвидел, что Некрасову

придется очень тяжко со своими батальонами, ибо в наступательном порыве они, несомненно, еще дальше углубятся во вражеские оборонительные рубежи. Но поддержать их, превратить частный успех полка в успех дивизии, а тем более армии, пока не представлялось возможным. Придется наверняка выручать Некрасова огневой поддержкой и ударом резервных сил.

Генерал Жуков умел всматриваться вперед. Главное сражение за ельнинский плацдарм было еще впереди. Но командующий фронтом воочию убедился, что во главе советских войск стоят настоящие командиры, с опытом, выдержкой, с истинно русским характером, выкристаллизованным за всю историю народа, никогда не покорявшегося поработителям. И воинство советское уже обрело к этому времени те качества, когда можно было в полной мере на него положиться, разрабатывая масштабные оперативно-стратегические операции.

40

В первых числах августа ослабленные части 16-й и 20-й армий по приказу главнокомандующего Западным направлением начали отходить от Смоленска, прикрываясь сильными арьергардными группами. На главном направлении, где немцы пытались смять отходящие войска, неусыпно действовали разведчики 152-й стрелковой дивизии во главе со старшим лейтенантом Лопуховым Евгением Семеновичем, а вражеским танкам преграждал путь артиллерийский противотанковый дивизион под командованием политрука Машункина Василия Михайловича. На флангах держали оборону смешанные подразделения, замыкая коридор отхода.

В ночное и дневное время по Старой Смоленской дороге непрерывным потоком двигались в направлении Днепра колонны пехоты, артиллерии, грузовиков, санитарных машин и повозок. Дорога упиралась в Днепр у деревни Соловьево, раскинувшей свои семьдесят пять дворов на возвышенном правом берегу, недалеко от того места, где в Днепр вливались речки Устром, Ласьмена, а ниже по течению — Вопь. И теперь еще одна, живая, река текла к древнему Днепру, разливаясь по всей ниспадающей к руслу прибрежной пойме и по близлежащим лесам.

Через Днепр саперы под командованием армейского инженера полковника Ясинского навели переправу — поставили и заякорили посреди реки два металлических понтона, а справа и слева состыковали надувные лодки, поверх которых закрепили деревянные лаги. Между берегами протянули стальные тросы, а рядом, тоже на тросах,— два штурмовых мостика для пехоты. Однако напор людей, машин, повозок был куда более мощным, чем могла пропустить по своей зыбкой тверди переправа. А пушкам вообще не было сюда ходу: грузоподъемность понтонов не соответствовала их весу. Поэтому ниже по течению Днепра, у деревни Радчино, инженерными подразделениями 20-й армии наводилась более мощная, вместо разбомбленной, переправа, в то время как в лесных и тальниковых

глубинах восточного берега со вчерашнего дня стрекотали пулеметы и автоматы, гулко ухали танковые пушки, иногда доносилось многоголосое «ура». Там поредевшие подразделения 5-го механизированного корпуса 20-й армии дрались с немцами, прорвавшимися через Днепр наперерез отступающим советским войскам. Хорошо, что танкистам и пехоте 5-го корпуса удалось вовремя выйти на левый берег, используя паромную переправу и брод у Радчино. Теперь они продолжали успешно теснить врага за речку Орлею.

Соловьевская и радчинская переправы лета 1941 года... Страшные это были скопища людей и техники. Страшные тем, что являли в своей совокупности гигантские мишени, по которым непрерывно вели огонь артиллерия и минометы врага, а с неба пикировали десятками бомбардировщики, прорываясь сквозь огонь зенитчиков. Изредка появлялись советские истребители, и тогда на земле начиналось ликование...

Не столь большая ширь Днепра ниже переправ была густо покрыта странного вида кочками. Это, закрепив на головах сложенное обмундирование, а за спиной — карабины, перебирались на левый берег умевшие плавать.

А у въездов на понтонные мосты творилось невообразимое. Каждый стремился оказаться быстрее на противоположном берегу, у темнеющего впереди леса, подальше от обстрела и бомбежек. Поэтому командованию пришлось поставить плотное оцепление из взводов комендантских рот. На радчинской переправе наводил жесткий порядок бригадный комиссар Сорокин Константин Леонтьевич, на соловьевской — полковник Лизюков Александр Ильич. Первыми пропускали машины и повозки с ранеными. Бойцов — только с оружием; безоружных возвращали назад — искать оружие.

Саперные подразделения совершали воистину беспримерный подвиг. Бомбы и снаряды, взметывая в небо фонтаны воды, часто попадали в цель, губя людей, технику и разрушая наплавные мосты. Ниже по течению, здесь же, в Соловьеве, начали строить еще две переправы — свайные. Тракторами волокли на тросах из недалекого леса спиленные деревья, танками рушили по просьбе жителей их деревянные дома, сараи, тащили бревна к переправам, крепили, вязали, схватывали крепежными железными скобами, тяжелыми кувалдами вбивали в дно Днепра сваи, клали поперечины, а на них — продольные лаги. Берег кипел от многолюдья, деловой суеты, далеко окрест слышался гул тысяч голосов, вопли раненых и тонущих, команды, матерщина. Все это часто заглушалось пальбой зенитных пушек и пулеметов, залповым огнем по немецким самолетам, а также недалекой стрельбой за буграми, где сводный отряд полковника Лизюкова сдерживал рвавшихся к переправам немцев.

Да, это были самые тяжкие часы и дни августа 1941 года для тех, кто оказался в этой мясорубке. И все-таки судьба будто сжалилась над терпевшими смертные бедствия советскими войсками: каждые сутки, с шести-семи часов вечера и часов до десяти утра над Днепром, его поймой, над всей бугристой местностью начинал

клубиться вокруг густой белый туман, делая менее уязвимыми переправы и оберегая саперов от ударов с воздуха.

И текла, текла несколькими ручьями живая река от Днепра на восток, в сторону деревень Часовня, Дубки...

4 августа перебрались через Днепр штабы 16-й и 20-й армий. Генералу Лукину не повезло. В сутолоке на соловьевской переправе, когда он наводил там порядок, на него наехала машина и повредила ногу.

Остатки дивизии полковника Гулыги тоже прорвались на восток южнее Смоленска и влились в колонны отступающих частей 16-й армии. Гулыга и с ним начальник штаба подполковник Дуйсенбиев, начальник артиллерии майор Быханов ехали верхом на лошадях, отбитых у немцев. Вся техника остатков дивизии — автотранспорт, артиллерия, тягачи — была приведена в негодность и оставлена в лесах севернее Муравщины. Полковник Гулыга, не зная обстановки, повел свои растрепанные подразделения строго на восток, переправился через Днепр и сам влез в мешок вражеского окружения. А сейчас надо было вновь переходить Днепр.

На Старой Смоленской дороге, у развилки дорог на Радчино и Соловьево, стоял командирский регулировочный пост, разделявший поток отходивших войск на два русла. Гулыга с группой своих штабистов был направлен на Радчино. А младший политрук Миша Иванюта проворонил развилку и поехал на Соловьево, стоя на подножке медленно двигавшегося в колонне санитарного автобуса, битком набитого ранеными. У Иванюты до этого тоже была трофейная лошадь. Но вчера при налете «юнкерсов» ее тяжело покалечило, и Миша, содрогаясь от жалости, пристрелил кобылицу. А теперь передвигался пешком или на попутном, случайном транспорте.

В кабине санитарного автобуса сидела молоденькая сероглазая санитарка Варя, обворожившая Мишу с первого взгляда. Ее воркующий голосок, светлые, струившиеся из-под пилотки кудряшки, круглое, улыбчивое личико с ямочками на щеках — все это так пришлось Иванюте по душе, что сердце его затрепетало. И он стал откровенно хвастаться перед девчонкой своим трофейным автоматом, запасными обоймами к нему, воткнутыми за голенища сапог, трофейным биноклем. Наводил девушку на мысль о своем геройстве, необыкновенной храбрости. Варя даже начала подшучивать над его откровенным бахвальством, понимая, что этот загорелый тощий паренек с двумя кубиками в петлицах очень хочет понравиться ей... И произошло невероятное: Миша увидел на коленях у санитарки недельной давности газету «Красная звезда»... Тут все и «замесилось»... В газете публиковался Указ Президиума Верховного Совета о награждении фронтовиков, отличившихся в боях. Автобус как раз остановился в заторе, а Миша, безразлично скользнув взглядом по списку, задержал внимание на фамилии Жилов, полковой комиссар... Награждался орденом Красного Знамени... Миша изумленно ахнул и тут же

помрачнел от печали: Жилов остался где-то в тылу врага с другой группой частей. Не погиб ли?..

Вдруг вспомнил, как Жилов говорил перед строем, что и его, младшего политрука Иванюту, представляют к награде. Не питая особой надежды, Миша пробежался глазами по списку и чуть не лишился рассудка, когда в колонке, где перечислялись награжденные орденом Красной Звезды, черным по белому было напечатано: «Политрук Иванюта Михаил Иванович...» Но почему политрук? Ведь он младший политрук!..

Варя посмотрела на Мишу уже с бо́льшим интересом. А он, продолжая изучать список, вдруг прочитал: «Капитан Колодяжный!..» Теперь ему все стало ясно: их не только наградили, но и повысили в воинских званиях... И захлебнулся в радости, в гордости и даже самодовольстве.

А Варя милостиво подарила Мише газету с указом и химическим карандашом дорисовала на малиновых петлицах линялой Мишиной гимнастерки по одному квадратику; это должно было подсказывать несведущему миру, что он, Михаил Иванюта, уже не младший, а просто политрук!

Варя так и сказала:

— Политрук ты мой орденоносный, не умри от радости.

И это было для Миши как признание девушки в любви к нему.

Когда санитарный автобус, двигаясь в колонне, поднялся на взгорок, откуда был виден Днепр, в душе у Миши будто погас свет и радость его померкла. Показалось, что перед ним открылась панорама гигантского торжища, где в базарный день сбились многие тысячи людей, сотни машин, тягачей, орудий, повозок. А за Днепром тянулись через луг к лесу плотные цепочки пеших и конных, грузовиков, орудий, санитарных машин, повозок; переправы словно процеживали сквозь себя войско. Однако вытекавшие на восточный берег живые ручьи, кажется, никак не обмеляли людского моря, тысячеголосо плескавшегося в пойме правого берега. То в одном, то в другом месте берега, прибрежного тальника или в водах Днепра взметывали дымные столбы взрывавшихся снарядов и мин, прибавляя работы санитарам и похоронным командам.

Ближе к переправе Миша Иванюта стал убеждаться, что порядка тут больше, чем казалось со стороны. Строгие командиры и политработники, бойцы и сержанты комендантских взводов четко направляли на мосты людей, транспорт, технику. Не успел он сообразить записать хоть какой-нибудь адрес Вари, ее фамилию, как его стянули с подножки, оттиснули в сторону, а автобус с ранеными загромыхал колесами по дощатому настилу наплавного моста. Иванюта хотел было возмутиться, что с ним, орденоносцем, так бесцеремонно обошлись, но, оглядевшись вокруг, понял, что тут ничего никому не докажешь.

Мише, конечно, было проще простого самостоятельно переплыть Днепр. Но зачем? Остаться на том берегу в одиночестве, без своих, с которыми пробивался из окружения? И куда потом податься?.. Нет, такой глупости политрук Иванюта не допустит и дождется,

когда на переправе появятся полковник Гулыга, подполковник Дуйсенбиев, другие штабисты и политотдельцы их дивизии.

К переправам приближалась очередная девятка «юнкерсов», и из левобережных перелесков по ним открыла стрельбу батарея зенитных орудий.

Ощущая мерзкий холодок страха в груди и на спине, Миша Иванюта стал проталкиваться к огородам деревни, спускавшимся к пойме. Здесь ударила в нос теплая нестерпимая вонь — от убитых лошадей и коров. Миша поднялся еще выше на взгорок, приложил к глазам бинокль и стал осматривать запруженную машинами, повозками, людьми дорогу и ее обочины; верховых на ней не заметил, а о том, что в нескольких километрах есть другая переправа, Иванюта не знал.

Перевел бинокль на «юнкерсов» и увидел, как наперерез им устремилась из глубины неба шестерка наших «ястребков». Немецкие бомбардировщики, бросив бомбы на болотистый луг за Днепром, стали удирать на запад, стреляя по «ястребкам» из всего своего бортового оружия.

Иванюта снова нацелил бинокль на дорогу. Увидел повозку с ранеными. Среди них сидел, опустив ноги к земле, очень знакомый Мише человек... Ба, да это же майор Рукатов!.. Забинтованное плечо, перевязанная голова... Нет, встречаться с Рукатовым Мише не хотелось, хотя интересно было узнать, удалось ли ему вывезти из тыла врага те мешки денег, которые нашел Миша.

Бойцы вокруг неожиданно стали кричать «ура». Через мгновение сонмище людей в долине могуче подхватило этот клич ликования, и казалось, что сейчас рухнет на землю небо, настолько он был мощным и яростным. Миша даже испугался, ничего не понимая. Потом увидел, как падали сбитые «ястребками» два «юнкерса», оставляя за собой бурые хвосты дыма, и сам тоже начал вопить «ура» и подбрасывать вверх пилотку.

На время Мишу отвлекло от поисков однополчан еще одно событие. Между домами и надворными постройками Соловьева, цепочкой тянувшимися по возвышенному берегу Днепра, были проулки, проходы и огородные грядки. Все они вдруг стали заполняться коровами. Это откуда-то угоняли в тыл скот. Коровы, а их было много десятков, учуяв близкую воду, засеменили вниз, а Миша, вспомнив, как в детстве он купал коров, тоже побежал к Днепру и, возвысся голос, призывно объявил:

— Братцы, кто не умеет плавать — цепляйтесь за коров!.. Живые паромы... Надежные!

Видно, коровам было уже в привычку переплывать через реки. Попив из Днепра воды, они, отдуваясь, неторопливо шли на глубину и направлялись к противоположному берегу. Боявшихся воды и не умевших плавать среди скопившихся близ переправ бойцов оказалось не так уж мало. И вскоре каждая корова была облеплена людьми, как мухами. Держались за хребтины, перебросив через них оружие, за хвосты, за рога. У многих коров на рогах висели винтовки, автоматы, вещмешки. Бессловесная скотина медленно, но

верно плыла через реку, чутко прислушиваясь к выстрелам бичей в руках сопровождавших стадо немолодых скотников.

Ширь Днепра сплошь покрылась плывущими в обнимку с коровами бойцами. И с той же силой, как гремело сейчас при виде падающих «юнкерсов» «ура», если не с большей, раскатисто взревела по всей пойме гомерическим хохотом многотысячная рать. В этом безудержном, размашистом хохоте было, казалось бы, что-то противоестественное, ибо рядом умирали тяжело раненные, продолжали взрываться немецкие снаряды и мины, губя людей и превращая в железные ошметья технику. Но таков был характер российского воинства.

Вслед плывущим неслись ироничные, беззлобно-насмешливые выкрики:

— Эй, коровий род войск! Держите точно на восток!

— Защекочешь буренку, сержант! Осторожнее!

— Эгей, который за хвост держится! Не включи корове задний ход!..

Вдруг среди плывущего стада рванул снаряд, всплеснув вверх огонь и воду. И как обрубил смех на берегу. Окрасился кровью Днепр. Многие коровы вместе с бойцами пошли ко дну...

И тогда в реку кинулись десятки добровольных спасателей, даже не успев раздеться.

— Ваша идея?

Миша Иванюта, потрясенно смотревший с берега на то место, где взорвался снаряд, повернулся на обращенный к нему голос и увидел рядом с собой... старшего лейтенанта Ивана Колодяжного.

— Ты ли это?! — обалдело спросил Миша.

— А это ты, холера?! — Колодяжный коротко хохотнул.— Коровий стратег от журналистики! Живой, значит!

— Живой, да вот отбился от своих,— с чувством виноватости сказал Иванюта.

— Здесь все свои,— с приглушенной грустью успокоил его Колодяжный.— Дуй за Днепр и держи путь на Городок. Там сборный пункт. Пойдем к переправе.

— А ты что здесь делаешь?

— Собираю таких, как ты, недоумков, что от своих отбились. Одних в трибунал отдаю, а других милую.

— Как со мной поступишь?

— Дай закурить, тогда отпущу на свободу.

— Закурить не дам — не курю. А вот кое-что другое сейчас будет.— Иванюта расстегнул свою планшетку, распахнул ее и показал Колодяжному газету «Красная звезда». Под прозрачным целлулоидом был виден в ней указ о награждениях.— Вот читай, товарищ капитан! Да-да, не старший лейтенант, а капитан! И с орденом Красной Звезды вас!!! Не младший, а политрук Иванюта поздравляет!

Вот так и было на этом обильно политом кровью крохотном клочке планеты: здесь колотились боль, страх, муки. И вспышки

веселья, радости, когда был к тому повод. И многих людей привела сюда Старая Смоленская дорога, чтоб открыть перед ними новые дороги войны, коей предстояло еще не один год буйствовать на советской земле.

41

Федор Ксенофонтович Чумаков сидел в пижаме на скамейке под старой липой, с тыльной стороны госпитального здания, курил, переговаривался с другими выздоравливающими ранеными, отдыхавшими тут же в плетеных креслах, любовался лугом и лесом, видневшимися за Москвой-рекой. День клонился к исходу, дышал свежестью и запахами цветочных клумб.

Неожиданно с угла здания послышался звонкий девчоночий голос:

— Генерала Чумакова просят зайти в палату!

Федор Ксенофонтович оглянулся на голос, увидел молоденькую санитарку в белом халате и белой косынке. Поднялся, взглянул на наручные часы: было ровно семнадцать. Зачем понадобился в столь неурочную пору?

В палате застал своего лечащего врача — полнотелого военврача третьего ранга — и замполита госпиталя — полкового комиссара, уже немолодого мужчину с грустными проницательными глазами. Оба они были чем-то обескуражены.

— Федор Ксенофонтович,— обратился к Чумакову полковой комиссар,— нам приказано, исходя из вашего самочувствия, разрешить вам поездку в Москву. Как вы?.. Сможете?

— Я готов,— без колебаний ответил Чумаков и тут же увидел на спинке кресла новенькое генеральское обмундирование, а рядом на полу — хромовые сапоги. В темных петлицах гимнастерки заметил по три золотистые звездочки и смутился: — Это мне?

— Так точно, товарищ генерал, вам,— ответил замполит.

— Значит, ошиблись в звании: я ведь — генерал-майор, а тут знаки различия генерал-лейтенанта.

— Привезли из Москвы форму,— пояснил врач.

— Ошиблись.— И Федор Ксенофонтович, взяв гимнастерку, стал отвинчивать с петлиц по одной нижней звездочке.— А кто привез?

— Полковник. Он дожидается вас в машине.

Верно, Федор Ксенофонтович видел при входе в здание черную эмку. Рядом с ней стоял, раскуривая папиросу, моложавый полковник в форме НКВД.

«Что бы это значило?» — размышлял Чумаков, надевая на себя новенькое генеральское одеяние. Его оставили в палате одного.

Когда натянул сапоги, то почувствовал, будто у него прибавилось сил и бодрости. Действительно, раны его зажили, хотя на следах ран от осколков образовавшаяся кожица была еще розовой и болезненной, если прикасаться к ней.

Минут через десять черная эмка уже мчалась в сторону Москвы. Федор Ксенофонтович не стал расспрашивать полковника, сидевшего

рядом с шофером, куда и зачем они едут. Хмурый, усталый вид чекиста не располагал к этому, да и понимал, что, если он сам ничего не поясняет, значит, так надо.

Удивительно, что Федор Ксенофонтович не ощущал никакой тревоги, только волнение от предстоящего свидания с Москвой: какая она, военная, которую, начиная с 22 июля, немецкие самолеты пытаются бомбить каждую ночь?

В одном был убежден генерал Чумаков: вызов в Москву связан с его письмом, в котором он изложил свои мысли по поводу способов ведения боя разными родами войск — как личный опыт, вынесенный из первых сражений с немцами. Правда, было чуть стыдновато, что употребил небольшую хитрость — «военную находчивость», как определили ее они вместе с Семеном Микофиным. Чтобы письмо не затерялось где-нибудь в дебрях наркоматовских канцелярий, Чумаков адресовал его профессору Романову, будто не зная, что тот умер за день до начала войны. А Микофин взял на себя труд передать это письмо маршалу Шапошникову, благо отозвали его с Западного фронта и назначили начальником Генерального штаба вместо Жукова.

Как же был удивлен Федор Ксенофонтович, когда, приехав в центр Москвы, их машина устремилась не на улицу Фрунзе, к наркомату обороны, а к Кремлю. И тут дрогнуло сердце у бывалого солдата. Изменив своей выдержке, он спросил у молчаливого полковника:

— Куда мы следуем?

— Приказано сопровождать вас в приемную товарища Сталина.— Полковник повернулся к Чумакову, дружелюбно заулыбался и сказал: — Ну и характерец у вас, товарищ генерал! Я всю дорогу ждал этого вопроса...

Когда Чумаков, испытывая естественное волнение, вошел в кабинет Сталина, он увидел сидящими за длинным столом Молотова, маршала Шапошникова и Мехлиса. Сталин стоял у своего стола и читал какой-то документ. При виде Мехлиса Федор Ксенофонтович вдруг почувствовал, как загорелась у него зажившая рана ниже левого уха, встревожился, что сейчас, как уже бывало раньше, заклинится у него челюсть и он не сможет произнести ни слова. А Мехлис, видимо, вспомнил тот случай, которому он был свидетелем западнее Минска, в штабе армии Ташутина, когда с Чумаковым произошел такой казус, вдруг расхохотался и подбадривающе спросил:

— Опять будете палец между зубами совать?

Чумаков посмотрел на армейского комиссара первого ранга с благодарностью за моральную поддержку и, успокоившись, принял стойку «смирно». Прищелкнул каблуками новеньких необмятых сапог, обратился к Сталину:

— Товарищ Верховный Главнокомандующий, генерал-майор Чумаков по вашему вызову прибыл!

Сталин положил на стол бумагу, вплотную подошел к Федору Ксенофонтовичу и подал ему руку. После короткого пожатия спросил:

— Вас что, разжаловали в генерал-майоры, товарищ Чумаков?

— Не понимаю вопроса, товарищ Сталин,— с некоторой растерянностью ответил Федор Ксенофонтович.

— Да? — удивился Сталин.— Мы вас тоже не понимаем. Правительство присвоило вам звание генерал-лейтенанта... Хрулев послал вам новенькую форму со знаками различия, а вы взяли да сняли с петлиц по одной звезде.

— Прошу прощения, товарищ Сталин... И благодарю за оказанное доверие. Но я подумал — произошла ошибка. Приказа ведь мне никто не объявил.

К Чумакову подошли Молотов, Шапошников, Мехлис, поздравляли с очередным воинским званием и выздоровлением после ранений. А Сталин, уже стоя в другом конце кабинета, заговорил об ином:

— Мы тут разбирались со смоленскими мостами... И пришли к выводу, что полковник Малышев и вы, товарищ Чумаков, как старший по званию, поступили правильно. Мосты взорвали вовремя. Хотя нам не все еще ясно, как удалось немцам так стремительно ворваться в Смоленск. Мы назначили комиссию во главе с генерал-майором артиллерии Камерой, которая исследует этот вопрос.

— Можно мне сказать свою точку зрения? — спросил Чумаков.

— Не надо,— кивнул ему зажатой в руке трубкой Сталин.— Вы скажете, что не хватало сил для удержания Смоленска.

— Так точно,— подтвердил Чумаков.

Сталин опять перевел разговор на другое:

— А что вас лично связывало с профессором военной истории Романовым Нилом Игнатовичем?

— Я женат на его племяннице.

Тут включился в разговор маршал Шапошников.

— Позвольте заметить, товарищ Сталин,— сказал он.— Чумаков — лучший воспитанник генерала Романова по военной академии.

Сталин на это замечание маршала ничего не ответил. После паузы спросил у Федора Ксенофонтовича:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Чумаков, что ваши соображения, изложенные в письме, которые мы внимательно изучили, требуют значительной ломки некоторых положений Боевого и Полевого уставов Красной Армии?

— Могу обосновать все свои суждения, особенно по поводу боевых действий стрелковых и танковых войск.

— Ваша уверенность похвальна.— Сталин привычно зашагал по кабинету.— Мы тоже считаем неправильным, когда наши войска, организуя наступательный бой, строят свои боевые порядки, густо эшелонируя их в глубину. В результате этого мы имеем большие, неоправданные потери от огня артиллерии, минометов и авиации врага прежде всего в подразделениях вторых и третьих эшелонов. И такое построение боевых порядков приводит во время наступления к бездействию свыше трети всех пехотных огневых средств дивизии... Верны также ваши соображения о месте командира в боевом порядке во время наступательного боя... При нынешнем положении подразделения могут оказаться без командиров.

Далее Сталин говорил и о том, чего не содержалось в письме Чумакова,— о необходимости введения залпового огня из винтовок, об усилении огневыми средствами стрелковых рот и батальонов...

Вслушиваясь в его приглушенный голос, в грузинский акцент, Федор Ксенофонтович ловил себя на побочной мысли: «Как бы заговорить о проблемах и точках зрения, изложенных в письме к Сталину покойным профессором Романовым? Удобно ли?.. А вдруг спросит: «Откуда вам известно содержание письма?» Нет, нельзя вторгаться в чужое... И уже, пожалуй, не ко времени. Или решиться?..»

Эту навязчивую мысль разрушил Сталин:

— Товарищ Чумаков, мне понравились четкость и ясность ваших формулировок в письме. Мы приняли решение создать группу из генералов и командиров, которые бы в действующей армии еще и еще раз проверили истинность возникших проблем... Ведь хотим мы того или нет, придется вносить поправки в ряд положений наших уставов. Мы поручаем вам возглавить эту группу... Разумеется, после того, как вы окончательно поправитесь после ранений...

— Я уже поправился, товарищ Сталин.

— Это мы спросим у ваших врачей... Так вот, у товарища Шапошникова есть проект документа, с которым я прошу вас сейчас же познакомиться. Можете редактировать его, дополнять, а главное — уточнять количество и фамилии людей, включаемых в эту группу, если даже их надо будет отзывать с фронтов. Я полагаю, достаточно будет семь — десять человек из разных родов войск. Но прошу вас — это на будущее — не забывать о таких философских категориях, как возможность и действительность. Необходимо учитывать, что на войне существует множество возможностей, определяющих различные пути и варианты борьбы с противником. Военное искусство командиров всех степеней состоит в том, чтоб определять те возможности, которые наиболее реально могут быть превращены в действительность, то есть в победу в бою, в операции, в войне в целом.

— Понял, товарищ Сталин. Я помню об этих категориях.

— Минуточку... Необходимо также учитывать, что во всякой действительности есть возможность благоприятного и неблагоприятного развития событий... Исходите и из этих положений, товарищ Чумаков, когда будете писать окончательные ваши выводы...

Маршал Шапошников тут же протянул Федору Ксенофонтовичу две странички машинописного текста — проект решения Государственного Комитета Обороны — и сказал:

— Можете поработать в комнате товарища Поскребышева. И у него же оставьте документы.

Генерал Чумаков понял, что разговор с ним окончен. Взяв документ, он поклоном головы попрощался со всеми и, четко повернувшись кругом, шагнул к двери.

В кабинете Поскребышева Федор Ксенофонтович почувствовал какую-то оторопь, нереальность происходящего. Видел сидевших на стульях людей, но ни на ком не мог сосредоточить взгляда. Не в силах был убедить себя, что это именно он встречался сейчас со Сталиным, отвечал на его вопросы, выслушивал его указания. Будто побывал

в ином мире, а теперь оглядывал себя со стороны — каков ты, генерал Чумаков, после встречи с Верховным Главнокомандующим? И вдруг пришло волнение, которое, казалось бы, должно было охватить его раньше, перед входом в кабинет Сталина.

Направился в угол комнаты, где стоял свободный стол, сел в кресло и начал вчитываться в документ. Поймал себя на ощущении, что не может сосредоточиться. Глаза скользили по строчкам машинописного текста, как по пустому месту.

Мучительно захотелось закурить. И только теперь он пытливо, с удивлением оглядел кабинет, увидел каких-то людей, ждавших, видимо, когда позовут их к Сталину. Никто не курил.

Наконец почувствовал, что он может размышлять. И вновь начал читать документ. С радостью обратил внимание: многие места в нем взяты из его, Чумакова, письма. Его наблюдения, выводы, предложения...

Не притронулся ни к одной фразе проекта решения. Список членов комиссии тоже удовлетворил Федора Ксенофонтовича: в нем были генштабисты и преподаватели военных академий.

Положил на стол Поскребышева бумагу, когда тот разговаривал с кем-то по телефону. И вдруг родилось желание позвонить на 2-ю Извозную улицу, в квартиру покойных Романовых. А вдруг Ольга и Ирина уже вернулись с окопных работ?.. Из Архангельского он звонил им каждый день, но телефон безмолвствовал. А вдруг?..

И он попросил у Поскребышева разрешения воспользоваться его телефоном. Александр Николаевич любезно сдвинул на край стола телефонный аппарат.

Федор Ксенофонтович набрал номер, не питая особой надежды. И чуть не задохнулся от счастья: телефон откликнулся. Он узнал самый милый на свете и самый родной голос Ольги. Вначале не мог произнести ни слова, затем виновато, взглянув на Поскребышева, сказал:

— Ну, здравствуй, дорогая женушка... Сейчас приеду.

Минут через пятнадцать черная эмка привезла Федора Ксенофонтовича на 2-ю Извозную улицу к знакомому дому. Полковник-чекист на прощание вручил генералу Чумакову блокнотный листок с номером телефона, по которому можно будет вызвать машину.

Федор Ксенофонтович чувствовал себя как во сне. То ему казалось, что машина не мчалась, а ползла по улицам Москвы, а сейчас, когда поднимался по лестнице, каждый пролет мнился чрезмерно многоступенчатым.

Дверь в квартиру уже была распахнутой. В ярко освещенной прихожей стояли в обнимку Ольга Васильевна и Ирина и обливались счастливыми слезами. На мгновение он замер перед дверью, вглядываясь в черные от загара, похудевшие, но безмерно прекрасные лица жены и дочери. Шагнул через порог с раскрытыми объятиями и смущенной от переизбытка счастья улыбкой. Они тут же повисли на нем, покрывая его лицо поцелуями, увлажняя слезами.

Он вдруг застонал от боли в ранах, причиненной ему объятиями жены и дочери. Видимо, он побледнел, потому что Ольга Васильевна

и Ирина вдруг отпрянули от него, встревоженно всматриваясь ему в лицо.

— Задýшите меня, разбойницы! — успокоил он их испуг шуткой.

Вдруг увидел, что в глубине кабинета стоит стройный, коренастый лейтенант в летной форме, юное лицо которого показалось ему очень знакомым.

— Здравия желаю, товарищ генерал-майор! — Летчик молодецки щелкнул каблуками хромовых сапог.

— Нет, милые мои, я — генерал-лейтенант! — И Федор Ксенофонтович достал из брючного кармана и подбросил на ладони две золотистые звездочки.— Сам товарищ Сталин поздравлял сейчас... И пожимал вот эту руку...

И тут новый порыв радости: Ольга Васильевна и Ирина снова стали целовать его и обнимать, но уже бережно, осторожно.

— Лейтенант Рублев? — изумился Федор Ксенофонтович, вспомнив внезапно, откуда ему так знакомо это лицо.

— Так точно! — радостно откликнулся лейтенант.— Под вашим командованием вместе пробивались из окружения.

— Ты понимаешь, Федя, этот молодой человек знаком нашей Ирочке еще по Ленинграду.

— Я ему помогла найти в озере его самолет! — затараторила Ирина.— Я видела, куда он упал! А потом мы случайно встретились и еле узнали друг друга.

— Не совсем понятно,— засмеялся Федор Ксенофонтович,— но весьма интересно... А почему вы там, в окружении, не сознались, что знакомы с моей дочерью? — Генерал дружески пожимал руку Рублеву, пытливо всматриваясь в его смущенное лицо.

— Она же мне не сказала, что отец у нее генерал... Думал — однофамильцы.

— Хватит расспросов! — вмешалась в их объяснения Ольга Васильевна.— Федя, марш в ванную мыть руки — и к столу!

Только сейчас Федор Ксенофонтович заметил сервированный, уставленный закусками стол, посреди которого высились бутылка шампанского и графин с водкой, настоянной на лимонных корочках.

— А ему не верят, что он немецкий самолет таранил! — восторженно пыталась продолжить рассказ Ирина.

Однако мать перебила ее:

— Все дальнейшие разговоры — за столом!

42

Генерал армии Жуков иногда сам удивлялся своей способности видеть, казалось, неохватную масштабность военных событий, определять их значимость и даже предугадывать, как они развернутся в последующем. Может, потому что временами дерзко ставил он себя в положение иных немецких сухопутных стратегов, планировавших и направлявших боевые операции своих войск? Или, возможно, силу инерции для провидчества накопил во время работы на

посту начальника Генерального штаба и при докладах оперативной обстановки Сталину там, в кремлевском кабинете, когда неожиданно рождались сложные вопросы, на которые необходимо было искать безошибочные и безотлагательные ответы и принимать нужные решения?

Сейчас, когда Жуков был более волен в распоряжении своим временем, он уже без оглядки на былой генштабовский регламент обстоятельно всматривался в общий ход войны и в ее частности. Здесь, на Смоленщине, с особой проникновенностью понял, что операции советских войск на этом направлении оказали огромную помощь Ленинградскому и Северо-Западному фронтам в наиболее ответственный период, когда немецко-фашистское командование пыталось осуществить главные свои цели по разгрому основных сил Красной Армии. Сопротивление советских войск в районе Смоленска затормозило также и вторжение врага в пределы Левобережной Украины и Донбасса.

И стало для Георгия Константиновича очевидным, сколь выигрышно проявилось активное внедрение в действие одного из основных положений советской стратегии — создавать на решающих направлениях сильные ударные группировки войск, нацеливая их действия для достижения максимальных результатов. И еще более стало очевидным, что противник избрал пути, идущие через Смоленск на Москву, в качестве направления своего главного удара. Достижение немцами поставленных здесь целей связывалось ими с выигрышем этим летом всей войны. Следовательно, не ошибся он, генерал армии Жуков, предпринимая там, в Москве, все меры, чтобы Ставка именно под Смоленском сосредоточила наиболее крупные силы войск.

Понимание общей стратегической ситуации обнадеживало генерала Жукова. Оглядываясь несколько назад, он с одобрением думал о решениях советского Генерального штаба. Избрав линии Днепра и Двины в качестве главных рубежей развертывания войск, выдвигавшихся из глубины страны, Генштаб проявил воистину высокий образец стратегического мышления. Всеми его управлениями точно делался расчет времени, давалась правильная оценка сил и возможностей противника и наиболее целесообразно использовались особенности театра военных действий. Здесь главная группировка войск противника понесла тяжелейшие потери, вынуждена была перейти к обороне, и это дало возможность Советскому государству выиграть время для подготовки ведения длительной войны.

Сейчас оперативно-стратегическая обстановка на Западном направлении казалась Жукову и его штабу в основном проясненной. Разбить главные силы группы немецких армий «Центр» в районе Смоленска советским войскам не удалось, однако они затормозили продвижение врага на восток и позволили Ставке Верховного Главнокомандования выдвинуть резервы для очередных контрударов. Как станет известно позже, укомплектованность группы армий «Центр» в районе Смоленска на конец июля, несмотря на непрестанно поступавшие в ее состав пополнения, составляла до 80 процентов в пехотных войсках и до 50 процентов в моторизованных и танковых.

28 июля немецко-фашистское командование отмечало в своей директиве: «Наличие крупных людских резервов... дает возможность противнику оказать упорное сопротивление дальнейшему продвижению немецких войск... Следует рассчитывать на все новые попытки русских атаковать наши открытые фланги».

В начале августа армии Лукина и Курочкина по приказу Ставки были отведены из района Смоленска на оборонительную линию по реке Вопь. Вместе с тем Ставка, помогая Жукову подготовить решительный удар по ельнинскому выступу, укрепляла Резервный фронт свежими дивизиями. А чтобы не дать возможности немцам усилить свой ельнинский плацдарм, войска Западного и Резервного фронтов с 8 по 21 августа наносили непрерывные удары по духовщинской и ельнинской группировкам врага. И хотя инициативу у противника перехватить не удалось, он вновь понес серьезное поражение, в итоге которого руководство группы армий «Центр» отвело из-под Ельни совершенно обескровленные одну моторизованную дивизию, две танковые и одну моторизованную бригаду, заменив их пятью свежими пехотными дивизиями.

Генерал армии Жуков, суммируя все эти сведения, требовал от командармов и командиров дивизий продолжать изматывать противника, вести всеми средствами разведку, сам лично допрашивал контрольных пленных немецких офицеров. Штаб Резервного фронта тщательно анализировал опыт августовских боев под Ельней, накапливал данные о силах противника, его огневых средствах, характере оборонительных инженерных сооружений, об опорных пунктах.

Все было целенаправлено на подготовку главной наступательной операции — разрабатывались конкретные боевые задачи частям и соединениям, во всех деталях составлялись планы артиллерийского обеспечения и авиационных ударов. При этом учитывали то обстоятельство, что ельнинская излучина находилась в центре оперативного построения группы немецких армий «Центр», и от успешных действий 24-й армии во многом зависели результаты контрударов Западного фронта на духовщинском и ярцевском направлениях.

Но генералу армии Жукову еще надо было исполнять и обязанности члена Ставки Верховного Главнокомандования. Ему ведь поставлялась информация о положении дел на всем советско-германском фронте, и от него требовались оценки оперативно-стратегических ситуаций. Он излагал их в телеграммах Генеральному штабу. Но никак не мог смириться с тем, что столь важный его стратегический прогноз, выработанный еще в Москве совместно с управлениями Генштаба и 29 июля изложенный Государственному Комитету Обороны, не был принят Сталиным. А ведь события развивались именно так, как он, Жуков, предвидел, зреющая главная угроза со стороны немецко-фашистских войск не исчезла и сейчас, в середине августа. Для того чтобы еще и еще проверить свои оценки, он пригласил к себе, в главное помещение командного пункта, члена Военного совета фронта, комиссара госбезопасности 3 ранга Круглова, начальника штаба генерал-майора Ляпина и начальника артиллерии генерал-майора Говорова.

Суждения генералов Ляпина и Говорова вызывали у Жукова особый интерес, как военных профессионалов высшего класса. Тот же Леонид Александрович Говоров обладал весьма масштабными знаниями не только как воспитанник Военной академии Генштаба и как бывший преподаватель Военно-артиллерийской академии имени Дзержинского. К началу войны Говорову исполнилось всего лишь сорок четыре года, а он уже успел проявить свои способности на довольно высоких командных должностях. Говоров казался сдержанным, даже мрачноватым человеком, но по натуре своей был доброжелательным, внимательным к соратникам и подчиненным. Никогда не бросал слов на ветер, оценки и решения его всегда отличались весомостью и доказательностью.

У Жукова на половине блиндажной стены висела оперативная карта, исполосованная обозначениями линий фронтов, стрелами направлений ударов, округлостями, замыкавшими в себе резервные силы, испятнанная флажками, треугольниками, квадратами — за каждым топографическим знаком все видели фронтовую конкретность боевых порядков и тыловых эшелонов.

— Прошу, товарищи, ознакомиться с последней обстановкой на советско-германском фронте,— сказал Жуков, устремив пасмурный взгляд на карту.— Самые свежие данные.

Все молча всматривались в карту, ожидая, когда Жуков начнет задавать вопросы или станет высказывать свои оценки. Отвечать же на вопросы Жукова не так было просто, ибо он заранее имел на них свои ответы. Пересказ же обозначенной на картах и схемах оперативной ситуации он не считал военной грамотностью, а тем более полководческим талантом. А вот видение ближайших и последующих целей врага, меры противоборства с ними и способы перехвата инициативы — это было для него главным.

Георгий Константинович, как бы давая всем собравшимся наводящую мысль, сказал:

— Обнаружить наличие и состояние вражеской группировки — это хорошо, важно. Но главное — вскрыть подоплеку ее действий, определить далеко идущие цели... Вам, товарищи, карта что-либо подсказывает?

— Да, Георгий Константинович,— первым отозвался Говоров.— О намерениях немцев судить не так уж сложно.

— Верно — не сложно,— согласился Жуков.— Для экономии времени я скажу, что лично мне видится... Если кто не согласен, прошу излагать свои прогнозы. Давайте советоваться...

Один из мыслителей будущего запечатлит на бумаге истину, что способность ясновидения более всего дается влюбленным и солдатам, а также людям, обреченным на смерть, или людям, преисполненным космической жажды жизни, и тогда они, обретшие этот дар — себе на радость или на горе,— вдруг чувствуют, как мимолетно сказанное слово (а мы добавим — и озарившая их мысль) проникает в них все глубже и глубже.

В подобном состоянии оказался генерал Жуков, когда 29 июля сказал Сталину то, что терзало его душу: о необходимости оставления

Киева и об отводе войск из-под угрозы окружения на реку Псел. Такое решение он объяснял тем, что противник ударом правого крыла группы армий «Центр» окружит 3-ю и 21-ю армии нашего Центрального фронта и окажется в тылу войск Юго-Западного фронта, обойдя всю советскую группировку на киевском направлении с восточного берега Днепра.

Почти теми же фразами, которые он говорил тогда Сталину, Жуков сейчас высказал свои соображения Круглову, Ляпину и Говорову. Высказал сурово, со сдержанным отчаянием и скрытой болью. Для него это была очевидная истина, и он никак не мог смириться, что там, в Москве, не сумел внушить ее Сталину, и корил себя за это.

Вновь отозвался генерал-майор Говоров. Он, всматриваясь в карту, произнес несколько подавленным голосом:

— Не согласиться с вашей оценкой, Георгий Константинович, невозможно. Но ведь время упущено. Инициатива на стороне врага.

Жуков тяжко вздохнул, будто даже всхлипнул. После паузы, не став спрашивать суждений Ляпина и Круглова, взял со стола бумагу и сказал:

— Еще раз сообщу Верховному Главнокомандующему свои предложения о неизбежности ударов немецко-фашистских войск во фланг и тыл Центрального, а затем и Юго-Западного фронтов. Именно поэтому противник впервые во второй мировой войне вынужден перейти к обороне на главном стратегическом направлении, которое мы с вами прикрываем.— И Георгий Константинович приглушенным голосом, будто заранее предчувствуя несогласие с ним Сталина, прочитал: «Как член Ставки, считаю необходимым доложить свои прогнозы о предстоящих действиях неприятеля. Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флангах наш Центральный фронт, великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов.

Возможный замысел противника: разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов, Конотоп, Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего — главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс.

Для противодействия противнику и недопущения разгрома Центрального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного фронта, считаю своим долгом доложить свои соображения о необходимости как можно скорее собрать крупную группировку в районе Глухов, Чернигов, Конотоп, чтобы ее силами нанести удар во фланг противника, как только он станет приводить в исполнение свой замысел...»

В состав ударной группировки Жуков предлагал включить десять стрелковых дивизий, три-четыре кавалерийские дивизии, не менее тысячи танков и четыреста — пятьсот самолетов. Эти силы, по его

мнению, можно было выделить за счет Дальнего Востока, Московской зоны обороны, противовоздушной обороны и внутренних округов.

С тяжелым сердцем отправил на имя Сталина шифровку, полагая, что особого открытия в ней не сделал, ибо для маршала Шапошникова, да и самого Сталина, сейчас тоже должно быть все очевидным. Немецко-фашистские группировки были в исходном положении и вот-вот могли свалиться на головы советских войск, как перезревшие груши. Уклониться от их ударов невозможно, но и выжидать в бездействии тоже было нельзя. Наступал в войне новый критический момент, очередной апогей кровавого противоборства, за которым — замутненная пелена неизвестности. Нужны были свежие силы и их решительные действия.

Ставка Верховного Главнокомандования не промедлила откликнуться на телеграмму Жукова. В тот же день, 19 августа, он получил ответ за подписью Сталина и Шапошникова. Председатель Ставки и начальник Генштаба соглашались с соображениями Жукова насчет ближайших планов немецко-фашистского командования и сообщали вначале в телеграмме, а затем в телефонных переговорах, что Ставка Верховного Главнокомандования выдвинула из своего резерва на брянское направление свежие войска, сформировала новый, Брянский фронт во главе с генерал-лейтенантом Еременко, передав в его подчинение и войска Центрального фронта.

Брянскому фронту была поставлена задача нанести контрудары по 2-й танковой группе противника, продвигавшейся в направлениях Рославль, Унеча, Шостка, разгромить ее и воспрепятствовать прорыву в тыл Юго-Западного фронта.

Эта задача была выполнена только частично: враг под нашими контрударами понес серьезные потери, но в целом крупного оперативного результата нам достигнуть не удалось. Более того, в середине сентября 2-я немецкая танковая группа вышла в район Конотоп, Бахмач, встретилась в районе Ромны с подошедшими с кременчугского плацдарма передовыми отрядами 1-й немецкой танковой группы. Это означало, что крупные вражеские танковые силы вторглись в тылы войск правого крыла и центра нашего Юго-Западного фронта. И пусть противнику не удалось образовать плотного кольца окружения, наши потери оказались тяжелыми.

43

Всеобщая и отвлеченная истина есть око разума. Но необходимым условием для отыскания истины является беспристрастность, обуздание своих личных чувств и симпатий, ибо ценность истины в ней самой, а не в тех источниках, откуда она произросла. Понимание этого особенно важно на войне.

Генерал армии Жуков, пристально всмотревшись во все, происходившее за последние недели на всем советско-германском фронте, и изложив свои оценки и суждения Ставке Верховного Главно-

командования, был счастлив оттого, что Москва наконец согласилась с его предложениями. И будто снял с себя часть нелегкой ноши, чтобы тут же взвалить на свои плечи другую, связанную с подготовкой Ельнинской операции. И хотя понимал, что вскрытая им истина о положении, в котором оказался наш Юго-Западный фронт, еще не значила ликвидации опасности, но все-таки грела надежда, что нужные меры будут приняты и не случится того самого страшного, что случается на войне с оголившими фланги группировками войск при столкновении их с превосходящими силами противника.

Тут же всю энергию мыслей устремил на Ельнинскую операцию — первую свою пробу личных оперативно-стратегических способностей в Отечественной войне. Ошибиться он не имел права хотя бы потому, что был членом Ставки и совсем недавно возглавлял Генеральный штаб. И не остывала в груди обида от слов Сталина, что он, Жуков, мыслит, как кавалерист, а не как начальник Генерального штаба... А ведь именно его, Жукова, в первый день войны послал Сталин на Юго-Западный фронт, когда еще не было ясно, где, на каком направлении немецко-фашистские войска наносят главный удар. Когда же четко определилось, что на Западном и враг уже подошел к Минску, Сталин срочно отозвал Жукова в Москву для участия в принятии экстренных оперативно-стратегических решений... А тут вдруг — «кавалерист».

Ну что ж, чувство обиды есть проявление слабости. Возможно. Но Георгий Константинович был не из тех людей, которым обида могла застилать глаза.

Вместе с тем он понимал, что каждый человек по природе своей может испытывать слабость. Но ведь есть у человека рассудок... А он к тому же полководец! И обязан даже малейшее в себе проявление в чем-нибудь слабости обуздать, укрощать...

Да, Жуков подавил личную обиду. Он очень желал провести предстоящую операцию так, как диктовали ему его характер, его понимание грозности времени и значения каждой нашей победы над могучим агрессором. Значит, нужны особая его осмотрительность, целеустремленность, полководческая мудрость.

Убедившись, что июльские и августовские попытки соединений 24-й армии срезать ельнинский выступ оказались безуспешными, Жуков, посоветовавшись с маршалом Шапошниковым, 21 августа приказал генерал-майору Ракутину прекратить наступательные действия и начать готовиться к решительному, более сильному и организованному удару по врагу, определив для этого время: десять — двенадцать дней.

Верно, для Жукова наступил самый ответственный момент на посту командующего Резервным фронтом. Вместе со своим штабом он начал разработку плана весьма не простой операции. И будто руками и чувствами сердца ощупывал все горячие, самые опасные места вражеских оборонительных линий. Конфигурация ельнинского выступа не давала возможности найти много вариантов нанесения по нему сокрушительных ударов, что не позволяло с уверенностью

ввести противника в заблуждение. Приходилось рассчитывать на перевес сил в тех местах линии фронта, прорыв которых обеспечивал возможность окружения группировки немцев. А таким местом являлось основание выступа — его северный и южный уступы. С учетом этого и созревал замысел боевой операции, суть которой — решительная форма оперативного маневра: двусторонний охват вражеской группировки с целью окружения и разгрома по частям. Главный удар должна была наносить пополненная тремя дивизиями 24-я армия. С северо-востока ей предстояло прорывать линии обороны врага силами девяти стрелковых дивизий. Навстречу им, с юго-востока, должны были наступать несколько соединений 43-й армии.

Имевшиеся в составе 24-й армии танковые части объединялись в ударную группу, которой надлежало развивать успех в ходе наступления. Чтобы лишить фашистское командование возможности маневрировать войсками внутри ельнинского плацдарма, с востока по нему тоже наносились удары, пусть второстепенными силами, и это являлось той приправой к общему оперативному замыслу, которой надлежало сыграть немалую роль. Тем более что было известно: главные силы 2-й танковой группы Гудериана уже двинулись на юг и не могли быть использованы здесь для контрудара.

Подготовленные разработки были отправлены в Москву, и вскоре Жуков читал директиву Ставки. Ее второй пункт гласил:

«Войскам резервного фронта, продолжая укреплять главными силами оборонительную полосу на рубеже Осташков, Селижарово, Оленино, р. Днепр (западнее Вязьмы), Спас-Деменск, Киров, 30 августа левофланговыми 24-й и 43-й армиями перейти в наступление с задачами разгромить ельнинскую группировку противника, овладеть Ельней и, нанося в дальнейшем удары в направлениях Починок и Рославль, к 8 сентября 1941 года выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Петровичи...»

Утро первого дня наступления выдалось непроглядно туманным. Мутно-белая мгла лениво расплылась не только над низинами и лугами, но и по всей местности, включая леса и высоты. В ней растаяли ориентиры, так необходимые артиллеристам, минометчикам, танкистам. Да и пехотинцы, которые из своих окопов и траншей до ряби в глазах изучили подступы к передней линии обороны немцев, почувствовали себя в белом мареве не столь уверенно.

Когда Жукову доложили на его командном пункте, что туман ослепил войска по всей ельнинской излучине, сердце дрогнуло у генерала армии. Он взглянул на наручные часы: до начала артподготовки оставался один час.

— Противник в тумане тоже будет чувствовать себя не лучшим образом,— после короткого молчания сказал Жуков, хотя и понимал, насколько усложнились обстоятельства для его войск.

Ровно в 7 часов утра 800 орудий, минометов и реактивных установок взревели, обрушив огонь и железо на вражескую оборону.

И началось сражение, которое одним должно принести упоение пусть поначалу небольшое, но победой, другим — погибель, третьим — кровавые раны. Все это, вместе взятое, брало начало в возбуждении максимальной энергии и силы духа советского воинства как следствие понимания, что враг вторгся на родную землю и ее надо мужественно и с яростью защищать, хотя пуля и осколок не отличали храброго от труса, умного от недоумка, благородного от негодяя. В этом самая великая несправедливость войны. Но с ней должны были считаться все — защитники родной земли и ее алчные поработители.

Наступление войск Резервного фронта развивалось тяжело и медленно. Из-за тумана небольшие группы советских бомбардировщиков нанесли удары только по двум аэродромам врага — Селеша и Ольсуфьево. Соединения северной группы за первый день боя продвинулись вперед только на 500 метров.

Штабные операторы, поддерживая непрерывную связь с наступавшими частями армий, наносили на карты генерала армии Жукова всю изменчивость обстановки в районах боев. Трудно было в это время заглянуть в душу Георгию Константиновичу, который молча, в хмурой сосредоточенности наблюдал по картам за ходом развития противоборства. Нельзя было ему торопиться с принятием новых решений — они могли внести сумятицу в набиравшие активность действия войска. Было только ясно, что мысль командующего фронтом устремилась вперед, не упуская из виду происшедшее.

Войну можно видеть далеко и близко — сегодняшнюю и уже гремевшую у берегов невозвратности. Мысль полководца, как инструмент видения и понимания войны, способна, постигнув минувшие события, вскрывать сущность происходящего сегодня. К таким полководцам относился и Жуков, обладая еще и свойством воспалять догадку и решение внезапно.

Георгий Константинович, как никто другой в штабе фронта и в нижестоящих штабах, почувствовал, как заметался, занервничал противник в ельнинском мешке. Смешанные контратаки противника — его пехоты и танков — в самых неожиданных направлениях, бомбовые удары авиации по нашим наступающим частям, по артиллерийским позициям и опустевшим местам, откуда недавно давали залпы реактивные минометы, спешные перегруппировки частей и подразделений — все это открывало простор для поиска новых решений.

И генерал Жуков начал их принимать, исходя не только из понимания обстановки, но и из важных принципов грамотного военачальника — не делать ходов, которых ждет враг, и не забывать, что военное дело не терпит однообразия.

В штабы понеслись приказы командующего фронтом о создании сводных отрядов из танковых и артиллерийских групп, десантных рот, мотострелковых батальонов. Они должны были вводиться в бой

на участках дивизий, наступавших на главных направлениях. Вместе с начальником артиллерии генералом Говоровым генерал Жуков спешно перенацеливал массированные огневые удары артиллерийских полков, минометных дивизионов по тем участкам вражеской обороны, где намечались успехи наших наступавших подразделений. Конкретные цели получала наша бомбардировочная авиация. Для наращивания удара северной группы войск Жуков приказал командующему 24-й армией ввести в бой один полк 127-й стрелковой дивизии, оборонявшейся на рубеже речки Ужа...

Затрещала, застонала вражеская оборона. Захлебывались в последних очередях немецкие пулеметы, оставались на огневых позициях без прислуг артиллерийские и минометные батареи врага, дзоты и доты, а траншеи и окопы все больше наполнялись трупами фашистского воинства, как и пути его отступления на запад.

Начав отход, враг пытался прикрываться сильными арьергардами вначале по всему фронту выступа, а затем только на флангах. Но уже ничто не смогло остановить наступавшие советские части. К исходу 5 сентября 100-я стрелковая дивизия генерала Руссиянова заняла Чанцово, что севернее Ельни, а 19-я стрелковая дивизия, наносившая вспомогательный удар с востока, ворвалась в Ельню и совместно с соседними соединениями к утру 6 сентября освободила город.

Известно, что молчаливая сдержанность есть святилище благоразумия. Георгий Константинович Жуков размышлял над тем, звонить ли ему в Ставку об освобождении Ельни или повременить, пока не будут уточнены наши потери и потери врага, пока не прояснятся оперативные перспективы, учитывая, что намечалась возможность войскам Резервного фронта вступить во взаимодействие с группой войск генерала Собенникова, входящей в состав Западного фронта, и продолжить наступление на запад.

Но последовал телефонный звонок из Москвы, и размышления Жукова были смяты: на проводе был Сталин.

— Какими известиями вы обрадуете нас, товарищ Жуков? — спокойно спрашивал Сталин, уже знавший из вечернего донесения штаба Резервного фронта, что оборона противника на ельнинском плацдарме сломана.

— Ельня в наших руках, товарищ Сталин,— сдержанно ответил Жуков.— Продолжаем преследование противника.

— Поздравляю вас и доблестные войска двадцать четвертой армии. Освобождение Ельни имеет не только военное, но и морально-политическое значение. Ведь это первая наша успешная наступательная операция, в ходе которой удалось разгромить крупную группировку противника и освободить нашу территорию. Так что поздравляю.

— Благодарю, товарищ Сталин.

— Какие дивизии вы считаете наиболее отличившимися?

— Хорошо дрались, товарищ Сталин, сотая, сто двадцать седьмая, сто пятьдесят третья и сто шестьдесят первая стрелковые дивизии.— И при этом назвал фамилии командиров дивизий.

Далее Жуков коротко доложил Верховному о ходе сражения и об общих итогах Ельнинской операции.

Преследуя противника, войска 24-й армии продвинулись на запад от Ельни на 25 километров и 8 сентября вышли на рубеж по рекам Устром и Стряна, где немецко-фашистские дивизии заранее капитально приготовились к обороне.

В ходе Ельнинской операции войска 24-й армии Резервного фронта нанесли поражение двум танковым, одной моторизованной и семи пехотным дивизиям противника. Успеху армии способствовали наступательные действия войск 16-й и 20-й армий Западного фронта на смоленском и 43-й армии Резервного фронта на рославльском направлениях.

9 сентября генерал армии Жуков надолго задержался в 43-й армии, на наблюдательном пункте одного из командиров дивизии, которая успешно форсировала реку Стряна, захватила там плацдарм, но не прикрыла свой левый фланг, и этим воспользовался в свою пользу противник. Жукову пришлось помогать молодому командиру дивизии исправлять положение.

Там, на НП, его и застала телефонограмма маршала Шапошникова, извещавшая, что он, Жуков, к двадцати часам 9 сентября должен быть в Москве, у Председателя Ставки.

Не завершив дела, Жуков не мог покинуть поле боя и приехал в Москву с задержкой, хотя знал, что Сталин не терпел опозданий.

Его встретили при въезде в Кремль и сопроводили в квартиру Сталина. Войдя в столовую, где за столом сидели члены Политбюро, Жуков, обращаясь к Сталину, доложил:

— Товарищ Сталин, я опоздал с прибытием на один час.

— На один час и пять минут,— поправил его Сталин.— Садитесь к столу и, если голодны, подкрепитесь.

Но Жукову не до еды было: он понимал, что вызван по неотложному делу.

Вначале ему пришлось доложить членам Политбюро о ходе Ельнинской операции, высказать свои предположения о развитии событий на московском направлении.

Потом заговорил Сталин. Вначале он сказал слова похвалы в адрес Жукова и войск 24-й армии. И без всякого перехода, повернувшись к карте обстановки под Ленинградом, сообщил:

— Мы еще раз обсудили положение с Ленинградом. Противник захватил Шлиссельбург... С Ленинградом по сухопутью у нас связи теперь нет. Город и население в тяжелом положении. Финские войска наступают с севера на Карельском перешейке, а немецко-фашистские войска группы армий «Север», усиленные 4-й танковой группой, рвутся в город с юга...

Сталин пробежался взглядом по лицам членов Политбюро, помол-

чал, затем повернулся к Жукову и полувопросительно, полуутвердительно сказал:

— Вам придется лететь в Ленинград и принять на себя командование фронтом и Балтфлотом.

Жуков такого предложения никак не ожидал. В его ушах еще гремело Ельнинское сражение... Но Жуков оставался Жуковым:

— Я готов выполнить задание.

— Ну вот и хорошо,— с удовлетворением сказал Сталин и принялся раскуривать так знакомую всем свою трубку.

Война продолжалась...

Конец первой книги



1

9 сентября 1941 года, после разгрома ельнинской группировки немцев, Жукова вызвали с фронта в Москву...

Был десятый час вечера. В освещенной электрическим светом кремлевской квартире Сталина, при плотно зашторенных окнах, собрались члены Политбюро Молотов, Микоян, Маленков, Каганович и Берия, а также Жуков и Мехлис. На скатерти стола, вокруг которого все они сидели, высилась тонконогая хрустальная ваза, наполненная кистями бурого крупного винограда, в плоских вазах лежали груши дюшес и бархатистые красно-желтые персики; на овальных фарфоровых тарелках — нарезанные брынза, ветчина и колбаса. На краю стола — бутылки со светлым и красным вином. На них были наклеены полоски белой бумаги с машинописными (заглавными буквами) надписями: «Цинандали», «Хванчкара», «Твиши»...

Все внимательно вслушивались в разговор Сталина и генерала армии Жукова, которому уже было предложено вступить в командование Ленинградским фронтом. Жуков изъявил готовность немедленно приступить к выполнению задания, что значило о его нетерпеливом желании сейчас же ехать в Генеральный штаб и засесть там за уточнение оперативной обстановки вокруг полностью блокированного вчера немецко-фашистскими войсками Ленинграда. Но Сталин, прохаживаясь с дымящейся трубкой во рту по столовой, не торопился его отпускать, будто еще в чем-то сомневался.

— Присядьте все-таки к столу, угоститесь чем-нибудь,— вновь предложил он Жукову.

Жуков молча отодвинул от торца стола полумягкий стул, сел и положил на тарелочку грушу. Взяв нож, разрезал ее пополам.

— Вот примерно так, товарищ Жуков, вы должны рассечь блокадное кольцо немцев на сухопутье, да еще при помощи Балтфлота и двух военных флотилий заломить им за спину руки,— с чуть заметной улыбкой сказал Сталин.— В тяжком положении оказался Ленинград... Противник захватил Шлиссельбург, а вчера разбомбил Бадаевские продовольственные склады... По Карельскому перешейку наступают на город финские войска, а группа немецких армий «Север», усиленная четвертой танковой группой, таранит город с юга... С Ленинградом по сухопутью у нас

теперь связи нет. Так что имейте в виду: вам придется лететь через линию фронта или лететь над Ладожским озером, которое тоже контролируется немецкой авиацией.

В голосе Сталина явственно прозвучала тревога за безопасность перелета Жукова в Ленинград. Георгий Константинович молча ел грушу и сумрачно глядел в тарелку.

Сталин, будто для того, чтоб развеять его тревожную догадку, продолжил разговор о Ленинграде:

— Вы, товарищ Жуков, извините, что воспроизводим обстановку вокруг Питера, которая вам, как члену Ставки, известна по каждодневным сводкам Генштаба. Но я по себе знаю: когда лишний раз проникнешь мыслью в проблему, обязательно увидишь эту проблему чуть объемнее, а то и найдешь новые подходы для ее решения. Это, по Ленину, и есть диалектика мышления, которую он понимал как теорию познания.

— Могу сказать,— поддержал Сталина Молотов,— что эта формула зафиксирована Владимиром Ильичем в его фрагменте, именуемом «К вопросу о диалектике».

Сталин кивнул в знак согласия головой и вновь обратился к Жукову:

— Так вот... Вчера немцы начали новое наступление на Ленинград. Главный удар восемью дивизиями они наносят из района западнее Красногвардейска, а вспомогательный — из района южнее Колпино... Надо ломать голову над тем, как перегруппировать наши силы и где наскрести резервы...

Подойдя к столику с телефонами, Сталин положил в пепельницу потухшую трубку, а с книжной полки взял вторую трубку — с коротким гнутым чубуком. Понянчил ее на ладони, будто взвешивая, всмотрелся в тисненые надписи на коричневом корпусе-чашечке из верескового корня и тихо произнес:

— «Риал-Бриар»... «Фламинго»... Знаменитая фирма... Прежде чем продавать свои трубки, их долго обкуривают в море...— Потом вновь устремил грустный взгляд в сторону обеденного стола и вернулся к своим прежним мыслям: — Ставка поручила товарищу Ворошилову решать архисложную задачу, назначив его главнокомандующим войсками Северо-Западного направления. Это — два фронта и Балтфлот. Правильно решил ГКО, что в новых условиях расформировал Главное Командование, подчинив фронты Ставке.

— Но, может, сейчас, когда Северный фронт разделен на два — Карельский и Ленинградский,— Клименту Ефремовичу Ворошилову не стоит покидать Ленинград? — спросил Жуков, подняв взгляд на Сталина.

— Вы что, обсуждаете решение Ставки о вашем назначении?..

— Никак нет, товарищ Сталин! Я посчитаю за честь быть заместителем у маршала Ворошилова!.. Не зря о нем песни в народе поют!

Сталин не отрывал глаз от лица Жукова, будто удостоверяясь в искренности его слов, а потом вдруг, посветлев лицом, тихо засмеялся и сказал:

— Песня песне рознь. Когда мы начали насыщать армию мото-

рами и сокращать кавалерию, появилась и такая песенка. Мне дочь принесла ее из школы.— И Сталин, прокашлявшись и взглянув на Берию, тихо запел:

Товарищ Ворошилов,
война уж на носу,
а конница Буденного
пошла на колбасу...

Все за столом рассмеялись, кроме Берии, а Сталин, будто не слыша смеха, строго сказал Жукову:

— Ворошилову найдется другое дело, возможно не менее ответственное. Война ведь со всех сторон грозит нам бедами... А как вы, товарищ Жуков, оцениваете обстановку на московском направлении?

Жуков промокнул салфеткой влажные губы и неторопливо, но жестко и уверенно стал излагать мысль о том, что группа немецких армий «Центр» понесла в летних боях тяжелые потери и должна сейчас пополняться. И кроме того, немцы, не завершив операцию под Ленинградом и не соединившись с финскими войсками, едва ли начнут наступление на Москву.

В столовой воцарилась тишина. Все будто всматривались в стратегическую ситуацию, изображенную Жуковым. Сталин прохаживался по ковру и глядел себе под ноги. Он, видимо, тоже мысленно примерял свои соображения к услышанному от Жукова.

Потом разговор перекинулся к тяжелейшей обстановке на Юго-Западном направлении и о необходимости смены там командования. Жуков, предполагая, что вызовет гневный протест Сталина, с жестким упрямством вновь высказался за то, что надо немедленно оставить Киев, отвести всю киевскую группу наших войск на восточный берег Днепра и за ее счет создать где-то в районе Конотопа резервный кулак... На этот раз Сталин не возражал Жукову. При всеобщем напряженном молчании он позвонил маршалу Шапошникову и приказал ему переговорить по этому поводу с Военным советом Юго-Западного фронта и готовить директиву Ставки.

— Что вас еще впечатлило в Ельнинской операции? — Сталин перевел разговор на другое. Он присел рядом с Жуковым к столу, налил себе в бокал красного вина и разбавил его водой из графина.

— Умение немцев воевать...— вздохнув с облегчением, стал отвечать Жуков.— Оборону, как я уже говорил, строят они железную. Контратакуют нисколько не хуже нас. Пока весьма крепок у них и моральный дух — войска вышколены.

— О какой морали фашистов может идти речь? — заметил Молотов.

— Я имею в виду чисто воинский, солдатский дух,— с нажимом на последние слова уточнил Жуков.— Допрашивал я одного их танкиста под Ельней... Этакий нибелунг, каких мы видели в старом кинофильме: высокий, белокурый — красивый, мерзавец. Словом,

чистокровный ариец. Задаю ему через переводчика вопросы. Отвечает четко и бесстрашно: он — механик-водитель второй роты второго батальона десятой танковой дивизии... Эту дивизию, как и несколько других, мы расколошматили в клочья. Потом немцы увели их из ельнинского выступа и заменили свежими... Так вот... Задаю пленному новые вопросы. Перестал отвечать... «Почему не отвечаете?» Молчит. Потом заявляет: «Вы военный человек и должны понимать, что я, как военный человек, уже сказал все то, что мог сказать,— кто я и к какой части принадлежу. Ни на какие другие вопросы отвечать не могу. Потому что дал присягу. И вы не должны меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести».— Жуков умолк, обвел хмурым взглядом сосредоточенные лица сидящих за столом.

— Очень эффектно! — с ухмылкой откликнулся Молотов.— А вспоминают они о своей чести, когда убивают и грабят мирных советских людей?..

— И когда наших пленных расстреливают! — запальчиво поддержал Молотова Мехлис.— Добивают раненых, бросают в огонь детей?!

— Этот танкист знал, кто его допрашивает? — поинтересовался Сталин, вставая из-за стола.

— И об этом я спросил у него.— Жуков продолжил рассказ: — «Нет,— говорит,— не знаю». Тогда я велел переводчику объяснить пленному, кто я такой. Никакой реакции... Выслушал, нагловато посмотрел на меня и отвечает: «Я вас не знаю. Я знаю своих генералов. А ваших генералов не знаю».

После короткой паузы Жуков вновь продолжил:

— Тогда я беру его на испуг: «Если не будете отвечать — придется вас расстрелять». Побледнел, но не сдался. Говорит: «Ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно, я отвечать ничего сверх того, что уже сказал, не буду».

— Ну что ж,— задумчиво сказал Сталин.— Такое поведение врага в плену заслуживает уважения.

— Но если б эти враги общались и с нашими пленными так же, как мы с ихними! — продолжал негодовать Мехлис.— А что они с партизанами делают!.. Это считается у фашистов нормой, хотя знают, что мы их пленных не расстреливаем...

— Не надо говорить, товарищ Мехлис, о том, что известно нам и без слов,— спокойно прервал его Сталин.— Товарищу Жукову завтра лететь в Ленинград — лучше будем его напутствовать. Он, разумеется, и сам понимает, что при оценке противника нельзя сбрасывать со счетов и его морального состояния, учитывая, что пока он теснит нас... Я хочу напомнить, что сейчас в действующие части, защищающие Ленинград, влились тысячи добровольцев-питерцев. А на духовную закалку нашего рабочего класса тоже можно положиться...

— Да, товарищ Сталин, люди с рабочей закваской особенно тверды в бою,— согласился Жуков, отодвинув от себя тарелку с половиной груши.

— На всякий случай вы должны знать,— Сталин подошел к Жукову и притронулся трубкой к его плечу,— что Ворошилов и Жданов, формируя рабочие батальоны, наделали ошибок. Небось до сих пор обижаются за то, что в конце июля товарищ Сталин строго отчитал их. Может, даже подумают, что именно из-за этого Ставка посылает в Ленинград Жукова, чтоб заменил Ворошилова.

— Не должны так подумать,— успокоительно сказал Молотов.— Дело ведь прошлое и вовремя ими исправленное.

— Товарищ Сталин, чем же они там провинились? — спросил Жуков, с недоумением посмотрев на членов Политбюро, которые, по всей видимости, знали, о чем идет речь.

— Без нашего ведома Ворошилов и Жданов создали Военный совет обороны Ленинграда,— жестковато пояснил Сталин.— А ведь такие мероприятия — в прерогативах правительства или, по его поручению, Ставки. Ну ладно, самовольство — еще полбеды. Не подумали как следует... Но почему в Военный совет обороны не вошли сами Ворошилов и Жданов? Как это можно было объяснить рабочему классу Ленинграда? Совсем не логично и не политично. А еще бо́льшая их ошибка состояла в том, что приказали установить выборность командиров рабочих батальонов. Выборность!.. Понимаете?!

— Выборность командиров? — Жуков так удивился, что непроизвольно встал из-за стола и потянулся рукой в карман за пачкой с папиросами, но, вспомнив, что Сталин разрешает курить в своем присутствии одному лишь маршалу Шапошникову, не вынул папирос.

— Вот именно, выборность! — с ударением на последнем слове повторил Сталин.— А ведь выборное начало в батальонах может погубить армию. Выборный командир, по существу, безвластен, ибо в случае его нажима на избирателей его мигом переизберут. А нам нужны, как известно, полновластные командиры. Стоит же ввести выборное начало в рабочих батальонах, оно сразу же, как зараза, распространится на армию, перекинется в партизанские отряды!.. Пришлось строго указать товарищам Ворошилову и Жданову и напомнить, что Ленинград — это вторая столица нашей страны. Военный же совет его обороны — не вспомогательный, а руководящий орган, и возглавлять его должны они сами как представители Центрального Комитета!

— Что верно — то верно,— после паузы проговорил Молотов. Вячеслава Михайловича ждали неотложные дела в его наркомовском кабинете, и он хотел побыстрее закруглить разговор. Но не удержался от своей привычки чем-либо озадачить Сталина. И как бы между прочим, с легкой иронией спросил: — Но не слишком ли ты резок был в разговоре по прямому проводу со столь заслуженными людьми, как Ворошилов и Жданов? Немцы ведь могли подслушать.— Молотов знал: Сталин всегда беспокоился о том,

чтоб враг во время переговоров со штабами фронтов не включился в телефонную линию.

— Не резок! — коротко и строго ответил Сталин.— Жданов перед войной в наших дискуссиях на Политбюро тоже не миндальничал, когда убеждал нас ни на гран не верить мирным по отношению к СССР заверениям Гитлера! Мы сомневались, колебались... Очень уж хотелось, надо было, на год-два избежать войны... Жданов оказался прав, а мы в своей нерешительности были не правы. Но это не значит, что сейчас товарищ Жданов имеет индульгенцию на самовольство и отсебятину.

В углу на столике, соседствовавшем с книжным шкафом, тихо зазвонил один из телефонных аппаратов. Сталин подошел к столику и безошибочно взял нужную трубку. Докладывал его помощник Поскребышев о том, что, по прогнозам синоптиков, утром на трассе Москва — Ленинград будет туман. Положив трубку, Сталин подошел к Жукову и, присаживаясь рядом с ним, сказал:

— Дали плохую погоду. Для вас — в самый раз.— И тут же на большом блокнотном листе написал:

«Ворошилову. ГОКО назначает командующим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова. Сдайте ему фронт и возвращайтесь тем же самолетом. Сталин».

Передавая записку Жукову, Сталин сказал:

— Приказ Ставки о вашем назначении будет отдан, когда прибудете в Ленинград.

— Ясно, товарищ Сталин... Разрешите мне взять с собой двух-трех генералов, которые могут быть там полезными мне.

— Берите кого хотите...

Вскоре генерал армии Жуков вошел в кабинет начальника Генерального штаба маршала Шапошникова. Все здесь было знакомо и так дорого Георгию Константиновичу, что у него заныло сердце. Огромный стол, за которым он провел семь тяжких месяцев — в раздумьях, поисках решений, изучениях карт, донесений, сводок, самых различных других документов, вначале кричавших о зреющей войне, а потом будто пропитавшихся кровью сражений, которые развернулись с севера до юга западных районов страны... Тот же мелодичный звон часов в резном футляре, возвышавшемся в дальнем углу, знакомая, на бронзовой стойке, настольная лампа с зеленым абажуром в бронзовой оправе, подставки для карт...

Борис Михайлович Шапошников выглядел очень усталым. Лицо темное, с проступавшей болезненной серостью; ввалившиеся глаза будто просили пощады.

— Трудно, Борис Михайлович? — дрогнувшим голосом спросил Жуков, пожимая маршалу руку, поднявшемуся ему навстречу из-за стола.

— Каторга, батенька мой,— тихим голосом ответил Шапошников.— Война для штабистов — немилосердный и абсолютно бескомпромиссный экзамен. Невыносимо не только умственно,

психически, но и физически.— И тут же неожиданно сказал, может, самое главное сейчас для Жукова: — Мы с Верховным размышляли, как может сложиться судьба войск Ленинградского фронта, если немцам все-таки удастся взять город...

— Вопрос так передо мной пока не ставился.— Голос Жукова сделался гуще, в нем чувствовалась решительность.— Мне даны полномочия сделать все, чтоб спасти Ленинград.

— Я тоже очень надеюсь на вас, батенька мой. Но вам придется в своих решениях столкнуться, пожалуй, с самым умным и хитрым полководцем Германии. Генерал-фельдмаршал фон Лееб весьма образован, опытен и жесток... Армиями управляет искусно. Так что больше вдумывайтесь в то, что́ Лееб будет считать невозможным и немыслимым для сил вашего фронта, и старайтесь делать именно это — наперекор его предвидениям. И не спешите с решительными шагами, пока не создадите явного преимущества в силах хотя бы на одном-двух направлениях... И все-таки,— голос маршала стал еще глуше и болезненнее,— мы должны держать в уме, как спасти армию, если обстановка станет для нас неуправляемой.

Слова начальника Генерального штаба отдавались в сердце Жукова холодной тревогой, хотя в них содержались известные ему истины. Применительно к сегодняшнему Ленинграду эти истины приобретали устрашающую значимость, заставляли думать о непредвиденных необходимостях, с которыми придется там столкнуться, и властно звали навстречу смертельным опасностям. В этом — был Жуков...

Время торопило, и он сказал:

— Борис Михайлович, улетаю я завтра утром и хотел бы посидеть ночь над картами и самой важной документацией. Надо взвесить наши возможности, уяснить степень обеспеченности фронта хотя бы самым необходимым.

— Генерал-лейтенант Хозин все для вас приготовил, батенька мой,— успокоительно сказал Шапошников.— Он у нас в Генштабе возглавляет ленинградское направление. И впредь будет нашим с вами постоянным связующим звеном.

Последняя фраза несколько смутила Георгия Константиновича, ибо он намерился взять с собой в Ленинград именно генерала Хозина, с которым хорошо был знаком еще со времен гражданской войны; а главное — Михаил Семенович Хозин в 1938 году командовал Ленинградским военным округом и хорошо знает тамошний театр военных действий.

— Борис Михайлович, вы не будете возражать, если Хозин улетит со мной? — с чувством виноватости спросил Жуков.— Мне товарищ Сталин разрешил взять нескольких генералов — кто мне нужен. Хотя бы трех человек.

— Понимаю.— После короткого раздумья Шапошников горестно вздохнул.— Хозин действительно может оказаться для вас достойной опорой... Надо думать, кем заменить его здесь... Кого же еще возьмете с собой?

— Где сейчас генерал Чумаков?

— Федор Ксенофонтович Чумаков? — с приязненностью в голосе спросил Шапошников.

— Да, генерал танковых войск.

— Чумаков выполняет на Западном фронте важное задание Государственного Комитета Обороны!

— Если не секрет — какое?

— Надо, батенька мой, уточнять некоторые пункты наших уставов — Боевого и Полевого. Это особенно касается построения боевых порядков во время наступления, обеспечения подразделений и частей огневыми средствами, организации огня... Война заставляет нас многое пересмотреть и переосмыслить в ведении боевых действий.

— Борис Михайлович, я прошу извинить меня.— Жукова мучило чувство неловкости, но он не мог не сказать о том, что ему подумалось.— Когда решается вопрос: кто кого? — не время заниматься уставами. Внесите в них поправки директивными указаниями... Так будет проще и быстрее. А уставы ведь подлежат анализу и обсуждениям.

— Позвольте мне с вами не согласиться, дорогой Георгий Константинович, хотя вы правы насчет необходимости директив.— Маршал грустно посмотрел на Жукова из-за своего массивного стола и продолжил: — Боевой устав, например, должен быть при каждом командире подразделения постоянно — как его совесть... Впрочем, мы отвлеклись, но вы навели меня на мысль — отозвать генерала Чумакова с фронта, если только это удастся, и назначить его в Генштаб вместо Хозина... А кого еще возьмете с собой в Ленинград?

— Генерал-майора Федюнинского... Иван Иванович на Халхин-Голе командовал у меня мотострелковым полком. Надежный, хорошо оперативно мыслящий мужик.

— Быть по-вашему, батенька мой. Но никого больше не дам. Нельзя совсем ослаблять Генеральный штаб.

2

На второй день утром, это было 10 сентября, самолет ЛИ-2 поднялся с Центрального аэродрома в небо, покрытое низкой, густой облачностью. В салоне в креслах сидели генерал армии Жуков, его одногодок сорокапятилетний генерал-лейтенант Хозин и генерал-майор Федюнинский, которому два месяца назад исполнился сорок один год. Казалось, возраст у всех троих не столь уж большой, но у каждого за спиной много трудных дорог, связанных с первой мировой и гражданской войнами, а у Жукова и Федюнинского — еще бои с японцами на Халхин-Голе... И все становление Красной Армии на их плечах.

На середине салона возвышалась привинченная к полу трехступенчатая стремянка с легким вращающимся одноногим стульчиком,

на котором умостился воздушный стрелок, нырнув по грудь в прозрачный, врезанный в потолок явно не в заводских условиях колпак, тоже вращающийся, с вмонтированным в него пулеметом на турели — для кругового обстрела. Заметив, что у стрелка кирзовые сапоги начищены до хромового блеска, Жуков улыбнулся, представив себе, сколько времени потратил на это их обладатель. И подумал о том, что погода пока благоприятствует полету. Затем переметнулся мыслью в Ленинград, стараясь предугадать, как все там сложится. Подумал о том, как он, Жуков, начнет решать поставленную перед ним немыслимо тяжкую задачу и с некоторой долей иронии вспомнил читанное в трудах военных классиков — кажется, у фон Шлиффена — о том, что не македонская фаланга, а фаланга Александра Македонского разбивает персов на Гранике; не римские легионы, а легионы Цезаря переходят через Рубикон; драгуны Оливера Кромвеля побеждают при Нейзби... Верно, Шлиффен об этом писал, имея в виду огромное значение личности полководца, который возглавляет войско. И спросил сам у себя: а чего же достигнешь ты, товарищ Жуков, как личность, возглавив Ленинградский фронт? Хватит ли у тебя ума, решительности, энергии и еще чего-то необъяснимого, чтоб организовать и наэлектризовать все имеющиеся там силы для перелома хода борьбы? Сумеешь ли соединить в себе смелость с осторожностью? Удастся ли тебе навязать немцам оборонительно-наступательное сражение, которое способно принести нам успех?.. Много вставало вопросов, тонувших в полумраке неизвестности.

Опять вернулся мыслью к графу Альфреду фон Шлиффену, генерал-фельдмаршалу, известному идеологу германского империализма, перед которым преклоняются нынешние гитлеровские генералы и офицеры. У умного, пусть и враждебного нам по идеологии и оперативно-стратегическим концепциям противника тоже ведь надо учиться.

Мысленно связал последующие суждения Шлиффена с тем не простым положением, в котором оказался Сталин как Верховный Главнокомандующий Советскими Вооруженными Силами.

Шлиффен далее утверждал, что полководцу одновременно надлежит быть и выдающимся государственным человеком, и дипломатом. Кроме того, он должен иметь в своем распоряжении несметно огромные суммы, которые поглощает война.

«Удовлетворить всем этим требованиям,— писал Шлиффен, явно преувеличивая роль полководца в войне,— может только монарх, который располагает совокупностью всех средств государства». Следовательно, полководец должен быть монархом. Среди великих полководцев немецкий генерал-фельдмаршал выделял имена Александра Македонского, Карла Великого, Густава Адольфа, Карла XII, Фридриха Великого — все они родились монархами. Кромвель и Наполеон, доказав свои полководческие способности, произвели себя в монархи. Цезарь и Валленштейн поступили бы так же, если бы судьба не обошлась с ними столь трагически. Когда Рим оказывался в опасности, сенат назначал диктатора на правах монарха и тем

самым давал ему возможность стать полководцем и разбить врага. Ганнибал не был и не стал монархом. Этот минус и привел к гибели полководца карфагенской республики.

Жукову подумалось о том, что в перечислениях монархов-полководцев фон Шлиффен позабыл о русских — Иване Грозном и Петре Великом...

Конечно же, если покопаться в закромах истории, то можно привести много примеров, которые опровергнут эти мудрствования бывшего начальника германского генерального штаба. Вспомнить хотя бы Суворова, Кутузова, Румянцева... Ведь, например, до нападения на СССР немецко-фашистских войск не Сталин, а Ворошилов, пусть со своими устаревшими взглядами на войну, был председателем Комитета обороны при Совете Народных Комиссаров. Да и положение Сталина в партии и государстве ничего общего не имеет с понятием монаршества... И вдруг подумал:

«Интересно было бы спросить у Иосифа Виссарионовича, читал ли он фон Шлиффена?.. Если читал, то с чем не согласен, а с чем, может, и согласен, хоть малость. Во всяком случае, Сталин, принимая на себя тяжкую роль Верховного, несомненно исходил, в ряду многих соображений, и из того, что он действительно является тем главным человеком в государстве, который, опираясь на ЦК партии, может контролировать расходование огромных сил и средств, поглощаемых войной. И надеялся, что народ единодушно поддержит его.

В этом не могло быть никакого сомнения. Сущность духовной и созидательной силы народа каждодневно чувствуется в Москве по трагически-тревожному и предельно напряженному дыханию всего государства, по упруго пульсирующей силе глубинных родников, обретших вещественность в тяжком труде всех советских людей в тылу и осмысленно-фанатичной самоотверженности многомиллионного красного войска на фронтах... Он же, Георгий Жуков, как бы являясь порождением главной народной мысли и народных чувств, взращенных на полях кровавых битв, обязан был, да и имел на это право, хотя бы для собственного понимания оценивать натуру Сталина и природу его деятельности со всеми их слагаемыми в настоящем и прошлом... Тут есть и еще на многие времена будет над чем размышлять до исступления, в чем-то утверждаясь и в чем-то, может, сомневаясь под изменчивыми ветрами времен и их политическим дыханием. Да и в его самого, Жукова, судьбу, в его деяния пытливая, жаждущая только правды человеческая совесть будет пристально и строго всматриваться сквозь чуткие увеличительные стекла мышления; пусть и наверняка найдутся алчные пожинатели выгодного урожая — будут корысти и самоутверждения ради складывать в один сноп правду и вымысел, связывать их сиюминутными веяниями.

Не просто замыкать мысль на этих вопросах. Ведь и он сам, Жуков, со смущенным недоумением задает себе сейчас жесткий вопрос: почему именно ему в наиболее критических ситуациях войны поручаются высшей властью задачи, решение которых граничит

почти с невозможностью? И он устремляется им навстречу со сложным, обожженным холодом сомнения и пламенем веры чувством. Высшая власть в государстве с непреклонной строгостью дает понять ему, что если не он, то, может, никто другой не осилит порученного. Так уж сложилось в Ставке и в Генеральном штабе. И это рождало у Жукова ясное понимание, что изменить он ничего не может, да и не хочет, и выбирать ему не из чего. Либо он превозможет очередную, вставшую перед ним неразрешимость, либо в ходе противоборства, в пылающем военном пожаре оборвется его жизнь, хотя в глубине чувств не верил в это. В нем властно существовала какая-то непостижимая тайна человеческого состояния, суть которого — в истинном полководческом величии высокого дерзновенного накала и в то же время в естественной человеческой приземленности, когда не забываешь, что ты обыкновенный смертный, но только наделенный на каком-то отрезке жизни, в условиях войны, почти неограниченной властью над другими людьми, духовные возможности которых (пусть и не многих), может, нисколько не ниже твоих собственных, если они даже не умножены на твой военный талант.

Да, Георгий Жуков испытывал то обременяющее, сплавленное с мыслью чувство, когда уже нельзя оглянуться назад и сделать иной выбор. Выбора не было, хотя и не мог пока ответить себе на вопрос: каким образом добьется перелома событий в данном случае на Ленинградском фронте? И добьется ли? Знал главное: израсходует всего самого себя, чтоб достичь перелома, или убедится, что этого сделать невозможно. Было что-то унижающее, когда мелькала мысль о собственном «я», но и возвеличивающее, когда переступал через «я», забывал о нем и старался предугадать, как он все-таки выполнит то главное, что было намечено там, в Кремле, и в Генеральном штабе, вознесут ли его крылья доблести к победе?..

Да, чтобы быть полководцем, уметь выбирать из множества утвердившихся в теории войн правил наиболее важные и не являющиеся заблуждениями, многие из которых таковы и есть, надо обладать не только гибким умом, но какими-то необъяснимыми чувствами, дьявольским наитием. Мало — не делать ошибок; нельзя допускать полурешений. Надо очень и без сомнений полагаться на себя. Может, именно такие качества делают Сталина непостижимо грозным, невозмутимо уверенным в своей власти, силе, воле? Само имя его внушает всем послушание и веру... Вон немцы как высмеяли его полководческие дарования в листовках, которыми засыпали наши оборонявшиеся под Смоленском войска! Нет, никто, читая эти листовки, не смеялся. С испугом отбрасывали. Мехлис, получив такую листовку вместе с политдонесением начальника политуправления Западного фронта, побоялся показывать ее Сталину. Пришел за советом в Генштаб — к нему, Жукову, у которого в кабинете в это время находился маршал Шапошников. Борис Михайлович и подсказал решение: Сталин должен прочитать листовку, но вместе с ней на его стол надо положить проект документа,

гласящего, что с сего числа (то есть 8 августа 1941 года) он именуется не просто Главнокомандующим, а Верховным Главнокомандующим.

«Меня это не интересует»,— бесстрастно сказал тогда Сталин, окинув хмурым взглядом членов Политбюро и военных, собравшихся на совещание. В этой фразе, в прозвучавшем голосе как бы высветлилась мысль, что выше имени «Сталин» ничего быть не может.

Потом он бегло прочитал немецкую листовку, отложил ее в сторону и, ни на кого не глядя, стал раскуривать трубку. После паузы сказал:

«Когда враги ругают — это хорошо... А вы пытаетесь подсластить мне пилюлю... Не нуждаюсь...»

Неловкое молчание нарушил маршал Шапошников:

«Иосиф Виссарионович, душевно прошу понять меня. Товарищ Ленин говорил, что война есть не только продолжение политики, она есть суммирование политики... А «верховность» власти предполагает руководство суммированной политикой плюс экономикой. Это азы современной военно-исторической науки. Войной действительно руководит верховная власть государства. И понятие войны замыкается не только в вооруженной борьбе на фронтах, а включает в себя и борьбу политическую, дипломатическую, экономическую».

Маршала поддержал Молотов:

«Коба, тут не подходит украинская поговорка: «Называй меня хоть горшком, только в печь не суй». Мне в отношениях с теми же англичанами очень важно опираться на самые высокие регалии советского руководства».

«Ладно, решайте как хотите»,— смягчившись, ответил Сталин.

Воспоминания Жукова прервал вышедший из пилотской кабины командир воздушного корабля — русоголовый, с удлиненным светлым лицом — старший лейтенант. Дверь за ним осталась открытой, и шум двух самолетных моторов стал громче, будто приблизился.

Подойдя к Жукову, летчик наклонился над его креслом:

— Товарищ генерал армии, разрешите доложить!

— Докладывайте.— Георгий Константинович вблизи посмотрел в серые, чуть косящие глаза старшего лейтенанта, уловив в них тревогу.

— Разведка погоды доносит, что по нашему маршруту над Ладожским озером небо без облаков! Обойти нельзя!

— Ваше решение? — спокойно спросил Жуков.

— Решение приняли без меня! — ответил старший лейтенант.— Над Ладогой нас будет прикрывать звено истребителей!

— Добро.— Жуков утвердительно кивнул.

Затем старший лейтенант повернулся к воздушному стрелку, восседавшему над стремянкой, и ладонью хлопнул его по сапогу. Из-под колпака, вобрав шею в плечи, выглянул юноша, совсем еще мальчик. Жуков только сейчас разглядел, что на нем кожаная тужурка. Командир корабля сказал стрелку, видимо, о погоде, о наших истребителях и опасности быть атакованными «мессершмит-

тами», вернулся в кабину, приглушив хлопком двери шум моторов, а Георгий Константинович, сбившись с прежнего течения мыслей, почему-то устремил их в далекое прошлое.

Такова уж натура человека: живет он будто сегодняшним днем и в то же время подсознательно ощущает в себе прожитые годы, берущие начало от далеких, размытых и туманных берегов детства, когда мысль и память сливаются воедино.

Георгий Константинович, задумываясь над своей непростой судьбой, возведшей его в ранг высокого военачальника, изумлялся тем шагам, поступкам и событиям поры своей молодости, тем стечениям обстоятельств, которые, вместе взятые, предопределяли его жизненный путь. Почему-то вспомнились два прапорщика из родной Стрелковки. Он, девятнадцатилетний, приехал тогда из Москвы в деревню повидаться с родными и земляками перед уходом на войну. Прапорщики разгуливали по улице вдоль пруда чуть хмельные, важные от воображаемого своего величия и в то же время в чем-то такие жалкие, нескладные, вызывавшие чувство неловкости и даже стыда за честолюбивую мелкость человеческой натуры. Конечно, командовавшие в армии взводами, начальствующие над двумя-тремя десятками бывалых солдат, они в собственном представлении видели себя незаурядными личностями.

А ведь ему, Гоше Жукову, тоже предстояло попасть в школу прапорщиков, ибо за плечами у него была трехклассная церковноприходская школа...

Нет, не хотел он стать похожим на прапорщиков-стрелковцев с их убогим миропониманием, и, когда его призвали на царскую службу, он не написал в казенной бумаге, какое имеет образование. И судьба Георгия начала слагаться, как и у многих других: прослужив рядовым, окончил потом учебную команду унтерофицерской школы в городе Изюме Харьковской губернии. Там строевая муштра, наука окопной войны, штыковых и конных атак были поставлены основательно... После февральской революции его избрали председателем эскадронного солдатского комитета, затем членом полкового...

Не праздные это мысли, а холодившие запоздалой тревогой сердце. Стань он прапорщиком, последовали б очередные офицерские звания за необузданную храбрость и отличия в боях. Не будучи политически зрелым и по молодости ослепленный своими двумя Георгиевскими крестами, офицерскими погонами и офицерской властью, вдруг не сумел бы разобраться, с кем ему идти: с большевиками, меньшевиками, эсерами?.. Были ведь и такие, как он, из народа, которые пошли по чужой дороге, не сумев разглядеть в Октябрьской революции свою истинную судьбу. А если бы и его постигла такая тяжкая беда? Могло ведь случиться и такое из-за зеленого ума. И была б искалечена жизнь, может, доживал бы свой век испоганенно — в эмиграции или постигла б участь тех, кого в свое время нарекали врагами народа только уже за одно то, что были когда-то белыми офицерами.

Нет! Уже и тогда ощущение правды жило в нем властно и при-

зывно! Нутром чувствовал, куда и с кем идти. Двадцать пять лет просидел на коне, прокладывая свой путь. Унтер-офицерил, потом командовал в Красной Армии взводом, эскадроном, полком, дивизией, корпусом и куда выше!.. И постоянная учеба. Однако странно, что память изредка возвращала его к годам унтер-офицерской службы в царской армии. Еще тогда стало проявляться в нем военное призвание, еще там понял, в чем главная суть обучения и повседневного воспитания солдат, а также командования ими в бою. И стало властно пробуждаться в нем чувство стража родной земли... Среди начальствовавших над ним офицеров тоже было немало цельных натур, настоящих трудяг, умелых и разумных, не жалевших ни сил, ни сердца на подготовку армии. Но все-таки самое нелегкое сваливалось на унтер-офицеров не только в обучении солдат, но и во время боевых действий. Может, впервые глубоко задумался над этим, когда в двадцать первом сам чуть не погиб от руки унтер-офицера из антоновской банды.

Это были жестокие схватки с армией в пятьдесят тысяч штыков и сабель. Бригада, в которой служил Жуков, оказалась крайне измотанной и обескровленной антоновцами. Однажды от окончательного разгрома спасли ее полсотни пулеметов, имевшихся на вооружении эскадронов. Тогда под Жуковым был особенно лихой конь: его прежнего хозяина Георгий застрелил в рукопашной схватке. И вот сложилась ситуация, когда отступавшие антоновцы вдруг развернулись для контратаки. Жуков не сдержал своего коня, и он вынес его шагов на сто вперед эскадрона. Но сзади уже послышались команды «Шашки к бою!», и он дал коню волю... Началась взаимная рубка, обагрившая кровью первый снег, покрывавший белой пеленой широкое поле, луг и опушивший кроны деревьев недалекого леса. Антоновцы вновь обратились в бегство. Жуков заметил, что один из них, по всей видимости командир, устремил своего коня по снежной тропке к опушке леса, и кинулся с обнаженной шашкой в погоню. Видел, как удиравший суматошно нахлестывал плеткой лошадь то по правому, то по левому боку. Жуков настиг антоновца, замахнулся для рубки, но тот, бросив плетку налево, единым движением выхватил из ножен клинок и мгновенно — казалось, без размаха — рубанул своего преследователя поперек груди... Жуков не успел даже закрыться и выпал из седла, чувствуя, что на нем рассечены не только ремни от ножен шашки, кобуры пистолета и от бинокля, но и сукно на крытом полушубке...

Не подоспей тогда на выручку комиссар эскадрона, погибель была бы неминуемой. После боя посмотрели документы зарубленного антоновца и узнали, что он, как и Жуков, унтер-офицер, драгун; да еще изумились его громадному росту... У Жукова потом еще полмесяца болела грудь от сабельного удара.

Монотонное гудение самолетных моторов убаюкивало. Позади была напряженная ночь без сна. Георгий Константинович задремал, хотя мозг его не мог избавиться от мыслей о прошлом. Увидел себя во сне в лихой конной атаке, и вдруг воскрес в нем давно умерший страх, испытанный когда-то в схватке с другим антоновским

офицером. Они стремительно летели друг на друга. Офицер на скаку выстрелил из обреза в Жукова, но попал в голову его коня. Падая, конь придавил своего седока. Жуков увидел над собой занесенный клинок. Однако удара не последовало — его упредил взмах сабли в руке подскакавшего взводного. Ночевки... Но во сне привиделся ему не Ночевка, а Федя Чумаков — на лошади, почему-то в генеральской форме, с окровавленной саблей в руке... Вслед за Чумаковым подскакал... Кто же это? Ба-а!.. Федюнинский!.. Звезда Героя Советского Союза на гимнастерке, и тоже генеральские звезды в петлицах!.. Мысли во сне ворочались вязко, были похожи на полубред, от которого невозможно было избавиться... Федюнинский, восседая на гарцующем скакуне, держал под мышкой правой руки легкий, диковинного образца, пулемет и палил из него в небо...

Жуков проснулся от всамделишной стрельбы. Это бил длинными очередями по какой-то цели воздушный стрелок. Увидел, что к иллюминаторам прильнули встревоженными лицами Хозин и Федюнинский. Сам взглянул в округлое окошко и увидел, что их самолет несется над белыми барашками волн.

«Где же наши истребители?» — мелькнула у Жукова тревожная и сердитая мысль; ему не трудно было догадаться, что молодой пулеметчик отражает нападение немецких истребителей. Взглянул на генералов Хозина и Федюнинского — спокойно-напряженные лица, хмурые, неподвижные глаза. Понял, что они испытывают то же, что и он: глубочайшую досаду от своей беспомощности.

«Где же наши истребители?» — вновь со свирепостью в сердце задал вопрос Жуков, не адресуя его ни к кому. Надеялся, что сейчас выйдет из пилотской кабины командир корабля и что-либо объяснит. И в то же время понимал: в такие минуты командиру надо быть начеку...

В боевых ситуациях нет ничего хуже, чем оказаться слабо прикрытой мишенью для врага. Но делать было нечего, и Жуков, тяжко вздохнув, прикрыл глаза, надеясь, что вот-вот в промежутках между надсадной пальбой воздушного стрелка услышит пулеметные очереди наших истребителей... Не услышал. Только из-под колпака с турелью медным градом падали на пол самолета дымящиеся стреляные гильзы...

За округлым окошком салона зеленой полосой потянулись верхушки деревьев — под самолетом был лес... А вскоре была посадка.

Молча поднимались по центральной лестнице Смольного на второй этаж. Жуков гасил в себе ярость, родившуюся над Ладогой, когда их самолет по непонятным причинам не был прикрыт нашими истребителями. А тут еще пришлось минут пятнадцать ожидать при въезде в Смольный, пока начальник караула, не придав значения документам Жукова, бегал за пропуском к коменданту штаба.

Чуть впереди Жукова шагал по ступенькам порученец маршала Ворошилова. Он был подтянут, в тщательно отутюженном обмундировании и хорошо начищенных сапогах, но не мог скрыть своей чрезмерной утомленности — выдавали сутулость плеч и вялая, почти стариковская походка. Сзади шли, неся пухлые черные портфели с оперативными документами и картами, генералы Федюнинский и Хозин.

— Давно идет военный совет? — спросил у порученца Жуков, хотя это не могло иметь для него особого значения.

— Заседают непрерывно,— устало ответил порученец.— Одни уходят, другие приходят. Буфетчицы не успевают чай кипятить.

— Кто там сейчас кроме маршала Ворошилова и Жданова?

— Многие... Адмиралы Трибуц и Исаков, некоторые командармы, начальники родов войск, директора крупных объектов...

Вошли в просторный кабинет, где за длинным столом, покрытым красным сукном, сидели военные и невоенные люди. Охватить всех их взглядом Жуков не успел, увидев, что из кресел в дальнем конце стола поднялись ему навстречу маршал Ворошилов и член Военного совета Жданов.

У Жукова тоскливо сжалось сердце, когда он всмотрелся в изморенное, с ввалившимися глазами лицо Ворошилова; Жданов тоже выглядел усталым, будто не спавшим несколько ночей кряду. Молча пожали друг другу руки, обменялись печально-болезненными взглядами.

— Разрешите присутствовать? — спросил Георгий Константинович у Ворошилова, стараясь разрушить гнетущую и чем-то ошеломляющую тишину, наступившую в кабинете, и пока не решаясь вручить маршалу записку Сталина. Будто чувствовал себя в чем-то виноватым перед Ворошиловым, которого всегда высоко почитал, безгранично любил, хотя и понимал, что на современную войну он смотрит будто с кавалерийского седла.

— Садись, пожалуйста.— Ворошилов нервно пригладил ладонью седой ежик волос на голове.— И вы присаживайтесь, товарищи генералы,— указал на противоположный край стола Федюнинскому и Хозину. Затем, возвращаясь на свое место, взглянул на Жукова пронзительным, прояснившимся взглядом: — Я вижу, ты пожаловал с целой свитой? Это хорошо... Люди нужны... Задыхаемся...

Жукову показалось, что маршал Ворошилов начал догадываться о цели его появления в Ленинграде. Почувствовав это, внутренне напрягся еще больше и, испытывая мучительную неловкость, присел на свободный стул между адмиралами Трибуцем — командующим Балтийским флотом и Исаковым, который координировал боевые действия Балтийского флота, Ладожской и Чудской флотилий с сухопутными войсками, защищавшими Ленинград. Жуков был давно знаком с адмиралами и в знак приветствия незаметно толкнул их под бока локтями. Этим будто несколько снял с себя напряжение и уже спокойно обвел взглядом находившихся в зале. Обратил внимание, что его появление на заседании Военного совета воспринято присутствующими по-разному. Одни, видимо, полагали, что он,

как член Ставки, прибыл в Ленинград с новыми решениями Верховного Главнокомандования, и с нетерпением ждали его слова. Иные военные посматривали на него с тревогой или озадаченностью, другие — с любопытством, доброжелательством; а в глазах одного командарма уловил откровенный испуг. И с горькой иронией подумал о том, сколь непросты иногда бывают отношения между людьми — «должностными величинами». Вспомнил, с какой поспешностью после назначения его начальником Генерального штаба засвидетельствовали ему свои симпатии и добрые пожелания некоторые бывшие его командиры, будто извиняясь за былую власть над ним со всеми ее строгостями. Иные даже оправдывались, не подозревая, что этим глубоко ранили душу Жукова, унижали в его глазах самих себя. Ведь именно за строгую требовательность почитал он своих прежних командиров и начальников! Каждый из них что-то вложил в копилку его военных знаний, и не ценить этого мог только неблагодарный и неумный человек.

Когда Георгий Константинович ушел из Генштаба командовать Резервным фронтом, то уже не ощутил, что кто-либо изменил к нему отношение. И тем не менее все чаще стал размышлять о натуре современного полководца вообще, утверждаясь в том, что истинных военачальников всегда озаряет чувство долга и непреклонность в суждениях о качествах людей, какие бы должности они ни занимали...

А между тем маршал Ворошилов о чем-то тихо переговаривался со Ждановым и неспокойной рукой искал среди лежавших перед ним на столе бумаг какой-то документ. Наконец документ был найден, Ворошилов положил его перед Ждановым, и тот, даже не взглянув в него, устремил взгляд на Жукова, спокойно, с нескрываемой горечью сказал:

— Георгий Константинович, вы, надеюсь, хорошо осведомлены, что Ленинград находится сейчас в самом трагическом состоянии...

Жуков ничего не ответил, напряженно вглядываясь в лицо Жданова, на котором проступила нездоровая синева, будто легкие его задыхались от недостатка кислорода.

— В этот критический момент нам очень важно,— продолжал Жданов,— услышать ваше слово как представителя Ставки, которая в Москве видит положение нашего фронта в совокупности с оперативными ситуациями, сложившимися не только вокруг Ленинграда, но и на смежных фронтах.

— Для начала я должен знать, к какому решению приходит Военный совет Ленинградского фронта,— жестко, несколько отчужденным голосом сказал Жуков, переводя взгляд со Жданова на Ворошилова, который смотрел на него, казалось, остекленевшими от отчаяния глазами.

Жукову ответил не Ворошилов, а Жданов:

— Мы как раз обсуждаем меры, которые надлежит предпринять в случае невозможности удержать город.

— Это, к сожалению, не исключено,— хрипло поддержал Жда-

нова Ворошилов.— Немцы превосходят нас в силах. Встает вопрос: вступать в уличные бои и терять армию или...

Жуков не дал Ворошилову закончить фразу и, на удивление самому себе, спокойно сказал:

— Город надо удержать...

В кабинете наступила жесткая тишина. Жуков понимал, что в самый раз пора достать из нагрудного кармана адресованную Ворошилову записку Сталина, но медлил, испытывая все ту же неловкость: Ворошилов ведь прошел через всю его военную жизнь, как святыня, как непорушный боевой символ. И сейчас какое-то сложное чувство томило сердце Георгия Константиновича, даже не позволяя взять разбег мысли, выраженной здесь его первой и столь категоричной фразой.

Почувствовав на себе вопрошающий, с укоряющим прищуром взгляд командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца, сидевшего рядом, повернулся к нему и заметил на его широком лбу взбугрившиеся капли пота.

— Вы тоже за сдачу города, Владимир Филиппович? — требовательно спросил у адмирала Жуков.

— На всякий случай советуемся, в каком порядке взрывать корабли, чтоб они не достались немцам.

— Взрывать корабли?! — Жуков поднялся со стула и негодующе обвел взглядом всех присутствующих. Затем, будто не отдавая себе отчета, достал из кармана записку Сталина и, вместо того чтобы передать Ворошилову, прихлопнул ее ладонью на красном сукне стола перед адмиралом Трибуцем: — Вот мой мандат!

Когда Трибуц прочитал записку, Жуков, извинительно взглянув на Ворошилова, передал ему послание Сталина и продолжил:

— Как командующий фронтом, запрещаю взрывать корабли!.. Более того, приказываю немедленно разминировать их, чтобы они сами не взорвались! А во-вторых, срочно подведите корабли ближе к городу, чтоб они могли стрелять по врагу всей своей артиллерией! Ведь на каждом — по сорок боекомплектов!.. Шестнадцатидюймовые орудия! Как вообще можно минировать такую силищу?! Да, предположим, что они погибнут!.. Если так, то должны погибнуть только в бою, стреляя! — Георгий Константинович говорил жестким приглушенным голосом, почти не жестикулируя. Состояние генерала армии больше угадывалось по голосу, выражению его лица и глаз. Если же временами взмахивал он рукой, то взмах этот как бы объединялся со словом, с фразой, усиливая их накал и значимость. Казалось, само сердце ударяло в такие мгновения в его сжатую в кулак руку...

— Прошу прощения, Георгий Константинович.— Это воспользовался паузой Жданов. Голос его прозвучал строго и отрешенно.— Но ведь мы поступили согласно приказу...

— Кто приказал? Нарком Военно-Морского Флота Кузнецов? — к удивлению всех, Жуков задал вопрос без раздражения.

— Телеграмму подписали товарищ Сталин, Шапошников и Кузнецов,— со скрытым вызовом ответил Жданов.

Жуков нахмурился и будто потемнел лицом. В это время где-то недалеко от Смольного зататакала автоматическая зенитная пушка малого калибра. Но ее, кажется, никто не слышал; все напряженно смотрели на молчавшего Жукова. Адмирал Трибуц осекшимся голосом нарушил молчание:

— Согласно решению Ставки мы создали в штабе флота группу операторов... Они разработали директиву командирам соединений о закладке в погреба и помещения кораблей бомб и мин... Об этом знает личный состав флота...

— Еще бы! — Жуков горько усмехнулся.— Не сами же адмиралы готовили корабли к уничтожению...— Чуть поразмыслив, он продолжил: — Прошу выполнить мой приказ! Ответственность беру на себя.

Маршал Ворошилов слушал Жукова, будто окаменев, держа перед собой записку Сталина и вчитываясь в каждое ее слово. Затем он встал и растерянным взглядом заставил Жукова умолкнуть и насторожиться.

— Георгий Константинович, ты извини меня, старика.— Маршал заговорил тихо, но твердо.— На основании этой записки я не имею права передать тебе командование фронтом, хотя и вижу почерк товарища Сталина. Я ведь назначен сюда не запиской, а приказом Ставки Верховного Главнокомандования...

— Вы абсолютно правы, товарищ Маршал Советского Союза,— с уважительностью в голосе ответил Жуков.— Приказ Ставки о моем назначении поступит после вашей телеграммы Сталину о том, что я прилетел в Ленинград... А мог и не долететь.— Жуков ищущим взглядом обвел всех сидящих за столом, надеясь увидеть кого-либо из авиационных начальников.— Но коль долетел, предлагаю, как представитель Ставки, принимать сейчас совместные решения...*

3

На войне судьба полководца слагается в обстоятельствах необыкновенно сложных чрезвычайных, а иногда и непредсказуемых. Предоставленная ему власть над войсками и штабами не часто полнит душу радостью, ибо все его естество тяжко придавлено и угнетено огромной ответственностью, а мозг непрерывно ведет мучительный поиск, главная суть которого — мысленное противоборство с полководцами неприятеля, чьи войска надо укрощать силой своих войск... Нет, нельзя, конечно, отрицать, что право повелевать, принимать решения и требовать исполнения своей воли не льстит в той или иной мере самолюбию полководца, не рождает в нем гордости за оказанное ему доверие высшей властью, не заставляет задумываться над своим исключительным положением

---

* Командующим войсками Ленинградского фронта Г. К. Жуков был назначен приказом Ставки от 13 сентября 1941 г. *(Прим. авт.)*

на фронте. Но эти чувства похожи чаще всего на вспышки, которые мгновенно гаснут под свирепым ветром забот и тревог, связанных в триединый узел нелегких вопросов: что делает и замышляет противник, какие боевые возможности у подвластных полководцу войск, так ли они расположены им на местности и в какой мере способны к взаимодействию, как оценивают решения полководца вышестоящий штаб, Ставка, Верховное Главнокомандование?

Генерал-лейтенант Конев Иван Степанович 12 сентября 1941 года был назначен командующим войсками Западного фронта, сменив на этом посту маршала Тимошенко. Но принять командование непосредственно от маршала Коневу не удалось, ибо, когда он приехал в Касню, где размещался штаб фронта, Тимошенко уже отбыл в район Киева в качестве главнокомандующего Юго-Западным направлением.

Второй день немцы вели себя на переднем крае обороны и в воздухе спокойно, их авиация не появлялась и близ Касни, находящейся в двадцати пяти километрах севернее Вязьмы. Поэтому все руководство штаба собралось для знакомства с новым командующим в огромной зале, где обычно заседал Военный совет.

Зала — главная часть дома дореволюционного поместья князей Волконских — потеряла свою былую парадность: частые бомбежки покрыли ее стены трещинами, смахнули с них и с потолков лепные украшения, местами обвалили штукатурку; в окнах не осталось ни одного стекла, и ветер свободно шастал по просторному помещению, шелестя развешанными на стенах и подставках картами, схемами, вороша боевые документы на огромном обеденном столе с массивными гнутыми ножками, за которым сидели генерал Конев и члены Военного совета Булганин и Лестев — усталые и озабоченные. Чуть в стороне от стола умостился в мягком потертом кресле, держа на коленях развернутую топографическую карту, генерал-лейтенант Чумаков. Недавно прибыв на Западный фронт по поручению Ставки, Федор Ксенофонтович имел весьма ограниченные полномочия: он собирал в войсках, накапливал и обсуждал с большими и малыми военачальниками материал для внесения предложений об изменениях и дополнениях в Полевом и Боевом уставах Красной Армии.

Чумаков был одним из инициаторов грядущих реформ в способах ведения оборонительных и наступательных боев нашими сухопутными войсками, но тяготился своим нынешним положением, в котором оказался малоактивным, безвластным, почти одиноким... Не имел даже машины, чтобы ездить по войскам... К тому же он на собственном горьком опыте постиг в первые недели войны несовершенства некоторых важных правил нынешней военной тактики частей Красной Армии и уже мог бы уехать в Москву и засесть за составление документов, опираясь на свои окончательно созревшие выводы. Но чувствовал, что на Западном фронте вот-вот разразятся грозные события, и не считал возможным отбывать в такое время в тыл, пусть даже его присутствие здесь никому не принесет пользы. Да и надо было б с глазу на глаз обменяться с генералом Коневым своими тревогами и догадками о том, что немцы, накопив силы, вот-вот нанесут по войскам Западного фронта

удары с далеко идущими стратегическими целями. Ведь наступила осень, и немецкое военное руководство вряд ли собирается в бездействии дожидаться зимы, находясь в такой близости от Москвы.

Генерал Чумаков вопросительно, с тяжким сердцем всматривался в усталое, суховатое лицо Конева. Оно выражало хмурую сосредоточенность, а серые проницательные глаза нового командующего свидетельствовали о строгости и решительности его характера.

Чумаков по себе знал: Конев уже испытал в Смоленском сражении все самое страшное, что может испытать военачальник, когда противник берет верх над его войсками численным превосходством. И сейчас, видимо, Иван Степанович размышлял над тем, что ему уготованы еще более тяжкие муки, ибо Западный фронт, который он возглавил, сдав свою 19-ю армию генералу Лукину, представлял собой наиболее опасное для Москвы направление.

Не трудно было предположить, какие именно чувства томили душу этого внешне спокойного человека, которому доверен столь высокий и невероятно ответственный пост. Ведь ему всего лишь сорок четыре года — возраст, правда, такой, когда каждая новая служебная ступень вверх все-таки радует, а предстоящие сложности побуждают к еще более энергичным действиям. Да и его прошлое связано с непрестанными трудностями становления, формирования в себе тех качеств, которые строго требуют быть в полном ответе за все происходящее в сфере жизни и боевых действий подчиненных ему войск.

Нет, Ивану Степановичу нельзя было жаловаться на судьбу. Он, как говорят, родился в рубашке, соткав в жизненных борениях свой железный характер. Постигнув начальные азы бытия среди крестьянского люда в деревне Лодейно Вятской губернии, деревенский парень зашагал потом в неведомое твердо и уверенно, начав с учебной команды унтер-офицеров артиллерийского дивизиона в первую мировую войну. После победы Октября побывал в жесткой шкуре уездного военкома, а во время гражданской войны комиссарил на разновеликих должностях. Затем остался в Красной Армии на полюбившейся политической работе — был военным комиссаром стрелкового корпуса, стрелковой дивизии... После окончания курсов усовершенствования начальствующего состава перешел на строевую работу — командовал полком, стрелковой дивизией; когда же позади осталась учеба в Военной академии имени Фрунзе — возглавлял стрелковый корпус, потом 2-ю отдельную Краснознаменную Дальневосточную армию. Перед самой войной успел покомандовать войсками Забайкальского, а затем Северо-Кавказского военных округов.

Так что генерал Конев уже освоился с положением военачальника высокого ранга, познать силу и ответственность высокой власти, углубиться в сложности управления крупными войсковыми объединениями. Однако в душе, в сердцевине своей натуры и сейчас будто оставался комиссаром, ощущая напряженное биение пульса всей страны, изнемогавшей в тяжелой борьбе с агрессором.

Общаясь с подчиненными ему людьми, он всегда старался разглядеть истинность их духовных начал, способность к делу, понять их мироощущение в условиях бескомпромиссного кровавого единоборства; свои же решения и поступки старался согласовывать с теми писаными и неписаными законами, по которым жили не только воинские штабы, войсковые части, а и армейские политорганы, как воспаленная совесть всего сущего на войне.

Но даже при своей многоопытности и прозорливости не мог предположить Иван Степанович, что совсем скоро ему придется испытать ни с чем не соизмеримые потрясения, когда будет уже и не до личной судьбы, пусть и приблизится она к самой опасной, почти смертной черте. Однако это — впереди...

Оперативную обстановку докладывал начальник штаба генерал-лейтенант Соколовский Василий Данилович — статный, углубленный в мысленное видение всего того, что происходит на фронтах, в армиях, в штабах, службах обеспечения. В тщательно отутюженном обмундировании со сверкающими позолотой пуговицами и генеральскими шевронами на рукавах, гладко выбритый, он будто излучал всем внешним видом какую-то особую уверенность в своем деле, своих суждениях. Холеное, утонченно-интеллигентное лицо Соколовского было сероватым от усталости, а чуть притушенные глаза с красными прожилками на желтоватых белках свидетельствовали о постоянном недосыпании. Да, Соколовский, как и генерал Конев, был истинно военным человеком со всей своей внутренней сущностью и доскональным знанием порученного ему дела.

Стоя у висящей на стене топографической карты, на которой было нанесено расположение противоборствующих сил на фронтах, генерал Соколовский четко и с суровой конкретностью объяснял соотношение этих сил и их действия.

Доклады оперативной обстановки на Военном совете не всегда выстраиваются в одинаковой последовательности, особенно если обозреваются события, назревшие сиюминутно и требующие немедленных решений. Сегодня же Соколовский докладывал строго по-уставному, начав со сведений о противнике. Почерпнутые из ориентировок Генштаба, донесений войсковой и агентурной разведок, эти сведения были кричаще тревожными. Вслушиваясь в неторопливый голос начальника штаба, генерал-лейтенант Конев будто воочию видел, как немецко-фашистское командование торопливо готовит в полосе Западного фронта новое наступление на московском стратегическом направлении. И это рождало не только чувство опасности, но и понукало мысли к поискам эффективных оборонительных мер, заставляло сравнивать противоборствующие силы особенно на стыках армий, намечать направления для маневра своими войсками, в том числе и скудными резервами... Главное — надо во что бы то ни стало лишить неприятеля возможностей ударить внезапно и вбить клинья в наши оборонительные линии, а тем более охватить Западный фронт с флангов.

Войск же у неприятеля было немало. Немецко-фашистская группа «Центр», сосредоточившись восточнее Смоленска, уже имела

в своем составе 3-ю и 4-ю танковые группы, изготовившиеся к наступлению из районов Духовщины и Рославля, 4-ю и 9-ю полевые армии, угрожавшие нашим обороняющимся дивизиям в направлениях Ельни, Ярцева, Белого, Андреаполя. А как сложится соотношение сил, когда гитлеровское командование окончательно завершит перегруппировку своих армий?

Штаб Западного фронта пока не ведал, что перед его войсками в решительный момент появятся еще одна полевая армия немцев — 2-я, и еще одна танковая группа — тоже 2-я, а их 2-й воздушный флот увеличится до 1390 самолетов. И еще кое-что, весьма важное, не было известно советскому командованию о подготовке боевых действий врага на московском направлении, хотя партизанская разведка тоже сделала все возможное, чтобы предупредить штаб Западного фронта и о непредвиденной грозящей опасности.

Почему-то не дошли до разведуправления фронта сведения из 19-й армии, собранные разведгруппой добровольцев-разведчиков, созданной Ярцевским горкомом партии; в нее входили комсомольцы В. Мокуров, А. Платонов, Ф. Платонов, Н. Кузнецов, Н. Прыгушин, П. Лиходед, несколько девушек, имена которых тогда были неизвестны. Группой руководил капитан Генералов из разведотдела 19-й армии. Эта группа обнаружила, что немцы близ райцентра Батурино, на сухом месте у непроходимых топей, так называемых Свитских мхов, готовили большое количество бревенчатых настилов — гатей. Нетрудно было догадаться, что гати будут уложены на болотистые участки для переправы по ним танков, что потом и произошло...

А пока генерал-лейтенант Соколовский продолжал доклад, перейдя к боевым характеристикам армий, входящих в состав Западного фронта,— 16, 19, 20, 22, 29, 30-й. Они держали оборону на рубеже озеро Пено, Андреаполь, Ломоносово, Ярцево, Новые Яковлевичи. Главное, московское направление прикрывали 16, 19, 20 и 30-я армии. Группировка войск Западного фронта имела в первой линии обороны 23 дивизии, в том числе 2 кавалерийские. Во фронтовом и армейских резервах находились всего лишь 8 стрелковых, 1 кавалерийская и 2 танковые дивизии (около 190 танков старого образца), 5 танковых бригад, в которых насчитывалось 260 танков — тоже преимущественно старых конструкций. Правее Западного фронта, севернее Осташкова, вели оборонительные бои войска 27-й армии Северо-Западного фронта. Слева, на рубеже верхнего течения Десны, от Ельни до железной дороги Рославль — Киров, занимали оборону войска 24-й и 43-й армий Резервного фронта. Еще четыре армии этого фронта, составляя резерв Верховного Главнокомандования на Западном направлении, располагались в глубине за Западным фронтом, по линии Осташков, Оленино, Ельня.

Генерал Соколовский подумал о том, что у командующего Резервным фронтом маршала Буденного, наверное, есть свои планы действий на случай прорыва противника к рубежам обороны его

армий; эти планы следовало бы слить в единый оперативно-стратегический замысел с предполагаемыми действиями армий Западного фронта. Но Генеральный штаб и Ставка никаких указаний не давали, и Соколовский промолчал о тревоживших его мыслях, скользнув взглядом на левый край карты, где были обозначены Брянский и Юго-Западный фронты. Конев уловил этот его взгляд и спросил:

— У левых соседей улучшений нет?

Соколовский выдержал паузу, размышляя над тем, что ему было известно из сводок Генерального штаба, потом сказал:

— Наступательная операция Брянского фронта на рославльском и новозыбковском направлениях, имевшая целью ликвидировать разрыв между тринадцатой и двадцать первой армиями, к сожалению, оказалась безуспешной.

— Не угрыз Еременко Гудериана,— с иронической горечью заметил Конев, имея в виду недавнее обещание генерала Еременко, данное Сталину, обязательно разгромить «подлеца Гудериана».

— Да, не угрыз,— согласился Соколовский и со вздохом продолжил: — А обстановка на Юго-Западном фронте — хуже некуда... Сегодня тридцать восьмая армия начала отход на восток. Прорыв немцев на Ромны, Лохвицу, Веселый Подол, Хорол прикрыть нечем. Двадцать первая и пятая армии тоже пятятся... Мешок для главных сил фронта неизбежен... Киев обречен...

4

Для генерала Конева начались фронтовые будни, заполненные работой, которая не поддается ни учету, ни измерениям. Два дня не покидал он Касни, изучая силы армий, их оснащенность боевой техникой и обеспеченность всем необходимым для боевых действий фронта — по документам и докладам начальников служб и родов войск. Пытался разгадывать замыслы противника, исходя из расположения его группировок, послал в Генеральный штаб донесение о том, что фронт испытывает недостаток в живой силе, танках, самолетах, артиллерии, автоматическом оружии. Уже собрался было начать объезд войск для ознакомления с обстановкой на местах, но вдруг последовало по телефону распоряжение срочно явиться в Ставку к Верховному Главнокомандующему Сталину.

Ехал в Москву с тревогой и надеждой. Пытался предугадать, какие вопросы поставит перед ним Сталин и как отнесется Генеральный штаб к его вчерашнему донесению о нуждах фронта. Томила тяжесть возложенной на него ответственности, охватывал разумом всю войну и свое нынешнее место, свою роль в ней. Знал, что в войсках и штабах о нем идет молва как о бесстрашном, одаренном полководце с очень крутым нравом, жестким, бескомпромиссным характером. В быстро мчавшейся по шоссе машине ему думалось свободно, мысли то вспыхивали в нем пучками лучей, высветли-

вавших трудные неразрешимости и накопившееся в душе, еще не все осознанное, то своевольно разбредались по закоулкам усталого мозга, вызывая дремотное состояние.

Когда Конев вошел в кремлевский кабинет Сталина, увидел сидящими за столом для заседаний Молотова, Калинина, Микояна, Шапошникова и Хрулева. Сталин, поздоровавшись с Коневым за руку, пригласил его садиться, сказав при этом:

— Сейчас закончим разговор и будем слушать вас, товарищ Конев.

Маршал Шапошников неторопливо складывал развернутую на зеленом сукне стола карту, был хмур и сосредоточен, как, впрочем, и все остальные, находившиеся в кабинете, и генералу Коневу нетрудно было догадаться, что перед его появлением здесь обсуждали трагические события на Юго-Западном фронте.

— Так что вы еще предлагаете? — спросил Сталин у генерала Хрулева — начальника Главного управления тыла Советской Армии (он же был и заместителем Наркома обороны СССР).

— Мы еще вносим на ваше рассмотрение предложение об организации ста гужевых транспортных батальонов — по двести пятьдесят пароконных повозок в каждом,— сказал Хрулев, открыв перед собой папку с документами.

— Чудеса, да и только! — Сталин невесело засмеялся.— Мы каждый день принимаем меры об ускорении производства новых танков, самолетов, орудий, тягачей, а вы хлопочете о повозках.

— И о санях, товарищ Сталин,— без тени смущения добавил Хрулев.

Сталин пристально взглянул на него, опять глухо засмеялся и после паузы спросил:

— А что говорят по этому поводу в Главном управлении формирования и укомплектования войск?

— Неодобрительно говорят! — с сердитостью в голосе ответил Хрулев.— Начальник управления товарищ Щаденко иронизирует и злостно критикует нас! Не понимает, что в распутицу и особенно зимой транспортные батальоны будут незаменимой подмогой войскам! Этому учит опыт первой мировой, гражданской, да и финской войн!

Сталин пытливым взглядом пробежался по лицам присутствовавших в кабинете. Первым откликнулся Калинин:

— По-моему, разумное предложение!.. Впрочем,— продолжил Михаил Иванович,— от товарища Хрулева легковесных предложений можно и не ожидать. Знаю его со времен Октябрьской революции, когда я работал комиссаром городского хозяйства Петрограда, а он был комендантом революционной охраны Порховского района... Потом не раз встречались в Первой Конной армии...

— Не будем предаваться воспоминаниям! — резковато прервал Калинина Сталин.— Какие будут суждения по существу вопроса?

— Я поддерживаю предложение товарища Хрулева,— спокойно произнес Микоян.— К производству повозок и саней предлагаю

подключить Наркомат лесной промышленности, промкооперацию и местную промышленность. Беру это на себя...

Затем было обсуждено еще одно предложение Сталина — об учреждении орденов Суворова и Кутузова для награждения командиров частей, соединений, командующих армиями, фронтами, начальников штабов и других командиров, отличившихся в ведении боевых действий. Хрулеву было поручено разработать статус этих полководческих наград.

Наступил черед докладывать генерал-лейтенанту Коневу — о положении на Западном фронте. Иван Степанович всей силой воли подавлял в себе волнение: ведь впервые в качестве командующего таким количеством армий излагал он Ставке свое понимание общей оперативной ситуации на главном, угрожающем Москве стратегическом направлении, давал свои оценки сил противоборствующих сторон, высказывал предположения о замыслах немецко-фашистского командования и о наших возможностях и невозможностях парирования несомненно грядущих ударов неприятельских войск. Почти не глядя на распластанную на столе топографическую карту, исчерченную красными и синими карандашами, и не отрывая глаз от лица Сталина, прохаживавшегося рядом по ковру, Конев доказательно обосновывал необходимость без промедления усиливать его фронт войсками и техникой.

Заканчивая доклад, Иван Степанович ощутил по спокойствию Сталина и грустной задумчивости маршала Шапошникова, что, видимо, не произвел на них должного впечатления своим докладом, может, именно потому, что очень желал этого. Обсуждения задач фронта и усиления его боевых возможностей не получилось. Никто ничего не сказал, не встревожился и по поводу того, что фашистские войска вот-вот могут перейти в наступление.

Когда Конев умолк, Сталин остановился перед ним и, глядя ему в глаза, наставительно изрек:

— Еще Флавий Вегеций, римский военный историк и теоретик, утверждал, что, кто желает получить в войне благоприятный результат, пусть ведет ее, опираясь на искусство и знание, а не на случай... Генштаб занимается Западным фронтом. Но мы очень надеемся и на вас, товарищ Конев, на ваши военные знания, ваш опыт, твердость и решительность вашего характера. Желаем вам успехов...

В штаб фронта генерал-лейтенант Конев возвращался со смешанным чувством неудовлетворения и приподнятости. Последнее брало верх: все-таки верят в него как полководца. И даже то обстоятельство, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандования непонятно почему не обсуждались конкретные задачи Западного фронта, постепенно приобретало в сознании Ивана Степановича особый смысл: Москва надеется, что он, Конев, эти задачи хорошо понимает сам и сумеет вместе со своим штабом

принять необходимые меры в предвидении близившихся грозных событий.

Вернувшись в Касню, он вызвал к себе генерала Соколовского и отдал распоряжение готовить проект директивы об укреплении оборонительных рубежей. Надо было сориентировать всех командующих армиями на то, что агентурой и авиационной разведкой установлен подход к фронту новых войск противника. В большей части они развертываются в районе Духовщины против стыка 19-й и 16-й армий, а также в районе Задня-Кардымово и на левом фланге 20-й армии. Обстановка требует немедленно активизировать в полосе фронта боевую работу всех видов разведки, главным образом ночью, чтобы держать противника в постоянном напряжении, уточнять сведения о расположении вражеских войск, резервов и штабов. На своем переднем крае повсеместно перейти к траншейной обороне с ходами сообщения, создать устойчивую систему артиллерийско-минометного и ружейно-пулеметного огня, укрепить противотанковые районы и вывести часть войск в резерв, чтобы была возможность маневрировать ими.

19 сентября директива была отправлена во все армии фронта, а генерал Конев поехал в войска, чтобы на местах ознакомиться с дивизиями, особенно теми, которые частыми ударами по противнику пытались потеснить его и занять более выгодные рубежи для последующих оборонительных действий.

Из утренней оперативной сводки генерал Конев узнал, что ни позавчера, ни вчера не сумела выполнить боевую задачу дивизия полковника Гулыги, усилившая прикрытие левого фланга войск бывшей его, Конева, 19-й армии. Ивану Степановичу вспомнился день, когда полковник Гулыга докладывал на командном пункте 44-го стрелкового корпуса комдива Юшкевича Василия Александровича о том, как ему удалось с остатками дивизии пробиться из вражеского окружения к Радчинской переправе через Днепр. Доклад слушал тогдашний командующий фронтом Тимошенко, собрав на КП Юшкевича командармов — Лукина и его, Конева, тоже прорвавшихся из-за Днепра со своими поредевшими штабами. Присутствовал при докладе и командующий войсковой оперативной группой генерал Рокоссовский.

Доклад был тяжким в своих главных подробностях и в изложении обстоятельств. Слушая Гулыгу, Конев будто самого себя увидел в той кровавой боевой сумятице на высотах вокруг Смоленска и, кажется, впервые столь потрясенно осмысливал подвиг дивизий, входивших в состав 19, 16 и 20-й армий. Размышлял над тем, какой дорогой ценой удалось им обескровить и остановить врага, перекрыв ему пути на Москву.

И сейчас Конев ехал в дивизию полковника Гулыги, штаб которой затаился в лесистых оврагах близ деревни Старые Рядыни. На свой передовой командный пункт у станции Вадино заезжать не стал — что-то подстегивало его скорее оказаться там, на левом фланге бывшей своей 19-й армии. А главное, не хотелось прерывать важного разговора в машине с генералом Чумаковым. Федор

Ксенофонтович, когда узнал, что Конев собирается побывать сегодня в дивизии полковника Гулыги, ранее входившей в его, Чумакова, оперативную войсковую группу, напросился поехать вместе с ним.

Тяжелый длинный ЗИС-110, в зелено-пятнистой окраске, следовал в направлении Ярцева. Впереди ехал броневик охраны. Конев и Чумаков сидели на заднем сиденье, отгородившись от водителя и адъютанта командующего толстым стеклом. Иван Степанович слушал рассуждения Чумакова с интересом и скрытым раздражением, ибо то, о чем говорил Федор Ксенофонтович, пусть было и разумным, но всецело зависящим от решений Ставки и Генерального штаба.

Федор Ксенофонтович горячо и убежденно доказывал, что расположение армий Резервного фронта в тылу армий Западного фронта лишает его, Конева, возможностей принимать необходимые меры для укрепления глубины обороны своих войск и будет затруднять управление Западным фронтом в ходе несомненно грядущего оборонительного сражения.

— Ведь подумай, Иван Степанович: две армии Резервного фронта — 24-я и 43-я — прикрывают левый фланг твоих войск и смыкаются с правофланговой армией Брянского фронта. Можешь ты быть уверенным за свой левый фланг, если занимающие там оборону армии не подчинены тебе?

— Да, тут есть над чем размышлять,— согласился Конев.

— А ведь Буденный, командуя Резервным фронтом, три остальные армии которого стоят тебе в затылок, да еще растянутые в одну линию на большом расстоянии, будет надеяться на стойкость твоего фронта. А твои армии, не имея своей необходимой глубины обороны, будут, в случае прорыва противника, полагаться на Резервный фронт. Таким образом, из боевых порядков двух фронтов может получиться слоеный пирог, если даже не каша... Ведь у вас с Буденным никакой свободы маневра и никакого взаимодействия. Может образоваться свалка...

— Что же ты предлагаешь? — недовольно спросил Конев, хотя и понимал разумность соображений Чумакова.

— Надо немедленно убрать из твоего тыла армии Резервного фронта и дать им самостоятельную полосу на переднем крае обороны — между Брянским и Западным фронтами. Таким образом, боевые порядки Западного и Резервного фронтов уплотнятся, а значит, усилятся по фронту и обязательно, что очень важно, в глубину. Это же элементарно! Иначе как ты будешь перестраиваться, маневрировать, когда определятся направления главных ударов немцев?.. А если еще, не дай бог, придется отступать?

— Полагаю, что до этого не допустим,— хмуро заметил Конев.

— На войне ко всему надо быть готовым.— Федор Ксенофонтович, заметив, что Конев все больше мрачнел, умолк и отвернулся к окошку, за которым на взгорке проплывала мимо сожженная бомбежкой деревня.

Слева от кресла, на телефонном столике, слабо зашелестел звонок «кремлевки», и на белой полоске аппарата часто замигал крохотный огонек лампочки. Молотов неторопливо поднял трубку и услышал глуховатый голос Сталина:

— Вече, могу тебя обрадовать.— «Вече» значило — Вячеслав. Так Молотова называла его жена, Полина Семеновна Жемчужина, и Сталин позволял себе копировать ее, когда был иронично настроен.

— Слушаю тебя, Коба. Тем более что давно ничему не радовался.— На губах Молотова скользнула скупая, будто луч солнца сквозь плотную тучу, улыбка.

— Вчера миссия взяла курс из Скапа-Флоу через Северный Ледовитый океан на Архангельск,— продолжил Сталин.— Так что собирайся встречать.

— Мне Майский уже телеграфировал,— спокойно ответил Молотов.— Зря только упомянул в шифровке крейсер «Лондон». Немецкие дешифровщики работают сейчас со зверской силой.

— Да, неосмотрительно со стороны Майского... Впрочем, сегодня Берлинское радио протрубило, что британская и американская делегации уже прилетели из Лондона в Москву. Знают даже, что на двух бомбардировщиках Б-24 и что с ними — наш посол в США Уманский.

— Это хорошо. Значит, клюнули на английскую уловку.

— Что, так было задумано в Лондоне? — удивился Сталин.

— Да. Уманский сообщил мне об этом: они умышленно отвлекали внимание немцев от путешествия Гарримана и Бивербрука по морю.

— Но зачем американцы привезли еще и своего журналиста? Не помню, как там его...

— Квентин Райнольдс,— сказал Молотов, взглянув в лежавший на краю стола список американской делегации.— Представитель «Дейли экспресс».

— Наши переговоры для журналистов должны быть абсолютно закрытыми.— В голосе Сталина прозвучало раздражение.

— Уманский пояснил,— успокаивающе сказал Молотов,— что у Райнольдса какие-то поручения к американским корреспондентам в Москве. А утечки информации о переговорах действительно надо остерегаться со всей тщательностью. Это понимают и главы делегаций Гарриман и Бивербрук. Уманский узнал от них, что, возможно, даже их послы в Москве не будут приглашены на наши встречи.

— Намерение вполне разумное! — Голос Сталина в телефонной трубке чуть возвысился.— Я давно не верю в добрые чувства к нам, особенно американского посла Штейнгардта, как и большинства дипломатов его посольства.

— Ты, Коба, полагаешь, что решением не звать на переговоры своих послов они хотят угодить нам?

— Нет, догадываюсь, что Гарриман и Бивербрук желают откровенного разговора с нами без свидетелей. И наверное, наша сдержанность здесь к послам США и Англии им известна и дает повод для размышлений.

— В Вашингтоне к нашему Уманскому тоже не очень приветливы, хотя дипломат он превосходный.

— Мне это известно... Его тоже не надо звать на переговоры. И видно, придется заменить Уманского в США Литвиновым.

— Да, есть над чем хрустеть мыслями,— согласился Молотов, понимая, что услышанное от Сталина это уже есть его решение. Но не стал его обсуждать, а заговорил о другом: — Главное, как постигнуть совокупность интересов США и Англии, учитывая, что Америка еще не воюющая сторона и формально пока не является нашим союзником?

— Ищешь ответы на эти вопросы? — Сталин будто не спрашивал, а утверждал.— Внимательно всмотрись и в разработки соответствующих отделов нашего ЦК.

— Голова кругом идет.— Молотов вздохнул, окинув взглядом стол, на котором аккуратно были разложены папки с документами.— Будто бегу со спутанными ногами.

— А ты особенно не беги. В межгосударственные загадки надо вторгаться спокойно и последовательно, памятуя, что узлы внешней политики вяжутся не только искусством дипломатии, а, главным образом, экономической, военной и политической силой, на которую опирается дипломатия.

— Вот именно, силой! — Молотов скупо улыбнулся и горестно покачал головой.— Но ведь нас-то немцы пока что колотят на всех фронтах! Силища у них несметная! И перед ней трепещет не только Англия!..

— Это тоже важный аргумент в переговорах с посланцами Черчилля и Рузвельта.— Голос Сталина вновь посуровел и будто сделался глуше.— Не надо забывать, что они очень страшатся победы Гитлера над нами и в то же время никак не жаждут нашей победы над немцами.

— Именно в последнем — главный корень проблем,— согласился Молотов.— Но надо ли их убеждать, что мы все-таки разгромим Германию даже при столь катастрофическом для нас положении на фронтах? Ты же уверен в этом?..

— Главное, народ наш уверен... Ладно, работай, Вече... Мы еще продолжим сегодня разговор.— И Сталин положил трубку.

Как скульптор ударами молотка по резцу откалывает от мрамора ненужные осколки, медленно и упоенно освобождая из-под них свое творение, так сквозь нагромождения военно-политических событий, дипломатических обстоятельств и таинственностей вновь и вновь пробивался к истине Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Истина межгосударственных отношений сегодняшнего дня пока виделась ему издалека — еще не

просветленная, во многом загадочная, в предположениях и умозаключениях, под которыми не ощущалось прочного фундамента. Он напрягал ищущую мысль, опираясь не только на лежавшие перед ним документы, но и на интуицию, опыт, на знания и даже на неведения; трудностей и необъяснимостей — бескрайнее море...

Всматриваясь в устрашающе изменчивую многоликость происходящего, можно было только в общих чертах рождать в себе ощущения, догадки и заряжаться мыслительной энергией для новых поисков и выводов. Этот мучительный процесс познания, особенно когда казалось, что ты уже близок к какому-то открытию, даже увлекал Молотова, будто своего рода творчество. И тогда еще напряженнее перекидывал мостки логических суждений между многими событиями, личностями, политическими партиями буржуазных государств, воссоздавая в воображении широкопанорамную картину закулисных интриг и тайных упований сил, ведших политическую битву, полыхавшую на всех континентах, словно лесной пожар при свирепом, часто меняющем направление ветре.

Поднимали головы ярые враги Советского Союза в США и в Великобритании, явно и тайно возлагая свои надежды на фашистскую Германию и ее сателлитов. Это мешало объединению военных и экономических усилий трех самых могущественных в мире государств в борьбе с нацистскими претендентами на мировое господство. А объединение надо было осуществить во что бы то ни стало, и советское руководство делало для этого все возможное. Кое-чего уже удалось достигнуть. Реализована договоренность Советского Союза и Англии о временном вводе войск в Иран, где готовился при участии немецких агентов фашистский переворот. Право на такую военную акцию давал Советскому Союзу договор с Ираном, заключенный еще в 1921 году и предусматривавший подобную ситуацию. Сейчас в Иране, после ввода на его территорию советских и английских войск, сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Фаруги вместо подавшего в отставку кабинета Али Мансура. Иранский меджлис одобрил закрытие в Тегеране германской, итальянской, венгерской и румынской миссий и передачу в руки советского и великобританского правительств многочисленных германских резидентов, за исключением лиц, пользовавшихся дипломатической неприкосновенностью. В итоге всего этого союзники еще и приобрели дополнительные коммуникации для снабжения СССР — сквозной путь от Персидского залива до Каспийского моря,— и, что немаловажно, осуществленная акция отрезвляюще повлияла на правительства тех невоюющих стран, которые враждебно относились к Советскому Союзу.

Но в последнее время Молотов чаще всего обращался пытливой мыслью к декларации * Черчилля и Рузвельта, подписанной ими 14 августа на борту военного корабля в Атлантическом океане близ Ньюфаундленда. Он воспринимал ее, как результат посещения

---

* Позднее она получит наименование «Атлантическая хартия». *(Прим. авт.)*

Москвы Гарри Гопкинсом — личным представителем президента Рузвельта. Видимо, не зря Сталин и он, Молотов, уделили беседам с Гопкинсом столько внимания и времени, со всей искренностью и всесторонне объяснив ему опасную и сложную остроту военно-экономического положения, в котором оказался Советский Союз в связи с навязанной ему Германией войной. Недавно послы США Штейнгардт и Великобритании Криппс вручили Сталину послание от руководителей своих стран, в котором они обещают максимальное экономическое содействие Советскому Союзу в борьбе против гитлеровского нашествия, а также предлагают созвать в Москве совещание трех великих держав для выработки программы наиболее целесообразного использования всех имеющихся у них ресурсов для борьбы с Германией, невероятно окрепшей за счет ограбления Европы.

Декларация излагала также общие задачи демократического характера в войне против фашистских государств, но, затрагивая проблемы послевоенного устройства мира, не принимала в расчет интересы Советского Союза. Да и не являлась декларация официальным договором, ибо Рузвельт не представил ее для ратификации своему сенату. Что же она сулит на самом деле? Ведь пресса США и Англии так и не перестает вопить о том, что СССР на грани гибели. Черчилль неизменно отклоняет предложения Сталина об открытии второго фронта, не уставая при этом восхищаться «великолепным сопротивлением русских армий в защите родной земли». Конечно же, в Лондоне и Вашингтоне рассматривают войну между Германией и СССР как передышку для себя, и это было очевидным, хотя можно предполагать и худшее: в Великобритании, как и в США, немало сторонников точки зрения американского сенатора Гарри Трумэна, который на второй же день после вторжения германских войск в пределы Советского Союза печатно заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». А «газетный король» Уильям Херст открыто заявил, что он приветствует нападение Германии на Советский Союз, и выразил уверенность, что вся Европа объединится против коммунизма. Сенаторы-изоляционисты Джон Уиллер и Геральд Най размахнулись в своей ненависти к СССР еще шире, опубликовав заявление с призывом заключить соглашение с Германией. К ним присоединились видные американские дельцы от политики Чарльз Линдберг и Роберт Вуд... Тревожило также то, что многие, подобные им, держали в своих руках рычаги управления не только политикой, но и экономикой. Как все это отразится на результатах предстоящих переговоров?

Нарком раскрыл папку с телеграммами советского полпреда в Англии и скользнул взглядом по строчкам машинописного текста на желтоватом бланке. Они со всей категоричностью подтверждали его тревоги. В телеграмме от 6 сентября приводилась выдержка из выступления на конгрессе тред-юнионов министра авиационной промышленности Англии Джона Мур-Брабазона. Вот его слова:

«Пусть Германия и СССР истощают друг друга. В конце войны Англия станет хозяином положения в Европе...»

Как на такое заявление отреагировал Черчилль? Как отнесся к нему? Можно ли надеяться, что министр такого умонастроения будет способствовать поставкам боевых самолетов в СССР из Англии, как было обусловлено в июльском соглашении и о чем более конкретно должен вестись разговор на предстоящем совещании?

Вся противоречиво-неустойчивая атмосфера в Англии и США конечно же беспокоила советских руководителей, мешала обнажить истинные позиции и чаяния правительств этих могущественных государств, определить степень их готовности оказывать помощь Советскому Союзу в его невиданном кровавом единоборстве с фашистской Германией, учитывая, что высшее военное командование обеих западных держав, как и реакционная пресса, с постоянной убежденностью внушают своим парламентам мысль о скором, неизбежном и полном поражении Красной Армии.

На недавнем заседании Политбюро Сталин сказал по этому поводу, что ненависть к нам буржуазных фанатиков, открытых врагов и дураков делает нам честь, что на переговорах надо противопоставить их пророчествам тяжкую для нас правду, пусть и подольем этим масла в огонь. Не будем ничего опровергать, не станем особенно убеждать наших союзников, что мы и без них выстоим, пусть нам обойдется победа дороже. Но они без нас не выстоят против Германии — Черчилль и Рузвельт хорошо это понимают.

— И в переписке с Черчиллем я откровенен до предела! — заключил Сталин.

Молотов взял папку с посланиями Сталина английскому премьеру и, открывая ее, вспомнил суждения Бонапарта: «Возвышение или унижение государств зависит от смелости ума их правителей... Слабый правитель есть бедствие для своего народа». Затем стал перечитывать письмо Сталина от 3 сентября, адресованное Черчиллю:

«...Относительная стабилизация на фронте, которой удалось добиться недели три назад, в последние недели потерпела крушение вследствие переброски на Восточный фронт свежих 30—34 немецких пехотных дивизий и громадного количества танков и самолетов, а также вследствие большой активизации 20 финских дивизий и 26 румынских дивизий. Немцы считают опасность на Западе блефом и безнаказанно перебрасывают с Запада все свои силы на Восток, будучи убеждены, что никакого второго фронта на Западе нет и не будет. Немцы считают вполне возможным бить своих противников поодиночке: сначала русских, потом англичан.

В итоге мы потеряли больше половины Украины и, кроме того, враг оказался у ворот Ленинграда.

Эти обстоятельства привели к тому, что мы потеряли Криворожский железнорудный бассейн и ряд металлургических заводов на Украине, эвакуировали один алюминиевый завод на Днепре и другой алюминиевый завод в Тихвине, один моторный и два самолетных завода на Украине, два моторных и два самолетных завода

в Ленинграде, причем эти заводы могут быть приведены в действие на новых местах не ранее как через семь-восемь месяцев.

Все это привело к ослаблению нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной угрозой».

Далее Сталин писал, что он видит выход из такого положения в немедленном создании второго фронта на Западе, а также в поставках Советскому Союзу алюминия, самолетов и танков.

Советский посол в Лондоне Иван Майский, получив из Москвы это очередное послание Сталина Черчиллю, позвонил министру иностранных дел Великобритании Антони Идену, и они тут же поехали в резиденцию премьера. Вручая Черчиллю документ особой важности, советский посол с присущим ему красноречием обрисовал в полуторачасовой беседе степень опасности, нависшей над СССР.

Черчилль с сочувствием слушал Майского. Когда же посол риторично поставил перед Черчиллем вопрос: «Если Советская Россия будет побеждена, каким образом вы сможете выиграть войну против немцев?» — тот, ощутив всю глубину смысла, содержавшегося в словах Майского, вдруг вспылил и, как сообщалось Майским в шифрограмме из Лондона, раздраженно сказал: «Вспомните, что еще четыре месяца назад мы, на нашем острове, не знали, не выступите ли вы против нас на стороне немцев. Право же, мы считали это вполне возможным...» А затем стал излагать военные соображения, по которым Англия не может немедленно высадить свои войска на побережье Франции или Нидерландов.

6 сентября Молотов пришел в кабинет Сталина с шифрограммой Майского и адресованным Сталину ответным посланием Черчилля, в котором английский премьер в обтекаемых формулировках высказывал предположение, что британские армии будут, возможно, готовы вторгнуться на Европейский континент в 1942 году, однако все будет зависеть от событий, которые трудно предвидеть.

Сталин тогда неторопливо и внимательно вчитывался в письмо премьер-министра Великобритании, затем придвинул к себе бланк с шифрограммой Майского, прочитал ее с неменьшим интересом и поднял грустный и будто укоряющий взгляд на Молотова:

«Мы должны быть готовы к тому, что они и впредь будут расставлять нам подобные дипломатические ловушки».

«Несомненно,— согласился Молотов.— Мы в наркомате копим убедительные контраргументы».

«Не надо только мудрствовать и растекаться мыслью по древу.— В словах Сталина прозвучала строгость и сосредоточенность.— Кошка всегда знает, чье сало съела. Надо при каждом случае напоминать им об участии Англии в мюнхенском сговоре, о том, как правительства Чемберлена и Даладье предали Чехословакию и Польшу, да и нас предали, сорвав московские переговоры в тридцать девятом».

«Они все сейчас ставят с ног на голову,— уточнил Молотов.— Доказывают, что не Англия и Франция сорвали переговоры, а мы, подписав с Германией пакт о ненападении, хотя, как ты

знаешь, мы решились на это после того, как убедились в бесплодности заседаний с их миссиями».

«Они могли заключить с нами договор о взаимопомощи и после отъезда Риббентропа из Москвы, ибо мы подписали с Германией не договор о союзе, а пакт о ненападении. Ан нет! Надеялись уладить свои отношения с Германией, надеялись на всеобщий «крестовый поход» против нас».

Молотов понимал, что, переписываясь с Черчиллем, Сталин нисколько не заблуждался в истинных чувствах лидера английских консерваторов, как и главенствующей верхушки монополистов США. Заправил Англии и Америки, разумеется, очень обеспокоили алчные планы Гитлера, в которые входило завоевание мирового господства. Они жаждали руками Советского Союза, кровью его Красной Армии ослабить фашистскую Германию, разгромить ее вооруженные силы и вынудить германское правительство к послушанию им — Англии и США. Более того, советская разведка доносила о сохранившихся, глубоко законспирированных связях американских и немецких промышленников. Это особенно проявлялось в сотрудничестве американской корпорации «Стандард ойл» и германского синдиката Фарбениндустри. При помощи аргентинских фирм они тайно продолжали деловые контакты.

Все это наводило советских руководителей на мысль о том, что Черчилль и Рузвельт тоже занимают сейчас выжидательную позицию. Если увидят, что Советский Союз вот-вот рухнет, то не исключено, что они поспешат открыть «второй фронт», атаковать военные силы вермахта где только возможно и вынудить Гитлера пойти с ними на переговоры. Тогда Советский Союз явится разменной монетой на этих переговорах. А если Красная Армия выстоит?.. Тогда союзникам ничего другого не останется, как начать организацию военной помощи Советскому Союзу, иначе народы Англии и Америки не поймут позиций своих правительств, а демократические, прогрессивные силы всех континентов воочию увидят неискренность политики Черчилля и Рузвельта.

Сталин не раз задавал себе, Молотову, Шапошникову вопрос: «А как бы повели себя Америка и Англия, если б соединениям Красной Армии удалось не допустить вторжения немецко-фашистских войск на советскую территорию?.. Более того, если б Красная Армия, отбив нападение врага, сама перешла в контрнаступление?..» Это вопрос вопросов... Конечно же, толстосумам мира империализма страшнее коммунизм, чем взращенный ими же фашизм, на время вышедший из повиновения своих родителей...

Итак, теперь надо быть готовым к совещанию в Москве по экономическим вопросам. 18 сентября он, Молотов Вячеслав Михайлович, решением Политбюро ЦК назначен главой советской стороны на этом совещании.

Делегации США и Англии тоже назначены. Первую из них возглавляет Аверелл Гарриман, специальный представитель Рузвельта, занимавшийся американскими поставками по ленд-лизу Великобритании, вторую — лорд Уильям Бивербрук, один из руководящих деятелей

английской консервативной партии и министр снабжения британского правительства. Несколько дней назад британская и американская делегации, как сообщало из Лондона советское посольство, были приглашены в Букингемский дворец, где король Георг VI и королева Елизавета оказали им сердечный прием и дали добрые напутствия.

Главы делегаций вначале колебались, лететь ли им в Москву самолетами или отплыть в Архангельск на борту крейсера. Оба варианта были небезопасными. Сегодня стало известно, что Гарриман и Бивербрук сели на крейсер; следовательно, Молотову надо лететь в Архангельск встречать их, а это значит, что еще до начала официальных переговоров ему придется принять на себя шквал вопросов Гарримана и Бивербрука и будто подержать в ладонях кипящий людскими страстями и дымящийся от военных столкновений народов земной шар, опираясь в оценках и выводах на те шаги правительства США и Англии, которые наиболее точно определяют их политику нынешнего дня и подсказывают, по каким направлениям она может развиваться.

Стояла третья декада сентября сорок первого. Погода была прохладной, пасмурной. Сегодня утром из окна своего кабинета Молотов видел на крышах кремлевских зданий белесый налет заморозков. А как в Архангельске? Впрочем, это не имеет значения.

Над Москвой опускалась ночь. Скоро вокруг города может начаться пальба зенитных орудий. Тогда в небе оживет сверкающая взрывами огневая завеса против немецких бомбардировщиков, ударят по прорвавшимся сквозь завесу самолетам зенитки и счетверенные пулеметы с огневых позиций на скверах, площадях, на крышах высоких зданий. Все это уже стало привычным, почти не отвлекавшим от текущих дел.

Молотов окинул невидящим взглядом свой кабинет с потушенной люстрой и плотно зашторенными окнами. Горела только настольная лампа с зеленым абажуром, освещая зеленое сукно стола и разложенные на нем бумаги и папки. Снял пенсне и, достав из бокового ящика стола квадратик замшевой кожи, тщательно протер им стекла. Затем вновь окунулся в чтение бумаг, стремясь замкнуть главное в логический круг понимания и угадать в нем истинную подспудную сущность происходящего.

6

В кабинете Молотова появился Сталин, держа в руке зеленую папочку. Вячеслав Михайлович не слышал, как открылась дверь, и увидел его уже приблизившимся к столу. Понял, что Верховный пришел с какой-то важной новостью или томившей его душевной болью. Обычно Сталин редко покидал свой рабочий кабинет — только когда становилось ему там невмоготу от тяжких забот, раздражения и дурных вестей. Попыхивая трубкой и не поднимая глаз, он вернулся к дверям и щелкнул электрическим выклю-

чателем. Зажглась под высоким потолком люстра. Сталин неторопливо и неслышно стал прохаживаться по ковру, зажав зеленую папочку под мышкой.

Молотов ни о чем не спрашивал, напряженно всматриваясь в кряжистую фигуру Сталина, в его темное и словно окаменевшее лицо. Молчание становилось нестерпимым, и казалось, что нараставшая в Молотове тревога сейчас мимовольно поднимет его из кресла. Но не встал, а тихо произнес:

— Догадываюсь, Коба, еще какая-то беда свалилась на нас...

— Кругом терпим поражения,— на удивление спокойно ответил Сталин.— Пятьдесят четвертая армия маршала Кулика так и не может деблокировать с востока Ленинград... Придется командующего смещать, а армию вливать в состав Ленинградского фронта.

— Может, пусть Жуков сам решает о Кулике? — В голосе Молотова сквозило сомнение.

— Жуков и выразил эту мысль,— глухо ответил Сталин.— Он сейчас там смещает всех нерешительных и неспособных. Держит Ленинградский фронт изо всех сил, наращивая эти силы за счет рабочего класса и Балтийского флота... Эх, нам бы кроме войсковых резервов еще хотя бы трех-четырех таких Жуковых... Может, избежали б зреющей катастрофы на Украине.

Вновь наступило тягостное молчание. Сталин, расхаживая по ковру, о чем-то напряженно думал или что-то вспоминал.—

— Жуков конечно же был прав в своем июльском прогнозировании событий на Юго-Западном... Следовало б...— Молотов осекся под хмурым, короткоострым взглядом Сталина.

— Прогнозировать легче! А где брать свежие дивизии?! — Досада и гнев явственно заклокотали в груди Сталина.— Жуков предлагал на время ослабить московское направление! А сейчас разведка доносит, что после оставления нами Киева на Москву вновь повернуты танковые группы Гудериана — с Украины, а Гота — из-под Ленинграда. Гитлер полагает, что с Ленинградом уже покончено и к зиме ему удастся сломить Москву.

Гнетущая тишина, наступившая в кабинете, казалось, изолировала их друг от друга, хотя оба они томились в одних и тех же тревогах. Каждый испытывал душевную боль в одиночестве и по-своему. Молотов тоскливо вдумывался в то, как объединить решения военно-стратегических ситуаций с внешнеполитическими, а Сталин гневно размышлял над тем, что сделал он не так, как надо было сделать, искал оправдания допущенным просчетам и ошибкам, мысленно высматривал их причины, негодовал на военачальников, не оправдавших его надежд, выискивал в памяти людей, на которых можно будет положиться в грядущих и, видимо, неисчислимых трудностях.

Молотов знал, что внутреннее состояние Сталина всегда слагается из взвешиваний вариантов, сомнений, размышлений над главным... Все это предшествует принятию каких-то важных решений, вселяющих надежды. Но сейчас что-то было непонятным в нем...

— Коба, у тебя в папке новости? — спросил Молотов.

— Не знаю — новости или новая провокация немцев. Наша разведка перехватила их радиопередачу на Северную и Южную Америку. Послание Рузвельта «дорогому другу» Сталину.— В голосе Сталина прозвучала недобрая ирония.

— Дорогому другу?! — с притушенной веселостью изумился Молотов.

— Именно «дорогому»... И даже с выражением искренней дружбы! — Сталин прихлопнул зеленой папочкой по столу Молотова, а затем придвинул ее к нему.

Вячеслав Михайлович открыл папку, увидел в ней страничку убористого машинописного текста на бланке разведывательного управления Генерального штаба. Начал читать:

«Мой дорогой друг Сталин!

Это письмо будет вручено Вам моим другом Авереллом Гарриманом, которого я просил быть главой нашей делегации, посылаемой в Москву.

Г-ну Гарриману хорошо известно стратегическое значение Вашего фронта, и он сделает, я уверен, все, что сможет, для успешного завершения переговоров в Москве.

Гарри Гопкинс сообщил мне подробно о своих обнадеживающих и удовлетворительных встречах с Вами. Я не могу передать Вам, насколько все мы восхищены доблестной оборонительной борьбой советских армий.

Я уверен, что будут найдены пути для того, чтобы выделить материалы и снабжение, необходимые для борьбы с Гитлером на всех фронтах, включая Ваш собственный.

Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, чтобы выразить твердую уверенность в том, что Ваши армии в конце концов одержат победу над Гитлером, и для того, чтобы заверить Вас в нашей твердой решимости оказывать всю возможную материальную помощь.

С выражением искренней дружбы
Франклин Д. Рузвельт».

Пока Молотов читал текст радиоперехвата, Сталин неотрывно всматривался в его лицо, пытаясь угадать реакцию наркома иностранных дел на прочитанное. Но лицо Молотова оставалось непроницаемым. Он наконец закрыл папочку и поднял на Сталина задумчивые глаза.

— Ну, что ты мыслишь на сей счет? — с чувством нетерпения спросил Сталин.

— Загадка, умноженная на загадку,— с озадаченностью ответил Молотов.— Ведь это письмо должен вручить тебе Гарриман. Он сейчас на крейсере приближается где-то к Шпицбергену. Как же мог попасть к немцам текст письма?.. Если он соответствует подлиннику, то чего они хотят достигнуть его обнародованием?

— В этом и вся главная сущность вопроса.— Сталин опять зашагал по кабинету.

На телефонном столике слева звякнул аппарат внутренней связи. Молотов поднял трубку и услышал голос дежурного по приемной наркомата:

— Вячеслав Михайлович, у меня на проводе переводчик американского посла Лоуренса Штейнгардта. Посол просит немедленно принять его, чтобы вручить товарищу Сталину срочный документ особой важности. Какие будут указания?

— Минуточку,— ответил в трубку Молотов и тут же пересказал Сталину услышанное от дежурного.

— Пусть Штейнгардт приезжает сейчас. Я повремену у тебя,— ответил Сталин.

Американское посольство находилось примерно в семи минутах езды от Кремля, и ждать приезда посла оставалось недолго. Оба, Сталин и Молотов, подумали о том, что звонок Штейнгардта и его просьба о срочном приеме могли иметь прямое отношение к документу, который покоился сейчас в зеленой папочке. Загадочность предстоящей встречи как бы ускорила ход мыслей Сталина.

— В чем же дело? — будто у самого себя спросил он.— Если это послание Рузвельта не фальшивка, то Гитлеру должно быть совсем невыгодно предать его гласности.

— Надо поразмышлять,— заметил Молотов.—Тут есть какая-то уловка. Коль немецкая передача адресовалась американским народам, следовательно, она направлена против Рузвельта. У него ведь не так все просто в государственном аппарате.

— Не будем ломать голову над загадками. Дождемся американского посла. А пока давай еще раз уточним для себя главную нашу платформу в предстоящих переговорах с Гарриманом и Бивербруком.— Сталин присел в кресло у приставного стола и придвинул к себе хрустальную пепельницу.— Давай еще раз вспомним, что ни одна отдельно взятая капиталистическая страна не смогла до сих пор противостоять фашистскому агрессору. Только Советский Союз! Более того, западные страны даже не смогли образовать без нас свою действенную коалицию. У каждой из них собственные цели в войне... И Ленин бы очень похвалил нас, что мы, коммунисты, и вдруг так настойчиво ищем пути сплочения западных держав вокруг себя... На что не пойдешь ради победы над фашизмом... Все западные державы должны понять: сейчас оборонная мощь СССР — главная их гарантия в сохранении своей суверенности... Мы внушим им логикой наших неоспоримых доказательств, что в борьбе с фашизмом мы нужны Англии и США не меньше, чем они нам, а больше! Германия, а затем и Япония — их главная, абсолютно реальная и неотвратимая угроза *.

---

* Со временем эту точку зрения разделят все реально мыслящие государственные и политические деятели Запада. Э. Стеттиниус, будущий государственный секретарь США (1944 г.) заявит: «Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, немцы получили бы возможность покорить Великобританию. Они были бы в состоянии захватить Африку, а затем создать плацдарм в Латинской Америке». *(Прим. авт.)*

— Полагаю, что Черчилль пришел к такому заключению раньше нас с тобой.— Молотов горько усмехнулся.— Наверное, грызет локти, что не решился на военный союз с нами против Гитлера летом тридцать девятого.

— Черчилль все-таки надеялся на англо-французский союз...

— Рухнул их союз в дюнкеркской катастрофе.— Сталин имел в виду крупное поражение английских, части французских и бельгийских войск на западном побережье Франции в районе Дюнкерка весной 1940 года.— И между прочим, англичане тогда скоропалительно сумели собрать в кулак свой военный флот, добиться также превосходства в воздухе и эвакуировать в Англию зажатые немцами в клещи союзные войска. А сейчас, видите ли, Черчилль не находит возможным мобилизоваться и нанести удар по французскому побережью, чтоб хоть часть немецких сил отвлечь на себя...

В кабинет вошел помощник Молотова, и Сталин умолк.

— Прибыл посол Штейнгардт,— тихо сообщил он, по-военному одернув на себе темный пиджак.

— Приглашайте,— сказал Молотов, вопросительно взглянув на Сталина, который тут же в знак согласия кивнул головой.

Лоуренс Штейнгардт появился в проеме двери — рослый, длиннолицый, в темном отутюженном костюме с жилеткой и при черной бабочке над белоснежной манишкой. Лицо его светилось чувством собственного достоинства. Сделав несколько энергичных, уверенных шагов по ковру, он вдруг увидел в кресле Сталина и будто наткнулся на невидимую стену. Шедший сзади него тощий в полосатой тройке переводчик от неожиданности почти ткнулся ему в спину, затем сделал полшага в сторону.

Сталин и Молотов поднялись, подошли к Штейнгардту и учтиво пожали ему, а потом переводчику руки. Обменялись обычными приветствиями, после чего американский посол заговорил:

— Господин Председатель Совета Народных Комиссаров,— он чуть поклонился Сталину,— господин народный комиссар иностранных дел,— такой же легкий поклон Молотову,— я имею честь передать адресованное господину Сталину послание моего президента господина Рузвельта.

Переводчик торопливо переводил на русский слова посла, хотя они были пока понятны без перевода Сталину и особенно Молотову.

Штейнгардт протянул Сталину коричневую, тисненную под крокодиловую кожу папку с позолоченной застежкой и пояснил:

— Здесь полученная нами по телеграфу шифрограмма президента и ее идентичная копия на русском языке.

Молотов пригласил посла и переводчика сесть за длинный стол для заседаний, за который напротив дипломатов уселся рядом со Сталиным и сам. Начали внимательно читать послание Рузвельта, убеждаясь, что оно слово в слово, кроме первой и двух последних строчек, совпадало с переданным из Берлина по радио.

— Господин посол,— неторопливо, будто с трудом сосредоточивая мысль, заговорил Сталин,— ваш президент пишет, что это письмо будет вручено мне его другом Аверелом Гарриманом...

— Я вас понял, господин премьер.— Штейнгардт воспользовался паузой, которую сделал Сталин.— Письмо президента Рузвельта поступило в Лондон, когда господин Гарриман уже был за пределами берегов Великобритании. Не успело письмо...

— Почему же не передали его с нашим послом Уманским, который вчера прилетел на одном из английских самолетов? — Сталин придвинулся ближе к столу, пристально вглядываясь в глаза Штейнгардта.

— Я вас понял,— повторился Штейнгардт.— Точно не могу утверждать, но полагаю, что наши офицеры разведки не решились отправлять письмо самолетом, опасаясь, что его могут сбить над территорией, занятой немцами. Видимо, советовались с президентом Рузвельтом. Именно он через государственный департамент передал текст письма по телеграфу в посольство, которое я имею честь возглавлять.

Наступила пауза, весьма озадачившая Штейнгардта. Сталин коротко взглянул на Молотова, и тот, поняв значение его взгляда, поднялся со стула, подошел к своему рабочему столу, взял зеленую папочку и вернулся на прежнее место. Сталин придвинул папочку к коричневой папке, открыл ее и, всматриваясь в тексты послания, с чувством недоумения заговорил:

— Господин Штейнгардт, Гитлер с Геббельсом вас опередили. Письмо президента Рузвельта товарищу Сталину мы уже получили по Берлинскому радио! Вот полюбуйтесь,— Сталин прихлопнул тыльной стороной ладони по машинописному тексту в зеленой папочке.

Захлебываясь от волнения, переводчик пересказывал Штейнгардту слова Сталина.

Удлиненное лицо Штейнгардта стало пунцовым. Его правая рука нервно прикоснулась к черной бабочке на воротнике, будто бабочка сдавила ему горло, затем он пригладил ладонью вдруг взмокшие, аккуратно причесанные волосы на голове.

— Господин Сталин... господин Молотов... Я вас не совсем понимаю... Хотя догадываюсь... Немцы, наверное, перехватили и расшифровали телеграмму нашего президента... Но это ужасно! А вдруг им стало известно и то, что господа Гарриман и Бивербрук отплыли к вам на крейсере?! Такого случая немецкие подводные лодки и бомбардировщики не упустят... Может случиться непоправимое.

Теперь настал черед встревожиться Сталину и Молотову. До этой минуты они в своих мыслях не соединяли перехваченную советской разведкой немецкую радиопередачу на американские континенты с тем, что на английском крейсере «Лондон» плывут к устью Двины в радиусе действий воздушных сил Германии, базирующихся в Норвегии, главы делегаций США и Великобритании, от которых будет многое, если не все, зависеть в расши-

рении и укреплении антигитлеровской коалиции крупнейших государств мира.

— Я вас на минуту оставлю... Дам некоторые распоряжения на сей счет.— Сталин неторопливо поднялся со стула и вышел из кабинета.

Молотов догадывался, что Сталин из его приемной звонит начальнику Генерального штаба Шапошникову и советуется с ним, в какой мере и на какой параллели возможно прикрыть нашими истребителями и подводными лодками английский крейсер «Лондон». И он не ошибся...

Сталин вернулся в кабинет в тот момент, когда Молотов вместе со Штейнгардтом сопоставляли подлинный текст послания Рузвельта с тем, который передали по радио немцы. Главное различие в них состояло в том, что Рузвельт начинал свое письмо словами: «Уважаемый господин Сталин» и кончал подписью: «Искренне Ваш Франклин Рузвельт». В немецкой трактовке утверждалось, что президент начал письмо словами «Мой дорогой друг Сталин» и закончил его: «С выражением искренней дружбы».

— Мы, в общем-то, понимаем смысл этих будто бы безобидных искажений,— сказал Сталин, присаживаясь к столу.— Гитлер хочет поссорить Рузвельта с теми влиятельными лицами в США, которые ненавидят Сталина... Верно я говорю?

Штейнгардт не находил слов для ответа. Он достал из кармана платок и начал старательно вытирать им вспотевшее холеное лицо.

7

Днепр, красно-бурый от крови — человеческой, лошадиной и коровьей... Днепр, дыбящийся от взрывов снарядов и бомб высокими всплесками подкрашенной воды... Густо запруженные людьми, машинами, повозками горбатая дорога, ее обочины и размашисто широкий берег у Соловьевской переправы... Предсмертные вопли раненых и тонущих, надсадный шквал людского ора, матерщины и конского ржания...

Все это вспоминалось Мише Иванюте, как давний чудовищно кошмарный сон, хотя с того страшного августовского дня прошло всего лишь чуть больше месяца. Но надо же было такому случиться: в несметном шумном человеческом скопище он познакомился с девушкой-санитаркой, а у нее случайно оказалась газета с Указом Президиума Верховного Совета СССР. Из указа Миша узнал, что в числе не столь многих фронтовиков его наградили орденом Красной Звезды и повысили в воинском звании... От радости и гордости все в нем тогда заполыхало, забурлило, заплясало... Но и ощутил вдруг мерзкий страх: ведь и его, орденоносца, тоже могли убить на переправе... А кто же тогда получит орден?..

Не убили и не ранили. И Миша, вспоминая Соловьевскую переправу, даже посмеивался над собой, над тайным и стыдным своим страхом, хотя и сейчас содрогался от виденного там и пережитого. А нетерпение все жило в нем: действительно, когда же вручат ему боевую награду? При этой мысли будто шалый ветерок

проникал в его сердце. При случае мозолил начальству глаза, но об ордене не напоминал, а себя даже бранил, что в такое грозное время не покидали его честолюбивые чувства. Насчет же повышения в воинском звании, то тут был полный порядок: бережно спрятав в планшетку, как удостоверяющий документ, вырезку из газеты «Красная звезда», Миша без промедления привинтил к своим петлицам на гимнастерке и на шинели еще по одному красному эмалированному кубику...

Когда же за Днепром, на сборном пункте в лесу близ Городка, ему посчастливилось набрести на остатки политотдела своей дивизии, новое звание вписали в его удостоверение личности. Правда, инструктор политотдела младший политрук Таскиров не без зависти подковырнул тогда Мишу:

«Не забудь исправить и паспортичку в «смертном медальоне».— Таскиров насмешливо прищурил и без того узкие, раскосые глаза.— А то, понимаешь, вдруг ухлопают тебя и в похоронке запишут младшим политруком...»

«Не забуду!» — весело огрызнулся Миша. Тут же достал из кармана бриджей черный пластмассовый пенальчик, развинтил его, вынул плотно свернутую в рулончик бумажку, на которой значилось, кто он и откуда родом, и, зачеркнув слова «младший политрук», написал сверху: «Политрук-орденоносец».

Ранняя нынче осень. Еще только убывает сентябрь, а в воздухе временами мечутся белые мухи снежинок или косо сечет мелкий дождичек, заставляя трепетать багряную и желтую листву на осинах и березах. В лесной овраг часто врывается неласковый ветер, лохматит воду в лужах на дороге, гнет летние побеги боярышника; мелькают, падая на землю под его упругим дыханием, крупные пятнистые листья орешника. В такую погоду уже не держится тепло ни в землянках, ни в блиндажах. Миша Иванюта на ночь надевает шинель и спит в кабине типографского грузовика, положив под голову жесткий противогаз и полевую сумку.

К этому времени дивизию полковника Гулыги, преобразованную из мотострелковой в стрелковую, кое-как пополнили московскими ополченцами и перебросили на Вопь северо-восточнее Ярцева, а потом, после удачного наступления левого крыла 19-й армии, она пробилась к речке Царевич и заняла вдоль ее берега оборону. Но берег там был пологим, просматривался противником с противоположной стороны до самого леса, угрюмо темневшего на возвышенности. И надо было во что бы то ни стало оттеснить немцев от Царевича за сожженный поселок совхоза «Зайцево» и за бугристые поля, раскинувшиеся выше и левее старой зайцевской мельницы. Иначе засветло не подступишься с тыла к нашему переднему краю.

Позавчера и вчера два полка дивизии полковника Гулыги с рассветом поднимались в наступление, в нескольких местах успешно форсировали Царевич, но ни продвинуться вперед, ни задержаться на захваченных плацдармах не смогли. Пришлось, понеся потери, вернуться полкам в свои траншеи.

Неудачное наступление дивизии Миша Иванюта переживал, как

собственную беду, тем более что все происходило на его глазах. Он тоже побывал по ту сторону Царевича, прятался там за фундаментом и зубчатой глыбой темной кирпичной стены давно порушенной мельницы, где был промежуточный командный пункт батальона. Вслушивался в надсадный крик в телефонную трубку его командира капитана Гридасова, нервно требовавшего от артиллеристов, огневые позиции которых были в тылу за речкой, прицельнее бить по четырем немецким танкам, ворвавшимся в боевые порядки наступавших стрелковых рот. Удивительно, что капитан Гридасов при своем небольшом росточке и узкогрудости был горласт, энергично-юркий. Когда телефонная связь нарушалась, он тут же отдавал распоряжения командирам рот через посыльных, бросал из своего резерва навстречу танкам бойцов-истребителей с бутылками, наполненными зажигательной смесью, сокрушенно докладывал командиру полка, что батальон несет потери и вперед не продвигается. Миша держался подальше от комбата, опасаясь ярости капитана, но в то же время старался быть в курсе происходящего, прислушивался к каждой его команде, сдабриваемой крутой матерщиной, к крикливым наскокам на лейтенанта-корректировщика из артиллерийского дивизиона. Лейтенант не мог наладить порушенную осколками связь со своим командным пунктом, чтоб передать командиру дивизиона поправки для переноса огня...

Батальоны полка были оттеснены немцами за Царевич на прежние позиции, и политрук Иванюта почти ничего не записал в свой корреспондентский блокнот. Поэтому намерился по пути в редакцию завернуть в медсанбат дивизии и попытаться там добыть какой-либо материал для газеты, хотя уже не раз убеждался, что раненые бойцы, измученные страданиями, не всегда точно рассказывают о том, чему были очевидцами.

Одно утешение было у Миши: возвращался он с передовой не пешком, как всегда, а на маленьком трофейном мотоцикле в две лошадиные силы. Неделю назад этот мотоцикл ему подарил комиссар разведбатальона старший политрук Скворцов в благодарность за то, что Миша, описав в дивизионной газете действия группы разведчиков по захвату «языка», допустил ошибку, за которую потом получил от начальника политотдела дивизии взбучку. Ошибка заключалась в том, что Иванюта неумышленно исказил фамилию командира артиллерийской батареи старшего лейтенанта Вазилова, назвав его Мазиловым — по коварной подсказке кого-то из разведчиков. А батарейцы Вазилова действительно не очень точно прикрыли заградогнем отход группы захвата. И кличка Мазилов прочно закрепилась за старшим лейтенантом, дав ему повод написать начальству жалобу.

Политрук Иванюта принес свои извинения командиру батареи Вазилову, а мотоцикл принял от разведчиков с превеликой радостью и теперь угорело мотался на нем по своим репортерским делам, да и ради удовольствия. Уж очень легка была по весу эта маленькая машина и удивительно проста в управлении, имея всего лишь две передачи скоростей. Они включались поворотом

резиновой насадки на левом руле, как и подача бензина на правом. Мотоцикленок развивал вполне приличную скорость и мог катиться даже без мотора, имея велосипедные педали. Чудо, а не машина! Вот на ней, выбравшись из тупика, ведшего в тыл хода сообщения, Миша на полном газу помчался вверх по полевой дороге к лесу, заранее приготовившись к тому, что немецкие минометчики обязательно откроют по нему огонь, как и по связистам, когда они отваживались засветло выходить на линии для устранения обрывов. Однако надеялся на скорость своего двухколесного «коня»...

Разогнав мотоцикл по лугу и выскочив на дорогу, Миша устремил его к вершине возвышенности, заросшей лесом. Не успел, однако, преодолеть и половину расстояния, как впереди, почти у самой дороги, взметнулся взрыв... Вторая мина громыхнула сзади. Миша даже сквозь рокотание мотора услышал, как над ним хищно взвизгнули осколки. Понял: вилка! Следующая мина могла оказаться для него последней... И круто свернул на кочковатое поле, в истолченную неубранную рожь. Гнал мотоцикл сколько было возможности, прыгая по кочкам и ощущая, как больно колотил по груди немецкий автомат, повешенный ремнем на шею. А мины все рвались — то впереди, то по сторонам. Холодный пот обволакивал его спину, зубы от напряжения сжимались до скрежета. Мысленно корил себя за глупость, что отважился, не дожидаясь ночи, испытать судьбу.

Вот и лес, но спасения в нем пока не было — мины густо и оглушительно крякали на опушке и в глубине среди деревьев, где виднелась дорога с черными, застоявшимися дождевыми лужами. Выезжать на лесную дорогу Миша не стал, вспомнив, что ведет она через Новые и Старые Рядыни — сожженные бомбежками деревеньки, над которыми стоит невыносимый смрад от разлагающихся там убитых осколками бомб коров и телят.

Гребень возвышенности остался позади, минометный обстрел прекратился, и Иванюта поехал вдоль леса, по тому же ржаному полю, простершемуся крутоватым уклоном к заросшим кустарниками оврагам. Среди них таилась обмелевшая за лето речушка Вопь.

Миша вспомнил, что в баке бензин на исходе и выключил мотор, тем более что спуск к Вопи был крутоватым. Поехал уже в тишине, притормаживая мотоцикл педалями.

Впереди лес выступом вклинивался в поле. Его опушка была окаймлена молодым осинником, выросшим на старой порубке. Миша подался правее, чтоб обогнуть осинник... Но что это?! Из полегшей ржи будто метнулись к опушке две пятнистые тени. Привиделось?.. Не успел затормозить, как мотоцикл перемахнул через пролегавшие наискосок два провода телефонной связи; тут же слева, на примятой ржи, успел заметить черные кругляшки наушников и...— невероятно! — крохотную шахматную доску с расставленными на ней фигурками...

Останавливаться Иванюта не стал. Ощутил в сердце холодок:

ждал, что сейчас в спину ему ударит из осинника автоматная очередь. Он понял, что нарвался на немецких разведчиков. Проникнув через линию фронта, они подслушивали наши телефонные разговоры... Но какая наглость! Еще смеют в это время играть в шахматы!

Немцы, видимо полагая, что мотоциклист их не заметил, стрелять не стали. А Миша мчался дальше, сердце его бешено колотилось от минутного испуга и от негодования...

Вот и заросли над Вопью. Кончился склон, перейдя в пологий поросший лозняком берег. Миша включил мотор и свернул влево, в сторону Рядынь, где в оврагах, как ему помнилось, располагались полковые тылы.

Мише повезло. Когда он оказался по другую сторону леса, увидел поднятую на шесты телефонную линию. Она тянулась из-за Вопи к лощине, переходившей в овраг, разветвленный на несколько менее глубоких, заросших мелколесьем оврагов. В них и обнаружил тыловое хозяйство полка: замаскированные грузовики в капонирах, вырытых в крутизнах склонов, ящики с боеприпасами, повозки, шалаши, землянки... На поляне, вокруг которой кучно росли кусты бузины, терновника и лещины, густо сидели бойцы, перед которыми выступал с речью незнакомый Иванюте старший политрук в новеньком, необмятом обмундировании. При первом же взгляде на старшего политрука, на красноармейцев разного возраста (некоторые были с усами, при бородах, в очках) Миша понял, что это ополченцы, которых с наступлением ночи поведут на передний край. К счастью, они уже были при оружии — с винтовками, некоторые с ручными пулеметами.

Миша такой взволнованной скороговоркой выпалил старшему политруку о немецких разведчиках, обнаруженных им по ту сторону леса, что тот ничего не понял и заставил Иванюту все рассказать еще раз и спокойно... А через несколько минут ополченцев вывели из оврагов и развернули в цепь для прочесывания местности.

Была середина дня, и немцам скрыться не удалось; их оказалось пять человек. Вытесненные из леса в поле, в топорщившиеся остатки ржи, они пытались там затаиться, но были обнаружены и захвачены в плен. К огорчению Иванюты, вражеские разведчики оказались далековато от того места, где он заметил их и куда устремился на мотоцикле вместе с группой ополченцев. И получилось так, что он будто даже и не был причастен к этой небольшой, но важной боевой операции. Пленных намеревались было вести в штаб полка, но кто-то успел доложить о них в штаб дивизии, оттуда поступил приказ немедленно приконвоировать немцев в разведотдел, к его начальнику майору Кошелеву. Это Мишу вполне устраивало: там он и поприсутствует при их допросе...

Пленных увели в штаб дивизии, а Иванюта тем временем разыскал бойцов-ополченцев, которые непосредственно захватывали в плен вражеских лазутчиков, записал их фамилии. В это время

в небе появился немецкий самолет. Он плыл так высоко, что казался игрушечным, полупрозрачным и еле заметным на голубом куполе поднебесья. Это было непонятным. Ни бомбардировщики, ни самолеты-разведчики обычно так высоко не летали. А непонятное на войне всегда сулит опасность.

Где-то в глубине оврага зазвенел гонг — удары чем-то железным по стреляной гильзе от тяжелого снаряда. Все вокруг замерло. Миша, отъехав на своем мотоцикленке в тень куста, запрокинул голову и стал следить за самолетом. Зрение у него острое, и он, может быть, первым заметил, как от самолета отделилась черная точка. Падала она, казалось, прямо на овраг — и через несколько секунд с неба стал доноситься ни на что не похожий, нарастающий, многоголосый вой. В вышине что-то вопило, бубнило, визжало, мяукало, ржало по-лошадиному, надсадно ревело... Казалось, падало само небо, исторгая тысячами глоток каких-то невиданных чудовищ скорбный, истеричный крик.

Мише Иванюте хотелось вскочить на мотоцикл и рвануть из оврага хоть на край света. Но вокруг лежали, прижавшись к земле, испуганные ополченцы. Нет, не уронит он достоинство кадрового политработника перед москвичами!.. Положив мотоцикл под кусты, он тоже проворно улегся на траву и стал смотреть вверх на все увеличивавшийся в стремительном падении черный предмет, содрогаясь в затаенном ужасе от его страшных переливчатых воплей. Чем ближе к земле, тем труднее было уследить за ним. Потом он вовсе стал невидимым, будто растворился в своем разноголосом реве.

На восточном склоне оврага наконец послышался звонкий и хрусткий удар о землю, но... взрыва не последовало. Самолет удалился в сторону фронта, однако никто не спешил к тому месту, где упала странная бомба со взрывателем, как полагали все, замедленного действия.

Вдруг оттуда донесся чей-то удушливый хохот, а затем голос:

— Сюда!.. Эй, хлопцы, скорее сюда!.. Чудо увидите!

На голос стали карабкаться по крутому склону, цепляясь за кусты, бойцы, командиры... Кинулся вверх, позабыв о своем мотоцикле, и политрук Иванюта. Любопытство его разгоралось все больше, ибо там, на гребне, по которому проходила чуть наезженная дорога, мужской хохот набирал силу, перемежался с выражавшими удивление восклицаниями, матерными словечками.

Когда Миша поднялся на дорогу и протолкался в середину уже образовавшейся шумной и подвижной толпы, увидел обломки досок, покрытых черным лаком, мотки проволочек разной толщины, белые плашки, похожие на большие конские зубы... И догадка родилась вместе с удивлением: пианино!.. Вместо бомбы гитлеровские летчики сбросили пианино... Были случаи, когда они бросали пустые бочки, домашнюю рухлядь — чтоб нагнать страху или развлечения ради...

— Как же он, бедный, кричал, — со слезами в голосе проговорил кто-то у Миши за спиной.

Миша оглянулся и увидел тощего красноармейца с рыжеватой бородкой и в очках. Спросил:

— Почему он? Это же не рояль.

— Верно, не рояль,— согласился очкарик.— Пианино... Марки «Беккер»... Какое варварство! — Глаза его увлажнились.— Это ему, наверное, в отместку, что, будучи немецкого происхождения, служил России...

— Вы разбираетесь в музыкальных инструментах?

— Я композитор... Музыка — моя жизнь.

Миша понял, что ему сам дается в руки необычный материал для газеты.

— Пойдемте вниз, мне надо с вами поговорить.— Он дружески взял под локоть красноармейца.

...Возвращался в редакцию политрук Иванюта в приподнятом настроении. Композитор из московского ополчения, с которым он беседовал больше часа, как бы раздвинул его понимание жизни на фоне музыки, передающей эту жизнь в прекраснейших звуках, способных пробуждать в людях все самое доброе и светлое, рождать чувства, влияющие на их характеры и даже судьбы. Миша никогда не задумывался над тем, что музыкой можно выразить любовь, ненависть, ревность, тоску, жажду мести, сожаление о чем-то несбыточном. Можно призывно звать музыкой к борьбе, воскрешать самосознание, рождать вдохновение, нагнетать ярость или укрощать ее, возвышать мысль или просветлять безумие, утолять страдания, тревогу, апатию... Это же с ума можно сойти! Миша умел бренчать на балалайке, чуток играть на мандолине, гитаре. Но никогда не предполагал, что заниматься музыкой — это дело такое серьезное и нужное. Как же ему написать обо всем этом в газете, оттолкнувшись от сброшенного с фашистского самолета пианино? Как воспримет такую статью редактор дивизионной газеты старший политрук Казанский? Ведь этот час беседы с композитором будто перевернул Мишину душу, заронил в его сердце и разум что-то такое, от чего Миша чувствовал себя если и не другим человеком, то в чем-то изменившимся. И очень хотелось в этом своем прозрении, что ли, послушать хорошую музыку...

Иванюта гнал мотоцикл по обочине полевой дороги, размышляя над тем, как сейчас, вернувшись в редакцию, которая располагалась в заросшем овраге недалеко от штаба дивизии, засядет за статью и предаст в ней анафеме фашистов, попирающих культурные ценности человечества и несущих с собой варварство. За поворотом дороги увидел, как три наших автоматчика конвоировали пленных немцев, к захвату которых Миша был причастен. Ему обязательно надо поприсутствовать при их допросе в разведотделе штаба дивизии и выудить что-либо интересное для газеты, описав предварительно, в назидание связистам переднего края, как были обнаружены и пленены эти вражеские лазутчики.

Только не ведал Миша Иванюта, что впереди ждут его новые потрясения, которыми неожиданно, щедро и жестоко огорошивает людей фронтовая жизнь...

8

Когда приехал в редакцию, увидел привычную картину: два наборщика-красноармейца, с чумазыми от типографской краски лицами, стояли по грудь в вырытых в стороне от «наборного» автобуса щелях и из квадратных ячеек касс со шрифтами, лежавших на брустверах, вылавливали свинцовые литеры, составляя из них на железных верстатках строчку за строчкой текст заметок для газеты. Над щелями были распяты на шестах плащ-палатки — защита от солнца, а больше от дождей, которые в эти дни нередко проливались над Смоленщиной. В крытом грузовике полязгивала печатная машина «американка» — печатник регулировал ее, готовясь получить сверстанную полосу набора и начать делать оттиски. Редактор старший политрук Казанский нахохленно сидел в кабине «наборного» автобуса с раскрытыми дверцами и, положив на руль фанерку, дописывал передовую статью, призывавшую, как было известно Мише, не бояться немецких танков, подпускать их поближе к траншеям и, оказавшись в мертвой зоне, забрасывать бутылками с горючей смесью.

Миша Иванюта также знал, что ему надо будет подкрепить передовицу соответствующими боевыми эпизодами; их у него в блокноте записано предостаточно. Однако томило нетерпение скорее запечатлеть на бумаге то, что мучило его сейчас,— поразмышлять о музыке, которую понимал более чем слабо, рассказать о сброшенном немцами с самолета пианино... Еще не представлял, как сложится у него статья, родит ли он в своем далеко не музыкальном воображении главную мысль, найдет ли форму всего того, чем терзался в душе и что наполняло его взволнованные чувства, придут ли самые нужные, точные слова... Посоветоваться бы об этом с Казанским. Но почему-то не решался и не мог придумать смысловой связи между тем, о чем так хотелось написать, и тем, что ждет от него сейчас редактор. Про себя даже посмеивался, представляя, как изумится Казанский, когда вместо заметок о борьбе с танками Миша напишет о разбитом пианино, плакавшем московском композиторе и о музыке, призывающей воинов к бесстрашию в боях... Вспомнил о дивизионном клубе, при котором был маленький струнный оркестр; в нем изредка играли шоферы автобатальона и санитары из медсанбата, о его бывшем начальнике Леве Рейнгольде, погибшем на Соловьевской переправе, так и не успевшем получить орден за пленение немецкого генерала Шернера.

Что-то уже начало слагаться в мыслях Иванюты, как вдруг по оврагу и его скрытым в зелени отрогам прокатилась от часового к часовому, охранявшим землянки, блиндажи и машины штаба, команда:

— Всему командному и начальствующему составу — на построение!..

— На построение!..

— На построение!..

Старший политрук Казанский как раз успел закончить передовую статью. Отдав ее наборщикам, он придирчивым взглядом осмотрел Мишу Иванюту и сказал:

— Почисть сапоги... И вообще подтянись! Командующий фронтом приехал в наш штаб. Генерал Конев...

— А зачем построение? — спросил Миша, чувствуя, как вдруг вспыхнуло его лицо и заколотилось сердце от осенившей догадки: — Может, награды будет вручать?

— Вполне возможно,— ответил Казанский, застегивая на гимнастерке воротник и карманы.— Только многие не дождались своих наград...

Миша проворно кинулся в печатную машину, где хранилась общая сапожная щетка, старательно смахнул ею пыль с сапог, туже затянул поясной ремень, старательно расправил под ним гимнастерку. А сам был будто в полубреду от счастья и нетерпения: ведь как ждал этого дня! Ему почему-то казалось, что с получением ордена он станет совсем другим человеком, в нем да и во всей жизни вокруг что-то изменится, пусть и не перестанут грохотать огненные всполохи войны... Это же надо! Среди тысяч фронтовиков пока только у одиночек сверкают на груди ордена или медали. А теперь будет с орденом и он, политрук Михаил Иванович Иванюта!.. Жаль только, что некому написать об этом — ни родным, ни друзьям. Его Винничина, как и вся Правобережная Украина, да и часть Левобережной, порабощена врагом. И еще очень хотелось покрасоваться орденом на груди перед майором Рукатовым — самым ненавистным на свете человеком для Миши. Рукатов недавно вернулся в дивизию из госпиталя и вновь занял пост начальника артиллерии. Миша еще не видел его после приезда, да и не хотел видеть, с содроганием вспоминая тот июльский день, когда он нашел в лесу и привез на мотоцикле с коляской в штаб дивизии мешки денег Белорусского банка, а Рукатов заподозрил его в том, что он, возможно, часть денег присвоил или где-то припрятал... Иванюта влепил тогда майору Рукатову пощечину, а тот пытался в ответ застрелить его, но капитан Пухляков — начальник особого отдела дивизии — успел ногой выбить из руки Рукатова пистолет. Будто и давно это было — за Днепром, южнее Смоленска, но у Миши до сих пор болело сердце и сжимались зубы от тяжкого оскорбления. Их конфликтом чуть не занялся военный трибунал... Обошлось. В окружении было не до расследований.

Иванюта и Казанский торопливо направились в ту сторону оврага, где располагались главные отделы штаба. Вышли к просторной поляне, которую со всех сторон обступал молодой лес. Здесь собирался для построения штабной народ. Многие курили, о чем-то переговаривались, строили догадки о причине сбора. Миша Иванюта внутренне ликовал, полагая, что эту причину знает только он один, и размышлял над тем, кому еще из командиров и политработников будут вручать правительственные награды, боясь оказаться в одиночестве, ибо понимал: политрук Иванюта далеко не главный герой тех страшных боев, в которых участвовала дивизия за Днепром.

На поляне становилось все многолюднее. В тупике ближайшего отрога, у блиндажа командира дивизии полковника Гулыги, стоял в тени орешника пятнисто-зеленый легковой автомобиль командующего фронтом генерал-лейтенанта Конева. О приезде в штаб дивизии командующего уже знали многие обитатели этих оврагов, некоторым даже было известно, что по его приказу зачем-то экстренно заседал военный трибунал дивизии.

Все ждали команды к построению, с любопытством посматривая в сторону блиндажа полковника Гулыги. А Миша Иванюта ждал не только с любопытством, а и с таким нетерпением, что почти никого не замечал вокруг, тоже неотрывно глядя туда, где стояла машина генерала Конева. Даже мысленно упрекал себя за это, ибо вместе с нетерпением закрадывалась в сердце тревога: ведь с ним уже не раз бывало такое — если чего-либо очень желаешь, оно не сбывается, а то еще и оборачивается неприятностью.

Увидел, как из землянки комдива вышло два генерала — оба стройные, рослые, с красными лампасами на галифе... Сердце у Миши неожиданно встрепенулось: в одном из них он узнал Чумакова Федора Ксенофонтовича; второй, видимо, был Конев. Генералы отошли в сторону от блиндажа и о чем-то заговорили. Миша даже издали заметил нахмуренность и озабоченность Федора Ксенофонтовича — дорогого для него, как и для всех, кто побывал под его командованием в первые недели войны, человека. И теперь еще больше загорелся желанием поскорее узнать причину появления в их дивизии Чумакова и хотя бы словом обмолвиться с ним...

А между тем Федор Ксенофонтович пытался убедить генерал-лейтенанта Конева отменить властью командующего столь суровый приговор военного трибунала дивизии...

— Пойми, Иван Степанович, я имею основание, как никто другой, презирать этого человека! — доказывал Чумаков Коневу.— Он еще в тридцать седьмом катал на меня ложные доносы в НКВД, потом пытался подвести под трибунал после выхода остатков моего корпуса из первого окружения!..

— Тем более не стану отменять приговор! — Конев смотрел на Чумакова с суровостью и упреком.

— Да он же посчитает, что не трибунал, не ты, а именно я, в порядке личной мести, взял его за шкирку и привлек к ответу!

— Пусть думает что ему угодно! Он сорвал наступление дивизии!.. Сколько из-за него людей погибло за Царевичем!

— Все это правильно! Понимаю!.. Ну разжалуй его в рядовые. Пусть кровью искупит... Это для него будет страшнее, чем расстрел, ибо он патологический трус!

— Я не привык отменять своих решений! — Конев раздражался еще больше, глядя на Чумакова с откровенной неприязнью.— Вон, в шестьдесят четвертой стрелковой полковник Грязнов тоже пытался выгородить одного своего подчиненного — майора Гаева! Все вы хотите быть добренькими, милосердными. А Военный совет фронта отвечает за боеспособность армий!

— Жалко старика Гулыгу...— Федор Ксенофонтович уже понимал, что ему не переубедить Конева, но все-таки не сдавался.

С поляны донеслась команда на построение. Конев и Чумаков видели, как командиры и политработники становились в строй, выравнивались. В это время из-за поворота оврага показалась группа людей: два красноармейца, держа наперевес ружья, конвоировали майора Рукатова... Нет, он уже не майор: воротник гимнастерки был без петлиц, рукава — без шевронов. Ни ремня на Рукатове, ни фуражки. Руки связаны сзади. Ссутулившись, бывший майор медленно переставлял ноги, на его желто-сером лице заметно пробилась щетина. Проходя мимо землянки комдива, он вдруг увидел генералов Конева и Чумакова. И будто все вдруг внутри в нем зажглось, а огонь выплеснулся только сквозь глаза. Сколько лютой ненависти заметил в них Федор Ксенофонтович!

Рукатов замедлил шаг и, глядя на него, сказал хриплым, незнакомым голосом:

— Жаль, что не успел я сквитаться с тобой, Чумаков! Повезло тебе... Не раздавил...— И зашагал дальше.

Лицо Конева передернула гримаса, отдаленно похожая на горькую улыбку.

— Ну, получил по ноздрям, ходатай?! — едко спросил он у Федора Ксенофонтовича.— За что именно он тебя так?

— Сам толком не знаю... В двадцать пятом году я его как никудышного командира роты выпроводил из своего полка на курсы. По глупости подписал нужные для этого документы... А после курсов мне вернули его — с повышением в должности... Пришлось опять убирать... А он оказался не только плавучим, но и мстительным...

Их разговор прервал вышедший из блиндажа полковник Гулыга. Он был бледен и хмур, глаза его казались ничего не видящими, неподвижными и таившими тяжкую душевную боль.

— Разрешите, товарищ командующий, привести приговор в исполнение? — тихо, со сдерживаемым чувством отчаяния в голосе спросил он у Конева.

— Можете поручить сделать это без вас,— хмуро ответил Конев.

— Нет, я уж сам...

Миша Иванюта, стоя в строю рядом с Казанским, буквально на несколько секунд отвлекся к пленным немцам, которых по дальнему краю оврага препровождали к землянкам разведывательного отдела штаба дивизии.

— Вон моих «крестников» повели,— шепнул он старшему политруку Казанскому.— Надо не прозевать их допрос.

В ответ Казанский толкнул его локтем в бок, и тут Миша увидел Рукатова, ничего вначале не поняв. Почему он под конвоем, без знаков различия и со связанными руками?.. Но человеческий разум способен сразу охватить многое, особенно вытекающее одно из другого, объединять его и высветливать итог. Он вспомнил, как там, за Царевичем, когда немецкие танки контратаковали

наши наступающие батальоны, капитан Гридасов грозил в телефонную трубку артиллеристам всеми карами за то, что они вовремя не оказывали должной огневой поддержки... Верно, что-то у артиллеристов там не получалось... А начальник над ними — майор Рукатов.

«Доигрался, гад?!» — полоснула Мишу злорадная мысль и тут же потухла. Более того, почему-то очень не хотелось встретиться взглядом с Рукатовым, который замедлил шаг и, всматриваясь в лица своих бывших сослуживцев, как-то жалко и горько улыбался. Кое-кому кивал головой — то ли здоровался, то ли прощался. Было похоже — он еще не верил до конца, что это его последние шаги по земле... А может, действительно не последние, может, генерал Конев отменит приговор военного трибунала и Рукатов пойдет рядовым бойцом на передний край, в самое горячее место, чтобы кровью искупить вину?..

Но прозвучала команда, и строй зашагал по косогору куда-то в лес. Туда же вели и осужденного. И всем стало ясно, что приговор военного трибунала остается в силе. А в приговоре было записано, что артиллерия дивизии не поддержала должным образом наступления ее стрелковых полков. Майор Рукатов со своим отделом сделал расчет обеспечения атаки, поставил задачу артдивизионам на перенос огня по рубежам в глубину обороны противника, но не позаботился о точном доведении приказа до артиллерийских командиров, о заградительном огне на танкоопасных направлениях, а в ходе боя вовсе потерял связь и не сумел сманеврировать всей мощью артиллерии таким образом, чтобы развить наметившийся успех одного из батальонов правофлангового полка. В итоге — атака полков дивизии захлебнулась...

На войне бытует жестокий и справедливый закон: не выполнил приказ и погубил людей по своему недомыслию или нерадивости — расплачивайся собственной жизнью. И может быть, это не только наказание для тебя, ибо лишить тебя жизни — еще очень мало, чтобы воздать тебе по твоей тяжкой вине; это и суровый урок для других...

Строй командиров и политработников остановился на опушке рощи, выбегавшей из оврага, и по чьей-то команде повернулся лицом к свежевырытой яме, к которой подвели Рукатова. Куда-то исчезли конвоировавшие его красноармейцы; остались на их месте только начальник военного трибунала — высокий, полногубый, с интеллигентным, но удрученным лицом, и его заместитель — широкогрудый майор, все время вздыхавший, видимо, оттого, что ему предстояло самое тяжкое — привести приговор в исполнение.

Теперь, когда строй стоял лицом к яме, когда десятки глаз осуждающе и страждуще смотрели на Рукатова, он уронил голову и покачнулся. Чтобы не упасть, широко расставил ноги, но поднять глаза уже не смел.

На середину строя и вперед неуверенной, странной походкой вышел командир дивизии полковник Гулыга — высокий, поджарый. Его худощавое обветренное лицо с двумя бороздами, скобкой

охватившими тонкогубый рот, было нахмурено и прятало в скорбных глазах то ли невыносимую боль, то ли яростный гнев.

Гулыга остановился между строем и Рукатовым, затем, видимо поняв, что заслоняет осужденного, отошел в сторону. Сурово-болезненным взглядом скользнул по нахмуренным лицам командиров и политработников, тяжко вздохнул и заговорил непривычно тихо и хрипло:

— Товарищи... В наших руках судьба Родины. Стоит вопрос: быть или не быть Советскому государству, быть нашему народу свободным или пойти на погибель в рабство. И в эту страшную годину встречаются среди нас люди, которые предают нас своей вопиющей безответственностью, своей беспечностью и расхлябанностью... По вине майора... бывшего майора Рукатова мы с вами не сумели выполнить приказ командующего фронтом... По вине Рукатова дивизия понесла потери... В самые ответственные минуты наступления начальник артиллерии дивизии Рукатов потерял управление своим родом войск. А потом, вместо того чтоб исправить положение, он напился пьяным до бесчувствия... Я с трудом удержал себя, чтобы не расстрелять его без суда!..— Полковник Гулыга умолк, его нахмуренные глаза заволоклись слезой.— Никогда не мог предположить, что мой...— Губы полковника вдруг задергались, из его глаз покатились слезы; торопливо достав из кармана платок, он отвернулся и стал вытирать лицо.— Простите меня...— после напряженной, мучительной паузы прерывистым голосом продолжил Гулыга.— Простите меня... Я никогда не мог предположить, что мой зять...

От неожиданности весь строй будто задохнулся, издав какой-то хрипящий звук, после которого наступила страшная своей трагичностью тишина... Уже, кажется, никого не волновала судьба бывшего майора Рукатова. Тысячи игл впились в сердце всех, вызывая мучительную боль сострадания к этому немолодому полковнику, который в детской беспомощности не мог сейчас выговорить ни слова, принимая на глазах у всех тяжкие муки, стыдясь их и не находя возможности уклониться от них.

— Да-да,— пересиливая спазмы рыданий, почти шепотом продолжил командир дивизии.— Рукатов — мой зять... Он муж моей дочери... Отец моих внуков. Кое-кто знал об этом.— Гулыга остановил болезненный взгляд на Иванюте.— Он случайно был прислан в нашу дивизию, и я запретил ему до поры говорить о нашем родстве... Сами понимаете...

Миша Иванюта почувствовал, что у него в груди будто взметнулся огонь, а к горлу подкатил горячий глубок, мешавший дышать, и от этого из глаз градом полились слезы. Он стыдливо смахнул их рукавом гимнастерки, скосил взгляд на стоявшего рядом старшего политрука Казанского и увидел, что у него покатилась слеза, забегая по пути в каждую оспинку на щеке.

— Поступить иначе,— голос полковника Гулыги неожиданно окреп,— мне не позволил долг солдата. У каждого из нас своя

родня, а Родина у всех одна!.. Не отдать Рукатова под трибунал — значит попрать память всех погибших по его вине! — Командир дивизии повернулся к Рукатову, окатил его сурово-негодующим взглядом и, вдруг сгорбившись, зашагал с высоты в овраг. Когда проходил мимо начальника трибунала, не поднимая головы, сказал: — Продолжайте...

Начальник трибунала прерывающимся голосом зачитал приговор, после чего Рукатов был расстрелян.

9

Оказывается, как в целом малозначащи даже самые яростные вспышки гнева, если они в конечном счете не привели к беде и остаются позади. Миша Иванюта вспомнил свою ненависть к майору Рукатову, которая клокотала в нем после того, как Рукатов оскорбил его подозрением в нечестности и как между ними возникла драка. А сейчас, когда Рукатова расстреляли, Миша совсем не ощущал никакого злорадства. Более того — очень сочувствовал полковнику Гулыге, тестю Рукатова.

Но война — это великая фабрика смерти и огромное поле деятельности для живущих. На ней надо постоянно помнить о своих обязанностях и не упускать времени для их исполнения. Когда красноармейцы комендантского взвода начали засыпать яму с телом Рукатова и строй присутствовавших при расстреле был распущен, политрук Иванюта отыскал глазами начальника разведотдела штаба дивизии — крупнотелого неприветливого майора Кошелева и пошел вслед за ним. Знал, что тот начнет сейчас допрашивать пленных немцев, и газетчик упустить такое событие не должен.

Кошелев шел с построения не то что в расстроенных чувствах, а в полном потрясении. Он еще до войны служил под командованием полковника Гулыги, знал его семью, не раз видел дочь Зину — жену Рукатова,— высокую длинноногую, белокурую, с двумя розовощекими мальчиками-близнецами. Понимал: как же тяжело было Гулыге отдать под трибунал отца своих внуков!

Миша Иванюта даже со спины угадывал, что майор Кошелев чувствует себя плохо, но неотступно следовал за ним вниз по склону оврага. Прошли глубокую котловину, по дну которой стелилась в тени деревьев хорошо накатанная дорога, поднялись на противоположный склон. У крайней землянки Миша увидел пленных немцев. Они сидели в густой тени сосен и, держа на коленях котелки, выскребали из них ложками кашу. Тут же полулежал на плащ-палатке знакомый Мише переводчик — хилый, желтолицый лейтенант Сурис.

При виде майора Кошелева лейтенант Сурис вскочил на ноги и не очень по-военному доложил, что пленные к допросу готовы.

Тут Миша и напомнил о себе начальнику разведки:

— Товарищ майор! Разрешите представиться: корреспондент дивизионной газеты политрук Иванюта!.. Разрешите...

— Не разрешаю! — яростно взревел Кошелев.— Убирайтесь отсюда и не мешайте мне работать!

— Товарищ майор, но ведь газета...

— Шагом — марш отсюда! — Казалось, Кошелев кинется сейчас на Иванюту с кулаками.

— Товарищ майор... Вам придется давать объяснения комиссару дивизии. Я же не на блины к вам прошусь!

Мише показалось, что последние его слова облагоразумили Кошелева. Он как-то сник, отвернулся от Иванюты и, достав папиросы, неторопливо закурил. Потом оценивающим взглядом посмотрел на пленных и уселся на казарменную табуретку, стоявшую у входа в землянку. На Иванюту взглянул уже как бы нехотя и спокойно изрек:

— Политрук, я тебя очень прошу... Сгинь с моих глаз.

— Ну хорошо! — с язвинкой в голосе сказал Миша.— Я уйду... сгину... Но потом явитесь вы, товарищ майор Кошелев, пред ясные очи парткомиссии.

— Явлюсь, ладно,— устало, почти миролюбиво ответил Кошелев и махнул на Иванюту рукой так, будто сталкивал его откуда-то.

Миша быстро зашагал по косогору вниз, к землянкам начальства, сгорая от мстительного нетерпения скорее доложить комиссару дивизии о всем происшедшем. Мысленно слагал жесткие обвинительные фразы, которые он произнесет по адресу майора Кошелева перед полковым комиссаром. Потом его вдруг охватило сомнение: ведь разведотдел штаба — первичный источник информации для газеты о действиях всех разведподразделений дивизии. Загрызешься с его начальством, потом ходу туда не будет вовсе или станут давать сведения сквозь зубы. Эта практичная мысль охладила Мишу, он заколебался, замедлил шаг. «Может, вначале доложить старшему политруку Казанскому?..» И словно в ответ на его вопрос послышался металлический звон: «бам-бам-бам...» — сигнал воздушной тревоги.

Иванюта оглянулся вокруг, но спасительных щелей поблизости не увидел. Рядом стоял только замаскированный грузовик. Кинулся к нему, под крутизну стенок капонира, вырытого в склоне оврага. Тут же увидел в небе шестерку немецких «юнкерсов», проходивших стороной над лесом.

«Зря запаниковали,— подумалось Мише.— Куда-то в тыл летят».

Но бомбардировщики вдруг круто развернулись и один за другим стали пикировать прямо на овраг. Послышался знакомый, нарастающий вой бомб, кинувший Мишу на землю в угол капонира.

Взрывы начали сотрясать лес, стал раздаваться треск поверженных деревьев, а затем гулкие их удары о склоны оврагов. Донесся истошный человеческий вопль — кого-то тяжело ранило или придавило; недалеко протяжно заржала лошадь... А взрывы продолжали оглушать все живое. Миша услышал, как рядом заскрипела подсеченная крупным осколком сосна, затрещала обламывающимися ветвями и рухнула на капонир, воткнувшись сучьями в крышу кабины грузовика и обвалив на Иванюту глыбу земли...

«Юнкерсы» ограничились одним заходом, видимо не заприметив крупной цели в оврагах, и затем понесли оставшийся груз бомб в сторону станции Вадино.

Миша выбрался из капонира, отряхнулся от земляного крошева и мелких веток. Увидел, что будто пронесся над оврагами могучий смерч. Вокруг клубились дым и пыль, в которых уже явственнее слышались крики раненых, ржание покалеченных лошадей и перекличка приступивших к своему делу санитаров. На склонах безобразно громоздились зелеными копнами ветви сваленных, упавших друг на друга деревьев.

Что-то заставило Иванюту вернуться к землянкам разведотдела, будто знал, что бомбы упали и туда. Не ошибся... С ужасом увидел разметанную землянку и свежие, еще дымящиеся воронки вокруг нее. Даже не почувствовал, как подломились под ним ноги. Уже сидя в траве, заметил на ветвях устоявших деревьев обрывки военной одежды — нашей и немецкой... Понял — бомбы прямым попаданием разорвали всех в клочья... Почувствовал тошноту и тоскливо, с болью в груди, подумал о том, что майор Кошелев перед своей смертью прогнал его от верной гибели...

10

Совсем близко под самолетом величественно громоздились пышными сугробами облака — белесые и пепельно-голубые. Они простирались в бесконечность, местами вздыбливались как застывшие клубы дыма и, просвечиваемые солнцем, ярившимся где-то справа над самолетом, излучали белизну, резавшую глаза.

Молотов сидел в кресле по левой стороне салона, задумчиво глядел сквозь стекло иллюминатора на менявшие очертания облака. Иногда устремлял взгляд в блекло-голубую высь, где шли два истребителя. Знал, что еще два истребителя охраняют самолет, в котором он летел в Архангельск, со стороны солнца.

Перед ним, на квадратном столе, покрытом красно-оранжевым бархатом, лежали сегодняшние московские газеты. Но читать не хотелось: он давно не ощущал такой расслабленности, неустойчивости равновесия чувств и ума. Разумно было бы поспать, но, несмотря на усталость, на прошлые бессонные ночи, которые следовали одна за другой почти с самого начала войны, не мог принудить себя ко сну. Вспомнил, как Полина, жена его, собирая ему в дорогу чемодан, с напускной строгостью наказывала: «Вече, будь умницей — отоспись в полете. А то у тебя уже не лицо, а маска. Я иногда пугаюсь твоей угрюмой усталости... Хочешь, заклею стекла запасного пенсне черными бумажками? Наденешь в самолете и тут же убаюкаешься?..» Шутница Полина Семеновна... Заботливая. Сама устает на своей работе до полного изнеможения, а чувства юмора не теряет.

Да, перешагнул он в усталости какой-то рубеж и, кажется, лишился возможности повелевать самому себе: не мог уснуть, не

мог читать, и мысли делались порой своевольными, неизвестно откуда бравшими начало и куда исчезавшими. Вот и сейчас почему-то вспомнились Молотову дореволюционные времена... Пребывание в ссылке в Иркутской губернии... Его побег из ссылки в Казань. Почему в Казань?.. И память вдруг высветлила лицо Самуила Марковича Браудэ — присяжного поверенного из Казани. Он приехал в Иркутскую губернию, в чалдонское село, к сосланной туда жене-эсерке, ставшей потом коммунисткой. Браудэ отважился предложить Молотову (тогда еще Вячеславу Скрябину) свой паспорт для побега... Из Казани пробрался Скрябин в Петроград, где стал работать на нелегальном положении, участвуя в подготовке революционного восстания.

Ссылки... Тяжкие изломы судьбы. Жизнь там пусть не горела — теплилась, но продолжалась... Опять вспомнилось то далекое чалдонское село. Большой рубленый дом, встреча Нового, 1916 года. Собралось человек двадцать ссыльных — кто отбыл каторгу, кто прислан на вечное поселение. Кроме большевиков пришли эсдеки, эсеры. Пили местное пиво, дравшее горло (потом узнали, что оно настояно на курином помете), говорили тосты, вкладывая в них и свои противоречия. Но все-таки надо было праздновать Новый год, и решили «объединиться» хотя бы песней. Не получилось: молодежь запела «Интернационал» — международный пролетарский гимн, а старики затянули «Марсельезу» — гимн буржуазно-освободительных движений. На «пустом месте» вспыхнула ссора, и рассерженные старики покинули дом.

Вспомнился еще один соратник по другой ссылке — Сергей Иванович Малашкин... И еще один Новый год — уже в Москве... Малашкин — активный и бесстрашный участник боев с жандармами и солдатами на Пресне во время декабрьского вооруженного восстания в 1905 году. Неутомимый спорщик и говорун, всегда смотревший на собеседника с критическим прищуром глаз, над которыми топорщились косматые брови. Ссылка сдружила их. После Октябрьской революции Малашкин стал довольно известным писателем, но давно почему-то замолчал, хотя его романы и повести двадцатых годов вызывали необычный интерес у читающей публики, поддержку со стороны одних критиков и острые нападки других. Давненько они уже не встречались, не перезванивались.

Молотову вдруг стало весело, он даже беззвучно рассмеялся, вспомнив, как в двадцатых годах... Когда же это было?.. Да, подводит память... Наступил тогда очередной Новый год. Обитатели Кремля встречали его по-семейному — с женами, с детьми. Большинство мужчин и женщин были еще молодыми да озорными — в едином застолье произносили шутливые тосты и каламбурили, пели песни, плясали под патефон или гармошку, на которой мастерски играл Семен Буденный.

Во второй половине ночи застолье начало редеть — первыми разошлись жены и дети. А в Сталина как бес вселился! Возбужденный, он сидел рядом с Буденным напротив Молотова.

«Я бы не прочь сейчас куда-нибудь завалиться, сменить обстановку»,— с веселой дерзостью, но тихо сказал Сталин, обращаясь к Молотову.

«Интересно?! — с ухмылкой отозвался Молотов.— Появится сейчас генсек с компанией, скажем, в ресторане «Националь»! Во будет пассаж!»

«Нет, куда-нибудь бы на нейтральную территорию, без соглядатаев»,— ответил Сталин.

«Махнем на конный завод,— предложил Буденный.— Я сейчас позвоню, и, пока доедем, там стол накроют».

«А чем будут угощать — овсом или сеном?» — с напускной серьезностью спросил Молотов.

«Возьмем с собой, что требуется», — не принял шутки Буденный.

«Тогда я согласен,— сказал Молотов.— Только поедем не к лошадям, а давайте к моему другу Сергею Малашкину. Ты, Коба, его знаешь».

«Ну как же! Знаю этого романиста и спорщика».

«Он живет совсем рядом. А жена его, Варвара Григорьевна,— воплощение гостеприимства»,— напомнил Молотов.

Минут через двадцать взволнованный Сергей Малашкин открывал дверь неожиданным гостям, хотя Молотов успел позвонить ему по телефону о приезде. В столовой уже проворно хлопотала Варвара Григорьевна, расставляя на столе посуду, закуски. Но гости приехали со своей «королевской» закуской и выпивкой — бочонком соленых арбузов и оплетеной бутылью грузинской чачи. На плече Буденного висела гармошка.

Новогоднее веселье продолжалось. Малашкин, произнося приветственный тост в честь гостей, от волнения назвал Буденного не Семеном Михайловичем, а Михаилом Семеновичем. Это дало повод для шуток. Затем новые тосты, песни и пляски под гармошку. Новогодняя ночь позволяла, по обычаю, не особенно соблюдать тишину, если бы не одно обстоятельство. Сталин, как бывший студент духовной семинарии, любил церковные песнопения и знал духовные обряды. Его репертуар давно был знаком и Молотову, и Буденному. И в квартире, словно на клиросе, зарокотал слаженный хор, над которым властвовал высокий и резкий голос Сталина...

На второй день Сергея Ивановича вызвали в домоуправление, где его ждал строгий участковый милиционер с чьей-то письменной жалобой на то, что в новогоднюю ночь в квартире писателя-коммуниста Малашкина до рассвета продолжалось буйство с гармошкой, плясками и песнями, да не простыми, а религиозными, которые поются только в церквах. Малашкин не мог сказать милиционеру, уже составлявшему протокол, правду о том, каких именитых гостей он принимал. Ему бы не только не поверили, но и «привлекли» бы к ответу за «клевету» на руководителей партии и правительства... Да и не хотелось Сергею Ивановичу давать повода для вздорных разговоров... А через неделю старого, с 1906 года, коммуниста Малашкина обсуждала партячейка и, кажется, объявила какое-то взыскание.

Только в канун очередного Нового года Сергей Иванович, опасаясь, что ему вновь окажут честь высокие гости, напросился на встречу с Молотовым. Встретившись, они гуляли по территории Кремля, разговаривали о литературе. Тогда Малашкин и рассказал Молотову о постигших его неприятностях вследствие новогоднего их визита к нему. Молотов, не склонный к бурным вспышкам веселья, на этот раз хохотал без удержу, захлебываясь на зимнем ветру, который гонял по кремлевской брусчатке снежные вихри.

В это время мимо них проезжал в автомобиле Сталин. Увидев сквозь стекло неуемно хохочущего Молотова, он так изумился, что остановил машину и присоединился к гуляющим. Малашкину пришлось повторить свой горестно-веселый рассказ. Сталин тоже стал посмеиваться, а потом шутливо изрек:

«Товарищ Малашкин, мы сердечно благодарим вас, что не дали в обиду и не посрамили членов Политбюро. А то пришлось бы нам с Молотовым и Буденным платить штраф в милицию и держать ответ перед партийной комиссией».

... От воспоминаний оторвал Молотова резкий крен самолета, а затем его крутое снижение. Через минуту за стеклом иллюминатора начала проноситься белесая муть, в салоне стало пасмурно, а самолет начало трясти, будто его волокли по бугристой, с колдобинами дороге. За шумом моторов Молотову не были слышны пулеметные очереди: где-то над облаками наши истребители вступили в бой с двумя «мессершмиттами»...

Вскоре самолет вновь вынырнул из облаков и стал утюжить их верхние кромки. В салоне рассвело. Молотов взял со стола газету и прочитал сообщение Совинформбюро об очередной бомбардировке нашими самолетами Берлина. В памяти возникло желтоватое, ротастое лицо Геббельса, его тощая и укороченная природой фигура, вспомнились берлинские переговоры в ноябре прошлого года, ночная бомбежка германской столицы английской авиацией; вместе с Герингом и Геббельсом ему пришлось тогда отсиживаться в бомбоубежище и задавать руководителям немецкого рейха саркастические вопросы, связанные с тем, что Германия преувеличивает свою военную неуязвимость. Вспомнилось совсем недавнее заявление Геббельса, сделанное им перед своими и зарубежными корреспондентами. Геббельс с надменной хвастливостью заявил, что ни один советский самолет не появится над Берлином, ибо советская авиация полностью уничтожена.

Вот тебе и уничтожена! А ведь английские и американские газеты охотно разрекламировали это хвастовство немецкого обер-пропагандиста. Затем же, будто и не было прежних публикаций, в Англии, да и во всем мире, буржуазная пресса будто ударила в колокола, извещая свои народы, что Советы начали чуть ли не каждую ночь бомбардировать с воздуха военные объекты Берлина!

Так с чего же все, связанное с нашими бомбардировками Берлина, началось? Ведь советская дальнебомбардировочная авиация

могла гораздо раньше наносить бомбовые удары по Берлину, когда по расстоянию он был ей доступнее... У Сталина на сей счет имелась своя точка зрения. Кроме прочего, он, как и Молотов, помнил, что 27 сентября 1939 года 1150 немецких самолетов превратили в сплошные руины Варшаву, под которыми погибло мирного населения в пять раз больше, чем польских войск, оборонявших свою столицу. А варварская бомбардировка немцами английского городка Ковентри? Ведь не военные объекты!.. Но когда Геринг бросил свои воздушные эскадры на Москву!.. Надо было ответить ударом на удар. И сейчас, когда Молотов летел в Архангельск встречать крейсер «Лондон», на котором прибывали для переговоров и подписания союзнических документов полномочные представители Рузвельта и Черчилля, у Молотова имелся еще один важнейший аргумент в пользу Советского Союза — краснозвездные самолеты над Берлином!

Так с чего же все началось? Ведь каждое событие имеет свои причины и имеет свое начало. Любое же военное событие является отдельным звеном всей цепи войны. Первое ее звено обычно висит на крюке, прочно вбитом в плотную политическую стену межгосударственных отношений. Он, Молотов, всегда напряженно размышляет об этом, часто устремляя мысль о войне к началу всех начал. Думает он и сейчас об аргументах, которые, при необходимости, надо будет выложить на стол переговоров с Гарриманом и Бивербруком.

Лететь до Архангельска было еще долго, и здесь, в поднебесье, мысли его вдруг запарили свободно и неторопливо.

Для руководителей государства и его вооруженных сил война заключает в себе множество тайн, непредвиденностей, случайностей и опасностей. Разобраться в их нагромождениях и противоречиях, рассмотреть подлинный смысл ставшего известным сегодня, предугадать завтрашний день с его военными, политическими и дипломатическими загадками, заглянуть в ближайшее будущее и, не впадая в отчаяние, принять, по возможности, верные решения — вот главная боль их души и томящее ощущение трагичности от бессилия побороть сомнения и утвердиться в истинности вызревающих предположений.

Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов часто возвращался мыслью к главному: агрессия фашистской Германии против Советского Союза начата Гитлером с надеждой опереться в ней на «пятую колонну», которая, по сведениям фашистской разведки, существовала в Москве и в советских республиках, а также на вступление в войну против СССР кроме сателлитов Германии еще и Японии, Турции и, возможно, Англии. Да-да, именно Англии! Она, Англия, с ее тайными упованиями, как предполагал Молотов, держала в своих руках ключ от главных событий второй мировой войны. События эти вызревали до сих пор, внешне маскируясь благожелательной по отношению к СССР политикой англий-

ского правительства, двоедушие которой наиболее прозрачно обнаружилось еще летом 1939 года, когда усилиями Англии, при согласии французского правительства, были сорваны московские переговоры, несмотря на то что советская сторона выдвинула конкретный план совместных действий СССР, Великобритании и Франции. Советский Союз предлагал выставить на фронт в случае агрессии в Европе 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 5 тысяч тяжелых орудий, 9—10 тысяч танков, от 5 до 5,5 тысячи боевых самолетов... Переговоры не увенчались успехом, что и вынудило Советское правительство подписать с Германией пакт о ненападении, в то время как Чемберлен — тогдашний английский премьер-министр — упорно добивался соглашения между Англией и гитлеровской Германией, толкая последнюю на агрессию против СССР. Однако завоевательные аппетиты Гитлера были куда более масштабными. Это привело к тому, что после нападения на Польшу Германия оказалась в войне еще и с империалистической коалицией, состоявшей из Британской империи и Франции.

Сии события далеко позади, как и все, связанное с полетом 10 мая 1941 года в Англию заместителя Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса. Советское руководство тогда же разгадало цель этого полета, зная, что лорд Данг Гамильтон, близ имения которого приземлился на парашюте Гесс, являлся одним из приближенных английского короля Георга VI и активным участником влиятельной профашистской группировки в политических кругах Англии. Но пока не знало очень важного...

Оказалось, что задолго до своего полета в Англию Гесс тайно направлял лорду Гамильтону письма и получал дружественные ответы. При этом Гесс не подозревал, что его письма попадали не лорду, а в английскую разведку Интеллидженс сервис, которая от имени Гамильтона писала Гессу письма и таким образом заманила его в Англию. Зачем? Конечно же, не в гости, а для переговоров... Вскоре закордонный агент НКВД СССР подтвердил это своими донесениями, и сейчас уже стало наконец точно известно: Рудольф Гесс заявил тогда представителям английского правительства, что прибыл к ним с предложением мира, выдвинув от имени Гитлера требования: признать германскую гегемонию в Европе, возвратить бывшие германские колонии в Африке, узаконить германское господство в некоторых других районах и признать захватнические претензии фашистской Италии. Надеялся Гесс и на то, что сумеет склонить Англию к совместной борьбе против СССР, которая, в свою очередь, опасалась, как бы Советский Союз не пошел против нее в поддержку Германии.

Но еще раньше стало известно советской разведке и о другом, в том числе о тайных переговорах немцев с англичанами по смежным каналам. Эти переговоры велись еще накануне вступления Англии во вторую мировую войну. Источником такой информации стал британский посланник на Кубе Джордж Оджильви Форбес, в прошлом советник английского посольства в Берлине. По поручению английского правительства, в чем-то не доверявшему своему послу в

Берлине Невилю Гендерсону, он за спиной посла секретно общался с немцами. За несколько дней до нападения гитлеровских войск на Польшу, о сроках которого хорошо было известно английскому правительству, с Форбесом связался человек, назвавшийся шведом Далерусом. Швед сообщил Форбесу, что имеет поручение наладить переговоры между представителями правящих кругов Англии и Герингом как самым приближенным лицом Гитлера. Переговоры велись на берлинской квартире Далеруса. Последний на своем личном самолете ежедневно летал из Берлина в Лондон, докладывал там о результатах переговоров и возвращался с ответами английского правительства. Геринг, как сообщал закордонный агент НКВД, уже был готов «поладить с англичанами, но переговоры сорвались из-за его непримиримости в вопросе о Польше».

Если Молотов каждое из подобных секретных донесений воспринимал как факт, из которого нужно было делать выводы и учитывать их в дальнейших взаимоотношениях с английским правительством и английскими дипломатами, то Сталин еще и очень интересовался обстоятельствами, при которых те или иные сведения были добыты. Конечно же, не ради любознательности — он очень остерегался дезинформации. Иногда ему удавалось получить интересовавшие его подробности, удовлетвориться ими, но чаще не удавалось из-за сложностей конспиративной деятельности советской разведки. Тогда между ним и Молотовым начинались «взвешивания» — Сталину необходимы были логические доказательства неоспоримости полученных от разведки сведений и убедительная мотивировка вытекающих из них решений и предположений. Это подчас оказывались нелегкие для Молотова дискуссии, ибо, как он понимал, Сталин выверял его суждениями свое видение событий в мире, свои тревоги, сомнения, догадки. Может, только сейчас Сталину и ему, Молотову, окончательно прояснились причины того, почему Германия вновь решилась воевать на два фронта, хотя история в лице великих немцев строго предупреждала ее от этого.

Письмо военного историка профессора Нила Романова, написанное Сталину в самый канун немецкой агрессии, в которое внимательно вчитывались все члены Политбюро, тоже дало толчок к поискам ответов на многие вопросы. Главный из них Сталин сформулировал конкретно и точно: немедленно, любой ценой, добыть последние цифры, которые бы отражали сегодняшний военно-экономический потенциал фашистской Германии, чудовищно раздувшейся от переизбытка сил за счет ограбления порабощенных ею европейских государств. Вновь и вновь перетряхивали свои папки работники разведывательного управления Генштаба, сотрудники НКВД, ведавшие агентурной разведкой. В разные страны полетели радиошифрограммы засекреченным адресатам. Пришлось прибегнуть к помощи перевербованных агентов иностранных разведок...

Результаты всего проделанного оказались чудовищно удручающими, еще раз напомнив истину, что время есть последовательная

смена событий; длительность этой смены, время, находясь в одном измерении, необратимы. Время сработало на Германию...

Ф. Энгельс писал в «Диалектике природы», что «уже разбивание ореха есть начало анализа».

«Тут даже и орех не надо разбивать — все ясно без анализа»,— хмуро сказал Сталин, когда Молотов положил на его стол два листа бумаги с машинописным текстом. Один текст был озаглавлен: «Германия», второй — «СССР».

Сталин строго посмотрел на Берию, сидевшего в конце стола для заседаний. Поблескивая пенсне и вытирая смятым платком обвисшие пористые щеки, тот выглядел виновато, догадываясь, что Сталин сейчас начнет его распекать. Так и случилось.

«Вы, товарищ Берия, должны были представить нам эти уточненные сведения о Германии еще задолго до начала войны! — Сталин не отрывал сумрачного взгляда от листа бумаги.— Ваши разведчики лодырничали, а вы не требовали от них того, что нам надо! Почему Сталин сам должен обо всем думать, напоминать, кому и что следует делать?! Это же элементарные сведения! — Он стал зачитывать вслух, переводя взгляд с одного листа бумаги на другой: — «Германия, ее союзники и оккупированные ею страны имеют населения 283 миллиона человек, СССР — 194 миллиона человек. Электроэнергии Германия выдает 110 миллиардов киловатт часов в год, СССР — около 49-ти. Стали — 43,6 миллиона тонн, СССР — 18,3. Угля — 348 миллионов тонн, СССР — 165».

«Товарищ Сталин, примерные сведения о Германии имелись в Генеральном штабе»,— обидчиво стал оправдываться Берия.

«Они должны были быть точными и лежать у меня на столе!.. У каждого члена Политбюро!.. У заведующих отделами ЦК!.. А почему мы только сейчас узнаем и об этих цифрах?! — Сталин постучал тыльной стороной руки по документу.— Вдуматься только в них! Немецкие фашисты перед нападением на СССР, оснащая свою армию вооружением и запасами, взяли их и у 30-ти чехословацких дивизий! Еще год назад они вывезли в Германию вооружение 6-ти норвежских, 12-ти английских, 18-ти голландских, 22-х бельгийских и 92-х французских дивизий!.. Утаить такую силищу было немыслимо! Почему вы не знали об этом, товарищ Берия?!»

«Кое о чем знали...»

«На базе трофейного транспорта, особенно за счет французских машин, гитлеровцы сформировали 90 своих дивизий!»

Сталин распалялся все больше. В этом его гневе были досада, боль, негодование. Но был и поиск мысли...

«Товарищ Коба, по-моему, ты забываешь одно обстоятельство, сопутствующее тому, что мы сейчас услышали от тебя»,— спокойно проговорил Молотов.

«Какое еще там обстоятельство?!»

«Забываешь, что именно эта сверхмощь Германии, перед которой пало на колени столько европейских государств, и напугала Англию и США, обратила их в наших союзников...»

«Этого никто не отрицает! Уже приезд к нам Гарри Гопкинса, как посланца не только Рузвельта, но и Черчилля, кое о чем говорит».

«И, окажись мы сейчас перед лицом Германии более сильными в военном и экономическом отношениях,— невозмутимо продолжал Молотов,— кто знает, с кем бы они были».

«Ты имеешь в виду Англию и Америку?»

«Разумеется».

«Полагаешь, мы именно поэтому не стали переводить всю нашу экономику на военный ход в тридцать девятом, когда Гитлер развязал вторую мировую войну? Верно, они могли бы тогда найти с ним общий язык и направить объединенные силы для уничтожения единственного в мире социалистического государства».

«Ну, не только поэтому.— Молотов, кажется, не возражал Сталину, а уточнял его мысль.— Тогда, в тридцать девятом, у народа нашего еще не отболело прошлое — потери на фронтах гражданской войны, а это — миллионы и миллионы людей... А белый и красный террор?.. А разруха, вызванная войной, голод, коллективизация с ее безобразными гримасами и опять голод... Потом тридцать седьмой и восьмой годы...»

«А главное упускаешь, товарищ Молотов,— недовольно перебил его Сталин. Заметив, что в кабинете стало сумрачно, он поднялся из-за стола и зажег люстру под потолком.— Забываешь нашу борьбу за ленинские идеи против троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов... А чего нам стоили происки капиталистического окружения?..»

«Каждый человек носит в себе все прожитое человечеством не только в его бытность, но и до него... Всего сразу не скажешь, когда оглядываешься назад.— Молотов посмотрел на молчавшего Берия.— Можно еще вспомнить, как предшественники Лаврентия до безобразия раскачали при нашем попустительстве борьбу с врагами народа, начав искать врагов и там, где их не могло быть, могли быть только предположительно или...»

Что стояло за этим оборвавшем фразу «или...» — ответить истории...

«Да-да,— согласился Берия.— Я до сих пор расхлебываю».

«Он расхлебывает,— проворчал Сталин и начал раскуривать трубку.— Все мы расхлебываем... еще долго будем расхлебывать... а может, и захлебнемся...— Затем вновь обратился к Молотову: — Давай не будем обманывать хоть себя: переводили мы экономику на военные рельсы медленно из-за своей слабости... Двадцать лет после Октябрьской революции — срок очень мизерный, чтоб набрать силы... И сейчас у нас колоссальная нехватка оружия».

«Да, проблем много»,— согласился Молотов и, видя, что Сталин, достав из ящика стола пузырек, начал накапывать из него в стакан лекарство, придвинул к нему бутылку с боржоми.

Выпив капли, Сталин подержал руку на левой стороне груди, не без удрученности сказал:

«Вот умру я, а вы в Политбюро и в правительстве наверняка передеретесь, как мальчишки. Будете искать виноватого в наших общих ошибках... Да, много ошибок, много трудностей. Виноватым окажусь я один, и могилу мою загребете мусором... Но ничего... ничего, возможно, ветер истории со временем развеет этот мусор... Возможно».

«Всякое может быть.— Молотов вздохнул.— Но не будем заглядывать далеко вперед!.. Воевать надо».

11

Новый всплеск остроты дискуссий в кабинете Сталина ощутил Молотов после первого массированного налета немецкой авиации на Москву, когда столичная противовоздушная оборона сумела весьма эффективно отразить этот пятичасовый налет и нанести особой авиационной группе генерал-фельдмаршала Кессельринга, состоявшей из 250 бомбардировщиков, внушительный урон. Бомбового удара немцев по Москве ждали во всем мире: одни —с тревогой, другие — с надеждами. Ведь до сих пор ни одна столица европейских стран, на которые обрушивала свои удары немецкая авиация, не смогла защититься. Москва, по замыслу правителей рейха, тоже должна была в одну ночь превратиться в сплошные руины и пепелища. Но этого не получилось у немцев, хотя мир забурлил известиями, будто от Московского Кремля и Москвы в целом ничего не осталось...

Сталин изучал зарубежные известия о бомбардировке Москвы очень внимательно, пытаясь угадать истинное отношение к Советскому Союзу главарей буржуазного мира. Молотова же интересовала прежде всего реакция Лондона и Вашингтона на неудачу немцев, которая в конечном счете весьма усиливала позиции Советского правительства в переговорах с союзниками. И в Кремле начались острые дебаты по поводу того, как в этой обстановке еще больше повысить военный престиж Советского Союза.

В ряду других мер все сходились и на том, что надо нанести ответный бомбовый удар по Берлину, и обязательно успешный. Эта идея с особой силой воспламенила воображение Сталина да и Молотова, когда на их рабочие столы легла разведывательная сводка о наиболее важных объектах и промышленных предприятиях Берлина и Эссена. Вот что в ней сообщалось:

«Резиденция Гитлера в Берлине.

Правительственный квартал Берлина, где помещается и резиденция Гитлера, расположен в центре города на пересечениях магистралей с запада — Герман-Герингштрассе (бывшая Фридмах-Эбертштрассе), с юга — Фоссштрассе, с востока — Вильгельмштрассе и с севера — Парижской площадью, упирающейся в аллею Унтерден-Линден...

Сама резиденция Гитлера и его рабочий кабинет помещаются в здании новой канцелярии, расположенной в южной части правительственного квартала, выходящего на Фоссштрассе. Рабочий кабинет Гитлера расположен на втором этаже центрального трехэтажного корпуса...

Резиденция тщательно маскируется от воздушных налетов путем:

1) частой смены камуфляжных сеток различной окраски и форм, сбивающих габариты здания;

2) установления на здании искусственных деревьев, чем достигается иллюзия скрытия самого объекта (он как бы сливается с расположенным рядом с западной стороны парком Тиргартен);

3) передвижки деревьев (растущих в кадушках) вокруг здания резиденции Гитлера и всего правительственного квартала. Передвижкой деревьев достигается изменение габаритов и расположения прилегающих к зданию улиц, создание «новых» скверов и т. д.;

4) создания над всем кварталом искусственного облака, скрывающего от взора летчика сам объект бомбардировки. Искусственное облако сбивает летчика с определенного ориентира и завлекает его в поражаемую зенитными установками зону.

Наличие большого количества и разнообразие зенитных средств, расположенных в непосредственной близости от объекта, создают мощную полосу заградительного и шквального огня, покрывающего площадь над правительственным кварталом до 1700 м в поперечнике и до 5500 м в высоту, что позволяет вести огонь по воздушным целям на больших, средних и малых (бреющих) высотах.

Наиболее мощная огневая площадь заградительного и шквального огня находится на высоте около 1300—1500 м.

Огонь ведется во взаимодействии с истребительной авиацией и прожекторами, направляемыми звукоулавливателями.

Зенитные батареи в основном состоят: из автоматических малокалиберных пушек 20—45 мм скорострельностью от 120 до 150 выстрелов в минуту, ведущих огонь на небольшую высоту; из пушек калибра 88 и 105 мм скорострельностью до 20 выстрелов в минуту и досягаемостью по высоте до 12 км.

Кольцевые пулеметы ведут огонь по целям до 500 м в высоту.

Наблюдением во время воздушных налетов английской авиации на Берлин замечено, что, несмотря на большую насыщенность зенитных средств вокруг резиденции Гитлера, огонь ведется ими беспорядочно, что объясняется низким качеством подготовки зенитчиков, поэтому малоэффективен.

Для наблюдения за появлением самолетов противника около северной части здания резиденции в центре дворика установлен подвижной наблюдательный пост высотой до 15 м. Наблюдательный пункт устроен по типу пожарных лестниц. Во время больших налетов пост наблюдения убирается.

Несмотря на мощную заградительную зону огня, отдельным английским самолетам удавалось прорваться к резиденции Гитлера, но хорошо продуманная немцами маскировка объекта, о чем было

сказано выше (искусственно создаваемое облако, появление ложных ориентиров и т. д.), сбивала английских летчиков и вынуждала их быстро выходить из огневого шквала, не достигнув желаемых результатов.

Однако система заградительного огня, построенная по принципу обеспечения поражаемой площади непосредственно над самим кварталом, создает мертвые зоны на подступах к цели... которые хотя и компенсируются подвижными зенитными установками калибра 20—45 мм с небольшим углом возвышения и малой скорострельностью, но недостаточно эффективны, что дает возможность летчикам самолетов нападающей стороны заходить боевыми курсами с этих направлений, не подвергая себя большому риску.

Промышленные объекты Берлина.

В юго-западной части Берлина — в районе Вильмерсдорф, около железнодорожной ст. Шмаргендорф, находится крупный машиностроительный завод, производящий авиационные бомбы и торпеды...

Завод имеет в плане прямоугольную форму площадью 200 × 600 м с застекленными крышами, двумя высокими трубами и большим подъемным краном.

Основные цеха завода — сборочный трехэтажный и механический двухэтажный — выходят к зеленому массиву на Гинденбургштрассе, у пересечения с большой магистралью Мекленбургштрассе.

Участок завода окружен с севера кладбищем и зеленым массивом Гинденбургпарка, с запада и юга — железной дорогой Бильмерсдорф — Инсбург и с востока — Кайзераллее.

Стационарных зенитных установок в непосредственной близости завода не замечено.

В восточной части Берлина — в районе Пренцлауерберг на Франкфуртерштрассе, между зеленым массивом со стадионом с севера и рекой Берлинер-Шпрее с юга, расположен завод «Аргус и Сименс», изготовляющий авиационные моторы...

В районе завода проходит густая сеть городского электротранспорта.

В плане завод представляет прямоугольник площадью 850—320 м.

Основные цеха завода — штамповочный, сборочный и лаборатория выходят на улицу Франкфуртерштрассе. Корпуса зданий четырехэтажные, с застекленными крышами.

С южной части территории завода проходит Варшавская железная дорога.

Более рельефных ориентиров не установлено.

Стационарных зенитных установок в непосредственной близости от завода не замечено. Мелкая зенитная артиллерия установлена на крышах заводских зданий.

Завод «Фридрих Крупп» в г. Эссене.

Военный завод «Фридрих Крупп» в Эссене, изготовляющий все виды артиллерийских орудий, корабельные башенные установки, снаряды и другие виды вооружения, расположен в северо-западной части города в районе Старого Эссена.

Территория завода занимает площадь до 17 кв. км, обрамленную кольцом железных дорог: с севера — Кёльнской, с запада — заводской веткой и с юга — Берлинской магистралью.

Важнейшие цеха завода — механической обработки деталей, кузнечно-штамповочный и проката, конвейерной сборки электроаппаратуры и сборки корабельных башенных установок — расположены в северной части территории завода и непосредственно выходят на улицы Франц-Кайзерштрассе, Цайменштессераллее и Флендорферштрассе. Рядом с кузнечным цехом расположены специальные установки по переработке угля в бензин.

В центре этих корпусов стоит высокая железная газовая вышка цилиндрической формы, темного цвета, сверху замаскирована железными стружками под зелень.

В западной части этих корпусов находится кладбище, большой двухпролетный мост из железных конструкций, перекинутый на насыпях через Флендорферштрассе и Берлинскую железную дорогу. В юго-восточной части стоит высокий собор с многогранным куполом серебристого цвета.

Зенитные установки калибров 45, 88 и 105 мм расположены в северо-западной части этих корпусов между кладбищем и кузнечным цехом на пустыре в 500 м на запад от цеха и в юго-восточной части, в непосредственной близости от южной стороны собора.

Кроме того, заводу приданы самолеты-истребители, патрулирующие во время тревог над заводской территорией...»

Молотов терпеливо и улыбчиво наблюдал чтение Сталиным документов разведки, догадываясь, как возбуждено сейчас его воображение и как мысленно «гвоздит» он из поднебесья Берлин.

Когда Сталин кончил читать и, закрыв зеленую папку, отодвинул ее на край стола, Молотов спросил у него:

«Ну, не промахнулся по резиденции Гитлера?»

Сталин, понимающе взглянув на Молотова, коротко засмеялся и ответил:

«Бросил самую крупную бомбу... Торпеду в тысячу килограммов!»

«И поделом фюреру!»

«А разведчика нашего надо достойно наградить. Хорошо поработал!»

«Верно,— согласился Молотов.— Теперь слово за советской авиацией».

«И я об этом все время думаю».— Сталин положил руку на телефонный аппарат.

«А Генеральный штаб?»

«Сейчас спросим у маршала Шапошникова.— Но трубку снять не успел, аппарат под его рукой коротко звякнул.— Слушаю!» — сказал Сталин, сняв трубку.

Звонил маршал Шапошников... Оказывается, главные потребности времени вторгаются в одночасье во многие умы. Борис Михайлович докладывал:

«Товарищ Сталин, командующий авиацией Военно-Морского Флота генерал-лейтенант Жаворонков Семен Федорович разработал план операции бомбового удара по Берлину...»

«Очень кстати! — воскликнул Сталин, и его глаза, сузившись в улыбке, сверкнули золотинками.— Как к этому относится адмирал Кузнецов?»

«Нарком Военно-Морского Флота Кузнецов у меня с планом операции. Генштаб одобряет план... Крайне нужен, товарищ Сталин, ответный удар по Берлину».

«Приезжайте с товарищем Кузнецовым. Будем советоваться.— Положив трубку на аппарат, Сталин весело посмотрел на Молотова и, будто упрекая его, сказал: — А ты говоришь, чтоб Сталин сам бомбил Гитлера! Есть более умелые люди! Думают вместе с нами!»

«Да, задача архитрудная. Интересно, как они будут ее решать? — Молотов повернулся к политической карте Европы, висевшей на стене кабинета.— Ведь от Ленинграда до Берлина вряд ли можно дотянуться...»

Вскоре в кабинет Сталина вошли маршал Шапошников и нарком Военно-Морского Флота Кузнецов. Здороваясь с ними, Сталин и Молотов залюбовались по особому ладной фигурой Кузнецова, его черной морской формой. Тридцатидевятилетний нарком выглядел моложе своих лет, хотя его лицо было усталым и напряженным. Ведь предстояло принять решение, которое выполнить далеко не просто.

Сталин высоко ценил адмирала, особенно после того, как тот сумел уберечь Черноморский военный флот от первых налетов немецкой авиации. И, подчеркивая свое душевное расположение к нему, с мягкостью в голосе сказал:

«Ну докладывайте, товарищ Кузнецов. Будем внимательно слушать и взвешивать».

Кузнецов вначале сделал краткий обзор положения на флотах, а затем развернул на столе карту Балтийского моря. На ней была прочерчена красным карандашом жирная прямая линия, соединявшая остров Эзель и Берлин.

«Далеко смотрел в будущее Петр Великий,— словно про себя сказал Сталин,— добиваясь присоединения к России Моонзундского архипелага. Очень важный форпост нашего западного побережья!»

«Жалко, не успели мы, товарищ Сталин, завершить там строительство береговой обороны,— сказал Кузнецов. Отстегнув от жесткого угла карты целлулоидную линейку с насеченными на ней сантиметрами и дюймами, он постучал ею по побережью Эзеля,

очертания которого напоминали черепаху.— Сейчас изо всех сил стараемся наверстать упущенное».

«Много у нас упущений».— Сталин подавил вздох, понимая, что на слабо защищенных островах Моонзунда базировались советские подводные лодки, эсминцы, торпедные катера, самолеты.

Они были для Германии костью в горле, мешающей снабжению ее войск группы армий «Север». Поэтому немцы спешно опоясали Моонзундский архипелаг минными заграждениями, используя силы своего легкого флота, а сейчас готовились к решительной операции по овладению островами. Разведка доносила, что для решения этой задачи кроме пехотных соединений, артиллерии и авиации были подготовлены немецкие крейсеры «Эмден», «Лейпциг», «Ельн» и финские броненосцы береговой обороны «Ильмаринен» и «Вейнемайнен». Надо было спешить с воздушным нападением на Берлин!

«Генерал Жаворонков предлагает сгруппировать наши дальние бомбардировщики на аэродроме Когул,— начал пояснять адмирал Кузнецов, указывая линейкой на остров Эзель.— Взлетная полоса там, правда, грунтовая, длина ее не вполне подходящая, но есть возможность удлинить полосу... От Когула до Берлина и обратно — 1760 километров — расстояние для ДБ-3 вполне преодолимое...»

«Дерзко, очень дерзко задумано,— произнес Шапошников, глядя на карту с противоположной стороны стола.— Учитывая, что немцы охватили Таллин, и остров Эзель, в общем-то, находится у них в тылу!»

В кабинете на минуту воцарилась знобкая тишина. Ее нарушил адмирал Кузнецов:

«Разрешите продолжать? — Не дождавшись ответа, он заговорил: — Для осуществления первого удара по Берлину генерал Жаворонков решил взять из состава военно-воздушных сил нашего флота две эскадрильи лучших экипажей, летающих ночью».

«Предполагаются и последующие налеты?» — хмуро, но с надеждой спросил Сталин.

«Конечно, товарищ Сталин, если задуманное нами окажется осуществимо. Первая попытка покажет...»

«Тогда надо готовить и другие экипажи, хотя бы еще две-три эскадрильи,— сказал Сталин и, отойдя от карты, взял со своего рабочего стола зеленую папку с донесениями разведки. Подавая документы маршалу Шапошникову, сказал: — Тут точно обозначена часть военных объектов Берлина, которые следует бомбить. А что касается крупповского завода в Эссене, то он для нас пока недосягаем. Может, англичанам пригодится?..— Затем остановился перед Кузнецовым: — Ставка утверждает ваше предложение о бомбардировках Берлина... Вам же лично и отвечать за выполнение операции... А руководить ею вы должны поручить, полагаю, товарищу Жаворонкову».

«Конечно, товарищ Сталин. Жаворонков — автор плана операции...»

Самолет приземлился на посадочную полосу Архангельского аэропорта и, развернувшись, подрулил к железным воротам, за которыми начиналась дорога в город. Молотов увидел в иллюминатор, что его встречала небольшая группа военных в армейской и морской форменной одежде. Порывистый ветер заламывал полы их шинелей, срывал с голов фуражки, и военные придерживали их руками, будто отдавая честь приближающемуся воздушному кораблю.

Когда Молотов вышел из самолета и ступил на трап, ветер и с ним сыграл злую шутку, смахнув с головы шляпу, и она, упав на землю, стремительно покатилась к военным. Ее успел перехватить низкорослый, с багровым лицом адмирал...

Первому Молотов протянул руку генералу Романовскому Владимиру Захаровичу — командующему войсками Архангельского военного округа. По его растерянному, изумленному лицу догадался, что военные не знали, кого встречают. Но Романовский тут же овладел собой и четко отдал рапорт, обращаясь к Молотову, как заместителю Председателя Государственного Комитета Обороны СССР. Моряки, как оказалось, только сейчас начали понимать, что прилет Молотова в Архангельск связан с входом в Белое море и приближением к устью Северной Двины английского крейсера «Лондон», о чем они были уже уведомлены.

Далее все происходило по плану и почасовому графику: небольшая кавалькада закамуфлированных легковых автомашин помчалась к архангельскому морскому порту. В порту Молотов в сопровождении нескольких работников наркомата иностранных дел, генерала Романовского и двух адмиралов пересел на эскадренный миноносец, который тут же устремился вниз по течению Северной Двины. Надо было пройти двадцать миль и взять с борта крейсера «Лондон» английскую и американскую делегации во главе с Бивербруком и Гарриманом.

Военные корабли встретились в устье могучей северной реки, бросили в недалеком расстоянии друг от друга якоря, отдали взаимные салюты флагами, спустили трапы и катера. Вскоре английская и американская делегация оказались на борту советского эсминца.

Была вторая половина дня 27 сентября. Молотов принимал гостей в каюткомпании эсминца за щедро накрытым столом. Банкет начался с его приветственного слова в честь делегаций. Произносились тосты за союзничество, за падение нацизма, за будущую победу. Подняли бокалы даже за Международный Красный Крест, который был представлен здесь с американской стороны Алленом Вордвеллом, известным нью-йоркским адвокатом и близким другом Гарримана.

Как условились со Сталиным, Молотов старался уклоняться от разговоров, связанных с межгосударственными отношениями, взаимными поставками и событиями на советско-германском фронте, дабы в Москве сформулировать все, вместе взятое. Но Аверрел

Гарриман, стройный и моложавый, со свойственной ему деловитостью вдруг спросил у Молотова, устремив на него острый, с прищуром взгляд и чуть склонив набок свое худощавое, продолговатое лицо:

— Господин Молотов, почему вы вместе с Иосифом Сталиным не принимали во внимание неоднократные предостережения с нашей стороны,— он указал взмахом руки на лорда Бивербрука,— о надвигавшемся на вас нападении Германии?

Пока переводчик, щуплый джентльмен, сидевший между Гарриманом и Бивербруком, тщательно переводил им на русский заданный вопрос, Молотов, успевший понять суть вопроса сразу же, уклончиво, с иронической усмешкой ответил:

— Мы исходили из многого. А вот как вам мыслится, господин Гарриман, наша былая пассивность? Как виделась она вашими глазами из-за океана и как понималась?

Наклонившись над столом, Гарриман озадаченно посмотрел в круглое, дрябловатое, с морщинами на подбородке и на лбу лицо лорда Бивербрука, который, загадочно и как-то по-доброму улыбаясь, гладил рукой свою полуоблысевшую голову, стал отвечать как бы от двоих вместе:

— Нам виделись разные причины. Одна из них — горький опыт вашего царя Николая в четырнадцатом году. Царя, вопреки его намерениям, уговорили тогда провести мобилизацию против Австро-Венгрии и Германии за пять дней в конце июля месяца. Он согласился и в то же время отправил личное послание кайзеру, обращаясь к нему «дорогой друг Вилли»; в этом послании царь Николай объяснял кайзеру, что мобилизация русских сил задумана не как враждебный акт... А немецкий генерал Штаф тем не менее потребовал контрмобилизации, и... война стала неминуемой... Возможно, господин Сталин, исходя из опыта царя, старался избежать новой провокации против немцев?

— Вы будете иметь возможность задать этот вопрос лично господину Сталину,— уклонился от прямого ответа Молотов, но при этом добавил: — Мы делали все мыслимое и немыслимое, чтоб избежать войны... Не получилось.

— Тогда бы Англию постигла ваша участь,— мрачно заметил Бивербрук...

И вновь пошли тосты: за русский народ, английский, американский. Выразив надежду в непобедимости Советского Союза, лорд Бивербрук, разведя руки над столом с закусками и разнообразием вин, восторженно заметил, что и в этом обилии он тоже усматривает доброе предзнаменование. Кряжисто-плотный, в потертом и мятом костюме, Бивербрук держал себя просто, без всякой чопорности; даже не верилось, что он — один из крупнейших капиталистов Англии, владелец газетного концерна, который контролирует значительную часть английской прессы. Посмеиваясь, лорд рассказал о том, как ошеломлены были англичане сообщением лондонских газет о первых бомбардировках Берлина советской авиацией; до этого они ведь писа-

ли, что немцам удалось в первые же дни войны полностью уничтожить русский воздушный флот. В рассказе Бивербрука Молотову слышалось скрытое недоумение по этому поводу и обращенный к нему вопрос, замаскированный в разглагольствованиях о том, что обитателям лондонских пресс-офисов до сих пор не верится, что у русских летчиков есть возможность преодолевать столь большое расстояние до Берлина и обратно, какое образовалось после стремительного продвижения немецко-фашистских войск на восток. Но поскольку Бивербрук не задавал об этом прямого вопроса, Молотов ответил в шутливой форме: мол, территория Советского Союза настолько неохватна, что немцам не так просто угадать, откуда можно ждать ударов.

— Но откуда?! — не утерпел Бивербрук.— И как это вам удалось?..

13

Человек испытывает удовлетворение и даже счастье, если воспринимает свою жизнь, как продолжение той, которая была до него, до его рождения — недавно, давно или очень давно. И если при этом он еще и рассматривает собственную жизнь, как звено, соединяющее бытие прошлого с жизнью будущего, берущего или не берущего начало в днях сегодняшних. Сие звено, связующее прошлое, настоящее и будущее, должно быть отлито из прочного человеческого материала (физического и духовного) и являть собой высшую степень крепости характера личности, ее целеустремленности в становлении собственной судьбы и в осуществлении возвышенных, возложенных на него задач современной эпохи.

Таких людей немало на белом свете, в том числе и среди военачальников, хотя, может, не все и не всегда размышляют они о себе именно в столь четко окантованном понимании. Чаще это нравственное естество человека обитает в нем подсознательно, выражаясь в верности долгу и преданности делу, которому он служит.

Трудно сказать, вторгался ли так мыслью сорокадвухлетний генерал-лейтенант авиации Жаворонков Семен Федорович в свое предназначение в жизни, но чувство воинского долга было развито в нем в высшей степени. То, что именно ему поручили лично руководить первыми бомбардировками Берлина, он воспринял как задачу историческую и делал все сверхвозможное для ее выполнения. При сем не забывал, что он еще и в ответе за действия всей военно-морской авиации государства. Иногда спрашивал сам себя: как же случилось, что он, крестьянский сын из Ивановской области, достиг таких высот, которые не снились ни ему, ни его родителям? Но когда всматривался в биографию других военачальников высоких рангов, приходил к пониманию, что ничего удивительного нет и в его собственной судьбе: всем открыла дороги Октябрьская революция. После службы в Красной гвардии и участия в гражданской войне он, как и многие, пошел в науку... Позади годы учебы в Военно-политической академии, затем на курсах усовершенствования командного состава при Военно-воздушной академии им. Жуковского и в Качинской военной авиашколе. Как лучшего выпускника школы Жаворонкова вновь послали в военно-воздушную академию,

но уже на оперативный факультет, где окончательно определилась его будущность на командных постах в военно-морской авиации.

Случается, конечно, что науки, питающие человеческий ум, своим избытком истощают его, и в то же время нравственная польза наук кроме возвеличивания в практической деятельности состоит в том, что делает умного человека еще более человечным, лишенным высокомерия и спесивого чувства собственной исключительности. Именно это, последнее, как само собой разумеющееся, было присуще Жаворонкову и даже выражалось в его внешности. Лобастый, с восточным прищуром глаз под взметнувшимися бровями, со спокойной и широкой улыбкой, он явственно источал понимание людей и веру в них, хотя, когда улыбка Семена Федоровича угасала, глаза его уже будто видели нечто объемное, не менее важное, выплескивали какую-то родившуюся мысль, новую надежду ли, тревогу, или озадаченность... Впрочем, хороший характер человека более поражает в итоге его деяний, чем хорошая книга впечатляет своим финалом...

Возложенная в те дни на генерала Жаворонкова задача, которую он сам и породил ищущей мыслью, легла на него тяжкой глыбой и в то же время придала его энергии стремительность, готовность исчерпывать свои силы до крайнего предела.

Было это еще в первой половине сентября...

Генерал Жаворонков, расстегнув ремень на гимнастерке, лежал на узкой и жесткой казарменной кровати поверх одеяла. Сапоги не снимал, положив ноги на расстеленную газету. У Семена Федоровича болела голова от многодневного недосыпания и от длительного нервного напряжения. На душе было муторно, неспокойно; ощущал, что, несмотря на, в общем, пока удающиеся бомбовые удары по Берлину, он чего-то недодумал, не все сделал так, как надо бы... Да, понесены потери... Но война есть война, хотя гибели некоторых экипажей можно было избежать.

Холодок тревоги поселился в нем, казалось бы , по незначительному поводу после первого налета наших дальних бомбардировщиков на германскую столицу и после доклада об этом наркому Военно-Морского Флота адмиралу Кузнецову Николаю Герасимовичу. Нарком, приняв доклад по радиотелеграфу, отдал новые оперативные распоряжения и, как бы между прочим, сообщил, что видел на столе в кабинете у Сталина справочник о летно-тактических данных самолета Ильюшина ДБ-3Ф.

Жаворонков знал адмирала Кузнецова как человека сильного и трезвого ума, умевшего видеть и оценивать всякие, даже незначительные, явления в их истинном смысле. Впустую он никогда словами не бросался. Значит, надо было думать о смысле его сообщения, искать разгадку.

Семен Федорович тут же начал листать справочник, как бы вникая в его содержание, поставив себя на место Сталина. Разгадка сверкнула в уме, когда перечитывал страницу со сведениями о грузо-

подъемности самолета ДБ-3Ф. Там указывалось, что нагрузки бомбардировщика — одна тысяча килограммов. А его самолеты шли на Берлин с недогрузкой — с бомбами общим весом в восемьсот килограммов — из-за изношенности моторов...

Жаворонков не ошибся, но не мог предположить, что именно по этому поводу последуют из Москвы указания, и он вынужден будет их выполнять, а результаты окажутся трагическими...

И сейчас с нетерпением ожидал приезда генерала Елисеева.

Генерал-майор Елисеев Алексей Борисович — начальник береговой обороны Балтийского района. Жаворонков знал его еще по совместной службе на Тихоокеанском флоте, где Елисеев тоже возглавлял береговую оборону, а он, Жаворонков, командовал военно-морской авиацией.

Радиосвязь с Большой землей авиагруппой особого назначения, за действия которой отвечал Жаворонков, осуществлялась с Эзеля через штаб генерала Елисеева. Полковая радиостанция обслуживала только самолеты, пребывающие в воздухе. Правда, было сделано все возможное, чтобы иметь свою собственную связь с тем же адмиралом Кузнецовым, но немцам удалось перехватить и потопить наш транспорт, вышедший с радиооборудованием из Кронштадта и взявший курс на Моонзундский архипелаг. И после того что случилось вчера на аэродромах Когул и Аста, Семен Федорович ждал новых распоряжений наркома Военно-Морского Флота, которые вот-вот должен был привезти Елисеев. Жаворонков понимал, что налеты на Берлин могут прерваться в любой день, ибо немцы, как доносила разведка, готовятся к решительному штурму Моонзундского архипелага, и аэродромы Когул и Аста окажутся под непосредственным ударом, отразить который немыслимо, ибо нет на островах достаточных сил.

Надо, видимо, готовиться к отчету в Москве. Если так, то придется делить ответственность с командующим Военно-Воздушными Силами Красной Армии Жигаревым Павлом Федоровичем за упущения при формировании и подготовке сводной морской и армейской авиагруппы особого назначения за то, что изношенные двигатели бомбардировщиков вовремя не заменили новыми... Погибли люди, потеряна техника... Сталин умеет строго взыскивать за ошибки даже при тех обстоятельствах, что задание в целом выполняется успешно.

И Жаворонков, словно переведя стрелку часов назад, просеивал сквозь память все, что произошло на островах после его прилета сюда из-под Ленинграда, с аэродрома Беззаботное...

Мысленно вернулся в дни начала августа, которые были над Балтикой то жаркими, то хмурыми, облачными. Операцию надо было тщательно готовить, и эта подготовка слагалась из множества дел и колоссального напряжения сил причастных к ней людей. Моонзундский архипелаг со своим 800-километровым побережьем состоял из островов Эзеля (Сарема), Хиума (Даго), Муху (Моон), Вормси и большого количества мелких островков. Чтобы не позволить выса-

диться на них врагу, требовалось немало сил разных родов войск, особенно на главных островах. Начальник береговой обороны Балтийского района генерал-майор Елисеев — знаток своего дела, энергичный до самозабвения. С седой бородкой, коричневым от солнца и ветров лицом, он своей строгой требовательностью держал штаб и гарнизон островов в постоянной боевой готовности, люди ни на час не прекращали работ по укреплению побережья. Гарнизоны на Эзеле и Муху в целом были хлипкими. Кроме шести береговых батарей калибром 152—180 миллиметров и четырех 76-миллиметровых зенитных батарей там имелись отдельная стрелковая бригада, два инженерных батальона, саперная рота и небольшое число подразделений обслуживания аэродромов и морских причалов. Северный сектор укреплений на островах Хиума и Вормси защищали всего лишь два стрелковых и два инженерных батальона, шесть береговых и две зенитных батареи.

Всего этого было недостаточно, чтоб прикрыть тот же аэродром Когул с воздуха — особенно, если немцам стало известно, что туда 4 августа прилетела для базирования группа дальних бомбардировщиков-торпедоносцев ДБ-3Ф в количестве 12 самолетов. Наличие же вражеской агентуры на островах не исключалось, и надо было сделать многое, чтобы не обнаружить подготовку операции и защитить Когул от вражеских бомбовых ударов. Но не только Когул. На острове Муху строился второй аэродром, куда должны были прилететь еще двадцать тяжелых бомбардировщиков из состава Военно-Воздушных Сил Красной Армии.

В борьбу со шпионами и диверсантами включились усиленная рота эстонского оперативного батальона и эстонский истребительный отряд, созданные усилиями секретаря Курессарского уездного комитета партии Александра Михайловича Муя. Сухощавый, с высоко убегавшей под фуражку залысиной, в очках, он был известен всем проживающим на Эзеле и почитаем всеми как руководитель, у которого слово никогда не расходилось с делом, а энергия направлялась только на добро людям. И когда генерал Жаворонков попросил Муя привлечь трудоспособное население острова для помощи в расчистке и выравнивании рулежных дорожек от взлетной полосы аэродрома Когул к ближайшим хуторским постройкам, впритык с которыми было задумано ставить бомбардировщики и маскировать их сетями, Александр Михайлович сделал это немедленно и, казалось, без всяких усилий. К намеченному сроку дорожки были готовы, и самолеты «поселились» на хуторах. Из Ораниенбаума к Эзелю уже шли тральщики с горючим и авиабомбами.

Прикрывать Когул с воздуха Жаворонков поручил авиаэскадрилье майора Кудрявцева, имевшей в своем составе пятнадцать «Чаек», и трем зенитным батареям. Теперь главное слово было за авиаторами. Выбор генерала пал на 1-й минно-торпедный полк 8-й бомбардировочной авиабригады Балтфлота полковника Евгения Николаевича Преображенского, и пал не случайно. Уже на третий день войны 1-й минно-торпедный и 57-й бомбардировочный полки объединенной авиационной группой в 70 самолетов обрушили на

порт Мемель — его причалы, портовые сооружения, на корабли и транспорты с боевой техникой врага — весь свой бомбовый и торпедный груз. Еще через два дня объединенная группа в составе 230 бомбардировщиков под прикрытием 220 истребителей атаковала аэродромы в Финляндии и Норвегии, на которых базировались самолеты 5-го воздушного флота Германии. 130 самолетов неприятеля были уничтожены. Это явилось только началом обретения опыта, пробой сил, выверкой техники и бойцовских качеств летного состава.

Кроме того, тридцатидвухлетний Евгений Николаевич Преображенский, один из самых одаренных выпускников Военно-воздушной академии им. Жуковского, прошел на Балтике все ступени становления опытного авиационного военачальника — от командира тяжелого воздушного корабля ТБ-3 до командира 57-го бомбардировочного авиационного полка, а затем командира 1-го минно-торпедного авиационного полка. В его послужном списке — и участие в советско-финской войне. В общей сложности он уже налетал свыше полумиллиона километров.

Кажется, прошла целая вечность с 30 июля, когда Жаворонков прилетел из Москвы под Ленинград, на аэродром Беззаботное. Его встречал там полковник Преображенский и батальонный комиссар Оганезов. Официальный рапорт командира полка, дружеские рукопожатия... Затем на окрашенной в зеленый цвет эмке поехали в штаб, размещавшийся в домике лесника в трех километрах от аэродрома. Жаворонков пытливо всматривался в молодое красивое лицо Преображенского. Чуть курносый, улыбчивый, с весьма роскошной густой шевелюрой, он, кажется, больше был похож на «первого парня на деревне», чем на строгого, требовательного командира полка; тем более, как знал Жаворонков, Преображенский часто в свободную минуту брал в руки баян... Комиссар полка Оганезов Григорий Захарович в облике своем, в жестах, в манере говорить запечатлел многие черты мужчин армянского происхождения — орлиные глаза под темными бровями, прямой нос, полные жестковатые губы. И будто в противовес Преображенскому — бритоголовый, по особому крепкий и гордый своей силой.

Жаворонков объяснил им цель своего прилета и распорядился приступить к разработке маршрута на Берлин, подготовке штурманских расчетов и отбору двенадцати лучших экипажей. Преображенский и Оганезов при этом загадочно, с притушенными улыбками переглянулись, что удивило Жаворонкова. Он тут же спросил, кто возглавит новую группу и кто будет флагманским штурманом. Преображенский, как само собой разумеющееся, назвал командиром себя, а флагманским штурманом — капитана Хохлова Петра Ильича. Жаворонков и не сомневался, что услышит другое предложение. Он сам бы лично повел самолеты на Берлин, но на бомбардировщике ДБ-3Ф летать ему не приходилось. Поразило неожиданное признание Преображенского: они с Хохловым уже разработали план налета на логово Гитлера; почти во всех деталях этот план совпадал с замыслами Жаворонкова. Хохлов даже проложил и рассчитал

маршрут между Эзелем и Берлином, взяв за исходную точку маяк на южной оконечности полуострова Сырве...

Молодец Хохлов! Лучший штурман в авиации Балтийского флота. Жаворонков будто воочию увидел губастое, с крупным носом лицо капитана, взгляд спокойный, глубокий, вопрошающий... Комиссаром группы утвердили старшего политрука Полякова Николая Федоровича.

При подготовке операции очень пригодился документ, переданный Жаворонкову адмиралом Кузнецовым,— донесение закордонного агента НКВД, хотя под руками имелась подробная карта Берлина. Цели для поражения намечали, исходя из того, что в столице рейха имелось десять самолетостроительных заводов, семь авиамоторных, восемь авиавооружения, двадцать два станкостроительных и металлургических заводов, семь — электрооборудования, тринадцать газовых, семь электростанций, двадцать четыре железнодорожных станций и узлов. Объектами для бомбометания кроме ставки Гитлера наметили танкостроительный и авиамоторный завод «Даймлер Бенц», заводы «Хейнкель», «Фокке-Вульф», «Шварц», «Симменс», «Цеппелин» и те железнодорожные станции, откуда отправлялись на восточный фронт воинские эшелоны. Запасными целями являлись порты Штеттин, Данциг, Гдыня, Мемель и Либава.

4 августа Жаворонков с экипажем старшего лейтенанта Фокина перелетел на аэродром Когул. Строй бомбардировщиков с бомбами на борту — всего пока двенадцать машин — вел полковник Преображенский. На второй день в Когуле приземлились еще семь ДБ-3Ф, которые задержались в Беззаботном из-за ремонта.

Изношенность моторов — и тогда была главной болью Жаворонкова... Будто изношенность собственного сердца. Вот-вот должны были поступить новые моторы для замены ими хотя бы самых ненадежных, давно выработавших свои технические ресурсы. Но время не ждало. Моонзундский архипелаг находился под угрозой вторжения врага, и надо было успеть нанести удары по Берлину.

В ночь на 5 августа Преображенский послал в разведывательный полет к Берлину пять загруженных бомбами самолетов под командованием капитана Андрея Ефремова. Перед ними стояла задача: в сложных метеорологических условиях пройти по намеченному маршруту над морем, разведать противовоздушную оборону на северных подступах к немецкой столице и, учитывая изношенность моторов и взлет самолетов с грунтовой полосы длиной всего лишь в 1300 метров, определить максимальную бомбовую нагрузку машин.

Задача была выполнена группой капитана Ефремова превосходно. Все самолеты возвратились в Когул невредимыми. И это несколько рассеяло тревоги генерала Жаворонкова, поселило уверенность, что изношенные моторы, получив дополнительный запас прочности из умелых рук техников и инженеров, сдюжат бомбовую нагрузку до восьмисот килограммов.

Но на второй день случилось тяжкое летное происшествие с экипажем полковника Преображенского. И опять тревога сжала

сердце в ледяной комок... Поступил приказ звеном бомбардировщиков уничтожить командный пункт 18-й немецкой армии в Пярну. Преображенский решил вести звено сам. Но даже он не мог предвидеть, что жара, достигавшая в тот день почти тридцати градусов, сыграет злую шутку с изношенными моторами его самолета, под которым подвешены три бомбы по двести пятьдесят килограммов. Самолет с перегретыми моторами еле-еле оторвался от взлетной полосы, с трудом перелетел через зеленую стену леса, и вдруг один из них совсем сдал. Вместо набора высоты самолет стал снижаться на болотистый луг с валунами и пнями... Преображенский успел выпустить шасси, приземлить самолет, но остановить его не смог — отказали рули и тормоза. Самолет несло по инерции сквозь пни и валуны, которые были опаснее мин: наткнется любой из бомб на препятствие — и взрыв машины и гибель экипажа неминуемы. Бомбардировщик протаранил дощатый забор перед хуторскими постройками и, зацепившись опустившимся хвостом за валун, остановился, положив левое крыло на камышовую крышу сарая и взлохматив ее...

Это была трагическая ситуация, но было и чудом — самолет не взорвался на бомбах!.. С каким волнением мчался Жаворонков на эмке к хутору! С ним в машине сидели с окаменевшими лицами начальник штаба авиагруппы капитан Комаров и старший инженер авиагруппы военинженер 2 ранга Баранов. Облегченно вздохнули только тогда, когда увидели экипаж невредимым, хотя машина была изрядно покорежена.

И вот все готово к полету на Берлин, не было только погоды. В небе густо пластались, обгоняя друг друга, лохматые тучи. Сильный порывистый ветер гнул к земле кустарники за границами аэродрома. Временами шел дождь. Начальник метеослужбы штаба ВВС флота капитан Каспин даже обещал грозу. А немцы почти каждую ночь бомбили Москву, и адмирал Кузнецов, которого Сталин при встречах с ним спрашивал о том, скоро ли будет ответный удар по Берлину, торопил Жаворонкова.

Идти в дальний полет при плохой погоде, да еще при туманах, было рискованно. Не просматривались с воздуха даже такие ориентиры, как острова Готланд и Борнхольм. В слепом же полете легко сбиться с курса, особенно при возвращении на свой аэродром. В эти дни Преображенский непрерывно тренировал экипажи группы в нахождении подходов к аэродрому в ночных условиях. С этой целью посылал их бомбить морские порты Данциг, Свинемюнде, Пиллау, Мемель, Либаву. Плохая погода помешала только одному экипажу — лейтенанта Леонова вернуться в Когул, на свой аэродром. Он не нашел его, пытался сесть на закрытый туманом аэродром Котлы, но неудачно: самолет потерпел катастрофу, экипаж погиб.

14

Наконец капитан Каспин доложил, что погода ожидается 8 августа. И хотя прогнозы метеослужбы не всегда сбывались, генерал-лейтенант Жаворонков принял решение идти на Берлин вечером 7 августа

1941 года — это первый ответный удар за бомбардировки немцами Москвы.

Сложные чувства сопутствуют военачальнику, отдающему приказ почти на смертное дело, особенно, когда люди, получающие приказ, не только знакомы тебе в лицо, а близки по душевному складу, образу жизни, по устремлениям... В первый полет на Берлин отправились три звена — двенадцать дальних бомбардировщиков с до краев залитым в баки топливом, с восемью подвешенными на каждом самолете стокилограммовыми бомбами — фугасными и зажигательными, и с кипами листовок на борту, адресованных жителям Берлина. Если б только не мучила мысль, что на всех самолетах двигатели уже перерасходовали свой установленный лимит работы. Все ли возможное сделали инженеры и техники, чтоб продлить их жизнь?

Первое звено повел полковник Преображенский. В составе звена — экипажи летчиков капитана Михаила Плоткина, старшего лейтенанта Петра Трычкова и лейтенанта Николая Дашковского. Второе звено возглавлял командир 2-й эскадрильи капитан Василий Гречишников; с ним шли экипажи капитана Георгия Беляева, старших лейтенантов Афанасия Фокина и Финягина. Третье звено, во главе с командиром 1-й эскадрильи капитаном Андреем Ефремовым, состояло из экипажей капитана Евдокима Есина, старшего лейтенанта Русакова, лейтенанта Алексея Кравченко. Некоторых летчиков генерал Жаворонков по именам не помнил.

Каждому экипажу был указан конкретный военный объект в Берлине, на который надо сбросить бомбы. Генерал Жаворонков хорошо знал, как, впрочем, знали и все экипажи, с чем им придется столкнуться. Летние ночи на Балтике — с воробьиный нос. Слетать на Берлин и вернуться обратно — темноты не хватит; вечерний свет от утреннего отделяли всего лишь несколько часов. Значит, была опасность, что с прибрежных аэродромов Латвии и Литвы поднимутся немецкие истребители и пойдут наперехват нашим бомбардировщикам — по пути их на Берлин или при возвращении на Эзель. Наши «Чайки» не могли оказать «мессершмиттам» должного сопротивления, поскольку сильно уступали последним в скорости. Берлин тоже не простой орешек, он прикрывался 100-километровым огненным кольцом из тысяч зенитных орудий. Над городом подняты в небо аэростаты воздушного заграждения. Двумя поясами охватывали германскую столицу сотни прожекторов, а на 60 аэродромах вокруг дежурили в первой боевой готовности сотни ночных истребителей-перехватчиков, оснащенных мощными фарами.

И будто воочию увидел, как флагманский штурман полка капитан Петр Ильич Хохлов следил за проложенным им маршрутом, цепко глядя на компасы, на часы, на карту, сверяясь, по возможности, с земными ориентирами. Самолеты летели над Балтийским морем к Штеттину, а потом развернулись на юг и пошли на Берлин. Почти 1800 километров туда и обратно, из них 1400 километров лететь над морем.

То была, как и последующие, бессонная тягучая ночь; взгляд то и дело устремлялся на часовые стрелки. Мысленно Жаворонков

видел полыхающее огнями ночное берлинское небо, видел бомбежку логова фашистского фюрера... Вдруг на командный пункт прибежал радостно-взволнованный полковой радист, протянул Жаворонкову расшифрованную радиотелеграмму от Преображенского.

«Мое место — Берлин. Работу выполнил. Возвращаюсь»,— прочитал на бланке и ощутил, как волна радости захлестнула сердце. Молодец, Преображенский!.. Ну а как же остальные экипажи?..

И вновь было тягостное ожидание... Наступило утро, принесшее радость: все самолеты возвратились на аэродром. Однако над Берлином побывали только пять из двенадцати. Остальные по причине плохих погодных условий и, естественно, из-за недостаточной выучки экипажей отбомбились по запасной цели — морскому порту Штеттин. И то хлеб!..

Об итогах налета Жаворонков немедленно доложил в Москву, наркому Военно-Морского Флота адмиралу Кузнецову.

Немецкие радиостанции и газеты без промедления оповестили Германию и весь мир:

«В ночь с 7 на 8 августа крупные силы английской авиации в количестве до 150 самолетов пытались бомбить Берлин. Действиями истребителей и огнем зенитной артиллерии основные силы авиации противника рассеяны. Из 13 прорвавшихся к городу самолетов 9 сбито».

Ошеломленные англичане на второй день вынуждены были опровергнуть гитлеровскую брехню. Их газеты, выражая недоумение, сообщили, что в ночь на 8 августа вследствие неблагоприятных условий погоды ни один английский самолет в воздух не поднимался.

Англичан уточнила газета «Правда», сообщившая:

«В ночь с 7 на 8 августа группа советских самолетов произвела разведывательный полет в Германию и сбросила некоторое количество зажигательных и фугасных бомб над военными объектами в районе Берлина. В результате бомбежки возникли пожары и наблюдались взрывы. Все наши самолеты вернулись на свои базы без потерь».

8 августа генерал Жаворонков узнал, что в его распоряжение приказом Сталина выделено для налетов на Берлин из состава дальнебомбардировочной авиации Военно-Воздушных Сил Красной Армии еще две эскадрильи самолетов ДБ-3Ф — пока двенадцать машин. В этот же день начальник береговой обороны генерал Елисеев привез на аэродром Когул принятую его радиостанцией поздравительную телеграмму от Верховного Главнокомандующего, адресованную летчикам Краснознаменной Балтики, что вызвало в группе шквал ликования. Жаворонков устроил для всего личного состава праздничный обед...

Еще было совершено несколько налетов на Берлин — и новый повод для торжеств. Москва передала по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командиров, штурманов и других членов экипажей, наиболее отличившихся при воздушных налетах на Берлин. Пяти авиаторам, в том числе полковнику Преображенскому и капитану Хохлову, было присвоено звание Героя Советского Союза. Двенадцать человек награждены орденами Ленина,

двадцать один — орденами Красного Знамени и среди них — генерал-лейтенант авиации Жаворонков.

Но то было потом...

Полет в ночь на 9 августа оказался более удачным, чем первый, хотя небо, начиная с дальних подступов к Берлину и над Берлином, дышало смертью. Тысячи зенитных снарядов взрывались вокруг наших бомбардировщиков, образуя завесы кипящего вспышками огня. В вышине носились десятки истребителей с включенными фарами. Еще когда только наши самолеты оказались на траверзе Свинемюнде, они уже были встречены огнем зенитной артиллерии с кораблей, специально выведенных немцами в море. Но все двенадцать бомбовозов побывали над Берлином. На аэродром не вернулся из района южной части Балтийского моря только один самолет — летчика старшего лейтенанта Финягина. Судьба экипажа неизвестна.

Бомбардировки Берлина продолжались каждую ночь. В ней начали принимать участие приземлившиеся на аэродром Аста двенадцать армейских бомбардировщиков ДБ-3Ф — группа в пять самолетов майора Щелкунова Василия Ивановича и группа в семь самолетов капитана Тихонова Василия Гавриловича. Генерал Жаворонков подчинил их полковнику Преображенскому, а тот немедленно начал обучать экипажи тому, что постиг сам в дальних ночных полетах и чему научились морские летчики и штурманы. В состав нескольких армейских экипажей были включены штурманы, уже летавшие на Берлин. И началась совместная боевая работа морских и армейских летчиков.

В один из дней от адмирала Кузнецова поступило по радио указание: «Верховный Главнокомандующий рекомендует при бомбежке Берлина применять бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1000. Лучшими экипажами проверьте эти возможности и донесите...» Далее в телеграмме сообщалось, что на Эзель должен прилететь по поручению Сталина уполномоченный Ставки Верховного Главнокомандования полковник Коккинаки Владимир Константинович.

Значит, не ошибся в своей догадке генерал Жаворонков. В Москве им недовольны... А что, если в самом деле он занизил бомбовую загрузку самолетов?..

И вот на аэродроме Когул приземлился истребитель И-16. Из самолета выбрался прославленный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Коккинаки. Жаворонков, как и все летчики, знал о его мировых рекордах. Еще в июле 1937 года Владимир Константинович поднял свой ДБ-3 на высоту 11 294 метра с грузом в 500 килограммов, а потом на 11 404 метра с грузом в 1000 килограммов. Вскоре этот же вес он поднял на 12 100 метров. И совсем ошеломляющий рекорд Коккинаки установил в сентябре того же года: на ДБ-3 с грузом в 2000 килограммов он поднялся в небо на высоту 11 005 метров...

Для беседы с уполномоченным Ставки генерал Жаворонков пригласил командиров морской и армейской авиагруппы — Преображенского и Щелкунова, командиров эскадрилий, флагманских штурманов, старшего инженера Баранова и военного комиссара Оганезова.

Коккинаки оказался в затруднительном положении. Сталину ведь он объяснил, что самолет ДБ-3Ф вполне способен по своим техническим данным нести бомбу в одну тонну и получил от него указание разобраться на месте, почему такие возможности этих бомбардировщиков не используются при налетах на Берлин, и принять меры к повышению их бомбовых нагрузок. Но летчики и штурманы, «ходившие» на германскую столицу, доказывали обратное: состояние самолетов такое, что подвешивать к ним бомбу ФАБ-1000 или две бомбы ФАБ-500 нельзя. Высказались все до единого. Наиболее взволнованно говорил Преображенский, поразив Коккинаки своим характером, проявившимся уже в его размышлениях; в них ощущался острый ум, талант летчика, мужество командира полка, твердость и жажда к действию. Он рассказал, как при подходе к Берлину у его самолета отказал один мотор, но экипаж не свернул с курса, сбросил на цель бомбы и сумел на одном же моторе вернуться на аэродром. Подобное случалось и с самолетом майора Щелкунова...

А комиссар полка Оганезов, напомнив, как вернувшись с бомбардировки Берлина, на посадке взорвались и сгорели бомбардировщики лейтенантов Кравченко и Александрова, с трепетным темпераментом объяснял, что изношенность боевых машин, длительный полет в ночных условиях, при кислородном голодании и арктическом холоде на высоте в семь километров, не говоря уже об опасностях при подходе к Берлину и над ним,— все это изматывает летчиков до полусмерти. Физически и морально они устают так, что во время посадки у них уже не хватает сил на точный расчет. В итоге — экипажи гибнут.

И все-таки при молчании всех собравшихся, даже полковника Преображенского, Жаворонков и Коккинаки решили провести эксперимент... Эх, а как терзали Жаворонкова сомнения, как упрямо нашептывал внутренний голос — воздержись! Но сомнения подавил авторитет прославленного Коккинаки; он ведь лучше знал возможности ДБ-3 и ДБ-3Ф. Да, не хватило решимости. Все же следовало проявить твердость характера и доложить адмиралу Кузнецову о немыслимости задуманного. Ведь он лично за все здесь в ответе и за всех в ответе. Взяло верх пробудившееся у Жаворонкова русское авось даже при обычной его бескомпромиссности.

Потом они с Коккинаки и Преображенским до полуночи сидели за чаем в штабном подземелье, еще и еще взвешивали принятое решение, подсчитывали возможности самолета, искали варианты, размышляли. Их глодала тревога, но не покидала и надежда.

Вдруг зазвонил телефон. Адъютант Жаворонкова майор Боков, подававший начальству чай, снял трубку. Дежурный сообщал, что посты ВНОС доложили о приближении к острову Эзель немецких самолетов; по звуку — «юнкерсы».

Вышли из подземелья на воздух. Стояла непроглядная темень, и было непонятно, как смогут «юнкерсы» отыскать в ней какую-либо цель. Ведь подобного еще не случалось. Разгадка пришла, когда вражеские бомбардировщики оказались над аэродромом. Ввысь вдруг взметнулось несколько красных ракет. Чертя по темному небу

огненные дуги, каждая из них падала, роняя искры, на хуторские стоянки ДБ-3Ф. Сомнений не было: работала вражеская агентура, подобравшаяся под покровом ночи к аэродрому. Обезвреживать ее уже было некогда — «юнкерсы» разворачивались, чтобы бросить бомбы на указанные им цели.

И тут майор Боков, смышленый малый, предложил Жаворонкову пускать красные ракеты и нам. Разумно!.. Приказ дежурному: передать на все посты и на зенитные батареи — немедленно стрелять из ракетниц красными зарядами... Хорошо сработала связь. Через минуту десятки красных ракет полосовали ночную темень на огромной площади... «Юнкерсам», потерявшим ориентировку, долго пришлось кружить над аэродромом и сбрасывать фугаски наугад. К счастью, ни одна из них не попала в стоянки самолетов.

Вражеские бомбардировщики ушли восвояси, но из западной стороны аэродрома, где у хуторов стояли четыре ДБ-3Ф, неожиданно донеслись очереди немецких автоматов... Что это? Десант, выброшенный под прикрытием «юнкерсов»?.. Оказалось — нет. Стреляли, пытаясь поджечь наши самолеты, кайтселиты — местные националисты. С ними разделался, взяв многих в плен, эстонский добровольческий истребительный отряд под командованием начальника особого отдела береговой обороны старшего политрука Павловского. Отряд вовремя примчался на аэродром из Курессааре на двух грузовиках...

Теперь надо было ждать и дневных налетов «юнкерсов» (что потом и подтвердилось).

На второй день утром старший инженер Баранов доложил Жаворонкову и Коккинаки: из самолетов, базирующихся в Когуле, только две машины, исходя из состояния их моторов, могут взять на внешнюю подвеску по тонной или по две полутонных фугасных авиабомбы, да и то с риском из-за недостаточной длины взлетной полосы и отсутствия на ней твердого покрытия. Машины эти — капитана Гречишникова и старшего лейтенанта Богачева. А с аэродрома Аста можно попытаться поднять в воздух при максимальной нагрузке самолет старшего политрука Павлова из эскадрильи капитана Тихонова и два самолета из группы майора Щелкунова — машины самого Щелкунова и капитана Юспина.

Итак, вчера вечером с аэродрома Когул под прикрытием поднявщихся в воздух «Чаек» первым стартовал на Берлин экипаж капитана Гречишникова с подвешенной авиабомбой в тысячу килограммов. Лучше было бы Жаворонкову не видеть этого взлета. Самолет медленно набрал разбег и с величайшей натугой оторвался от земли в самом конце взлетной полосы. Видно было, что моторам не под силу такая тяжесть. Уже за пределами аэродрома его качнуло вниз, и еще не убранные шасси ударились о землю. Они тут же, будто глиняные, отвалились от машины, бомба своим тяжелым весом вспахала грунт, и бомбардировщик загорелся... Экипаж успел выбраться из машины и отбежать на безопасное расстояние. То, что бомба сразу же не взорвалась — была чистая случайность...

В это время на аэродроме Аста, где взлетная полоса еще короче, взял разбег для взлета бомбардировщик старшего политрука Павлова с двумя подвешенными бомбами по пятьсот килограммов. Но оторваться от земли он так и не смог. За границей аэродрома бомбы задели за неровности земли и взорвались... Экипаж погиб...

Прошли минуты шокового состояния, и Жаворонков, потрясенный, запретил взлет остальных самолетов с подвешенными тонными бомбами... На Берлин полетели ДБ-3Ф с прежней бомбовой нагрузкой. Коккинаки, тоже крайне удрученный происшедшим, согласился с приказом генерала.

Вчера же вечером ушла радиошифровка в адрес наркома Военно-Морского Флота адмирала Кузнецова о том, что попытка поднять в воздух бомбардировщики с ФАБ-1000 не удалась. Сейчас Жаворонков ждал ответа из Москвы. Его могло и не быть, но чутье подсказывало Семену Федоровичу, что Сталин встревожится случившимся на острове Эзель и потребует подробных объяснений. Чутье не подвело Жаворонкова. Он услышал донесшиеся из главного помещения командного пункта голоса. Его адъютант майор Боков кому-то полушепотом объяснял, что генерал-лейтенант отдыхает.

Семен Федорович рывком поднялся с кровати, затянул ремень на гимнастерке, застегнул воротник и, откинув плащ-палатку, которой был завешен дверной проем, шагнул за перегородку. При ярком электроосвещении увидел начальника береговой службы генерала Елисеева. Большеголовый, при усах, с клинообразной седой бородкой, он выглядел измотанным до крайности. Поздоровались. Елисеев, глядя на Жаворонкова печальными глазами, протянул ему телеграфный бланк. Семен Федорович неторопливо вчитывался в расшифрованную радиограмму. Адмирал Кузнецов вызывал его и полковника Коккинаки в Москву для личного доклада Верховному Главнокомандующему о ходе операции по ответной бомбардировке Берлина.

Жаворонков с облегчением вздохнул: он всегда любил ясность, какой бы она ни была.

15

В приемной Сталина адмирал Кузнецов и генерал Жаворонков застали раньше них приехавшего в Кремль командующего Военно-Воздушными Силами Красной Армии генерала Жигарева. Он был подавлен и взволнован — понимал, что разговор предстоит не из легких. Об этом можно было догадаться и по лицу помощника Сталина Поскребышева. Александр Николаевич хмурился и изредка бросал сочувственные взгляды на военных.

В углу приемной, в высоком футляре на массивной подставке, вдруг зашелестели часы и ударили мелодичным звоном.

— Заходите, товарищи,— сумрачно сказал Поскребышев.

...Сталин прохаживался по кабинету и выслушивал доклад наркома авиационной промышленности Шахурина Алексея Ивановича о ходе производства самолетов, авиамоторов и о перемещении на

восток подведомственных ему заводов. Когда Кузнецов, Жигарев и Жаворонков вошли в кабинет, Сталин холодно поздоровался с ними за руку и пригласил сесть за рабочий стол рядом с Шахуриным.

Жаворонков приготовился докладывать Верховному первым, как руководитель налетов советских бомбардировщиков на Берлин, но Сталин обратился к командующему ВВС:

— Объясните нам, товарищ Жигарев, почему вы послали генералу Жаворонкову только пятнадцать самолетов, а не двадцать, как вам было приказано? Почему у вашей авиагруппы оказались моторы не способными нести полную бомбовую нагрузку? Почему не потребовали у товарища Шахурина дать для их замены новые двигатели? — И Сталин обратился к Алексею Ивановичу: — Товарищ Шахурин, вы снабжаете дальнюю бомбардировочную авиацию новыми двигателями?

— И новыми двигателями для замены старых, товарищ Сталин, и новыми самолетами в целом... Согласно графику, о чем ежедневно вам докладываю.

— Так как же понимать вас, товарищ Жигарев? — Сталин остановился против командующего ВВС и с грозной укоризной смотрел ему в лицо.

Жигарев мог оправдаться тем, что приказ о создании армейской авиагруппы поступил внезапно, а сроки его выполнения были крохотными; армейская дальняя бомбардировочная авиация понесла большие потери, а требования командующих фронтами о бомбовых ударах в дальних тылах противника по стратегическим целям возрастают с каждым днем. Но оправдываться не стал, а признал вину — свою личную, своего штаба и технических служб...

Доклад генерал-лейтенанта Жаворонкова вылился в подробный рассказ об условиях, в которых производятся налеты на Берлин с аэродромов Когул и Аста. Жаворонков говорил о их малой пригодности, изношенности самолетных двигателей, плохих погодных условиях, о мощности противовоздушной обороны германской столицы. Рассказал о боевых потерях и о героизме летных экипажей... Особо остановился на неудаче с ФАБ-1000.

Сталин слушал внимательно и, прохаживаясь по ковру вдоль стола, дымил трубкой. Иногда, останавливаясь, задавал вопросы. Было заметно, что гнев его постепенно угасал. И когда нарком Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов попросил у него разрешения оставить Жаворонкова в Москве для исполнения своих прямых обязанностей командующего военно-воздушными силами Военно-Морского Флота, ибо оперативная обстановка обострилась не только на Севере, но и на Юге, а также требовалась повышенная боевая готовность на Дальнем Востоке, Сталин согласился с этим. Командование особой морской и армейской авиагруппой на Моонзунде решили возложить на командира 1-го минно-торпедного авиационного полка полковника Преображенского.

Наступила пауза. Шахурин переглянулся с Кузнецовым — пора, мол, и честь знать. Но Сталин по-прежнему молча прохаживался по кабинету, над чем-то размышляя. Вдруг остановившись, он повер-

нулся лицом к столу, вынул изо рта трубку и взмахнул ею перед своим лицом. Тут же заговорил:

— Мы имели возможность бомбить Берлин с первых дней войны. Но мы помнили, что Берлин — крупный столичный город с большим количеством трудящегося населения, в Берлине много иностранных посольств и миссий. И трудно было гарантировать, что наши бомбы, предназначенные для военных объектов, не упадут и на жилые кварталы.— Сталин вновь пососал трубку, выдохнул облако ароматного дыма и продолжил: — Мы полагали, что фашисты в свою очередь будут воздерживаться от бомбежки нашей столицы Москвы. Но, оказалось, для извергов законы не писаны. Они бомбят Москву. Жертвами их налетов являются не военные объекты, а жилые здания, больницы, поликлиники. Разбомбили три детских сада, театр имени Вахтангова, одно из зданий Академии наук... Разве можно было оставить безнаказанными эти зверские налеты немецкой авиации на Москву? А что они сделали с Минском, Смоленском, Киевом?.. На бомбежки нашего мирного населения мы будем отвечать систематическими налетами на военные и промышленные объекты Берлина и других городов Германии.

Сталин умолк, перевел взгляд на Шахурина, и в этом взгляде, чуть прищуренном, затеплилась доброжелательность. Он сделал несколько шагов по кабинету — туда и обратно — и вновь остановился против Шахурина. Указав на него трубкой, сказал:

— Вот учитесь у нашего наркома авиационной промышленности. У него все как на ладони. Правительство потребовало от товарища Шахурина, не взирая ни на какие трудности, срочно дать мощные четырехмоторные бомбардировщики Пе-8 для сформирования новой дивизии.— Сталин перевел построжавший взгляд на генерала Жигарева: — Товарищ Жигарев, как командующий нашими Военно-Воздушными Силами, сформировал из полученных самолетов... какой номер дивизии?

— Восемьдесят первый, товарищ Сталин,— ответил Жигарев.— Ее командиром назначен Герой Советского Союза Водопьянов.

— Это мы знаем! — Сталин вновь зашагал по кабинету.— Товарищ Водопьянов должен со своей новой дивизией держать под личной «опекой» Берлин, да так, чтоб Гитлера бросало от нее в жар и в холод... Но это не значит, что удары по фашистской столице с Моонзундских островов должны прекратиться... Товарищ Жаворонков по-прежнему отвечает за действия особой авиагруппы полковника Преображенского.

— Есть отвечать, товарищ Сталин!

Так уж устроен человек: если отдал он частицу своей жизни какому-то важному делу, оно, это дело, продолжает оставаться в его мыслях и сердце, сливаясь с новыми заботами, которыми не обделяет текучая повседневность, особенно военачальника, в тяжкую годину войны. Чем бы ни занимался Семен Федорович Жаворонков, руководя действиями военно-морской авиации, а мысль постоянно

возвращала его на Балтику, к острову Эзель. Полковник Преображенский каждый день доносил радиограммами о продолжавшихся бомбардировках Берлина, о постоянных налетах «юнкерсов» на аэродромы Когул и Аста, о потерях в личном составе и технике. Жаворонков, готовя оперативные сводки для наркома Военно-Морского Флота о действиях на фронтах военно-морской авиации, особое место уделял в них сведениям, полученным от Преображенского.

Эзель, как и весь Моонзундский архипелаг, уже был полностью блокирован немцами, но продолжал оставаться стартом для нанесения бомбовых ударов по столице Германии. Они осуществлялись до 5 сентября. 6 же сентября с восходом солнца на Когул обрушилось под прикрытием «мессершмиттов» несметное количество «юнкерсов». Группа сменяла группу, пикируя на окружавшие аэродром хутора, где были замаскированы наши самолеты. Бомбардировка длилась до заката солнца. Итог ее был тяжелым: бомбы попали в шесть ДБ-3Ф, и они сгорели. В морской авиагруппе Преображенского осталось всего лишь четыре бомбардировщика; один из них с погнутыми винтами, и их надо было выправлять. Армейской авиагруппе особого назначения, в которой уцелело только три самолета, несколькими днями раньше было приказано главкомом авиации перелететь на Большую землю. Такой же приказ получил и полковник Преображенский от генерал-лейтенанта авиации Жаворонкова.

Трудное и страшное было расставание с островом. Три бомбардировщика выруливали на взлетную полосу, до предела загруженные людьми. Это были штабные работники, экипажи сожженных немцами бомбардировщиков и часть наиболее опытных авиаспециалистов.

Четвертый бомбардировщик — старшего лейтенанта Юрина,— после ремонта, через два дня, тоже перелетел на Большую землю.

На острове осталось много младших специалистов инженерно-технической службы и почти весь батальон аэродромного обслуживания во главе с майором Георгиади. Их слили в одну роту, вооружив ее пулеметами, и передали в распоряжение генерал-майора Елисеева.

Защищая Моонзундский архипелаг, все бойцы и командиры роты погибли до единого человека.

16

Некоторые дипломатические несуразности, озадачивавшие Молотова еще в Москве, стали для него более очевидными на обратном пути из Архангельска. Союзнические делегации летели в Москву на четырех советских двухмоторных самолетах, эскортируемых истребителями, поднимавшимися в воздух с попутных военных аэродромов. Полет длился пять часов на небольшой высоте, с которой было видно сквозь иллюминаторы, как осыпалась с деревьев листва в лесах, делая их все более прозрачными, а по горизонту темно-голубыми, дымчатыми.

Вначале планировалось, что он, Молотов, и сопровождавшие его лица полетят в отдельном от делегации самолете; Гарриман

и Бивербрук — тоже в разных машинах. Но когда после приезда в аэропорт объявили порядок посадки в самолеты, Гарриман с веселой непринужденностью изъявил желание не разлучаться с господином Молотовым и лететь в его обществе, дабы разделить с ним унылость многочасового путешествия и, если господь бог надоумит, высказать какую-либо благую мысль, полезную для обоюдного понимания событий в мире и для предстоящих переговоров в Москве.

Конечно же, Молотов с радушием пригласил Гарримана в свой самолет, правда, подумал, что американец, возможно, заботится о большей своей безопасности в полете... Впрочем, может, и пустой была эта мысль, зато оказалось потом, что совместно проведенные пять часов в воздухе действительно были для Молотова полезными. Гарриман, сидя в кресле напротив Молотова, прижавшись грудью к разделявшему их столу, поглядывал на примостившегося сбоку стола молодого русского переводчика и вспоминал о своем деловом визите в Москву 15 лет назад, когда по улицам советской столицы еще ездили дрожки. Рассказывал, как ему представлялась по сообщениям американских корреспондентов и дипломатов сегодняшняя Москва: замаскированный Кремль, стена которого из-за Москвы-реки и из окон английского посольства виделась, как улица домов с остроконечными крышами. Над излучиной самой реки поднят гигантский холст. Мавзолей Ленина на Красной площади укрыт под деревянным сооружением, к Большому театру тоже сделаны достройки, поглотившие его очертания...

Гарриман был пусть немногословным, но умелым и деликатным собеседником. Незаметно он перевел разговор на трудности, которые стоят лично перед ним, ввиду того что он ощущает шаткость взглядов и позиций не только американского посла Лоуренса Штейнгардта в Москве, но и других видных сотрудников их посольства, особенно военного атташе: все они полагают (тут Молотову послышался и скрытый вопрос к себе), что Москва будто через несколько недель неизбежно окажется в руках немцев и нынешняя миссия Гарримана и Бивербрука — дело якобы несерьезное и бесперспективное...

Вслушиваясь в монотонный голос переводчика, Молотов вспоминал о позавчерашней беседе с послом Уманским, который после прилета из Лондона в Москву высказывал соображения о том, что для Гарримана и Бивербрука, по его, Уманского, догадкам, нежелательно присутствие их послов во время переговоров на высшем уровне. Казалось странным, что подобное желание было и у Сталина, и у него, Молотова,— почему-то не доверяли они высшим дипломатам, представлявшим США и Великобританию в Москве. Может, об этом недоверии известно Лондону и Вашингтону? Вполне вероятно.

Не умолчал Гарриман и о своем недовольстве английским послом в Москве господином Криппсом. На борту крейсера «Лондон» по пути в Архангельск была перехвачена и расшифрована радиограмма, посланная Криппсом в Лондон министру иностранных дел Антони Идену. Английский посол раздраженно высказывал недоумение по поводу того, что в составе делегации США оказался американский журналист Квентин Рейнольдс, весьма популярный в

Великобритании ведущий радиопередач. Гарриман лично пригласил с собой Рейнольдса (не для участия в переговорах), и его ярость вылилась в сердитую радиограмму протеста тому же Идену. Но отправить ее в эфир с крейсера «Лондон» было бы неразумным, ибо немцы могли обнаружить нахождение крейсера в море и атаковать его. Тогда свое возмущение поступком Криппса Гарриман выразил лорду Бивербруку, который в ответ, к удивлению Гарримана, спокойно предложил обойтись на переговорах без своих послов и своих переводчиков: это, мол, предоставит им — Гарриману и Бивербруку — свободу в высказываниях Сталину личных соображений, а затем позволит сделать собственные доклады военным кабинетам без чьих-либо подсказок и без противоречий...

В итоге бесед с Гарриманом в самолете у Молотова замкнулся четкий круг понимания пусть и второстепенных, но все-таки сложностей, которые надо будет учесть во время переговоров.

Когда подлетали к Москве, случилось неожиданное: какая-то наша зенитная батарея открыла по самолетам стрельбу. Пилоты круто спикировали на ближайший лес... Только потом была посадка в Центральном аэропорту, украшенном государственными флагами США, Англии и СССР. Прилетевших встречали почетный караул, представители дипломатических миссий, послы США и Англии, первый заместитель Наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинский, адмирал Н. Г. Кузнецов, генерал Ф. И. Голиков, генеральный секретарь наркоминдела А. А. Соболев и другие, как потом оповещали московские газеты, официальные лица. У главного здания аэропорта, на фланге почетного караула, играл, захлебываясь в упругих порывах ветра, духовой оркестр. Мелодии гимнов Англии и США, а также гимн Советского Союза «Интернационал» прозвучали без особой торжественности, чему, видимо, были виной непогодная хмурь и настороженность зенитных орудий, смотревших в небо расчехленными стволами прямо с обочин взлетных полос аэродрома.

Послы Англии и США, приготовившиеся к тому, чтобы сопровождать посланцев своих государств в расположение посольств, крайне удивились, услышав от Молотова, что обеим делегациям предоставлена лучшая в Москве гостиница — «Националь», куда и направится сейчас их автомобильный кортеж. А Вышинский, чтобы развеять недоумение послов, обяснил: ночная Москва, мол, находится под постоянной угрозой бомбовых ударов немецкой авиации, и высокие зарубежные гости будут иметь возможность, в случае необходимости, пользоваться в качестве бомбоубежища станцией метро «Площадь Революции», которая в двух шагах от гостиницы «Националь»...

В этот же день, 28 сентября 1941 года (это был понедельник), Гарримана и Бивербрука (без послов их стран) пригласили к Сталину. В 9 часов вечера, когда Москва была уже затемнена, на одном из посольских автомобилей они приехали в Кремль. Сталин встретил гостей скупой улыбкой, крепкими рукопожатиями и приветственной тирадой, выражавшей удовлетворение их благополучным путешествием по морскому и воздушному пути в Москву. Поинтересовался

самочувствием президента Рузвельта и премьера Черчилля. Каждая его фраза тут же звучала по-английски — переводчик хорошо знал свое дело.

Затем Сталин шагнул в сторону, давая гостям возможность поздороваться с Молотовым и выполнявшим роль переводчика Максимом Литвиновым.

Сегодня Молотову отводилась роль молчаливого участника этой первой встречи — так они условились со Сталиным, учитывая, что в августовских переговорах тридцать девятого года с немецким имперским министром фон Риббентропом, завершившихся подписанием соглашения о взаимном ненападении, он, Молотов, по мнению руководящих кругов Англии и Америки, играл заглавную роль. И сейчас ему оставалось только наблюдать, как Бивербрук пожимал руку Литвинову, хлопал его по плечу и скороговоркой напоминал об их былых встречах, особенно в Женеве, когда в Лиге Наций они, ко всеобщей нынешней печали, не сумели договориться о коллективной безопасности, и вот теперь пожинают плоды тогдашней неуступчивости. Гарриман, как и Бивербрук, тоже был знаком с Литвиновым. Он с некоторым недоумением всматривался в его одутловатое лицо, окидывая взглядом надетый на нем поношенный костюм. Невдомек было высоким гостям, что работники Наркоминдела СССР в «пожарном» порядке разыскали бывшего пока не у дел Литвинова и еле успели привезти его в Кремль к назначенному времени; именно Гарриман за три часа до начала встречи высказал пожелание видеть Литвинова в качестве переводчика.

Литвинов, сконфуженно улыбаясь, кидал тревожные взгляды на Сталина, давая понять Гарриману и Бивербруку, что они своим к нему вниманием в столь ответственные, может, даже исторические минуты ставят его в неловкое положение, хотя Сталин объяснил главам союзнических миссий, что Максим Литвинов, бывший Нарком иностранных дел СССР, является на этом совещании членом советской делегации, которую официально возглавляет нынешний Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов.

Все расселись за продолговатым столом. Гарриман и Бивербрук — по одну сторону, Сталин и Молотов — напротив них. Литвинов сел у торца стола, как предложил ему Сталин — для удобства выслушивания обеих сторон и для перевода. На другом торце стола, спиной к двери, казалось безучастный ко всему, сидел помощник Сталина Поскребышев и записывал в толстую тетрадь ход переговоров, касаясь только их конкретной сути...

Как и ожидалось, разговор начал Сталин. Его сдержанная улыбка спряталась под усы, лицо помрачнело и сделалось непроницаемым:

— Москва, весь советский народ и наши Вооруженные Силы сердечно приветствуют вас, господа, на нашей земле. Мы очень рады вашему прибытию, хотя за эти месяцы, как началась против нас фашистская агрессия, мы отвыкли чему-либо радоваться. Буду предельно откровенным с вами: ситуация на наших фронтах остро критическая...— И Сталин начал подробно излагать оперативно-

тактическую обстановку на всех участках советско-германского фронта, ни в какой мере не упрощая ее и не приукрашивая.

Гарриман и Бивербрук не отрывали глаз от выщербленного оспой усталого лица Сталина, с волнением вникали в каждую его фразу, видимо сопоставляя услышанное с тем, что им было известно из сообщений сотрудников своих посольств, которые с твердой убежденностью предсказывали неминуемое и скорое падение Москвы.

Сталин, конечно, догадывался об этой главной тревоге союзников.

— Москву мы уже потеряли бы,— продолжил он,— если б Гитлер наступал сейчас не на трех фронтах одновременно, а сосредоточил все свои главные силы на московском направлении... Москву же нам надо удержать любой ценой не только по политическим соображениям. Москва — главный нервный центр всех наших будущих военных операций. И мы делаем все возможное и сверхвозможное, чтоб не отдать врагу столицу.

— А если не удастся этого сделать? — не удержался от вопроса Бивербрук, промокая платком морщинистый лоб и глубокую залысину.

В ответ Сталин неожиданно засмеялся и тут же пояснил причину своего минутного веселья:

— В одной американской газете мы видели забавную карикатуру. На ней изображены Сталин, Тимошенко и Молотов со шпорами на голых пятках в гигантском прыжке через Уральский хребет — якобы удираем от немцев... Так вот: если союзники и не окажут нам помощи, все равно мы готовы вести оборонительную, отступательную войну вплоть до Уральских гор...

Сталин вдруг поднялся, подошел к книжному шкафу, сдвинул стеклянную заслонку и взял книгу в жестком зеленом переплете. Это были «Мысли и воспоминания» Бисмарка. Он начал перелистывать ее, пытаясь найти нужную ему страницу, но она не попадалась, и Сталин, захлопнув книгу, встряхнув ею в поднятой руке, пояснил:

— Железный канцлер Бисмарк, на что обратил внимание Ленин, еще в те времена понимал силу и непобедимость русского народа!.. Не потому, что канцлер извлекал уроки из походов в Россию Карла Двенадцатого и Наполеона Первого... Он видел широкие российские пространства, понимал их стратегическое значение. В этой книге Бисмарк утверждает, что даже при счастливом ходе войны против России никто не сумеет победить ее из-за необъятных возможностей огромной страны... Но мы рассчитываем, поразмышляв над нашей военной и экономической стратегией и проницательно вглядевшись в нашу всеобъемлющую тактику, что немцам, поддавшимся на авантюру ефрейтора Гитлера, будет поворот уже от Московских ворот.— Сталин поставил на полку книгу, сел за стол и продолжил:— И это даже при том условии, что у них, вместе с их сателлитами, пока полное превосходство в авиации, танках, артиллерии, в количестве дивизий и в резервах для боевых действий.— Подтвердив свою мысль цифровыми показателями, сказал: — Мы очень надеемся и на вас, господа,

полагая, что вы понимаете: речь идет не только о Советском Союзе, о странах Европы, порабощенных германским фашизмом, но и о вашей безопасности — народов Великобритании и Соединенных Штатов. При наличии у вас доброй воли вы могли бы помочь нам уравняться в силах с Германией.

Гарриман и Бивербрук, переглянувшись, придвинули ближе к себе раскрытые блокноты, понимая, что Сталин перейдет сейчас к конкретным предложениям.

Но непостижимы законы неожиданных вспышек человеческой мысли. Сталин вдруг вспомнил о том, как утром на Политбюро они совещались — где принимать сегодня вечером глав союзнических миссий в случае налета на Москву фашистской авиации? Правда, метеорологическая служба предсказывала нелетную погоду с осадками в виде мокрого снега. Но так ли это на самом деле? И с досадой подумал о недостроенном кремлевском бомбоубежище. Сегодня они ходили смотреть, как завершаются там дела. Спустились на знакомом лифте уже не на второй этаж, где находилась его квартира, а на самое дно прорытой под лифтом глубокой шахты. Вышли из кабины на бетонированную площадку и зашагали цепочкой по длинному дугообразному коридору — настолько узкому, что двум человекам не разминуться в нем. В конце подземного хода перед членами Политбюро открылись одна, а затем вторая бронированные двери... Бомбоубежище представляло собой не очень большую комнату. В ней — диван, стол, покрытый зеленым сукном, полужесткие стулья, тумбочка с двумя телефонными аппаратами, застекленный шкафчик с посудой на полках, в углу на крючке — колоколообразный динамик, связанный с командным пунктом противовоздушной обороны Москвы; за дверью с портьерами — туалетная комната и отсеки с откачивающими насосами и моторами воздушной вентиляции. В противоположной стене помещения углублялся тамбур с такими же двойными металлическими дверями, за которыми отлогой спиралью вилась лестница, поднимавшаяся ко второму выходу из бомбоубежища — на сквер, подступавший к Арсеналу. Вот над доделкой этого выхода с лестницей и продолжал день и ночь трудиться подчиненный департаменту Метростроя мастеровой люд.

Побывав скоротечной мыслью в бомбоубежище, Сталин, к недоумению всех присутствующих в его кабинете, поднялся из-за стола, прошелся, словно в раздумьях, по ковровой дорожке и приблизился к окну. Откинув темный маскировочный полог, увидел в выплеснувшихся из кабинета лучах света косо падающие снежинки и тут же, успокоившись, вернулся за стол.

— Если говорить о наших самых экстренных нуждах,— голос Сталина звучал глухо, но четко,— то я бы в первую очередь назвал противотанковые и зенитные орудия, бомбардировщики среднего радиуса действия, истребители и самолеты-разведчики, бронированный лист, алюминий, олово, свинец и наиболее срочно — по четыре тысячи тонн в месяц колючей проволоки...

— А танки? — с какой-то особой заинтересованностью спросил Бивербрук.

— Танки — решающий фактор в современной войне,— с грустью в голосе сказал Сталин.— Нам каждый месяц, как показывает опыт, необходимо вводить в бой в среднем по две тысячи пятьсот танков. А наша промышленность способна выпускать только по одной тысяче четыреста танков в месяц. Следовательно, нам надо ежемесячно иметь еще по тысяче сто машин. И если вы даже обвините меня в астрономических запросах, я все-таки полагаю, что США и Великобритания могли бы поставлять нам каждый месяц по пятьсот танков.

— Это вполне реально! — оживленно откликнулся Бивербрук, стараясь не замечать, как нахмурился Гарриман.— Вы, господин Сталин, конечно же не осведомлены, что еще шестого сентября я представил господину Черчиллю проект его обращения к английским рабочим танковых заводов. В нем, этом обращении, рабочие призывались, начиная с пятнадцатого сентября, встать на недельную вахту по производству танков для России... Танкостроители трудились с величайшим усердием!..

На добродушном лице Литвинова выразилось недоумение. Он заметил ироническую улыбку Молотова и, полагая, что тот сейчас скажет какие-то слова, переводил английские фразы Бивербрука с замедленностью.

Но Молотов промолчал. А ухмыльнулся он потому, что получил от посла Майского первоначальный проект обращения Черчилля к рабочим танковых заводов, который в английской печати был опубликован в укороченном виде, ибо премьер-министр не мог стерпеть исходящих не от него восторженных слов в адрес храбро и мужественно сражающейся Советской России.

Сталин не обратил внимания на заминку Литвинова, как переводчика, и ответил Бивербруку:

— Нам известно об английской «неделе танков для России». Советский народ высоко ценит солидарность с ним рабочего класса Великобритании и не только ее.— Сталин постучал потухшей трубкой по краю пепельницы: — Надо, чтоб эта солидарность стала более реальной силой.

Литвинов непринужденно вел перевод диалога. Но последняя фраза Сталина, произнесенная Литвиновым на английском, озадачила особенно Бивербрука.

— Господин Бивербрук просит конкретнее объяснить, в чем вы видите реальность силы в солидарности рабочего класса наших государств...— обратился Литвинов к Сталину.

— Это элементарно.— Под толстыми усами Сталина затеплилась снисходительная улыбка, а глаза его сузились в прищуре.— Английские войска, как и наши, представляют собой в основной массе трудовой люд. И английские руководители могли бы помочь Красной Армии ударом с юга защитить хотя бы то, что осталось от пространств Украины.

— Но формирование английских дивизий в Иране еще не закончено,— ответил Бивербрук.— Мы спешно готовим их на случай прорыва немецких войск на Средний Восток через фронт русских. Не-

которые из этих дивизий мы могли бы со временем послать на Кавказ.

— Но на Кавказе нет войны,— возразил Сталин,— она идет сейчас на Украине.

— Пусть на сей счет, поскольку речь идет о военной стратегии, посовещаются советские и английские генералы,— предложил Бивербрук.

Сталин не откликнулся на это предложение, устремив вопрошающий взгляд на Гарримана, как бы предлагая высказаться и ему.

Гарриман заговорил, но о другом. Коль США готовы поставлять Советскому Союзу боевые самолеты, надо, мол, позаботиться о маршрутах их перелетов.

— Нам представляется, что Аляска может явиться для наших летчиков, которые будут перегонять самолеты, стартовым пунктом,— сказал Гарриман,— а ваши сибирские аэродромы, если они пригодны для этого, промежуточными.

— Мы готовы дать вам информацию о сибирских аэродромах, но это слишком опасный, мало освоенный маршрут,— сказал Сталин.

— При этом вы, господин Сталин, видимо, имеете в виду напряженность взаимоотношений между Соединенными Штатами и Японией?.. Да и ваш договор о нейтралитете с Японией?..

— Тут надо учитывать все в комплексе. Прежде чем принять решение, необходимо поразмыщлять, посоветоваться о тех же аэродромах со специалистами.— Затем Сталин перевел разговор на проблемы послевоенного урегулирования, высказав мысль, что немцы должны будут возместить тот ущерб, который они причинили Советскому Союзу, другим странам.

— Но сначала надо выиграть войну! — со скрытым вызовом заметил Бивербрук, явно уклоняясь от прямого ответа.

Лицо Сталина чуть побагровело, он начал неторопливо набивать табаком трубку.

Молотову показалось, что Сталин сейчас разразится какой-то гневной тирадой, но он, прокашлявшись и погладив мундштуком трубки усы, спокойно сказал:

— Немцев мы победим.— И стал раскуривать трубку.

— Еще одна, возможно, неожиданная для вас проблема, господин Сталин,— будто с чувством неловкости нарушил тишину Гарриман.— Наш президент беспокоится, что в США можно ожидать католической оппозиции по поводу нашей помощи России. Господин Рузвельт считает, что американское общественное мнение будет несколько успокоено вашим официальным заверением о том, что соответствующая статья Советской Конституции действительно гарантирует свободу совести для всех граждан.

— Я мало осведомлен об американском общественном мнении на сей счет. Этот вопрос лучше обсудить не со мной.— Сталин значительно взглянул на Молотова.

В полночь Гарриман и Бивербрук, весьма удовлетворенные первой беседой со Сталиным и заручившись его согласием о встрече и завтра, уехали из Кремля.

На второй день утром к особняку Наркомата иностранных дел на Спиридоновке муравейным шествием подъезжали легковые автомобили. Распахивались похожие на обрубленные крылья дверцы, и из недр машин, наклоняя головы, выходили обремененные предстоящими делами солидные мужчины средних и молодых лет. Они были одеты в темные или темно-серые костюмы, некоторые из-за прохлады ранней осени в легких плащах; все прижимали к себе папки с документами или держали на весу одутловатые портфели.

С таким же портфелем вышел из своей эмки Алексей Иванович Шахурин — нарком авиационной промышленности. Он тоже был в темном цивильном костюме, в белой рубашке с тесноватым воротником и при галстуке, хотя привык к генеральской форме...

Молодой, коренастый, излучавший всем своим обличием необузданную энергию, он с каким-то ожесточением размышлял над тем, как ведется эвакуация подчиненных его наркомату заводов на восток, как упростить и ускорить поставки предприятиям нужных материалов. И досадовал, что затерялось на железных дорогах восточной части Заволжья немало эшелонов с авиационным оборудованием и вооружением, которые надо было разыскать и направить туда, где их ждали самолетостроители.

Забот столь много, что трудно было переключить мысли на предстоящие переговоры, тем более что Берия, позвонив ему по кремлевскому телефону, с надменной повелительностью предупредил: «Ты не очень там распускай язык! Неизвестно, с какими целями господа капиталисты приехали к нам...» Какая уж после такого внушения может быть союзническая доверительность?! Председатели других комиссий, видимо, тоже получили подобные напоминания...

Минуя кордон строгой охраны, проверявшей документы, Шахурин зашел в просторный вестибюль со старинными скульптурами, в лепных украшениях, с живыми цветами в лотках и кадках. В глаза ударил яркий свет. На площадке, к которой вела широкая лестница с причудливыми чугунными решетками перил, хлопотали кинооператоры. Лучи осветителей медленно передвигались вверх, сопровождая Гарримана, Бивербрука, послов их стран и членов делегаций. Шахурин вспомнил, как Молотов в его присутствии, еще до прибытия высоких зарубежных гостей, напоминал Сталину о том, что Бивербрук страдает слабостью — любит сниматься в кинохронике и коллекционировать ленты со своим изображением. Сталин тогда же распорядился о киносъемках делегаций, где бы они ни пребывали: на переговорах, в театрах, на концертах, при посещении предприятий и учреждений, военного госпиталя и даже на футбольном матче — таков был заранее намеченный план.

«Потом коробки с копиями проявленных пленок преподнесем господину Бивербруку в качестве сувенира»,— сказал Сталин Молотову.

Открытие совещания представителей СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки состоялось в белом мраморном зале,

богато декорированном в парадном стиле ампир (здесь, в этом главном зале особняка, некогда принадлежавшего текстильному фабриканту Савве Морозову, собиралась до революции высшая московская знать на всякого рода торжества). Посредине зала стоял круглый стол, над которым сверкала хрусталем огромная люстра. На столе были закреплены флажки трех держав. Против них, вокруг стола,— кресла для глав делегаций, а чуть сзади, образуя круг, теснились в несколько рядов стулья для участников переговоров.

Первое совещание как бы давало ход переговорам между комиссиями, которые надо было еще образовать. Вначале выступил глава советской делегации Молотов. Это была, в общем, приветственная речь, призывавшая к взаимному доверию и сотрудничеству между союзническими странами. Ответные речи произнесли Бивербрук и Гарриман, разделившие точку зрения Молотова о непреклонной решимости и единодушии в борьбе с гитлеровской Германией.

Затем Молотов предложил на утверждение глав делегаций порядок дальнейшей работы образованных комиссий — авиационной, армейской, военно-морской, транспортной, медицинского снабжения, сырья и оборудования.

Сталин будто незримо присутствовал на открытии совещания государственных представителей трех стран, и в то же время его воспаленное воображение воспроизводило тяжелейшую обстановку в войсках, защищавших московское направление. Ему виделась почти неизбежно грядущая катастрофа, угрозу которой трудно было ликвидировать; последствия ее непредсказуемы. Над Москвой взметнулся могучий меч, удар которого надо было упредить или перекрыть не менее могучим щитом.

А ведь казалось, что щит создан надежный: могучая линия обороны войск Западного фронта длиной в 340 километров, от Осташкова до Ельни,— на ней шесть армий пусть и не полностью укомплектованных, но прочно зарывшихся в землю, прикрытых минными полями, колючей проволокой; их танкоопасные направления держала под неослабным контролем артиллерия. В тылу Западного фронта, на расстоянии 60—100 километров,— второй оборонительный рубеж. Длиной в 300 километров, он был занят четырьмя армиями Резервного фронта, да еще двумя армиями этого же фронта в первом эшелоне южнее Западного. С юго-востока прикрывали Москву четыре армии Брянского фронта. Все вроде бы разумно и прочно...

Да, разумно и прочно, однако не в высшей степени. Все-таки Ставка и Генеральный штаб просчитались, именно так расположив войска в оборонительные боевые порядки. После утреннего доклада маршала Шапошникова стало яснее ясного, что Западному и Резервному фронтам надо было не только выделить самостоятельные полосы обороны, чтобы каждый отвечал за свой передний край, но и за всю глубину своих оборонительных позиций. А тут еще из-за недостатка сил вклинили две армии Резервного фронта — 24-ю и 43-ю — между левофланговой армией Западного фронта и правофланговой Брянского. Такое построение, утверждает Шапошников, затруднит управ-

ление войсками уже в самом начале оборонительного сражения, которого, по данным разведки, не избежать. Да и растянутость остальных армий Резервного фронта, занимавших позиции в затылок войскам Западного, не создавала нужной глубины обороны даже на направлениях предполагаемых главных ударов противника. И проявили другую недальновидность — не отработали планы отвода войск на тыловые оборонительные рубежи, если прорывы противника сквозь нашу оборону окажутся неотразимыми,— это тоже из размышлений начальника Генштаба. Надеялись, что такого не случится, уповая на собственные контрудары.

Теперь, если случится худшее, надежда только на Можайскую линию обороны, как главный оплот защиты Москвы от вторжения врага. Правда, первая четырехсоткилометровая полоса Можайской линии, простершаяся в 50 километрах восточнее Резервного фронта, еще не занята нашими войсками. Но в сотне километров за ней, а потом в пятидесяти — еще две другие. Борьба на их рубежах, возможно, и решит судьбу Москвы.

Борис Михайлович, высказываясь о значении этих рубежей, прикрывавших самые ближние подступы к столице, с глубокой приязненностью отзывался о первом секретаре Московского комитета партии Александре Сергеевиче Щербакове, о командовании Московского военного округа и Московской зоны обороны, особенно генералах Артемьеве и Телегине, которые неисчерпаемостью своей энергии и мудростью организаторов сумели, выполняя решение Ставки, собрать силы и средства для строительства этих рубежей. А ведь находились скептики, утверждавшие их бесполезность, сетовавшие на неразумность столь гигантского строительства, исходя из предположения, а то и уверенности, что немцам не удастся приблизиться на такое расстояние к столице.

...Да, обстановка на советско-германском фронте немилосердно томила грозной загадочностью. Разве можно было не учитывать, что немецкая армия и ее штабы, покорив Европу, имели колоссальный опыт ведения войны, четкого взаимодействия пехоты, артиллерии, танков и авиации? Военно-промышленный потенциал Германии и ее сателлитов намного превосходил наши возможности. И пока не угасал у фашистов завоевательный дух.

Не надеясь на свою память, Сталин подошел к рабочему столу и придвинул к себе картонную папочку, на которой красивым почерком кого-то из генштабистов-разведчиков было крупно начертано: «Соотношение сил». Раскрыл ее, увидел цифры и почувствовал в груди повеявший от них холодок опасности. Сейчас на советско-германском фронте немецкий вермахт вместе с вооруженными силами своих европейских союзников имел 207 дивизий, а в составе советской действующей армии находилось 213 стрелковых, 30 кавалерийских, 5 танковых дивизий, 2 мотострелковые дивизии, да еще некоторое количество бригад разных родов войск. Но главное не в количестве соединений: если в среднем немецкая пехотная дивизия состояла из 15,2 тысячи человек, а танковая из 14,4 тысячи, то средняя численность нашей дивизии была всего лишь около 7,5 тысяч человек,

а танковой — 3 тысячи человек... Так что, дивизия дивизии рознь. Да еще умение немцев выгодно концентрировать свои силы и избирать направления для первого и главного штурма. Разведка доносит, что такой удар может обрушиться не сегодня завтра в районе Брянских лесов.

Сталин в своих размышлениях вплотную прикоснулся к трагической истине...

Но пока было только 29 сентября. Наступал вечер, и близилось время, назначенное для очередной встречи Сталина с Бивербруком и Гарриманом.

И вот 19 часов. Кремль. Кабинет Сталина. Они увидели советского руководителя в весьма дурном расположении духа и поняли, что поторопились торжествовать успех вчерашних переговоров. Со временем Аверелл Гарриман будет вспоминать об этом так:

«Следующий вечер проходил довольно шершаво. Сталин производил впечатление человека, который был недоволен тем, что мы ему предлагаем. Ему казалось, будто мы хотим увидеть Советский Союз уничтоженным Гитлером, иначе предлагали бы помощь в гораздо больших количествах. Он показывал свое подозрение в очень резкой манере...»*

Лорд Бивербрук попытался усмирить раздражение Сталина. Глядя на него с добродушной улыбкой, он сказал:

— Я позволю себе внести на ваше рассмотрение предложение о том, чтобы господин Сталин выступил в четверг на нашей конференции и сообщил о достигнутых результатах и отметил роль Соединенных Штатов Америки.— Бивербрук, всматриваясь в непроницаемо-мрачное лицо Сталина, пояснил мотивы своего предложения: — Такое выступление создало бы атмосферу триумфа, укрепило бы общий фронт и произвело бы сильное впечатление на Англию, США и даже Францию. Я добиваюсь наилучших результатов в интересах всех трех стран.

Сталин оторвал взгляд от Литвинова, который, подавляя в себе волнение, переводил сказанное Бивербруком, затем хмуро посмотрел на молчавшего Молотова и, зашагав по кабинету, после мучительной паузы с холодной отчужденностью заговорил:

— Я не вижу необходимости в моем выступлении...— Он остановился рядом с Литвиновым и, будто жалуясь ему, продолжил: — К тому же я очень занят. Я не имею времени даже спать. Я думаю, что будет вполне достаточно выступления Молотова...

Затем перешли к согласованию о поставках союзниками танков, самолетов, артиллерии. Сталин удивлял собеседников своими знаниями тактико-технических данных, касающихся разных видов вооружения и боеприпасов. Но говорил об этом сдержанно, соглашаясь с теми или иными предложениями Бивербрука и Гарримана или монотонно отвергая их: «Нет, не нужны...» Все ощущали в нем бьющуюся напряженную мысль. О чем она? Тревога звенящей тишиной запол-

---

* Здесь и далее даются цитаты из книги В. А. Гарримана и Е. Абеля «Специальный посланник к Черчиллю и Сталину». Нью-Йорк, 1975. *(Прим. авт.)*

няла паузы в переговорах. Вдруг Сталин обратился с вопросом к Гарриману:

— Почему США могут поставлять мне в месяц только тысячу тонн бронированного стального листа для танков?.. И это страна с производством стали в пятьдесят миллионов тонн?!

— Америка в настоящее время имеет мощность в шестьдесят миллионов тонн,— уточнил Гарриман.— Но спрос на бронированный лист очень велик, и потребуется время...

Сталин не стал слушать его объяснения и рассерженно изрек:

— Ваши предложения о помощи отчетливо показывают, что вы хотите увидеть поражение Советского Союза!..

Бивербрук и Гарриман изнемогали от беспомощности перед гневом Сталина. За время двухчасовой беседы о безотлагательных нуждах Советского Союза он проявил живой интерес только тогда, когда Гарриман предложил поставить из Америки пять тысяч «виллисов».

— Это хорошо! — воскликнул Сталин.— А побольше нельзя?

— У нас есть только пять тысяч,— ответил Гарриман.— Мы можем предложить вам броневики под экипаж в два-три человека.

— Не надо,— коротко ответил Сталин.— Ваши броневики — это машины-«ловушки»...

Потом Бивербрук напишет Черчиллю:

«Сталин был очень уставшим, но все время ходил по кабинету и беспрерывно курил. Он также проявил невоспитанность...»— И Бивербрук пояснил: когда он вручил Сталину письмо от Черчилля, тот открыл конверт, взглянул на письмо и положил его на стол, так больше и не прикоснувшись к нему за всю встречу. Когда Бивербрук и Гарриман, удрученные плохим настроением главы Советского правительства, заручились его согласием встретиться еще и завтра, 30 сентября, Молотов напомнил Сталину о непрочитанном письме. Сталин, мрачно взглянув на Молотова, взял со стола письмо, вложил его в конверт и передал Поскребышеву.

Только Молотов мог объяснить взвинченность и грубость Сталина в часы переговоров: он был под впечатлением предвечернего доклада маршала Шапошникова о положении на фронтах. Оно было крайне угрожающим, а конкретных решений Генштаба о том, как предотвратить смертельную угрозу Москве, не было...

А Бивербрук запаниковал по поводу своей дальнейшей карьеры. Когда они с Гарриманом приехали из Кремля в британское посольство, лорд впал, как потом будет вспоминать Гарриман, в глубокую депрессию: ему представилось, что переговоры со Сталиным провалились, и это нанесет урон его репутации в правительстве Великобритании. Свою судьбу посланник Черчилля, кажется, ставил если не выше, то на один уровень с трагическими событиями второй мировой войны. И он стал умолять Гарримана взять на себя лидерство в третьей, завтрашней, встрече со Сталиным: если она закончится неудачей, то в Лондоне удар по Бивербруку все-таки будет смягчен. В предвидении провала переговоров он послал Черчиллю тревожный телеграфный отчет о несговорчивости Сталина. А на второй

день, 30 сентября, получил бранный ответ совершенно непредвиденного содержания, ошеломивший Бивербрука.

Да, жизнь — великая мастерица на неожиданности. Дело в том, что Бивербрук и Гарриман за завтраками, обедами и ужинами, подаваемыми им из кухни ресторана гостиницы «Националь», поражались обилию и богатству русских закусок. Бивербрука особенно приводила в восторг осетровая икра. В Лондоне о ней позабыли даже члены правительства, а каждый британец был рад традиционному яйцу, если он мог получить его на завтрак... И Бивербрук попросил одного из младших офицеров посольства, Джона Рассела, купить для него и Гарримана 25 фунтов икры, намереваясь поделиться «русским съестным сувениром» и с Черчиллем. Но надо же было сболтнуть об этом Филиппу Иордану, московскому корреспонденту лондонской «Ньюс Кроникл»!.. Как истинный представитель буржуазной прессы, Иордан тут же «протрубил» через свою, а точнее, бивербруковскую газету о том, что премьер-министру Великобритании приготовлен в Москве деликатесный подарок — 25 фунтов «осетровых яиц», то есть икры. Эту новость подхватила «Дейли экспресс», другие газеты, заверстав информацию из Москвы рядом с сообщениями о потерях Великобритании от подводных лодок Гитлера, о том, что в Северной Африке немецкий генерал Роммель окружил Тобрук, продвинулся далеко на восток и угрожает Каиру...

Гневу Черчилля не было предела, и он выплеснул его в телеграмме в Москву, адресованной Бивербруку... Лорд в свою очередь накинулся на корреспондента «Ньюс Кроникл», но Иордан уже ничего не мог поправить, готовый к тому, что его карьера будет испорчена.

В этот вечер Сталин принял посланцев Черчилля и Рузвельта более радушно и ответил согласием на предложение Гарримана закончить конференцию как можно быстрее «с удовлетворением, пусть и при общей встревоженности».

— Тем более,— с усмешкой добавил Сталин,— что Берлинское радио уже передает заявления о полном провале нашей с вами конференции. Берлин уверяет, будто западные страны никогда не смогут договориться с большевиками. Теперь только мы втроем можем доказать, что Геббельс лгун.

Переждав, пока Литвинов переводил его слова и с удовлетворением отметив веселую реакцию на них присутствующих в кабинете, Сталин вдруг спросил, обращаясь к Бивербруку:

— А как поживает у вас Гесс?

Широкое лицо Бивербрука расплылось в улыбке, посветлело, морщины на нем разгладились. Сталин понял, что лорд сейчас поведает нечто небезынтересное. И верно:

— Я был у него восьмого сентября! — почти воскликнул Бивербрук, окидывая всех взглядом, призывавшим к вниманию.

— Разве он так гостеприимен? — Сталин не мог скрыть иронии и в то же время собираясь угадать, знает ли Бивербрук, что именно английская разведка заманила к себе первого чиновника Гитлера, дабы затеять переговоры с Германией о взаимном мире и возможном совместном походе против Советского Союза.

Бивербрук словно уловил тайную мысль Сталина и с видимым удовольствием стал рассказывать:

— Он находится в доме, обнесенном проволокой с решетками на окнах и под надежной охраной... Именно мне вручил Гесс меморандум в сорок — пятьдесят страниц, собственноручно им написанных, где развивается тезис против России. Он жалуется, что его, прилетевшего спасти Англию, держат за решеткой и не позволяют даже переписываться с родными. Особенно настаивает, чтобы ему разрешили снестись с Гитлером.— Лорд вновь обвел всех энергичным взглядом, как бы удостоверяясь, слушают ли его с должным вниманием, ибо собирался сказать, с его точки зрения, самое главное.— По моему личному мнению, которого не разделяет Черчилль, Гесс появился с чьего-то ведома в Англии... Рассчитывал приземлиться и встретиться со своими сторонниками, настроить их против английского правительства с целью замены Черчилля другим премьером, готовым на сговор с Гитлером, а затем улететь обратно. Но его, очевидно, не встречали в условленном месте или не подавали нужных сигналов. Горючее у самолета кончилось, и Гессу пришлось спуститься на парашюте... Черчилль же думает, что Гесс ненормален.

Наступило тягостное молчание. Все смотрели на Сталина, дожидаясь, что он скажет в ответ на услышанное.

Устремив глаза на пепельницу, в хрустальных ложбинках которой дробился отраженный свет потолочной люстры, он положил в пепельницу трубку, шевельнул в раздумье усами и приглушенно спросил, будто обращаясь к самому себе:

— А если бы господин Гесс, разумеется полетевший к вам с согласия Гитлера, обратился непосредственно к премьеру Черчиллю и предложил ему с соответствующими гарантиями мир с Германией в предвидении войны Германии против нас или даже совместный с Великобританией поход против Советского Союза?.. Ведь господин Черчилль не устает глаголить о своей ненависти к коммунизму?.. Как бы при такой ситуации развернулись события?..

Краем глаза Сталин заметил, как в руке Молотова сверкнул белизной платок, которым он стал промокать лоб, услышал, как тяжело задышал Литвинов. Понимал: допустил чудовищную недипломатичность и поставил Бивербрука в тяжелейшее положение. Но не сожалел о сказанном. Мысли его будто набирали разбег по холодной брусчатке ожесточения. Хотелось говорить еще и еще — о том, как враждебен мир капитала социализму и сколь кровожаден фашизм, алчность которого даже при классовом родстве буржуазного мира не признает границ. Так бывает, когда, оказавшись в одной банке, сильная крыса пожирает слабую. Впрочем, человечество тысячелетиями ведет войны, которые питают друг друга. Но то — в прошлом...

Кабинет будто наполнялся холодом, и тишина в нем становилась нестерпимой.

Наконец Сталин поднял глаза на Бивербрука и сказал:

— Я не требую от вас ответа. Я просто размышляю. А мы сейчас в таком положении, что можем задавать себе вопросы без дипломатического этикета... Давайте вернемся к нашему делу.

— Да-да! — впервые подал голос Молотов.— Мы несколько сбились с курса. Нас ждут конкретные дела.

Сталин с пониманием посмотрел на него, грустно улыбнулся и, видя, что Гарриман взял в руки листы бумаги с напечатанным текстом, сказал ему:

— Мы слушаем вас, господин Гарриман.

Посланец Рузвельта, обращаясь к Литвинову, как переводчику, стал медленно читать записку, содержавшую ответы британской и американской делегации по отдельным пунктам списка советских заявок, составленных с учетом мнений совместных рабочих комиссий. Затем вручил записку Сталину и тут же положил перед ним список товаров, которые желательно получить Англии и США из СССР.

Никто не понял, почему Сталин, взглянув на бумаги, хмыкнул. Ему показалось забавным, что записка о возможных поставках союзников Советскому Союзу изложена на английском языке, а списки поставок из СССР — на русском. Всмотревшись в документы, он сказал:

— Мы могли бы взять восемь — десять тысяч трехтонных грузовиков в месяц. Если невозможно, то согласны были бы взять часть полутора- и двухтонными. Более тяжелые машины нам не нужны — многие наши мосты не очень грузоподъемны...

Итак, пункт за пунктом обсуждали весь «список предметов снабжения».

Список, в общем-то, был внушительным. США и Англия брали на себя обязательство с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года ежемесячно поставлять в Советский Союз 400 самолетов, 500 танков, 2 тысячи тонн алюминия, зенитные и противотанковые орудия, автомашины, полевые телефонные аппараты, олово, свинец — всего около семидесяти наименований.

Когда завершилось обсуждение и уточнение списка, Сталин пристально посмотрел на Молотова, словно собираясь задать ему какой-то важный вопрос, но ни о чем не спросил и обратился к Гарриману:

— Я полагаю, что эти замечательные результаты наших переговоров должны быть завершены нашим с вами письменным соглашением.

Такое предложение было неожиданным для Гарримана. Его утонченное интеллигентное лицо покрылось румянцем, и он, взглянув на Бивербрука, сбивчиво ответил:

— Господин Сталин, у меня нет полномочий подписывать что-либо... А для получения инструкции из Вашингтона требуется время...

— Это ненужная формальность,— поддержал коллегу Бивербрук.— Ведь соглашение о взаимопомощи между США и Великобританией тоже является неофициальным.

— Вам проще,— настаивал Сталин.— У вас банковские связи, сотрудничество корпораций. Да и конференции на сей счет у вас не было... А кроме того, в нашем документе мы закрепим обязательства Советского Союза о сырьевых поставках Англии.

Гарриман заколебался, но при этом сказал:

— Соединенные Штаты посылали миссию к Чан Кайши и поставляли ему вооружение тоже без подписания какого-либо документа...

— И мы несколько месяцев назад отправили в Китай самолеты и артиллерию для их борьбы с японцами,— сказал Сталин.

— Как?! — удивился Гарриман.— У вас же с Японией договор о нейтралитете!

— В договоре нет пункта, запрещающего нам отправлять оружие китайцам... Кстати, надо изобретать клин, чтобы вбить его между японцами и немцами, исходя из того, что Япония не терпит какой-либо зависимости. Япония — это ведь не Италия.

Тема переговоров иссякла. Все сошлись на том, что вопрос о трехстороннем письменном соглашении будет решен завтра с Молотовым при участии послов США и Великобритании.

Упоминание о послах неожиданно вызвало разговор, который, как окажется позже, приведет к отзыву из Москвы сэра Стаффорда Крипса и посла США Штейнгардта, а из Вашингтона — советского посла Уманского.

— Ваш Штейнгардт — явный пораженец,— скрывая раздражение, сказал Сталин и, поднявшись из-за стола, начал прохаживаться, дымя трубкой.— Он, как и его ближайшие сотрудники, кликушествует о якобы нашем грядущем поражении. Его беспокоит только личная безопасность. За шесть первых недель войны Штейнгардт дважды паниковал и требовал, чтобы его вместе с посольством отправили за Волгу.

Гарриман не хотел соглашаться со Сталиным.

— У нас другое мнение о Штейнгардте,— утверждал он.— Наш посол сделал все возможное для улучшения советско-американских отношений.

— А как там в Вашингтоне чувствует себя наш посол Уманский? — неожиданно спросил Сталин.

— Дипломат высокого класса,— с непонятной холодностью ответил Гарриман.— Но с крайностями. Он усерден в своей деятельности до ненужной степени. Он с таким энтузиазмом обращался ко многим влиятельным людям по вопросам поставок в Советский Союз, что они больше раздражались, чем проявляли доброжелательность.

— Что вы скажете о Майском? — Сталин остановился перед лордом Бивербруком.

— Более искусного дипломата я в своей жизни не встречал! — восторженно ответил Бивербрук.— Умен, образован, прекрасный оратор, умеет растопить лед отчуждения самых ярых противников. Но...

— Что «но»? — насторожился Сталин.

— Временами он бывает слишком суров с нами.

— Не пытается ли он обучать членов вашего правительства положениям коммунистической теории?

— Такой возможности я никогда не предоставлю господину Майскому,— серьезно заверил Бивербрук и тут же спросил: — А как вам наш посол господин Криппс? — Бивербрук постарался скрыть свое отчуждение к нему.

— Он вполне нас устраивает.

Бивербрук потом напишет Черчиллю:

«Понаблюдав за Криппсом, я пришел к выводу — с ним все в порядке, за исключением того, что он зануда. Когда я сказал об этом Сталину, он спросил, можно ли в этом плане сравнить Криппса с Майским. Я ответил: нет, только с мадам Майской, имея в виду ее милый характер неутомимой говоруньи... Сталину шутка чрезвычайно понравилась».

Гарриман же в докладе Рузвельту скажет и о Молотове, но с откровенным нерасположением к нему: «Властен и неприятен, с неиссякаемой энергией, полным отсутствием уступчивости и чувства юмора, менее готовый к компромиссу, чем сам Сталин... У нас будут большие трудности с Советами, пока Молотов будет в этих отношениях существенным фактором».

Как покажет время, Рузвельт, к великому разочарованию Гарримана, именно Молотова пригласит в Вашингтон весной 1942 года. Это будет беспримерный перелет в бомбовом люке наркома иностранных дел и первого заместителя главы Советского правительства через океан...

Но переговоры в Москве продолжались, и Гарриману приходилось считаться с «трудным характером» Молотова, которого смущала некоторая уклончивость главы американской делегации в формировании обязательств союзников о поставках в СССР оружия и военной техники.

Протокол конференции представителей трех держав был подписан 1 октября после того, как главы делегаций в торжественной обстановке обменялись речами.

Вечером того же дня в Екатерининском зале Кремля был устроен правительственный прием. О нем Гарриман будет писать с некоторой долей иронии, а местами сарказма, как бы глядя на себя и окружающих со стороны:

«Сталин сидел между Бивербруком и Гарриманом, разговаривая с ними настолько любезно, что нельзя было и подумать о неприятных словах, произнесенных им во время переговоров. Этот прием своей расточительностью заставил Гарримана подумать о том, какая пропасть разделяет в Советском Союзе правящих лиц и тех, кем они управляют. На застолье было приглашено более ста человек: в полном составе миссии Бивербрука и Гарримана, экипажи обоих самолетов Б-24, доставивших часть делегаций в Москву, сотрудники английского и американского посольств и десятки советских высокопоставленных лиц. Столы ломились от множества холодных закусок — икра, разнообразные сорта рыб, молочные поросята; затем ужин с горячим супом, цыплятами и дичью, с мороженым и пирожными на десерт. Было много разных фруктов не с общественного рынка, а, наверное, доставленных специально из Крыма.

Перед каждым стояли бутылки перцовой водки, красного и белого вина, русского брэнди.

Сталин после первого тоста выпил полрюмки перцовой водки, затем остаток перелил в фужер и потом пил только красное вино

из этой рюмки, часто наполняя ее. Рюмка была очень маленькой. Когда подали к сладкому шампанское, он выпил его из той же рюмки. Затем другой рюмкой прикрыл бутылку с шампанским, пояснив, что так сохранятся пузыри.

Гарриман подумал о резком контрасте между приемом в Кремле и приемами в Лондоне на Даунинг стрит, 10: Черчилль всегда проводил их в соответствии с продовольственными рационами Великобритании, в то время как столы русских высокопоставленных лиц гнулись от деликатесных блюд, а народ голодал.

Тридцать два тоста было сказано в тот вечер в Кремле: за героизм советских солдат и за сражающихся союзников, за победу над гитлеровской Германией, за важность инженерных сил для победы в механизированной войне и среди них также за летчиков американских бомбардировщиков Б-24 (майора А. Л. Харвея и лейтенанта Л. Т. Райхера), за их беспосадочный полет на расстояние 3200 миль из Пресивика, Шотландии, по маршруту, избегающему территории Норвегии, оккупированной немцами... Это был самый длинный и самый рискованный перелет военных самолетов с пассажирами. Этот тост произнес русский посол в США Уманский, один из пассажиров самолета. Выслушав его, Сталин прошел вдоль всего длинного стола и чокнулся с летчиками. Гарриман заметил, что Сталину нравилось после тоста, перед тем как выпить, хлопать в ладоши. В течение всего вечера было много таких аплодисментов...

Лорд Бивербрук, как истинный трезвенник, с сожалением посматривал на пьющих и на... икру — черную и красную. Но ни к той, ни к другой не прикоснулся, веселя этим Гарримана и повергая в недоумение Сталина».

18

Оперативные донесения с Западного фронта, их обобщение и анализ уже не только удручали, а ошеломляли своей непоправимой трагичностью. Маршал Шапошников, как начальник Генерального штаба, чувствовал себя так, будто потерял способность охватывать разумом события в их конкретности и совокупности, объяснять причины всего неизбежного, давать ему оценки и искать хоть какой-нибудь выход из назревающей оперативно-стратегической обстановки. На Западном фронте вот-вот разразится катастрофа, подобная могучему извержению вулкана. На Москву зримо надвигалась погибель...

А ведь еще не успели осмыслить, отболеть душой чудовищно страшный обвал событий на южном крыле советско-германского фронта, протяженность которого всего лишь с июля по сентябрь сжата превосходящими силами агрессора с 1200 до 800 километров. Принимали все возможные меры, чтобы остановить и обескровить ударную группировку врага «Юг», слагавшуюся из одной танковой группы и трех полевых немецких армий, двух румынских армий, венгерского, словацкого и итальянского корпусов. Сила несметная! Но все-таки надеялись сдержать ее и сокрушить. Ведь и у

нас не совсем пустыми были «сусеки» военной мощи. Не вышло. Во второй половине июля группу армий «Юг» немцы усилили еще восьмью своими пехотными дивизиями и тремя итальянскими... Только подступы к одному Киеву полтора месяца остервенело штурмовали десять германских дивизий! И непрерывно на приднепровские земли Украины падала с неба чудовищной силы железная грохочущая смерть: стаи фашистских самолетов закрывали, казалось, собой солнце.

Изо всей мочи держались за каждый новый рубеж войска Красной Армии — отбивались яростно и упорно, истекая кровью, умирали и будто воскресали, ожесточенно дрались из последних возможностей и непрерывно контратаковали, нанося фланговые удары по прорвавшимся в глубь наших боевых порядков вражеским частям.

Потоками крови, десятками тысяч человеческих жизней и несметностью военной техники платили фашисты за Днепр и его левобережье... А Красная Армия тоже расплачивалась за свою неподготовленность к войне, за репрессии предвоенных лет в войсках, за последующие просчеты в планах обороны государства.

Семен Буденный, с чьим именем в сознании народа связаны военные победы в годы гражданской войны над врагами молодой Советской республики, был главкомом Юго-Западного направления и, может, острее других ощущал трагедию наших армий, таявших в неравном противоборстве с фашистами. 11 сентября он обратился в Ставку Верховного Главнокомандования с настоятельным предложением немедленно отвести войска Юго-Западного фронта с берегов Днепра на тыловой рубеж — реку Псел. Еще ранее такое же соображение высказывал генерал армии Жуков.

У Ставки не было выбора. Согласившись наконец с этим предложением, Генштаб по ее поручению отдал директиву ускорить оборудование рубежей обороны на Пселе, сосредоточить там на огневых позициях крупную артиллерийскую группу из 5—6 дивизий, принять меры, чтобы наши войска во время отхода не были перехвачены моторизованными силами противника, и подготовить эвакуацию Киева. В то же время командованию Юго-Западного и Брянского фронтов было приказано во взаимодействии друг с другом атаковать танковые соединения противника, уже достигшие на Левобережье Украины района Конотопа.

Но эти разумные, пусть и не обеспеченные вводом в боевые действия резервных частей (они были израсходованы для отражения ударов противника на стыке с Южным фронтом на Днепре), решения оказались запоздалыми. Немцы, предвидя другие наши контрмеры, внезапно нанесли с севера удар 2-й танковой группой и 2-й полевой армией группы «Центр», временно повернув их на юг с московского направления. Заслоны войск Брянского фронта были ими протаранены, и уже 15 сентября в районе Лохвицы фашистские войска завершили полное окружение четырех армий Юго-Западного фронта...

Сталин, как Председатель Ставки Верховного Главнокомандования, будто вырывал из груди собственное сердце, принимая нако-

нец решение о немедленном оставлении нашими войсками Киева, который враг не сумел взять в открытом бою... Это было тоже запоздалое, даже слишком запоздалое, решение.

Маршал Шапошников, размышляя в своем просторном кабинете над всем случившимся, ощущая тяжесть в груди и ни с чем не сравнимое тоскливое чувство, скосил глаза на карту оперативной обстановки на советско-германском фронте. Карта, распятая во всю ширь на деревянной подставке-«крестовине», с холодной бесстрастностью в условных обозначениях изображала войну, которую Борис Михайлович мысленно видел во всей ее безусловности. Скользнул глазами по извилисто-смятой голубой жилке Днепра, задержал взгляд на красном, будто случайно уроненной капле крови, кружке — местонахождении Киева,— горестно подумал о том, что вынужденную сдачу врагу столицы Украины болезненнее всех в Ставке ощущал Сталин, ибо именно он долго и упрямо противился этому, не только надеясь на Днепр как на могучую преграду, которая поможет нашим войскам не пустить захватчиков на левобережье, его южные просторы, но и полагая, что удержанием Киева он утвердит веру союзников, главным образом Англии, в нашу несокрушимость и усадит их за стол переговоров с решительными намерениями. А тем более что Военный совет Юго-Западного фронта тоже ведь настаивал на удержании Киева. Член Военного совета, секретарь ЦК партии Украины М. А. Бурмистенко, как сообщала адресованная Сталину шифрограмма, настаивал на последнем заседании Военного совета: «Киев ни в коем случае оставлять нельзя. Испанцы, не имевшие армии, сумели удержать Мадрид свыше года. Мы имеем все возможности отстоять Киев и, если войска фронта попадут в окружение, будем оборонять Киев в окружении».

Сталин согласился с точкой зрения Бурмистенко. Но тут же внезапно грянул гром в полосе Брянского фронта, войска которого так и не сумели надежно прикрыть стык с Юго-Западным фронтом и дали возможность соединениям группы немецких армий «Центр» прорваться во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта. Это были сентябрьские дни, когда Ставка Верховного Главнокомандования изнемогала, принимая меры для обороны Одессы, Крыма и удержания Ленинграда. И в то же время наши войска не переставали изматывать врага внушительными наступательными операциями и контрударами на различных участках советско-германского фронта.

А может, в том и был просчет, что в наступательных августовских и сентябрьских боях мы чрезмерно растратили, особенно на Западном фронте, свои людские резервы, истощили технику, пусть и нанесли врагу не малые потери? Была ли необходимость в контрударах?

Во всяком случае, Киев пришлось сдать врагу... Где сейчас Бурмистенко, где все руководство Юго-Западного фронта?..

Маршал Шапошников, не отрывая печального взгляда от карты, вновь горестно вздохнул и посмотрел несколько правее и чуть на юг от Киева — там находился небольшой городок Лохвица. Как доносил в Москву генерал-майор Баграмян — начальник оперативного

отдела штаба Юго-Западного фронта,— необъяснимо, как пробившийся в 20-х числах сентября из вражеского кольца генерал-полковник Кирпонос и его штаб потеряли управление войсками фронта, которые, как теперь стало известно, расчлененные на отряды и группы, более недели вели борьбу в окружении. Многие из них прорвались на восток через заслоны противника, но десятки и десятки тысяч бойцов и командиров погибли или попали в плен; колонна штаба Юго-Западного фронта, в которой следовали командующий, члены Военного совета, начальник штаба и большая группа штабных и не штабных командиров и политработников, 20 сентября была окружена немецкими танками и автоматчиками юго-западнее Лохвицы, близ хутора Дрюковщина, и приняла неравный бой...*

После катастрофы на юго-западе разверзлась тяжкая беда на западе.

Человеческий ум — не зеркало, отражающее вещи и события, а сложнейший механизм их толкования, познания, осмысления и рычаг к действию. Злой и добрый человек (с уравновешенным, взрывным, вздорным или каким-либо другим характером) несомненно обладают умом, пусть и разной силы. Естественно, обладал умом и Гитлер, умом изобретательным, коварным и дерзким. Авантюризм в его мышлении был как бы питательным настоем принимаемых им решений. Нельзя утверждать, что военные решения Гитлера и его подручных созревали на почве безрассудства. Во многом они были логичны, обоснованы, взвешены с учетом реальностей, пусть и не всегда с предвидением грядущего.

Сентябрь явился для фашистского фюрера месяцем главных решений военной кампании последних месяцев 1941 года. Воплощение этих решений должно было окончательно ответить на главный вопрос: удалась немцам «молниеносная» война или не удалась, что могло значить — быть Советскому Союзу как государству или не быть? Опираясь на все службы своих штабов, Гитлер с хищной цепкостью всматривался в события на восточном фронте, перепроверял сведения о силах Красной Армии, их расположении, возможностях, а также пытался предугадать намерения советского командования. Вся стекавшаяся к нему информация вселяла радужные надежды и побуждала к незамедлительным энергичным действиям колоссального масштаба. Для начала появилась директива Гитлера от 6 сентября. Второй пункт ее гласил:

---

* Позже стало известно, что командующий войсками Юго-Западного фронта М. П. Кирпонос, член Военного совета фронта, секретарь ЦК Компартии Украины М. А. Бурмистенко, начальник штаба фронта генерал-майор В. И. Тупиков, начальник особого отдела фронта А. Н. Михеев, командующий войсками 5-й армии генерал-майор танковых войск М. И. Потапов, члены Военного совета армии дивизионный комиссар М. С. Никишев и бригадный комиссар Е. М. Кальченко, а с ними несколько сот человек, преимущественно офицеров, были окружены врагом в роще Шумейково, недалеко от хутора Дрюковщина, и большинство из них погибло, в том числе командование Юго-Западного фронта и 5-й армии. Члена Военного совета ЮЗФ дивизионного комиссара Е. П. Рыкова, тяжело раненного, немцы захватили в плен. Он отказался на допросе давать показания и был расстрелян. *(Прим. авт.)*

«В полосе группы армий «Центр» подготовить операцию против армий Тимошенко таким образом, чтобы по возможности быстрее (конец сентября) перейти в наступление и уничтожить противника, находящегося в районе восточнее Смоленска, посредством двойного окружения в общем направлении на Вязьму при наличии мощных танковых сил, сосредоточенных на флангах».

Далее пункт за пунктом излагалось, как, где и с какой целью расположить главные силы немецких подвижных соединений...

«После того как основная масса войск группы войск Тимошенко будет разгромлена в этой решающей операции на окружение и уничтожение, группа армий «Центр» должна начать преследование противника, отходящего на московском направлении, примыкая правым флангом к реке Оке, а левым — к верхнему течению Волги».

Гитлеровский план разгрома армий советских фронтов, прикрывавших Москву, в стратегическом отношении, казалось, был безупречным. В соответствии с ним немецкая военная машина в конце сентября и начале октября пришла в движение. Но советское командование, хоть и располагало сведениями о готовящемся решительном наступлении врага, надеялось, что к катастрофе оно не приведет. Уж очень значительными были потери немцев при наших непрерывных контрударах, да и во время всего летнего кровавого противостояния двух сторон на многострадальной смоленской земле. Не предвещало столь тяжкой трагедии и то обстоятельство, что линии обороны в полосах всех наших армий были в инженерном отношении надежно укреплены, прикрыты минными полями, усилены на стыках соединений артиллерией.

30 сентября над Брянскими лесами взметнулся вихрь вражеского удара колоссальной мощи. 2-я танковая группа вермахта начала в полосе Брянского фронта операцию, наименование которой («Тайфун») станет известно позже, как и выяснится, что гитлеровское руководство считало ее «решающим сражением года». Перевес сразу же оказался на стороне врага хотя бы потому, что командование Брянского фронта почти все свои резервы расположило у Брянска и Глухова, врубаясь в направлении Орла, а левым крылом охватывая с юга Брянск. Наступление врага было поддержано почти всей авиацией, имевшейся у группы немецких армий «Центр»... Обеспечив прорыв своей южной группировки войск в тылы Брянского фронта, вражеская авиация уже 2 октября на рассвете прицельно атаковала основные и запасные узлы связи Западного и Резервного фронтов и их армий, затем массированно поддержала перешедшие в наступление войска левого крыла группы армий «Центр», которые из районов Духовщины и Рославля глубоко охватили и обошли с севера и с юга наши войска. В итоге не только Москва потеряла связь с фронтами западного стратегического направления, но и командование Западным фронтом, заранее не разгадав замыслов противника, не смогло предпринять нужные контрмеры...

А ведь можно же было предположить, что группа армий «Центр», отражая наши удары и неся большие потери, в то же время будет

готовиться взять реванш. Но чтоб именно так: тремя мощными танковыми группировками начать решительное наступление из районов Духовщины, Рославля и Шостки с очевидной целью — расчленить оборону советских войск, окружить и уничтожить в районе Вязьмы войска Западного и Резервного фронтов, а Брянского фронта — северо-восточнее Брянска, затем, со всей вероятностью, попытаться сильными подвижными группировками охватить Москву с севера и юга и в сочетании с фронтальным наступлением пехотных соединений попытаться овладеть ею?..

Борису Михайловичу хотелось криком кричать от того, что Генштаб, Ставка Верховного Главнокомандования не сумели точно разглядеть эти созревшие у немецкого генералитета планы, хотя, впрочем, и не сомневались, что немцы, обескровленные и измотанные в том же двухмесячном Смоленском сражении, перегруппируют и пополнят свои армии и еще до наступления зимы непременно попытаются нанести решительный удар в направлении Москвы. Готовились к этому... Наращивая силы, создавали монолитные оборонительные рубежи на большую глубину... Что же впереди?.. Вдруг агрессору удастся осуществить задуманное?..

У Бориса Михайловича леденело сердце от напряжения мыслей, от понимания того, что война набрала самые опаснейшие, может, финальные, обороты, которые пока никак невозможно затормозить; требовалось какое-то колоссальное противодействие, своеобразный мощнейший рычаг. Здесь не могли изменить положение ни чье-то внезапное полководческое озарение, ни личные военные доблести командования: начавшееся новое наступление немцев превосходящими силами предоставляло им колоссальные стратегические выгоды и непредвидимые перспективы.

Надо было без промедления искать выход из критической ситуации. Нельзя допустить трагической развязки в бездействии... Почему-то вспомнились размышления великого художника и провидца Льва Толстого о том, что для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. И человеческий ум, не вникнувши в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. Нет, не до выискивания сейчас причин происходящего. Они ведь ясны. Главное, как заставить врага в чем-то ошибиться, распылить войска, увлечься своим успехом до самозабвения, а самим, создав мощные узлы сопротивления, по-особому правильно и уравновешенно использовать их активность и огневую мощь? Но все это пока умозрительно, исходящее из общих принципов стратегии, накопленных в многочисленных войнах за века. Точнее будет, если поиски выхода из создавшегося положения уподобить сейчас поискам трудного математического доказательства, когда не стремятся сразу подойти к конечной цели, а пытаются прежде всего разложить задание на отдельные части, которые позволяют уяснить сложности порознь и упростить всю задачу в целом.

Если разложить задачу на части, то в первую очередь надо

уяснить для себя: на каких рубежах и из каких сил создавать узлы сопротивления? Как остановить грозную лавину, которая перехлестнула или обтекла наши, как казалось, непроницаемые военно-оборонительные фронтовые дамбы и частью сил устремилась к Москве, а частью принялась перемалывать наши войска, попавшие в окружение? Как быть всем тем соединениям в районах Вязьмы и Брянска, охваченным немцами с флангов и с тыла, если нет возможности их деблокировать с востока?..

Если бы силы были хотя бы равными, то при искусном руководстве, если таковое проявилось, можно было бы и в условиях окружения навязывать врагу свою волю, ибо в стратегии, как утверждал мудрый генерал Драгомиров, при равных силах окруженные войска могут оказаться даже в более выгодном положении, чем те, которые занимают рубежи окружения. Однако на Западном и Брянском фронтах немцы намного превосходили нас своим могуществом, особенно за счет танков, артиллерии и авиации, и обладали свободой маневра.

19

Когда не знаешь, куда пришел, надо оглянуться назад...

Маршал Шапошников, разложив на письменном столе донесения с Западного фронта, как бы оглядывался во вчерашние дни, осмысливал последние решения генерал-лейтенанта Конева, время от времени кося глаза на висящую простыню топографической карты с нанесенной обстановкой. Что же сделано правильно, а какие решения опрометчивы?.. Совершенно очевидно, что директива командующего фронтом своим армиям от 27 сентября об укреплении оборонительных рубежей запоздала, как запоздал и приказ командующему ВВС фронта об активизации воздушной разведки группировок противника, врученный адресату только вечером 29 сентября.

Доклад командующего фронтом Генштабу от 28-го о плане действий войск на конец сентября и начало октября тоже вызывал горечь: в основе этого плана — контрудары советских войск по противнику в случае, если он перейдет в наступление. И это без точного знания соотношения сил, без окончательного вскрытия оперативных замыслов врага, без учета того, что война — процесс двухсторонний. Да еще такая легковесная уверенность в непогрешимости намеченных решений! Пятый пункт приказа даже гласил: «При наличии успеха и ликвидации наступающего противника на одном из направлений, освободившиеся силы будут использованы для усиления других направлений...» Немыслимо! И нелепо было 30 сентября силами артиллерии 16-й и 19-й армий проводить артиллерийскую контрподготовку, не ведая, что немцы нацелили главный свой удар для прорыва — севернее, в стык между 19-й и 30-й армиями и во фланг 29-й... Просчет на просчете и недальновидность... Теперь вся надежда при вскрывшейся обстановке на разумные решения генерала Конева,

на умение его командармов и командиров дивизий разрушать замыслы перешедшего в наступление противника противодействием своих частей. Но как там все складывается?.. Связь с Западным и Резервным фронтами нарушена. Пока ее установят, надо успеть подготовить указания Ставки исходя из предвидения, что армиям Западного фронта придется отойти на рубежи Резервного (худшего маршал не предполагал). И нужно намечать меры, дабы не позволить врагу сомкнуть где-либо свои фланги и окружить наши войска...

И все-таки маршал Шапошников при своем высокопрофессиональном умении вглядываться в замыслы оперативных и стратегических операций, давать им оценку и предугадывать развитие военных событий, не мог даже предположить, что на московском направлении обстановка сложилась куда более опасно, чем это виделось на картах управлений Генерального штаба, прочитывалось в поступавших донесениях и слагавшихся из них боевых документах.

Первым ощутило неотвратимую угрозу столице командование Московского военного округа, отвечающее за оборону ближних подступов к Москве и неутомимо занимавшееся формированием частей для пополнения действующей армии.

Неожиданности, правда, тоже имеют периоды созревания. А созревание их происходит, по обыкновению, в тайне. Тайна же на войне — одно из могучих видов оружия, которое до времени не имеет зримо воспринимаемых очертаний и конкретностей.

Для Ставки и ее главного инструмента — Генерального штаба своеобразной тайной являлись события, развивавшиеся в первых числах октября 1941 года на Западном и Резервном фронтах. Неизвестность происходившего там, разумеется, томила души Сталина и Шапошникова, но, коль не было явных поводов ощутить опасность, они пребывали в относительном спокойствии, недоумевая, однако, почему оборвалась мощная система связи сразу со всеми штабами Западного направления. На телефонный звонок 5 октября дежурному Генерального штаба члена Военного совета Московского военного округа дивизионного комиссара Телегина, обеспокоенного нарушившейся связью, особенно с Резервным фронтом, последовал успокоительный ответ:

— На Западном и Резервном фронтах за истекшие сутки существенных изменений обстановки не произошло...

У Телегина же были причины для беспокойства: Резервный фронт, развернутый в тылу Западного фронта, прикрывал Москву на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже; его армии находились ближе других к Можайской линии обороны, не занятой достаточными силами наших войск. А он, сорокадвухлетний политработник Константин Федорович Телегин, был сейчас в штабе прифронтового округа «за главного», следовательно, в ответе за все, ибо командующий войсками округа генерал Павел Артемьевич Артемьев срочно выехал под Тулу для принятия мер по укреплению обороны города, а заместитель

командующего генерал-майор Н. П. Никольский отбыл на восток от Москвы с задачей ускорить подготовку и отправку на Можайский рубеж обороны артиллерийско-пулеметных батальонов и проверить подготовку маршевых пополнений. Телегину приходилось в единственном лице совмещать командование округа, выслушивать доклады начальника штаба, начальников управлений, вдумываться в противоречивость поступавших с фронта сведений и принимать решения.

Генерал Артемьев ночью 2 октября позвонил из Тулы и сообщил о создавшейся там напряженности в связи с отходом расчлененных немцами армий Брянского фронта. Назревала угроза вторжения врага в Тулу, подобно тому, как внезапно ворвался он, преодолев за сутки расстояние в 130 километров, в Орел, оказавшийся неприкрытым. Жители Орла даже приняли появившиеся на улицах танки 24-го немецкого корпуса за советские, а ходившие по своим маршрутам трамваи послушно уступали вражеским машинам перекрестки. И Артемьев настоятельно потребовал от Телегина докладов о сообщениях с Западного и Резервного фронтов и о принимаемых мерах на случай прорыва немецко-фашистских частей в направлении Москвы.

Окружные связисты были бессильны связать Телегина хоть с каким-либо штабом частей Западного направления. Проводная связь не работала и эфир был «непробиваем». А понимание того, что между Орлом и Тулой нет наших оборонительных рубежей, занятых войсками, тиранило разум. Это больше всего тревожило и Артемьева, не имевшего, находясь в Туле, постоянных контактов с руководством Генерального штаба.

Со всей очевидностью было ясно: надо принимать экстренные меры по обороне Тулы. Он, Телегин, делал все возможное для скорейшего продвижения в район Плавск, Мценск эшелонов с резервными войсками, из которых по решению Ставки формировался 1-й гвардейский корпус. Артемьев же получил указание Ставки оставаться в Туле до прибытия туда генерал-майора Лелюшенко, назначенного командиром этого корпуса, и принимать решительные меры для защиты подступов к Туле. В ночь на 4 октября по приказу генерала Артемьева и с ведома областного и городского партийных комитетов были подняты по боевой тревоге Тульское оружейное военно-техническое училище, истребительные батальоны и подразделения войск НКВД, охранявшие оборонные заводы. Утром их включили в состав частей 1-го гвардейского стрелкового корпуса. На подступах к городу началось спешное строительство оборонительного обвода...

Напряжение в штабе Московского военного округа возрастало. Константин Федорович Телегин ощущал тревогу с особой остротой, будучи военачальником довольно опытным. В его военной биографии схватки с Колчаком и Врангелем, бои у озера Хасан и в снегах Финляндии. Он умел сопоставлять военные события, искать им объяснения, намечать задачи и предвидеть ход их решений. Но был и в меру осторожен, чему научился, занимая в прежние годы различные политические посты в пограничных войсках НКВД. Константин Фе-

дорович прочно усвоил для себя правило: без особой нужды не обращаться в вышестоящую инстанцию, а если обращаться, то быть в большой мере спрашивающим, а уж потом, если есть такая необходимость, высказывать свои соображения. Иногда не без иронии думал об этой своей осторожности, но не изменял ей, привыкший на границах каждое событие расценивать всесторонне.

Вот и сегодня: рука прямо тянулась к «кремлевскому» телефону; нужна была свежая информация из Генштаба. Но, узнав от начальника штаба округа генерал-майора И. С. Белова, что Ставка Верховного Главнокомандования в эти дни занята переброской 49-й армии генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина с Вяземского рубежа на орловско-курское направление, несколько успокоился, пусть и ненадолго. Из Тулы опять позвонил генерал Артемьев и передал распоряжение генералу Громадину — своему помощнику по ПВО — немедленно перебросить под Тулу два зенитных артиллерийских полка или отдельных дивизиона...

Что же случилось?.. После разговора с Громадиным перезвонил в Тулу, но Артемьева там уже не застал. Оказалось, что с группой командиров он уехал в сторону Малоярославца и связь с ним потеряна... Телегин приказал окружным связистам попытаться «пробиться» в Малоярославец. Оттуда последовал встречный телефоный звонок в кабинет начальника штаба генерала Белова. Докладывал начальник оперативного отдела оборонительного строительства полковник Д. А. Чернов: по дорогам с запада отступают тыловые отделы и подразделения 43-й армии. Задержанные командиры сообщают о широком прорыве немцами наших оборонительных позиций и о том, что некоторые дивизии 43-й армии уже ведут бои в окружении.

Сообщить в Генеральный штаб непроверенную информацию? Это не в правилах Телегина. Полковнику Чернову был отдан по телефону приказ выставить на всех дорогах западнее Москвы вооруженные заставы, задерживать и подробно опрашивать отходящих к столице военнослужащих и гражданских лиц, а в направлении Спас-Деменска выслать разведку. Использовал еще одну возможность для выяснения обстановки: распорядился запросить дальние посты воздушного наблюдения, опоясывавшие Москву. Но генерал Д. А. Журавлев, командир 1-го корпуса ПВО, ответил, что никаких тревожных донесений ему не поступало. Правда, связь с главным постом ВНОС Западного фронта почему-то оборвалась.

Теперь оставалось ждать результатов воздушной разведки — благо, полковник Сбытов Николай Александрович, командующий военно-воздушными силами Московского военного округа, еще в августе отдал своим авиационным частям приказ непрерывно держать под наблюдением все магистрали, ведущие к Москве со стороны линии фронта, особенно те, над которыми чаще всего появлялись с разведывательными целями немецкие самолеты. Сегодня группам истребителей была поставлена задача с особой тщательностью обследовать дороги в районах Юхнова, Спас-Деменска, Рославля и Сухиничей.

И вот в кабинете дивизионного комиссара раздался телефонный звонок от Сбытова. Обычно всегда спокойный и сдержанный, Николай Александрович докладывал взволнованно и даже изменившимся голосом:

— Товарищ член Военного совета! Вылетевшие на задание летчики только что приземлились в Люберцах и доложили: ими обнаружена большая колонна немецких танков! Движутся со стороны Спас-Деменска на Юхнов!

— Не может быть! — отозвался Телегин, окинув встревоженным взглядом собравшихся у него штабных командиров.— Немедленно зайдите ко мне!

Когда полковник Сбытов вошел в кабинет, Телегин как можно спокойнее обратился к командирам:

— Прошу вас, товарищи, на время оставить нас вдвоем.

Командиры покидали кабинет члена Военного совета, сочувственно поглядывая на Сбытова, полагая, что полковник в чем-то провинился и сейчас получит от начальства разнос.

— Не могу поверить,— тихо произнес Телегин, взглянув на взволнованного Сбытова.

— Товарищ дивизионный комиссар! Разведку выполняли лучшие летчики сто двадцатого истребительного полка — Дружков и Серов. Не доверять им не могу, как и их командиру, полковнику Писанко. Ведь речь идет не о роте, даже не о полке... Движется целая армада вражеской техники! Ее колонна растянулась почти на двадцать пять километров! Ошибиться невозможно! — Сбытов ткнул пальцем в развернутую на столе карту и продолжил: — Летчики прошли над ней на небольшой высоте, ясно видели кресты на танках, даже были обстреляны. Никаких сомнений: враг движется на Юхнов!

Теперь непременно надо звонить в Генеральный штаб — там уже наверняка осведомлены о прорыве врага...

Дивизионный комиссар Телегин, промокнув платком наголо бритую голову, снял трубку «кремлевского» телефона и набрал номер маршала Шапошникова. На звонок откликнулся дежурный генерал. Телегин назвал себя и спросил:

— Скажите, пожалуйста, каково положение на Западном фронте?

— От Западного и Резервного фронтов новых данных не поступало,— спокойно ответил генерал.

Телегин был обескуражен: а вдруг Генштабу действительно ничего еще не известно? Но в это не верилось. И попросил дежурного:

— Прошу соединить меня с маршалом Шапошниковым.

Борис Михайлович ответил уставшим голосом; чувствовалось, что он крайне занят.

Сообщив маршалу о том, что штаб Московского военного округа потерял связь со своим командующим, уехавшим из Тулы в район Малоярославца, сжато доложив о выполнении полученных от Генштаба заданий, Телегин затем осторожно поинтересовался положением дел на Западном фронте.

— Ничего, голубчик! — утомленно ответил Борис Михайлович.— Ничего тревожного пока нет. Все спокойно, если под спокойствием понимать войну*.

В телефонной трубке раздались короткие гудки. Разговор с маршалом окончен. Телегин сидел в растерянности, с трудом сдерживая себя, чтоб вновь не позвонить в Генштаб. Отсутствующим взглядом скользнул по окаменелому лицу полковника Сбытова: в нем боль, досада, негодование и... непонимание.

— Товарищ член Военного совета,— осипшим голосом обратился к Телегину полковник Сбытов,—мы совершим преступление, если не доложим...

— Помолчите, голубчик,— строго перебил его Телегин, не заметив, что употребил любимое слово Шапошникова.— А вы представляете себе степень преступления, если мы, опираясь на неподтвержденные данные двух летчиков, поднимем в Москве ложную тревогу в столь напряженное время?.. Не о нас с вами речь!..

Полковник Сбытов рывком встал со стула и, кажется, угрожающим тоном произнес:

— Я отвечаю за достоверность информации! Разрешите мне доложить в Генеральный штаб!..

— Не разрешаю!.. Приказываю сейчас же послать на повторную разведку самых надежных летчиков... Пусть снизятся до бреющего полета, пройдут над колоннами, опознают их, определят состав, численность техники и направление движения...

Сбытов будто ничего не слышал. Смотрел на члена Военного совета печально-негодующим взглядом и молчал. Потом вдруг повернулся и зашагал из кабинета, отрешенно сказав на ходу:

— Есть, послать повторную разведку!..

В первой половине дня 5 октября с Люберецкого аэродрома вновь взмыли истребители и взяли курс на юго-запад. Третьим взлетел лейтенант Виктор Рублев. Боевые полеты, к которым уже привык, теперь казались ему обыкновенной работой, хотя и ощущал в ней какую-то праздничность. Странно, шел навстречу опасностям, воздушным схваткам с «мессершмиттами», зенитным обстрелам с земли, но все-таки состояние юношеского восторга не усмирялось в нем, не иссякала вера в свою неуязвимость. И чего греха таить, даже в воздухе, когда он был один на один со своим истребителем, его не покидало чувство некоторой рисовки, будто он был на виду у Ирины Чумаковой, с которой случайно встретился, когда в районе Кубинки разыскивал обломки своего истребителя. Из него он выбросился с парашютом после того, как таранил немецкий бомбардировщик в ночь первого воздушного налета на Москву. Они с Ириной еле

* Именно в этом месте обязан осведомить читателя, что документальная основа настоящей главы опирается на воспоминания генералов К. Ф. Телегина, Н. А. Сбытова, Д. А. Журавлева и на материалы ЦАМО. *(Прим. авт.)*

узнали друг друга после единственного свидания в Ленинграде за сутки до начала войны.

Потом побывал у Ирины в московской квартире, испытал смущение при знакомстве с ее, такой же красивой, как и она, матерью и радостное потрясение от встречи с Федором Ксенофонтовичем Чумаковым, с которым выходил из окружения, не догадываясь тогда, что тот удивительно мужественный генерал — отец Ирины.

Теперь Ирина как в воду канула. Телефон в их московской квартире не отвечает, а съездить из Люберец в Москву при бессменных боевых дежурствах на аэродроме — немыслимо. Война ведь совсем рядом.

Вот и сегодня Виктор Рублев в составе звена истребителей летал, как и все последние дни, в дальнюю разведку. Главная задача была — осмотр закрепленных за их полком магистралей. Пролетели над Малоярославцем, Медынью и взяли курс на Юхнов. Земля виделась с высоты, как топографическая карта крупного масштаба — в зеленых или пестрых пятнах лесов с просеками, прожилками больших и малых дорог, с квадратами полей, черных, желтоватых, коричневых, с кубиками деревенских или городских домов. Проплыла внизу железная дорога, идущая из Вязьмы на Калугу; по тонким ниточкам рельсов двигался будто игрушечный поезд с дымящим паровозиком впереди. Через лес, перелески и поля юлила из дали в даль речушка, сверкая на изгибах отраженными лучами солнца.

Вот и Юхнов. Над ним кое-где вздымались черные и округлые столбы дыма, уползавшие на юг. Далее пошли на Спас-Деменск — вдоль шоссейной дороги, рассекавшей ровным пробором лесной массив. Издали увидели, что над дорогой зависла колеблющаяся полоса то ли дыма, то ли пыли. А еще через минуту разглядели длинную, неохватную взглядом колонну танков, бронетранспортеров, грузовиков.

«Отступают наши войска или совершают маневр?» — подумал Виктор и, видя, что ведущий — лейтенант Дружков — резко стал пикировать на колонну, тоже подал ручку управления вперед. Но что это? Откуда-то из колонны часто замигали светлячки — стреляли из пулеметов. Ударили зенитные пушки.

«За немцев нас приняли!» — с досадой подумал Виктор и, повинуясь команде Дружкова, отвалил вправо. Рядом с ним шел истребитель лейтенанта Серова.

Самолеты, отвернув от шоссейки, снизились к самым верхушкам леса и вновь пошли прямо на колонну. И тут же Виктор разглядел на бортах танков и бронетранспортеров черные, в желтом окаймлении, кресты.

«Немцы!.. Откуда они тут взялись?..» Виктор знал, что линия фронта проходила где-то у Брянска, Рославля, Ельни...

По истребителям открыли из колонны уже шквальный огонь — из крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек...

Самолеты опять отвалили, развернулись над лесом и, следуя друг за другом, обрушили на колонну огонь из пушек и пулеметов...

А ведь после утренней разведки лейтенантов Дружкова и Серова где-то в высших штабах не поверили тому, что летчики доложили своему командиру полка. И сейчас приказано повторно разведать Варшавское шоссе и прилегающие к нему дороги, ведущие со стороны Спас-Деменска, Юхнова и Медыни. Было обидно за проявленное кем-то недоверие, и томило ощущение немалой опасности — ведь надо было, обнаружив немцев, не раз пройти у них буквально над головами и убедиться, что не ошиблись, распознав прорвавшегося в направлении Москвы врага.

Дивизионный комиссар Телегин, принимая командиров, выслушивая доклады, подписывая документы, мыслями неотрывно был там, куда ушла авиаразведка. Время будто остановилось, поселив в груди мучительную холодную тяжесть. Трижды звонил полковнику Сбытову, но донесений к нему пока не поступало. Тревожила мысль, что посланные в разведку истребители могли быть уничтожены врагом.

Полковник Сбытов появился в кабинете внезапно — вошел стремительно, кажется постаревший лицом, глаза его смотрели негодующе.

— Это немцы! — будто не сказал, а выдохнул.— Летало три боевых экипажа. Прошли над колонной бреющим полетом под сильным зенитным огнем. Машины получили пробоины... Голова вражеской колонны уже в пятнадцати — двадцати километрах от Юхнова!

...Телегину показалось, что диск телефонного аппарата вращается очень медленно. Когда услышал, что откликнулся маршал Шапошников, спросил, сдерживая дыхание:

— Борис Михайлович, не поступило ли к вам каких-нибудь новых данных о положении на Западном?..

— Нет! — после паузы, стараясь не выдать неудовольствия, ответил маршал Шапошников и положил трубку.

Константин Федорович будто перестал себя ощущать. Смятенные мысли бились словно не в нем... Не хотелось верить, что Генеральный штаб, получая информацию от всех видов разведки, располагая средствами вскрытия не только передвижения вражеских войск, но и замыслов его командования, мог не знать, что на ближних подступах к Москве появились внушительные силы немецких танков и мотопехоты... Чертовщина какая-то!.. Или наши летчики все-таки ошибаются?

— Нет! — воскликнул Сбытов.— Ошибка исключена!

— Полковник,— Телегин медлительно поднялся из жесткого кресла,— с Генеральным штабом не шутят... Понимаете?.. Перед Сталиным будем отвечать мы с вами, а не маршал Шапошников. Мы — первоисточник информации!

— Что же вы предлагаете, товарищ дивизионный комиссар? — с вызовом ответил Сбытов.

— Я на свой страх и риск объявляю войскам округа боевую тревогу!.. А вы...

— Каким войскам? — с болью в голосе спросил Сбытов.— Все кадровые войска отправлены на фронт. Нет у нас войск в резерве!

— Николай Александрович,— уже с досадой заговорил Телегин, вновь усаживаясь в кресло,— вы ведь и член Военного совета Московской зоны обороны. И должны знать, что кроме формирующихся частей у нас есть подчиненные нам военные училища, военные академии... Ну, это уже моя забота, мне отвечать! А вас прошу вновь поднять в воздух самолеты!.. Пусть летят на разведку командиры эскадрилий!.. Немедленно!

— Есть, немедленно! — Сбытов с горькой укоризной и непониманием окинул дивизионного комиссара отчужденным взглядом, хотел еще что-то сказать, но как бы споткнулся о его встречный, требовательный взгляд и стремительно вышел из кабинета.

Телегин в душевном изнеможении закрыл глаза, приложил ко лбу ладонь и задумался. Но тут же порывисто встал и, взяв со стола рабочую тетрадь, похожую на амбарную книгу в дерматиновой обложке, вышел в приемную, где неотлучно дежурил у телефонов его порученец старший политрук В. С. Алешин — русоволосый, бледнолицый, с острым, все понимающим взглядом. При появлении в приемной дивизионного комиссара Алешин подхватился из-за стола и принял стойку «смирно».

— Владимир Сергеевич, я переселяюсь в кабинет командующего,— сказал Телегин порученцу.— Пригласите ко мне начальника штаба округа, а потом поочередно вызывайте на связь Подольские военные училища, лагерь Военно-политической академии, Солнечногорск и далее — что прикажу.

— Есть! Все понял! — отчеканил Алешин, а дивизионный комиссар скрылся за дверью, которая была напротив двери его кабинета.

«Обиталище» генерал-лейтенанта Артемьева было попросторнее телегинского. На угловом столике, приставленном справа от рабочего стола, табунилось несколько телефонных аппаратов — в них и была причина «переселения» Телегина. Сюда могли звонить отовсюду — из Кремля, Генштаба, штаба ПВО, частей округа, военно-учебных заведений.

Уселся за стол командующего, раскрыл рабочую тетрадь. В это время зашел в кабинет начальник штаба округа генерал-майор Белов.

— Садитесь, Иван Сергеевич, а то сейчас упадете от напора новостей, принесенных воздушной разведкой,— невесело пошутил Телегин и бегло сообщил о грозно-тревожных новостях.

Белов действительно был ошеломлен. Надо принимать экстренные решения — собирать силы для прикрытия подступов к Москве.

— Но военные училища и академии — это же золотой фонд армии, ее будущая мощь! — удрученно напомнил Телегину генерал Белов.— Нужны правительственные решения.

— У вас есть более разумные предложения? — Телегин явно сердился.

...Первые телефонные звонки — в Подольск, который ближе всего находился к врагу. Вначале комбригу Елисееву, формиров-

шему там стрелковую бригаду, потом генерал-майору В. Д. Смирнову — начальнику пехотного училища, полковнику И. С. Стрельбицкому — начальнику артиллерийского училища: от всех потребовали объявить боевую тревогу. Через Подольск связались с лагерем Военно-политической академии имени Ленина. Тут же послали в Подольск помощника командующего по вузам комбрига Елисеева с полномочиями — в самые сжатые сроки с боеспособными силами стрелковой бригады, училищ и академии занять оборону на рубеже Малоярославецкого укрепленного района, взять под контроль Варшавское шоссе, выслать в сторону Юхнова усиленный артиллерией передовой отряд и, в случае встречи с противником, закрепиться на достигнутом рубеже, удерживая его до подхода подкреплений.

Затем связались с Солнечногорскими лагерями и подобный же приказ отдали начальнику пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР полковнику С. И. Младенцеву, Герою Советского Союза...

Была также объявлена боевая готовность Военно-политическим училищам имени В. И. Ленина (в Москве), имени Ф. Энгельса и артиллерийскому (в Рязани), а также 33-й запасной стрелковой бригаде.

От командования противовоздушной обороны Московской зоны тоже потребовали принять меры для перекрытия путей на Москву своими наземными и воздушными средствами, а с начальником 1-го Московского Краснознаменного артиллерийского училища полковником Ю. П. Бажановым обсудили возможности немедленного сформирования гвардейских минометных и артиллерийско-противотанковых полков...

Около двенадцати часов в кабинет командующего вошел полковник Сбытов и на удивление спокойно, однако с явной подавленностью доложил:

— Товарищ член Военного совета! Данные полностью подтвердились. Это фашистские войска. Голова танковой колонны уже вошла в Юхнов. Летчики были обстреляны, есть раненые... Нужно поднимать авиацию.

Телегин теперь был уверен, что наконец-то эти сведения стали известными Генеральному штабу. Поэтому, выйдя на связь с маршалом Шапошниковым, не ждал трудных объяснений. Однако ошибся. Когда маршал уже в третий раз услышал сегодня вопрос: «Каково положение на Западном фронте?», он, не сдержав раздражения, строго произнес:

— Послушайте, товарищ Телегин, что значат ваши надоедливые звонки?! Чем это вызвано?

Раздражение Бориса Михайловича будто придало сил Телегину, и, не переводя дыхания, он с яростной четкостью, подчеркивая этим свою уверенность, доложил, что к Москве приближаются немецкие танки. Они — уже в двухстах километрах от столицы.

Шапошников некоторое время молчал, потом изменившимся голосом спросил:

— Вы отдаете себе отчет в том, о чем докладываете?.. Может, ваши летчики обознались? Приняли наши войска за немецкие?..

— Нет, не обознались! Дважды перепроверяли Точно — немцы!

— Это невероятно.— Шапошников, кажется, даже всхлипнул.— Почему же нам ничего не известно?.. Ведь это значит, что врагу уже удалось охватить с юга нашу вяземскую группировку!..— И положил трубку.

Телегин замер в оцепенении, понимая, что маршал Шапошников сейчас докладывает услышанное от него, Телегина, Сталину. Даже позабыл, что рядом, за приставным столом, сидят генерал-майор Белов и полковник Сбытов. Глаза непроизвольно смотрели на телефонный аппарат кремлевской связи. И вот телефон зазвонил. Сердце у Телегина ворохнулось. Он снял трубку и услышал голос Поскребышева — помощника Верховного:

— Соединяю вас с товарищем Сталиным...

И спустя несколько секунд — глухой, с грузинским акцентом голос Сталина:

— Телегин?

— Так точно, товарищ Сталин!

— Вы только что докладывали Шапошникову о прорыве немцев в Юхнов?

— Да, я, товарищ Сталин!

— Откуда у вас эти сведения и можно ли им доверять?

— Сведения доставлены лучшими боевыми летчиками, дважды перепроверены. Достоверность их несомненна.

— Вы нисколько не сомневаетесь? — В голосе Сталина сквозил ледяной тон: чувствовалось, что он не верит услышанному.

— Вначале сомневался, а после двойной перепроверки...

— Что вы предприняли? — не дослушав ответа Телегина, строго спросил Сталин.

Телегин только сейчас вспомнил, что в кабинете он находится не один. Глядя в побледневшее, напряженное лицо генерала Белова, дивизионный комиссар доложил Сталину об уже отданных им распоряжениях.

— Ну что ж,— раздумчиво сказал Сталин,— ваши решения, в общем, правильны. Но этого мало... Собирайте все силы для отпора врагу...

— Сейчас вызываю начальников управлений и отделов штаба, будем изыскивать дополнительные возможности.

— Прикажите полковнику Сбытову нанести бомбовые и штурмовые удары по немцам хотя бы четырьмя авиационными полками.

— Есть, товарищ Сталин! Полковник Сбытов рядом со мной.

— А где Артемьев?

— Артемьев в Туле, организует оборону города.

— Разыщите его, и пусть он немедленно возвращается в Москву. Действуйте решительно. Собирайте все, что есть годного для боя. На ответственность командования округа возлагаю задачу во что

бы то ни стало задержать противника на пять — семь дней на рубеже Можайской линии обороны.— Сталин кашлянул и тут же продолжил: — За это время мы подведем резервы. Об обстановке своевременно докладывайте мне через Шапошникова.

— Есть, докладывать, товарищ Сталин!

Положив на аппарат телефонную трубку, Телегин расслабленно опустился в кресло, вздохнул с тем облегчением, которое будто бы снимает гору с плеч, и, обратившись к Сбытову, пересказал ему распоряжение Верховного Главнокомандующего о необходимости нанести воздушные удары по прорвавшимся немцам. Сбытов, уяснив задачу, тут же покинул кабинет. Генерал Белов тоже вышел — отдать приказ дежурному о вызове руководства штаба округа в кабинет командующего и об отправке в Тулу самолета У-2 за генерал-лейтенантом Артемьевым.

Однако тревоги дивизионного комиссара Телегина набирали новый разбег: справа от него коротким звонком вновь напомнила о себе «кремлевка». Снял трубку и услышал голос Берии, который тоже являлся членом Военного совета округа, но в штабе его пока никто ни разу не видел. Возглавляя НКВД, Берия имел обыкновение разговаривать повелительно-строго или с притворной вежливостью, которой все боялись. Именно с «вежливостью» обратился он и к Телегину:

— Откуда вы получили сведения о захвате немцами Юхнова? Кто вам их сообщил?

Почувствовав в вежливом голосе Берии угрозу, Телегин начал объяснять все подробно. Но объяснения почему-то вдруг разъярили Берию, и он, возвысив голос, резко оборвал дивизионного комиссара:

— Слушайте! Что вы воспринимаете на веру всякую чепуху?! Вы, видимо, пользуетесь информацией паникеров и провокаторов! Кто вам непосредственно докладывал эти сведения?

— Командующий военно-воздушными силами округа полковник Сбытов Николай Александрович.

— Хорошо! — Берия положил трубку.

20

В кабинете командующего ВВС Московского военного округа сидел за его рабочим столом полковой комиссар В. Д. Лякишев. Он замещал отсутствовавшего полковника Сбытова, подобно тому как Телегин замещал Артемьева.

Сбытов вошел в свой кабинет стремительно, выслушал короткие доклады Лякишева о текущих делах, и тут же они, посовещавшись, приняли решения более объемные — сразу бросить на уничтожение прорвавшихся в направлении Москвы фашистских колонн всю авиацию округа. Штабам авиачастей тотчас же были отданы приказы...

Приказы не только отдаются, но, случается, и отменяются...

На подмосковные аэродромы было кем-то* отдано распоряжение считать приказы командующего ВВС Московского военного округа недействительными, а сам командующий, уже чьими-то хлопотами заподозренный во враждебной деятельности, был в экстренном порядке вызван на Лубянку к начальнику Особого отдела Красной Армии Абакумову.

Войдя к Абакумову, полковник Сбытов увидел кроме сидевшего за массивным столом хозяина кабинета еще и прохаживавшегося по ковру Меркулова — заместителя наркома внутренних дел страны. Генералы были какими-то «новенькими» — в наглаженной форме, сверкавших хромовых сапогах; лица их гладко выбриты, не уставшие. В углу кабинета, за отдельным столом, сидел молодой полковник, перед которым лежала стопка чистой бумаги. Понял по напряженным взглядам и какой-то зловещей тишине — его ждали. Сердце заныло от предчувствия недоброго.

— Мы должны допросить вас, полковник,— безо всяких предисловий начал Абакумов, строго глядя на Сбытова.

— Готов отвечать на ваши вопросы.

— Садитесь.

— Благодарю.— Сбытов сел.

— Откуда вы взяли, что к Юхнову идут немцы?

— Наша воздушная разведка не только обнаружила,— стал отвечать Сбытов,— но и несколько раз подтвердила, что к Москве приближаются фашистские танки и мотопехота.

— Предъявите фотоснимки разведчиков.

— Это были истребители, они без фотоаппаратов. Да фотоаппараты и не нужны. Самолеты опускались до двухсот — трехсот метров над дорогой, и летчики все отлично видели. Им нельзя не доверять.

— А если они провокаторы?

— На каком основании такие предположения?

— Здесь мы задаем вопросы, а вы отвечайте. Может, летчики ошиблись?

— Нет...

— Почему вы так уверены?

— Я знаю своих людей.

— И лейтенанта Рублева знаете?

— Нет, но помню, что его представили к званию Героя Советского Союза. Он таранным ударом своего истребителя сбил «юнкерса».

— Это бабушкины сказки! Как он к вам попал?

— Надо запросить наш отдел кадров.

— Вот видите: людей не знаете, а доверяете им. По нашим сведениям, ваш доклад Телегину ложный.

— Я готов отвечать за свой доклад! Я верю своим летчикам!

---

* Со временем полковнику Н. А. Сбытову станет известно, что его приказ отменил после телефонного звонка Берии командующий Военно-Воздушными Силами Красной Армии генерал П. Ф. Жигарев.

...Допрос повергал Сбытова в исступление. Он никак не мог понять, почему его понуждают усомниться в донесениях воздушных разведчиков? Даже рождалась страшная мысль — не враги ли эти допрашивающие его люди, не стал ли он какой-то помехой для них? Но тут же отвергал догадку как нелепость, будучи убежденным, что, окажись фашисты в Москве, они начнут вешать энкавэдэшников первыми... Но причем здесь лейтенант Рублев, на которого он подписывал наградной лист?

Истина была непостижимой. Верно, что наша контрразведка, обнаружив в одном из московских госпиталей абверовца «майора» Птицына — бывшего русского графа Глинского, который стал вхожим в квартиру, где проживает семья генерала Чумакова Федора Ксенофонтовича, протянула нити своих наблюдений и к лейтенанту Рублеву, вышедшему из окружения вместе с Чумаковым и тоже посетившему однажды эту квартиру. Генерал дал поручительство за Виктора Рублева Семену Микофину, ответственному работнику Главного управления кадров Наркомата обороны, а тот в свою очередь похлопотал о лейтенанте перед кадровиками ВВС Московского военного округа, чтоб долго не держали его в резерве. Но какая тут связь между угрожающей Москве несомненной опасностью и цепочкой чьих-то умозаключений, берущей начало от «майора» Птицына, вторгшегося в доверие к Чумакову, о чем Сбытов понятия не имел?

Допрос полковника Сбытова продолжался:

— Вы верите своим летчикам?.. Они трусы и паникеры, такие же, видимо, как и их командующий! — Абакумов смотрел на Сбытова с такой враждебностью, что Николай Александрович внутренне содрогнулся; сверкнула мысль: не грезится ли ему во сне этот кошмар или, возможно, действительно он стал жертвой вражеского обмана? Но здравый смысл подавил мимолетное сомнение, и он холодно произнес:

— Ни своих летчиков, ни самого себя оговаривать не буду! Прошу предъявить доказательства ваших чудовищных обвинений!

Абакумов будто не расслышал слов Сбытова и, умерив пыл, более спокойно, даже участливо сказал:

— Предлагаю вам признать, что вы введены в заблуждение, что никаких танков противника в Юхнове нет, что ваши летчики допустили преступную безответственность, и вы немедленно с этим разберетесь и сурово накажете виновных.

— Этого сделать я не могу! — Сбытов будто и не уловил миролюбивого тона Абакумова.— Ошибки никакой нет, летчики боевые, проверенные, и за доставленные ими сведения я ручаюсь.

— Но у вас же нечем доказать все это!

— Прошу вызвать командира шестого истребительного авиационного корпуса ПВО полковника Климова. Он, вероятно, подтвердит.

— Хорошо,— жестко сказал Абакумов.— Положите на стол свой пистолет и ждите в приемной. Климова мы сейчас доставим...

И вот в приемной появился Климов — грузноватый, но подвижный. Его обычное добродушие на лице и оживленность в глазах сменились встревоженностью. Увидев Сбытова, шагнул к нему, намереваясь, видимо, что-то сказать как своему старшему начальнику, но тут же между ними встал заслоном дежурный контрразведчик и распахнул дверь кабинета Абакумова.

Ничего не мог ответить командир авиакорпуса на заданные ему Абакумовым вопросы.

— Никакими данными я не располагаю, ибо на разведку летали не мои летчики, а окружного подчинения.

Но и это не поколебало полковника Сбытова. Он тут же потребовал вызвать начальника штаба корпуса полковника Комарова с журналом, в котором записываются боевые действия в зоне Московской противовоздушной обороны... Однако и Комаров не внес ясности: работу летчиков военно-воздушных сил Московского округа штаб корпуса не регистрирует в своем журнале боевых действий.

...В кабинете наступило тягостно-трагическое молчание. Абакумов, вопреки ожиданию Сбытова, смотрел на него спокойно и будто с сожалением: было ясно, что он чувствовал себя победителем, но еще не решившим, как распорядиться своей победой. Наконец откинувшись на спинку стула, он сказал Сбытову почти дружеским тоном:

— Идите и доложите Военному совету округа, что вас следует освободить от должности, как не соответствующего ей, и судить по законам военного времени. Это наше мнение.

— А может, сразу в тюрьму? — с горькой иронией спросил Сбытов, так и не поняв, к чему же стремились Абакумов и Меркулов, истязая его нелепыми вопросами и чудовищными подозрениями.

— Это мы еще успеем сделать,— с откровенным цинизмом и чувством своей неограниченной власти бросил ему на прощание Абакумов, демонстративно положив в ящик своего стола пистолет Сбытова.

Последние слова начальника Особого отдела Красной Армии и изъятие пистолета родили в душе Николая Александровича яростное желание сопротивляться, хотя он не понимал, чему именно. С горечью подумал о том, что над ним, с его высоким положением в столичном военном округе, есть люди в армии не только более высокие (это естественно), но и бесконтрольно-всемогущие, всевластные. Мириться с этим не мог, не хотел. Глубокое возмущение происшедшим, протестующий бунт души от непонимания причин случившегося, от тяжкой обиды, причиненной беспочвенным недоверием, побуждали к каким-то поступкам. Но разумение того, что нависшая над Москвой опасность в сравнении с павшими на него обвинениями в трусости и паникерстве была все-таки бедой вселенской, тормозило мысль, не подсказывало нужных решений. Подсознательно бушевало в нем страстное желание позвонить Сталину или хотя бы маршалу Шапошникову... Нет... Он воистину военный человек и понимал: по правилам субординации делать этого не должен, да и что по телефону объяснишь... Сейчас только дивизионному комиссару Телегину мог он выплеснуть боль своего сердца,

излить невыносимую обиду и со всей откровенностью сказать, что, по его убеждению, есть в верхнем эшелоне власти люди с непонятным образом мышления, лишенные заботы о судьбе Отечества, которому угрожает погибель. А может, управляет ими злой умысел?.. Непостижимо!.. Но все-таки как выразить свою боль, протест, свое возмущение? Его исповедь в момент, когда может пасть Москва и рухнуть здание Советской власти, рискует остаться пустым звуком. Такой исповедью не остановишь врага и даже к делу ее не подошьешь.

Но Абакумову надо было «подшить к делу» протокол допроса полковника Сбытова Николая Александровича. На исходе того же 5 октября на командном пункте авиагруппы, где в это время Сбытов разбирался, почему авиационными полками не выполнен его приказ о бомбовых ударах по вражеским колоннам, появился уполномоченный контрразведки — тот самый полковник, который в кабинете Абакумова записывал все, о чем велся там разговор.

— Прошу прочитать и подписать протокол допроса,— требовательно обратился к Сбытову полковник.

Николай Александрович спокойно прочитал две страницы машинописного текста. В нем от имени Сбытова утверждалось, что немцы к Юхнову не прорывались, этому нет никаких подтверждений, а донесения воздушной разведки оказались ошибочными, введшими его, командующего ВВС Московского военного округа, в заблуждение, и он признает свою вину в дезинформации Ставки Верховного Главнокомандования.

Сбытов взял со стола ручку, будто собираясь расписаться под протоколом допроса, и торопливо написал под его нижней строкой:

«Последней разведкой установлено, что фашистские танки уже находятся в районе Юхнова и к исходу 5 октября город ими будет занят полностью. Все написанное выше — бред или провокация».— И только потом расписался.

— Что вы наделали?! — почти взвыл посланец Абакумова, прочитав дописанное.— Вы испортили протокол!

— Зато не испортил свою биографию, не опозорил своего имени! — сердито ответил Сбытов.— Убирайтесь вон!

Разумеется, это в высшей степени было справедливо, хотя с НКВД шутить опасно. Но Николай Александрович решился на крайность...

А тем временем события на московском направлении развивались с трагической стремительностью. Телефоны в штабе Московского военного округа не умолкали. Дивизионный комиссар Телегин еле успевал принимать донесения, отдавать приказы и распоряжения. Все происходившее в кабинете заносилось в рабочую тетрадь, записи вел сидевший рядом с Телегиным батальонный комиссар Н. М. Попов *. Каждая строка в книге звучала нарастающими трево-

* Книга «Запись боевых приказов и распоряжений члена Военного совета МВО дивизионного комиссара Телегина К. Ф.» хранится в Центральном архиве МО СССР. (*Прим. авт.*)

гами, все более угрожающим положением, человеческими бедами высшего накала:

«16 часов 00 минут. Звонит из Малоярославца Чернов (37-й укрепрайон). Танки и мотопехота противника заняли Юхнов. Отходят разрозненные подразделения Резервного фронта. Подошли 5-й гаубичный полк (без снарядов и горючего) и прожекторный батальон.

Телегин. Всех отходящих военнослужащих задерживать, формировать из них роты, батальоны и ставить на рубежи. Командиров и политработников посылаем из резерва. Ждите от нас боеприпасы и горючее... По боевой тревоге подняты Подольские училища. Им приказано в спешном порядке выходить на ваш рубеж и занять оборону по вашему приказу...»

И тут же распоряжение начальнику артиллерийского снабжения — немедленно отправить на автомашинах в Малоярославец миллион патронов, ручные и противотанковые гранаты... Приказы о горючем, командирах и политработниках...

«16 часов 15 минут. По «кремлевке» секретарь обкома Б. Н. Черноусов сообщает, что из района Юхнова и Медыни на Малоярославец движется большое количество населения, советских и партийных работников, подтверждающих выход танков противника на Юхнов и движение их на Медынь...»

Телегин информирует Черноусова о принятых штабом округа мерах. Просит его предложить секретарям райкомов партии и председателям исполкомов выводить население за линию обороны в сторону от шоссе и там собирать его, не допуская прохода в Подольск и на Москву...

«16 часов 20 минут. Звонит генерал Шарохин*, просит проинформировать об обстановке.

Телегин. Возвратившееся звено самолетов 120-го истребительного авиаполка доложило, что на шоссе к Малоярославцу продолжается отход большого количества населения, групп военных. Медынь горит... На дороге Спас-Деменск — Юхнов, Юхнов — Гжатск — танки, в обратную сторону — автомашины.

Шарохин. Нарком приказал выделить пять самолетов и разведать районы Малоярославец, Юхнов, Спас-Деменск, Сухиничи, Калуга, Медынь, ст. Угрюмово. Особое внимание обратить на леса, идущие на северо-запад от Юхнова и Медыни.

Телегин. Сейчас отдам распоряжение...»

«16 часов 30 минут. Военком Лакишев (ВВС). В лесу южнее и юго-западнее Юхнова — скопление танков противника. Улицы Юхнова забиты танками и автомашинами, прикрываются сильным зенитным огнем...»

Тут же последовал приказ Телегина о нанесении бомбовых ударов по обнаруженным целям... И так — непрерывно...

---

* Генерал-лейтенант Шарохин Михаил Николаевич тогда занимал должность заместителя начальника Оперативного управления Генштаба. (*Прим. авт.*)

«17 часов 35 минут. Телегин — Шарохину по «кремлевке». Только что комбриг Елисеев доложил из Подольска, что танки противника прорвались через Малоярославец и движутся на Подольск. Елисеев выдвигается с передовым отрядом и двумя батареями на реки Мочь и Нара. Сведения получены от коменданта 2-го дорожного участка военно-автомобильной дороги. Принимаю меры к проверке. До получения данных — прошу выше не докладывать.

Белову. Выставить сильные заградительные отряды, чтобы в Москву ни один человек из беженцев не попал. Отряды в 30—40 человек поставить в Кубинке, Наро-Фоминске, у Подольска».

Судя по телефонным звонкам из разных управлений Генерального штаба, Ставка пока так и не наладила связи с Западным и Резервным фронтами. А донесениям служб Московского военного округа и его оборонительной зоны не во всем доверяла. Да и действительно, невозможно даже было предположить, что немецкие войска сразу охватили армии двух наших фронтов с юга, оказались у них в тылу и приблизились к Москве на расстояние, которое механизированным войскам можно преодолеть за несколько часов; при этом неизвестно, как развивалось боевое противоборство на других участках фронта. Боязнь дезинформации в этих условиях проникла даже в Ставку Верховного Главнокомандования.

В 18 часов 15 минут Телегину позвонил Сталин:

«— Телегин?.. Вы сообщили Шапошникову, что танки противника прорвались через Малоярославец?

— Да, товарищ Сталин. Я доложил об этом генералу Шарохину, но...

— Откуда у вас эти сведения?

— Мне доложил из Подольска помощник командующего по вузам комбриг Елисеев со слов коменданта автодорожного участка. Связи с Малоярославцем нет, и я приказал ВВС немедленно послать самолеты У-2 и истребители для проверки, а также запросить посты ВНОС...

— Это провокация! — сердито сказал Сталин.— Прикажите немедленно разыскать этого коменданта, арестовать его и передать в ЧК. А вам на этом ответственном посту надо быть более серьезным и не доверять всяким сведениям, которые приносит сорока на хвосте...»

Телегин будто увидел Сталина в его кремлевском кабинете, бросающим на аппарат телефонную трубку. Сердце захлебывалось от обиды и тревоги. Понимал, что Сталин не верит в прорыв немцев. Но Шапошников? Неужели и маршала кто-то вводит в заблуждение? Зачем?.. Как поступать дальше?.. Хотя бы генерал Артемьев прилетел быстрее. Может, его информации Сталин поверит...

В кабинет вошел полковник Сбытов — какой-то взъерошенный, с побелевшим лицом и даже побелевшими от волнения глазами.

— Прошу сегодня же меня освободить от должности командующего ВВС МВО и отправить на фронт рядовым летчиком! — кате-

горичным тоном заявил он.— Командовать ВВС округа больше не могу!..

Выслушав рассказ возмущенного Сбытова о допросе его Абакумовым, Телегин как только мог успокаивал Николая Александровича, доказывая, что истина ведь вот-вот станет ясной всем и вздорные обвинения кого бы то ни было отпадут сами по себе. Сбытов согласился с этим, но все-таки решил пока поберечься: вооружился новым пистолетом взамен оставленного у Абакумова и у двери своего кабинета выставил трех автоматчиков...*

21

На столе перед Сталиным в раскрытой зеленой папочке лежал документ особой важности — выписка из сообщения харбинской резидентуры НКВД СССР о нынешней позиции Японии в отношении Советского Союза. В ней утверждалось:

«...Согласно последним высказываниям Фурусава и Осава Япония до весны 1942 года наступательных действий против СССР не предпримет. К весне немцы будут иметь решающий успех, и тогда японцы начнут военные операции, чтобы установить «новый порядок» по всей Сибири...

...От имени Осава поручено составить схему государственного устройства Сибири...»

В истинности прочитанного донесения Сталин не сомневался, хотя знал, что еще в начале июля военный министр Японии Тодзио скрепил своей подписью план войны против Советского Союза. В нем японским военно-воздушным силам предписывалось внезапным налетом уничтожить советские авиационные базы на Дальнем Востоке, обеспечить нанесение японскими сухопутными силами главного удара в районе Приморья с выходом в тыл Владивостоку и захватом этой военно-морской базы во взаимодействии с японским флотом. Затем планировалось овладение Хабаровском, Благовещенском, другими районами Дальнего Востока, и в то же время специальными группировками армии и флота планировался захват Северного Сахалина и Камчатки.

В течение всего лета Япония не прекращала военных приготовлений против СССР, почти вдвое увеличила свою Квантунскую армию генерала Умэдзу, совершала, несмотря на наличие пакта о нейтралитете, военные провокации на советской границе.

Советскому Генеральному штабу, советским разведывательным органам было известно и нечто другое... Сталину регулярно докладывали об усилении агрессивных действий Японии в районе Южных морей, о ее притязаниях в Китае и Французском Индокитае. И было ясно, что обострение противоречий между Японией, с одной стороны,

* К. Ф. Телегин оказался прав: в эту ночь Н. А. Сбытову позвонил начальник штаба ВВС Красной Армии генерал Г. А. Ворожейкин и сообщил, что все его действия одобрены Государственным Комитетом Обороны. (*Прим. авт.*)

Англией и США — с другой, неизбежно приведет их к военному столкновению в ближайшее время. Из этого следовало, как предполагал Сталин и раньше, что конечно же не может быть надежд на открытие союзниками второго фронта на западе Европы в ближайшее время, несмотря на успешно проведенные в Москве переговоры с делегациями Гарримана и Бивербрука. Из Лондона посол Майский сообщил, что кабинет Черчилля не торопится рассматривать доклад лорда Уильяма Бивербрука, в котором он высказывался за немедленное открытие англичанами второго фронта на Западе. Черчилль категорически противился этому, будучи уверенным, что, пока Красная Армия, истекая кровью, сражается с войсками фашистской Германии и ее сателлитов, Англия может чувствовать себя в безопасности; для нее сейчас главное — сохранить свои колонии, к которым протягивала алчные руки Япония.

А Москва и Ленинград — в смертельной опасности. Противоборствующие силы были далеко не равными — в пользу Германии; ее армия превосходила советские войска в людях и технике. Советское командование энергично создавало резервные армии. Однако нужны были и кадровые, хорошо обученные дивизии. Иначе Москву не защитить.

Как же сложились бы обстоятельства, если б сейчас на советские дальневосточные границы напала Япония, а на южные — Турция?.. Эта мысль непроизвольно вынудила Сталина подняться из-за стола и подойти к политической карте мира, прикрепленной на стене под портретами Суворова и Кутузова.

В это время в кабинете появился начальник Генерального штаба маршал Шапошников. Сталин ждал его, но, рассматривая на карте пространства Дальнего Востока и углубившись в тревожные мысли, он не услышал, как вошел маршал.

— Товарищ Сталин,— тихо прозвучал голос Шапошникова,— я готов отвечать на ваши вопросы.

— Мне, Борис Михайлович, нужны не ответы, а предложения решений Генштаба.— Сталин медленно повернулся к Шапошникову и окинул грустным взглядом его худощавую фигуру, всмотрелся в утомленное, озабоченное лицо.— Надеюсь, вы знакомы с документом разведки, который подтверждает наши предположения о военных намерениях Японии на ближайшее время?

— Знаком, товарищ Сталин... И полагаю, что на эти намерения в значительной мере повлиял наш урок японцам, преподнесенный на Халхин-Голе... Вот и остерегаются... Пока...

— Согласен с вами, Борис Михайлович. Но удивляюсь, что в военной истории часто слагаются схожие ситуации.

— Вы что имеете в виду? — Шапошников усталым взглядом скользнул по портретам Суворова и Кутузова.

— Жуков на Халхин-Голе решительными действиями войск Красной Армии укротил агрессивные притязания самураев. Поэтому и не торопится Япония на помощь Гитлеру. А ее примеру следует Турция — выжидает, нагуливает аппетиты на бакинские нефтяные промыслы, на другие районы советского Причерноморья и делает

вид, что прислушивается к нашим и английским дипломатическим увещеваниям.

— А вы ведь правы, товарищ Сталин, что иные исторические ситуации имеют свойство повторяться.— Лицо Шапошникова чуть оживилось, но не потеряло крайней озабоченности.— Наполеон, готовясь к походу на Россию, надеялся, что Турция окажет ему помощь, вторгнувшись в наши земли с юго-запада и, покорив Украину и Белоруссию, выйдет во фланг главной группировки русской армии. За это Турции были обещаны Дунайские княжества, Крым и Закавказье.

— Именно это я имел в виду.— Сталин поднял глаза на портрет Кутузова: — Этот старик сумел под Рущуком своей пятнадцатитысячной армией разгромить шестидесятитысячную армию Ахмет-паши и в конечном счете вынудить Турцию запросить у России мира. А мы тремя фронтами будто бы не можем гарантировать безопасность Москвы.

— Уже «не будто бы», а точно, товарищ Сталин. Информация, которой мы не доверяли, полагая, что нас провоцируют, подтвердилась только сейчас, в 19 часов 05 минут.

Сталин окаменело застыл посреди кабинета, устремив на маршала Шапошникова заледенело-вопрошающий взгляд.

— Наконец пробились ко мне по радиотелеграфу Конев и Булганин. Лента переговоров приводится сейчас в порядок... Положение действительно катастрофическое. Я пока докладываю в общих чертах: войска Западного фронта расчленены и отступают на рубежи Резервного фронта.

— Бегут без приказа?!

— Догадываюсь, что отдать такой приказ без согласия Ставки Конев не решился. Да и связь с армиями у него почти не работает. Я понял, что более или менее крепко держится еще 16-я армия. 22-я и 29-я тоже занимают прежние рубежи; противник атакует севернее и южнее этих армий... Левый фланг Резервного фронта смят... Враг захватил Спас-Деменск и крупными силами рвется на север к Вязьме. Уже захвачены Всходы.

— Бред какой-то! — нервно воскликнул Сталин, не веря услышанному.— Вы же мне докладывали, что произведенная между пятнадцатью и шестнадцатью часами авиаразведка Главного Командования не подтвердила движения колонн противника ни на север к Вязьме, ни на юг от Спас-Деменска!

— Конев докладывает, что его авиаразведка обнаружила там противника... Поэтому маршал Буденный уже переместился на станцию Угра.

— А как же Ржевско-Вяземский рубеж?! — Сталин увидел, что в его кабинет стали заходить, как было условлено, члены Политбюро — Молотов, Ворошилов, Маленков, Каганович, Берия. Но будто и не заметил их появления, продолжая выслушивать Шапошникова, стоявшего спиной к двери, где замерли вошедшие.

— Не сработал Ржевско-Вяземский рубеж,— продолжал маршал.— Немцы уже в нескольких местах оставили его позади

себя. Утром захватили Юхнов, рвутся на Малоярославец и Калугу.

— Значит, и у Буденного дела совсем плохи? — глухо переспросил Сталин.

— Да, товарищ Сталин... Товарищ Сталин, я позволил себе, в силу критического положения, от имени Ставки отдать Коневу распоряжение начать сегодня ночью отход его армий на линию Резервного фронта, вытянув вначале туда артиллерию. Вы не будете возражать?

— Что-нибудь сохранилось от этой линии? — Последнего вопроса Сталин словно и не расслышал.

— Держится еще 31-я и 32-я армии Резервного фронта.

— Прикажите Коневу подчинить их себе, и пусть отходит! — Затем обратился к членам Политбюро: — Садитесь, товарищи. Будем думать, как спасать Москву.

— Вот у меня дислокационные ведомости, товарищ Сталин.— Шапошников положил на рабочий стол папку и раскрыл ее.— Тут, в основном, военные училища и академии, тыловые учреждения, дивизии НКВД, истребительные батальоны, местные охранные части... После донесений воздушной разведки командование Московского военного округа уже приняло ряд мер, весьма важных и своевременных.

Сталин кинул негодующий взгляд на Берию и сказал:

— А нам докладывали, что эти меры провокационные! Чушь собачья! Как все могло случиться?!

— Конев ведь совсем молодой командующий,— деликатно напомнил всем маршал Шапошников.

— А вот вашего Конева надо судить! — взорвался Сталин.— Сам не сумел принять нужных решений и нас держал в неведении, успокаивал. Где он сейчас, Конев?!

— Запасной командный пункт Западного фронта намечался в Красновидово, близ Можайска. Наверное, переезжает туда из-под Гжатска.

— Бежит под прикрытие Московского моря! — Сталин невидящим взглядом обвел членов Политбюро и резко сказал: — Надо нам самим разобраться в том, что произошло у нас на Западном направлении и почему мы проморгали такую основательную подготовку немцев. Я предлагаю создать комиссию... во главе с товарищем Молотовым как заместителем Председателя Государственного Комитета Обороны. Пусть поедет комиссия в Красновидово, разберется на месте!

— Я тоже готов поехать к Коневу,— подал голос маршал Ворошилов.

— И мне бы надо посмотреть войну поближе,— сказал Маленков, обращаясь к Сталину.— Много непонятного.

— Хорошо,— согласился Сталин.— Нужен еще представитель Генерального штаба.

— Может, целесообразно включить в комиссию генерала Василевского? — полуутвердительно предложил маршал Шапошников.—

Надо действительно определить возможности Конева командовать фронтом и в дальнейшем при такой неустойчивости обстановки.

— Хорошо, пусть едет и Василевский! — Сталин задержал взгляд на Шапошникове, о чем-то размышляя. После затянувшейся паузы вдруг сказал: — А насчет Конева... Я предлагаю отозвать из Ленинграда генерала армии Жукова и поручить ему Западный фронт...

Никто не возражал против этого предложения.

Затем, обсудив сложившуюся обстановку в районах Вязьмы и Брянска, осмыслив, сколь велика опасность, нависшая над Москвой, Государственный Комитет Обороны принял решение о мерах защиты столицы. Согласно этому решению Ставка отдала приказ о приведении Можайской линии обороны в боевую готовность. К ней спешно надо было выдвинуть из резерва шесть стрелковых дивизий, шесть танковых бригад, более десяти артиллерийских противотанковых полков и пулеметных батальонов. Также было принято решение о переброске нескольких дивизий с других фронтов и Дальнего Востока.

Это был вечер 5 октября 1941 года, когда курсанты военных училищ Московского военного округа уже вступали в неравные бои с передовыми фашистскими частями, устремившимися к Москве. И это был канун того трагического для наших армий, находившихся западнее Вязьмы, момента, когда кольцо вражеских дивизий замкнется и они, окруженные армии, начнут упорную борьбу, погибая и прорываясь сквозь заслоны фашистских войск...

Военные события осени 1941 года нарастали с обвальной стремительностью.

Члены Политбюро покинули кабинет Сталина. Маршал Шапошников остался согласовывать проекты последних директив Ставки. Сталин молча вчитывался в бумаги, и стояла в кабинете такая мучительная тишина, что Борис Михайлович не выдержал и нарушил ее:

— Товарищ Сталин... Когда мне становится очень тяжело в моем кресле начальника Генерального штаба, я вспоминаю слова русского священника-просветителя Феофана Прокоповича. В 1709 году после великой победы под Полтавой Петр Первый прибыл в Киев и в соборе святой Софии служили молебен. Прокопович, обращаясь тогда к царю и его воинам, сказал: «Узнают ближние и соседи наши и скажут: яко не в землю нашу, но в некое море взошли силы свейские, погрузились, как олово в воду, и не возвратится вестник от них в свою отчизну».

Сталин тяжело вздохнул и ничего не ответил.

22

Время... Оно тянется то с утомляющей медлительностью, особенно если пребываешь в ожидании, то ударом молнии переметывается из одного дня в последующий. При всем желании не ускорить его,

но и не удержать на месте. Зато разумом, сердцем и всем телом осязаемы события, наполняющие время и являющиеся сутью его течения. Каждый человек по-своему измеряет бег времени, измеряет самим собой: своими чувствами, заботами, тревогами, болью или радостью...

Для маршала Шапошникова весь октябрь был кровоточащей и саднящей раной в сердце. Выслушивал ли доклады начальников управлений и отделов Генштаба, вчитывался ли в оперативные сводки, донесения, справки, всматривался ли в топографические карты с нанесенной обстановкой на фронтах, почти физически ощущал неудержимый бег времени, его нехватку, сжатость суток и недель. Будто исчезал воздух и сердце захлебывалось в судорожной жажде кислорода. События, вызревшие в катастрофу, ревущим смерчем надвигались на Москву, и он, Борис Михайлович, как начальник Генерального штаба, не мог избавиться от укоряющей мысли, что должен был заранее предугадать рождение и направление смерча и нацелить Ставку, Генеральный штаб и штабы фронтов на принятие мер по упреждению замыслов фашистского командования. Но случилось непредвиденное — не оправдались надежды на прочность оборонительных рубежей Западного, Резервного и Брянского фронтов, а их командующие со своими штабами не разгадали уловок немецких генералов. Впрочем, дело было не в уловках оперативного значения и даже не в том, что противник накопил в направлении Москвы превосходящие силы и средства. Сейчас стало ясно, что Ставка и Генеральный штаб элементарно ошиблись в определении места очередного главного удара противника, промедлили с принятием и тех решений, которые еще летом предлагал член Ставки генерал армии Жуков, раньше других узревший гигантский молот, занесенный над Юго-Западным фронтом.

Может, именно поэтому, когда в Ставке после прорыва немецких мотомеханизированных сил к Юхнову и Малоярославцу убедились, что над Москвой нависла реальная угроза, тут же встал вопрос об отзыве Жукова с Ленинградского фронта.

6 октября Жуков прилетел в Москву. Сталин был простужен и принял Жукова на кремлевской квартире. Подойдя к столу, где лежала топографическая карта с обозначениями обстановки на Западном, Резервном и Брянском фронтах, Сталин указал на район Вязьмы:

— Вот смотрите. Здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Я не могу добиться от Западного и Резервного фронтов исчерпывающего доклада об истинном положении дел. А не зная, где и в какой группировке наступает противник и в каком состоянии находятся наши войска, мы не можем принять никаких решений. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать...

В Москве еще не было известно, что к исходу 6 октября значительная часть войск Западного фронта (части 19-й армии генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, 16-й армии генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, 20-й армии генерал-лейтенанта Ф. А. Ершакова, опера-

тивной группы генерал-лейтенанта И. В. Болдина) и Резервного фронта (32-я армия генерал-майора С. В. Вишневского, 24-я армия генерал-майора К. И. Ракутина) оказались в полном окружении немецких войск...

Двенадцать дивизий народного ополчения, сформированные в Москве для защиты столицы, а затем переброшенные с Можайского оборонительного рубежа на Вяземский рубеж обороны, тоже попали во вражеское окружение *.

Сталин, больной и усталый, был еще и крайне раздраженным. Жуков, вырвавшийся из ленинградского ада, полагал, что в Москве первым делом начнут его расспрашивать о всем том многотрудном, трагическом, подчас безнадежном, что пережил он, выполняя задание Ставки на берегах Невы. Но сущий ад назревал и здесь, в Москве, как почувствовал он по настроению Сталина и по свидетельству топографической карты с немым голосом начертаний на ней красными и синими карандашами. Карандаши — слепые орудия операторов-направленцев. Но сколько под их остриями рождается для понимающих глаз ситуаций великой драмы войны! Карта была будто третьим собеседником Жукова и Сталина. Они оба хмуро смотрели на нее, скорбели душой и молчали... Молчание это было тягостно-тревожным, почти невыносимым особенно для Жукова. Сталин наконец спросил его о том, что можно вскоре ожидать от немцев в окрестностях Ленинграда. И Жуков, готовый к этому вопросу, ответил, что противник понес там большие потери и, лишившись надежды на овладение городом, перебросил оттуда танковые и моторизованные войска куда-то на центральное направление, подобно тому, как летом стремительно переместил свои ударные подвижные и танковые части с московского направления (Западного и Резервного фронтов) против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов,— превосходный маневр, позволивший врагу достигнуть там стратегической инициативы и значительно реализовать ее. О последующем замысле немцев не трудно было догадаться: в обход Брянских лесов нанести главный удар на Москву и удар на Донбасс, что сейчас они и осуществляют. Обратный, так сказать, маневр...

— А где, по вашему мнению, будут применены танковые и моторизованные части, которые снял Гитлер из-под Ленинграда? — после томительной паузы спросил Сталин.

— Несомненно, на московском направлении. Но, разумеется, после пополнения и ремонта материальной части,— уверенно ответил Жуков.

Еще раз взглянув на карту Западного фронта, Сталин подавил вздох и, не глядя на Жукова, произнес:

— Кажется, они уже действуют на этом направлении.

---

* «Вяземский котел» будет завершающей книгой романа «Меч над Москвой», в которой автор изображает бои окруженных войск в районе Вязьмы, динамику оборонительного сражения на подступах к Москве и последующего контрнаступления советских войск. (*Прим. ред.*)

Минут через двадцать генерал армии Жуков уже сидел в кабинете начальника Генерального штаба маршала Шапошникова и докладывал ему обстановку, сложившуюся к 6 октября под Ленинградом. Тем временем генштабисты готовили для Жукова карту Западного направления и документ о распоряжении Ставки, в котором было написано:

«Командующему Резервным фронтом
Командующему Западным фронтом

Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования в район действий Резервного фронта командирован генерал армии тов. Жуков в качестве представителя Ставки.

Ставка предлагает ознакомить тов. Жукова с обстановкой. Все решения тов. Жукова в дальнейшем, связанные с использованием войск фронтов и по вопросам управления, обязательны для выполнения.

По поручению Ставки
Верховного Главнокомандования
начальник Генерального штаба
Шапошников.
6 октября 1941 г. 19 ч. 30 м.
№ 2684».

Вручая Жукову документ, Борис Михайлович напомнил, что штаб Резервного фронта находится в знакомом ему, Жукову, месте, в районе Гжатска, там же, где был в августе, во время Ельнинской операции, а не в Красновидово, как кто-то из направленцев преждевременно донес в Генштаб.

Однако находиться там штабу оставалось недолго...

Тяжкое это состояние, когда ты прирос болью сердца по приказу той же Ставки к одним делам, вторгся в них всем своим естеством и дал им новые начала (там, в Ленинграде и вокруг него), а сейчас должен окунуться в новые события, пока непостижимые, грозно-загадочные и требующие немедленных, жестких решений, от которых зависит столь многое, что оно пока не поддается осмыслению. А тем более что уже тут, в Подмосковье, начались жестокие схватки курсантов военных училищ, слушателей военных академий и собранных с бору по сосенке войсковых частей с передовыми немецкими войсками, намеревавшимися с ходу ворваться в Москву...

10 октября решением Ставки войска Западного и Резервного фронтов были объединены в один Западный фронт, в состав которого 12 октября были включены все воинские части, находившиеся на Можайской линии обороны. Фронт возглавил генерал армии Жуков.

Дополнительную задачу получили подразделения ПВО. Приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 12 октября 1941 года, подписанный Сталиным, в первом параграфе гласил:

«Всем зенитным батареям корпуса Московской ПВО, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, кроме основной задачи отражения воздушного противника быть готовым к отражению и истреблению прорывающихся танковых частей и живой силы противника...»

14 октября Ставка сумела перебросить из резерва и с соседних фронтов на Можайскую оборонительную линию четырнадцать стрелковых дивизий, шестнадцать танковых бригад, более сорока артиллерийских полков. Но этого было явно недостаточно для прикрытия четырех важнейших направлений — волоколамского, можайского, малоярославецкого и калужского...

Обстановка под Москвой и в Москве накалялась с каждым днем. 15 октября Центральный Комитет партии и Государственный Комитет Обороны приняли решение об эвакуации из Москвы некоторых учреждений и предприятий. Было предписано переехать в Куйбышев части партийных и правительственных учреждений, дипломатическому корпусу. Продолжалась эвакуация на восток крупных оборонных заводов, научных и культурных учреждений. В Москве оставались почти в полном составе Политбюро ЦК, Государственный Комитет Обороны с необходимым аппаратом, Ставка Верховного Главнокомандования, основной оперативный состав Генерального штаба, оперативные группы наркоматов во главе с наркомами, аппарат исполкома Моссовета. Было рекомендовано московским организациям эвакуировать часть архива и документы.

Все делалось в Москве в предвидении неожиданного развития событий, хотя никто не знал, что группа армий «Центр» уже получила указание Гитлера о порядке захвата Москвы и обращении с ее населением.

«Фюрер вновь решил,— говорилось в директиве немецкого командования,— что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником». Дальше указывалось: «Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно». Разрешалось оставлять лишь небольшие коридоры для ухода населения в глубь России. «И для других городов должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство. Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов от пожаров и кормить их население за счет Германии. Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными восточными районами и использовать их».

Гитлер и генералы вермахта с варварской жестокостью собирались сровнять с землей Москву, Ленинград, а большую часть населения уничтожить.

Трагическим был в Москве день 16 октября. Начавшаяся на рассвете эвакуация учреждений согласно решению ЦК и ГКО вызвала беспорядки, граничившие с паникой, тем более что в этот же день

с согласия правительства и по приказу командования Московского военного округа началось минирование двенадцати городских мостов, железнодорожного узла и других важных объектов. Были заложены многие тонны взрывчатки и отработан порядок приведения в действие взрывных механизмов.

Усилила налеты на столицу вражеская авиация. Активизировались шпионы и диверсанты. Засуетились уголовники, начав грабить магазины. А тут еще по распоряжению Л. М. Кагановича прекратил работу метрополитен, и его начали готовить к уничтожению. Не открылись магазины и булочные, не вышли из парков трамваи. Шоссейные магистрали, ведущие на восток, заполнились беженцами — на автотранспорте и пешими.

Нужны были невероятные усилия, чтобы прекратить беспорядки и нормализовать в Москве жизнь. С этой целью 17 октября выступил по радио первый секретарь МК ВКП(б) А. С. Щербаков, заверивший слушателей, что Москва не будет сдана.

19 октября по предложению Военного совета Московского военного округа Сталин подписал постановление Государственного Комитета Обороны, которое гласило:

«Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100—120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 часов ночи до 5 часов утра...»

И предпринималось самое главное и неотложное: в глубокой тайне Ставка Верховного Главнокомандования формировала новые армии для защиты Москвы. С Заволжья, с Урала, из Сибири мчались к театру военных действий воинские эшелоны. Только из Сибири на курьерской скорости приближались к Москве 82-я мотострелковая дивизия генерал-майора Н. И. Орлова, 50-я генерал-майора Н. Ф. Лебеденко, 78-я стрелковая дивизия генерал-майора А. П. Белобородова, 108-я генерал-майора И. И. Баричева, 144-я генерал-майора М. А. Прошина...

Потом 7 ноября был парад на Красной площади и известная речь Сталина... Часть войск ушла с Красной площади на фронт.

Потом было многое другое, слившееся в гигантские усилия по обороне Москвы. Зрел ее финал. 27 ноября 1941 года Сталин и Шапошников говорили по прямому проводу с командующим Калининским фронтом генерал-полковником И. С. Коневым:

«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ: Генерал-полковник Конев у аппарата.

МОСКВА: У аппарата Сталин, Шапошников. Здравствуйте. Противник занял Рогачево. Вскоре он может обойти Москву или ваш фронт. Противник забрал с вашего фронта части и перебросил их на Москву. Вам дается возможность ударить по противнику, притянуть на себя силы... обеспечить положение Западного фронта, войска которого обливаются кровью. Где думаете ударить противника, в каком районе? Удар должен быть предпринят сегодня. Все.

КОНЕВ: Здравствуйте, товарищ Сталин. Докладываю: удар наношу северо-западнее Калинина... Обстановка мне понятна. Принимаю все меры к организации наступления...

СТАЛИН, ШАПОШНИКОВ: ...Каждый час дорог, и откладывать неразумно. Напрягите силы и начните сегодня во второй половине дня.

КОНЕВ: Есть. Принято к исполнению. Сейчас отдам все нужные распоряжения.

СТАЛИН, ШАПОШНИКОВ: Очень хорошо. Больше вас задерживать не будем. До свидания.

КОНЕВ: До свидания».

Был дорог каждый час... Каждый час приближал крах гитлеровского «Тайфуна».

23

Война непроглядной тенью голода безмолвно вползла в квартиры москвичей. Хлебные и продовольственные карточки стали главным и единственным мерилом их достатка. Все, кто раньше по какимлибо причинам нигде не работал, но мог хоть что-нибудь делать, шли на заводы, на фабрики, в госпитали — в любые места, где можно было ощутить себя нужным для самого главного — обороны столицы, и тогда, как само собой разумеющееся, и у них появлялись карточки для покупок нормированных продуктов питания. Дети, старики, инвалиды, больные снабжались карточками в домоуправлениях.

Стало голодно и в квартире Чумаковых, хотя Ольга Васильевна уже больше месяца работала медсестрой в военном госпитале. Ирина с ее карточками долгие часы простаивала в хмурых очередях. Да, действительно голод — не тетка.

Бегать в военкомат Ирина уже перестала, изверившись, что ее пошлют на фронт. Досадовала на отца, подозревая, что, возможно, это он похлопотал где-либо, чтоб ее, необученную, не призывали в армию. И блекли ее пламенные мечты о подвигах, о чем-то необыкновенном, что, несомненно, предстояло Ирине совершить в эту страшную, грозную пору. Только грели воспоминания о том, как они с мамой работали на строительстве Можайской линии обороны, где случай вновь свел ее со своим ленинградским поклонником лейтенантом Виктором Рублевым. Из подбитого «ястребка» Виктор выбро-

сился прямо на их «стойбище» близ Минского шоссе во время первого воздушного налета немцев на Москву... Возможно, на той линии обороны сейчас идут смертные бои. А где воюет Виктор? Из редких его писем можно угадать, что где-то близко. Отец же вновь затерялся во фронтовой круговерти — давно нет вестей от него. Ох как трудно было жить Ирине в однообразных домашних хлопотах, в постоянном ожидании чего-то, в объяснимых и необъяснимых тревогах и в холодившем сердце страхе, когда включала на кухне радиорепродуктор... Немцы все ближе пробивались к Москве. Пока успокаивало только то, что Сталин оставался в Кремле — в это она верила, как в биение своего сердца.

Однажды вечером в дверь квартиры Чумаковых кто-то позвонил. Ирина встрепенулась и кинулась в переднюю. Щелкнула замком и увидела на лестничной площадке девушку с чуть косившими глазами, красивеньким лицом, повязанную пуховым платком и одетую в телогрейку. Ватные штаны ее были заправлены в валенки. Раньше Ирина несколько раз встречала эту девушку во дворе. Пошаркав подшитыми валенками о ворсовый коврик, нежданная гостья без приглашения вошла в квартиру, любопытным и несколько удивленным взглядом пробежала по ее богатым глубинам и сказала простуженным голосом:

— Меня зовут Надя, а тебя Ирина. Я к тебе с поручением, товарищ Чумакова.

Ирина помогла девушке снять платок, фуфайку. Вскоре они уже сидели за кухонным столом и пили слабо заваренный чай вприкуску.

— В нашем районе,— рассказывала Надя,— переоборудовали один старый заводишко для обточки корпусов мин. Раньше там делались мясорубки, кастрюли, еще что-то железное, а теперь будем обтачивать мины... Сумеешь стоять у токарного станка?

— В школьной мастерской пробовала стоять,— ответила Ирина.— А мины...

— Дело не хитрое. За день мастер сделает твои руки умными. Станки уже крутятся...

Ирина с любопытством рассматривала Надю. Она была плотной, из-под ее маркизетовой блузочки округло выступали груди, хрипловатый голосок девушки звучал так повелевающе, будто Ирина собиралась вступать с ней в спор.

— Ты ведь комсомолка? — утвердительно спросила Надя. — У нас создается своя комсомольская организация. Тебе, наверное, быть ее секретарем, а мне — членом комитета.

Ирина не ожидала, что в ней вдруг вспыхнет столь острая потребность оказаться на этом неизвестном военном заводишке, чтоб быть там у настоящего, серьезного дела, быть причастной к фронту, своими руками вытачивать мины, которые полетят на головы фашистов.

Ох как нелегки были начальные дни работы за станком!.. Но уже присохли первые волдыри на ладонях. Привыкла Ирина и к незнакомому запаху горячей стружки, к испарениям смазки. Дело оказалось действительно нехитрым: надо было растачивать в корпусах 82-миллиметровых мин отверстия для стабилизатора и взрывателя.

Утомляли только однообразие работы, многочасовые стояния у станка на деревянной колоде-ступеньке, тщательные замеры кронциркулем да бивший в глаза из-под плафона лампы свет. Высокий стояк лампы был ввинчен в чугун станины, а плафон намертво припаян к вершине стояка; свет из него падал на вращающийся корпус мины, на резец и в лицо Ирины. Если во время работы оглядывалась в цех, то он казался темным, а длинные ряды визжащих станков обозначались только световыми пятнами — такими же, какие слепили Ирину.

Ни замеры отверстий и смена корпусов мин, ни замена резцов не мешали Ирине размышлять над всем тем, что вмещалось в ее сегодняшнюю жизнь. Подчас перед ней вставали вопросы, ответы на которые не находились. Наталкиваясь на неразрешимости, ощущала, что они пробуждают новые, не менее трудные вопросы. В такое время ее мысли напоминали волны, каждая из которых, ударившись о крутой берег, рождала новую волну. Такие волны-мысли от страстности и напряжения сопровождавших их чувств, от тоскливой сердечной боли то взвихрялись, то раздражительно откатывались куда-то за межи памяти, оставляя, однако, в душе холодные и загадочные валуны молчания. Разум Ирины противился тому, что происходило, не хотел смириться с чудовищной немыслимостью: по ночам, когда умолкала на время пальба зенитных батарей, в их холодную и пустынную квартиру докатывался из Подмосковья зловещий приглушенный шквалок стрельбы тяжелых орудий. А как понимать маму?.. С конца лета Ольга Васильевна почти неотлучно санитарила в своем госпитале на набережной Москвы-реки... Иногда прилетал из Сибири Сергей Михайлович Романов, среди ночи звонил Ирине по телефону и настойчиво, даже как-то жалостливо, расспрашивал ее о маме; дважды заезжал к Ирине на заводишко, привозил свертки с консервами, маслом, сахаром. А мама почему-то не разрешает говорить Романову, где размещается ее госпиталь, и запретила принимать от него продукты... Все это непонятно, нелепо... А разве можно поверить, что немцы ворвутся в Москву? Никто ведь в это не верит. Но зачем же тогда вчера вызывали Ирину в райком комсомола и просили подумать о том, сможет ли она остаться для подпольной работы в Москве, если ее все-таки захватит враг?.. Вместе с Ириной в крохотном кабинете были еще две незнакомые ей девушки. Беседовал с ними симпатичный, очень строгий и очень умный майор с красными петлицами на воротнике гимнастерки и с почетным чекистским значком на груди.

Ирина без всяких колебаний заявила о своем согласии остаться в Москве. «Я готова»,— сказала она и сразу же ощутила, как по ее щекам прокатился холодок, сменившись затем горячей волной. Сердце ее вдруг застучало гулко, тревожно, будто аккомпанируя смятенной мысли: если согласилась вот так вдруг, без боли и сомнений, значит, не верит она, что фашисты захватят Москву. И тут же объяснила это майору: «Извините за мою поспешность. Я хочу сказать, что согласна выполнять самые опасные задания... Но чтоб немцы пробились в Москву — такого себе не представляю».

«Наш разговор не подлежит разглашению,— строго сказал майор, требовательно всматриваясь в глаза девушек.— Можете быть свободными. И хорошенько думайте над тем, что услышали от меня. С родными советоваться запрещаю. У кого возникнут сомнения, тот может не являться ко мне по вызову. А насчет того, выстоит ли Москва или нет, я лично тоже полагаю, что выстоит. Но мы обязаны оглядываться во все стороны.— Затем обратился к одной Ирине: — А насчет вашего согласия выполнять опасные задания, товарищ Чумакова, то мы будем иметь это в виду».— И что-то записал себе в блокнот.

Ирина все-таки сказала маме о последнем — о том, что, возможно, ее пошлют в тыл к немцам с важным заданием — именно так истолковала она прощальные слова майора. Лучше бы отмолчалась... Ольгу Васильевну будто ужалили. Лицо ее покрылось бледностью, в красивых глазах полыхнули страх и отчаяние. Изменившимся, каким-то потухшим голосом она спросила у Ирины:

«У тебя сердце есть?.. Есть у тебя сердце или вместо него холодный камень?..»

«Есть, мамочка, у меня сердце, есть, роднуля, не волнуйся»,— ответила Ирина, чувствуя, что поступила как-то не так.

«Если есть сердце, так разума нет!.. Ты подумай только: мы втроем воюем — отец на фронте, я в военном госпитале бойцов возвращаю в строй, а ты делаешь мины... Зачем же взваливать на себя еще и непосильное?»

«Фашисты под Москвой, мама! Все должны делать непосильное! — отпарировала Ирина.— И не надо играться красивыми словами! Это тебе не идет!»

Да, лучше бы отмолчалась... Случилось неожиданное: Ольга Васильевна вдруг сделала к дочери шаг и ударила ее по щеке. Такого между ними еще не бывало. Ирина, оглушенная, с воплями убежала в свою комнату, а Ольга Васильевна захлебывалась в слезах на кухне...

Что же теперь будет? Мать уже несколько дней не появляется дома и не звонит по телефону, как бывало раньше. Ирина в одиноком отчаянии тоже не звонит ей в госпиталь и все мучительно размышляет над тем, как помириться с матерью, и о том, что она никогда не откажется от своего обещания, данного майору-чекисту. Только не позабыл бы он о ней.

От этих смятенных мыслей Ирину оторвал дядя Коля — сутулый, с дьявольски заросшим лицом мужичишка древнего возраста. Он притолкал по рельсам тележку, чтоб забрать с приставленной к станку полки готовые, проверенные мастером корпуса мин. Ирина выключила мотор и помогла старику загрузить тележку. Подсчитала количество сделанного, чтобы записать в рапортичку, и только сейчас почувствовала: от усталости у нее подкашивались ноги и неумолчно шумело в голове. К счастью, ее смена подходила к концу, да и норму выработки она уже перекрыла.

Присела на колоду-подножку, чтобы передохнуть, и в это время к ней подошла Надя, поигрывая с веселой загадочностью своими косоватыми глазами.

— Ты помнишь, как сунула записку в ящик с минами? К фронтовикам? «Бейте врага, не жалея мин. Мы вам изготовим их сколько понадобится...» Не забыла? «Московские девчата» — подписала.

— Ну, помню,— устало ответила Ирина.

— Пришел ответ! — Надя достала из кармана телогрейки конверт и, улыбаясь во все лицо, помахала им перед носом Ирины.

— Давай поместим его в стенгазету,— с безразличием предложила Ирина.

— Этого мало! — засмеялась Надя.— Тут один минометчик в женихи набивается. Просит прислать ему фотокарточку самой красивой нашей девушки. Хочет переписываться с ней.— И, достав из конверта исписанный лист бумаги, начала читать: — «Дорогие девчата! Спасибо вам за мины, которыми мы громим ненавистных хвашистов! И благодарствие вам за адрес вашего комсомольского штаба. Командир вручил мне вашу писульку, потому как я один из нашего минометного расчета ни от кого не получаю писем: моя родная Беларусь оккупирована врагом, и я вижу ее только во сне. А так хочется получать письма! Вот и надумал поклониться вам: может, среди вас есть красивая горюха, которой некому писать писем. Так пусть напишет мне и пришлет фотографическую фотокарточку. Я хлопец тоже видный, не из трусливых, в армию пошел добровольно, пользуюсь в расчете, да и во всем нашем гвардейском взводе, авторитетом как лучший стреляющий, за что и награжден высокой правительственной наградой — медалью «За боевые заслуги».

Желаю вам еще больше ковать мин на погибель хвашистам! И будьте спокойны, не сумлевайтесь в нас. Мы скорее погибнем, чем пустим врага в Москву!

Жду ответа, как соловей лета! И посылаю вам на память свою фотографическую фотокарточку, точно такую, какая вклеена в мой комсомольский билет. В жизни я не такой замухрышка, а вполне мужественный...

Гвардии боец-минометчик, орденоносец
Алесь Христич».

Ирина и Надя, взволнованные, молчаливо рассматривали при свете закрепленной на станке лампы крохотную фотокарточку, на которой был изображен тощенький, лет семнадцати паренек в красноармейской гимнастерке, воротник которой был слишком велик для его тонкой, почти детской шеи. Светлые глаза паренька под чуть приметными бровями смотрели с удивлением, будто видели что-то необычное, а все его лицо с беспокойным выражением светилось трогательной юношеской чистотой и чуть брезжущей самоуверенностью.

Рассматривая фотографию, Ирина ощутила, как глаза ее заволакивались горячей слезой, как подступал к горлу тугой комок, а сердце зашлось в жалостливой боли. Ей неведомо было материнское чувство, но именно оно запульсировало в ней сейчас со всей остротой, необъяснимо утопило в себе ее мысли, растворило всю ее, будто унеся из бытия... Неизмеримы глубины женского сердца...

Нечто подобное испытывала, видимо, и Надя, ибо заговорила она после длительного молчания пресекающимся, все еще простуженным голосом:

— Ужас... Даже дети воюют... Совсем еще мальчик...

— Письмо и фотографию надо обязательно поместить в стенгазету,— строго сказала Ирина, пряча от Нади глаза; она почему-то стеснялась показать подруге свое волнение, душевную боль, вызванные письмом — таким обжигающим, пусть и случайным осколком необъятной человеческой беды, которую принесла война.

— А если все наши девушки начнут писать ему письма? — встревожилась Надя.

— Пусть пишут, вреда от этого не будет.

— Но ты-то напишешь?

— Напишу,— после паузы и почему-то шепотом ответила Ирина.

— И фотографию свою пошлешь?

— Пошлю... Обязательно пошлю.

Не догадывалась Ирина Чумакова, что именно с этой минуты начал вызревать в мудрой житейской толкотне крутой поворот ее еще не определившейся судьбы...

24

Хороший приказ издал нарком обороны: присваивать очередные воинские звания отличившимся в боях командирам и политработникам через каждые три месяца. Вот и стал Миша Иванюта уже старшим политруком! Сам Михаил как-то даже не верил в это. Ведь ему только двадцать лет, а звание старший политрук, считай, равнозначно званию капитана. Капитан же — ого как звучит и даже о море, о кораблях напоминает! До войны в Смоленском училище у них командиром батальона был капитан, и Миша смотрел на него как на бога, а боялся пуще дьявола! Даже крохотной промашки на занятиях не прощал капитан курсантам, а если замечал кого неопрятно одетым или с нечищенными сапогами — держись!

Теперь же сам Михайло Иванюта хоть и не комбат, но со шпалой в петлицах. И если ты в шинели или полушубке, никто, пожалуй, не отличит, какая у тебя шпала — капитанская или старшего политрука, потому что звезда политработника — под шинелью, на рукаве гимнастерки. Так что пока зима и когда ты вне редакции, можно сойти среди фронтового люда и за капитана.

Но шинель, как и полушубок, приносит немалые огорчения: надел ты ее, засупонился в боевое снаряжение, и ни одна живая душа, пока не разденешься, не догадается, что у тебя на гимнастерке сверкает орден Красной Звезды — память о родной гвардейской дивизии, из которой Мишу Иванюту перевели в армейскую газету «Смерть врагу». Между прочим, во всей редакции он единственный не только орденоносец, но и гвардеец, о чем хорошо знают читатели газеты, встречая почти в каждом ее номере заметки, статьи, репортажи с подписью: «Гвардии старший политрук М. Иванюта».

Звонко звучит такая подпись!.. А тут еще орден! Типографские наборщицы, корректорши да и многие девчата из медсанбатных и медсанротных поселений глядят на Мишу с ласковой восторженностью. Но он не придает этому значения. А если какая-нибудь из них при случае начинает преувеличенно ахать, что он, такой молоденький, а уже со шпалой и орденом, Миша будто из-за скромности переводит разговор на другое, давая понять, что все, связанное с его личными боевыми делами и подвигами, не заслуживает никакого внимания, хотя в такие минуты сердце Миши сладко плавится от самодовольства.

В общем-то, и под полушубком очень приятно носить сверкающее красной эмалью боевое отличие, чувствовать его металлическую тяжесть, если бы не одно немаловажное обстоятельство: полушубок, как и шинель, мешает ордену «работать» на фронтовых дорогах. А ведь всем известно, что дивизионного или армейского корреспондента, как и волка, ноги кормят. Нет у него ни своей машины, ни мотоцикла. Мотаться же по дивизиям армии приходится изо дня в день, не считаясь ни с обстановкой на переднем крае, ни с погодой, ни с усталостью. Газета ведь — как топка паровоза: требует непрерывной «кормежки», постоянного притока «горючего», которое, обратившись затем в печатные строки, будоражит души, согревает и воспламеняет сердца фронтовиков. Вот и приходится Мише Иванюте, как разбойнику, выходить на дороги и останавливать идущие к линии фронта машины, проситься к первому встречному шоферу в кабину, а если там нет места — в кузов, на снаряды, на мины. Но сколько развелось таких голосующих на дорогах и перекрестках! Один возвращается после ранения в родную часть, другой отстал от своих и догоняет или везет почту, запасные части... А иногда и переодетые, заброшенные на парашютах в наши тылы немецкие разведчики и диверсанты путешествуют по фронтовым дорогам, маскируясь под командированных. Правда, сейчас на каждом контрольно-пропускном пункте смотрят в оба: следят, в порядке ли документы, есть ли на них сменный секретный шифр, да и знают, где какие части располагаются, чтоб можно было проверить, правильно ли держит путь подсевший на машину пассажир. Но кому из шоферов, которые спешат с грузами на передовую, нужна лишняя морока? Вот и стараются, чтоб не тратить времени на контрольно-пропускных пунктах, проскочить мимо любого военного, стоящего на обочине с поднятой рукой...

Другое дело, если твоя грудь сверкает наградами! Ты выходишь на дорогу уже не жалким просителем, а гордым и строгим повелителем! Становишься лицом к приближающейся машине, требовательно хмуришь брови, мечешь из глаз искры и с небрежной решительностью вскидываешь руку. Этак невысоко и ненадолго, затем даже отворачиваешься, чтобы прикурить, будучи уверенным, что водитель машины наверняка уже сбавляет скорость и готовится распахнуть перед тобой дверцу кабины.

Но так бывало в летнюю пору... А теперь, когда в лесах Подмосковья начинает яриться зима, то серое сукно шинели или овчина

полушубка равняют всех. И Миша Иванюта, чтоб хоть чем-нибудь выделяться среди всех прочих, отрастил себе бакенбарды — рыжеватые, курчавые. Натерпелся из-за них насмешек от редакционных остряков! И все же выстоял — при поддержке машинистки секретариата, весьма интеллигентной дамы, которая однажды серьезно сказала Иванюте, что баки ему очень идут, делают его лицо солиднее и благороднее. Но зимой не всегда блеснешь и бакенбардами. Попробуй сейчас отверни уши шапки — свои сразу же отморозишь...

Мише весело было думать о том, что неплохо бы, если б кто-нибудь из высокого начальства отдал по войскам Красной Армии или хотя бы по их Западному фронту приказ носить награды в зимнюю пору обязательно на шинели или на полушубке, да еще на красной, выступающей вокруг ордена подкладочке, как это было принято в гражданскую войну. В те времена даже к бекешам привинчивали ордена. Ведь проще простого, а не додумаются... Да и не очень крупными делают ордена — скупится, видать, правительство на драгоценный металл, а жаль... Орден на груди должен быть за версту виден!..

И вот, распахнув полушубок, топает сейчас старший политрук Иванюта в сторону передовой уже какой километр. Мысли туда-сюда. Зачем, спрашивается, он ушел с перекрестка? Ведь говорила славненькая регулировщица: «Отдохните, товарищ капитан, на обочине. Появится машина — я вас посажу». Не послушался девчонку. А почему? Знает Миша почему — не хотел выглядеть в ее глазах зависящим от чужой малости. И зашагал вперед, хотя давно усвоил фронтовой закон: жди машину на перекрестке, не надейся, что подберет она тебя на дороге; будь сам ловцом, ибо тебя никто ловить не станет, никому ты не нужен.

Впрочем, правильно сделал, что не стал ждать попутную машину. Погода сегодня ясная, то и дело крадутся в зимнем небе группки немецких бомбардировщиков, часто выныривают из-за верхушек деревьев «мессершмитты»; поэтому узкая лесная дорога дремлет в пустынности. Грузовиков на ней может не быть видно и слышно до сумерек. Вот и шагает на передовую пехом старший политрук Миша Иванюта, корреспондент армейской газеты «Смерть врагу». Шагает и уже размышляет о том, что в редакции среди журналистов он самый молодой и самый, как нередко дают ему понять, неумелый, хотя до этого, в дивизионной газете, считался умелым. Однако и сейчас есть у Миши одно преимущество: он чувствует себя в ротах, батальонах, на батареях как дома, везде у него друзья, знакомые, особенно если оказывается он в бывшей своей гвардейской дивизии, и после каждого выхода на передовую возвращается в редакцию с полными блокнотами записей о самых удивительных событиях и случаях на фронте в полосе армии.

Не подозревал Миша, что и сегодня ждет его великая журналистская удача, небывалый «улов» для газеты. А пока, держа правую руку в меховой рукавице на трофейном автомате, висевшем на груди поверх его еще не очень потертого полушубка, отмеривал шаги в направлении восточной окраины Крюково, откуда доносились буханье орудий, дробь пулеметов, звонкое рявканье минометов.

Вдруг слева, совсем близко, что-то взревело, загрохотало, будто разрядами молний завопило: «убью-ю!.. убью!.. убью!.. шуу-у!.. шу-у-у!.. шуу-у...» От неожиданности и безотчетного страха Иванюта всем телом рванул вправо и нырнул головой в снежный сугроб. Но опомнился сразу же, когда страх просветила догадка: ударила залпом батарея «катюш». Вскочил на ноги и успел увидеть, как наискосок над дорогой, исторгая гром, проносились в сторону занятого немцами Крюково огненно-хвостатые, длинные сигары — реактивные снаряды.

Посмеиваясь над своим испугом, Миша отряхнулся от снега и зашагал дальше. И тут же увидел, как впереди пересекали дорогу, поспешно меняя позиции, могучие автомобили с приспущенными направляющими железными станинами, укрепленными на месте кузова — будто обрубки рельсов. «Катюши»! И ноги Миши непроизвольно ускорили шаг: знал, что сейчас над тем местом, откуда послали врагу «гостинцы» гвардейские минометы, появятся немецкие бомбардировщики. Надо скорее оказаться подальше от этого опасного квадрата.

Сзади послышался нарастающий шум моторов. Миша оглянулся и увидел приближающиеся машины. Проворно сорвал с себя шапку и поднял ее над головой. Но разглядел, что идут несколько бензовозов; эти не остановятся. А он готов был ехать хоть на подножке.

Бензовозы скрылись за поворотом дороги, а оттуда, из-за поворота, показался верховой. Конь под ним трюхал мелкой рысью, из его ноздрей пульсировали фонтанчики пара. Когда поравнялись, Иванюта узнал в верховом старшего политрука Дубова — помощника начальника политотдела по комсомолу из бывшей Мишиной дивизии.

— Привет пехоте газетных войск! — поздоровался Дубов и, натянув поводья, остановил коня.

— Здорово, товарищ главная комсомольская шишка! — без особой радости откликнулся Иванюта, тая давнюю обиду на Дубова. Но тут же невольно заулыбался, отметив про себя, что губастый, темноликий Дубов с заиндевелыми веками, в надвинутой на лоб и плотно завязанной на подбородке ушанке, обросшей по окружности лица кристалликами льдинок, чем-то походил на своего коня, у которого такие же льдинки сплошной чешуей поднимались от ноздрей до лба, четко обрамляли глаза и покрывали темную гриву. Да и весь полушубок Дубова, как и круп лошади, тоже был обвалян в снегу.— Что, торил дорогу по целине? — насмешливо спросил у него Миша.

— Да нет! «Катюша» как гаркнула, а мой пегас от испуга сиганул за дорогу — по уши в сугроб.

— А что на передке?

— Немцы щупают нашу оборону. Видимо, скоро двинутся на новый штурм Москвы.

— Ничего им уже не поможет!

— Вам там с армейских высот виднее,— сказал Дубов, явно вызывая Иванюту на откровение.

— Это уж точно,— не без бахвальства согласился Миша, но ему нечего было сообщить Дубову, и он поспешил перевести разговор на другое: — У тебя случайно нет интересного материала для газеты?

— На дармовщинку надеешься? — Дубов улыбчиво прищурил глаза.— Случайно есть. Но газетчику полагается самому находить материал.

— Это конечно,— согласился Миша и с серьезным видом добавил: — Но мы очень ценим подсказки руководящих политработников.

Беззастенчивая лесть Иванюты подкупила старшего политрука Дубова, и он милостиво посоветовал:

— Топай к минометчикам нашего левофлангового стрелкового полка. Там был один комсомолец... Герой из героев парень...

— Что значит «был»? Уже нет его?

— Уже нет,— с печалью в голосе ответил Дубов.

— Где ж его искать? В медсанбате или в госпитале?

Темное лицо Дубова сделалось еще более сумрачным, болезненно сжалось, четко обозначив лучики морщин у глаз, и он, вздохнув, ответил на вопрос вопросом:

— Фотоаппарат у тебя только для форсу или действует?

— Заряжена «лейка»,— с готовностью ответил Иванюта, видя, как Дубов расстегнул свою полевую сумку и стал в ней что-то искать. Тут же он протянул Мише серенькую книжечку с силуэтом Ленина на обложке — комсомольский билет.

Миша взял билет и будто обжег об него руки: увидел дырку — след пули, и багровые пятна крови. Он был свидетелем многих смертей, немало схоронил товарищей, но привыкнуть к смерти невозможно... С тоскливым чувством и сбившимся дыханием раскрыл серые корочки комсомольского билета и увидел в застывших потеках крови фотографию совсем юного, длинношеего паренька, смотревшего на мир светлыми, удивленными глазами. Кого-то напоминало Мише это юное птичье лицо. Когда скользнул взглядом выше и прочитал: «Христич Алесь...» — то чуть не вскрикнул от неожиданности. Значит, жив!.. Нет, уже не жив... И память Иванюты всколыхнула все главное, что хранила об этом белорусском пареньке. Ведь это именно его, Алеся Христича, спас Михаил Иванюта восточнее Копыси от расстрела... По недоразумению был обвинен тогда Христич в дезертирстве. Потом рассказывали Мише, как однажды Алесь чуть на лупанул гранатой по броневику охраны маршала Тимошенко, приняв броневик за немецкий... А у Смоленской военной комендатуры, этому Иванюта сам был свидетелем, Алесь кинул в семитонный грузовик «Ярославец», в котором плотно сидели переодетые в нашу форму и вооруженные до зубов немецкие диверсанты, сумку от противогаза со связкой гранат... Помнилось Мише, что Христич и сам был ранен тогда их осколком...

«Алесь Христич...» — еще раз прочитал Миша в комсомольском билете. Отчество оказалось просечено пулей...

— О чем задумался, газетный волк!

Слова Дубова вернули Мишу из глубины памяти на лесную дорогу. Ему почему-то стало обидно, что Дубов не находит нужным спешиться, а разговаривает с ним, сидя в седле, да еще с чувством некоторого превосходства. Но тем не менее взглянул на него просительно:

— Можно, я возьму билет в редакцию? Я знаю этого парня, и у меня есть что написать о нем.

— Нет... Я должен доставить билет в политотдел армии вместе с другими документами. К Герою Советского Союза представили Христича.

— Что же Христич такое совершил?! Чем опять отличился? — Чувство жалости к погибшему Алесю стало вытесняться в Иванюте профессиональной заинтересованностью журналиста.

— Я знаю только в общих чертах. Иди ищи живых свидетелей его подвига. И вообще, не привыкай черпать материал для газеты из вторых рук.

— Демагогия, товарищ старший политрук! — с раздражением отпарировал Миша.— Этак я должен писать только о том, что видел сам?

— Хотя бы со слов тех, которые что-то видели,— назидательно изрек Дубов и поторопил: — Щелкай своей «лейкой»!

Попросив Дубова подержать в руке развернутый билет против тускло пробивавшихся сквозь белесую хмарь лучей солнца, Иванюта прицелился в него фотоаппаратом и несколько раз щелкнул диафрагмой. Затем уточнил по карте Дубова местонахождение минометной роты, в которой служил в последнее время Алесь Христич, сделал пометку на своей карте и деловито вновь заспешил по глянцевитой снежной дороге в сторону погромыхивающей линии фронта.

Заснеженный и чем-то таинственный лес в тылу стрелкового полка перечеркнут множеством тропинок, машинными и санными колеями. Не зазорно было б старшему политруку Иванюте спросить у первого встречного, как ближе попасть на огневые позиции полковых минометчиков. А спрашивать было у кого: впереди два бойца в длиннополых шинелях поверх ватного одеяния и с винтовками за спиной поволокли вместительные салазки, нагруженные термосами с едой, чаем и «наркомовской» водкой — обед, видать, повезли прожорливому войску переднего края. Наискосок тропе, по которой споро шагал Михаил Иванюта, проехали пароконные сани с ранеными, укрытыми брезентом. Слева на небольшой возвышенности несколько бойцов ломами и кирками углубляли закопченную воронку от бомбы, готовили кому-то место для вечного покоя — такова уж работа у хлопцев из похоронной команды... То там, то сям пробегали связисты с улюлюкающими за спиной катушками телефонного провода, торопились посыльные, а вон ковыляет, опираясь на винтовку, легко раненный боец в подгорелой ушанке... Нет, не хотелось Мише ни у кого расспрашивать дорогу, коль есть у него топографическая карта с пометкой расположения огневых позиций минометчиков. Надо только определить свое местонахождение, исходя из того, что он недавно миновал перекресток дорог.

Не торопясь Иванюта снял рукавицы, достал из полевой заскорузлой от мороза кирзовой сумки карту, развернул ее, начал искать место, где он сейчас стоял. И не замечал, что из снежной целины, от недалеких кустов, к нему подбирались три белых призрака. Приблизившись к Иванюте, они вдруг сзади накинулись на него, вмиг смахнули с его груди автомат, выхватили из кобуры наган, а самого подкосили на тропинку лицом вниз, заломив за спину руки.

Миша не успел даже испугаться, ибо не мог предположить, что среди бела дня в полковом тылу, пусть и малолюдном, могли оказаться вражеские разведчики. Но и не понимал, что с ним случилось.

— Пустите, гады, а то рвану гранату! — заорал он, чувствуя, как снег обжигал ему верхнюю часть лица и как болели заломленные за спиной руки.

Белые призраки проворно отпрянули от Миши, и тут же послышалась чья-то команда:

— Отбой!.. Командир взвода, построить разведчиков!

Миша, словно подкинутый пружинами, вскочил на ноги, повернулся на голос, который показался ему знакомым, и вдруг узнал Ивана Колодяжного. Одетый, как и его разведчики, в белый маскировочный халат, Колодяжный вышел на лыжах из-за недалекого куста и, воткнув палки в снег, довольно посмеивался. От неожиданности, растерянности Миша не знал — то ли ему обидеться, то ли тоже расхохотаться.

— А я приметил в бинокль, что шествует по лесу, развесив уши и распустив сопли, знакомая личность. Вот и велел сцапать ее,— сквозь смех пояснил Колодяжный и приказал своим разведчикам: — Вернуть оружие!

Миша Иванюта рассердился всерьез.

— Что за дурацкие игрища?! — резко, даже как-то визгливо спросил он, буравя своего давнего друга Колодяжного обиженным взглядом.

А Колодяжный с веселым изумлением рассматривал лицо Миши, не понимая, что в нем изменилось. Когда же наконец обратил внимание на бакенбарды, зашелся хохотом:

— Ну если б я знал, что ты при баках, не посмел бы трогать. Так что извини, товарищ политрук!

— Старший политрук! — не утерпел Миша, чтоб не внести уточнение.

— Да?! — радостно удивился Колодяжный.— Как же тебя при гусарских баках терпят в старших политруках?!

— Не твое дело!

— Не мое?.. Тогда разрешите доложить, старший политрук! — Иван Колодяжный принял стойку «смирно» и, вскинув руку в белой рукавице к капюшону маскхалата, вполне серьезно стал докладывать: — Взвод пешей полковой разведки отрабатывает задачу по захвату контрольного пленного!.. Ведет занятие помощник начальника штаба полка по разведке капитан Колодяжный!

На недалекую санную дорогу, что была за спиной у Колодяжного, выходили его разведчики в белых халатах и, «спешившись»

с лыж, становились в строй. А Миша, давая выход своему гневу, все распекал друга:

— Дурья башка!.. А если б я заметил подползавших и врезал по ним из автомата?!

— Они бы успели назвать себя.

— Но я же гранату мог взорвать под собой! — Миша отвернул полу овчинного полушубка и показал на ватных штанах гранату лимонку, вложенную в просторный нашивной карман выше колена.

— Да, это не было предусмотрено.— Колодяжный сокрушенно качнул головой.— Но коль мои ребята скрутят — у них не побалуешь...

К Колодяжному на лыжах подошел командир взвода, ничем не отличавшийся в маскхалате от своих подчиненных, и доложил, что разведчики построены. Колодяжный отдал ему свои лыжи и приказал вести взвод в «расположение», а сам пробился сквозь глубокий снег на тропинку, где стоял Миша. Они радостно шагнули друг другу навстречу...

В памяти Миши, как при вспышке молнии, высветилось первое знакомство с Колодяжным за день до начала войны, первые схватки с немцами, штыковые атаки и контратаки, прорыв из окружения, бои под Оршей и Борисовом, опять выход из вражеского кольца... Затем, как и сейчас, неожиданная встреча на Соловьевской переправе. Иван Колодяжный стал для Миши Иванюты, как и Иванюта для Колодяжного, больше, чем родным братом...

— А я увидел, что твоя хохлацкая фамилия слиняла со страниц нашей дивизионки и стала нахально частить в армейской газете, понял: соблазнился мой Мишка более глубоким тылом! — Колодяжный усердно тискал в своей ручище руку Иванюты.

— Неумные речи я давно привык слышать от своего друга,— с напускной грубоватостью ответил Миша.— Понимаешь, я для них в свои двадцать лет оказался в дивизионной газете слишком молодым, чтоб назначить меня ее редактором после гибели Казанского. В самые горячие дни обороны Москвы подписывал газету: «За редактора М. Иванюта», а когда на фронте приутихло, прислали батальонного комиссара. Правда, хороший товарищ, неплохой журналист, но до печенок гражданский человек! А у меня же среднее военное образование!

— Ладно, понимаю.— Колодяжный укротил словоизвержение Миши.— Бьюсь об заклад, что знаю причину твоего появления именно в нашем полку.

— Откуда знаешь?

— Журналисты прут туда, где есть чем поразить мир. Ты из-за Христича?..

— Нет, вначале шел в свободный поиск... А знаешь, что Христич мой давний знакомый?

— Откуда? — с удивлением спросил Колодяжный.

Миша в нескольких словах объяснил ему о своих прежних встречах с Алесем, а затем спросил:

— Как пройти в его минометную роту?

— Провожу. У меня есть время. Тем более что на сей раз тебе придется писать и обо мне.

— Очень мне надо писать о твоем грубом хулиганстве в тылах полка!

— Да я вижу, ты ничегошеньки не знаешь!

— Почему же? Знаю, куда попала Христичу немецкая пуля.

— А о том, что эта пуля адресовалась лично мне? Ведома тебе такая немаловажная подробность?

Теперь наступил черед удивляться Иванюте.

— Не понимаю... Ты — разведчик, Христич — минометчик...

25

Они перешли на санную колею, чтоб можно было шагать рядом. Колодяжный вел Иванюту на огневую позицию минометчиков и рассказывал удивительную, а может, и обычную фронтовую быль, как оборвалась беспокойная жизнь Алеся Христича. В голосе Колодяжного уже не звучали, как всегда, ирония или улыбчивые суждения. Говорил он неторопливо, печально и с некоторым недоумением по поводу всего происшедшего...

В позапрошлую ночь группа разведчиков, которой командовал капитан Колодяжный, проникла между двумя опорными пунктами немцев в их тыл и устроила засаду у лесной дороги. Все складывалось как нельзя лучше...

Вслушиваясь в слова Колодяжного, Иванюта силой своей воспламенившейся фантазии картинно воспроизводил в воображении, как все было... Наши разведчики, одетые в белые маскировочные халаты, действовали примерно так же, как сегодня на занятиях, когда подкрались к Мише. Группа захвата из пяти бойцов залегла в мелком, заваленном снегом кустарнике. Разгуливалась пурга, усилился ветер, ухудшалась видимость. Все это сулило успех, если б только не опасения, что в снежной кутерьме трудно будет найти обратную дорогу к проходу в нашем минном поле...

Как было условлено, минометчики полка вели учащенный беспокоящий обстрел обоих опорных пунктов врага и подступов к ним. Это и позволило группе захвата бросить гранаты под колеса появившейся на дороге немецкой легковушки и не привлечь внимания врага к взрывам. Машина слетела в кювет, загорелась, с ее заднего сиденья разведчики выволокли оглушенного офицера и прихватили увесистый брезентовый мешок, закрытый «молнией». Шофер и сидевший рядом с ним солдат-автоматчик были убиты осколками гранаты. Разведчики — группа захвата и две группы обеспечения — проворно встали на лыжи, свалили связанного пленного на алюминиевую волокушу и двинулись в направлении своего переднего края. Капитан Колодяжный с несколькими автоматчиками прикрывал их отход...

Операция по захвату «языка» завершилась благополучно. Колодяжный, когда миновали ничейную полосу и прошли минное поле,

приказал разведчикам следовать в расположение штаба полка, а сам заспешил в недалекий блиндаж командного пункта ближайшего батальона, чтоб оттуда по телефону доложить начальнику штаба полка о захвате немецкого офицера.

Близился рассвет, пурга не утихала, протяжно скулила на опушках, яростно теребила верхушки деревьев в глубине леса, обильно роняя на землю комья снега и сухие ветки.

Война изобилует неожиданностями. Случилось неожиданное и в эту ночь. То ли немцы очень быстро обнаружили пропажу своей машины и стремительно ударились в погоню за нашими разведчиками по свежим следам, или их заранее подготовленная поисковая группа пробиралась в наш тыл для захвата «языка», и ей случайно повезло воспользоваться проходом в минном поле.

Наши саперы, которые должны были вновь закрыть этот проход, грелись в шалаше у костерка, не выставив, как полагалось, наблюдателя. Группа Колодяжного вернулась из вражеского тыла незамеченной ими. В шалаш к саперам мимоходом заглянул Алесь Христич, неся за спиной термос с горячей пищей. Он искал наблюдательный пункт командира минометной роты и заплутался в снежной круговерти. Когда же узнал, что нужный ему блиндаж находится на ближайшей опушке, заспешил в том направлении и внезапно столкнулся с немцами. Они цепочкой в белых халатах крались по лесу на лыжах без палок, изготовив к бою автоматы. Неизвестно, как Алесь распознал в них врагов, но тут же сбросил с себя термос и притаился за кустом; он уже был опытным фронтовым волком. Автомата, правда, не имел, зато наготове гранаты, винтовка с полным магазином патронов да увесистые патронташи на поясе...

Понаблюдав за немцами, Христич понял, что они нацеливались на шалаш, где грелись саперы, и метнул гранату с таким расчетом, чтоб она взорвалась впереди цепи... Когда громыхнул взрыв, выплеснув огонь, белые халаты рухнули в снег, широко раскинув лыжи, и затаились. Сомнений не было — немцы! И Алесь кинул оставшиеся две гранаты прямо в их гущу, а затем навскидку стал посылать пулю за пулей в хорошо видимые живые цепи.

Ответный автоматный огонь вражеских разведчиков был беспорядочным. С каждым выстрелом Алеся он становился все жиже. В это время к Христичу подоспел капитан Колодяжный. Он мгновенно оценил обстановку и, укрываясь за толстой елью, открыл огонь из автомата. И опять неожиданность: немцы, видимо, шли не одной группой. Алесь услышал треск куста сзади, оглянулся, может быть, полагая, что еще кто-то из своих спешит на помощь. Но увидел немца...

«Зашли с тыла!» — крикнул Христич и, метнувшись к Колодяжному, прильнул к его спине своей спиной. Немец успел дать автоматную очередь, но и сам был сражен: это оказался последний, предсмертный выстрел Алеся...

Капитан Колодяжный закончил свой скорбный, пусть беглый рассказ уже на огневых позициях у минометчиков.

— Утром мы дотошно осмотрели место неравной схватки,—

заключил он, недоуменно глядя, как в стороне от обвалованных снегом позиций минометов, выкрашенных в белое, столпилась группа бойцов в полушубках или в надетых поверх ватной одежды шинелях.— Тот, который стрелял в меня, был тринадцатый... Тринадцать врагов сразил этот мальчишка...

— Думаешь, дадут ему звание Героя? — усомнился Иванюта.

— А что еще можно сделать больше, чтоб стать Героем? — Слова Колодяжного прозвучали с раздражением.— Не сплоховал ведь парень и себя не пожалел...

Подошли к минометчикам, озадаченные тем, что они чем-то так увлечены — даже не замечали начальства. Из-за их спин разглядели: «за столом» — штабельком ящиков из-под мин — сидел, задумавшись, усатый сержант в расстегнутой шинели, положив на кирзовую полевую сумку бумагу.

— Что еще ей написать? — спросил он, подняв грустный взгляд на минометчиков.

— Покрепче напиши, что мы отомстим фашистам за Христича! — подсказал кто-то.— Пусть мастерят для нас побольше мин. Их — мины, а наш огонь — по врагу!

Сержант вдруг заметил подошедших Иванюту и Колодяжного, неторопливо встал, его задубелое на ветрах и морозе коричневое лицо чуток посветлело. Он глядел на них вопросительно, не решаясь скомандовать бойцам «Смирно». Иванюту он знал уже давненько, не раз рассказывал ему всякие фронтовые эпизоды и случаи, затем с удовольствием читал о них в газете, поражаясь тому, как журналист оснащал их новыми подробностями, точными деталями, и сокрушался, что сам вспоминал эти правдивые подробности, уже читая газету.

— Здравствуйте, товарищи гвардейцы! — прервал сомнения сержанта Иванюта, пошире расправив грудь.

Минометчики ответили на приветствие вразнобой, расступились, и Иванюта с Колодяжным оказались в их кругу.

— В самый раз вы к нам, товарищ писатель! — обратился сержант к Иванюте, протягивая ему несколько листов бумаги и фотографию какой-то девушки.— Тут без вашей помощи не обойтись.

Иванюта, весьма польщенный таким обращением к нему, с важным видом, явно рисуясь перед Колодяжным, начал рассматривать фотографию девушки и, еще не понимая сути дела, напускно держал себя так, будто уже у него было готово решение всех проблем, волновавших минометчиков.

— Ладно, Михайло,— бесцеремонно нарушил его браваду Колодяжный.— Всему миру известно, что ты в нашей армии и ее окрестностях самый знаменитый писатель репортерского масштаба. Не чванься! Пусть ребята объяснят, что тут происходит.

Миша окатил Колодяжного испепеляющим от негодования взглядом, но не нашелся, что ответить. Да и очень заинтересовала его фотография девушки — красивой до умопомрачения! Только и сказал:

— Ну-ну, товарищ капитан. Я армейский гость в дивизии, а вы разведчик полкового масштаба. Вам виднее, как надо ставить вопросы перед героями переднего края... Валяйте, а я послушаю.

— Так что же случилось? — Колодяжный демонстративно повернулся к Иванюте спиной.

— Да очень обыкновенно и натурально,— начал объяснять усатый сержант.— Алесь Христич на той неделе в одном ящике с минами нашел записку московских девушек, которые эти мины мастерят, и послал им письмо... Одна девушка по решению их комсомольского собрания ответила ему,— между прочим, самая красивая на заводе.— Сержант взял из рук Иванюты бумаги: — Вот оно, письмо ее... А это фотография — Ирина Чумакова... Сегодня почта доставила, а вчера Христича похоронили.— И усач махнул рукой куда-то в глубь леса.— Жалко Алеся, жалко девушку. Составляем ей душевный ответ — письмо-похоронку одним словом.

Миша Иванюта, взглянув на сумрачного Колодяжного, который никак не мог прикурить папиросу от зажигалки, сделанной из патронной гильзы, хрипло сказал:

— Об этом должен узнать весь фронт... Такая девушка!.. Товарищи бойцы, я забираю у вас все эти бумаги, допишу Ирине Чумаковой от вашего имени ответ, напечатаю его и ее письмо к Христичу в нашей газете... Фотографии Ирины и Алеся тоже напечатаем.

— Только не делай из них Ромео и Джульетту,— все-таки не утерпел Колодяжный, окинув Иванюту предостерегающим взглядом и глубоко затянувшись прикуренной наконец папиросой.

— А почему бы и нет?! — возмутился Иванюта, сам не зная почему.

Он еще с большим интересом, тая нарастающую в нем восторженность, всмотрелся в лицо московской девушки. Уже одна ее фамилия — Чумакова — такая же, как у Федора Ксенофонтовича, самого прекрасного на свете генерала, с которым он готов был идти в огонь и воду и за которого не пожалел бы себя... Где он, генерал Чумаков, выведший их войсковую группу из двух окружений?.. Ведь жизнью ему Миша да и этот зануда Колодяжный не раз были обязаны...

И опять не мог оторвать взгляда от прекрасного лица Ирины, от ее глаз, глядевших с фотографии в самую душу, тревожащих сердце и уносящих всего его куда-то в неведомые дали... Почувствовал ревность к Алесю Христичу, хоть понимал, что ревность к мертвому — непорядочно. Но все-таки мысль его упрямо искала ответ: как мог желторотый птенец Христич, наивный телок, тонкошеий петушок с оттопыренными ушами, с глазами, которые испуганно смотрели на мир, как мог он понравиться такой удивительной девушке? Или она заранее угадала в нем настоящего героя?.. Чудно устроен мир...

Может, никогда в жизни Миша не ощущал такой жажды счастья, как сейчас. Посмотрел на оборотную сторону фотографии и прочитал:

«Незнакомому гвардии бойцу, орденоносцу Алесю Христичу на добрую память. Бейте фашистов, не жалея наших мин! Ждем всех вас, дорогие бойцы Красной Армии, с победой!

Ирина Чумакова.
Декабрь 1941 года».

Острая жалость к Алесю Христичу ударила в сердце Мише... А потом почему-то ему стало жалко и себя. Ведь ему, как и Христичу, не от кого было ждать писем и фотографий. Была у него до войны девушка в родном селе. Писал ей письма, как песни пел, как рассказывал чарующие сказки. Она отвечала, нежно ворковала, вкладывала в конверты лепестки цветов, а потом... вышла замуж за другого... Летом, при отступлении от Смоленска, за какой-нибудь час приворожила Мишу белокурая медсестра Варя. Но на Соловьевской переправе стащили его с подножки Вариного санитарного автобуса, и растаял автобус в заднепровских далях, как и мечта о Варе... Миша не находил связи в своих мыслях и в своих чувствах, испытывая тоскливое томление сердца и не зная, что надо было сказать сейчас Ване Колодяжному да и этим чудным ребятам-минометчикам, жившим в эти минуты только памятью о геройски погибшем Алесе Христиче...

Из-за линии фронта вдруг четко донеслись один за другим три выстрела тяжелых орудий и послышался нарастающий вой их снарядов. Никак не привыкнуть, что слышимый полет снаряда — свидетельство безопасности: все твое естество непременно напрягается в ожидании взрыва, а другие чувства и мысли будто отсекаются невидимым клинком.

Насторожился и капитан Колодяжный, подняв лицо навстречу жесткому, железному шороху, проносившемуся над лесом. Немецкие снаряды гулко ухнули, содрогнув землю, в направлении Сходни, и Колодяжный, как будто и не настораживался сейчас, бесцеремонно взял из рук Миши фотографию Ирины Чумаковой, всмотрелся в нее и с восторгом произнес:

— С ума можно сойти!.. Такой красивой девушки я еще не видел. Сказка, мечта... Да и не глупа — по лицу вижу. В полку я — лучший физиономист.

— В полку и его ближайших окрестностях,— сердито уточнил Иванюта, почти силком отнимая у Колодяжного фотографию.

Капитан не противился, но тут же выхватил из рук Миши письмо Ирины Чумаковой, деловито сказав:

— Пусть простит меня погибший гвардеец Христич, но я обязан написать этой девушке.— И тут же добавил: — Расскажу ей, как дрался он с врагом и как отдал жизнь за меня.— Открыв планшет, Колодяжный записал на белой обочине топографической карты московский адрес Ирины.

Сердце Иванюты будто обожгло горячими углями. Да и минометчики смотрели в эту минуту на капитана Колодяжного с явной неприязнью. Но никто не обмолвился ни словом.

Редакция армейской газеты «Смерть врагу» размещалась в нескольких крестьянских домах на окраине деревни Павлушино, по соседству с тыловыми службами армии. Деревня жалась заснеженными огородами к лесу, глядя фасадами бревенчатых домов на неширокую дорогу, пролегавшую вдоль нее, и на размашистый, поросший купами краснотала луг за дорогой. На лугу была замаскирована зенитная батарея — одна из многих, охватывающих Москву и прикрывающих небесные подступы к ней. Огневые позиции орудий гнездились в тех местах, где краснотал рос погуще, и со стороны были почти незаметны. Неусыпное бдение зенитчиков весьма устраивало всех военных обитателей деревни тем, что менее опасны были налеты немецких бомбардировщиков. Однако причиняло и неудобство: с наступлением темноты батарея, вздыбив стволы пушек, начинала пальбу, создавая огневую завесу в отведенном ей квадрате неба; в такое время небезопасно было выходить на улицу, ибо осколки падали из вышины на землю, часто дырявили дранку на крышах домов, залетали в окна, оставляли рваные отметины на бревенчатых стенах. А ведь выпуск газеты связан с ночной работой. Поэтому работники редакции и типографии не расставались с касками, а шоферы не только тщательно маскировали прижатые к домам два типографских автобуса и грузовики-фургоны, но и прикрывали их жердевыми «коврами». Редакционный же радист, которому пальба зениток мешала принимать тассовскую информацию, вынужден был развернуть свое нехитрое хозяйство в погребе.

Сегодня была редакционная летучка. Обсуждались последние четыре номера газеты «Смерть врагу». Большая комната крестьянской избы утопала в полумраке. Два ее окна были завешены соломенными матами, плетево которых промерзло насквозь и серебрилось сверху инеем. Еще два окна с замурованными белобархатной изморозью стеклами почти не пропускали света, и мнилось, что на улице не ясное утро, а вечерние сумерки. Табачный дым густо плавал над покрытым цветастой скатертью столом, за которым не без важности восседал редактор газеты старший батальонный комиссар Панков. Его розовое лицо было одутловатым от недосыпания. Редактор любил по утрам выскакивать полураздетым во двор и натираться снегом. Вот и сейчас гладко причесанные волосы на голове Панкова блестели влагой. На стене, у которой сидел старший батальонный комиссар, темнело несколько икон, увенчанных вышитыми рушниками. На одной из них восковым цветом проглядывало лицо Христа-вседержателя. И казалось, что он, приподняв руку, именно редактора осенял троеперстием.

Эта случайно сложившаяся композиция Иисуса Христа и старшего батальонного комиссара веселила Мишу Иванюту, и он плохо слушал обзорный доклад о четырех номерах газеты, который делал старший политрук Васильский — отменный оратор, но слабый журналист. Миша, оседлав табуретку у приоткрытой двери, посасывал

папиросу и пускал дым в сени; вместе с холодом дым тут же возвращался в комнату. Другие сотрудники редакции сидели кто где — на скамейке, стоявшей вдоль заклеенной блеклыми и рваными обоями бревенчатой стены, на старом дермантиновом диване у противоположной стены и на хлипких венских стульях посреди комнаты.

Мише было досадно, что никто не разделяет его скрытого веселья. Впрочем, ему было весело не только оттого, что Иисус Христос осенял троеперстием с иконы их редактора, но и потому, что на славу удался номер газеты, посвященный погибшему Алесю Христичу и здравствовавшей московской девушке Ирине Чумаковой. Старший политрук Васильский, стройный от молодости и от худобы, перелистывая газеты на скатерти стола, как раз перешел к оценке этого номера.

— А сегодняшняя газета,— возвыся голос, сказал он,— образец журналистской смекалки, организованного мышления старшего политрука Иванюты и высокого вкуса нашего секретариата.

Миша чуть на задохнулся от самодовольства, подумав, что Васильский не такой уж слабак в журналистике. И в который раз посмотрел на первую полосу сегодняшней газеты, дегтярно пахнущую типографской краской. Не мог оторвать глаз от фотографии Ирины Чумаковой, заверстанной в ее письмо, адресованное Алесю Христичу. Над фотографией — заголовок: «Мы вместе громим врага». Над заголовком, через всю полосу,— стихотворная шапка крупными литерами:

С МОИМ ОРУЖЬЕМ ИДЕШЬ В СРАЖЕНЬЕ,
Я ВИДЕТЬ ХРАБРЕЦОМ ТЕБЯ ХОЧУ!

В нижней половине полосы — письмо минометчиков к Ирине. Над ним заголовок: «Отомстим врагу за смерть Алеся Христича». Фразы письма обрамляли фотоснимок развернутого комсомольского билета, пробитого пулей. С билета удивленно смотрел на мир Алесь... А рядом — пронзительные, зовущие к борьбе с врагом стихи редакционного поэта.

Старший политрук Васильский продолжал воздавать хвалу Михайле Иванюте и его газетным материалам. Мише это было тем более приятно: он услышал, как скрипнула наружная дверь дома, и кто-то вошел в сени, затаив там шаги; догадался: это дочка хозяев дома — Катя. Вчера вечером в деревенском клубе Миша пригласил ее на танец под патефонную музыку — отказалась! Глупо хихикнув, повела своими красивыми глазищами в сторону типографского шофера Аркаши и подала ему руку. Мише будто пощечину влепили! Чем он, старший политрук, хуже нагловатого шоферюги Аркаши? Испортила вчера Катя настроение Иванюте, а сейчас пусть послушает, кто таков и каков он есть! Пусть поразмышляет, с кем отказалась танцевать. Впрочем, Миша и не мастер на танцы, умеет два фокстротных шага вперед, третий в сторону, а, например, вальс ему не по зубам — нужна серьезная тренировка.

За размышлениями не заметил Миша, как летучка подошла к концу, и не уловил взглядом, когда появилась в проеме двери огромная фигура в меховом кожаном пальто. А когда увидел и, вскинув

глаза, приметил на малиновых петлицах в черной окантовке ромб бригадного комиссара, перевел испуганный взгляд на редактора, который, листая на столе газеты, еще не замечал неожиданного пришельца. Миша на мгновение растерялся, надо бы окликнуть дежурного по редакции, но он был у редакторского стола — все тот же старший политрук Васильский. И тогда Миша решил взять на себя его обязанности.

Вскочив и приняв стойку «смирно», Иванюта звонким голосом, от которого все вздрогнули и онемели, скомандовал:

— Встать!.. Смир-р-но!..— Повернувшись к бригадному комиссару, глубоко вдохнув в себя воздух, он и сам тут же онемел: узнал в нем Жилова, своего бывшего начальника политотдела дивизии, затем войсковой группы генерала Чумакова, с которыми принял боевое крещение. Крупное открытое лицо Жилова, которого Миша помнил полковым комиссаром, неузнаваемо изменилось от украшавших его пышных усов и от старивших морщин, легших лестничкой на лбу и вразлет от носа на щеках. Да еще багровый шрам от уха до челюсти...

Справившись с растерянностью и волнением, Миша по-уставному продолжил:

— Товарищ бригадный комиссар! Коллектив редакции газеты «Смерть врагу» проводит очередную летучку! Докладывает дежурный по редакции старший политрук Иванюта!

— Почему же без повязки? — со смешком спросил Жилов.

— Я дежурный! — смущенно откликнулся от стола Васильский, повернувшись к двери другим боком, чтоб видна была красная повязка на его рукаве.

— Ну вот, не сговорились! — Жилов уже откровенно засмеялся.— Хвалю за находчивость, товарищ Иванюта.— И вдруг, посерьезнев, стал молча всматриваться в Мишино лицо.— Что я вижу!.. Старший политрук с бакенбардами?!

— Так точно, товарищ бригадный комиссар! — радостно воскликнул Миша.— У вас — усы, у меня — бакенбарды!

— Не ожидал,— сумрачно сказал Жилов, будто не расслышав последней фразы Миши.— А я полагал, что ты вполне серьезный, деловой парень. Орденоносец ведь...

В комнате стало так тихо, что все услышали, как за окном взвизгнула Катя и сердито сказала:

— Аркаша, не приставай, а то твоему начальнику пожалуюсь!

— А ты кому будешь жаловаться, если я прикажу сбрить баки? — насмешливо спросил у Иванюты Жилов. И, посерьезнев, строго произнес: — Сейчас же сбрить! Немедленно! И доложить!

Тяжело вздохнув и почувствовав, как вспыхнуло его лицо, Миша подавленно ответил:

— Есть, немедленно сбрить баки! — не одеваясь, он под смешок газетчиков стремительно выбежал из дома секретариата редакции.

А Жилов, посматривая на собравшихся на летучку журналистов, уже со спокойной усмешкой спросил:

— Есть еще среди вас гусары?..

— Никак нет,— ответил за всех старший батальонный комиссар Панков.— А Иванюта — моя вина...

— Не понимаю! — перебил его Жилов.— Никак не вяжется: в боях держал себя Иванюта молодцом! Смело ходил в атаки, много раз смотрел смерти в лицо, и вдруг такое пижонство! На царского гусара, видите ли, захотелось ему походить!

Услышал бы Иванюта слова похвалы бригадного комиссара, не стал бы жалеть о своих баках, которые почти со слезами сбривал в соседнем доме, сгорбившись над столом перед круглым зеркальцем...

За это время старший батальонный комиссар Панков, придя в себя от неожиданного появления нового начальника политотдела армии, представился ему сам и представил сотрудников редакции, рассказал, что коллектив радуется особенно последнему номеру газеты, для которого старший политрук Иванюта добыл богатый содержанием материал. При этих словах появился и сам Иванюта, уже успокоившийся, но еще таивший обиду и необъяснимый стыд. Он бойко доложил бригадному комиссару Жилову о выполнении его приказания и сел в углу комнаты, прячась за спины товарищей.

Жилов, никак не отреагировав на похвальбу редактора газеты, начал разговор, казалось, издалека, глядя на всех острым, требовательным взглядом. Он, раздевшись, уже сидел за столом.

— Я бы просил вас всех, товарищи газетчики, уяснить себе и помнить одну истину, которая касается нас с вами и всей Красной Армии... Мне запомнился разговор в первые дни войны с одним умнейшим человеком... с генералом Чумаковым Федором Ксенофонтовичем... Товарищ Иванюта его знает.

— Жив генерал Чумаков?! — Иванюта встревоженно выглянул из-за чьей-то спины.

— Жив, хотя не уберегся от немецкого железа. Был тяжело ранен...— И бригадный комиссар продолжал: — Так вот, мы тогда с генералом Чумаковым размышляли над тем, как себя в нравственном отношении чувствуют фашистские вояки, вторгаясь на чужую территорию и бесчинствуя на ней. И пришли к выводу, что у ослепленного националистическим угаром врага был довольно высокий моральный дух, ибо перевес в силах был явно на его стороне... Но высокий боевой дух бывает и у волка, у другого хищного зверя, когда он настигает, а тем более терзает свою жертву... А на чьей стороне в такой ситуации нравственное превосходство?.. С первого часа войны и до сих пор и до конца войны оно было и будет на нашей стороне, ибо мы защищаемся от алчной фашистской агрессии. На нас напали, мы защищаемся, обороняем свою землю, свою свободу, свое первое в мире социалистическое государство. И каждое наше печатное слово, как и устное, произнесенное партийными и комсомольскими работниками в окопах, должно укреплять и возвышать моральный дух советского воинства. Сегодняшний номер вашей газеты показал в этом важном деле образец, но в нем... не соблюдена разумная дозировка в количестве ударного, нравственного, активного материала.

Жилов, ощутив недоумение, охватившее сотрудников редакции, пояснил свои слова:

— С ударным материалом тоже надо обращаться по-хозяйски... Ну зачем вам понадобилось в одном номере печатать письмо Ирины Чумаковой и ответ ей однополчан Алеся Христича, а тем более простреленный комсомольский билет минометчика?.. Надо было все распределить на два-три номера газеты, чтоб, заинтересовав читателей, подольше продержать их в таком состоянии.

Жилов умолк, вглядываясь в лица газетчиков и пытаясь угадать — разделяют ли они его суждения.

Поднялся старший батальонный комиссар Панков и обращаясь к Жилову, спросил:

— Можно мне сказать, товарищ бригадный комиссар?

— Конечно.

— Для начала вопрос: вы, случайно, сами не газетчик?

— Случайно нет,— ухмыльнулся Жилов.

— Нельзя не согласиться с тем,— Панков старательно расправил под ремнем гимнастерку,— что мы действительно поддались напору самого материала, содержащихся в нем событий и, как говорят, передали кутье меду...

— Мед-то больно горький,— заметил Жилов.

— Верно,— согласился Панков.— Но война сладкой и не бывает... Я полагаю, что надо продолжить тему, поднятую в сегодняшнем номере газеты. Надо разыскать Ирину Чумакову, ее завод, который изготовляет мины, и напечатать полосу о героизме нашего близкого тыла, о москвичах.

— Мысль верная,— похвалил Панкова бригадный комиссар.— Только используйте еще одно обстоятельство. Я обратил внимание, что под письмом Ирины Чумаковой вы напечатали ее домашний адрес. А это значит, что из нашей армии по указанному адресу хлынут письма от фронтовиков. Они тоже могут явиться богатым источником для газеты.

В комнате одобрительно зашумели, а старший политрук Васильский азартно воскликнул:

— Разрешите мне выполнить это задание! Я хорошо знаю Москву, быстро все разыщу!

Все в комнате настороженно притихли.

Жилов и Панков озадаченно переглянулись. После паузы в углу поднялся старший политрук Иванюта и, не спрашивая у начальства разрешения, осипшим голосом сказал:

— На готовенькое сейчас много охотников найдется!.. Тем более что надо ехать не на передовую под обстрел, а в Москву.

— Москву тоже бомбят,— смущенно отпарировал Васильский.

На него зашикали: всем было ясно, что полосу о девушках-москвичках должен делать Миша Иванюта. Это подтвердил и редактор газеты. Он тут же сказал:

— Спору нет — приоритет за Иванютой. Ему и ехать в Москву. А попутно еще одно задание: у нас выбыл из строя один корректор.

Нам нужен грамотный человек по вольному найму — не военнослужащий.

— Найду и привезу! — с уверенностью ответил Иванюта.

27

Этот зануда старший политрук Васильский все-таки уговорил редактора газеты послать его вместе с Иванютой в Москву, к Ирине Чумаковой. Васильскому уже лет под тридцать (старик в представлении Миши), и пришлось пригласить его сесть в кабину редакционной полуторки, за рулем которой царствовал в засмальцованном ватном одеянии шофер Аркаша.

Полуторка громыхала по выбоинам Волоколамского шоссе навстречу машинам, груженным ящиками со снарядами, минами и еще чем-то, таившимся под брезентами. Иногда попадались тягачи с пушками и отдельные танки, тормозившие движение. Над дорогой стояла плотная белесая мгла, сквозь нее близко и призрачно темнел за обочинами лес, а в рассветном молочном небе плыл еще не утративший сияния месяц, неотступно следуя за полуторкой. Мише чудилось, что месяц ощущает его томящее чувство, поэтому не отстает от машины, стремительно рассекая мглисто-туманную, беззвездную высь.

Никогда еще Миша Иванюта так жестоко не презирал себя, не корил свою совесть, как в эти последние дни. Ведь что может быть сейчас страшнее, чем нависшая над Москвой опасность вторжения в нее фашистов! Правда, в такую возможность Миша не очень верил, хотя и не мог толково осмыслить причины своего неверия. Ну конечно же — не быть фашистам в Москве, и все тут! Кто-то болтал, что за самовольный переход через канал Москва-река — Волга последует расстрел на месте... Что за чушь? Кто это может без приказа позволить себе переход через канал? Да и не пробиться немцам к каналу. Часто бывая на передовой, Миша видел, во что обходится врагу даже малейшее продвижение вперед... Тысячи трупов!.. Правда, и нашей крови льется немало. Много крови, большие потери... Да, идет такая невероятно тяжкая война, немец, говорят, уже видит в стереотрубы Кремлевские башни, а он, гвардии старший политрук Иванюта, орденоносец, подписывавший в самые трудные дни обороны Москвы вместо погибшего редактора газету гвардейской дивизии, распускает слюни, позволяет себе размышлять о любви, томиться в тревожных предчувствиях только потому, что в его полевой сумке лежит фотография очень красивой московской девушки Ирины Чумаковой. Когда думал о ней и в его воображении всплывало ее милое, юное лицо, запечатленное на фотографии, то ощущал озноб и такое теснение в груди, что трудно было дышать. И будто умом тронулся: что бы ни делал — ползал ли между блиндажами на передовой, записывал ли в блокнот рассказы бойцов о том, как бьют они немцев, или корпел над заметкой для газеты,— все время какой-то побочной мыслью был устремлен к ней, Ирине Чумаковой, и будто видел ее рядом с собой, слышал напевную нежность слов девушки...

Наваждение, и только! Ну не дурак ли?.. Может, она не пожелает и разговаривать с ним!.. От нелепости своих чувств, от сомнений и от упреков самому себе Мишу бросало то в жар, то в озноб. Но ничего не мог поделать с собой: что-то родилось и упрочилось в нем сильнее его самого, что-то предсказывало счастье, и он ехал навстречу ему со страхом, неверием и надеждой.

Ладно, как будет, так и будет! Во всяком случае, он, Миша Иванюта, сделает для семьи Ирины Чумаковой одно доброе дело: передаст гостинец (скажет, что от всей редакции) — вещмешок с продуктами. Всем ведь известно: Москва живет сейчас не сытно, Миша же, узнав о своей предстоящей поездке в столицу, запасся коечем: несколькими банками мясной тушенки, сливочным маслом, сахаром, с передовой привезенными пятью плитками трофейного шоколада, печеньем... Все это лежит в вещмешке под брезентом, рядом со свертком старшего политрука Васильского, который тоже везет в Москву для своей маленькой семьи сэкономленные им продукты.

У развилки, где Волоколамское шоссе вливалось в Ленинградское, замерла колонна грузовиков: впереди был контрольно-пропускной пункт, и там шла проверка документов. Уже почти рассвело.

Дошла очередь и до их полуторки. Закоченевший пожилой сержант с красным от мороза и ветра лицом потребовал документы и у Миши. Иванюта, расстегнув полушубок и меховую безрукавку под ним, неторопливо, чтоб сержант мог увидеть на его груди орден, достал из кармана гимнастерки редакционное удостоверение личности. И тут заметил, как были непослушны от холода руки сержанта, когда брал он документ, и какая тяжкая усталость гнездилась в его глазах. Стыд за свое хвастовство горячо ударил в Мишино лицо, и он спросил первое, что пришло ему на ум:

— Курящий, папаша?

— Известное дело.— Сержант посмотрел на Иванюту каким-то потухшим взглядом.

— Тогда угощаю! — Миша достал из кармана ватных брюк теплую, еще не распечатанную пачку «Казбека» и протянул ему.

Глаза сержанта чуть оживились, в них проскользнуло недоумение.

— Очень даже благодарю,— сказал он и, спрятав папиросы на груди под полушубком, начал рассматривать Мишино удостоверение с удвоенным вниманием.

— А где разрешение на въезд в Москву?

— У старшего политрука, в кабине.— Миша с огорчением догадался, что своим подарком вызвал у сержанта подозрение.

— Курмангалиев! — хрипло крикнул сержант своему напарнику, который проверял документы у Васильского.— Бумага на въезд имеется у них?

— Порядок бумага,— послышался ответ.

Миша Иванюта въезжал в Москву с испорченным настроением, досадуя, что по доброте своей расщедрился и одарил сержанта папиросами, помня, конечно, что в его полевой сумке с продуктами лежала еще пачка.

Еще в редакции Иванюта и Васильский договорились сразу же по приезде в Москву разыскать завод (у Миши имелся адрес его комитета комсомола). И шофер Аркаша уверенно вел машину по знакомым ему улицам и переулкам. Да и для сидевшего рядом с ним старшего политрука Васильского Москва была родным домом.

А Мишу вдруг стали томить недобрые предчувствия. Удастся ли им разыскать Ирину Чумакову?.. А если удастся? Каким будет знакомство и что последует за ним?.. Понравится ли он Ирине? Какие он скажет ей слова?

Завод разыскали в тихом переулке. Это было продолговатое осанистое здание с потемневшими кирпичными стенами давней кладки. Поставили машину в хвосте небольшой колонны грузовиков, голова которой упиралась в широкие решетчатые ворота. Сквозь них виднелся захламленный железными отбросами двор; в дальнем его конце высились штабеля деревянных ящиков.

«Готовая продукция,— догадался Миша, оглядывая двор с высоты кузова полуторки.— Мины...» И тут же увидел, как за соседний дом медленно опускался с неба, трепеща под ударами ветра, огромный аэростат воздушного заграждения — будто серебристая гора садилась на крышу здания. В это время к машине вернулся старший политрук Васильский, бегавший куда-то за разрешением пропустить их на территорию завода. Полуторка тронулась с места, обогнула колонну ЗИСов и направилась в раскрывавшиеся перед ней железные ворота.

«Этот Васильский из вареного яйца цыпленка высидит»,— с завистью к пробивным способностям коллеги подумал Миша.

Вскоре Иванюта и Васильский в сопровождении бородатого и сутулого дяди Коли шествовали по длинному цеху, оглушенные гудением токарных станков и визгом железа под резцами, вдыхая запахи горячей стружки, испарения технических масел, еще чего-то удушливого. С некоторой оторопью смотрели на тепло одетых девушек и подростков, стоявших за станками.

Где-то посредине цеха остановились, и дядя Коля указал однопалой рукавицей на неуклюжую фигуру девушки. Серый пуховый платок по-крестьянски пеленал ее голову и грудь, обнимал концами подмышки и был завязан на спине — так в морозную пору кутают на улице детей. Под платком была стеганая фуфайка, на ногах — черные, подшитые войлоком валенки, в которые заправлены ватные брюки.

— Ириша! — окликнул девушку дядя Коля.— Выключи станок! К тебе гости с фронта пожаловали!

— От папы?! — Девушка тут же усмирила визг станка и проворно соскочила с деревянной подставки на цементный пол.

— Не от папы, а от кавалеров минометных войск! — Дядя Коля хитро подмигнул: — Говорят, твои мины не лезут в минометные трубы потому, что ты к ним любовные записочки прилепляешь!

— Я прилепляю? К минам?.. Дядя Коля, я вас на дуэль вызову! Ведь мины к немцам летят! А записки кому адресованы?

— Виноват, Иришенька! — Дядя Коля чуть смутился.— Разбирайтесь сами: кому записки и к кому гости приехали.

— То-то же! — Ирина с любопытством повернулась к Васильскому и Иванюте.

Оба старших политрука всматривались в лицо Ирины с растерянностью: они почти не узнавали девушку, ибо на фотоснимке в их газете она выглядела совсем по-другому.

Неловкую паузу нарушил Васильский, представив Ирине себя и Иванюту, а затем объяснив причину их появления на заводе.

Миша же никак не мог выйти из состояния потрясенности; мысли его сделались неподвластными ему, отчего трудно было произнести хоть одно вразумительное слово. Ирина не только мало походила на хранившийся в его полевой сумке портрет, но и категорично не нравилась ему! Исхудалое, испятнанное каким-то темно-рыжим порошком лицо было почти отталкивающим; ее большие глаза неестественно сверкали белками, а зрачки — как две тусклые кляксы неопределенного цвета... Рот широк, нос истонченный, с белесой горбинкой... Вот только брови изогнулись двумя изящными дугами... Впрочем, лицо как лицо. Но что-то в нем казалось нарушенным, какое-то несоответствие лишало его привлекательности.

Ирина, повернув голову к Мише, вдруг строго и даже чуть надменно спросила:

— Почему вы на меня так смотрите? Будто прицениваетесь?

Миша, не найдя, что ответить, и будучи не очень искушенным в правилах хорошего тона, сдвинул на поясе полевую сумку, чтобы достать фотографию Ирины. Но все-таки в последнюю минуту сообразил, что не надо делать этого, и вынул газету с фотопортретом девушки.

— Понимаете,— начал выкручиваться Иванюта,— наш редакционный художник так заретушировал ваш снимок, что я не могу сообразить, как лучше вас сейчас фотографировать при таком плохом освещении.

— Вы боитесь, что читатели вашей газеты не узнают меня? — Ирина расхохоталась, угадав причину замешательства Иванюты.

— Ну, не совсем так.— Миша смутился еще больше и умоляюще посмотрел на Васильского.

Тот поспешил ему на выручку:

— Узнают! У нас пленка высокой чувствительности. К тому же нам не обойтись снимками в цехе. Вначале сфотографируем вас у станка, в рабочей одежде, чтоб передать атмосферу труда для фронта, а потом — в домашней обстановке... Но вам, Ира, придется пригласить нас к себе на чашку чаю.

— Приглашаю! — Ирина вновь расхохоталась.— Может, помирите меня с мамулей. У нас сегодня свидание с ней — приедет из своего госпиталя... Только не называйте меня Ирой... Ир-р-ра-а... Неблагозвучно... Зовите Ириной.— И опять засмеялась, но уже устало, с безразличием.

Однако смех Ирины острым коготком приятно царапнул Мишино сердце. И голос ее — бархатный, переливчатый — тоже стал нра-

виться Иванюте. Но так и не оставляло чувство, что все-таки это не та девушка, которую он тайно и безмолвно носил в своем сердце уже вторую неделю и которую его фантазия наделила необыкновенно ослепительными чертами. Эта — не его мечта... И почти обрадовался столь неожиданному прозрению и душевному раскрепощению. Была любовь — и нет ее! Ехал в Москву с надеждой и страхом, а теперь сердцу легко — ни надежды, ни страха, ни сомнений, все стало просто, обыденно, как и раньше, однако было и печально от несбывшейся мечты... Как же понять самого себя?

Почувствовав, что Ирина его больше не смущает, Миша Иванюта принялся выполнять свои журналистские обязанности. Вынув из сумки блокнот, он деловито засыпал девушку вопросами о том, как ей работается за станком, устает ли, какая норма выработки за смену, с кем она дружит. Васильский в это время целился в Ирину фотоаппаратом, заставляя девушку то встать за токарный станок, то подойти к подругам... И без устали щелкал затвором объектива, сокрушаясь при этом, что освещение в цехе все-таки было слабым.

В дальнем углу цеха дверь почти не закрывалась — входили отдохнувшие девушки и подростки, одетые потеплее, и начинали принимать у отработавшей смены станки. На место Ирины встал курносый парнишка лет четырнадцати — в валенках и длинном, не по росту, пальто с подвернутыми рукавами.

Васильский и Иванюта привлекли к себе всеобщее внимание: у станка Ирины собралось немало любопытствующих. Васильский решил воспользоваться этим и, сделав несколько групповых снимков, обратился главным образом к девушкам, так как они были постарше:

— Друзья, у нас к вам просьба! В нашей редакции во время последней бомбежки погибло несколько человек... В том числе и один корректор. Вы знаете, что такое корректор?

— Знаем! Знаем! — раздались редкие голоса.

— Чтобы опечаток не было в газете! — подала голос и Ирина.

— Не только опечаток, но и ошибок вообще! — пояснил со знанием дела Миша Иванюта.— Чтобы все соответствовало присланным из секретариата в типографию материалам — корреспондентским и тассовским!..

— Нет ли у кого-нибудь из вас знакомого корректора? — уже конкретно поставил вопрос старший политрук Васильский.

Наступила тишина, если не считать шума нескольких станков, которые уже были включены в разных местах цеха.

— А девушка может быть корректором? — настороженно спросила Ирина.

— Конечно может! — ответил Васильский.

— Тогда меня приглашайте! — Лицо Ирины будто посветлело, а из глаз улетучилась усталость.— У меня всегда были пятерки по русскому языку, и сочинения я писала на «отлично».

— И я бы поехала! — подала голос рыжеволосая девушка из новой смены.

— Я тоже согласна!..

— И я!..

Ирина вдруг вскочила на деревянную подставку своего станка и обратилась к собравшимся:

— Товарищи, я ведь дочь военнослужащего, генерала! — Ее усталый, хрипловатый голос звучал взволнованно.— Мне знакома военная терминология! У нас весь род военный!

— А кто вместо тебя будет нашим комсомольским секретарем? — с укором спросила ее Надя, чуть косоглазая соседка Ирины по двору.

— Ты заменишь! У меня есть предложение: Надю секретарем выбрать! — Ирина держала себя так, будто вопрос о ее отъезде на фронт уже решен окончательно.— Кто за это предложение, прошу поднять руки!.. Голосуют только комсомольцы!..

Но голосовали все — оживленно, с каким-то особым энтузиазмом и весельем: ведь идти на фронт готов был каждый, но счастье выпало пока одной Ирине, и за нее радовались.

А Миша все раздумывал над словами девушки о том, что она дочь генерала. И сердце его вдруг встрепенулось, забилось учащенно, а в голове зашумело от ударившей крови: он был оглушен внезапной догадкой... Только сейчас до сознания Миши стало доходить, что Ирина — родная дочь самого дорогого для него человека — Федора Ксенофонтовича Чумакова... Смятенные мысли Иванюты молнией, в один охват, пронеслись по невиданно-тяжким, кровавым дорогам, пройденным со страшными боями в первые недели войны под командованием этого мудрого генерала... Но в памяти Миши смутно брезжило, будто семья Федора Ксенофонтовича жила до войны в Ленинграде. От кого же он это слышал?..

Миша протолкался к окруженной молодежью Ирине и спросил у нее, не тая изумления и тревоги:

— Вашего отца зовут Федор Ксенофонтович?

— Да...— Ирина смотрела на Мишу почему-то с испугом.

— Он живой?

— Не знаю... Осенью лечился в госпитале под Москвой, приезжал домой... Сейчас неизвестно где... Вы с ним знакомы?

— Я прошел с вашим отцом от западной границы до Смоленска. Если б не он, не знаю, как бы все было...

Неизвестно, кто распорядился выключить начавшие работать станки, и в цехе стояла такая тишина, что казалось, все перестали дышать, вслушиваясь в разговор Иванюты с Ириной.

— Вы были с ним в окружении?

— В трех окружениях,— с печалью в голосе ответил Миша.— Из Смоленска Федор Ксенофонтович, он тогда уже был серьезно ранен, послал меня к полковнику Гулыге с приказом пробиваться на восток по новому маршруту. И мы опять прорывались из окружения, но уже без генерал-майора.

— Домой он приезжал генерал-лейтенантом,— зачем-то уточнила Ирина и, помедлив, вдруг спросила: — А лейтенант Рублев Виктор не с вами был?

— Как же, знаю Рублева! — Но Миша оживился из-за другого.— Так Федор Ксенофонтович уже генерал-лейтенант?!

— Ага!

— А Рублев при мне спускался в тылу у немцев на парашюте, когда подбили его «ястребок». Один наш раненый принял его за фашиста и хотел пальнуть из автомата.

— Почему за фашиста?! — испуганно спросила Ирина.

— Потому что и немецкий самолет падал. Его сбил лейтенант Рублев. А вы откуда Рублева знаете?

— Он наш ленинградский знакомый,— пояснила Ирина и отвела в сторону глаза.

28

Ирина сидела в кабине полуторки рядом с шофером Аркашей, который уверенно вел машину в сторону Киевского вокзала, на 2-ю Извозную улицу, где жили Чумаковы. Откинув звенящую от тяжкой усталости голову на дерматиновую спинку сиденья, Ирина видела из-под смеженных век, как из белесого неба косо сек по лобовому стеклу мелкий снег; впереди машины шалый ветер катил по мостовой белые вихри и разбивал их о длинные высокие сугробы, отделявшие проезжую часть улицы от малолюдных тротуаров.

Ощущая, как в тепле кабины сладко ныли от усталости ее спина, руки, ноги, Ирина вяло размышляла о старшем политруке Иванюте, который так славно и взволнованно говорил об отце... Сколько неожиданного случается в жизни: отец ее знал Иванюту еще в июне, потом они оба познакомились с Виктором Рублевым. А она, Ирина, как бы связала все эти знакомства в единый узел, угадывая девичьим чутьем, что неспроста смущался и так отчаянно робел перед ней Иванюта. Что за всем этим грядет?.. Почему она отвела взгляд, когда отвечала Мише на вопрос, откуда знает Рублева?

Но все это было ничем по сравнению с главным: как отнесется мама к ее решению ехать на фронт?..

Размышлять было трудно — Ирине смертельно хотелось спать. Хорошо, что не постеснялась сказать этим славным военным ребятам о своей измотанности и попросить их не беспокоить ее до второй половины дня. За это время она отдохнет, наговорится с мамой. Вот только чем потом покормить гостей с фронта? Дома совсем скудно с продуктами... Ну ничего — вскипятит чай, подаст на стол свекольное суфле.

А старшие политруки Васильский и Иванюта мерзли в кузове машины на брезенте, подпирая спинами рулоны бумаги. Васильский томился от сомнений, застанет ли дома, в комнате коммунальной квартиры на Метростроевской улице, жену Лиду с двухлетним Костей. В последнем письме Лида писала, что им предложили эвакуироваться куда-то за Волгу с детским садом. Пока Васильский будет гостить дома, Иванюта поедет с Аркашей в его автоколонну. Аркаше не терпелось повидаться со знакомой шоферской братией и побывать на Каланчовке в своем довоенном холостяцком общежитии, надеясь,

что там ждут его письма. Потом Иванюта должен будет в Центральном магазине Военторга купить себе и друзьям-газетчикам всякой мелкой всячины — подворотничков к гимнастеркам, блокнотов, лезвий для бритья, одеколон... А к концу дня они соберутся все вместе и поедут в гости к Ирине Чумаковой.

Впрочем, Мишу Иванюту занимал сейчас еще и такой вопрос: удобно ли ему предложить Ирине Чумаковой привезенные с собой продукты? Вряд ли генеральская семья нуждается в них. Да и вообще чувствовал он себя обескураженно. Как и нашептывало ему сердце, все сложилось не согласно Мишиным желаниям, но и не вопреки им. Когда узнал Иванюта, что Ирина дочь генерала Чумакова, он не мог усмирить свою веселую фантазию, дерзко звавшую его в будущее: когда кончится война, он вдруг приезжает в родное село с молодой женой — дочерью генерала! Такого ведь еще не бывало в его Буркунах. Вот дал бы повод для бабьих охов да ахов, судов да пересудов. Вот, говорили бы, утер Михайло Иванюта нос всем сельским хлопцам!

Машина свернула со 2-й Извозной в заснеженный двор, и Миша понял, что они подъехали к дому Ирины.

— Как быть с продуктами?! — смятенно спросил он у Васильского.— Не возьмет же!

Васильский тоже заколебался:

— Может, захватишь их, когда приедем вечером?

Между тем Ирина вышла из кабины грузовика и, обращаясь ко всем вместе, сказала:

— Вот дверь нашего подъезда. Квартира на третьем этаже, слева... Жду вас к концу дня.

Всмотревшись в усталое лицо Ирины при дневном свете, Иванюта заметил густые тени под ее глазами и вдруг решился:

— Ирина Федоровна, пожалуйста, возьмите вот это! — Он достал из-под брезента увесистый вещмешок и протянул ей.— Мы приедем голодные, а тут еда. Распоряжайтесь всем по своему усмотрению... А мешок — имущество казенное — вернете мне.

Ирина ничего не ответила. Взяв дрогнувшей рукой мешок, скрылась в дверях подъезда.

...Перед вечером, поставив полуторку во дворе, они поднимались на третий этаж с некоторой неуверенностью — ведь шли в квартиру генерала. Васильский нес сумку с продуктами, которые припас было для своей семьи. Но никого не застал дома — жена с сыном и соседи по коммуналке эвакуировались из Москвы. Шофер Аркаша тоже был в расстроенных чувствах: его довоенное шоферское общежитие оказалось снесенным немецкой фугаской. Только Иванюта поднимался по ступенькам в добром расположении духа, так как сделал в военторге все заказанные ему покупки.

Договорились не задерживаться долго у Чумаковых. Васильский сфотографирует Ирину в домашней обстановке, попьют чайку и покинут Москву. Все были уверены, что мать Ирины конечно же не отпустит ее на фронт. Да и сами сомневались — стоит ли везти в редакцию на корректорскую работу дочь прославлен-

ного генерала. Там ведь условия нелегкие, а войне конца-краю не видно.

Дверь им открыла Ольга Васильевна — мать Ирины. В коричневом платье, с уложенными волосами, она выглядела очень моложаво: ее большие темно-синие, светящиеся приветливостью глаза с гнутыми бровями над ними, белозубая улыбка — весь ее привлекательный домашний облик свидетельствовал о радушии. В прихожей сняли свое зимнее одеяние, затем вернулись на лестничную площадку и старательно обмахнули с валенок снег. Ольга Васильевна предложила всем мыть руки.

Иванюта первый вошел в ванную комнату со сверкающими кафелем стенами, а Васильский и Аркаша понесли на кухню продукты, уговаривая Ольгу Васильевну не отказываться от гостинца.

Миша уже взялся за вафельное полотенце, когда к нему заглянула Ирина и спросила:

— Моя помощь не нужна?

Оглянувшись на знакомый голос, он застыл в оцепенении: это была совершенно другая Ирина! Еще краше той, которую он десятки раз с тихим восторгом рассматривал на фотографии! Нежное, точеное лицо, короткая прическа волнистых волос, огромные синие глаза, глядевшие, казалось, в самое сердце.

— Что, опять не похожа? — с милой непринужденностью бархатным голосом спросила Ирина.— Правда, и у нас освещение не ахти какое, но разглядеть человека можно.— Она взяла Мишу под руку, повела в кабинет, служивший и столовой.

Миша ошалело оглянулся на шкафы с книгами, закрывавшие стены, на картины и фотографии в простенках и послушно уселся в кресло, к которому его подвела Ирина.

— С ума можно сойти,— непроизвольно, но вполне внятно прошептал Миша.— Ничего подобного никогда не видел.

— Вы имеете в виду Мики? — Ирина указала на крупную, пепельного цвета кошку ангорской породы, лежавшую на ковре у кадки с фикусом.

Уловив в голосе девушки иронию, Миша перевел на нее несмелый взгляд и увидел, что лицо ее сияло нежной загадочной улыбкой, а в глазах, смотревших как бы чуть свысока и снисходительно, все-таки плескалось молодое озорство и слабо скрытое доброжелательство. И гордый поворот головы с чуть приподнятым подбородком.

От потерянности, слепящего и дурманящего восторженного чувства Миша не знал, что делать со своими руками и ногами в неуклюжих валенках, куда устремить взгляд.

Ирина же как бы наслаждалась его потрясенностью и смятением, видимо вспоминая разочарование, которое уловила в глазах Миши сегодня утром, когда он знакомился с ней — чумазой и сонной.

Заметив рядом с фикусом несколько почтовых бумажных мешков, Миша, чтобы хоть что-нибудь сказать, неожиданно для самого себя спросил:

— А в мешках почта?

— Да, письма с фронта! Вы же напечатали в газете мой домашний адрес.

Миша вдруг будто увидел огневую позицию минометчиков, которые писали первое письмо Ирине, вспомнил своего дружка Колодяжного и, кажется, обрел способность мыслить с большей уверенностью.

— А от капитана Колодяжного было письмо? — настороженно, со скрытой ревностью спросил он.

— Не помню такого... Писем очень много! Я вынуждена раздавать их для ответов нашим девушкам...— Ирина умолкла, заметив, что Иванюта устремил на нее горящий, полный отчаяния взгляд.

— Ирина Федоровна...— прошептал Миша.

— Зовите меня Ириной...

— Ириша... Можно, я вам тоже буду писать письма?

— Так вы же меня с собой забираете! — встревоженно изумилась Ирина.

— Вас мама, наверное, не пустит на фронт.

Последнюю фразу услышала Ольга Васильевна, несшая к столу вместе с Васильским и Аркашей тарелки с закусками.

— Почему это я не пущу ее? — улыбчиво спросила она.— Пусть едет! Сейчас весь народ воюет.

«Пропал гвардеец Иванюта! — с восторгом в сердце мысленно воскликнул Миша, вспоминая при этом, что в редакции газеты «Смерть врагу» он единственный холостяк.— Быть тебе, Михайло, зятем генерала Чумакова! Иначе — не жить!..»

А когда возвращались в редакцию — путь был мучительно трудным, ибо по Ленинградскому шоссе нескончаемым потоком шли войска — пешие, в большинстве лыжные батальоны, ревели моторами танки, тягачи с пушками на прицепе, «катюши»,— Мишу больно полоснула по сердцу мысль, от которой стало стыдно: «Как это я могу мечтать о своем личном счастье, когда впереди еще целая война?..»

Но так уж устроен человек: он всегда в молодости верит в счастье и надеется на будущее. Верил в будущее и Миша Иванюта: не сомневался, что выстоит Москва и никому — ни ему, ни Васильскому и никому другому, кто стал в боевой строй,— нет пути назад.

Миша замерзал в кузове грузовика рядом с угрюмым старшим политруком Васильским. Ирина Чумакова, взволнованная ждавшей ее впереди неизвестностью, ехала в кабине, вслушиваясь в разухабистый говорок шофера Аркаши, который изо всех сил старался ей понравиться. В сторону Солнечногорска текла река войскового люда и боевой техники. Верилось, что вспять она не потечет, но потекут еще реки крови, прежде чем взойдет солнце победы.

КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ

Иван Фотиевич Стаднюк

Меч над Москвой

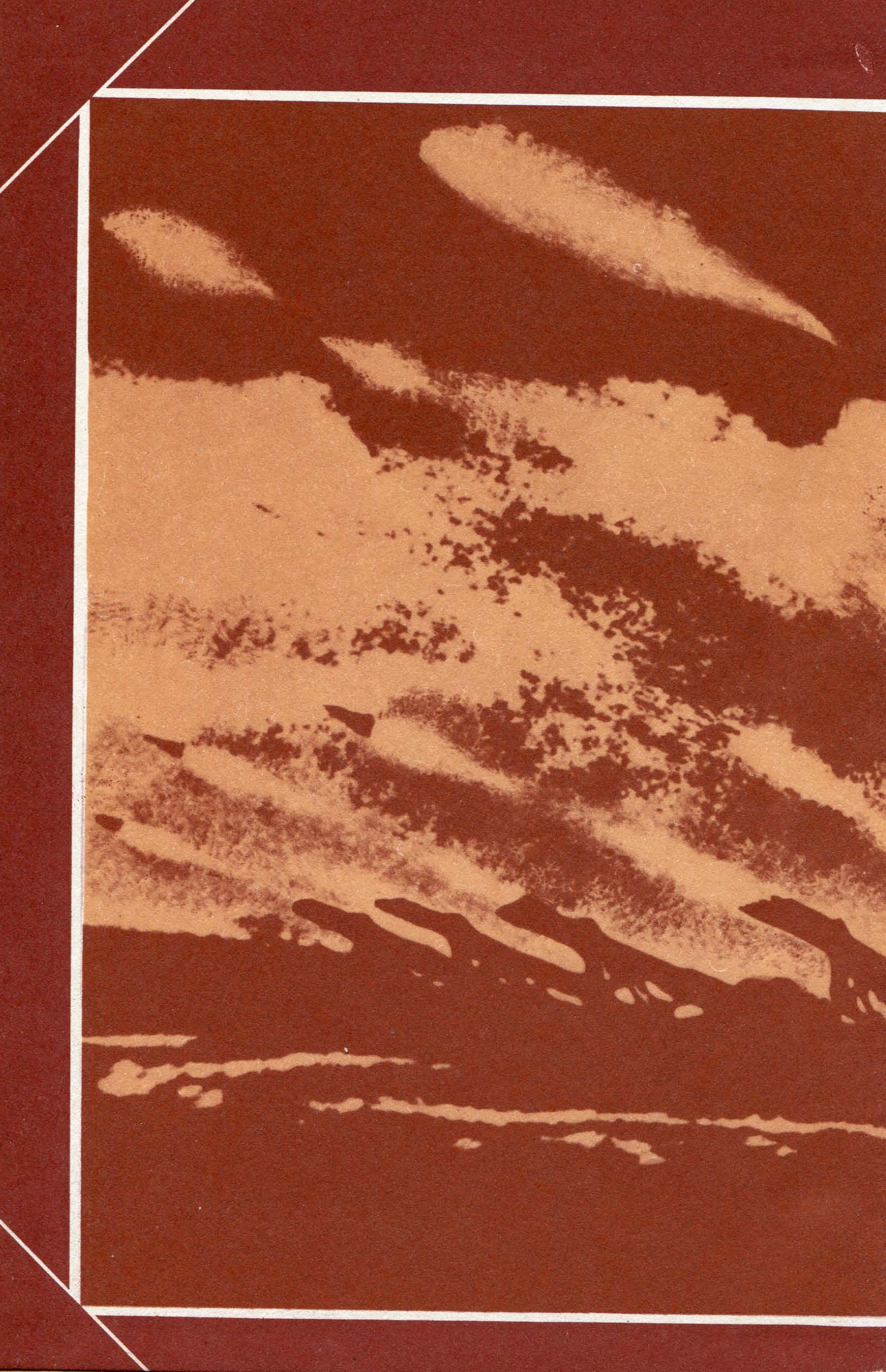
Художник *А. И. Неровный*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *С. В. Мазаева*
Корректор *Н. И. Музалевская*

ИБ № 3515

Сдано в набор 01.06.89. Подписано в печать 26.12.89. Г 28587. Формат 60×90 1/16. Бумага офс. № 2. Гарн. Таймс. Печать офсет. Печ. л. 27. Усл. печ. л. 27. Усл. кр.-отт. 27,5. Уч.-изд.л. 32,40. Тираж 200 000 экз. (2-й завод 100 001—200 000 экз.) Изд. № 4/3669. Зак. 9-142. Цена 2 р. 40 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.

Книжная фабрика «Коммунист», 310012, г. Харьков, ул. Энгельса, 11.





2 р. 40 к.



ИВАН СТАДНЮК

МЕЧ НА МОСКВУ